



MABLY.

Mabli. 1785.



GABRIEL-BONNOT DE MABLY

DE L'ÉTUDE
DE L'HISTOIRE
DE LA MANIÈRE
D'ÉCRIRE L'HISTOIRE

ГАБРИЭЛЬ-БОННО ДЕ МАБЛИ

ОБ ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИИ

О ТОМ, КАК ПИСАТЬ
ИСТОРИЮ

Перевод С.Н. ИСКЮЛЯ

Статья С.Н. ИСКЮЛЯ

Комментарий С.Н. ИСКЮЛЯ, А.Н. ВАСИЛЬЕВА

Ответственный редактор Г.С. КУЧЕРЕНКО

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА · 1993

ББК 63.3(0)
М12

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
"ПАМЯТНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ"

К.Э. Ашрафян, Г.М. Бонгард-Левин
В.И. Буганов (заместитель председателя)
Е.С. Голубцова, А.Я. Гуревич, С.С. Дмитриев
В.А. Дунаевский, В.А. Дьяков, М.П. Ирошников, Г.С. Кучеренко
Г.Г. Литаевин, А.П. Новосельцев, А.В. Подосинов (ученый секретарь)
Л.Н. Пушкарев, А.М. Самсонов (председатель), *В.А. Тишков*
В.И. Уколова (заместитель председателя)

Рецензенты

В.А. ДУНАЕВСКИЙ, Л.С. ЧИКОЛИНИ

Мабли Г.-Б.

М12 Об изучении истории. О том, как писать историю. – М.: Наука, 1993. – 414 с. ("Памятники исторической мысли").

ISBN 5-02-009101-4

Первое комментированное издание исторических сочинений Г.-Б. де Мабли на русском языке.

М 0503010000-327 30а-93-1
042(02)-93

ББК 63.(0)

ISBN 5-02-009101-4

© Российское академическое
издательство "Наука", 1993
Оформление.

© С.Н. Искюль, 1993

Перевод, статья, составление, комментарий.

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

ВВЕДЕНИЕ

История должна быть школой политики и нравственности

Вашей светлости было уже представлено все наиболее примечательное, что заключает в себе история¹. Вы прочли о возникновении рода человеческого, узнали о том, что едва люди были сотворены, как заслужили гнев Создателя своего. Они употребили во зло благоденствия небес, и суждено им было погибнуть в водах потопа, и видели Вы, как из ковчега вышла одна лишь избранная семья, коей предназначено было вновь населить землю. За исключением того, что сообщается о нескольких патриархах, кои по Божественному промыслу должны были стать праотцами избранного народа и коих Бог чудесным образом наставлял, нам ничего не известно о том, по какому пути отправились сыновья Ноя, о том, куда стремились они, об их переселениях и обосновании на местах. Целые столетия, о которых весьма небезопасно было бы получить полное представление, окутаны плотной пеленой безвестности. Мы не знаем, благодаря какому последовательному соединению ни с чем не сравнимых переворотов, люди, рожденные и в короткое время весьма умножившиеся, утратили всякие понятия, бывшие в ходу у предков их до потопа.

Восходя мысленно до тех высот, куда ведут нас памятники светской истории, Вы обнаружили почти на всем пространстве земном лишь людей, погрязших в самом отвратительном варварстве и движимых грубыми страстями. Дикари эти, подобно тварям безгласным, обладали только грубыми склонностями нрава. Потребовалось великое множество несчастий, дабы вынудить их задуматься, а счастливые случайности и одаренные способностями люди исторгли их из лесов, научили строить хижины, содержать скот, возделывать поля и взаимно оказывать друг другу помощь в своих нуждах. Только жизнь среди себе подобных могла дать им понятие об их обязанностях, познакомиться с тем, что зовется общественным благом, которое должны были они возлюбить и установить у себя особый строй и порядок, что ускорило бы развитие их здравого смысла.

Именно в Азии, которая заложила первые основы общества, законы с самого начала принесли безопасность и спокойствие. Вы видите, как возникают в одно и то же время могущественные империи Ассирии, Вавилона и Египта, между тем как остальная земля еще пребывает в варварстве. Наконец, цивилизация переносится в Европу и вскоре населяются средиземноморские берега Африки. Повсюду мы видим города, законы, правителей, царей и искусства, но пороки, каковые вводили в соблазн людей еще до зарождения общества, будут терзать и государства. Несправедливость, насилие, корысть, честолюбие, дух соперничества, зависть породили вражду между народами, и Вы видели, как начиналась эта бесконечная вереница войн и переворотов, которые со времен гибели Вавилона и до наших дней тысячекратно меняли лицо мира.

Нин, победитель Вавилона², вослед ему Семирамида, возвысившая могущество Ассирии³, Дейоцес, который своей добродетелью подчинил соотечественников своих – мидян⁴, Кир, мужество коего отдало господство над всей Азией персам, народу ранее неведомому и не столь могущественному⁵ – все эти и другие герои, которых я мог бы еще назвать, удостоились Вашего нарочитого внимания. А когда обращались Вы к тому, что редчайшие памятники сообщают нам о древнем Египте, Вас, Ваша светлость, тронули больше всего не пирамиды, не лабиринт, не Меридово озеро⁶, не оплодотворяющие наводнения Нила, не роскошное великолепие преемников Сезостриса⁷, Вы хотели бы познать законы, институты, установления, нравы, обычаи этой счастливой страны, где зародилась философия. Именно туда знаменитейшие мужи древности направляли свои стопы для того, чтобы почерпнуть мудрость, дабы распространить ее среди непросвещенных народов; и философия эта не была тем бесполезным и тщетным умозрением, каковой мы видим ее сейчас, а искусством счастливой жизни⁸.

Никогда и ни одна страна не произвела на свет столько добродетелей и талантов, как Греция. При виде суровых установлений Ликурга⁹, и мудрости спартанцев, разве сожалели Вы о том, что слишком мягкие и потворствующие нашим порокам законы в иных странах опозорили род людской? При виде великих дел, кои свершили афиняне, разве не захотели Вы родиться на родине Мильтиадов, Аристидов, Фемистоклов, Кимонов¹⁰? А для людей, которые должны будут Вам повиноваться, разве не явится благим предзнаменованием, если Вы, читая историю Греции, изъявите интерес к благоденствию ее и увидите, как жажда мщения, великолепие и все усилия Ксеркса¹¹ разбились о храбрость, повиновение власть предержащим и свободный дух спартанцев и афинян. Вы, Ваша светлость, станете несомненно великим государем, если Ваш развитый не по летам ум, исполнившись удивления перед неистощимым гением Филиппа¹² и дерзкой отвагой Александра, в то же время побудит Вас отвратиться от их честолюбия и сожалеть о том, что не нашли они лучшего применения своим великим дарованиям.

Римляне, которые шаг за шагом покорили в конце концов весь мир,

являют Вам зрелище равно поучительное и занимательное. Вы видите, как из сборища беглых рабов и разбойников, которых некогда приютил Ромул¹³, рождаются повелители мира. Мало-помалу укореняется у них нравственность и, приучившись повиноваться благочестивым законам Нумы¹⁴, они избегают угрожавшей им гибели. Ненависть к тирании Тарквиния придает им сил сбросить сие иго¹⁵ и приуготовливает к тому, чтобы проникнуться всеми добродетелями, сопутствующими свободе. Едва были учреждены консулы¹⁶, как явилось уже столько героев, сколько было и самих граждан. Надменность, алчность и жадность патрициев еще угрожает Республике новым рабством, но им не дают укрепиться в своем могуществе. Трибуны открывают народу чувство собственного достоинства, и противники мало-помалу склоняются перед законами равноправия. Посреди этих междоусобий гений Рима возвышается, распространяется и охватывает все новые и новые пространства. Не прибегая к помощи законодателя, который научил бы Республику управлять своими страстями и не страшиться непостоянства фортуны, она приобретает благоразумное терпение, каковое повелевает событиями, и возвышенность чувств, одерживающую верх над всеми препятствиями.

Несомненно, Вам доставляло удовольствие следить за победным шествием римлян. Но при всем Вашем интересе к гальскому народу, смешавшемуся потом с победителями своими франками, разве не опасались Вы, как бы Брен не истребил еще в колыбели тот народ, храбрость коего призвала его к владычеству над вселенной¹⁷, а процветание и несчастья в равной степени должны были служить напоминанием варварам, вторгнувшимся через некоторое время в его провинции? Пирр¹⁸ встревожил Вас, Ганнибал¹⁹ поверг в трепет. Старайтесь Ваша светлость, сохранить в себе эти первые чувства, порожденные чтением древней истории. Именно в этом главное преимущество чтения в Ваши годы. Восхищение перед великими образцами древности откроет Вашей душе любовь к подлинной славе и заставит Вас опасаться пороков, общих для всех людей, и предубеждений, свойственных государям.

Видеть в истории только необъятную грудку фактов, которую человек пытается расположить в хронологической последовательности, значит лишь угождать пустому ребяческому любопытству, обнаруживающему ограниченный ум, или обременять себя бесплодной ученостью, способной породить лишь педанта. К чему нам знать об ошибках наших предков, если они не помогут нам стать благоразумнее? Стремитесь, Ваша светлость, к тому, чтобы образовать сердце Ваше и ум. На протяжении всей жизни история должна быть той школой, где Вы будете познавать свои обязанности. Являя Вам живые картины уважения, каковое сопровождает добродетель, и презрения, преследующего пороки, история должна когда-нибудь заменить собой людей, призванных ныне развивать те отрадные достоинства, коими природа наделила Вас.

Сегодня еще осмеливаются говорить Вам об истине, дерзают то надевать узду на Ваши рождающиеся страсти, то приводить в движение естественную силу, каковая замедляет наш путь ко благу, но грядет день, и он недалек, Ваша светлость, когда, предоставленный самому себе, Вы не найдете вокруг никакой помощи против страстей тем более сильных и неуправляемых, что Вы будете выше людей, Вас окружающих. Вам неведомо несчастье; я назвал бы это почти бедствием Вашего положения. Истина, всегда робкая и докучливая, всегда чуждая дворцам монархов, будет стремиться выказать себя перед Вами. Бойтесь, Ваша светлость, того часа, когда ощутите Вы полную независимость от кого то ни было. Если Вы испытали радость и нетерпение, когда я возвестил Вам о его приближении, должен предупредить Вас, что следует Вам быть сугубо внимательным, дабы не посадить свой корабль на подстерегающий Вас риф. Печалью и злосчастьем обернется это величие! Наемные льстецы окружают Вас и будут примечать все Ваши слабости. Их пагубное искусство расставит западни тем более опасные, что они покажутся Вам не лишенными приятности. Для того, чтобы повелевать Вами, они будут предупреждать любые Ваши желания и, притворяясь во всем послушными Вам, постараются сделать Вас рабом их же собственных страстей. Если Вы поверите им, то войдете во искушение почитать себя за нечто большее, нежели обыкновенный человек и, будучи игрушкой своих придворных, Вы окажетесь униженным в еще большей степени, нежели они сами.

Коварному голосу лести противопоставляйте размышления, почерпнутые из истории. Она покажет Вам, если она не плод продажного пера нынешних наших сочинителей, что добродетель должна быть для государей более легким и удобным занятием, чем для всех прочих людей. Например, она укажет Вам, что чем обширнее обязанности, тем более надлежит прилагать усилия к исполнению оных. Она скажет Вам, что, будучи рожденным, как и прочие люди, с начатками всех страстей, должны Вы опасаться великих грехов, равно как и то, что всякий порок государя есть общественное бедствие.

Государь никогда не достоин похвал, расточаемых ему придворными: это истина, это аксиома, которая не терпит никакого исключения, и которую Вы должны с благоговением повторять всякий день на протяжении всей жизни. Если гордости Вашей коснется искушение поверить льстецам, вспомните о тех божеских почестях, кои воздавались самым гнусным и злобным монархам, вроде Калигул и Неронов²⁰ теми людьми, которые имели несчастье быть к ним приближенными. Готовы ли Вы позволить ослепить себя собственным своим могуществом или изнежить наслаждениями, каковые рассеют впустую все Ваше богатство? Вспомните, сколь презрительно взирает история на государей, не имевших ничего великого, кроме обременительных для них титулов. Она уничтожает самую память о них и едва удастывает сохранить имена праздных и ленивых королей, ничего не сделавших для счастья людей; в то же время воздаст она простым гражданам

за ту безвестность, в коей пребывать они, казалось, осуждены навечно.

Читайте, Ваша светлость, и перечитывайте Плутарховы жизнеописания знаменитых мужей²¹. Если это чтение трогает Вас, если оно пробуждает интерес, если Вы с трудом будете откладывать его и с удовольствием возвращаться к нему, то позволено будет Вам возыметь о себе лучшее мнение и полагать, что Вы добились и еще добьетесь новых успехов. Почти все герои Плутарха – простые граждане, однако могущественнейшие государи могут быть великими в глазах истины и разума, лишь приняв их за образцы. Изберите из них того, кому Вы хотели бы подражать. Но, Ваша светлость, пусть не будет образцом для Вас государь. В противном случае не найдете Вы у Плутарха любви к справедливости и к общественному благу, отличающих простых граждан Республики. Жизнь величайших государей всегда омрачена неким ложным и корыстным стремлением к славе. Слишком часто, желая обратить народы в орудие собственной славы, забывают они, что назначены лишь для счастья подданных. Возьмите за образец простого гражданина, сделайте его своим судьей, не уставайте спрашивать себя, так ли поступили бы Аристид, Фабриций, Фокион, Катон, Эпаминонд²²? Тогда ощутите Вы, как проникается душа Ваша возвышенными чувствами, и будете стремиться подражать им. Спросите, что подумали бы эти великие люди о том или ином задуманном Вами деле, и Вы обретете исполненный благородства и утонченности вкус к справедливости и истинной славе.

Но не достаточно, Ваша светлость, видеть в истории только школу нравственности. Положение, занимаемое Вами от рождения, требует, чтобы Вы были не только добродетельны ради себя самого, но и полезны всем нам; надобно, чтобы Вы приобрели познания, необходимые государю, облеченному обязанностью блюсти интересы общества. Само звание человека и гражданина обязывает даже частного человека к размышлению о том, от чего происходит благоденствие или бедственное состояние общества, и древние оставили пример, которым пренебрегают наши современники. В чем же заключается долг тех, коим народы вручают иверяют верховную власть с тем только, чтобы они трудились ко всеобщему благоденствию?

Есть искусство сделать государство счастливым и процветающим, искусство это называется политикой. Не верьте тому, кто скажет Вам, что мудро управлять можно одним только справедливым умом и честным сердцем. Им хотелось бы оставить Вас невеждою, дабы Вы всецело от них зависели, и тем удобнее было Вам обманывать, употребляя во зло Ваше незнание. Государь, которому неизвестны причины, приводящие общество в движение и в цветущее состояние, или которому не ведомо, как ускорить или замедлить их действие, будет жалким орудием в руках своих министров: его невежество придаст им смелости на пути зла, и вскоре почтут они своей первой выгодой быть его фаворитами, дабы самим стать неограниченными властителями

народа. Если он пренебрегает возможностью просвещать себя и дойти в своем образовании до первоначал процветания и упадка государств, он, несмотря на благие намерения, останется в заблуждении. Устраняя одно злоупотребление, он будет способствовать другому. Благо, совершенное рукою случая и не основанное на твердых правилах, будет скоротечно и всегда сопряжено с какими-то помехами. В исторических сочинениях Вы, должно быть, обратили внимание на некоторых государей достохвальной честности. Такие государи, как Людовик XII, удостоивались титула отцов отечества²³. Они искренне хотели благополучия своему королевству, но по недостатку просвещения никогда не могли ни в чем быть полезными обществу. И даже после самого продолжительного царствования, будучи просвещенными одним только опытом, они были осведомлены лишь о весьма узком круге вещей.

Именно потому, что люди, то ли по безразличию своему, то ли из лени или самонадеянности, не хотят перенимать опыт протекших веков, всякое столетие являет собой зрелище все тех же заблуждений и бедствий. Глупое невежество готово в который уже раз посадить корабль на рифы, а вокруг мы видим во множестве плавающие обломки, несчастные останки тысяч кораблекрушений. Таковое невежество принуждено измышлять, будучи к сему едва способным, те установления, совершенный пример коих мы находим в иные времена или у других народов. Отсюда и все превратности, все переменчивые и нескончаемые смуты, пребывать в коих государства, кажется, обречены до окончания века своего. Мы упорно и несмотря ни на что множим неудачные опыты, когда нам следовало бы воспользоваться примером наших предков. Правители то блуждают в тщетных умозрениях и погоне за одними лишь мечтами, то важно предпринимают какие-то перемены, не меняющие ничего в бедственном жребии государства. На прогнивших опорах воздвигают здание, которое вот-вот разрушится. Мы суеتمدимся как дети, лишь бы ничего не делать. Столькие неурядицы остаются безнаказанными, и жестокая, превратная и слепая фортуна в мире сем присутствует везде, лишая народы полновластия, какое должно быть сопряжено с благоразумием; она влечет их к падению через тысячи злосчастий.

Прежде чем возглавить войско, Сципион²⁴ и Лукулл²⁵ учились, читая Ксенофонта²⁶, тому, как стать великими полководцами. При чтении о событиях великой войны они отнюдь не искали только удовольствия, но стремились познать причины счастливых успехов или бедственных обстоятельств какого-нибудь предприятия или кампании в целом. Они учились искусству готовить победу, или тому, как избежать полного разгрома. Оружие и воинский порядок всякого народа, различные способы ведения войны, движения войск сообразно с их расположением или состоянием, все было предметом их размышлений. Не покидая Рима, Сципион и Лукулл воевали, если можно так выразиться, под началом искуснейших полководцев Греции²⁷. Исполненные гения великих мужей, они стали соперничать с ними в славе

с того самого времени, как приняли командование над римскими легионами.

К какому бы поприщу ни был призван человек, то ли к общественному управлению во всей его полноте, то ли к какой-либо одной его части, нет сомнения, что он смог бы почерпнуть в истории то же пособие, какое нашли в ней Сципион и Лукулл ради усовершенствования своих природных талантов и ради того, чтобы стать великими полководцами. Я мог бы, Ваша светлость, привести Вам тысячу примеров, и надеюсь, что Вы сами станете одним из тех, о ком со временем будут рассказывать государям, дабы приобщить их к великим делам.

Одни народы долгие века наслаждались благополучием, другие имели краткое и преходящее благоденствие или существовали только для того, чтобы пребывать в несчастьи. Одни государства при всех своих усилиях так и не смогли выйти из изначального, далеко не блестящего состояния, другие же без труда достигли величайшего могущества. Сколько некогда славных народов, существование которых, казалось, должно было сравняться по протяжению с существованием мира, известны ныне лишь истории? Персы, египтяне, греки, македоняне, карфагеняне, римляне – все они истреблены. Разве их благоденствие, невзгоды, их потрясения и само падение обязаны лишь игре слепого случая? Не извлечем ли мы из их истории, Ваша светлость, одно лишь печальное и ложное убеждение, что все превратно, что все уступает ударам времени, что все умирает, что государства неминуемо идут к фатальному концу, и когда он приближается, нет более ни мудрости, ни благоразумия, ни мужества, кои могли бы принести им спасение?

Нет, всякий народ имеет предначертанный ему жребий; и хотя всякое государство умирает, оно может и должно стремиться к бессмертию. Подобно тому, как Фокион обучал Аристиаса²⁸, приучайтесь видеть в благоденствии народов награду, каковую Творец всего сущего соединил с добродетелью. Зрите в их бедствиях кару, которой он наказывает пороки. Ни одно цветущее государство не пало прежде, нежели были преданы забвению установления, приведшие его в цветущее состояние: ни одно государство не достигло благоденствия прежде исправления своих изъянов и искоренения злоупотреблений. Благоденствие есть ничто, мудрость – все, и те великие события, о которых сообщает нам древняя и новая история, и кои нас ужасают, станут спасительными уроками, если мы научимся пользоваться ими. Старайтесь в Ваших занятиях, Ваша светлость, постигать причины кратковременного благоденствия и бесконечных злосчастий, которые довелось испытать человеку, и Вы познаете путь, коему должны следовать, дабы стать отцом Ваших подданных и благодетелем последующих поколений. Познание прошлого приподнимает покров будущего. Вы увидите, посредством каких установлений смятенные народы, ныне терзающие Европу, могут еще оказаться счастливыми. Вы познаете

судьбу, каковую каждый народ должен ожидать от своих нравов, законов и правления.

Нет истории, которая не обнаружила бы перед Вами какой-либо основополагающей истины и не предохранила бы Вас от предубеждений нынешней нашей политики, ищущей благоденствия там, где его нет. Вам почудится, будто эти некогда столь могущественные цари Вавилона, Ассирии, Египта и Персии громогласно вещают из-под развалин своих царств, что обширное пространство земель, великое число рабов, богатства, пышность и тщеславие неограниченной власти ускоряют распад империй. Финикия, Тир и Карфаген поведуют Вам с прискорбием, что торговля, корысть, искусства и ремесла приносят лишь преходящее благополучие и что с трудом приобретенные богатства всегда находят алчущих хищников, ибо богатства возбуждают сребролюбие чужеземцев. Рим скажет Вам: познайте на примере моем все, что добродетель рождает исполненного силы и величия; мне же принесла она владычество над миром. Но, — добавит он, — при виде того, как я, раздираемый собственными гражданами, становлюсь добычей варварских народов, которые не имели ничего, кроме храбрости, научитесь опасаться несправедливости, изнеженности, алчности и честолюбия.

Греция открывает Вам свои анналы. Читайте их. Именно там можно собрать обильную жатву политических истин. Из них Вы разом узнаете и то, что Вы должны делать и чего надлежит избегать. Законы Ликурга неисчерпаемы; и никогда не сможем мы вполне исследовать их дух, хотя бы ныне и возможно было нам возвыситься на ту же степень мудрости. Небесполезно будет для Вас увидеть пороки в законах Солона²⁹. Благоденствие Лекедемона докажет Вам, что самое малое государство может быть весьма сильным, когда законы направляются к тому только, чтобы влить в души наши силу и энергию. Афины, прославленные внезапными порывами мужества и великодушия, своей любовью к свободе и отечеству, но несчастные, поскольку не отличались сдержанностью действий, преподадут Вам полезнейший урок, обнаруживая, что дурно направленные добродетели и таланты лишь способствовали их гибели. В раздорах греков, в несчастиях, вызванных их честолюбием, Вы научитесь познавать заблуждения нынешней Европы, изнемогающей и бесчестящей себя постоянными войнами, в которых победитель всегда обретает конец благоденствия и начало своего падения.

Примечайте с тщанием: те же законы, те же страсти, те же нравы, добродетели и пороки всегда имели своим следствием одно и то же. Жребий же государств сопряжен с твердыми и неизменными принципами. Откройте для себя эти принципы, Ваша светлость, и дерзну повторить, что в политике уже не будет для Вас тайн. Исполненный всевекового опыта, Вы узнаете, каким путем должны идти люди к счастью. Не поддавшись обману жалкого сплетения недостойных уловок, ухищ-

рений и нелепостей, почитаемых за истины, Вы научитесь различать настоящее благо от того, что только по наружности можно счесть за таковое. Вы станете отличать настоящие лекарства от тех, что приносят лишь кратковременное облегчение. Вы уподобитесь тому кормчему, который плывет без страхов и опасений, ибо знает все подводные камни и все гавани. Он видит свой путь на ясном небе, и ему ведомы приметы, предвещающие затишье или бурю.

ГЛАВА II

Об основополагающих истинах, коих следует придерживаться при изучении истории

ИСТИНА ПЕРВАЯ

О необходимости законов и правителей

Нет ничего легче, чем извлекать при чтении исторических сочинений мысли, пригодные для управления государствами, но, если при этом не следовать определенному методу, то нам лишь будет казаться, что мы набираемся мудрости, а на самом деле мы будем обременять себя одними заблуждениями. Остерегайтесь, Ваша светлость, быть введенным в заблуждение теми историками, коим в большинстве своем не ведомы ни общество, ни человеческое сердце, ни та цель, каковую должна иметь перед собой политика. Тщеславие этих историков всегда готово превратить свои частные замечания во всеохватывающие аксиомы. Они смешивают все и приписывают благоденствие и злосчастье государства безделицам, коими можно без опасения пренебречь и коими бесплодно заниматься. Не все истины одинаковы, и если Вы тщательным образом не разделите их сообразно с их значением, если Вы не отведете каждой из них соответствующего места, если Вы смешаете основополагающие принципы (справедливые во все времена и всюду, поскольку происходят они из природы нашего сердца и общества), с менее важными правилами (справедливыми лишь при особых обстоятельствах) относительно той или иной формы правления, будьте уверены, что с такой грудой полуистин или истин, сваленных без надлежащего порядка, Ваши действия, всегда нерешительные и двусмысленные, будут иметь успех не иначе, как благодаря случаю и то лишь непродолжительное время.

Многие годы изучал я историю, не пользуясь особым методом и без надлежащего руководства, и, только натываясь не раз на подводные камни, научился я распознавать их. Я потерял много времени, но оно никому не принадлежало, и мои заблуждения не причинили никому вреда. Обыкновенный человек может обманываться без лишних опасений. О Вас же, Ваша светлость, этого сказать нельзя. Люди вправе требовать от Вас отчета о том, как используете Вы свое время. Госуда-

ри имеют столько обязанностей, что не должны терять ни единой минуты. Ведь может оказаться и так, что время, употребленное в поисках должного пути, окажется потерянным, и подданные Ваши пострадают когда-нибудь от ошибок, которые Вы совершите, отыскивая истину там, где ее нет. Примите же это подношение, состоящее в некоторых моих размышлениях; оно вызывало бы во мне величайшее сомнение, если бы те, кто представит их Вам, не были обязаны указать на содержащиеся, может быть, в них заблуждения.

Первая политическая истина, из которой проистекают все остальные, заключается в том, что общество не может существовать без законов и правителей. Разрушите этот сугубый союз, соединяющий людей, и они тотчас же вернутся к своему первобытному состоянию. Припомните, Ваша светлость, ни в одной истории Вы не видели приобщенных к культуре народов, умеющих обходиться без законов и правителей, напротив того, Вы заметили, что африканские и американские дикари, несмотря на свое невежество и варварство, восчувствовали необходимость иметь вождей и обычаи, коим они следовали бы.

Дабы убедиться в истине, мною Вам представляемой, достаточно заглянуть в самого себя. Даже при самом поверхностном взгляде Вы увидите причудливое смешение страстей и разума, меж коими идет вечная война. Страсть ничего не видит, ничему не внимает, обращается за советом только к собственной выгоде, поскольку при всегдашней слепоте своей не надеется обрести счастья в себе самой. Ее, словно тирана, раздражают встречаемые на пути препятствия. Если каждая из Ваших страстей стремится к тому, чтобы занять Вас собственной персоной, и хотела бы отдать Вам всю вселенную, разум говорит порою, что надобно быть справедливым, то есть, не требовать от других то, чего Вы не хотели бы для себя. Он дает Вам понятие о том, что все люди имеют одинаковые нужды и, будучи равными по природе своей и предназначенными к тому, чтобы подавать друг другу помощь, должны они, трудясь ради собственного благополучия, блюсти в то же время интересы себе подобных. Но, согласитесь, и это еще не все: разум Ваш, часто усыпленный и будто не подвластный Вам, почти не дерзает давать знать о себе. Признайтесь (и это сделает Вам честь), что даже в те минуты, когда Вы вполне владеете собой, он говорит Вам робким и прерывающимся голосом. Напротив, всегда стремительные, живые и красноречивые страсти, кажется, подавляют Вас своей магической силой.

Умерьте же, Ваша светлость, живость ума Вашего, и не будем спешить. Все, что я имел честь Вам сказать, заключается только лишь в одном предложении, над которым Вы должны с тщанием поразмыслить. Я удовольствуюсь тем, что укажу путь для познания Ваших собственных страстей: в те минуты, когда сердце Ваше будет исполнено спокойствия, обратитесь к разуму, внемлите предсказаниям его и сравните их с неосторожными стремлениями Вашего сердца. Надобно, чтобы труд постижения сопровождался некоторым усилием, и Вы

будете знать хорошо лишь то, к чему привели Вас собственные размышления.

Познав самого себя, с большим успехом узнаете Вы и остальных людей, ибо нет человека, который не испытал бы подобно Вам действия какой-нибудь страсти и не подвергался бы бедствиям, свойственным всему роду человеческого.

Дрожжи повсюду одни и те же, хотя брожение и не везде одинаково. Мы так привыкли ставить себя выше других, прелесть удовольствия столь властна над нами, что и самые счастливо рожденные не без великих борений достигают того, чтобы руководствоваться правилами разума и постоянно поступать справедливо с себе подобными.

Первое следствие, которые извлечете Вы из познания самого себя, заключается в том, что люди, будучи всегда сущими детьми по слабости их разума и силе страстей, и, следовательно, всегда готовые власть в заблуждение, имеют нужду в законах. Законодатель подобен тем мудрым приближенным, кои, руководя Вашим воспитанием, научили Вас управлять движениями сердца и защищать разум Ваш от потрясений страстей. Это облегчило Вам употребление добродетелей, ибо они стали милы Вашему сердцу, а именно в этом и состоит искусство законодателя. Он отвращает нас от пороков, определяя им меру наказания, делая их в наших глазах опасными, отвратительными, и достойными презрения. Он влечет нас к добродетели обещанием воздаяния. Благодаря сему разум наш приобретает силу, равную силе страстей, и даже сами страсти побуждают нас следовать всяческим добродетелям.

Заметьте, что установление законов естественно предполагает то следствие, что магистраты обязаны приводить их в исполнение и наказывать непослушных. Действительно, к чему предписывать нам самые мудрые законы и справедливейшим образом определять награды и наказания, если бы не были поставлены чины для распределения оных? Страсти сохранили бы свою власть, а законы были бы лишь советами, столь же бесполезными, как и увещания разума.

Поставьте себя, Ваша светлость, на место Ликурга или Солона. Прежде чем продолжать чтение этого сочинения, вообразите, что Вы даете законы какому-нибудь дикому народу Америки или Африки. Поместите кочевников в постоянные жилища, научите их содержать стада и возделывать землю. Старайтесь развивать в них качества, объединяющие для совместной жизни заложенные природой в их души, но, так сказать, подавленные невежеством и предрассудками. Одним словом, повелите им следовать обязанностям, коими отличен человеческий род. Умейте сделать для них эти обязанности и приятными, и полезными, отвращайте их путем наказаний от удовольствий, обещаемых игрою страстей, и Вы увидите, что каждая статья Вашего кодекса будет заставлять сих варваров удаляться от порока и стремиться к добродетели.

Это кажущееся ребяческим занятие может принести Вам величай-

шую пользу. Дабы лучше почувствовать те истины, которые я только что имел честь Вам предложить, попробуйте освободить подданных во владениях Вашего отца³⁰ от законов, поддерживающих меж ними порядок, благоустройство и общественное спокойствие. Ниспровергая законы, утверждающие собственность и личную безопасность, отнимите у правителей достоинство и силу, которые внушают к ним уважение, и тотчас же страсти в волнении своем, восставая одни против других, разрушат до основания всякое право, порядок и повиновение. Нравы станут жестокими, и, я полагаю, в скором времени Вы достигнете того, что обратите жителей Пармы и Пьяченцы в народ более дикий, нежели гуроны и ирокезы.

ГЛАВА III

ИСТИНА ВТОРАЯ

*Справедливость или несправедливость законов
есть первопричина всех благ и всех зол в обществе*

Все народы имели законы, но немногие из них были счастливы. Какова причина этого? Дело в том, что редкие законодатели понимали, что цель общества состоит в единении семей ради общей пользы, дабы они помогали друг другу в каждодневных нуждах и соединяли свои силы для отражения чужеземного врага, вместо того, чтобы творить взаимный вред. Такова сущность общества, это несомненно, следовательно, законы должны быть справедливыми, ибо их несправедливость, нимало не предупреждая насилий и обид, кои граждане могли бы нанести друг другу, послужила бы, напротив, только к усилению оных. Люди, как притесняющие, так и угнетаемые на основании закона, оказались бы перед теми же неудобствами, испытываемыми в естественном состоянии. Они возненавидели бы друг друга, перестали бы доверять один другому, занимались бы лишь обманом и мстили, а внутренние их распри лишили бы государство тех сил, кои суть плод единства.

Каков же признак справедливости законов? Их беспристрастность. Я скажу сейчас, Ваша светлость, об истинах, несколько грубых для государя, но Вы без сомнения склоните к ним свой слух, если не хотите забыть, что Вы сами не кто иной, как обыкновенный человек, и Вам необходимо их знать.

Поскольку природа не делала никакого различия между своими детьми, поскольку она дает мне, равно как и Вам, одинаковое право на ее благодеяния, поскольку все мы наделены одинаковым разумом, чувствами, одинаковыми частями тела, поскольку она не создала властителей, подданных, рабов, государей, дворян, черни, богатых, бедных, то разве могли политические законы, кои должны быть лишь

развитием законов естественных, без вреда утвердить оскорбительное и невыносимое различие между людьми? И если закон, вместо того, чтобы наставлять разум на совершение блага, будет вызывать отвращение, разве сие не произведет зла? Всякое законодательство, которое жертвует одной частью граждан ради другой, пристрастно, а следовательно, несправедливо. Утвердит оно только ложный порядок, ложное благо, ложное согласие, ибо как люди, выгоды которых умалются, должны взирать на тех, кто счастлив за их счет? Лишенные отечества, разве не станут они толпой недругов или, по крайней мере, людей чужих в недрах собственного государства? Рабы древних народов должны были ненавидеть своих господ и потому восставали против них. Ныне же не безрассудно ли требовать гражданских чувств от тех, кому крайняя бедность, презрение богатых и вельмож возбраняют быть не только свободными, но и просто людьми?

Беспристрастие законов заключается главным образом в установлении равенства имущественного и равного гражданского достоинства. Я отнюдь не склоняю Вашу светлость к тому, чтобы Вы вообразили себе государство, коему предписали бы одни лишь беспристрастные законы, хотя, без сомнения, следствием их явилось бы величайшее благо. По мере того, как законы Ваши утвердили бы совершенное равенство, они стали бы ближе сердцу каждого гражданина. Они в большей степени смогли бы смирить страсти, укрепить разум и, следовательно, предупредить всякую несправедливость. Каким же образом алчность, честолюбие, похоть, леность, праздность, зависть, ненависть, ревность, от коих происходят бедствия и гибель государств, могли бы смутить людей, равных между собой имуществом и положением, и которым законы не оставили бы никакой возможности нарушать равенство? Где имущества равны, там неизвестна любовь к богатству, а где нет корысти, там умеренность, любовь к славе и отечеству должны быть общими добродетелями. Если почитают достоинство и честь рода человеческого, тогда воцаряются справедливость, честь и возвышенность духа, каковая поддерживает мир. Соревновательство будет развивать все добродетели, и любовь к общественному благу никогда не допустит, чтобы таланты скрывались или употреблялись во зло. Но если и возникнут какие-либо расстройства, то лишь быстрое: правителям легко будет применить врачующее средство, впрочем, уже одна только сила законов сама по себе восстановит порядок.

Вот, Ваша светлость, те блага, кои во множестве зародятся в Вашем государстве. Вспомните же о том, что Вы уже читали в истории, и, продолжая Ваши занятия, с тщанием наблюдайте, разве не были народы, установления которых совершенно беспристрастны, самыми сильными, самыми процветающими и счастливыми?

То, что уже сказано было о Спарте, должно дать Вам обширные познания сего предмета. Никакое другое государство не имело законов более сообразных с природой и равенством, и Вы видите, что ни одно государство не сохраняло столь долго и благоговейно свой строй.

Если спартанцы порою страдали от беспорядков, причиняемых илотами³¹, если они, все-таки, лишились законов и благоденствия, то, мне кажется, Вы в этом должны винить еще сохранявшие силу древних предупреждений, от коих и вся премудрость Ликурга не могла избавить его сограждан. Поставив илотов вне законов человечности, соблюдаемых в отношениях между собой, спартанцы вынуждены были опасаться людей, их ненавидевших, и это иго день ото дня становилось все тягостнее. Громадное различие между господином и рабом, неизбежно приуговляло умы спартанцев к тому, чтобы допустить в будущем оскорбительные отличия между самими гражданами. Сколь бедственным оказалось для Лакедемона то, что Ликург вынужден был нарушить закон равенства, оставив двум ветвям рода Гераклидов³² право наследственного владения первыми должностями государства! Разве не вызывает удивления то обстоятельство, что положение сенаторов и эфоров было во всех отношениях выше царского³³? Это, казалось, неминуемо должно было повлечь за собой ропот, ропот – жалобы, а жалобы – возмущение.

Благоволите заметить, Ваша светлость, что Лисандр не сделался бы врагом отечества, если бы мог законным образом домогаться трона, который принадлежал другому роду. Чтобы занять то место, куда таланты призывали его, но к коему пристрастный закон закрывал путь, его честолюбие не имело иного выхода, кроме ниспровержения правления и законов³⁴. Он наполнил республику своими происками, водворил в ней богатство, посреди коих государство сие не могло существовать, и вскоре Лакедемон, населенный гражданами, недовольными своим жребием, не боящимися ни рабства, ни тирании, начал претерпевать разного рода несчастья, предвещавшие его гибель.

Вам известно, Ваша светлость, положение римлян во времена царей. Вы знаете, что семьи разделялись на патрициев и плебеев, и что не было закона, который положил бы предел алчности и величине наследства. И не удивительно, что, когда души открыты тщеславию и корысти, общественное благо остается в небрежении, и у римлян не осталось уже ничего, выгодно отличающего их от соседних народов. И само имя их осталось бы столь же неизвестно, как и тысяч других народов, если бы возмущение против Тарквиниев не вызвало в гражданах тех чувств, кои отличают героический характер, подавая надежду на установление равенства. Если эта возвышенность души исчезает в молодой Республике, если возникают новые беспорядки, если народ оставляет Рим и спешит на Священную гору³⁵, обвиняйте в этом лишь патрициев, спесь которых не может терпеть равенства. Если бы патриции преуспели в своих предприятиях, то Рим, населенный гражданами, кичившимися своим величием, или униженными в своей подлости, непреложно был бы осужден изнемогать в рабстве и безвестности. Именно патриции, а не народ, были врагами Республики. Уже одним только возвращением законов к равенству, предписанному

природой, и твердой защитой достоинства плебеев, трибуны подготовили и завершили благоденствие государства³⁶.

Распри на Форуме становятся менее пылкими, порядок восстанавливается, таланты множатся, нравы облагораживаются, добродетели и законы обретают новую силу. Заметьте, Ваша светлость, что эта счастливая перемена есть плод того духа равенства, который начал внушать римлянам менее пристрастные законы. Отчего же возникли среди них новые раздоры, столь же пагубные, сколь первые были полезны? Именно потому, что первые установили равенство, а другие его разрушили. Республика, по несчастью, увлеченная честолюбием и победами, не заметила, что устремилась навстречу своей гибели. Земельные законы и законы против роскоши, столь способствующие уравниванию состояний, не могли сохранить свою силу посреди богатств, кои победоносное оружие принесло Риму из Африки и Азии³⁷. Чем более обогащались, тем более жаждали нового богатства. Республика ограбила побежденных, граждане разграбили Республику. Одни были богаты подобно царям, другие требовали хлеба и зрелищ. Чем несоразмернее состояние, тем многочисленнее пороки. Именно из чудовищного неравенства проистекли забвение или скорее презрение к древним законам, самые изнеженные нравы, потеря свободы, гражданские войны³⁸, публичные проскрипции людей³⁹, кои осмеливались иметь некоторое достоинство, и та нелепая и кровавая тирания цезарей, которая отвергла провинции Империи ордам варваров.

Просмотрите всю историю, и факты докажут Вам, что беспристрастие или пристрастие законов было счастливым или злосчастливым корнем всех благ и всех зол. Вы не найдете народа, для которого осталось бы безнаказанным возвышение семейств, выделяющихся своими правами или богатствами. Повсюду, где нет равенства, правосудие будет иметь два веса и две меры. И возникнут те кичливые патриции, которых удивляло, что природа даровала плебеям легкие, чтобы дышать, рот, чтобы говорить и глаза, чтобы видеть.

Когда Вы познаете это, то заметите без труда, что, если политика льстит себя надеждой водворить всеобщее благоденствие, не устанавливая беспристрастных законов, она витает среди химер. Быть может, она устранит на время алчность и честолюбие, быть может, принудит их не отваживаться выказывать себя со свойственной им наглостью, но тогда эти страсти будут лишь действовать скрыто. Всегда неутомимые, всегда неисчерпаемые в средствах, они ослабят твердость политики, воспользуются ее уклонениями, чтобы стать для нее более необходимыми, чем когда-либо. Какой народ не избавился бы от своих пороков, если бы счастливая перемена придала ему склонность к равенству и уничтожила бы несправедливые и пристрастные законы?

Я не скоро оставлю сей предмет, Ваша светлость, он слишком важен, и для того, чтобы изучение истории было Вам полезно, должен Вас уведомить, что историки, как правило, обнаруживают только лежащие на поверхности причины благоденствия или злосчастия государств.

Например, они скажут Вам, что военный порядок и храбрость римлян, их терпение, справедливость к чужестранцам, великодушие, любовь к отечеству и бескорыстие были причиной их возвышения. Если Вы на этом остановитесь, то не узнаете ничего, кроме, если можно так выразиться, орудий, способствовавших благоденствию Римской республики. Чтобы приобрести познание, поистине достойное государя, коему суждено стать законодателем, Вам надлежит восходить к той причине, которая сама по себе явилась источником храбрости, любви к отечеству и других римских добродетелей⁴⁰. Вы обнаружите сию причину в справедливости и беспристрастности римских законов, и если Вы не будете рассматривать это в качестве важнейшего принципа Вашей политики, все старания к тому, чтобы привить Вашим подданным принципы добродетелей, окажутся бесполезными. Эти растения, посаженные в неблагоприятствующей почве, примутся с трудом и завянут, не достигнув цветения.

Суллу, Мария, Помпея, Октавиана и Антония⁴¹ считают губителями Римской республики. Но это ошибка. Эти люди, разрывавшие отечество на части, с пользой служили бы ему, если бы в те времена еще существовали законы и нравы, породившие Камиллов⁴² и Регулов⁴³.

Читая в исторических книгах о том, что греки победили персов потому, что были столь же осмотрительны, столь храбры и искусны в военном деле, сколь те неосторожны, трусливы и плохо обучены военному строю, изыщите причины всего этого, и Вы познаете, что может благоприятствовать появлению на свет великих мужей. Греки любили свою родину потому, что они были свободны и достоинство каждого гражданина не было унижено. Они обладали всеми добродетелями и талантами, необходимыми, поскольку беспристрастные законы, отдавая предпочтение одним только добродетелям и талантам, возвышали, если можно так выразиться, оные и не упустили из виду ни одного из них. В Персии, напротив, происхождение волею случая возводило на престол человека, едва способного исполнять обязанности, никому не известные. Орудиями умыслов такого недалекого человека были одни лишь царедворцы, у коих происки и лесть заменили таланты, и чернь, привыкшая к презрению и оскорблениям, убежденная в том, что достоинство всегда бесполезно, а порою и вредно.

Дабы еще больше убедить Вас в столь важной истине, прошу Вас, когда при чтении встретится Вам царствование государя, прославленного благоденствием народа или важностью своих деяний, исследуйте с тщанием, постоянно ли он напрягал все силы, чтобы приблизиться в правлении своем к принципам справедливости и беспристрастия. Не начал ли он с того, что стал почитать себя скорее попечителем, нежели властелином народа? Не стремился ли он к тому, чтобы привить поданным чувство собственного достоинства, дабы возвысить их душу? Не старался ли он убедить их в том, что одни только заслуги отличают людей друг от друга? Составил ли он себе понятие о том, что унижающие род людской варварские законы позорят и ослабляют его отечест-

во? Ободрил ли добродетели и таланты, употребляя для сего средства, составляющие благополучие мудро управляемых государств?

Прошу Вас еще об одном, Ваша светлость, бросьте свой взор на Европу, и Вы сами увидите, что каждое государство благоденствует по мере того, как законы более или менее приближаются к естественному беспристрастию. Шведский крестьянин есть гражданин, и с другими государственными чинами разделяет он достоинство законодателя. Подвержена ли Швеция тем же несправедливостям, тем же притеснениям, той же тирании, что и Польша, где всё, что не есть дворянин, бесжалостно принесено в жертву благородному сословию? Англичанин, подчиняющийся законам, которые уважают человеческие права в последнем из людей, носит ли в себе подлую и скотскую душу турка, не ведающего, какова будет ныне прихоть султана или его визиря, не знает, пашой ли ему определено быть или конюхом? В Англии столько же ревности к общественному благу, а следовательно, и талантов, сколько равнодушия и нелепости в государствах неограниченного властелина. Голландия, созданная гражданами и управляемая еще более, чем в Англии, беспристрастными законами, питает многочисленный народ и ставит пределы омывающему ее берега морю. Во владениях деспота не ищите ничего, кроме бесплодных земель и покрытых рубищем обитателей, которые оставили бы свои пустыни, если бы знали, что есть на свете земля, где не терзают живущих там людей.

В Швейцарии, разумеется, счастливых людей больше, нежели во всей остальной Европе. Какова причина этого? Потому что законы там более беспристрастны, нежели в других местах, и в большей мере приближают людей к естественному равенству. Один гражданин отнюдь не превосходит в чем-либо другого гражданина. Там страшатся только законов, но и любят их, ибо находятся под их защитой. А власть? Она в руках правителей, но и та имеет свои пределы. И самые большие, и слишком малые состояния умеряют проявления и духа тирании, и рабской приниженности. Мудрые законы против роскоши, сделав бесполезными огромные богатства, препятствуют тому, чтобы возникло желание обладать оными и смиряют все страсти. Именно этот мудрый порядок и поддерживает союз и мир в кантонах, не равных между собой по значению и имеющих разные образы правления. Они соседи – и однако соседствуют друг с другом без ревности, без соперничества и ненависти. Сама же аристократия некоторых кантонов лишена пороков, свойственных сему образу правления. Подданные не испытывают огорчений и унижений, повинуясь власти предержавшим, кои довольствуются положением простых граждан, столь же малоимущих и бережливых, как и они сами, и скрывают, что образуют собой привилегированное сословие.

Поскольку человек может ожидать прочной, истинной и продолжительной пользы только от законов, сообразных с природой вещей, поскольку всякое правительство, которое оскорбляет их, нарушает

общественный порядок и ставит на его место смятение и раздоры граждан, то следует ли Вам, Ваша светлость, лишить себя княжеского достоинства, следует ли уничтожить prerogative дворянства и возратить народу непреложные права, данные ему природой, следует ли уничтожить большие состояния и посредством нового раздела земель предоставить родовое наследие бедным? Отнюдь нет. Но умерьте Ваше нетерпение и довольствуйтесь ныне практическим познанием законов, безнаказанно нарушать которые не дано никакому политику. По мере того, как Вы будете читать это сочинение, мы станем отыскивать средства, благодаря коим можно возместить содеянные несправедливости и вопреки всеобщей испорченности приблизиться к благоденствию.

ГЛАВА IV

ИСТИНА ТРЕТЬЯ

*Гражданин должен повиноваться правителям,
а правители законам*

Итак, общество имеет беспристрастные законы? Это, разумеется, великое счастье. Но, Ваша светлость, после размышлений о силе и заблуждениях страстей наших, о необходимости для правителей защищать законы и покровительствовать им, Вы заключите, что сие благополучие будет весьма кратковременным, если законы не имеют защитников в лице правителей, достаточно могущественных, чтобы принудить гражданина повиноваться им, и в то же время достаточно слабых, чтобы сами они не дерзнули сбросить с себя их иго. В политике нет ничего более тонкого и многотрудного, нежели учреждение магистратур.

Трудно уловить тот момент равновесия, когда граждане подчиняются магистрам, а те не выходят за пределы законов. Именно эта трудность и порождает внутренние раздоры и смуты, которые встречаешь повсюду в истории.

Если гражданин, не повинаясь правителям, остается безнаказанным, он непременно нарушит даже представляющиеся ему самыми мудрыми законы, и те немногие души, неколебимые к потрясениям страстей, нимало не стесненные установленными ограничениями и преисполненные почтения к справедливости, не отвратят своим примером неизбежную анархию. Если, напротив того, страсти самих правителей не укрощены, хотя они и обуздывают страсти граждан, то, избегнув одного камня преткновения, наткнутся на другой, попадая из Харибды в Сциллу⁴⁴. Страсти толпы управляли республикой, но страсти правителей решают ее судьбу. Распушенность частных лиц вызывает беспорядки, коими они, в конце концов, могут пресытиться, ибо народ порою внимает голосу разума. Распушенность же правите-

лей ведет к таким настроениям, дальнейшее существование коих будет весьма выгодно для них самих. Сколь бы велика ни была власть, начав злоупотреблять ею, они непременно сочтут оную незначительной. Тогда воцарится скрытая и тем более опасная тирания, что ее будет поддерживать само достоинство законов.

Поскольку власть может оказаться и пагубной, и спасительной, и требует мудрости почти божественной, а облакаются ею лишь простые смертные, то где, — спрошу я, — взять подобающие веса, чтобы определить, в какой степени доверять ее магистратам? Большинство историков говорили Вам, что сие произошло от неостоянства, слепого влечения и легкомыслия толпы: этот неукротимый зверь всегда устремляется к чему-то новому, необычайному. Но по истине, смятение черни есть не что иное, как беспокойство больного, который беспрестранным меняет положение, ибо не находит себе облегчения. Народ начинает роптать, только находясь в самом отчаянном положении. Он скорее прощает, нежели мстит. При благоприятных обстоятельствах он не легкомыслен и не вспыльчив. Благополучие делает его столь же неподвижным, как и страх, внушаемый деспотом, умеющим сочетать гибкость с твердостью.

Первоначально сословия не веряли своим правителям неограниченной власти, и если Вы возьмете в соображение, как люди соединились между собой, дабы образовать государства, то поймете несправедливость упреков, предъявляемых народу.

Было бы в высшей степени нелепо полагать, что люди, когда они еще не имели ясного и точного представления о благе и были подвластны грубым страстям, внезапно перешли от ничем не ограниченной свободы к совершенной покорности. Можно ли поверить в то, что в этих нарождающихся сообществах существовали договоры и соглашения между гражданами и правителями? Нет, конечно. Люди, равные между собой и имеющие одинаковые права, сближались друг с другом потому, что заложенные в них стремления к общежитию и малость их сил приводили к очевидной необходимости соединения, но они отнюдь не составляли законов для установления взаимных прав, ибо и не подозревали об опасности потерять свободу. Они избирали себе в вожди самых подходящих для сего и, не почитая себя ниже их, повиновались до тех пор, пока советы или повеления вызывали одобрение. Они без тени смущения сместили бы всякого вождя, как только власть его стала бы для них бесполезной или вредной, и, вероятно, еще в течение многих веков в обществе просто не существовало иного обычая.

Когда история повествует нам о первых царях Вавилона и Ассирии, как о полновластных монархах, чья воля означала закон, то очевидно, что империи в то время были уже весьма обширны и достигли больших успехов, каковые обстоятельства и свидетельствуют об их большой древности.

Не следует сомневаться в том, что эти первые известные нам госу-

дари имели неизвестных нам предшественников, бывших поначалу всего только простыми военачальниками свободного народа. Они могли быть подобны греческим царям героических времен, или вождям германских народов, делавшим набеги на Римскую империю. И теперь еще в Америке таковы вожди диких народов, являющих собой картину рождающегося общества.

Для воспитания новых идей потребны были новые нужды и новые интересы; и самые раздоры между правителями и гражданами предполагают достаточный уровень развития общества, когда стремление господствовать порождает честолюбие. Справедлива ли мысль о том, что в этих обстоятельствах народ обнаруживает беспокойство и волнуется? Не правдоподобнее ли мнение, что правители, гордые высоким положением, первыми злоупотребили доверием к себе? Они забыли свое предназначение, обольстили народ, злоупотребили его доверчивостью, навязали такие установления и способствовали укоренению обычаев, более пригодных для послушания воле правителя, нежели закону. Внутри сообществ, у коих доселе были только внешние враги, появились и враги внутренние.

Благоволите вспомнить, Ваша светлость, то, с чем Вы столкнулись в продолжение Ваших занятий историей. Порою народ, утомленный беспорядками, раздраженный бессилием существующих законов и охваченный единственной мыслью остановить злоупотребление, считает для себя невозможным доверить слишком большую власть своим правителям. Иногда, задетый несправедливым или весьма крутым обращением с законами, каковое позволяют себе министры, всякое принуждение уже кажется ему тиранством и для того, чтобы быть свободным, он подчиняет правителей своим капризам. Исправляя одну ошибку, но совершая при этом другую, государства продолжали пребывать в злосчастии, и Минос⁴⁵ был первым, кто, желая совершенно устранить беспорядки критян, нашел ту великую истину, что гражданин должен повиноваться правителям, а правители — законам. Каким образом претворить это в жизнь? Нет более трудной политической задачи, но иногда и ничто не приносит большого блага.

То, что Минос только замышлял на Крите, Ликург свершил в Лакедемоне⁴⁶. Так как власть оказалась разделенной на враждебные друг другу партии, каждая из которых хотела присвоить себе новые права, он объединил в одном правлении три власти — государя, вельмож и народ, которые образовали, если можно так выразиться, три правящих власти, от чего происходило самое чудовищное безначалие. Он вручил народу верховную и законодательную власть, то есть власть предписывать законы и решать важнейшие дела, которые касались государства в целом и каковыми являются мир, война и союзы. В то же время, утвердив демократию, он поставил гражданских законодателей перед необходимостью повиноваться законам, ими составленным. Закон приобрел весьма большое значение для каждого спартанца в отдельности, поскольку общее собрание государства не принимало никакого

участия в исполнительной власти, каковая находилась в руках двух царей и сената⁴⁷.

Исполнительная власть, со своей стороны, не могла присвоить себе никаких прав власти законодательной и пребывала подчиненной законам, кои она обязана была приводить в исполнение, поскольку правители имели одного лишь судью, который всегда присутствовал в народных собраниях. Они повелевали как неограниченные властители, и народ подчинялся им, но они подвергались наказанию, если сами не были простыми исполнителями закона. Их объединение и превращение правления в олигархию было невозможно, ибо они не в состоянии были составить заговор против государства. Правда, оба царя, будучи наследственными государями, должны были, естественно, заботиться о величии своих династий и стремиться к умножению прерогатив власти, но благоволите заметить, Ваша светлость, что Спарта была в большей безопасности при двух царях, нежели если бы она имела лишь одного. Природа редко наделяет двоих одинаковым характером, одними и теми же талантами и качествами. Корыстолюбие и честолюбие одного обуздывали корыстолюбие и честолюбие в другом, или скорее, эти страсти, благодаря строгости правил и нравов спартанцев, не имели никакой возможности, никакой надежды получить удовлетворение и были ничем иным, как страстями бессильными. Если бы они выступили наружу, разве сенат не смог бы их легко укротить? Поскольку это верховное сословие правителей действовало в законных пределах, оно было могущественнее царей и не имело никакого побуждения к честолюбию. Сенат отнюдь не был открыт одним лишь привилегированным семействам. Всякий спартанец мог стать сенатором, и, так как он возвышался только по выбору народа столь же добродетельного, сколь и ревнивого к своим правам, личные его интересы никогда уже не могли быть отделены от интересов государства.

Римляне, не прибегая к помощи законодателей и управляемые одной только мудростью своего гения, преуспели в устройстве подобного правления. Вам известны, Ваша светлость, все их магистратуры, и я ограничусь лишь указанием на то, что разделение исполнительной власти было осуществлено с такой мудростью, что, будучи в зависимости одни от других и не причиняя друг другу вреда, все они стремились к одной цели, пользуясь для достижения ее разными средствами. Честолюбие магистрата состояло в том только, чтобы ревностным исполнением своих обязанностей вторично добиться народного избрания. Словом, равновесие всех властей было еще и потому столь совершенным, что магистратуры были кратковременны и преходящи.

Каким бы ни было разделение общественной власти, Вам не трудно постигнуть, Ваша светлость, что оно может принести только пользу, ибо всегда налагает хоть какую-то узду на ничем не ограниченное правление, будь то самодержавная монархия, аристократическая олигархия и совершенная демократия, которые по природе своей не

могут иметь беспристрастных законов и движимы одними лишь страстями.

По некоторым признакам можно судить о точной соразмерности, с каковой должно быть произведено разделение общественной власти. Если Вы, Ваша светлость, будете внимательно читать историю древних и новых народов, кои имели смешанное правление, Вы убедитесь в том, что наибольшее преимущество извлек тот, кто отдал законодательную власть всей нации, а исполнительную — наибольшему числу правителей. Если одно сословие предписывает законы, то можно ли надеяться, что оно будет справедливо к другим? Если число правителей весьма ограничено, достаточно ли будет их для исполнения должностей? Кроме того, опыт всех времен приведет Вас к пониманию того, что невозможно полностью отделить власть законодательную от власти исполнительной. Каким чудом закон делается всесильным, если законодатель, который предписывает оный, сам же и приводит его в исполнение? Все греческие государства, за исключением Лакедемона, стремились к созданию такой власти, которая соединяла бы в себе преимущества народного правления с выгодами аристократии, но тщетно, ибо не предприняли они сего необходимого разделения. У них народ — законодатель, который оставлял за собой право судить о решениях правителей, изменять приговоры и отклонять их постановления, на самом деле не имел над собой правителей и без всякой пользы предписывал законы. В других государствах правители, принимая слишком большое участие в законодательстве, распространяли на весь народ власть, каковой они должны были пользоваться только по отношению к каждому гражданину в отдельности, и с того времени их страсти уже вышли из-под власти законов.

Можно установить границу между властью законодательной и исполнительной, но она скоро исчезнет, если национальные собрания созываются слишком часто, или, напротив, чересчур редко. Ныне европейские народы поступают в этом смысле с большим благоразумием, нежели древние. Если народ собирается слишком часто, то, конечно, управлять им много труднее. Он привыкает менее почитать правителей, и его страсти обретают великую силу и влияние. Если обстоятельства, побуждающие к составлению новых законов, не будут столь уж частыми, то следствием этого явится то, что праздный и беспокойный народ сам устроит некое судилище, поставит себя вместо магистратов для того чтобы иметь клиентов, и тогда все погибло. Государство не сможет сохранить никакой власти, никакого правосудия, никакой внешней формы, никаких первоначал, и тысячи противоречивых повелений будут служить предлогом, оправданием и средством тирании народа.

А если собрания законодательной власти редки? В таком случае правители, ослепленные своим могуществом, возомнят, что нет более над ними судей. Они предадутся честолюбию, учинят тайные сообщества, их происки станут зловредительны, и у народного собрания, не

умеющего обуздать злоупотребления и пороки, приобретшие власть силою привычки, руки окажутся связанными, и оно, утомленное усилиями, прилагаемыми к отвращению некоторых из бедствий, откажется вполне избавиться от них. Если только возможно, пусть законодательные собрания собираются ежегодно в назначенное время и в назначенном месте, и, главное, пусть участвующие не разлучаются друг с другом более чем на три года подряд, иначе они станут забывать свои обязанности.

Размышляя над историей, Вы заметите, Ваша светлость, что если во главе этих собраний не будут стоять особые и отличные от прочих магистраты, то естественный порядок вещей будет нарушен, а законодательная власть, которая не должна иметь ничего превыше себя, ничего равного себе, будет подчинена магистратам, коих имеет она право судить и наказывать. Не должны ли следствием этого быть многие противоречия? Пусть позволено будет низшим магистратам делать представления и замечания, но право предлагать законы должно принадлежать лишь правителям народных собраний и представителям народа. Это их исконная прерогатива, и она не будет опасна, ибо не они приводят законы в исполнение, тем более, что власть их теряет силу, когда они расходятся, а потому они одни по-настоящему и привержены к свободе народа. Пусть низшие магистраты, подобно Валерию Публиколе (который из уважения к величию римского народа велел склонить свои ликторские знаки, вступая на форум⁴⁸), показываются в собраниях лишь как простые граждане, дабы получать повеления.

Какой бы властью правители ни обладали, никогда она не будет опасной, если они должны дать отчет о своем управлении, если они избраны народом, и в особенности, если магистратуры их кратковременны и скоротечны, что не доставляет им выгод, отличных от выгод государства. Вы хотите, чтобы их деятельность всегда была просвещенной, мужественной и лишеной всякого пристрастия? Пусть цена блага, которое они принесут, будет для них надеждой после нескольких лет вновь быть облеченными тем же достоинством. Да не будет когда-либо позволено правителю и далее пользоваться своей властью, когда время его правления истекло. Это правило не терпит никакого исключения: не следует нарушать его даже ради какого-нибудь Аристиды, Фемистокла, Камиллы или Сципиона. История покажет Вам, Ваша светлость, что происки, заговоры и дух раздора никогда не упускали случая использовать в своих целях чрезвычайные почести, оказанные некоторым великим мужам.

Исполнительная власть должна быть разделена сообразно нуждам общества. У римлян были консулы, цензоры, преторы, эдилы, квесторы, понтифики, трибуны, сенат, а иногда диктатор. Пусть распределение власти между магистратурами всегда производится искусно, дабы одна не была препятствием другой. В государстве нет ничего опаснее магистратов, которые имеют неопределенные и противоречивые

притязания, или не знают ни протяженности, ни пределов своей власти и долга. Другое и не менее великое зло есть бесполезные для государства должности. Именно потому, что они ничем не заняты, им хочется вмешиваться во все, и их беспокойный дух способен лишь к тому, чтобы порождать затруднения и препятствия в пружинах управления. Следуйте благоразумию римлян, которые в чрезвычайных делах учреждали децемвигов или магистратов, власть которых прекращалась вместе с возложенными на них поручениями⁴⁹.

Сейчас, Ваша светлость, я лишь бегло упомяну о тех средствах, что может употреблять политика для подчинения магистратов власти законов. Я буду иметь случай трактовать об этом предмете пространнее, когда во второй части сего сочинения представлю Вам образ основных правлений, существующих в Европе. Но прежде чем закончить главу, должен предупредить Вас, чтобы Вы остерегались тех робких историков, кои, не зная ни человека, ни общества, видят мир и порядок только там, где царит тупая покорность. Если поверить им, у магистров никогда нет достаточной власти, у народа же всегда нет должной покорности. Эти историки учат тирании и вместо того, чтобы укоренять управление в соответствии с законами, они хотят удивить нас рассказами о государственных переворотах. Не доверяйте таковым придумщикам, кои ради завлечения читателей с наслаждением поселяют в их души тревогу и представляют повсюду одни лишь пропасти. Вы, Ваша светлость, никогда не позволяйте пугать себя этими ребяческими картинками. Споры, обыкновенные в смешанных правлениях, отнюдь не колеблют их, а, напротив, лишь способствуют укреплению существующего строя. Они свидетельствуют о свободе в государстве, и, если можно так выразиться, о силе его сложения. Глубокое безмолвие, напротив, предвещает упадок. Оно говорит о развращении нравов и о том; что отечество, свобода и общественное благо уже не волнуют более умы, а граждане скованы страхом или же предались угодничеству и корыстолюбию.

ГЛАВА V

ИСТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Следует остерегаться страстей чуждых народов

Если бы всякая нация оставалась предоставленной только себе самой, а безбрежные моря и обширные пустыни прервали всякое сообщение между ними, то почти любая политика ограничивалась упомянутым беспристрастием законов и власти правителей. Но не так, Ваша светлость, было изначально заведено и, не говоря уже об искусстве мореплавателей, которое, напротив, сблизило все народы ради умножения, смешения, соединения и слияния их интересов и дел, сами пространства Старого и Нового Света слишком обширны, чтобы

ограничить пределы человеческого общения. Народы свободные, независимые и связанные между собой едиными обязанностями человеческой природы и правами наций, суть соседи, которые соприкасаются и даже смешиваются в своих пределах. Из этого Вы должны заключить, что недостаточно государству предохранять себя против собственных страстей, оно не менее должно остерегаться и страстей чуждых народов.

Народы, говорит Цицерон, должны почитать себя как бы разными частями единого города. Природа установила общее согласие между всеми людьми, государства же имеют по отношению друг к другу те же обязанности, что и семьи, соединенные под одним правлением. Об этом предупреждает нас здравый смысл, но страсти наши говорят совсем другое, и истина в том, что все народы постоянно устремляются ко взаимному развращению и гибели. Торговля, которая их соединяет, лишь облегчает приобретение новых пороков. Ненавистное соперничество разделяет народы, часто их раздирают жестокие войны. Такова картина, представляемая историей, и Вас ничто не удивит, Ваша светлость, если Вы не упустите из виду ту необъятную власть, с которой страсти управляют людьми.

Именно алчность, честолюбие и ненависть разожгли все войны, которые погубили столько народов и которые еще много раз изменят лицо вселенной. Против этих-то страстей и должна вооружаться политика, а история покажет ей самые надежные к тому средства.

Вам угодно пренебречь корыстолюбием иноземцев? Для начала убедите себя в том, что, становясь богаче, человек не делается счастливее. Последуйте совету Ликурга, повторенному Платоном. Да не искусят богатства Ваши сребролюбие соседа⁵⁰. Если народ довольствуется бедностью, опасно притеснять его. Прошу Вас, Ваша светлость, отложите пока чтение и подумайте, по какой причине народы богатые всегда уступают и покоряются бедным народам. Швейцарские кантоны куда беднее Соединенных Провинций, и имеют гораздо меньше завистников, соперников и врагов. Если правда, что бернские граждане занимаются умножением городской казны, то достаточно ли поразмыслили они о том, что творят, ведь это ящик Пандоры⁵¹, внесенный к себе в дом. Здесь нет нужды заводить речь об опустошениях, которые накапливаемое золото произвело бы среди бернских граждан, если бы расхищали его вероломные руки, и о том, что эти богатства, если таковые найдутся, все равно окажутся погребенными в земле. Но может случиться, что желание похитить оные возбудит страсти и разрушит счастливое согласие между семействами власть предержащих и подданных. Сокровище, возбуждая зависть и алчность, может поставить бернцев перед выбором: либо стать жертвой иноземного хищника – либо предпринять полную опасностей войну.

Пусть государство остерегается покупать мир, как то делали римские императоры и многие другие столь же трусливые государи. Удалять от своих границ врагов с помощью золота, значит призывать

их в самое сердце страны. Я не могу себе представить, чтобы народы, которые задумывали бы и свершили великие дела, вознаграждали звонкой монетой услуги своих союзников. Столь обычная в нынешней Европе торговля является доказательством слабости, корыстолюбия и дурного управления. К чему вести постыдную торговлю ради того, чтобы добиться приятных отношений, которые между государствами должны быть столь же нерушимыми и основанными на взаимном уважении, сколь и отношения между людьми? Кто умеет снискать уважение верностью, справедливостью, благоразумием и мужеством, тому никогда не понадобится покупать друзей. Государство, которому недостает этих качеств, не приобретает оные щедрами. Покупая союзников, оно лишь научит их продавать свои услуги с публичных торгов. Вымогатели денег служат плохо и, наконец изменяют, если иная держава предложит им плату за вероломство. Римляне тогда только последовали нашей политике, когда упадок уже предвещал крушение Империи.

Честолюбие надлежит укрощать страхом. Итак, должны ли мы выставлять напоказ свое превосходство, свое желание господствовать над соседями, принимать неприступный и угрожающий вид, считать для себя делом чести не уступать, даже чувствуя за собой вину, похвальнось мощью? Нет. Опыт всех веков доказывает, что такое поведение больше возмущает, нежели обуздывает и, желая усмирить честолюбие, мы разжигаем ненависть — страсть, по природе своей более опрометчивую, более слепую, дерзкую и предприимчивую, чем честолюбие. Войско необходимо, но для того, чтобы производить большее впечатление, не следует никому досаждать и угрожать: показывая, что можешь напасть, надлежит пребывать в оборонительном положении. Именно благодаря такому благоразумию и умеренности, политика избавляется от ненависти иноземцев, и, укрощая их честолюбие, заставляет их уважать ее. Если хотите сохранить мир, приуготовляйтесь воевать: правило, попавшее в книги, но практически неизвестное.

Пусть неугоден вам мир, потому что он сопутствует изнеженности, удовольствиям и праздности, каковые превращают Ваших сограждан в презренных трусов. Но поскольку он является естественным состоянием человека, то в нем единственная сообразность справедливости и природе разумного существа, и в нем же обретае Вы душу возвышенную. Если народ привыкает судить о своей мощи по числу жителей и количеству крепостей, то это доказывает, что он пренебрегает дисциплиной, и его не отличают воинские доблести. Для того, чтобы добыть себе то, чего ему не достает, он быстро соберет многочисленные войска, но то будут армии Ксеркса и Дария, обреченные быть разбитыми горсткой греков или дисциплинированных македонян.

Нужно, чтобы никакое государство не могло напасть на кого-либо, не опасаясь при этом испытать на себе негодование своих союзников. Оно должно, таким образом, относиться к ним с совершенной искрен-

ностию и преданностию. Если Вы хотите, чтобы Ваши союзы были всегда прочны, прежде всего не отделяйте интересы Ваших союзников от собственных и никогда не ждите от них чего-либо сверх должного. Изучайте характер, гений, нравы, добродетели, пороки, силы и слабости тех народов, которые могут помогать или вредить Вам. Познайте природу, переменчивость и заблуждения страстей человеческих, чтобы принаравливаться к ним или пользоваться ими. Никогда не уравнивайте Ваших союзников с естественными Вашими врагами, без опасения всегда усердно служите первым и щадите последних, но ни в коем случае не унижаясь и не переставая бросать им вызов. Повсюду в Европе договоры меж государствами давно уже сделались игрою: можно подумать, что народы сближаются для того, чтобы расставлять друг другу капканы, и редко союзники не упрекают друг друга в небрежности и даже в вероломстве. Какова причина сего? Она в том, что почти всегда договоры заключаются без ясного понимания, чего от них хотят, основываясь лишь на репяческом честолюбии, легкомысленной надежде или слепой ненависти. Зачастую стремятся лишь выйти из неловкого положения и вместо того, чтобы устремить свой взгляд в будущее и обратиться к высшим своим интересам, помышляют только о сиюминутном. Я не останавливаюсь, Ваша светлость, на сих важных предметах, ибо трактовал уже о них в ином месте, и прошу дозволить мне отослать Вас к "Беседам Фокиона" и "Принципам переговоров"⁵².

Ненависть становится страстью, разрушительной для государства, когда обращена в привычку благодаря долгой веренице взаимных несправедливостей, и когда два народа привыкнув считать друг друга врагами. И политика уже не будет судить о выгодах, кроме как по предупреждениям, и совершит двойную ошибку, предаваясь своим страстям и подвергая себя страстям чужеземцев. Ненависть легко предупредить при самом зарождении первых раздоров. Почему бы в таком случае не прислушаться к голосу справедливости? И пусть кто-нибудь укажет мне народ, коего постигло бы несчастье от приверженности к справедливости. Стоит ли возвращать зародившуюся ненависть, вместо того, чтобы погасить ее? Неужели причинение врагам зла столь сладостно, что представляется выгодным потрясение основ государства и приближение его к конечной гибели, отчего враги становятся более предприимчивыми, более дерзновенными и неукротимыми? Из соображений одной только политики укротите ненависть, и Вы придете, наконец, к тому, что расположите к себе сердца.

Тысячью примеров история доказывает, что народ не заслуживает ненависти другого народа, не становясь при этом подозрительным в глазах всех своих соседей, возбуждая всеобщее негодование. Сколько справедливости, умеренности и великодушия надобно было явить спартамцам, дабы загладить жестокость свою к мессенянам?⁵³ Разве ядовитая ненависть, высказанная ими против афинян в конце Пелопоннесской войны, не возмутила всю Грецию, и не разрушила ли она в

конце концов само Спартанское государство⁵⁴? История величия и упадка римлян подтверждает сию истину. В то время как римляне, исполненные благородного великодушия и приверженности к началам справедливости, вели войну, утвердили мир, не употребляя во зло своих преимуществ, толпа союзников поспешила воспользоваться их успехами. Враги, предоставленные самим себе, отнюдь не обладали той самонадеянностью, тем ожесточением или отчаянием ненависти, каковые необходимы были, дабы поколебать и остановить римлян. Едва развращенная чрезмерным благоденствием Республика начинает вызывать подозрение, как она уже кажется менее могущественной, хотя и держат в руках все силы Вселенной. Ее алчность и жестокость вызывает ненависть, и могущество ее поколеблено. Подавленные и полупокоренные народы находят прибежище в своей ненависти и им удается одержать верх над своими победителями.

Но не только этих трех страстей должна остерегаться политика. Главную опасность являют вооруженные враги, но часто более разумнее остерегаться собственных друзей. Это было известно Ликургу: потому-то закон его, именуемый *ксенеласия*⁵⁵, позволял лакедемонянам покидать свою страну лишь для исполнения какого-либо важного государственного дела. Когда же надобно было принять иноземца, закон повелевал определить к нему *проксена*, своего рода наблюдателя, который надзирал бы за его поведением и принуждал не обнаруживать свои пороки.

Соседние народы, которые, благодаря торговле, прививают нам праздность, изнеженность, пышность, роскошь и корыстолюбие, более опасны, чем опустошающие наши нивы войска. Солдатские грабежи возбуждают негодование и приводят в движение силы нашей души, но друзья-развратители просто уничтожат нас. Разве иноземные войска, вторгшись в самое сердце Швейцарии, принесли бы ей больше зла, нежели нравы соседей? Исповедовавший зловредительное учение Эпикура Киней был для римлян опаснее самого Пирра⁵⁶.

Хотя я уже взял на себя смелость посоветовать Вам, Ваша светлость, "Беседы Фокиона", дабы мне не надобно было показывать здесь, сколь тесными узами связаны между собой нравственность и политика, я не могу удержаться и не представить Вам еще несколько истин, кои всегда надлежит напоминать государям, и которые нынешняя политика упорно почитает заблуждениям.

Древние полагали, что нравственность есть основание политики, что без нравственности, то есть без презрения к богатству, без умеренности, без любви к труду и скромному достатку рушатся законы и благополучие покидает государства. Это учение содержится во всех их сочинениях. О чем же, напротив, говорят нам законы большинства европейских народов? Читайте, если только у Вас хватит на то сил, бесчисленные сочинения о торговле и финансах, начертанные невежеством и алчностью. Повсюду найдете Вы принципы, прямо противоположные принципам древних. Кто же ошибается, они или мы? Оче-

видно, по крайней мере, что древние мудрецы хотели сделать людей честными, а нынешние наши философы, больше походящие на дельцов, менял и ростовщиков, своими восхвалениями роскоши и исчислениями выгод хотят привить изнеженность и корысть.

Я не намерен, Ваша светлость, читать проповедь, а только хочу вполне откровенно высказать Вам правду и всем сердцем желал бы, чтобы нынешняя политика могла сообразовываться с природой вещей. Ликург, чьи речи и уроки я не устаю повторять, не был неким мизантропическим отшельником, который находил удовольствие в том, чтобы мучить людей, напротив, он воздвигнул алтари смеху и веселью⁵⁷.

Корыстолюбие делает человека несчастным, но каким чудом, вопрошали древние, принесло бы оно благо государству, которое по невежеству своему ищет его в накопленных богатствах? Сребролюбие унижает и калечит мою душу: ежели оно обращается в гнусную скаредность, то приуготовляет несправедливость, раболепство, трусость и безжалостность, а если сопряжено с расточительностью, то все пороки обретают тем большую власть, что изнеженность и роскошества требуют постоянного обновления и по природе своей не поддаются насыщению. Отчего же, заключали древние, страсть эта не может причинить тех же расстройств и государству?

Окиньте взором всю историю и постарайтесь отыскать в ней государство, которое, обогащаясь как Карфаген, снискало те составляющие благополучие и силу добродетели и таланты, кои Спарта и Рим обрели среди бедности. Назовите мне хоть одно-единственное государство, одно царство, где богатства не породили бы дух тирании и раболепия, где не вызвали бы они раздора, несправедливости, грабежей и презрения к естественным и политическим законам? И есть ли такая страна, куда не призвали бы они иноземного хищника? Я не устаю спрашивать: почему Лакедемон, обогащенный советами Ликурга, не мог сохранить могущества, обретенного им в бедности? Почему Римская республика клонится к падению именно с того времени, как обогатилась она трофеями?

Наша финансовая политика будет благоразумна, Ваша светлость, когда покажет она, в каких краях покупают за золото бескорыстие (первое, что связует между собою граждан), умеренность (которая располагает их к исполнению своих обязанностей), мужество и благоразумие (необходимые им для защиты отечества) и в особенности справедливость (которая должна быть душою всех их помыслов и целью всех их предприятий). Если сегодня государство платит умеренную цену за полезные деяния, то завтра оно сможет пробудить души не иначе, как раздавая великие награды, и скоро среди всех богатств вселенной оно будет слишком бедным, чтобы удовлетворить алчность, приученную не видеть для себя никаких пределов. Богатства суть лишь двигательные пружины, которые быстро изнашиваются. Персидские цари и римские императоры были богаты, но какой от

этого был толк? Я вхожу в изрядные подробности, Ваша светлость, но в наше время все души продажны, и приходится бороться с предрасудками, которые едва ли возможно искоренить, а писатели, воздающие хвалу деньгам, роскоши и страстям, куда многословнее меня. Скажу Вам еще два слова. Если Персия неизбежно должна была покориться македонянам, если римлянам суждено было покорить Карфаген, то это означает, что Провидению не угодно было сделать богатства тем средством, которое обращает государство в цветущее состояние.

ГЛАВА VI

ИСТИНА ПЯТАЯ

Государства не должны ставить своей целью иное благо, нежели то, к коему они призваны природой

Некто из древних полагал, что государства, будучи подвержены тем же превратностям, что и человек, имеют свое младенчество, юность, возмужалость, наконец, старость, за коей следует смерть. Это малообоснованное утверждение было принято за истину: Вообще же люди вполне убеждены, что государство, как и граждане, его составляющие, подчиняется непреложным законам смерти. Красноречивейший из нынешних наших писателей утверждает в своем Общественном договоре: Если уж Спарта и Рим пришли в упадок, то какое государство может надеяться на бесконечное существование⁵⁶? Желая создать некое долговечное устройство, мы не должны и мечтать о том, чтобы сделать его вечным. Чтобы преуспеть, не надо пытаться сделать невозможное, тщетна сама надежда придать прочность человеческому творению, с коей дела людские несовместимы.

Мне суждено умереть потому, что время истощает, изнуряет и разрушает во мне все жизненные органы и силы и потому, что я не могу вновь сотворить их. Не то в рассуждении об обществе, все части коего беспрестанно обновляются новыми поколениями. В нем всегда можно найти мудрых старцев для обсуждения важных дел и юношей для исполнения решенного. Я знаю, что все мы являемся на свет со страстями, склоняющими нас к пороку, и, следовательно, никакому государству не избежать разложения и конечной гибели. Доныне ни один народ не мог противостоять этому, но позволительно ли заключить, что никакой народ не мог бы свершить то, чего ни один еще не совершил? Не вина в том природы, если мы увлекаем наши страсти не к той цели, ради которой мы были ими наделены. Заключение в неких известных пределах, они пробуждают добродетель и сопровождают нас на пути к благу. Почему вместо того, чтобы смирять страсти, мы снимаем с оных узду? Почему позволяем им властвовать, вместо того, чтобы управлять ими? Если законы вводят нас в заблуждение, в

том вина законодателя. И опять-таки его вина, если у правительства нет постоянства в сохранении своей первоначальной силы и целостности.

Спарте, созданной руками Ликурга, суждено было бесконечно долгое существование. Но почему же после шести веков благоденствия ослабляет она заботу о себе самой? Почему перестает она следить за коварством и ухищрениями страстей, ради предупреждения оных? Пока нравам и законам наносились только ничтожные раны, почему спартанцы оставляли их без внимания? Почему они еще более раздирали их? Почему позволяли превратиться им в язву? Если только от них и зависело употребить для лечения действенное средство, если легко было задушить зародыш корыстолюбия, который явился у них благодаря трофеям Мардония⁹, если могли они без труда вновь обрести свою изначальную добродетель, то почему же, — спросят меня, — настал для Лакедемона роковой конец и ничто не могло его отсрочить? Разве после Пелопонесской войны, когда спартанцы начали заражаться всеми пороками прочих греков, нельзя было заметить отказа от установлений законодателя, и того, что мести, алчности и честолюбия принесены были в жертву покой и благосостояние народа? Почему невозможен был для них новый Ликург, который вторично исторг бы их из пучины пороков? С уверенностью можно сказать, что время, нимало не ослабляя законов, напротив, делает их более драгоценными и достойными уважения в глазах простых граждан. Спарта погибла не потому, что всякое государство неминуемо должно погибнуть; она пала жертвой алчности и честолюбия скверных правителей и дурных политиков, хотя они-то и могли еще ее спасти.

Именно в беспристрастии законодателей, в повиновении правителей законам, а граждан — правителям, в благоразумном и мужественном отношении народа к чужеземцам заключается благоденствие и процветание, но от того, как сам народ пользуется этими средствами, зависит большая или меньшая продолжительность его существования. Дабы вечно сохранять сие благостное состояние, должно лишь не употреблять во зло мудрость своих законов, то есть искать лишь то благоденствие, каковое дозволяется или требуется самой природой. Именно благодаря сему правление делается день ото дня все устойчивее. Если же народ нарушает предписанный природой порядок, если впадает в заблуждения и находит плохое применение своим силам, мудрости и своему благополучию, законы его ослабеют, нравы развратятся, и в недрах самого благоденствия откроется причина его гибели.

В чем же заключается это благополучие, которое политика должна поставить своей целью? Оно, Ваша светлость, заключается в умеренности. Чтобы убедиться в том, достаточно вспомнить о нашей слабости, и становится ясно, что слишком большое благополучие есть несносное бремя. Если государство, руководимое изложенными мною принципами, стремится к тому, что обыкновенно называется большими день-

гами, то, несомненно, оно достигнет желаемого и найдет в себе нужные силы и способности. Без особых усилий приобретет оно твердость, мужество и терпение, необходимые для преодоления величайших препятствий. Но где предел, куда увлекут его эти роковые преимущества? За ответом обратитесь, Ваша светлость, к истории.

Карфагенское правление, — говорит Аристотель, — было основано почти на тех же принципах, что и Лакедемон: разделение государственной власти позволяло не опасаться ни тирании, ни анархии. Граждане составляли единое целое. Плоды труда удовлетворяли их нужды. Что еще надобно человеку? К несчастью, это государство, не вполне свободное от предубеждений и страстей Тира, утомилось своим прочным, но не столь блистательным благополучием⁶⁰. Не устояв перед соблазном больших денег, доставляемых самим местоположением, оно открывает для торговли морские врата, приобретает богатства и поражается вследствие сего гордынею. Чувствуя в себе некоторое превосходство перед соседями, оно употребляет его во зло и не гнушается завоеваниями. С этого времени раздираемый всеми пороками, сопряженными с алчностью и честолюбием, Карфаген видит полное уничтожение власти законов. Все решают интриги, мятежные происки и заговоры. Будучи более не в состоянии освободиться от пороков, государство сие погубило среди богатств и триумфов.

Не честолюбие ли Сезостриса погубило Египет, столь благоденствующий и цветущий, пока он осмотрительно не выходил за свои пределы? Кир был персидским Сезострисом. Он завоевал обширные земли, но с тех пор, как народ его стал владыкой Азии, не попал ли он под иго своих богатств и вместо прежней свободы и мужественности не обратился ли он к порабощению и слабости? Поставьте себя на место Кира, Ваша светлость, вникните в положение, в коем он оказался после завоеваний и подумайте, какими средствами могли бы Вы воспрепятствовать тому, чтобы Ваши законы, образ правления, Ваши преемники и подданные не подверглись порче, не развратились. Благоволите принять на себя этот труд. Вы не только найдете то, что ищете, но и убедитесь в совершенной справедливости моих мыслей. Читая историю Римской республики, мы с прискорбием видим, что она употребляет мудрость законов и учреждений лишь к своему ниспровержению и каждый триумф был новым шагом к падению. Досадно лишь, что она употребила добродетели к приобретению пороков.

Я сделал бы ошибку, Ваша светлость, предположив, что Карфаген, Египет, Персия и Рим могли создать великие империи, подчинить себе соседей, приобрести несметные богатства и сохранить при этом нравы, законы и правление, сделавшие их способными к свершению столь трудных дел. Невероятно, чтобы эти державы нашли средство не дать себя опойть ядом благополучия, невероятно, чтобы они победили богатые народы, не обольщаясь трофеями, и стяжали богатства, не предпочитая деньги, роскошь и изнеженность бедности, простоте и умеренности.

После того, что я сказал об испорченности, которую влечет за собою богатство, бесполезно распространяться далее касательно сего предмета. Сверх того, у Вас, Ваша светлость, слишком возвышенная и благородная душа, и сами Вы еще слишком молоды, чтобы любовь к деньгам была бы предметом, способным взволновать Вашу душу. Достаточно предостеречь Вас, и я уж не раз о том говорил, что нынешняя наша политика находится в опаснейшем заблуждении, если рассматривает деньги как жизненный нерв войны и мира, и основу благополучия.

Но никогда не рано предостеречь государя в отношении честолюбия: к несчастью, все, что окружает Вас, способно представить эту страсть не иначе как добродетель, свойственную великим душам. Тысячи уст отверзаются непрестанно, дабы воздать хвалу завоевателям. Они кричат о том, что обширные земли, миллионы подданных и несметные доходы сами по себе делают государей великими. Но разве Ксеркс и Клавдий, возведенные на могущественнейшие в свете троны, не были при этом каким-то отродьем рода человеческого⁶¹? Чем обширнее империя, тем ничтожнее кажется государь и неспособным к управлению.

Помните всегда о том, Ваша светлость, что без правосудия нет ни истинной славы, ни величия, покоящегося на твердом основании, ни долговечного благоденствия, и что люди велики не страстями, но разумом. Граждане должны соединяться общественными узами ради своего собственного благополучия. Не сомневайтесь в том, что сообщество из опасений оказаться постигнутыми злосчастьем, должны сохранять между собой законы доброжелательства, кои соединяют между собой граждан. Им надлежит оказывать друг другу помощь и поддержку: право народов есть священное право, дарованное нам самой природой, и мы наказаны за то, что променяли его на внушенные низменными страстями варварские понятия. Мысль о том, что люди обречены Провидением терзать и мучить себе подобных ради снискания благополучия, не только абсурдна, но и нечестива. Если тщеславный народ не обладает качествами, необходимыми для свершения своих замыслов, то, как покажет Вам история, он с самого начала ослабевает от бесполезных попыток возвыситься. Истошая силы деяниями, для других ненавистными, и лишенный всех надежд, он испытывает на себе мщение презирающих его врагов. Если существующие установления приносят успех, то, с другой стороны, как показывает история, победы способствуют порче нравов, поскольку преуспевание неизбежно лишает нацию большей части добродетелей и искусства употреблять во благо свои силы. Какой страшный пример для честолюбцев являет Римская республика: она распространила свое владычество на целый свет, но для этого понадобилось ей низвергнуть в прах собственных граждан!

Большинство людей несчастны лишь потому, что они безрассудно отвергают благополучие, к коему назначила их природа, ради того,

чтобы стремиться за химерами своих страстей. Вдали от себя они ищут с великими трудами то, что верно обрели бы в самих себе, если бы захотели узнать благо умеренности. Природа, которая хочет сблизить людей с несомненной целью сделать их счастливыми, одних посредством других, не могла бы соединить благополучие с иным условием, нежели умеренность, — а ее истинное достоинство заключается в том, чтобы смягчать страсти и управлять теми из них, кои возмущают мир, удовлетворять нас малым и при том не сделать одного человека докучливым и подозрительным для другого.

Государство, достаточно благоразумное, чтобы удовлетвориться умеренностью своего благосостояния, — это, Ваша светлость, государство может и должно существовать вечно, если, впрочем, оно сообразуется с теми правилами, о которых я только что имел честь с Вами беседовать.

ГЛАВА VII

*Приложение ранее высказанных мыслей к основным событиям,
о коих повествуется в древней истории*

Сто раз уже говорили, Ваша светлость, и надлежит еще повторять о том тысячекратно, хотя, быть может, и бесполезно: там, где деспот обладает всей полнотой власти, у поработанных подданных нет ни отечества, ни любви к общему благу. Когда людей гонят как стада бессловесных скотов, когда их приносят в жертву страстям властелина и его фаворитов, тупое безразличие приводит к оцепенению душевные силы и унижает человеческую природу. Под таким правлением не может быть добрых нравов. Богатство из принципа будет предпочтительно всему остальному, поскольку государь, обладающий неисчислимыми сокровищами или великими доходами, невольно сделает привлекательным стяжательство, роскошь и расточительность. Законы сделаются пристрастны, ибо государь — всего лишь человек, и никогда не достанет у него мудрости и мужества, чтобы не принести свой народ в жертву царедворцам и прислужникам. Подданные не станут повиноваться законам, ибо фавориты и власть предрежающие будут вызывать у них более страха и уважения, нежели законы.

Не ищите в деспотизме никакой последовательности в целях, планах, замыслах: с каждым государем, который наследует престол или с каждым министром, им избранным, приходит новая политика или скорее новая страсть. Фортуна возводит монарха на трон, но выбор ее случаен. Природа не наделяет государей умом в большей степени, нежели прочих людей, а их воспитание обыкновенно ослабляет природные способности. Государству надобен муж твердый и мужественный, а подчиняется оно человеку бесчувственному, робкому и праздному. Тягостное бремя деспотизма равно губит прирожденные талан-

ты и самого деспота, и его рабов. Такой государь справедливо наказан презрением, но имя его было бы, кто знает, уважаемо, займи он не столь высокое положение: или, быть может, он стал бы превосходным магистратом. Поскольку правление его предшественников унизило и развратило все души, то не находит он более средств, необходимых к тому, чтобы творить добро, и это погружает его в бездействие. Но в конце концов разумны ли усилия природы? Может ли она возвести на трон гения, таланты коего, явившиеся благодаря некоторым счастливым обстоятельствам, разрушают все сдерживающие их препоны? Это лишь прекрасный, но короткий день, и ночь, которая следует за ним, покажется еще мрачнее. Такой государь, по видимости, велик, ибо его сравнивают с ему подобным, но деяния его ничтожны в сравнении с непреложными обязанностями человека, который безрассудно решился быть единственным творцом блага своих подданных.

Такое правление подвергается испытанию уже при самом начале, ибо люди, привыкшие быть свободными, не без труда повинуются своему властелину, и если их волнения не приводят к быстрому восстановлению утраченной свободы, то их уже будут считать покушением на общественное спокойствие, и они послужат лишь предлогом для скорейшего упрочения власти государя. Не следует удивляться постыдным и смехотворным доносам, сеявшим страх во времена первых римских императоров, когда самые маловажные проступки истолковывались как преступление⁶². Чем свободнее граждане, тем настоятельнее необходимость искоренения в рабах чувства прежней свободы. После некоторых усилий народ по лености своей, легковерию и неведению перестает защищать древние законы. Довольствуясь малейшим возмещением величайших несправедливостей, он более не требует ничего, кроме надежды на счастливое будущее, дабы утешиться в настоящем, которое его удручает: пожалуй, можно было бы сказать, что ему нравится обманывать себя, и самых ничтожных обещаний достаточно, чтобы его успокоить.

Когда государь, жалуя одни сословия государства преимущественно перед другими, добивается, наконец, всей полноты власти и более не испытывает уже опасения перед своими подданными, знатные граждане (через низость, лесть, честолюбие и алчность) устремляются навстречу рабскому ярму. Народ, приученный страхом и примером вельмож к слепому повиновению, уже не думает о том, принадлежит ли он к тому же роду человеческому, что и они, и полагает, что его достойное сожаления положение есть естественное состояние, и безропотность свою считает основой и залогом спокойствия и общественной безопасности. Он почел бы себя несчастным, если бы позволено ему было прийти в движение. И когда случайность доставляет ему свободу хоть на мгновение перевести дух в несчастном его состоянии, то это воспринимается как великая милость и восторг признательности лишь споспешествует новым оковам. С сего времени граждане уже не делают различия между интересами народа и страстями и прихотя-

ми своего повелителя. Изгнанная истина осуждена на безмолвие. Каждый подданный, столь же равнодушный к будущему, как и к прошлому, порицает и хвалит все, что угодно власти. Есть люди, но нет более общества, ибо рабу присуще думать только об одном себе. Если такое государство еще существует, то потому только, что не имеет сил само собой разрушиться, и когда против него поднимаются враги, не отягощенные теми же пороками, ничто не сможет отвратить его падения.

Аристократия, вверяющая верховную власть привилегированным родам, несет в себе больше порядка и последовательности, нежели тот образ правления, о котором я только что говорил, если при этом нет разделения на враждующие лагеря, стремящиеся погубить друг друга. При аристократическом правлении граждане могут в большей степени надеяться на твердость законов, нежели подданные деспота. Сторонники правления аристократов привержены к ней больше, ибо аристократия в меньшей степени подвержена переменам. Однако государство не будет процветающим, если патрицианские роды каким-то чудом не смягчают сурового своего гнета и не внушат подданным веру в то, что у них есть отечество. Никто еще не видел, чтобы аристократия предавалась тем крайностям необузданности и варварства, кои бесчестили иных государей, но разве надобен какой-нибудь Калигула или Нерон для того, чтобы люди почувствовали себя несчастными? Аристократия всегда в большей степени недоверчива, ревнива и подозрительна, в большей степени испытывает боязливую неуверенность, нежели самодержавное правление, а следовательно, в ней больше несправедливости. Разве будут патриции, которые не так уж далеки от своих подданных, терпеливо сносить, чтоб и простой люд, созданный для повиновения, осмелился иметь добродетели и таланты, влияние и уважение? Будет ли государство процветать при жестокой тирании, еще более тягостной от того, что она установлена через самое посредство законов?

Если особые постановления этого правления доставляют патрициям право иметь таланты и приводят в движение их гений, страсти будут свободнее, и государство, постоянно изнуряемое заговорами, происками и раздорами вельмож, пребудет в расстройстве до того времени, пока олигархия или тирания немногих не уступит место единодержавному владычеству. Если аристократия не найдет действенных средств, чтобы предупредить возвышение одного патрицианского рода над другими благодаря положению при дворе, богатству или заслугам, то государство, избегнув внутренней смуты, неминуемо истощит все свои силы и явится легкой добычей врагов. Невозможно сохранить это необходимое аристократии равновесие, иначе как сдерживая знатных настолько, чтобы не могли они ни иметь, ни безнаказанно обнаруживать свои таланты, и тогда в чести будут одни потаенные и окольные средства. Никто не осмелится явить себя таким, каков он есть по своей сути. Тогда все должно низко пасть, выродиться, подвергнуться

уничтожению, и у государства, которое страшилось талантов, при первой же поднявшейся буре не станет способного управлять им кормчего.

В правлении демократическом гражданин, всегда склонный путать понятия вседозволенности и свободы, боится взвалить на себя тягостное иго собственных законов и почитает магистратов лишь орудиями своих страстей. Народ знает, что сам он истинно верховный владыка и будет иметь прислужников, льстецов и, следовательно, все предубеждения и все пороки деспота. В первых двух образах правления, о которых я Вам прежде говорил, недостает движения: при демократическом же правлении оно постоянно и, в конце концов, часто становится мятежным. Оно делает граждан готовыми посвятить себя общему благу, оно сообщает душе ту жизненную силу, которая порождает героический характер, но за отсутствием установленного порядка и просвещения эти жизненные силы приводятся в движение одними лишь предрассудками и страстями. Не требуйте от сего народа-государя твердого характера, он переменчив и неосмотрителен. Постоянно предаваясь крайностям, он никогда не испытывает довольства. Свобода его не может поддерживаться иначе, как продолжительными возмущениями. Все установления, все законы, выдуманные им для ее сохранения суть лишь ошибки, посредством которых исправляются другие ошибки, вследствие чего он всегда может стать жертвой ловкого тирана или изнемогать под властью сената, который возвысит аристократию.

Если демократия в большей степени, чем те два образа правления, о коих я только что говорил, подвержена внутренним смутам и возмущениям, она и в большей степени способна противостоять посягательствам своих недругов. До тех пор, пока граждане предпочитают свободу богатствам и наслаждениям, им всегда удается избегать величайших несчастий. Опасность заставляет их забыть о раздорах и объединить силы. Каждый, кому угрожает неминуемая потеря всего достоинства, если отечество будет побеждено, становится героем. Всякая рука подает помощь, всякий талант находит себе применение. Силы государства умножаются, а недостающие законы замещает любовь к отечеству, и она же подкрепляет слишком слабую власть магистратов. По мере того, как правление клонится к демократии, государство имеет все больше защитников. Аристократия, в которой только дворяне являются гражданами, будет защищаться с меньшей твердостью, нежели общенародное правление, но с большим мужеством, чем при деспотической власти, когда лишь одно лицо заинтересовано в охране: ни государства.

Еот, Ваша светлость, истинная картина трех наиглавнейших образов правления, и поскольку все они существовали у древних, то должна ли Вас удивлять долгая цепь возмущений, трагическую картину которых представляет нам их история? Поскольку страсти были душой вселенной, народам пришлось испытать на себе самые ужасные мятежи

и терзать друг друга жесточайшими войнами. Повсюду на развалинах поверженной свободы утверждалось рабство. Повсюду видим мы опустошенные, порабощенные и низвегнутые империи.

Однако же не подумайте, что различие климата требовало от народов различного политического устройства. Мнение, что деспотизм соответствует жарким странам, варварство – холодным, а мудрое правление – странам умеренного климата, лишено всяких оснований. Также безосновательно, будто лучи солнца, более или менее отвесные, более или менее косые, определяют характер правления каждого народа или заметно побуждают его утвердить оное прежде, нежели он догадается об нем по собственному рассуждению. Неверно так же и то, что устройство общества, которое хорошо для одной страны, не годится в другой. Эти заблуждения были опровергнуты свидетельствами, в коих невозможно сомневаться. Переменилось ли что-нибудь в расположении небесных тел или на нашем земном шаре, когда рабство водворилось там, где прежде с великой славой царила свобода, или когда республики стали возникать в самом лоне тирании?

Повсюду, где люди пребудут людьми, повсюду, где сохраняют они разум и сердце, открытые для алчности, честолюбия и наслаждений, там будет одно и то же правление, поскольку повсюду в равной мере нужно противоборствовать страстям и утверждать владычество разума. Согласен, что влияющее на наши органы различие климата сообщает страстям большую или меньшую энергию или живость, но нужно ли из этого заключить, что Азии, к примеру, уготовано судьбой пребывать в рабстве, а Европе – сохранять свободу? Отнюдь нет, но политика в Азии и Европе должна использовать одинаковые средства, лишь с разной соразмерностью ради утверждения благоденствия народов и предупреждения беспорядков и разрушений, вызываемых страстями. Страсти жителей Азии сокрыты от посторонних глаз и, так сказать, приглушены леностью. Я заключаю из этого, что они в меньшей степени, нежели европейцы, нуждаются в разного рода установлениях при создании и упрочении государства. Но и те, и другие, каковы бы ни были их страсти, равно нуждаются в том, чтобы законы их были беспристрастны и чтобы правители, повелевая гражданами, повиновались законам. Где бы мы ни находились, у экватора или же на полюсе, если мы хотим, чтобы нам всегда сопутствовало счастье, не в меньшей степени, нежели собственных наших страстей, должны мы опасаться их и у своих соседей. Всякому государству угрожают две опасности – деспотизм и анархия. Страсти правителей влекут к одному, страсти граждан – к другому: следственно, не может быть иной мудрости правления, кроме той, которая охраняет меня разом от двух сих опасностей.

Славнейшим и благоденствующим народам древности суждено было узреть ниспровержение своих государств, ибо ни один из них не уберется от нарушения какого-либо из существенно важных правил, необходимых для сохранения политического строя. Но прошу Вас

заметить, с какой легкостью покоряемы были народы, кои не наслаждались свободой посреди следующих одно за другим падений государств, меж тем как единый город, управляемый законами, останавливал, а иногда и делал тщетными умыслы самых грозных завоевателей. Когда в Египте появился некий Сезострис, устрешенный Восток должен был признать его своим победителем и властелином. Эти народы неспособны к сопротивлению, и врагам требуется, так сказать, одно лишь мгновение мудрости и бесстрашия, чтобы поработить их. Явился Кир, и Азия должна была подчиниться господству персов. Когда Александр вступил на трон Филиппа, судьба персидского царства была решена. Уже при самом начале Римской республики царям было уготовано унижение, а народам – порабощение. И все побежденные народы потому только существовали столь долгое время, что не подвергались до тех пор нападению более мужественных и более осмотрительных врагов.

Напротив, разве свободные государства, исполненные благородной и гордой стойкости, не защищают свою свободу? Македонии с большим трудом удалось подчинить некоторые города Греции, нежели всю Азию. Побежденная единожды Азия покорилась навсегда, но греки, хотя и поверженные, отнюдь не смирились с превратностями фортуны. Пока Александр сеял ужас в пределах азиатских, непокорная Греция старалась освободиться. Она еще находила в себе мужество, чтобы сопротивляться и собственным порокам, и могущественным государям, умевшим посеять раздор между греческими государствами. Желание быть свободным продолжает жить в сердцах, когда сама свобода, кажется, потеряна безвозвратно, и возникает Лига или Ахейский союз, который ничем иным не мог быть разрушен, но лишь вновь явившейся силой – победоносным Римским государством⁶³.

Каких трудов стоило тому единственному народу, который побеждал, руководствуясь принципом и методичностью действий, восторжествовать над всей Италией? Достаточно упомянуть всех этих вечно побеждаемых, но никогда не покоряющихся эквов, вольсков, тосканцев и самнитов. Наконец, вспомните, Ваша светлость, о крушении Карфагена. Что же этот город, столь униженный сражением при Заме и условиями мира после Второй Пунической войны⁶⁴, этот город, нравы которого были столь развращены, а законы порочны, что же не произвел он на свет ничего великого и героического, когда, видя себя на краю бездны, в дерзости своей силился противостоять гению Римской республики?

ГЛАВА VIII*Приложение вышеуказанных истин
к некоторым важным предметам истории
нынешних европейских народов*

После того, что я только что говорил о древней истории, я собираюсь, Ваша светлость, представить Вам сокращенное изложение современной истории Европы, и, являя Вашему взору картину счастливо-го или несчастного жребия стольких государств, обнаружить перед Вами, что все свидетельства неизменно доказывают истину политических принципов, кои Вы уже познали. Благоволите поразмышлять об этом сами, и, надеюсь, усилия Ваши будут безуспешны.

Я же ограничиваюсь лишь исследованием некоторых предметов, кои кажутся мне наиболее важными. Падение Римской империи придало Европе новый вид, и когда народы, в высшей степени ревностные к своей независимости, обосновались в провинциях, где прежде царил жесточайший деспотизм, почему же на развалинах германской свободы монархическое правление стало преобладающим? Вместе с тем, по какой причине деспотизм варварский и столь часто встречающийся у древних, и который все еще позорит Азию, ныне неведом в христианском мире? Какие законы, какие нравы, какие обычаи воздвигли преграду между государями и чудовищными злоупотреблениями той власти, которая унижает человечество? Почему свободные страны, возникшие в Европе, почти не пользовались каким-либо значением? Европу раздирали на части продолжительные войны, рожденные честолюбием, но ни один из нынешних народов не достиг той степени величия и могущества, коими прославлены некоторые древние народы. Какая тому причина? Почему, наконец, многие современные государства, устройство коих почти всегда столь прочно, существуют долее, нежели восхищающие нас своим благоразумием древние государства? Отвечая на эти вопросы, кажется, Ваша светлость, мне следует охватить все, что нынешняя история заключает в себе занимательного, любопытного и полезного.

Изучая историю, Вы заметили, что варвары, от которых происходят все народы Европы, имели наиболее свободное правление в Германии. Поскольку в то время не существовало письменных законов, ими управляли лишь грубые обычаи, передававшиеся от отцов к детям. Вся свобода их состояла лишь в том, чтобы отваживаться решительно на все, что только может доставить употребление силы. Их царями были полководцы, не обладавшие прочной властью. Но эти народы, познавшие, благодаря торговле и частым сношениям с римлянами, алчность и жажду наслаждений, поселившись в провинциях Империи, уже не могли делать завоевания, поскольку обитали в постоянных жилищах, приобретали имения и смешивались с людьми просвещенными, но женоподобными, робкими и долгое время находившимися

под пятою жесточайшего деспотизма. Вы узнали, Ваша светлость, какие меры предосторожности нужны были, чтобы сохранить свободу, но разве бургунды, готы, вандалы, франки и прочие, любившие ее лишь по инстинкту и не имевшие ни малейшего понятия о истинной ее цене, могли остаться свободными? Не говоря уже о том, что свобода не могла быть совместима ни с древними их предрассудками, ни с новоприобретенными их пороками?

Хотя варвары, поселившись на завоеванных ими землях, и восприняли некоторые, казавшиеся им полезными, законы, правление их оставалось еще истинным грабительством. От этого происходили беспорядки, насилия, разбой, несправедливость, стенания, каковыми цари и вельможи, уже достаточно богатые, чтобы быть честолюбивыми, не замедлили воспользоваться для порабощения народа и распространения своей власти. Теперь я коротко остановлюсь, Ваша светлость, на царствовании Карла Великого, которое представляет собой достопримечательнейшую эпоху новой истории. Добродетель и таланты сего государя не принесли пользы для его Империи, которая заключала в себе большую часть Европы. То ли французы были еще слишком невежественны, что невзлюбили тот едва зарождавшийся среди них образ правления, то ли преемники Карла неспособны были заставить уважать законы, временем и обычаем не освященные, но прежние пороки вновь явились с прежними страстями, и государство стало добычей тех же раздоров, что возмущали оное при Меровингах. Враждебные друг другу государи и вельможи оспаривали верховную власть, которую Карл Великий хотел вложить в руки нации, и в конце концов уничтожили ее. Пока народ, неспособный защищать свои права, во всем приносился в жертву алчности вельмож, и должно было возникнуть столько независимых княжеств, сколько было сеньоров, способных удерживаться на своих землях. Из лона такого безначалия возник некий род права и политического устройства, способствовавший соединению всех раздробленных частей государства. Оставалась одна лишь тень зависимости: сеньоры согласились соединиться друг с другом и принесли в том клятву и обет. Именно это и было названо феодальным правлением.

Именно сия перемена во франкской Империи, заключавшей в себе значительную часть Италии, Германии до Балтийского моря и некоторые области за Пиренеями, стала первопричиной общеевропейских перемен. Вильгельм Завоеватель основал, как всем известно, феодальное устройство в Англии и вскоре независимость его баронов возбудила тщеславие шотландских вельмож, пожелавших пользоваться равными прерогативами. Испанские сеньоры пришли к той же мысли в соседних, находившихся под владычеством французов, областях, или заимствовали ее у крестоносцев, пришедших защищать их от мавров. Близкое к этому устройство утвердилось и в Италии. Можно предположить, что поляки и датчане в подражание тому, что видели они в Гер-

мании, восприняли также некоторые обычаи правления, сообразно с их нравами и политическим устройством.

Итак, феодальное правление, как Вам уже известно, Ваша светлость, распространилось почти на всю Европу. Повсюду обет и клятва служили узами между сюзереном и вассалом, но они возлагали на тех и на других неодинаковые обязанности. Если сеньоры были слабы, то договоры лучше соблюдались, зато против могущественных все права были двусмысленны, все обязанности неопределены, ибо ссоры решались оружием, а военное счастье никогда не бывает постоянным. Власть сеньоров над подданными своих земель превратилась в жесточайший деспотизм, но между самими сеньорами царило самое анархическое безначалие.

Однако невозможно, чтобы люди, всегда снедаемые желанием благополучия, не почувствовали необходимости устранения беспорядков, жертвами коих они постоянно пребывали. Крайности злощастия направляли умы к сближению между собой. Были заключены договоры и новые соглашения, кои послужили своего рода уздой для страстей. Добившись некоторых успехов, люди почувствовали необходимость утвердить еще более соразмерную взаимозависимость и, не зная, как подступиться к этому, освободили народ, умножили обязанности вассалов по отношению к сюзеренам, позволили последним присвоить себе новые прерогативы, и короли, как верховные властители, оказались облеченными новой властью, которая дала им возможность заявлять новые притязания: здесь мне уже видится монархия, поднимающаяся на развалинах феодального правления.

Сейчас не место раскрывать различные причины, благоприятствовавшие сей перемене. Заметьте только, Ваша светлость, что чем порочнее правление, тем менее имеет оно средств к существованию. У сюзеренов, вассалов, у простых подданных, у всех были основания для недовольства варварским ленным устройством. Все лелеяли в мыслях своих его разрушение, и оно не удержалось бы в Германии, если бы не институт курфюрстов⁶⁵, и если бы сеймы, сохраняя в себе остатки общественной власти, не были выгодны всем князьям и не давали им средства возместить все то зло, на которое они жаловались. Повсюду в других странах наследственные короли пользовались уважением, благоприятствовавшим распространению их власти. В то время, как для принижения аристократии они поддерживали внутри нее раздоры и старались возвысить третье сословие, притесняемое сеньорами духовенство, полагая примером мудрейшего устройства монархическое правление иудеев, не переставало содействовать успехам монархии. Государи пробовали становиться и законодателями, вводя благоприятные для всех законы. Они создали суды, где воля их вскоре стала почитаться государственным законом. Они содержали регулярные войска и, с меньшей строгостью требуя службы от ленов, таким образом ослабили сеньоров и в случае, если бы те попытались возмутить об-

щественное спокойствие междоусобными войнами, получили возможность обращаться с ними как с мятежниками. Иногда собирали они свой народ как бы для совета, на самом же деле ради того, чтобы не посеять в нем тревогу чересчур откровенным самодержавством.

Вскоре внешние войны пришли на смену войнам междоусобным, и новые выгоды породили новый образ мысли. Благодаря торговле и заключенным трактатам народы соединились между собой, образовали союзы, и каждый из них меньше занимался собственными своими делами, не жели тем, что прямо до него не касалось. Постепенно нравы смягчились. Новые потребности способствовали совершенствованию искусств. Торговля делала быстрые успехи. Новый Свет распространил несметные сокровища по всей Европе, между тем как отважные мореплаватели привозили нам предметы роскоши и разного рода излишества из самых отдаленных стран Азии. Среди людей, исполненных мечтаний о рыцарстве, честолюбии, богатстве и удовольствиях, государям легко было придать своему правлению желанный образ.

Действительно, с такой покорностью и спокойствием отдавались народы на волю случая, что, не испытав того потрясения, которое вызвали в умах религиозные споры, никогда не обладали бы они достаточным мужеством, чтобы попытаться свергнуть иго, под коим пребывали. Неограниченная власть мало-помалу делала успехи, и чрезмерные ее злоупотребления могли вызвать одни только бесполезные мятежи, поскольку люди ненавидели тиранию, не любя свободы и, как это ни смешно, отвергнув первое, не утвердили бы второе.

Никогда, — говорит один прославленный историк, — без нововведений Лютера и Кальвина, без иступленного рвения пуритан и упорства духовенства, стремившегося сохранить единообразие церковных обрядов, Англии не удалось бы установить ту форму правления, коей ныне она может гордиться. В самом деле, утомленная постоянной борьбой ради укрепления шаткой свободы, она в конце концов привыкла к зрелищу попираемой Великой Хартии и уже довольствовалась пустыми обещаниями соблюдать ее. Правление Генриха VIII было тираническим, но не привело, однако, к мятежу. Эдуард и Мария правили властно и сурово, и подданные ограничивались тем, что ненавидели их, но не восставали. Елизавета, покорив англичан своим благоразумием и твердостью, привила им опасное равнодушие, а Стюарты, ее преемники, без труда и без особых ухищрений, воспользовались бы таким положением ради утверждения истинного деспотизма, если бы ревность к вере не пришла на помощь интересам государства. При тогдашнем положении Англии один только фанатизм веры побуждал презирать богатство, удовольствия, удобства жизни и предпочитать мученичество и смерть ради свержения существующего правления⁶⁶.

Рассуждение господина Юма вполне справедливо, и то, что он говорит об Англии, следует отнести и к Соединенным Провинциям. Они никогда не вознамерились бы свергнуть испанское иго, если бы им внушало страх только суровое и жестокое правление Филиппа II, и

были бы стеснены одни только их политические привилегии и исключительные права. Они довольствовались бы тем, что роптали, жаловались да подавали бы представления. Время от времени возгорались бы неблагоразумно начатые и плохо поддержанные бунты. Мятежникам вскоре надоело бы навлекать на себя суровые кары, не свершив никакого благого дела, и для того, чтобы избежать величайших бед, каждый старался бы смягчить своего властелина услужливостью. Но никакая осмотрительность не могла бы укротить недовольных, когда им угрожала инквизиция, и, как они полагали, в опасности оказалось само спасение их душ. Только тогда начали они помышлять о создании республики, когда убедились, что им осталось только единственное средство сохранить новое учение и очиститься навсегда от того, что они называли суевериями и тиранией римской церкви.

Именно лютеранство дало шведам возможность унижить духовенство, деспотизм коего причинил столько зла, и навсегда закрыть вход в свои владения датчанам. В то время, как в Богемии и Венгрии умы были воспламенены и раздражены церковными раздорами, эти два королевства могли похвастаться тем, что они пользуются свободой. С тех же пор, как у них погасло религиозное рвение, лишились они и свободы. Весьма вероятно, что без разного рода религиозных выступлений в Империи, Германия не сохранила бы присущий ей образ правления. Австрийский Дом, уже достаточно могущественный и богатый, чтобы почитать императорскую корону своею собственностью, мог утратить, обольстить, подкупить и развратить принцев и сеймы Империи. Политика почти всегда является жертвой сиюминутной выгоды, и весьма редко государство бывает столь благоразумно, чтобы предвидеть то зло, приближение коего еще не чувствительно для него. Честолюбивые виды могли побудить к действию князей, противившихся Карлу Пятому и его преемникам, но лишь высшие интересы, превосходящие всякие политические соображения, могли дать им новые силы и внушить немцам твердость, чтобы противостоять австрийскому честолюбию и в конце концов восторжествовать над ним.

Сколь бы ни было порочно феодальное правление, какое бы зло ни причинило оно нашим праотцам, некоторые народы, вероятно, обязаны ему тем, что живут ныне под умеренным правлением, где они не подвержены ни свободе, ни угнетению. Многие государи, рожденные со страстями Тиберия и Нерона, чинили насилия и были бы тиранами, как и они, если бы такое же стечение обстоятельств породило в них те же надежды и тот же страх. Но подданные привыкли почитать государей, признавая их превосходство над собой. Монархам не приходилось проливать потоки крови, ибо они были уверены, что во всем преуспеют без излишней поспешности и неприметным образом. Итак, несмотря на порочность некоторых государей, монархия оказалась склонной к проявлениям благодати и умиротворения и обнаружила в себе особые черты, кои мы не находим у древних. Переход от свободы к рабству был у римлян весьма непродолжителен. Для утверждения

своего могущества Августу пришлось истребить самых ревностных к свободе граждан и тех, кто имел выдающиеся заслуги⁶⁷. Его преемники всегда полагали, что окружены врагами, коих должно уничтожать, это-то обстоятельство и делало их политику жестокой и укореняющей гнет⁶⁸.

Но, поскольку феодальное правление дало вельможам силу, доверие, уважение и права, каковых можно было лишить их далеко не сразу, государи научились продвигаться вперед шаг за шагом и даже отступать, если они чувствовали, что зашли слишком далеко. Они понимали, что прежде чем упразднить обычай, который был им противен, надлежало в несколько приемов ослабить и поколебать оный. Однако с упразднением сего обычая не смирялись гордость и мужество, кои вдохновлялись им. Сеньоры потеряли независимость своего суда. Они уже более не могли создавать новые феоды, освобождать своих подданных или налагать на них новые повинности, а тем более объявлять друг другу войны, ибо почитались в таком случае возмутителями общественного спокойствия, но в то же время государь был еще вынужден щадить их гордость и опасаться их отважной предприимчивости. В этом приливе и отливе власти и независимости возникли обычаи, которые смягчили едкий привкус власти и приниженность повиновения. Эти общественные нравы тем более укоренялись, что не только не вели борьбу со страстями, но сами были их порождением. К тому же Европа исповедовала уравнивающую веру, которая учит нас, что пред Богом могущественнейший монарх ни чем не отличен рядом с презреннейшим из своих рабов. Известно, что христиане не воздвигают своим царям алтарей и после их смерти не воздают им божеских почестей.

Однако, Ваша светлость, среди сего феодального варварства пробудились некоторые понятия о свободе. Большая часть городов, освобожденных грамотами о правах коммун, кои были куплены у сеньоров, завели свои собственные магистраты и городские советы, но они все еще носили на себе знак рабского состояния и глубочайшее их невежество не позволяло заложить прочные основания более свободного правления. Только те города процветали, которые по своему местоположению около моря или на берегах какой-либо большой реки могли вести торговлю. Города эти пользовались известным значением, которое доставляло им богатство; они соединялись в единый союз городов, порою внушали страх своим соседям, но все-таки существование их было непрочным. Богатство было великим искушением для прежних их сеньоров; и по мере того, как феодальное правление приближалось к своему падению, а монархия делала все новые успехи, Ганза⁶⁹ ослабевала, и этот союз, еще недавно имевший распространение по всей Европе, теперь уже включал в себя не более пяти или шести городов.

Некоторые из этих городов-республик, страдая от внутренних своих раздоров, тем не менее с успехом защищались от чужеземцев, но их

свободе суждено было угаснуть под тираническим правлением одного из сограждан; такова судьба Флоренции. Генуя, постоянно возмущаемая страстями, более сходными с честолюбием, нежели с любовью к свободе, оставалась республикой только потому, что не могла остановить свой выбор ни на одной из форм правления; каждый новый переворот возвращал ей независимость, отнятую прежним. Богатая, корыстная, мятежная, она в конце концов стала управляться вельможами, кои без особого труда превратились бы в придворных при монархическом правлении. Венеция добилась того, что положила пределы абсолютной власти дождей. Народ выдвинул из своих рядов трибунов, которые ежегодно избирали сенаторов, кои должны были образовывать совет первого магистрата Республики. Но это благополучное правление не пустило глубоких корней. Венецианцы, безмятежно предававшиеся своей торговле, предпочитали богатство свободе. Впоследствии они были наказаны за нерадение к общественным делам, и уже в тринадцатом столетии возвысилась среди них суровая аристократия, которая заглушила внутреннюю свободу и пользовалась уважением только за своими пределами, не иначе как потому, что другие государства пребывали в варварстве и бессилии.

Лишь в горах Швейцарии свобода, плод мужества, величия души и любви к отечеству, одержала самые отрадные успехи. Кантоны Ури, Швиц и Унтервальден, притесняемые своими сеньорами, в начале четырнадцатого века подняли знамя восстания, и восемь лет спустя достопамятное сражение при Моргартене⁷⁰ научило прежнего их повелителя уважать их. Люцерн и Цюрих присоединились к союзным кантонам, и этому примеру вскоре последовали Гларис, Цуг и Берн. Сии храбрые республиканцы, о коих, Ваша светлость, я буду иметь честь говорить Вам пространнее во второй части сего сочинения, были воинственны, но не честолюбивы. Они хотели разделить благоденствие свое с соседями, но не делать из них подданных. Мне кажется, я вижу перед собой Арата⁷¹, вижу, как возникает Ахейский союз; и не без удовольствия вновь мы встречаем у нынешних народов мудрость древних. Фрибург, Золотурн, Базель и Шаффхаузен пожелали, наконец, обрести свободу; и союз их с Гельветической республикой сделал ее более могущественной. Сия последняя, увлеченная природным мужеством, которое заложило ее основы, к сожалению, приняла излишнее участие в распрях соседей, но заблуждение быстро прошло, и вскоре она исполнилась мудрости, повелевающей отнюдь не обольщаться ни теми преимуществами, каковые она имела перед могущественными государями, ни обманчивыми переговорами с ними. Она пользуется своим могуществом только ради достижения благоденствия. Она могла бы внушить страх, но, ведомая мудростию, довольствуется уважением.

Я представил Вам состояние различных государств, основанных северными варварами и Вам, Ваша светлость, легко будет постигнуть, каковы причины того, что ни одной из сих держав не дано было сохра-

нить господство над другими и получить в нынешней Европе то значение, которое было у мидян, персов и македонян в Азии, у спартанцев – в Греции, а у римлян – во всем мире. Вы могли заметить, что феодальное правление, соединявшее в себе все политические несовершенства, чрезмерно ослабляло государства, которые с внешней стороны казались самыми сильными, не давало им возможности успешно действовать вне своих пределов силою оружия или внушить к себе уважение, благодаря неизменному и постоянному благоразумию правления.

Народы, поглощенные собственными раздорами, непрерывно были заняты внутренними войнами, которые продолжались несообразно законам; и прежде, нежели могли они стать опасными для соседей, им надлежало разрушить свое феодальное устройство. Короли, власть коих простиралась на обширное пространство земли, имели лишь то преимущество, что вассалы у них пользовались большей самостоятельностью, а значит, в большей степени были склонны к непослушанию. Самые могущественные государи кормились только от своих доменов; на войне их сопровождали лишь ближайшие их вассалы, служба коих часто была ненадежной и всегда кратковременной, так что едва ли не всегда такие военные выступления не могли иметь важных последствий. При недостатке дисциплины и воинского искусства успех дела решала удача, а она никогда не бывает постоянна. Отсюда происходили те смехотворные перемирия, кои вконец истощенный войной победитель вынужден был даровать побежденному, у которого таким образом появлялось время восстановить потери, чтобы начать еще одну бесполезную войну. Все города, все предместья, все деревни были укреплены; и войсками, с которыми Кир и Александр покорили Азию, они едва ли смогли бы завоевать какую-нибудь провинцию во Франции и Германии.

Вспомните, Ваша светлость, историю Испании, начиная с той достопамятной эпохи, когда граф Юлиан, чтобы отомстить королю Родриго, обесчестившему его дочь, призвал сарацинов⁷², и до того времени, как Фердинанд Католик соединил под своей властью все области, кои составляют ныне Испанскую монархию⁷³. Если мы обращаемся к поведению христиан во время сей долгой, продолжавшейся около восьми столетий вереницы войн, то нас удивляет, что арабы не смогли их быстро подчинить себе. Если же мы смотрим только на то, как вели себя арабы, то нас удивляет, что они после нескольких кампаний так и не были прогнаны обратно в Африку. Сие происходило оттого, что ни те, ни другие не положили в основание своего образа правления принципы неизменного благоденствия. Законы их были в равной степени и жестоки, и порочны. Успехи, кои проистекали от частных и преходящих причин, исчезали вместе с оными. То области Мирамолина раздирались гражданскими войнами, то разгорались междоусобия у самих христиан⁷⁴. Одно упоминание имени Альфонса IV, прозванного Великим, повергало всю Испанию в ужас; каждый день знаменовался

обретением все новых преимуществ, и он готовился уже подавить врагов⁷⁵. Но вот он умирает, и восходящий на шаткий трон Кордовы Альманзор отбрасывает охваченных ужасом христиан в Астурийские горы. Он отнимает у них королевство Леон, Галисию, Старую Кастилию и немалую часть Португалии⁷⁶, но его преемнику, не обладавшему талантами предшественника, не суждено было увенчать себя такими успехами⁷⁷. Ни в чем не обнаруживается решительная воля, ни одно начинание не приводится к завершению, и Испания остается на долгое время разделенной между враждебными народами, которые погрязли почти в одних и тех же пороках, в равной степени пагубных для всех.

Но почему позволил я себе остановиться несколько долее на злочастиях страны, столь близкой Вашему сердцу⁷⁸? Те же причины, которые в течение многих веков питали безысходное соперничество между христианами и арабами Испании; те же самые причины возжидали честолюбивую и бесплодную ненависть в Европе на протяжении трех столетий. Не благодаря нашей добродетели и нашей силе, — говорил Цицерон, — существуем мы ныне, но вследствие невежества и глупости врагов наших, не умеющих воспользоваться нашими пороками и ошибками, дабы ускорить наше падение, к коему мы сами стремимся⁷⁹. Не было в Европе государства, которое бы в то самое мгновение, когда оно строило честолюбивые замыслы расширения своих земель, не могло сказать о себе то, что говорил Цицерон о Римской республике. Действительно, разве Франции при Карле VIII необходимо было господство над Италией⁸⁰? Карл Пятый обладал редкими талантами, но если он хотел свершить великие дела, то почему задавался он целями, кои были выше его сил? Почему не препятствовал он неосуществимым замыслам возвышения своего дома? Что дало могущество Людовика XIV, удивившее Европу? Какую выгоду извлекают для себя англичане из посягательств, истощающих их силы⁸¹?

Те же пороки, Ваша светлость, те же политические ошибки, что подерживали в Испании некоторое равновесие между народами, добивавшимися господства внутри нее, обуздывали в Европе тех государей, кои стремились к всемирной монархии; и честолюбцы, желающие им подражать, не должны ожидать для себя лучшей участи. Едва возникает в Европе великая держава, как она неминуемо начинает слабеть вследствие злоупотребления своими силами и достоянием. Люди снедаемы беспокойством и суетой, но лишены истинного честолюбия. Поскольку государства весьма велики и обширны, политика неспособна расширять их еще больше. Происки дворов, частные интересы влиятельных царедворцев решают все; а разве не видим мы, что Римская республика тогда только утратила силу, когда именно такие пороки опустошили Форум? Лесть всегда будет употреблять во зло мужество и возвышенный ум государей, дабы посеять в них химерические надежды. Едва они начнут действовать, как будут вынуждены прибегнуть к изворотливости; но ведь не такими уловками возвышает государство свой жребий.

Не ищите в Европе никакой последовательности, никакой предусмотрительности, никакой определенности, никакой связи; напротив, Вы встретите здесь на каждом шагу странные противоречия, великие проекты и ограниченные средства. Вы увидите государей, которые хотят быть завоевателями и усматривают в своем народе военный гений. Вы увидите многочисленные армии и наемных солдат, набранных среди отбросов общества. Здесь порою задумываются о всемирной монархии, а взятие какой-нибудь жалкой крепости считают важным завоеванием. Тот же самый государь, который хочет иметь воинственный народ, внушает ему склонность к торговле и роскоши, чтобы умножить прибыль своих таможен. Выказывают много честолюбия, но прилагают мало усилий, а надлежало бы наоборот, обнаруживать много усилий и мало честолюбия. Проводя подобную политику, даже и могучая держава при малейшей перемене должна неминуемо потерпеть неудачу, истощить себя в самих успехах, но отнюдь не подавлять при этом государство более слабое, нежели она сама. Европа пролила больше крови, истратила больше денег, применила больше военных хитростей, происков и обманов, нежели того требовалось бы для завоевания всего мира; между тем ни одно государство на деле не улучшило тем своей участи. Когда я думаю о наших войнах, то, мне представляется, я вижу изнуренных страданиями едва только вышедших из лазарета людей, которые, не имея сил поддерживать друг друга, единоборствуют, сражаются одни против других и после малейшего напряжения сил просят пощады и дозволения отдохнуть.

Почему же ныне какое-то одно государство хочет владычествовать над целой Европой, прибегая к жестокой, алчной и честолюбивой политике, которая лишила спартанцев господствующего положения в Греции? В противоположность этому и благодаря совершенно иному образу действий, нежели тот, коим пользуемся мы, римляне покорили весь мир. Беспристрастные законы, мужественные, но подвластные им правители, граждане, свободные, но сознающие, что нет свободы для тех, кто не любит законов, гражданские добродетели, воинские доблести, любовь к славе, любовь к отечеству, строгая и благоразумная дисциплина — они имели все, что необходимо для достижения мужества. Они могли внушать ужас, но, привлекая к себе союзников великодушием, даже врагов своих не хотели доводить до отчаяния. Почему же теперь европейские государства (добродетели и пороки коих суть почти одно и то же), обладающие тем же гибельным честолюбием, которое выказали римляне при своем падении, дерзают открыто стремиться к той же участи?

Сравните, Ваша светлость, политику, проводимую самыми честолюбивыми государями Европы, с деяниями Кира и Филиппа Македонского, и Вас нисколько не удивят разительные отличия в том, чего удалось достичь тем и другим. Оба помянутые государя вызвали необычайную перемену в мире и на короткое время возвели свои государства на высочайшую ступень величия и могущества, поскольку

прежде всего придерживались они правил, предписанных самой природой ради благоденствия государств. Прежде чем предпринять великие начинания, исправили они пороки своих народов, искоренили злоупотребления и, облеченные, казалось, одной только властью законов, притворились, что терпят эту власть, дабы склонить к тому своих подданных. Не праздный и порочный двор покинули Кир и Александр, идя сражаться с врагами. В то время как почитали они себя скорее правителями, а не повелителями, персы и македоняне, воодушевленные их примером, стали почитать себя гражданами свободного государства и обрели добродетели, присущие оным. Каким-то чудом, как говорит о том Тацит, величие империи сопряжено было с общественной свободой: благодаря осторожному благоразумию государя стало возможным правление, соединившее в себе разнородные начала⁸². Тогда, прививая подданным любовь к отечеству и славе, легко было воспитывать их в самом суровом повиновении, вызывать в них величайшее мужество и терпение, и в конце концов сделать их способными к великим свершениям.

Обратившись к Ксенофону, Вы узнаете, сколь привязан был Кир к правилам справедливости по отношению к своим подданным и как боялся разжечь страсти своих соседей⁸³. История расскажет Вам, что Филипп, движимый прирожденным гением, равным по силе его честолюбию, напрягал тысячи усилий, чтобы скрыть сие последнее, и старался казаться правосудным в начале своих дел, умеренным и даже благодетельным — после одержанных побед.

Говоря с Вами, Ваша светлость, о причинах, воспрепятствовавших новейшим государствам обрести тот блеск, коим отмечены были некоторые знаменитые народы древности, я открыл Вам, если не ошибаюсь, причины, поддерживающие, несмотря на всю их слабость, существование этих государств в течение столь долгого времени. Именно от их бессилия сокрушить друг друга проистекает длительность их существования. Предавшиеся порокам с тех пор, как деньги стали нервом войны и мира, и наносящие друг другу несмертельные раны, государства нынешней Европы приведены были в полное изнеможение, всегда препятствующее победителю нанести последний удар побежденному. Всякое государство пребывает на краю пропасти, но ни один из врагов не имеет ни способности, ни силы столкнуть его туда.

Какова бы ныне была участь Франции, если бы преемники Людовика XI, вместо того чтобы предаваться страсти к завоеваниям, поддерживали с соседями мир, водворяли в королевстве своем изобилие и довольство, и установили бы те целительные и священные законы, кои внушили бы страх, но лишь после того, как застывили бы себя любить и уважать? Какой славы, величия и могущества не достиг бы Австрийский Дом, если бы Карл Пятый, государь столь же ловкий, сколь и честолюбивый, не терзая Европу и не изуряя понапрасну самого себя, приблизился, насколько могли позволить ему обстоятельства, к законам, с помощью коих природа повелевает государствам

быть счастливыми? У меня было искушение проследить эту мысль, но я ограничиваюсь тем, Ваша светлость, что предлагаю Вам самому свершить этот труд. Сравните то, что принесло бы австрийским государям одно столетие справедливости, мудрости и умеренности с тем, чего лишили их два столетия интриг, войн и честолюбия.

Постарайтесь еще постигнуть, каков был бы жребий Европы, если бы тот переворот, благодаря коему венецианцы лишили своего дожа власти, имел у них те же последствия, что и возмущение Тарквиниев у римлян. Предположите, что народные трибуны Венеции утвердили свободу на незабываемых основах; предположите, что законы стали беспристрастными и приобрели неограниченную власть над гражданами и магистратами; вообразите, что в Венеции утвердились те же нравы, те же послушание и умеренность, каковые существовали в Лакедемоне, или те, каковые были в Римской республике, и Вы поймете, если я не ошибаюсь, что венецианцы приобрели бы в Европе такое же уважение, каковым спартанцы некогда пользовались в Греции, или ту власть, которую римляне получили над всем миром. Занятие сие, сколь бы химерическим на первый взгляд оно ни показалось, не будет для Вас бесполезным; оно послужит к тому, что политические истины, мною Вам представленные, глубже запечатлеются в Вашей памяти, и, что всего предпочтительнее, Ваша светлость, это занятие сделает их любезными Вашему сердцу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Предмет сей второй части.

Общие рассуждения о некоторых государствах Европы, где государь обладает всей полнотою власти

Пять истин, кои, Ваша светлость, я только что имел честь изложить Вам в первой части сего сочинения, суть общие следствия изучения истории. Что бы ни говорили, именно в этом состоит наука сделать государства счастливыми и процветающими, прочее есть не что иное, как чистое шарлатанство, коим интриганы и честолюбцы прикрывают свое невежество и скверные свои намерения. Шарлатанство, которое осмеливаются называть политикой, пригодно лишь для того, чтобы вводить в заблуждение народы и на время смягчать их беды. Двигаясь наощупь, всегда в зависимости от обстоятельств, от страстей и случайностей, сия политика по произволу судьбы то несет с собой благополучие, то злосчастие. Сегодня, пользуясь теми же средствами, кои способствовали ее успеху вчера, она терпит неудачу, и невозможно извлечь из ее невзгод или из ее удач никакого определенного принципа, никакого твердого правила.

Я уверен, вспомнив следствие и связь исторических факторов, мною Вам показанных, Вы с каждым днем все более будете убеждаться в том, что счастье есть плод мудрости. Но Вы не должны, Ваша светлость, останавливаться на этом. Теория — ничто, если за нею не следуют дела, и истина не должна быть бесполезной в руках государя. Поскольку Вам известны источники, в коих политика черпает благоденствие, то прежде всего употребите сие познание к собственной Вашей пользе. Говорите себе всякий день, что сделаете Ваших подданных счастливыми, что это Ваш долг и что, исполняя оный, Вы будете чувствовать истинное удовлетворение. Прежде, нежели начнете Вы править герцогствами Пармой и Пьяченцей, прежде чем Вы помыслите о преобразовании оных, обратитесь к изучению нынешних европейских правлений, дабы судить о том, которые из них больше приближаются или удаляются от правил, предписанных самой природой. Взвизывая на различные формы, кои приняло европейское сообщество, Вы почувствуете, как развиваются и умножаются способности Вашего ума. Картина сия, быть может, более занимательная, чем история прошлых веков, сделает для Вас более осязательными истины, близ-

кие Вашему сердцу. К тому же такое изучение совершенно необходимо для государя; от сего зависит безопасность его. Как будет он благоразумен с чужеземцами, если не знает, чего следует ожидать от правления того или иного народа, чего опасаться?

Я не буду распространяться здесь о разных странах, где власть чисто монархическая, то есть где государь обладает всей полнотою власти. Хотя и бывают великие государи, достойные любви, уважения и доверия своих подданных, есть однако же основания опасаться, что изложенные мною рассуждения о деспотизме вообще не всегда могут быть отнесены к каждой стране, где воля государя является законом. В самом деле, если бы можно было представить себе во главе государства всеобъемлющий гений, если бы монарх обладал всеми добродетелями Аристиды и Сократа⁸⁴, я уверен, что все равно государство его подвержено будет многим несправедливостям и злоупотреблениям. Поскольку не сможет он ни всего видеть, ни всего делать сам, неминуемо почувствует он посреди дел своих, что отягощен бременем, превышающим силы человеческие. Согласен, можно быть счастливым, но что есть счастье в жизни государя, могущее ускользнуть в одно мгновение? Страх перед будущим не позволяет наслаждаться настоящим; подданные могут оказывать доверие государю, но откажут в нем правительству, которое после него останется.

Я чувствую, Ваша светлость, сколь щекотлив тот предмет, о котором я рассуждаю во второй части своего сочинения. Мне слишком известны предрассудки и страсти, управляющие большей частью людей, чтобы не знать, что осмеливаясь делать замечания о нынешних правлениях Европы, я тем самым предаю себя на некий публичный суд. Но, Ваша светлость, заставьте замолчать моих судей, ответьте им, что любите истину и что именно я должен раскрыть ее перед Вами, и если мои рассуждения верны, то нужно воспользоваться ими, если же я ошибаюсь, то все-таки должно быть мне признательным за предпринятый мною труд. И, наконец, присовокупите, что правило, которое запрещает замечать ошибки и заблуждения правительства, есть правило вредоносное, измышленное врагами общества и защищать его могут только те, кто извлекает пользу из зловредных установлений и боится благотворных законов.

Если бы я представил Вам, Ваша светлость, истинную картину нынешнего состояния большинства монархий Европы, то сказанное мною Вам сегодня, быть может, не было бы справедливо завтра, ибо главный порок этих правлений заключается в том, что они следуют одним только зыбким, неопределенным и переменчивым правилам. В свободных государствах народное правление сообщает черты своего характера магистратам; при монархии характер государя впечатляется и на законах, и на делах. Но, по величайшему несчастью, весьма часто министры и прочие особы, на которых возложены важные обязанности, не обладают твердыми правилами, поскольку привыкли руководствоваться благосклонностью монарха, непостоянство коей вынуждает

их повседневно менять свои намерения. Людми повелевают разного рода случайности, которыми они сами должны повелевать, и, следовательно, капризы фортуны решают все.

Хотя во всех монархиях Европы государь обладает верховной властью, употребление оной не везде одинаково. Нравственные качества всякого народа имеют некоторые особые свойства, ограничивающие власть — несмотря на то, что она не признает для себя никаких препон. Древние предания, законы, предрассудки, страсти образуют в каждом государстве общественные нравы и то, что называется обыкновением и манерой поведения; все это до известных пределов признается даже монархами. Самовластный государь тщетно говорит себе, что может все; чувствуя, что он и сам — всего лишь человек, и что если он будет раздражать и возбуждать негодование всех подданных, то не сможет противопоставить им ничего, кроме тех сил, коими обладает один только человек.

Как французы, так и русские согласны в том, что государь есть верховный законодатель: однако во Франции монархия иного свойства, нежели в России. Во Франции магистры во всей их совокупности пользуются любовью и уважением и считают себя блюстителями законов. Отдавая все государю, почитают они ведение своих бумаг делом весьма важным и привыкли говорить (хотя и без особой, может быть, в то веры), что законодатель должен управлять в соответствии с законами. Российский же сенат, напротив, далекий от того, чтобы осмелиться изменить или отвергнуть закон, счел бы себя повинным в оскорблении Его Величества, если бы вознамерился обсуждать его; он полагает, что, в сущности, законодательная власть не имеет никакого ограничения и может по своему усмотрению изменить, отменить и упразднить любой закон. Царь стоит во главе церкви, и религия, которая до некоторой степени подчинена правительству, еще более усиливает его власть. Французское духовенство, свободное и независимое в религиозных и церковных делах, оказывает влияние на правительство, которое знает, что ему отнюдь не пристало поднимать руку на духовную власть. В то время как русское дворянство, которое никогда не обладало ни властью, ни влиянием, не испытывает гордости за самое себя и носит наименование свое лишь как предмет пустого тщеславия, французская аристократия — аристократия, которая сохранила воспоминания о старинных своих прерогативах — все еще видит в них непреложное свое право и продолжает этим гордиться. Она сохранила свои, особые обычаи, переданные ей и низшему дворянству, которое исполнено гордости таким подражательством. Все послушны правительству, но полагают в то же время, будто повинуются они и тому, что называют они своей честью. Французская нация насаждает науки и искусства; тщеславная, легкомысленная, рассеянная, остроумная, кичливая, ветренная, непостоянная, она воспитала в себе утонченный и изысканный вкус к приличиям и обходительности, кои было бы опасно задевать. Ничего этого нет в России. В каком-ни-

будь ином государстве люди по невежеству своему, несправедливости или варварству разделяются на различные классы, здесь же оказались они в последнем. Заметьте, Ваша светлость, что равенство, которое создает свободных граждан в свободных государствах, в других странах способно лишь к тому, чтобы сделать иго деспотизма еще более тягостным. Царь говорит – вот закон: и пока не задевает он предрассудки или интересы гвардии, и она позволяет ему оставаться на троне, он – неограниченный властелин.

Хотите ли Вы познать силу той власти, которую гений всякого народа направляет на самое себя? Достаточно только проникнуть в собственное свое сердце и наблюдать, сколь доверчиво предаемся мы разного рода нелепостям, посреди коих рождены, как нелегко разуму разрушить усвоенную цепь привычек. Какова же должна быть участь целых народов, захваченных весьма распространенным предубеждением, которое ими повелевает и занимает у них место разума, мудрости и зрелого размышления?

Сто лет назад Дания еще имела избираемого государя и Генеральные Штаты, которые стремились ограничить власть короля и сената лишь проведением законов в жизнь. Однако же меры для утверждения этой формы правления не привели ни к чему хорошему: сенат злоупотребил ими, дабы присвоить себе права, ему не принадлежавшие. Он устранял самую сущность законов, и под предлогом проведения их в жизнь или сотворения величайшего блага на самом деле не приводил в исполнение ничего, кроме собственных своих повелений. Покровительствуемый в такой узурпации дворянством, неправомерные действия которого он защищал, сенат стал ненавистным и внушающим страх королю, духовенству и народу. Притеснение соединило притесняемых, и в 1660 г. Штаты, уничтожив могущество сената и дворянства, даровали королю неограниченную власть⁶⁵.

Обратитесь к одному только акту, коим Генеральные Штаты отказались от власти, вручая ее королю, и Вы подумаете, что король Дании – не кто иной, как настоящий копенгагенский султан. Датчане, казалось, сделали еще более утонченным искусство рабства; говорили, что они почитали самое незначительное проявление свободы или самую надежду на нее источником всех бед своего народа. Почему же эти грозные монархи продолжали править с такою же умеренностью, как и другие, менее могущественные государя? Только потому, что они вынуждены были считаться с нравственными представлениями народа, который и в порабощении своем сохранил присущие ему достоинства свободного народа. Не страх и не дух рабства вызвали в 1660 г. общенародное возмущение, а то, что датчане были мужественны и не могли привыкнуть к господству дворянства, то, что их гордость восставала против тирании сената. Они в своем порыве предали слепой ненависти. Никакое унижение врагов своих народ не считал чрезмерным, он сам возложил на себя оковы и лишился всех средств к восстановлению свободы. Это торжество, этот странный и нелепый

поворот событий сделал нечувствительным для народа собственное его рабское состояние и даже породил в нем гордость. "Вы хотели нас угнетать, — говорили датчане, обращаясь к сенату и дворянству, — но отныне мы притесняем вас". Они убедили себя в том, что после благодеяния, оказанного ими государю, он будет их другом и покровителем. Но среди деспотизма сии странные мысли поддерживали свободные и независимые нравы. Корень оных не был исторгнут, привычка сохраняет их донныне, и покуда они существуют, датские короли будут считаться с ними более, нежели с законами, позволяющими государям делать все, не страшась наказания.

Старайтесь узнать, Ваша светлость, характер всякого народа, и Вы увидите, что всякое государство в большей или меньшей степени клонится к деспотизму, смотря по тому, насколько умы дерзают мыслить сами по себе или же довольствуются одними только раз привнесенными в них идеями. Существуют народы, не умеющие терпеть ни совершенного рабства, ни полной свободы; и в этом случае страсти подданных питают страсти государя. В таком смешении гордости и низости нация еще может вызывать уважение; она носит в себе самой силы, способные приводить ее в движение и побуждать к действию; она может еще надеяться на успех и блеск процветания. Что еще извлечете Вы из всех этих рассуждений? Вы будете думать о том, что чем искуснее монархия в своем стремлении стать поистине неограниченной, тем в большей степени она действует против истинных выгод самого монарха. То, что она почитает преимуществом, на деле оборачивается истинным унижением. Чем больше власть государя над подданными, тем менее внушает он страх и уважение соседям и недругам; по мере того, как могущество такого монарха возрастает внутри страны, народ его будет казаться слабее за ее пределами.

Благоволите обратить внимание на то, какие страсти и свойства больше благоприятствуют сдерживанию монархии в известных пределах, и Вы узрите это в истории народов, которые в течение долгого времени защищали свою свободу, равно как и в истории народов, кои оказались рабами прежде, чем догадались, что им грозит потеря свободы. Но повинен ли какой-либо народ в непостоянстве и легкомыслии? Вверяется ли он с легкостью нововведениям? Дорожит ли он своими древними установлениями? Вы должны понять, что неосмотрительность его не является добрым предзнаменованием на будущее. Но, не останавливаясь на подробностях, и удовольствуюсь лишь замечанием о том, что развитию деспотизма способствуют главным образом три причины: страх, роскошь и бедность.

Быстрота, с каковой римляне, более других народов древности страшившиеся тирании, перешли от величайшей свободы к тягостнейшему рабству, доказывает, что страх имеет над нашими умами великую власть. Гонения Октавиана, Антония и Лепида до такой степени привели в оцепенение души римских граждан, что они с обожанием взирали на своего тирана, когда он, не считая уже нужным проливать

кровь ради безмятежного царствования, желал казаться человеколюбивым⁸⁶. При Тиберии они с такой готовностью устремились навстречу игу, что этот государь, самый робкий и недоверчивый из людей, порою сожалел о том и выказывал желание вновь обрести в подвластной ему стране хоть какие-нибудь следы внушавшей ему опасения свободы⁸⁷. Не будем удивляться этой перемене в народе, который уже воочию видел Брутов и Кассиев⁸⁸. Когда невинный не может более рассчитывать на свою невинность, когда честный человек уже не рассчитывает на свою безопасность, когда угрожающие нам бедствия столь велики, что мы поглощены исключительно самими собою, то страх уничтожает, так сказать, все способности нашей души, и политика уже бессильна избавить нас от этой всепоглощающей страсти. И Вы не раз уже наблюдали это. Марк Аврелий тщетно пытался сложить с себя часть своей власти и даровать сенату и городу Риму хоть какое-то достоинство⁸⁹; страх слишком тяготил умы, и рабство уже породило любовь к себе.

Может быть, души не менее опустошаются под влиянием роскоши, нежели под действием страха, и деспотизм зачастую с успехом пользовался ею. Всякая чрезмерная потребность, порождаемая роскошью, является целью, которая скует нас по рукам и ногам. Роскоши свойственно унижать умы до такой степени, что они уже не почитают и не уважают ничего, кроме роскоши: с этого времени нами управляют лишь самые презренные страсти. Состояние средней руки представится величайшим из зол, а несметное богатство покажется нам всего лишь небольшим достатком. Мы продадим ни за грош нашу свободу, ибо уже не в состоянии понять истинную ее цену.

Есть бедность, которая порождает добрые нравы, которая является душою справедливости и вершит великие дела; эта бедность довольствуется необходимым и презирает богатства. Но та же бедность, будучи следствием роскоши и вымогательства правительства, плодит на свет мятежников, кои стремятся к нарушению спокойствия государства, чтобы было удобнее грабить, или наемных солдат, требующих одной только платы. Зло достигает крайней степени, когда подданные живут только благодеяниями правительства, и, не надеясь уже ни на бережливость свою, ни на трудолюбие, привыкают к своей нищете и почитают праздность величайшим благом.

ГЛАВА II

*О правлении Швейцарских кантонов,
Польши, Венеции и Генуи*

Швейцария являет Вам, Ваша светлость, картину федеративной республики по образцу древних греков. Если в этой счастливой стране нет своего Лакедемона, то все кантоны, должно признать, во многом благоразумнее, нежели остальные города Греции. Никакое соперничество не сеет между ними розни, ибо объединены они почти теми же союзами, кои объединяли греков. Основание, на коем покоится мудрость швейцарцев, должно быть весьма прочно, дабы государства свободные, независимые, не равные силою и не имеющие одинакового строя, не испытывали бы ни честолюбия, ни страха, ни ревности к другим. Те же религиозные распри, кои воспламенили столько войн и возбудили повсюду вечную ненависть, вызывали среди них незначительные волнения. Фанатизм и мщение оставили в их душе столь неглубокие следы, что искренний мир быстро восстановил согласие: раздоры швейцарцев показали, что они тоже были людьми, а последствия подтвердили, что они были мудрейшими из людей.

Именно в Швейцарии сохранились самые правильные и самые естественные представления об обществе; там не верят в то, что один человек должен быть принесен в жертву другому человеку. Немецкий крестьянин в кантоне Берн убежден, не выказывая при этом никакой спеси, что магистраты — это не что иное как управляющие его крестьянских дел. Вы воочию увидите граждан, с почтением и без страха повинующихся беспристрастным законам. Магистрат, лишенный всякого наружного великолепия, без каких-либо знаков отличия и вышедший их цеховой корпорации, отнюдь не кажется облеченным той внушительной властью, в которой нуждаются в иных странах законы для поддержания своего величия. Замечательна простота швейцарского правления, и вся машина приводится в движение малым числом пружин. Почему же их движения точны, правильны и быстры? Почему не наблюдаем мы в Швейцарии интриг, происков и возмущений, столь обыкновенных в других свободных государствах? Почему кантоны не утомляют друг друга постоянными тяжбами, взаимными опасениями и подозрениями? Почему швейцарцы, возвратив себе свободу и утвердив ее с оружием в руках, как будто с состраданием взирают с высоты своих гор на ребяческие, но жестокие смуты в Европе и не принимают в них участия?

Именно потому швейцарцы добронравны и не обременены бедственными нашими страстями, что основывая свою республику, они постигли ту великую истину, что благосостояние проистекает не от богатства, роскоши, изнеженности, честолюбия или тирании, и что прямодушие есть самая надежная опора правления. Вы часто будете иметь случай примечать, Ваша светлость, что законодатели постоянно

отягощают народ бесполезными законами лишь потому, что с самого начала пренебрегли упорядочением нравов. Они оставили без внимания то обстоятельство, что людские пороки возрождаются и умножаются с удивительной быстротой, если самое средоточие сих пороков остается не тронутым. Увеличив число магистратов, распространив их власть, они хотели придать силу законам и достоинство правлению, но следовало бы предвидеть, что новые законы будут уважаться не более древних и что сотня продажных магистратов не стоит одного честного.

Законы против роскоши, лишая швейцарцев большей части того, что почитают нужным для себя другие народы, приучили их души к умеренности, воздержанности, труду и бережливости и делают излишним большое состояние, коим они не дерзали бы и не умели пользоваться. Среди граждан нет неимущих, ибо нет среди них обладателей больших состояний: таким образом республика не знает ни пороков богатства, ни пороков бедности. Из сего источника происходит беспристрастие законов. Все им повинуются, ибо все они кажутся справедливыми, и магистрат весьма редко может во зло употребить свою власть. Последнее случается только при маловажных обстоятельствах, ибо народ не столь снисходителен к магистратам, сколь снисходителен он к государям.

Если бы пристрастные законы, оскорбляя одну часть граждан, благоприятствовали другой, если бы магистраты могли найти для себя выгоду в том, чтобы быть честолюбивыми и алчными, то те же самые раздоры, кои погубили Грецию, вскоре погубили бы и Швейцарию. Вместо того, чтобы помышлять только о поддержании мира, кантоны стремились бы к земельным приращениям. Они безрассудно вмешивались бы в распри своих соседей и позволяли бы им участвовать в своих внутренних делах, и тщетные переговоры, легковесные ручательства подвергли бы их всем тем злосчастьям, каковых они надеялись избежать.

Швейцарцы, не движимые честолюбием и не подвергаясь поэтому пагубе превратной фортуны, всегда имеют довольно искусных и опытных магистратов. Они не встречают никакого преткновения на своем пути, и никогда ничто не вынуждает их поколебать или изменить принципы правления, прибегая к из ряда вон выходящим средствам ради того, чтобы избежать непредвиденных опасностей, коим непременно подвергается честолюбивый народ. Именно благодаря сему двоякому благоразумию правительства по отношению к собственным гражданам и всей республике к чужеземцам, Швейцария, по-видимому, не должна опасаться никакого внутреннего возмущения. Помимо того, что она, следуя наставлению Ликурга, не обладает богатствами, способными вызвать искушение у ее соседей, еще и земля ее укреплена самой природой. Проникнув в онаю, враг ощущает себя перенесенным в те знакомые нам по греческим мифам поля, кои возвращают вооруженных воинов. Не предпринимая войны за свой собственный счет, кантоны благоразумно пользуются честолюбивым и

беспокойным безрассудством других народов, чтобы выращивать для себя солдат. Счастливы швейцарцы, если наемная служба за границей очищает их страну от людей, чуждых республиканского духа, и не отверзает ее для пороков соседей!

Если они переменят свой образ жизни, то в скором времени их постигнет потрясение всех основ. И тогда магистраты, слишком слабые, чтобы укрощать порывы граждан, кои заразят их своими пороками, будут тем не менее слишком сильны, чтобы повиноваться законам. Сия утонченная и даже более – излишне скрупулезная в нравственном отношении аккуратность, которую развращенные народы называли педантством, а мудрецы только уважали, в большей степени необходима швейцарским кантонам, нежели какому-либо другому народу Европы. Их магистраты должны быть тем более внимательны, что нравственная испорченность может возникнуть от сущей безделицы, которой нисколько не обеспокоились бы у нас или на другом берегу Женевского озера.

Прошу Вас, Ваша светлость, оставить на время мое сочинение и прочесть у Тита Ливия великолепную речь, которую сей историк влагает в уста Катона ради защиты Оппиева закона⁹⁰. Она объяснит Вам, почему роскошь и корыстолюбие, с нею сопряженное, губили все империи. Вы увидите, что опасения Катона отнюдь не напрасны. Все предвиденное им стало сбываться, как только позволили римским матронам носить украшения из золота и пурпура⁹¹. Чтобы удовольствовать своих жен, мужья возмутили республику происками и стали продавать свое право голоса. Они предприняли войну ради грабежа и грабительски обращались с захваченными провинциями. Вы знаете слова Югурты: "О, продажный город, сколь быстро ты бы погиб, если бы нашелся государь достаточно богатый, чтобы купить тебя!"⁹² И если бы Швейцария развратилась сребролюбием, не надобно ли было опасаться ей нового Филиппа Македонского, который повелел вести перед своими войсками мулов, нагруженных золотом⁹³? Кто дерзнул бы возразить на это, что будто и в таком случае конфедерация продолжала бы существовать, а разъединенные кантоны не погубили бы друг друга своим же собственным оружием? Пусть пример греков (которые погибли, лишь только расторгнули они союз), навеки останется в памяти швейцарцев. И если вспыхнут между ними раздоры, пусть хранят они свой союз как величайшее благо. Да не потерпят они иноземцев: ни помогать себе, ни являться даже в качестве посредников. Пусть в сей счастливой стране не будет никого, кроме Аристидов, Фокионов и никогда не восходит она до правления Периклов и Лисандров⁹⁴!

Теперь же я представляю Вам, Ваша светлость, картину, весьма отличную от только что начертанной. Благоволите вспомнить о французском правлении после царствования Хлотаря II, и Вы в какой-то степени составите себе понятие о нынешнем правлении в Польше. Каждый польский дворянин – это почти самодержавный государь в

своих владениях: он имеет право карать и миловать всех своих подданных или крепостных, а эти несчастные пользуются некоторыми правами лишь потому, что, по счастью, их невозможно нарушить все разом. Крестьяне и горожане, все, кто не знатен, в принципе являются врагами такого политического устройства, которое, отнюдь не покровительствуя слабым, благоприятствует тирании самых могущественных. С одной стороны, гордое дворянство завладело всей полнотой власти и никак не желает повиноваться законам, с другой – обширные территории населены, но с небрежением обрабатываются крепостными. Эти илоты стали бы опасными для своих господ, если бы давняя привычка не приучила их переносить все тяготы, а бедственное состояние не препятствовало увеличению их числа. Не сомневайтесь, однако, не будь крайнего упадка народного духа, в Польше вспыхнула бы своя *жакерия*, подобная той, которая была во Франции⁹⁵, и польские крепостные охотились бы на дворян, равно как некогда спартанцы ловили внушавших им страх илотов. В Польше гражданами являются одни только дворяне, и устройство сего государства столь порочно, что они, несмотря на необузданную свою любовь к свободе, – скорее деспоты, нежели граждане, и лишь терзают любезное им отечество, поскольку не способны быть свободными.

Мало сыщется государей в Европе, которые раздавали бы столько милостей, как король польский. Он располагает королевскими имуществами, называемыми *starosties*⁹⁶, *ténutes*⁹⁷ или *advocaties*⁹⁸, число коих весьма значительно. Он назначает на все высшие церковные должности в палатинаты и кастелянства, что открывает возможности для вступления в сенат тем, кто облечен сими достоинствами. В его власти раздавать чины вального гетмана, великого канцлера, подкомория и главного маршала, кои объемлют и разделяют между собой все ступени управления. Государь олицетворяет величие государства, он один председательствует в сенате, облеченном исполнительной властью. Но сколько королей, обладая много менее пространными прерогативами, сумели сделаться самовластными! В Польше же, напротив, все это служило лишь к водворению полнейшего безначалия. Сей политический феномен, Ваша светлость, заслуживает особото Вашего внимания.

Если бы корона была наследственной, всегда ревнивые к своей свободе поляки несомненно постарались бы избавиться от опасений перед властью и честолюбием короля. Скорее всего, они заглушили бы источник его милостей, привлекаящий к нему многочисленных куртизанок и временщиков. Национальный сейм сам стал бы распределять оные, чтобы привязать граждан к собственным своим интересам, и государь, не будучи в состоянии злоупотреблять властью и распространять ее далее, был бы вынужден не только сам подчиняться законам, но и заставлять исполнять оные. К несчастью, слишком полагающиеся на самих себя поляки не смогли постигнуть, что король, свободно ими избранный, связанный самыми священными клятвами,

король, все поступки которого находятся под неусыпным присмотром, осмелится помыслить о разрушении исключительных прав народа и стать самодержавным его повелителем. Правда, что Польша сохранила свою свободу, но была ли сия свобода единственным благом, коего полякам оставалось желать? Если короли не могли подчинить себе народ, они, по крайней мере, преуспели в том, чтобы сделать свободу мятежной, и заменившая ее распущенность не может быть совместима ни с каким благоразумным законом.

В Речи Посполитой возникло своеобразное настроение умов. Придворные испытывали недоверие к государю, доходящее даже до ненависти, поскольку он должен был раздавать великие милости, но это не мешало им оставаться на службе при дворе. Чтобы получить староства и должности, поляки совершали всяческие низости и малодушные поступки, но, добившись своего, они вновь преисполнялись присущей им надменности и уже не чувствовали себя обязанными какой-либо признательностью. Можно было наблюдать в одно и то же время интриги царедворцев и злоумышления дворянства. По сему легко судить о смутах, кои должны были возмущать Польшу. Пороки громоздились один на другой так, что Речь Посполита, впадавшая в последнее свое унижение, не имела более союзников, ибо она не могла оказать им какую-либо серьезную помощь и была вынуждена сносить любые прихоти соседей. Скажут, что ради сохранения независимости поляки не хотели иметь никакого правительства. Без единогласия, каковое почитали они необходимым в своих прениях, без права вето, делающего всякого дворянина орудием гибели или спасения государства, без привычки к обсуждениям, кои, собственно говоря, есть не что иное, как разговоры, они давно уже не были бы свободны. Сии пороки отвратили зло, которое могло произойти от других пороков. Но не окажутся ли в конце концов смертельными эти чудовищные лекарства, которые будут умножать, отягощать и продолжать болезни Речи Посполитой, если она не откроет глаза на свое положение и не возьмет силы свершить потребные преобразования?

Полагая, что обладает законодательной властью, Польша на самом деле не имеет вообще никакой, ибо, благоволите заметить, Ваша светлость, общий сейм, который один имеет право составлять законы, не может таким правом воспользоваться. Если же хотя бы случайно ему удастся утвердить закон, то закон этот почти никогда не имеет никакой силы, поскольку редко случается, чтобы сейм не был распущен, и тогда все его постановления отменяются. Единодушное согласие поляков, необходимое для принятия закона, есть совершенная, да позволено мне будет так выразиться, нелепость, каковая когда-либо была выдумана в политике. Можно ли было льстить себя надежной, что все депутаты обширного королевства будут на сейме иметь одинаковые взгляды и будут способствовать установлению законов с единым пылом и единою ревностью? Каждый есть полновластный хозяин своего голоса, и если хоть один произнесет злосчастное veto, то не

только деятельность сейма приостанавливается, но все акты, единодушно им принятые, теряют всякую силу.

Предположим, что, благодаря какому-то чуду сейм не встретил никакой оппозиции, но в таком случае многие палатинаты отказались бы повиноваться принятым законам. Во-первых, их не признали бы провинции, не пославшие своих поверенных на общий сейм, и сие нередко случается, ибо *dietines ante-comitiales*⁹⁹, каковые содержатся в каждом палатинате для назначения своих представителей и составление для них инструкций, также подвержены грозному veto, которое распускает их прежде, нежели успевают они что-либо решить. Во-вторых, эти законы вносят в *dietines post-comitiales*¹⁰⁰ палатинатов, представители коих заседают в общем сейме, и одного только veto какого-либо дворянина достаточно для того, чтобы лишить их всякой силы, ибо законы общего сейма имеют силу только будучи приняты единогласно членами, составляющими *dietines post-comitiales*.

Поскольку в Польше нет законодательной власти, то должны Вы заключить из этого, Ваша светлость, что несмотря на обязанности, возложенные на короля, сенат и четырех высших чинов короны, там не может быть и власти исполнительной. Действительно, если бы магистраты, обязанные следить за соблюдением законов, обладали достаточной силой, чтобы принудить дворянство повиноваться оным, они, вероятно, захотели бы отобрать власть у всеобщего сейма, которой он на деле не может воспользоваться. Король ничего не может без сената, а сенат — без короля. Если они разобщены, то Речь Посполита неизбежно пребывает в бездействии, но и от их согласия происходит весьма сомнительное благо. Дворянство всегда полагает, что покушаются на его права и привыкло почитать короля врагом, а сенаторов льстецами, более занятыми собственным своим благополучием, нежели общественным благом. Оно никого не любит, никого не признает, никому не покровительствует, кроме четырех высших чинов короны, которые, бывшие сначала, как и во Франции, только министрами короля, ныне стали министрами всей нации. Они прибрали к рукам все управление страной, и поляки, почитая их защитниками свободы, отверзли врата распущенности.

Для исполнения своих обязанностей сим четырем правителям следовало объединить усилия, но они всегда были далеки от этого. Король, огорченный неблагодарностью, каковую они выказывали по отношению к нему после своего возвышения, и ревнивый к власти, коей они пользовались, полагал, что станет более могущественным, препятствуя им отправлять возложенные на них обязанности. Он вызывает между ними ссоры и всегда старается определять к сему высокому званию людей различного характера и противоположных интересов. Польские короли могли бы избавить себя от этой бесполезной и преступной предосторожности: и при самых благоразумных правлениях соперничество часто рождает лишь взаимную ненависть правителей.

Четыре высших чина короны, назначенные охранять законы, могут

безнаказанно следовать лишь своим собственным страстям. Правда, общий сейм вправе требовать у них отчета в их управлении и отрешать от должности, но, со своей стороны, они могут распустить его, если он дерзнет на это. Не содержит ли каждый из них на своем жаловании доверенное лицо ради того, чтобы иметь возможность наложить пагубное veto? Из сего Вы видите, Ваша светлость, что и корыстная неправосудность пользуется тем же законом, который поляки почитают оплотом свободы. Правление их заключается в безнаказанном и произвольном праве творить добро и зло. Их правление поддерживается лишь неким наперед заданным ходом и обычаями, кои даже самое великое безначалие не может никогда полностью истребить. Глас разума и природной справедливости, заглушить который не в силах злоба людская, слышится и в частных делах поляков: некое чувство чести, неотъемлемое от самой свободы, направляет их поступки, и вот почему они до сих пор еще не исчезли с лица земли.

Предел несчастья для сего народа заключается в злополучном и непоколебимом умении сделать безначалие свое постоянным. Упорядоченные правления всегда обретаются накануне некоей перемены своего устройства, поскольку они должны постоянно сражаться с неукротимыми страстями, кои в деятельности своей обретают новую силу и изворотливость в Польше. Напротив, страсти суть душа и движитель правления; оно не страшится ничего, кроме разума. Но разве уже не примечали мы многократно, сколь недостает ему сил, и к тому же, разве veto не является непреодолимой преградой? Единственная надежда добрых граждан заключается в том, что соотечественники их, вконец утомленные своими несчастьями и пороками, кои подчиняют их России, откроют им глаза, и согласятся они с досады создать учреждения, обеспечивающие им свободу, достойную их мужества.

Таким образом, Польша не может испытать иных потрясений, кроме вызванных чужеземцами. Правда, что правительство нередко подвергает страну всяческим превратностям, и, будучи почти бесполезной для своих союзников, она может надеяться лишь на весьма посредственное их вспомоществование. Правда также, что страна эта остается со всех сторон незащищенной и неизбежно плохо охраняется ополчением, не привыкшим к повиновению, и непокорным дворянством, которое беспорядочно собирается под знамена, когда король созывает посполитное рушение или ополчение. Но, если легко неприятельской армии захватить поляков врасплох и пройти через все провинции, опустошая их, то труднее победителю утвердиться в них завоевателем и властителем, нежели во многих других государствах Европы, о коих говорил я в предыдущей главе.

Начните войну против деспота, и если только он не беспечнейший из людей, Вы, наверное, найдете много больше преград, нежели чем при вступлении в Польшу. Но стоит только разрушить крепости, прикрывающие его границы, остальная часть страны будет уже подвластна Вам.

Направляйте свои удары прямо по деспоту и, если одержите верх, победа Ваша будет совершенна. Как утвердиться в завоеванной стране – зависит только от Вас; благодетельная и человеколюбивая политика, делая Вас любезным новым Вашим подданным, дать Вам тысячу способов заставить их забыть и даже возненавидеть прежних властителей: не верьте, Ваша светлость, тому, что говорят о беспредельной любви всех народов к своим государям. У дружбы свои законы, а природа не создала еще человеческого сердца, способного к безответной любви. Одна только лесть обещает нам преданность, жертвование своей жизнью и состоянием, но лъстецы не умеют любить и быть преданными, они не способны ни на какую жертву. Я напоминаю Вам об этом, дабы не полагались Вы безрассудно на чувство, которого ни у кого не будет к Вам, если Вы не постараетесь заслужить оное великими и полезными делами. Но возвращаюсь к моему предмету.

В Польше победитель может снискать себе лишь расположение народа, однако же народ слишком поработен, чтобы обладать возвышенностью духа и быть ему полезным. Дворянство, которое повиновение иноземному властителю почитает совершенным падением, многократно может быть побеждено, но не покорено. Понадобится вести столько войн, сколько в Речи Посполитой вельмож и дворян, способных защищать свою независимость и ревностных к своей свободе. В крайних опасностях люди свободные обряжут в самих себе силы, им доселе неведомые. Сколько же раз среди крайнего отчаяния поляки находили для себя спасение! Ведь нет народа, коего опасности сии не довели бы до изнеможения и полного истощения, и тогда пороки самого презренного из правлений исчезают: необходимость заменяет собою законодателя и магистрата; рождаются таланты, развиваются добродетели; все страсти отступают тогда перед стремлением к свободе, если, конечно, речь не идет о государстве сибаритов, крайняя изнеженность которых влечет упадок сил, а малейшая опасность заставляет их трепетать.

Если польская знать ради сохранения свободы не желает иметь ни законов, ни правителей, то венецианское дворянство, напротив того, почитает невозможным сохранить свободу иначе, как подчинившись весьма строгим законам и магистратам, обладающим неограниченной властью. Совет Десяти, который покровительствует соглядатаям и шпионству, который возвел доносительство в доблесть и вершит суд, где обвиняемые даже не предстают перед обвинителями, и тот еще не столь ужасен, как сами правители, называемые государственными инквизиторами, кои могут осудить на смерть дожа, сенаторов, дворян, иностранцев и всех подданных, не будучи обязанным отчетом перед кем бы то ни было. Их приговоры покрыты тайной и приводятся в исполнение с таковою же таинственностью, с коей они вынесены. Дворяне, угнетаемые сей подозрительностью, противной всем правам человеческим, не знают по совести, виновны они или нет. Мы видим, с каким монашеским смирением спешат они открыться инквизитору в

каких-то нелепых прегрешениях своих, как то: случайном разговоре с иностранным послом или в том, что находилось в некоем доме с одним из его слуг, хотя и не были даже знакомы с ним.

Могут ли подобные законы охранять аристократию? Законодатель должен думать о том, что все люди, будучи предоставлены собственным страстям, склонны к гнуснейшим преступлениям; тем не менее обязанность его состоит в том, чтобы звать их ко благу, стараясь заслужить их доверие; и прежде всего должен он почитать обвиняемого невинным и подавать оному всякую необходимую помощь, дабы разоблачить клевету. Только возвышая душу, а не смущая ее, надлежит призывать нас к благу. Порою слышал я от правителей, что лучше наказать одного невинного, нежели спастись преступника. Если когда-либо это богохульство будет произнесено пред Вами, Ваша светлость, вооружитесь всей Вашей строгостью, чтобы наказание невинного не повергло в трепет всех честных людей. Судья, тайно осуждающий и велящий столь же тайно приводить во исполнение свой приговор, есть убийца. Закон, предающий преступника смертной казни, предполагает не искупление совершенного, но внушение гражданам спасительного страха. Венеции следовало бы ныне переменить свои законы, измышленные и признанные необходимыми в то время, когда Италия была заражена духом угнетения и тиранства, когда никакое правление не было прочно: теперь для сохранения свободы ее уже не нужны прежние средства.

Большой Совет или собрание всех дворян, достигших двадцатипятилетнего возраста, исправно собирается по воскресным и праздничным дням. Он издает новые законы, упраздняет или изменяет старые, если обстоятельства того потребуют; жалуется высшие магистратуры или, по крайней мере, утверждает те из них, выбирать которые предоставлено Сенату. Сие собрание, слишком часто созываемое, поставило себе за правило свято блюсти первоначальные законы и скоро заразилось бы пороками демократии, если бы обладало более обширной властью, но, по благоразумию своему, оно не ведает никакой отрасли управления. Меж тем как коллегия дожа и некоторые другие суды отправляют правосудие и пекутся об общественном спокойствии, Сенат заботится обо всех остальных нуждах Республики. Он единодержавно решает вопросы войны и мира, заключает союзы с другими государствами, направляет послов, устанавливает налоги, избирает членов коллегии дожа, генерала Республики, армейских провекторов¹⁰¹ и всех офицеров, занимающих важные посты в войсках.

Однако и при столь обширной власти Сенат не может сделаться повелителем законов. Сто двадцать сенаторов, ежегодно избираемых Большим Советом, никогда не могут предпринять что-либо опасное для дворянского сословия. Сверх того большое число других магистратов, вся власть которых ограничивается шестью месяцами, также входит в Сенат, и эти люди могут рассуждать только о предложениях, внесенных коллегией дожа, — шести правителей, называемых старей-

щинами, власть коих также длится не более полугода. Сила отнюдь не может сокрушить сие равновесие власти, основанное на различии и соотношении правлений, ибо дворяне отправляют лишь одни гражданские должности в государстве, а не военные. Ухищрения и происки против правительства столь же бессильны, как и сила, и жестокость, поскольку во время выборов нет места интриге.

К примеру, Ваша светлость, когда речь идет об избрании дожа, то каждый из дворян, присутствующих в Большом Совете, вынимает из урны вызолоченный шарик, каковых там тридцать штук. Кому они достанутся, вторично кидают жребий; число их уменьшается до девяти, и эти девять избирают сорок, а следующей баллотировкой — двенадцать. Сии последние выбирают двадцать пять, число коих вновь доводится жребием до девяти. Но это еще не все. Девять последних избирают сорок пять, после чего жребий ограничивает их одиннадцатью, которые, наконец, и избирают сорок одного выборщика для определения дожа.

Таким способом Республика предупреждает умыслы стремящихся возобладать за счет других магистратов и, подавляя дух раздоров и заговора, она подчиняет их законам, делает действительным их ограниченное кратким сроком правление и разрушает в вельможах все надежды на установление олигархии. Говорят, однако, что в сем лабиринте выборов искусная интрига все еще служит путеводной нитью. Вы приметите даже, что пожизненные правители, такие как дож, прокураторы Св. Марка и канцлер, кажутся поставленными только ради великолепия церемоний и не обладают никакой существенной властью: последний даже избирается из числа простых горожан Венеции.

Чем больше будете Вы рассуждать, Ваша светлость, об основополагающих принципах сей Республики, тем больше убедитесь, что она истощила все средства, способные предупредить внутренний мятеж. Сколь бы могущественен ни был корпус магистратур, он все-таки не может присвоить себе законодательную власть. Число правителей слишком велико, чтобы все они подчинились одному. Впрочем, Венеция извлекает великое преимущество из сего множества магистратов; она приобщает многих патрициев к делам, дабы быть уверенной в том, что всегда достанет правителей, способных занять самые важные и самые трудные должности. Магистраты вынуждены воспринять республиканский дух правления — ведь им не отводится достаточно времени, чтобы придать правлению отпечаток собственной личности. Отсюда проистекает неизменное постоянство одних и тех же правил и принципов, что восхищает нас в венецианцах, и дает им истинное преимущество перед государствами, которые могли бы угрожать сей Республике, если бы политика их была менее переменчивой и колеблющейся.

Посему надобно, чтобы Венеция пребывала в безопасности от всякого вмешательства со стороны чужеземцев. Если она ником

образом не пострадала с того времени, как честолюбие разожгло столько войн близ ее границ, то сие должно приписать скорее ее благородию, нежели невежеству государей, кои хотели поработить Италию. Республике, по-видимому, внушают опасение войска, которым она уверяет свою безопасность: иной раз можно подумать, что она хотела бы уничтожить их ради своего спокойствия. Венецианское дворянство занимается лишь гражданскими делами, а войска состоят только из наемных солдат. Военачальнику, непременно иностранцу, бесполезны были бы его воинские таланты, и назначаемые к нему проведиторы годятся лишь на то, чтобы принудить его сражаться. Хотя подесты¹⁰², в отличие от обыкновения, принятого среди аристократии, не превращают в постыдную торговлю свое правление в провинциях, весьма суровое венецианское правительство не способно снискать привязанность подданных. Народ не угнетен, но и не столь счастлив, чтобы жалеть о потерянном, если бы случилось ему оказаться под другой властью. Дворянство *террафермы*¹⁰³ имеет все предрассудки, свойственные дворянам: оно считает себя не менее достойным венецианского дворянства и подчиняется лишь поневоле; правительство же остерегается его и стремится привести к примирению. Сие подвластное дворянство, видимо, сочло бы себя менее униженным при монархическом правлении и желало бы, вероятно, иметь только одного государя.

Глава сия становится весьма пространной, и я еще ненадолго задержу Ваше внимание Генуэзской республикой. Окажись Корсика в руках венецианцев, она, вероятно, никогда бы не восставала, и уж по крайней мере горсть мятежников не навлекла бы на них продолжающуюся вот уже тридцать лет войну. Или Паоли¹⁰⁴ – один из величайших мужей нашего века, или Генуэзская республика, которая не может подчинить его, крайне слаба. Я приглашаю Вас, Ваша светлость, к изысканию причин сей слабости. Вы можете познать частные подробности истории генуэзского правления: предскажите же дальнейшую его судьбу.

ГЛАВА III

О правлении Германской Империи

До царствования Максимилиана Первого Германская Империя была жертвою всех беспорядков, которые может породить феодальное правление¹⁰⁵. Чтобы удостовериться в этом, достаточно бросить взгляд на Золотую Буллу, изданную в 1356 году Карлом IV¹⁰⁶. Этот закон допускал в Империи нравы, обычаи и права столь же варварские, как и во Франции до Филиппа-Августа¹⁰⁷ (правдивая картина этих обычаев была Вам уже начертана). Империя, правда, сохраняла установленный франками древний обычай собирать общие сеймы, но до созданного в 1495 году Максимилианом Первым Вормского рейхстага¹⁰⁸ сии мя-

тежные и беспорядочные съезды расходились прежде, нежели могли составить ясное мнение о своем положении. Даже заключительный протокол сего года воспрещал продолжать заседания рейхстага (который обычно продолжается лишь десять или двенадцать дней) более одного месяца¹⁰⁹. Станный закон! Лытели ли немцы себя надеждой за столь короткое время извлечь дела свои из хаоса? Или они были так приучены к бедствиям анархии и деспотизма, что даже и не помышляли устранить оные?

В 1383 году, на Нюрнбергском рейхстаге император Венцеслав прилагал все усилия к тому, чтобы дать Империи наилучшее устройство. Он объявил о всеобщем мире¹¹⁰, но ему не позволили принять какие-либо меры, кои он почитал пригодными к его поддержанию. Сигизмунд пытался продолжать эти начинания, но встретился с теми же трудностями¹¹¹. Альберт II оказался более удачлив. То ли безуспешные попытки предшественников его приуготовили умы к преобразованию, либо должно было приписать сие какой-либо иной причине, но он объявил всеобщий мир с согласия сословий, разделил Германию на шесть округов и провинций, которые должны были иметь собственные ландтаги¹¹². Однако же это установление не принесло ожидаемых благ. Если оно было способно к сближению умов и соединению их в общих интересах, то варварство нравов и ленная самостоятельность еще более способствовали их разделению. Сему веку не дано было познать истинную цену мира; междоусобные войны продолжались с той же яростью: Германия по-прежнему составляла тело, все члены коего, враждебные друг другу, желали один другому погибели, и Фридриху III стоило великих усилий привести, наконец, своих вассалов к согласию, чтобы они отказались на десять лет от любых враждебных действий¹¹³.

Наконец, Максимилиан Первый установил закон о всеобщем и вечном мире¹¹⁴. Закон сей запрещал всякие враждебные и насильственные действия между сословиями Империи под страхом наказания зачинщику, которого считали в таком случае врагом государства. Была учреждена Имперская палата – суд, которому надлежало разбирать все распри. Германия разделилась на десять округов; из каждого в Имперскую палату назначили определенное число заседателей, обязавшихся приводить в исполнение ее постановления и постановления на всей территории данной провинции. Рейхстаг, состоявшийся в Аугсбурге в 1500 году, учредил своего рода регентство, которое должно было существовать между рейхстагами. Ему была вверена вся власть, и он должен был разрешать важнейшие внешние и внутренние дела. В Совете, составленном из двадцати министров, назначенных общим рейхстагом, председательствовал сам император, при нем один из курфюрств, а шесть других присылали своих представителей.

Хотя это и сделало более регулярным устройство ленных владений, было бы ошибкой полагать, что они были способны придать некоторую силу законам и поддержать мир в Империи, если бы Австрийский Дом

не стяжал достаточного для сохранения короны могущества и не заставил настолько уважать себя, что безрассудно было бы пренебрегать его повелениями как прежде. Действительно, из-за предрассудков всегда почиталось недостойным помещански защищать свои интересы перед судьями, когда можно было получить удовлетворение с оружием в руках. Только самые слабые государи прибегали к помощи Имперской палаты; но их пример не распространялся и не способствовал доверию к этому суду. Какой толк в приговоре против государя, достаточно могущественного, чтобы никому не повиноваться?

Помимо сего многие иные причины способствовали тому, чтобы сделать новое устройство бесполезным. Императорское достоинство, обессиленное и униженное отчуждением всех доменов, которыми многие императоры постыдно торговали, было лишь тенью верховной власти. Курфюрсты, чьи земли не пострадали от раздела, не могли даже помыслить о том, что когда-нибудь им понадобится защита закона, и, напротив того, не усматривали в своем праве войны ничего, кроме права наживы. Раздел Империи на провинции происходил беспорядочно и противно всяким правилам. Многие области, как оказалось, не были причислены ни к одному из десяти округов, а другие были удалены от тех, частью коих они являлись. Отсюда происходила своего рода независимость, каковой все еще похваляются некоторые князья, и отсутствие у них интереса к общему благу. Давние предрассудки были по-прежнему сильны, и Империя оставалась жертвой прежних беспорядков. Скоро всем стало мешать учрежденное в Аугсбурге регентство. Оно стесняло честолюбие императора и самых могущественных государей Империи. Одни почитали его господство слишком для себя тягостным, а другие — бесполезным, ибо оно в короткое время не исправило всех пороков этого порочнейшего правления.

Восшествие Карла Пятого на трон Империи знаменует собой достопримечательную эпоху в ее устройстве. У князей доставало здравого смысла понимать, что, возводя его на престол, они вполне обеспечивают свою безопасность, но при том у них было довольно безрассудства, чтобы полагать, будто одно лишь постановление об избрании положит твердый предел его власти; он подписал его, и всем известно, с каким высокомерием управлял он страной, желавшей иметь вождя, но не властелина. Могущественный в Испании и Нидерландах, обладатель сокровищ, доставленных из Нового Света, честолюбивый, мужественный, исполненный надежд, деятельный и многообещающий, умеющий сообразно с обстоятельствами применяться к наиболее благоприятствующей его видам политике, Карл Пятый был избран императором в то время, когда только что было уничтожено ленное управление во всей остальной Европе. Сей государь не посчитался с тем, что у него не было, как у французских королей, возможностей для разорения вассалов, и с тем что новая политика, которая начинала связывать все народы между собой благодаря более оживленной и

упорядоченной торговле, могла помочь имперским князьям в приобретении союзников и покровителей. Он возымел дерзкое намерение основать на развалинах германской свободы истинную монархию. Карл Пятый хотел использовать порожденный религиозными раздорами фанатизм. Он вел войну и заключал мир, будоражил Империю своими происками, вызывал ненависть одних, страх других и заставил всех считаться с собой. Замышляя многие предприятия одновременно, он не мог ни одному из них следовать с должной твердостью, и войны, которые он вел с соседями, имели целью отвлечение их сил ради торжества владычествующей им идеи Империи. Если он и не довершил свой труд, то, по крайней мере, обладал властью более значительной, нежели его предшественники. Не сделав трон наследственным, он тем не менее утвердил на нем свой Дом и оставил преемникам неограниченный авторитет, честолюбие и надежду удовлетворить его.

Если бы я захотел показать Вам политическую систему Австрийского Дома и способы, кои употребил он для полного подчинения Империи вплоть до Вестфальского мира¹¹⁵, для этого потребовалось бы, Ваша светлость, весьма пространное сочинение. Ограничусь лишь упоминанием о том, что преемники Карла Пятого следовали его политике, но много ли могли сделать государи, столь уступавшие ему своими достоинствами? Когда они не способны были внушить страх, то распространяли вокруг тлетворное влияние, пуская в ход все, что только возможно: коварство, силу, клятвы, дары, обещания. Говорили об одном лишь мире и утверждении спокойствия в Германии, когда истощены были войной, а венский Совет помышлял только о том, чтобы восстановить силы ради продолжения своих предприятий. Он надеялся погубить протестантов руками католиков: равным образом стремился он привести к гибели и сих последних, и на этом хотел воздвигнуть здание австрийского величия.

Императорам, может быть, и удалось бы подчинить себе Германию, если бы не помощь, доставленная ей некоторыми князьями; выгода сих состояла в том, чтобы положить преграду могуществу, угрожавшему всем соседям Империи. После стольких войн, в который изнемогала Европа, Вестфальский мир, служащий ныне основой общественного устройства Империи, определил, наконец, прерогативы Императора и привилегии отдельных государств. Он придал определенный порядок правлению, которое до сих пор не желало признавать почти никаких правил, и которое, по природе своей, было неспособно к строгому их исполнению.

Мы окажемся в глубоком заблуждении, если целью политического строя Империи сочтем стремление сделать немецкий народ счастливым и процветающим благодаря беспристрастным законам и принуждению граждан к повиновению правителям, а правителей к исполнению законов, ибо в Европе не существует правления, которое в большей степени было бы прямо сему противоположно.

За исключением имперских городов – особых республик, сочетав-

ших подлинно гражданское устройство и мудрые законы, в Империи слишком мало княжеств, подданные которых сохранили бы хоть какое-то подобие свободы. Созывы сословных представителей, столь обыкновенные во времена упадка феодального строя и столь способствовавшие предупреждению злоупотреблений абсолютной властью, почти повсеместно неведомы в Германии. Подданные там ничто, а государю законы и обычаи позволяют управлять деспотически. Он всегда может подавить недовольство, если кто-нибудь осмелится восстать против него. Но и когда недостает ему сил, соседние государи спешат на помощь: они полагают, что интересы их требуют того, и таким образом рассчитывают защитить собственную власть. Когда услышите Вы говорящих о германской свободе, не думайте, Ваша светлость, что речь идет о свободе граждан. Нет, это лишь свобода князей, и суть ее состоит единственно в том, чтобы они наслаждались своим владычеством и не препятствовали сильным притеснять слабейших, равно как и в том, чтобы одни могли присвоить права, наносящие вред другим.

Все имперские князья признают законодательную власть, коей они обязаны повиноваться. Власть сия сосредоточена в рейхстаге, имеющем исключительное право предписывать общие законы, касающиеся всего государства. Если верить немецким сочинителям, то рейхстаг есть тот царь царей, который повелевает самодержцами, и та непоколебимая преграда, о которую сокрушаются разгневанные морские волны. Но опасаясь, Ваша светлость, что сии законоучители, плененные прелестями германского правления, выдают желаемое за действительное: благоволите сами поразмыслить над этим.

Вам известно, что рейхстаг или общее собрание Империи разделен на три коллегии – курфюрстов, князей и вольные города. После того, как полномочный министр императора сообщит рейхстагу его предложения, коллегии курфюрстов и князей обсуждают их порознь. Если мнение их единообразно, то принятое решение переходит в последнюю коллегию. При ее согласии решение становится, как говорят немцы, *placitum* Империи¹¹⁶. Если император утверждает его, *placitum* становится общим или универсальным и в соответствии с ним составляется закон, которому должны повиноваться все государства Империи.

Отсюда следует, что законодательная власть нередко стеснена в своих действиях и зачастую Империя не может иметь законов, наиболее сообразных с ее положением, ибо интересы императора не всегда совпадают с интересами Германии в целом – напротив, общеизвестно, что он имеет противоположные или по крайней мере отличные интересы. Недаром при заключении Вестфальского мира не пожелали утвердить положение о том, что император не может не апробировать *placitum* или мнение Империи в целом. Иностранные державы, которые вели эти переговоры, с готовностью допустили сей коренной порок в германском правлении. Он давал возможность сделаться более необходимыми и значительными. Но почему же впоследствии курфюрсты, если

желали они всеобщего блага, пренебрегли включением в капитулярии императоров какой-либо оговорки, которая умножила бы достоинство трех сословий и привела бы, наконец, Империю к возможности иметь законы, сообразные с интересами всего сообщества и его членов?

Я добавлю к этому еще такой вопрос: почему императору предоставлено право быть единым зачинателем законов? Не сообразнее ли с порядком общежития и всеобщим благом дозволить каждому члену Империи предлагать своей коллегии то, что ему кажется благоприятнейшим, и чтобы каждая коллегия, по составлении собственного своего *placitum*, могла внести оный в другие коллегии для утверждения или отклонения? Конечно, если в аристократических и особенно в общенародных правлениях дать право каждому гражданину предлагать новые законы Сенату или народу, это послужило бы верным средством лишиться всякой свободы вообще: сегодня уничтожали бы то, что утверждали вчера, а завтра являлись бы новые законы. Но остерегайтесь, Ваша светлость, не относите сие возражение к Империи, сеймы коей составлены не из безрассудной, беспокойной и склонной к мятежу толпы. Если бы министр какого-либо государства сумел благодаря красноречию и ловкости подчинить себе коллегию и внушить ей свои страсти или прихоти, то из сего не произошло бы никаких препятствий для общегерманского сообщества. Мнение одной коллегии подлежало бы рассмотрению остальных двух, и можно было бы не опасаться, что ее необдуманные действия, поспешные решения и заблуждения повлияют на законы.

В то время, как прерогативы императора приостанавливают действия законодательной власти и препятствуют вырабатывать новые необходимые Империи законы, одному только правителю рейхстага приличествует налагать оковы на исполнительную власть, и, так сказать, заставлять умолкнуть старые законы. В самом деле, ничто не может быть доложено рейхстагу без согласия курфюрста архиепископа Майнцского. От него одного зависит отклонить народное представительство и не принимать жалобы, претензии и требования, которые какой-либо князь хочет представить германскому сообществу. По своей воле он заглушает протесты притесненного, равно как и благоприятствует несправедливости притеснителя. Какова же в таком случае власть рейхстага? Что может он сделать, если император мешает предупреждению несправедливости, а архиепископ Майнцкий не дает карать оные?

Оба сии порока тем хуже, что в Германии речь идет не об управлении простыми гражданами, но князьями, которые пользуются всеми правами суверенитета, имеют крепости и войска, могут заключать оборонительные союзы с иностранными государствами, а иногда даже владеют в чужих краях землями более обширными, нежели те, коими обладают внутри Империи¹¹⁷. Чем больше причин к раздору, тем в большей степени законы должны быть мудрыми, а законодатель —

иметь возможность осуществлять оные. Чем менее общий рейхстаг в силах исполнять собственные свои постановления, тем более все его действия должны основываться на принципах справедливости.

Плохо соединенные части Империи скоро перестали бы быть единым целым, если бы некоторые особые установления и обычаи, освященные временем и привычкой, не восполняли бессилия законодателей и судов. Особые ландтаги каждого округа стараются сблизить умы и соединить князей, среди которых соседство земель, религиозное различие и бесконечное множество претензий, равно как и неясные, двусмысленные и противоположные права, весьма способны породить ревность, недоверчивость и вражду. Эти ландтаги заботятся о том, чем общее законодательство пренебрегает, или чего оно не может устроить, и уставы их обыкновенно лучше соблюдаются, нежели законы, изданные именем императора в согласии с тремя сословиями, и против коих редко не выразит своего несогласия кто-нибудь из князей, Курфюрсты и принцы, графы и вольные города, католики и протестанты собираются на рейхстаг, когда их собственные интересы того требуют, и различные эти силы колеблются в нерешительности, поддерживают до известной степени равновесие и приостанавливают вражду и разрыв отношений. При малейшей распри появляются тысячи посредников ради пресечения оной. За неимением законных и пригодных к сохранению общественного спокойствия средств, прибегают к переговорам, и правительство в целом, по-видимому, руководствуется скорее неким раз принятым направлением и временными мерами, нежели определенными установлениями.

Уже тому сто лет, как нынешний рейхстаг был созван в Регенсбурге¹¹⁸ и непрерывно с тех пор продолжается. Если и в самом деле сей законодательный корпус мог устанавливать законы, было бы опасно, или, по меньшей мере, бесполезно иметь оный всегда собранным. Но, будучи, как я уже сказал Вашей светлости, только своего рода конгрессом, который занимается скорее обсуждением всех дел Империи, нежели рассмотрением законов, постоянство его весьма способно придать величие германскому сообществу, сдерживать князей и хранить общественное спокойствие. Если бы рейхстаг перестал быть постоянным, то, по капитулу императора, самое позднее каждые десять лет после его роспуска, должно было бы созывать новый. Но имели ли государи, учредившие сей закон, ясное представление о сущности своего правления? Кто сказал им, что Имперская палата и придворный Совет в продолжение столького времени удовлетворяет все нужды Германского тела? Кто сказал, что слабейшие не будут утеснены, а смуты по прошествии десятка лет не воспрепятствуют созыву нового рейхстага?

Если бы мы стали рассматривать Империю только как лигу многих князей, кои, по силе трактатов, признают себя подчиненными взаимным соглашениям об общей безопасности, то мы не могли бы не удивляться мудрой их предусмотрительности и не согласиться с тем, что

такое положение само по себе много выгоднее, нежели в других государствах, которые связаны одним только долгом исполнять всеобщие обязанности человечества. Нет сомнения в том, что договоры германского правления имели не более власти над умами честолюбивейших князей Империи, нежели обыкновенно законы естественные имеют над князьями самыми благочестивыми или теми, кои ставят себе в заслугу величайшую честность.

Благодаря ухищрениям правоведов, пером коих водит выгода и заблуждение, самые ясные и самые простые истины стали предметом сомнения и спора. Сие естественное право, говорящее с такой силой всем людям, у которых сердце не разрушено привычкой к несправедливости и лести, отдано софистам, всегда потакающим страстям. Я знаю, что германское право часто двусмысленно и что почти невозможно с точностью очертить пространство и пределы власти, прерогатив, прав и иммунитетов различных государств Империи. Каждый государь содержит на жаловании правоучителя, который сам никогда не рассуждает и на любой случай имеет доводы и доказательства. В Германии нет почти ни одного не оспариваемого письменного акта, сила коего не уничтожалась бы каким-либо другим актом. И, наконец, в Германии нет права без противостоящего ему притязания, и все права сталкиваются, скрещиваются и постоянно препятствуют друг другу. В то же время германское право менее нарушаемо в Германии, нежели естественное право – в остальной Европе. Хотя Имперская палата, придворный суд, права сюзерена и феодальная зависимость образуют лишь слабую преграду против несправедливости, хотя сам рейхстаг не внушает ни полного доверия слабым, ни спасительного страха сильным, известно, что имперские князья теснее соединены между собой, нежели другие государи Европы. Без сего рода общественного права, которое указывает на то, что все-таки существуют общие законы, кои выше государей, составляющих единое сообщество, может ли кто-нибудь представить себе, чтобы имперские города, наследственное дворянство и великое множество князей, имеющих весьма небольшие и беззащитные земли, сохранили бы донныне свою независимость.

Сама Империя, как и все составляющие ее государства, не имеет и не может иметь никакого честолюбия, могущего вызвать ненависть и подозрение соседей. Войну не начинают ради какого-нибудь общего завоевания, и именно в этом заключается единственное преимущество, каковое извлекает она из своего устройства. Но честолюбие некоторых ее членов и искусство их вмешивать в свои раздоры соседние государства часто повергали Германию в великие бедствия. Именно это честолюбие два века назад отверзло Империю армиям французов, шведов, датчан, англичан, русских и голландцев¹⁹. Сколько раз Австрийский Дом, присвоив себе власть, запрещенную законами, принуждал имперских князей искать покровительства у своих соседей? Германия часто была – якобы ради свободы, – раздираема и расчленяема иррегулярными войсками, кои помышляли только о том, чтобы стать

ее тиранами! Каких только злосчастий не испытала Империя, безрассудно став орудием честолюбия или ненависти одного из своих князей!

Империя, подвластная деспотическому государю, менее была бы, нежели ныне, подвержена вторжениям чужеземцев, кои имеют союзников даже в самом сердце Империи. Ее границы были бы лучше защищены, но тогда она легче могла бы быть завоевана. Германия не имела бы того счастливого изобилия жителей, каковое составляет ее силу: мы скоро увидели бы опустошенные деревни и обезлюдевшие города. Надлежит, Ваша светлость, делать различие между государем, который правит обширной страной, и государем малоземельным. Один пренебрегает всем и не радеет ни о чем; при любых обстоятельствах почитает он себя достаточно богатым и могущественным, и поскольку имеющиеся средства кажутся ему неисчерпаемыми, то вскоре и обнаруживается конец оных. Другой же, благодаря самой посредственности своего достояния, учится соблюдать своего рода бережливость и умеренность. Почти все в своих владениях он может видеть самолично и понимает, что надобна мудрость, дабы привести эти владения в цветущее состояние. А посему, бережно обращаясь с подданными, и становится он могущественным.

Сравните, например, Ваша светлость, выгоду, какую гранды Испании имеют от поддержания короля, Вашего дяди¹²⁰ (и способы, коими они могут в том преуспеть), с интересами курфюрстов, князей, графов, наследственного дворянства и вольных городов Империи в сохранении своего правления (и средства, каковые обретут они в самих себе при величайших бедствиях). Победитель в самом сердце Испании, может быть, и сумеет воспользоваться своим дарованием: быть может, иссякнет при этом и кастильская верность. В Германии же тот, кто одерживает верх, никогда не сможет воспользоваться плодами победы; поскольку невозможно договориться с побежденными таким образом, чтобы новое их положение было бы для них сносным, приходится сражаться с мифической гидрой и на месте одной отсеченной головы вырастает другая.

Угроза разрушения Империи извне может возникнуть лишь в том случае, если явится держава, движимая честолюбием, но именно таковым, какое присуще было римлянам, то есть совершающая завоевания лишь под видом интересов своих друзей и союзников и ценящая добрую славу, благодеяния, умеренность и справедливость выше, нежели правление посредством своих магистратов и законоустановлений. Сколь мы удалены от сего благоразумного образа действий, который доставил римлянам владычество над миром! Наша же политика, обнаруживая опрометчивое честолюбие, помышляет лишь о том, чтобы изловчиться и прибрать к рукам то, что плохо лежит. Простите мне, Ваша светлость, сии употребленные мною выражения, чем они низменнее, тем больше выразительности придадут они мыслям моим и чувствам.

ГЛАВА IV

О правлении Соединенных Провинций

Брут говорил о Цицероне, что он не столько ненавидел тиранию, сколько самого тирана Антония¹²¹. Можно сказать то же самое, Ваша светлость, и о Соединенных провинциях, ибо восстали они против жестокого правления Филлипа II, даже не помышляя о том, чтобы стать свободными. Удивленные дерзостью своею предприятия и довольные тем, что переменили повелителя, они предлагали править собою всем государям Европы. К счастью для них, никто не принял предложения¹²². Все были напуганы могуществом Австрийского Дома, и никто не дерзал надеяться на счастливый исход мятежа. Одному только Вильгельму I принцу Оранскому ведомо было, что муж благоразумный и мужественный может предпринять и свершить во главе народа, воодушевленного духом веры.

Из семнадцати провинций Нидерландов только семь сохранили свою свободу. Другие, управляемые герцогом Архотским, человеком бесконечно менее искусным, нежели принц Оранский, соперником коего он был, лишь роптали и жаловались, делая вид, что готовы поднять восстание, но почему-то льстили себя надеждою сохранить свои привилегии благодаря переговорам¹²³. Но ведь государь обладает слишком многими преимуществами, говоря с подданными. Он не дает удовлетворения никому и ни в чем, пока нет необходимости держать свое слово, а переговоры и прочие сношения редко повергают его в такое состояние. Мадридский совет подтвердил грамотой исключительные права Провинций, коих удовлетворило сие великодушие, и в то же время решил принять меры к тому, чтобы они не дерзали требовать возвращения древних своих прав¹²⁴.

Восстание Нидерландов продолжалось непрерывно в течение девяти лет, когда герцогство Хелдер, графства Голландия и Зеландия, сеньории Утрехтская, Фризская, Оверэйсселская и Гронингенская, известные под названием Соединенных Провинций, благодаря своим успехам, открыли для себя, наконец, слабость испанского правления, и заключили 23 января 1579 года договор о союзе. Этот союз, возобновленный в 1583 году, оказался по природе своей нерасторжимым. Именно на основании сего союза и воздвигнуто здание Республики. Каждая из Соединенных Провинций сохранила свои законы, своих правителей, свою независимость и суверенитет. Они составляли единое целое, но для того, чтобы придать всем частям единый дух и единые стремления, не только отказались они от права вести частные переговоры с иностранными державами, но даже образовали единый совет для рассмотрения общих дел союза, который должен был дважды в год созывать Генеральные Штаты, заседания коих, продлевавшиеся сообразно количеству и важности дел, скоро сделались беспрерывными.

По существу, в Соединенных Провинциях столько республик, сколько городов, имеющих право посылать своих уполномоченных в штаты своей Провинции. За исключением тех предметов, кои имеют прямое отношение к общему союзу, города эти не следуют каким-либо иным побуждениям, кроме собственной воли. Они управляются законами, ими же установленными, и вся законодательная власть, равно как и исполнительная, сосредоточена в их сенате или совете.

В то же время все города каждой Провинции, которые, по-видимому, блюдут только собственные интересы, учредили генеральный совет для наблюдения за общими делами сей Провинции — связующее звено между всеми ее частями. Этот совет действует непрерывно, и всегдашняя его неусыпность необходима ради предупреждения злоупотреблений самостоятельностью. Он предлагает обычным или чрезвычайным провинциальным штатам пункты для обсуждений. После сего депутаты от дворянства или городов уведомляют своих доверителей и выслушивают их мнение, каковому и обязаны неукоснительно следовать. Все это решается в штатах большинством голосов, если только дело не касается каких-либо важных вопросов (заклучение мира и союзов, объявление войны, набор войск и новый налог), которые, по условию их союзного трактата или фундаментального закона государства, требуют единогласного решения.

Генеральные Штаты, постоянно заседающие в Гааге и составленные из депутатов семи Провинций, суть подлинные владетели завоеванных со времени объединения земель, то есть голландского Брабанта, голландского Лимбурга, голландской Фландрии и части Ванло, но они не обладают никакой властью над семью Провинциями. Члены Генеральных Штатов должны извещать свои Провинции о предметах обсуждения и обязаны подавать мнения сообразно с данными им инструкциями. В сей ассамблее все решается большинством голосов, а в ваших делах, требующих единодушного согласия всех Провинций Республики, о коих я только что говорил, Генеральные Штаты обладают не большей властью, чем провинциальные.

Рассуждая, Ваша светлость, о сей форме правления, Вы чувствуете, чего уже достигла страсть к свободе, когда соединились восставшие Провинции. Конечно, народ, желающий быть свободным, особенно если он только что свергнул иго угнетения, должен быть весьма осторожен при распределении власти и не слишком доверяться своим представителям. Однако, ради утверждения свободы не должен он предаваться и излишней недоверчивости и принимать меры, кои могут нанести ей вред. Разве не следует порицать Соединенные Провинции за то, что отказали они своим Штатам, провинциальным и Генеральным, в той власти, каковую Фризская сеньория предоставляет своим? Депутаты в штатах сей Провинции отнюдь не советуются с доверителями, и их решения имеют силу закона. Какое помешательство может произойти из того, что какая-нибудь Провинция благоразумно ограничит весьма кратким сроком депутацию своих представителей в штатах

и мудрыми предосторожностями воспрепятствует тому, чтобы интрига, коварство и пристрастие не повлияли на их избрание? Учреждая такой порядок, сколько препятствий воздвигали на своем пути Соединенные Провинции? Желая избегнуть одного зла, разве не были ввергнуты они в худшее? Скоропостижность порою является великой мудростью, но тем не менее при самых важных обстоятельствах в Республике может сказаться нехватка твердого законодателя, и она начнет клониться к анархии.

Тогда исполнительная власть с каждым днем будет замедлять свой ход, хотя употребление одной должно быть столь же деятельно и беспрепятственно, как и власти законодателей.

Прежде чем Генеральные Штаты могут принять окончательное решение, надлежит обсуждаемые дела перенести в провинциальные штаты, а оттуда возвратить на рассмотрение доверителей. Таким образом пятьдесят городов и все дворянство должны трактовать о них, обсуждать и принимать одно решение, дабы провинциальные штаты могли предоставить Штатам Генеральным свободу действий. Такая медлительность, всегда утомительная, а зачастую и пагубная, постоянно сопровождает эту политику! Но это еще не все, Ваша светлость, и когда я имел честь говорить Вам о надлежащем для решения важнейших дел единодушии, разве не удивились Вы, вновь встретив сей польский закон у просвещенного народа, который сыграл столь значительную роль в Европе? Вам должно быть любопытно узнать, по каким особенным причинам сии существенные пороки не могли с самого начала воспрепятствовать Республике Соединенных Провинций одержать верх над своими врагами, а в последствии не нанесли ее делам великого урона.

При подобном правлении союз никогда бы не существовал, если бы Провинции сами не имели способ ускорять медленное течение дел и приводить к одному образу мыслей завидовавшие нередко друг другу города и дворянство, кои отягощены были всяческими предубеждениями и даже находясь вне опасности и заинтересованные в успехе всякого предприятия, не могли испытывать одинаковое рвение к общему делу и, следовательно, находиться в согласии. Таковой способ заключается в штатгальтерстве, которое за три года до заключения договора о союзе пять Провинций даровали было Вильгельму I принцу Оранскому, и которое фризские и groningenские сеньоры в собственных своих Провинциях вручили графу Нассаускому²²⁵.

Прерогативы или права штатгальтера – командующего сухопутными силами и генерал-адмирала – весьма обширны. Он ведает морскими силами, сухопутными войсками и назначениями на все военные должности. Он дарует помилование преступникам, председательствует на всех заседаниях судебных палат и приговоры в оных совершаются его именем. Он назначает городских магистратов, кои должны ставить его в известность о требованиях городов. Он дает аудиенции иностранным послам и посланникам и может иметь ради своих особых

дел поверенных у государей сих послов. Он обязан приводить в исполнение законы, утвержденные провинциальными штатами. Наконец, штатгальтер является посредником или скорее судьей в распрях, неожиданно случающихся между Провинциями, городами и другими членами государства, и решения его не подлежат обжалованию. Странное следствие противоречий человеческих! Люди слишком ревностные к собственной свободе, чтобы вполне полагаться на равных себе доверителей, уступают государю власть, которой ему в таком случае тем удобнее злоупотреблять, чем дела Республики оказываются серьезнее и неустойчивее.

Такая власть в руках государя, который обладал всеми достоинствами великого человека и был в душе республиканцем, не только не стала пагубной, но даже споспешествовала сглаживанию всех изъянов правления и восполнила собою то, чего ему недоставало. Мориц Оранский, подобно отцу своему, пользовался властью как добрый гражданин и истинный герой. Он объединил умы и привел их в движение. Брат его, Фридрих-Генрих, наследовавший ему, руководствовался теми же принципами, и его правление представляло собою долгую вереницу триумфов и процветания. Сын последнего, Вильгельм II, облеченный тем же достоинством в 1647 году, возбудил подозрение Республики. Потому ли, что Соединенные Провинции после заключения в Мюнстере окончательного мира с Испанией¹²⁶ в меньшей степени нуждались в штатгальтере и начали страшиться принадлежащей ему огромной власти, или потому, что со своей стороны Вильгельм, занятый предметами менее важными, нежели его предшественники, казался более ревностным к своей власти по мере того, как в ней все менее нуждалась Республика, но согласия между Провинциями и штатгальтером уже не было. Свобода склонна к подозрительности, честолюбие беспокойно, и, очевидно, Республика была бы раздираема и, может быть, разрушена междоусобиями, если бы властолюбивый Вильгельм не умер в 1650 году. Тревоги ревностных республиканцев рассеялись и, пораженные в большей степени опасностями последних лет, коим подверг их штатгальтер, нежели приобретенными ими преимуществами, голландцы приняли меры к тому, чтобы сын Вильгельма II, родившийся уже после его смерти¹²⁷, никогда не мог достичь могущества своего отца.

Как Вы сами видели, Ваша светлость, они избежали бедствий тирании лишь для того, чтобы подвергнуться злосчастиям анархии. Поскольку штатгальтерство служило связующим звеном между слишком обособленными и весьма независимыми частями Соединенных Провинций, поскольку оно было душою провинциальных советов и принципом их единогласия, эдикт, который навсегда упразднил его, не устраняя пороков правления, обрек Республику на губительное бездействие. Чего ради бесспорно уничтожить сию должность, в то время, как Соединенные Провинции, втянутые во вздорные интриги европейской политики и занятые всеми делами Европы, нуждались

в самых действенных для сего средствах и способах? Если бы Республика благоразумно занималась только своими собственными делами, то, очевидно, она, не исправляя беспорядочности своего правления, не должна была упразднить штатгальтерство и ограничиться превращением оною в какую-либо чрезвычайную должность, каковым было, к примеру, диктаторство у римлян. Надлежало, чтобы кратковременное и созданное лишь во время междоусобий или внешних войн штатгальтерство могло своей верховной властью предохранить Соединенные Провинции от опасностей, коим обыкновенное правление подвергало их.

И Республика скоро почувствовала нужду в диктаторе. Перед лицом обрушившихся на нее в 1672 году армий Франции и грозных ее союзников¹²⁸ ей представилось, что наступил час ее падения, и, не будучи еще побежденной, она была почти готова распустить свой союз. В сих обстоятельствах великий пенсионарий Голландии¹²⁹ Ян де Витт понимал, что одного благоразумия, мужества, твердости и познаний ему уже не достает: корабль разбит неистовым штормом, и руль вырван из его рук. Действительно, если бы сему добродетельному и ревностному гражданину удалось разрушить надежды молодого Вильгельма III и навсегда изгнать штатгальтерство, то Соединенные Провинции отнюдь не ощутили бы в себе довольно сил для отвращения угрожавших им ударов, и невозможно не признать, что пороки их правления и всеобщая растерянность сделали их гибель неизбежной.

На смену прежнему духу мужества и терпения, освящавшему основание Республики и являвшему порою чудеса, мир принес тот дух беспечности и изнеженности, который обыкновенно ослабляет государства, в коих не понимают, сколь опасно доверяться сладостям покоя. Сухопутные силы Республики оставлены были без внимания. Торговля начинала весьма сильно привязывать граждан к их домашнему благосостоянию. Не существовало уже более начала, соединяющего все семь Провинций, и, не осмеливаясь доверять ни друг другу, ни собственным своим правителям, каждая из них старалась трактовать о делах порознь, дабы получить более для себя выгоды. Гроций говорит, что ненависть его соотечественников к Австрийскому Дому не допустила их быть уничтоженными пороками собственного правления¹³⁰. Сия мятежная ненависть уже не существовала, а та, которую должны они были чувствовать к Франции, и которая имела бы те же следствия, еще не возникла.

Вильгельм III наделен был не только великими талантами воина, но и еще более великими способностями к тому, что мы обычно называем политикой. Враги его, преграждавшие ему путь, а равно и его сторонники, возлагавшие на него надежды, способствовали безграничному его честолюбию. Возвысившись, Вильгельм III стал достоин своих предков, а отечеству возвращены были уверенность и мужество. Голландцы обрели союзников, а Франция лишилась оных, война приняла другой оборот; словом, штатгальтерство спасло Республику.

В момент одной из вспышек признательности, проявления коей весьма обыкновенны среди свободных народов, сторонники Оранского дома 2 февраля 1674 года добились установления, что штатгальтерство, отныне наследственное, будет переходить к законным детям Вильгельма III по мужской линии. Порядок, сделавший сие достоинство пожизненным, был не менее гибелен для Республики, чем закон, некогда изгнавший оное. К счастью, штатгальтер не оставил потомства, и Соединенные Провинции оказались, по смерти его, в весьма цветущем состоянии и могли полагаться на обыкновенных своих правителей. Успехи союзников в продолжении войны за Испанское наследство и злосчастия Франции явились причиной сильного брожения в Республике, и пружины правления стали действовать весьма скоро, хотя в естественном состоянии надлежало им быть весьма медлительными.

Благоволите вспомнить, Ваша светлость, о принципах, кои Вами были рассмотрены, и в соответствии с ними убедитесь, что наследственность штатгальтерства являлась самой большой из ошибок, какие могли только учинить Соединенные Провинции. Если при чрезвычайных обстоятельствах свободному народу выгодно, как я уже говорил, чрезвычайное достоинство власти, которое привело бы правление в движение и придало бы ему новые силы, то нет ничего непосредственнее, как сделать сие достоинство постоянным и наследуемым. Оно уже не будет оказывать соответствующего влияния на приемы к нему умы; им уже не внушить прежнего рвения, прежней пылкости и доверия. Можно не опасаться могущества правителя, власть коего ограничена весьма кратким сроком, потому что он ставит целью своею одно лишь общественное благо. Пожизненный правитель начинает отделять свои интересы от интересов Республики. Нужно поэтому ограничить его власть. Наследственный же правитель становится как бы врагом своего народа. Сколь бы малую власть ни вверили ему, следует ожидать, что она вскоре станет весьма обширной.

Если Вы, Ваша светлость, подробно рассмотрите прерогативы штатгальтера, то сочтете его истинным монархом, и стоит только ему пожелать во зло употребить оные, разделяя умы, льстя страстям, скрывая честолюбие свое под личиною народных обычаев, и он в скором времени станет самовластным государем. Он дарует помилование преступникам, а льстецы выведут из сего, что особа его священна и не может подлежать суду, то есть, что он выше закона и изначально председательствует во всех судебных учреждениях. Следовательно, с легкостью может он развратить оные, обходя силу законов судебными решениями, и когда постепенно утвердится правосудие, благоприятствующее его интересам, сам станет, наконец, законодателем. Все правители городов обязаны местами своими штатгальтеру: если он искусен, то научит их быть признательным ему вплоть до того, что они могут стать изменниками отечества, а он будет владычествовать над всем гражданским сословием, которое стремится достигнуть судейс-

ких должностей. Прерогатива переговоров с другими государствами дает ему возможность приобретать союзников и вне страны находить нужные ему средства к ее порабощению. Если ловкий интриган вершит высший суд в распрях городов и Провинций, то что помешает ему разделить оные и стать неограниченным их властителем? Власть штатгальтера назначать на военные должности и располагать сухопутными и морскими силами повергает меня в трепет. Что помешает ему сказать когда-нибудь своим наемным войскам: "Друзья, эти горожане, кои платят вам, скупы, боязливы, богаты и ни в чем не повинуются правительству. Вы проливаете кровь, а они отказывают вам в деньгах. Вы — защитники Республики. Довольно защищать ее от оружия чужестранцев, надлежит защищать ее и от корыстолюбия граждан!" Вильгельма III был, как поговаривают, королем Соединенных Провинций и штатгальтером в Англии. Если бы он оставил по себе сына наследником, трудно представить до каких пределов распространилась бы ныне его власть.

После смерти Вильгельма III место штатгальтера в Провинциях Голландия, Хелдер, Зеландия, Утрехт и Оверэйссел оставалось вакантным: Республика не усматривала ни выгод, каковыя она могла извлечь из сей должности, сделав ее преходящей, ни благоприятствующих сему обстоятельств. Действительно, не было уже ни тех бессмертных штатгальтеров, мужество и гений коих основали и сохранили Республику, ни их потомков, и потому надлежало, чтобы Провинции были столь же привязаны ко второй ветви Нассауского Дома, сколь и к первой. К тому же в конце войны 1701 года¹³¹ голландцы столь возгордились славою, обретенной ими в годы правления обычных своих правителей, что с радостью приняли бы любые установления, к сему относящиеся.

Однако, потому ли, что правители в то время не были осведомлены об устройстве своего правления, или потому что помышляли об одном только распространении своей власти, возродили они старые законы, кои воспрещали штатгальтерство. Таковая политика, да позволено мне будет сказать о том, была при сих обстоятельствах тем более ошибочной, что невозможно было уже скрыть негодование дворянства на власть горожан; дворянство же напрягло все силы свои к восстановлению штатгальтерства и склоняло к тому народ.

Дабы понять в чем заключались тогда интересы народа, благоволите заметить, Ваша светлость, что с момента возникновения Республики собрания горожан большинством голосов избирали членов Сената. На этих выборах возникали разного рода происки и интриги, и из тысячи средств, могущих пресечь сие зло, вооружились наихудшим и опаснейшим: предоставили самому Сенату право назначать на вакантные сенатские места. Сенаторы стали отдавать их своим родственникам, и власть стала уделом нескольких семейств, кои овладели всеми должностями. Семейства, исключенные из сего числа, роптали на олигархию и были менее привержены правительству, и для того, чтобы унижить из мес-

ти правителей, они вынуждены были объединиться с дворянством ради восстановления штатгальтерства.

В 1722 году штаты герцогства Хелдер определили своим штатгальтером и главнокомандующим принца Оранского и Нассауского, уже явившегося наследственным штатгальтером Фризским и Гронингенским. Голландская Провинция узрела опасность, угрожавшую ей, но не приняла никаких мер, способных предотвратить оную. Вместо бесполезных переговоров с герцогством Хелдер для помешательства сему предприятию надлежало воспрепятствовать распространению этого примера. Для сего надо было понять причины, вызвавшие сию перемену в Хелдере, и, если они могли иметь те же следствия и в других Провинциях, надлежало сему воспротивиться. Для того, чтобы дворянство и народ не выступали в пользу штатгальтеров, надлежало лишить их оснований жаловаться на существующее правление: следуя всякому иному принципу, невозможно было достичь вожделенного успеха.

Между тем, как враги штатгальтерства не делали ничего, что им следовало бы делать, сторонники оногo, полагаясь на доверие Георга II короля Англии и тестя принца Оранского, день ото дня становились все многочисленнее. Они ожидали только предлога для перемены образа правления, и он представился в 1747 году, когда король Франции напал на владения Соединенных Провинций¹³². Умысел принца Оранского заключался в том, чтобы распространить самые тревожные слухи, которые вызвали бы повсюду растерянность и внушили страх правителям. "Мы погибли без штатгальтера! Дайте нам штатгальтера!" — только и слышны были крики, к коим примешивались даже угрозы. Зеландская Провинция повиновалась общему гласу, и владения Голландии и Утрехта последовали сему примеру. Вскоре к ним присоединилась и Провинция Оверэйссел.

Первый успех ободрил врагов правительства, и, словно боясь возврата прежней свободы, Республика не только сделала штатгальтерство наследственным, она даже хотела призывать к верховному званию и женщин¹³³. Закон гласит, что это достоинство не может принадлежать государю, облеченному королевским или курфюршеским саном, или не протестантской веры. Штатгальтеры, во время их малолетства, должны воспитываться в Соединенных Провинциях. Верховное сие достоинство переходит потомству принцесс Оранского дома только в том случае, если они при согласии Штатов вступят в брак с государем протестантского вероисповедания, который не был бы ни королем, ни курфюрстом. Наследная принцесса штатгальтера будет отправлять свои обязанности, имея титул правительницы, а для командования войсками во время войны представит избарнного ею генерала Республике. Во время малолетства штатгальтера принцесса-мать пользуется всей полнотой его власти, имея титул правительницы, с тем однако условием, что никогда уже более она не выйдет замуж.

ГЛАВА V

Об английском правлении

Вильгельм, герцог Нормандский, только тогда мог увериться в преданности нормандских сеньоров, кои помогали ему в завоевании Англии, когда обогатил их владениями побежденных. Он пожаловал им обширные земельные владения, но, водворив в новом своем королевстве законы и правление, к которым сеньоры его герцогства были приучены, он не стал меньше дорожить собственной властью, а потому установил порядки более строгие, нежели те, каковые известны были во Франции.

Когда Вы учили историю первых преемников Гуго Капета, Вам показали, Ваша светлость, первопричины слабости сих государей. Следуя обычаю, государь распространял свою власть над одними лишь ближайшими вассалами, поскольку лишь немногие из поместий состояли непосредственно в ведении короны, и короли имели прямые отношения с ограниченным числом сеньоров. Добавим еще к этому то, что вассалы французских королей большей частью были слишком сильны, дабы в точности исполнять обязанности, налагаемые на них верой и клятвенным обещанием. Вильгельм избежал его, разделив покоренные земли на весьма большое число зависимых от него баронств. Таким образом, все сеньоры Англии были его непосредственными вассалами, все они признали в нем своего сюзерена, и никто в отдельности не был достаточно могуществен, чтобы решиться на ослушание. Государь сей означил еще в своих жалованных грамотах условия, на которых жаловал он им свои феоды, оставляя в то же время за собою некоторые права, связанные с правосудием и надзором. Стесненные сим вассалы могли явить непокорность и восстать, но у них не было надежды добиться той свободы, которой обладали могущественные сеньоры, зависящие от французского короля. Именно по этому поводу английские бароны заявляли претензии Генриху III, который потребовал аннулировать две пожалованные его отцом Иоанном Безземельным славные хартии, соблюдать кои он сам клятвенно обещал. Епископ Винчестерский, министр Генриха III, отвечал им, что пэры Англии весьма много возомнили, желая стать на одну ногу с пэрами Франции, ибо между теми и другими есть великое различие.¹³⁴ С того времени многое изменилось, — говорит некий англичанин, — и французским пэрам, если бы они хотели сравниться своим могуществом с английскими, можно было бы сказать ныне, что они весьма много мнят о себе.¹³⁵

Нормандские сеньоры благосклонно взирали на притеснения нового короля, чтобы дать ему возможность изливать великие щедроты и позволить себе, по его примеру, угнетать жителей своих земель. Но всему приходит конец, и когда уже нечего было грабить, почувствовали они нужду в законах и известном порядке ради того, чтобы обезо-

пасить награбленное достояние. Корыстолюбие, соединившее победителей, не замедлило поселить среди них разлад. Государи полагали, что дали слишком много, а вассалам полученное представлялось слишком малым. Недовольство с той и другой стороны было равным, и преемники Вельгельма, желая во зло употребить свои силы, начали действовать с таким высокомерием, что гордость владельцев феодалов не могла того стерпеть, и они стали вызывать подозрение народа. Бароны, не способные поодиночке противостоять королю, соединились, дабы расширить свои права. В то время, как французские короли успешно сражались против сеньоров и могли надеяться, воспользовавшись раздорами оных, истребить их одного за другим, в Англии государи не могли извлечь никакой выгоды из политики Вельгельма, раздававшего лишь мелкие феодалы. Можно заключить также, что в продолжении сих раздоров природные англосаксы благоприятствовали баронам и оказывали им помощь. Свидетельством тому служат те статьи в грамотах, вынужденных сеньорами у Иоанна Безземельного, где утверждаются исключительные права Лондона и нескольких других городов,¹³⁶ и которые даже смягчают власть баронов над их подданными. Достаточно известно, что в сии времена гнета нравы и принципы вельмож не побуждали их из великодушия поступаться своими правами.

Великая Хартия и Хартия о лесах¹³⁷ утверждали права короля и баронов и смягчение бремени повинностей для народа, но, согласно обычаю сего века невежества и варварства, чем больше было причин не полагаться на законы и трактаты, тем менее стремились к укреплению оных. В то время как преемники Иоанна Безземельного помышляли лишь о том, чтобы нарушить обе вынужденные у него необходимостью грамоты, народ, всегда беспокойный, не переставал жаловаться и с угрозами требовать возмещения причиненных ему несправедливостей. Именно эти противоположные интересы были первопричиной и душой всего, что происходило за всю историю Англии. Я не буду, Ваша светлость, вдаваться в подробности. Достаточно заметить, что представляла она собой приливы и отливы беспорядочных войн и вероломных мирных трактатов. Народ, пребывавший всегда в беспокойстве, поскольку не был доволен властью, искал лучшего правления, не зная, где обрести оное. Единственное преимущество, которое извлек он из первых своих смут, заключалось в том уважении, коим проникся он к Великой Хартии и каковое поддерживалось из века в век. После долгих заблуждений, сие чувство еще служило ему путеводной нитью. Народ обязан ему тем правлением, коим ныне пользуется и которое есть у него основание любить, хотя и несправедливо почитается оно образцом и шедевром политики.

Всегда сплоченные и всегда готовые сражаться за свободу, англичане должны были в равной степени просветиться своими успехами и невзгодами. Они были близки к тому, чтобы собрать плоды оных, учредив упорядоченное правление, когда противоположные притяза-

ния Йоркского и Ланкастерского Домов¹³⁸ заставили их предать забвению распри касательно преимущественного права королей, чтобы заняться одними только частными правами государей, кои овладевали тронном посредством оружия. Корпоративный дух пришел на смену духу патриотическому. Две враждующие партии оказали своим вождям опасную услугу и позволили им все, дабы они восторжествовали над своими врагами и утвердились на троне. Короли преступили пределы, положенные их власти: они присвоили себе новые prerogatives, и, незаметно для себя англичане приуговетились безропотно носить деспотизм Генриха VIII.

И другие причины, не позволив им возвратиться к древним своим принципам, способствовали полной перемене, обнаружившейся в их национальном характере во время правления сего государя. Таковы, Ваша светлость, те европейские обстоятельства, в коих Англия приняла участие, и которые помешали ей заняться внутренними своими делами. Особо это относится, по справедливому замечанию Рапена де Туара, к религиозным распрям, вызванным новым учением Лютера. Противники враждовали друг с другом с не меньшей яростью, нежели во времена Белой и Алой Роз, и равным образом готовы были пожертвовать общим делом ради частных своих интересов. "Поскольку Генрих VIII, — говорит Рапен, — держался своего рода середины между реформаторами и приверженцами прежнего учения, никто не мог быть уверен в том, что он сможет долго пребывать в таком положении. Те, кои желали Реформации, за лучшее почитали угождать ему во всем, чтобы иметь возможность постепенно побудить его к распространению оной. Таким образом, сторонники прежнего вероисповедания при виде подобных начинаний опасались, как бы он не пошел далее и как бы их сопротивление не побудило его скорее довершить всей труд. Итак, поскольку каждая из сих двух сторон старалась склонить короля на свою сторону, он получил такую власть, каковой ни один из его предшественников не обладал и какую он не мог приобрести при иных обстоятельствах, не подвергнув себя риску потерять все".¹³⁹

Те же самые причины благоприятствовали Эдуарду и королеве Марии, кои, ревностно защищая религию, ими исповедуемую, были уверены, что имеют многочисленных сторонников, покровительствуемых ими и давших им возможность пускаться в новые и противные законам предприятия. Прежние нравы исчезали, а попечение о свободе и правлении было в тем большем небрежении, что англичане начинали все более заниматься торговлей и заселением Нового Света. После перенесенных ими суровых царствований, против коих они лишь роптали, почли они за великое счастье повиноваться Елизавете, государыне не менее равностной к своей власти, нежели тираны, но достаточно просвещенной, чтобы знать, что власть теряется сама собой, если не утверждается она с крайней осторожностью. Благоразумие и твердость Елизаветы снискали ей всеобщее уважение. Англичане и не заметили, как она постепенно присвоила себе новые preroga-

тивы: каковыми преемники ее могли злоупотребить, или, может быть, они это заметили, но не сочли за зло, поскольку преимущественные сии права были необходимы ей для утверждения общественного спокойствия в то время, когда Англия, полная фанатичных граждан, кои желали только смуты, имела вне границ своих могущественных врагов.

Яков I, государь слабый и, следовательно, опасавшийся, как бы власть не ускользнула из рук его, был убежден, благодаря чтению некоторых богословов, в чем и состояли все его удовольствия, что одному только Богу обязан он своим саном. Почитая себя его наместником, он был совершенно уверен, что невозможно положить предел его могуществу, не впадая в кощунство. От прежнего национального духа не осталось почти ни следа. Англичане, отвлеченные ссорами духовенства, новыми удовольствиями и роскошью, рассуждали о своей свободе бесстрастно, нимало не беспокоясь о будущем. Не имея еще никакого ясного представления о принципах естественного права и о природе законов, не весьма просвещенные даже о своем прошлом, они отнюдь не находили странным, что несправедливость и наглость последних государей под личиною королевских прерогатив получили правовое подтверждение у их преемников. При таком расположении умов сама слабость и робость Якова I благоприятствовали успехам деспотизма: они не давали ему исполнить те отважные и решительные предприятия, кои, быть может, пробудили бы англичан от их дремоты.

Если религиозные распри много способствовали распространению преимущественного права королей, то, с другой стороны, не замедлили исправить тот вред, который нанесли они свободе. Возникла секта людей суровых и непреклонных, которые с негодованием видели в англиканской церкви остатки иерархии и обрядности римского католицизма, сохраненные королевой Елизаветой. Пресвитериане, помышляя только о мести королю за его к ним неважность, посеяли в народе новый дух¹⁴⁰. Они связали между собой дела политические и богословские, обсуждая деяния государя, спрашивали, какого-то основание, на коем зиждутся его права, и оспаривали оные. Но им никогда бы не удалось приподнять таинственный покров, скрывавший королевское величие, не удалось бы заставить полюбить свободу, если бы они сами не извлекли из архивной пыли ту Великую Хартию, которая была известна по одному только имени и которая в течение столь долгого времени оставалась коренным законом англичан. Рассуждения слабо влияли на умы, но зрелище всеобщего упадка сословий рождало негодование. На государя взирали почти как на врага внутреннего, который пользовался своей властью в ущерб всем гражданам королевства. Великая Хартия восприняла прежнюю свою силу и каждый познал из нее то, чем надлежало ему быть.

Палата общин, которая в течение долгого времени настолько не имела понятия о своей власти, что, когда заседания Парламента не ограничивались одной сессией, канцлер личным своим повелением

назначал новых членов на места тех, коих он по произволу признавал недееспособными, принудила двор отказаться от этой прерогативы. Став единственным судьей законности выборов, присвоила она себе право наказывать тех, происками коих был бы арестован один из членов Парламента, и даже офицеров, на которых возлагалось исполнение приказа об аресте. Начали с недоверием взирать на суд *Высокой Комиссии*¹⁴¹, учрежденной Елизаветой, члены которой, назначавшиеся королем, по своему усмотрению решали все церковные дела. Раздавался ропот и против другого судебного учреждения, называемого *Звездной Палатой*¹⁴² и составленного из судей, выбранных по совету государя и имевших неограниченную власть в делах гражданских. Это посчитали водворением тирании или, вернее, действием ее под опасной маской правосудия, и ненавистное судилище было уничтожено. Познавая прошлое, люди становились подозрительнее, осторожнее и осмотрительнее в своих размышлениях о будущем. Уже не давали столь же охотно, как прежде, согласие на предоставление субсидий. Наконец, Парламент утвердил в 1624 году билль, по которому каждый гражданин получал право на полную свободу делать все, что сочтет нужным, лишь бы он никому не наносил ущерба¹⁴³. Он должен был отвечать за свои дела только перед законом, а закон уже не подчинялся ни королевскому исключительному праву, ни какой-либо другой власти.

Мне пришлось бы очень долго говорить, Ваша светлость, если бы я пожелал подробно описать все учреждения, все законы и установления, существующие у англичан, в соответствии с принципами Великой Хартии, но должен заметить, что без пресвитерианского рвения к проповеди своих богословских суждений, возбужденный ими против правительства дух свободы вызвал был лишь преходящее брожение. Вероятно и то, что, не обладай они политическими принципами, ненависть их к епископам и суеверным обрядам англиканской церкви воспламенила бы одни только бесполезные войны, и народ не был бы, наконец, вознагражден мудрым правлением за всю кровь, пролитую фанатизмом.

Ежели во времена переворотов надобны люди, одушевленные страстию и стремящиеся за пределы предположенной цели, дабы те, кто наделен мудростью и осмотрительностью, могли достигнуть ее, то англичане должны быть признательны пуританам – секте самых пылких пресвитериан, которая в равной степени стремилась уничтожить и епископат, и королевскую власть. Читайте со вниманием историю Дома Стюартов, сочиненную господином Юмом¹⁴⁴, и Вы увидите, что фанатизм и любовь к свободе всегда идут рука об руку. Один поддерживается другою, и без их взаимной помощи англичанам никогда не удалось бы добиться свободы.

Вам, Ваша светлость, известны события той достопамятной войны, которая завершилась трагической смертью Карла Первого и тиранией Кромвеля. Сколь многое должны сказать они Вашему уму! Какой урок

для государей, упоенных счастьем! Какой урок для народов, почти всегда угнетаемых теми, кто берется их защищать! Как бы то ни было, любовь к свободе была столь велика, что ни бедствия войны, ни тирания Кромвеля, ни возвращение Дома Стюартов среди приветственных кликов народа, не смогли потушить ее. Созванный Карлом II первый Парламент¹⁴⁵, поступил вполне благоразумно, признав себя от имени народа виновным в мятеже и оскорблении величества и объявив, что наносить королю вред, лишить его престола или поднять на него оружие, хотя бы и ради собственной защиты, есть государственная измена. Благоразумно признал он и то, что ни одна из двух палат, ни обе совокупно не обладают никакой властью помимо короля: таким образом произволу нанесен был удар в самом его основании. Хотя народ и не дерзал согласиться со своими представителями, или протестовать, сторонники республики принуждены были безмолвствовать, но не признавая ничего, кроме законов, сообразных с Великой Хартией, внутренне содрагались от гнева и ждали своего часа.

Исключая католиков, рассеянные по всей Англии секты с огорчением видели на троне государя, которого подозревали в принятии римской веры, тем более, что герцог Йоркский, предполагаемый преемник его, дерзнул открыто ее исповедовать¹⁴⁶. Повредились и нравы. При Карле II вошли в моду такие пороки, которые способны превратить людей в рабов, и сторонники древней свободы утешали себя лишь тем, что религия явится причиной нового переворота. Говорили об одной только жестокой нетерпимости, в которой уже более столетия упрекали римскую церковь. Интересы индепенентов¹⁴⁷, пресвитериан и сторонников епископата сходились на неповиновении католическому королю, но, к счастью для сего государя, их разделяла давняя ненависть, и они уже не решались доверять друг другу. Пока двор пренебрегал случаем поддерживать эту рознь, более тонкая политика республиканцев соединила их и даже побудила каждую из сторон в отдельности благожелательно отнестись к перевороту, ею предначертанному. Яков II, окруженный неблагоприятными друзьями и пылкими католиками, не видел, что англичане сносили первые его злоупотребления с притворным терпением для того только, чтобы побудить к еще большим несправедливостям, сделать тем самым ненавистным и ускорить его гибель. Он воображал, что достиг неограниченной власти, а принц Оранский, которому была обещана корона, высадился в Англии, чтобы изгнать его¹⁴⁸.

После стольких возмущений, причину и дух коих отнюдь небезопасно раскрыть, наступила, наконец, эпоха утверждения менее буйной свободы. Парламент, созванный 22 января 1689 года, объявил, что мнимая правомочность отменять законы или приостанавливать исполнение оных королевским повелением без согласия на то Парламента противна законам и гражданскому устройству Англии¹⁴⁹. Корону лишили присвоенного ей права создавать судебные комиссии или палаты, и отныне повелевалось даже по делам о государственной

измене избирать присяжных лишь из членов Палаты Общин. Всякий денежный сбор в пользу короны под видом какой-либо королевской прерогативы, не одобренный Парламентом, упразднялся, и король не мог проводить оный иначе, как в течение того времени и таким образом, как решит Парламент. Каждый англичанин волен предъявить королю свои требования, и всякое преследование или содержание в тюрьме признаны противными законам, так же как набор и содержание армии в королевстве в мирное время без согласия на то народа. Было обеспечено свободное избрание членов Парламента, равно как и то, чтобы парламентские речи и дебаты не подвергались рассмотрению или обсуждению ни в судебных палатах, ни в каком ином месте, кроме самого Парламента. Было запрещено требовать чрезмерных поручительств, налагать непомерные взыскания и слишком суровые наказания.

Вот, что, Ваша светлость, Англия называет своим основополагающим законом. Вы видите отчетливо ограниченные пределы королевской власти, и если государь относится к ним с уважением, народ, несомненно, будет свободен: но кто может поручиться в этом? Многие сочинители и сам автор "Духа законов", чье влияние столь велико, воздавали похвалы этому гражданскому устройству¹⁵⁰, но можно ли при тщательном исследовании не видеть, что дело свободы только лишь слегка очерчено? Говорят, что три власти – король, Палаты лордов и общин – пребывают в равновесии, смиряют взаимно друг друга, и ни одна не может во зло употребить свои силы. И все-таки я оспариваю сие. В самом деле, какие действенные меры приняли англичане, чтобы обезопасить правление своей страны от посягательств короля? Могут сказать, что они, напротив, хотели сделать государя достаточно могущественным, чтобы он мог льстить себя надеждой стать еще более сильным. Или что они стеснили его страсти лишь ради большего обострения оных. Если равновесие различных властей установлено в справедливой соразмерности, то откуда эта постоянно возобновляющаяся тревога народа? Откуда вечные жалобы на правительство, которое беспрестанно обвиняют в измене долгу?

Основополагающим в Англии является то, что король никогда ни в чем не виновен, что невозможно вызвать его ни в какой суд, и что закон не может вынести против него судебного решения: то есть надлежало сделать его неспособным преступить закон. И, дабы не отворить дверь всем злоупотреблениям, каковые суть следствие безнаказанности, направлять все его страсти к общественному благу, устранять соблазны и препятствовать тому, чтобы у него были интересы, отличные от интересов его подданных. Но, скажут мне, министры отвечают за его поведение головой, они удержат его в сознании своего долга. Какое жалкое средство! И возможно ли положиться на него? Если государь не знает над собою судей, сколькими обладает он средствами к охранению своих приспешников и орудий своего честолюбия? Министры будут угождать всем его страстям, поскольку

ожидают от него благополучия. Одним словом, Ваша светлость, какой властью или каким влиянием не обладает государь, имеющий вооруженную силу, в особенности если есть у него великие доходы, способные купить ему друзей, и если он раздает должности, почести, титулы, посредством коих развращает добродетель, законы и правосудие?

Если бы Англия не имела ни одного из тех пороков, кои отдают верховную власть в руки короля, то разве не достаточно того, что он созывает, откладывает и распускает Парламент, дабы не было никакого подлинного равновесия между ним и обеими палатами? Король во многих случаях правомочен и без Парламента, последний же, напротив, ничего не может без короля: где же равновесие, которому приписывают столь благотворное действие? Король имеет право приостановить деятельность Парламента, а Парламент не может принудить короля соглашаться на предлагаемые ему билли: где же их равенство? А поскольку эти власти не равны между собой, то разве самая значительная из них не будет ежедневно умножать свои права? Правда, благодаря их образу правления, англичан невозможно заставить подчиняться закону, не ими составленному, но должно также и признать, что они не могут иметь закона, какого бы им хотелось, то есть они пользуются одной лишь полусвободой. Я желал бы, чтобы тот, кто хвалит английское гражданское устройство, объяснил мне, возможно ли, чтобы законодательная власть, которая должна быть душою государства, не сделалась для него пагубной, если подчинена она власти исполнительной? Предположим, наконец, что король подвергает общественную свободу опасности, либо тем, что не созывает Парламент, либо потому, что подкупает оный, дабы сделать его исполнителем своей воли; каким же законным путем можно тогда противиться его посползновениям? Если англичане не имеют других средств, кроме петиций, представлений или просьб, то это величайший порок в их правлении, что рано или поздно приведет к его падению. И если не воспользуются они силой, то будут в конце концов поработены государем настойчивым и мужественным, но который, к несчастью, отнюдь не будет внимать гласу истины. Мы привыкнем к злоупотреблениям, и недалеко то время, когда будем сносить величайшие несчастья, если ныне уже претерпеваем не столь уж большие невзгоды. Для того чтобы прибегнуть к силе, надо поднять мятеж, восстание, развязать междоусобную войну, то есть чтобы прийти на помощь правительству, надобно нарушить один из священнейших законов общества, вооружить одних граждан против других и дерзновенно предать государство всегда неисповедимому жребию оружия.

Не удивительно ли, Ваша светлость, что англичане, кои со столь давнего времени и столь часто упрекали своих королей за интересы, противные интересам народа, оставили им часть законодательной власти? Не удивительно ли, что не приняли они никаких действенных мер, дабы заключить исполнительную власть в предписанные ей

пределы, то есть принудить ее повиноваться законам с той же покорностью, как и простые граждане?

Яков I в 1624 году предложил Палате общин, чтобы предназначенные для него субсидии поступали комиссарам Парламента, уполномоченным распоряжаться ими, не передавая их в руки короля. Почему же это предложение не стало постоянным и неизменным законом, когда правление преобразовалось после революции 1686 года? Разве англичане к концу прошлого века не ведали власти золота и серебра над людьми? Разве не знали они, что граждане, будучи на содержании короля, считают себя королевскими слугами, и что они смотрели бы на себя как на слуг народа, если бы народ выплачивал им жалование через одного из членов Палаты общин?

В 1640 году Парламент издал билль о продлении своих заседаний на три года. Он повелел, чтобы в течение всех трех лет канцлер под страхом штрафа, рассылая 3 сентября повестки, что при его отсутствии двенадцать пэров могут занять его место, что в случае отказа шерифы, мэры и бейлифы назначают выборы и если эти чины не исполнят своего долга, то избиратели соберутся сами и выберут своих депутатов. По тому же биллю, Парламент, будучи созван, не может быть отсрочен, отложен или распущен в течение пятнадцати дней без согласия на то его членов. Мне известно, за что могут порицать эти законы. Я знаю, что возможны и более разумные установления ради независимости нации. Но, не распространяясь об этом, ограничиваюсь следующим вопросом: по какой причине Парламент 1689 года не восстановил лежавший в архивах закон, который хотя и был несовершенен, однако же благоприятствовал свободе и мог ограничить предприимчивость власти исполнительной?

Несомненно, англичане поняли, что им выгоднее семилетний Парламент, нежели трехлетний, но, признаюсь, для меня остается загадкой, что послужило причиной. Правда, английская философия открыла новые принципы естественного права и признала вполне оправданным то, что народу, похваляющемуся властью над тронем, правом издавать законы и не иметь над собой властелина, не должно быть позволено свободно собираться, когда ему заблагорассудится. В 1641 году Парламент потребовал, чтобы король не жаловал более новых пэров без согласия на то обеих палат¹⁵¹. Не было ли это верным средством помешать ему завоевывать себе сторонников, льстя честолюбию граждан, и средством ограничения королевской прерогативы, чтобы сделать полезными для народа те достоинства, кои выгодны были только королю? Почему же преобразователи правления не благоволили ничего сказать об этом важном обстоятельстве?

Может быть, Вы подумаете, Ваша светлость, что благоразумие укрощает их ревность? Или что надо было противостоять принцу Оранскому, поддерживаемому иноземными войсками, который мог сделаться Кромвелем, если бы не принужден был носить всего лишь бесполезное имя? Я соглашусь в Вами для того только, чтобы не вступить в спор,

который увлек бы меня слишком далеко от моего предмета. Но когда уже было известно, что Вильгельм III не будет иметь потомства, когда Парламент установил порядок престолонаследия, когда после смерти королевы Анны он возвел на престол Ганноверский Дом¹⁵² и мог по своей воле утвердить форму правления, почему же не радел он о том, чтобы загладить свои погрешности и составить законы, наиболее благоприятствующие свободе? По невежеству ли? Но об этом невозможно и помыслить. Или по вероломству? Но изменит ли кто-нибудь своему отечеству ради того только, чтобы угодить династии, которая должна править? Я не осмелился бы утверждать это.

По свидетельству англичан, знающих свое отечество и отнюдь не ослепленных тем, что обыкновенно зовется благополучием государства, величайшим врагом, какого только имеет ныне их гражданское устройство, является продажность, порожденная богатством, роскошью и корыстолюбием. Но такая порча нравов подготавливает переворот отнюдь не громкими деяниями и насилием. Она не переламывает пружины, а напускает ржавчину и, если можно так выразиться, поедает их. Такая испорченность действует неприметно, сея страх, льстя разного рода страстям, делая людей нечувствительными к общественному благу; и для граждан, в коих низка душа, не надобны законы, дающие им свободу, когда хотят они быть рабами. Причина этого зла, Ваша светлость, в том, что англичане пренебрегли важной истиной, которую я раскрыл пред Вами в первой части сочинения. Они стремились к иному благополучию, нежели то, к которому призывает нас природа. Их тяга к приумножению богатств и расширению владений была столь велика, что они стали обращаться за советом к одной только алчности и честолюбию, а Вам известно, какие советы можно ожидать от этих двух страстей, порождающих надежды обманчивые и бедствия неизбежные.

Нужно согласиться с тем, что вместе с властью, даруемой законами королю Англии, или властью, которой он сумеет овладеть, его недостатки, вкусы и страсти, одним словом, характер его, оказывают весьма большое влияние на течение дел. Иногда мы видим чрезмерную снисходительность, иногда силу. Что касается своих интересов в отношении других держав, то, кажется, Англия не имеет никакой определенной системы или цели. Государь, то избирая по своему произволу министров, то подвергая их опале, принуждает их думать так, как ему угодно.

Однако можно согласиться, что этот недостаток, как он ни велик, в Англии менее значителен, нежели у многих других народов. Нет сомнения, чтобы добиться милости и высоких должностей в Лондоне и во дворце Сент-Джеймс, нужна интрига, но и интриганы берут на себя труд иметь ради этого хоть какие-то заслуги. Ведь они имеют дело с народом просвещенным, беспокойным, ревностным к своим правам и доброму имени и всегда готовым открыто порицать то, что он не одобряет. В других странах касательно правительства хранят глубокое

молчание: преимущественное право монархии заключается в том, чтобы делать глупости, не опасаясь насмешек, и если королевские чиновники слышат вокруг себя какой-то голос, то это голос стоустной лести. Нельзя безнаказанно вызывать неудовольствие английского народа, но может случиться так, что всеобщие жалобы и ропот утомят необузданность государя и поместят в его совете друга народа.

Англии, владычице морей, нечего опасаться чужеземцев. Великое могущество ее за пределами страны, весьма обширные колонии, разветвленная торговля – вот чего должна она опасаться больше всего. Может быть, ей даже понадобится какое-либо бедствие, чтобы сохранила она величайшее из своих благ, а именно свою свободу: но кто осмелился бы утверждать, что она сумеет воспользоваться гибельной напастью, которая уязвит ее алчность и честолюбие?

ГЛАВА VI

О шведском правлении.

Вам известно, Ваша светлость, что именно из тех провинций Швеции, которые назывались некогда Скандинавией, вышло большинство народов, сокрушивших Римскую империю. Народы этого королевства на долгое время сохранили нравы готов и вандалов, кои навсегда останутся в истории. Швеция приобрелась к европейской культуре, не восприняв пороков цивилизованных народов, и, начиная с нынешних времен, установила она правление, достойное похвал и восхищения политиков.

Шведы всегда были крайне ревностны к свободе. Они почитали короля, – говорят историки, – внутренним своим врагом, и притом более опасным, чем враги внешние. Тысячи памятников свидетельствуют от том, что в отдаленнейшие времена вельможи имели укрепленные замки, содержали в них гарнизоны, вели междоусобные войны друг с другом и даже против государя, но я уверен, что это происходило не в силу поместного владения и феодального устройства. Беспорядки имели иную основу: эта была или любовь к независимости, или бессилие власти заставить граждан уважать общественное спокойствие. Действительно, мы видим, что все другие северные народы, водворившиеся в землях Империи, руководствовались тем же правилом прежде, нежели получили представление о ленном владении. В Швеции не имели никакого понятия о наших патримониальных сеньорах. Титулы графов и баронов появились там лишь в нынешние времена, распространяются только на личность и не сопряжены с владением землями. К тому же города и крестьянское сословие всегда посылали своих депутатов в народные собрания – привилегия, несоместная с обычаями феодальных сеньорий.

Славный Густав Ваза, освободив отечество от тирании датчан и ду-

ховенства¹⁵³, был возведен на престол, и признательный народ учинил корону наследственной в его Доме. Этот государь завещал преемникам свое мужество, свои таланты, величие души, и, благодаря тому влиянию, которое оказывают высокие и блистательные качества, эти герои, управляя свободным народом, сделались всемогущими. Но счастливое согласие было в конце концов нарушено. Возникли распри между Карлом XI и сенатом, который, отдаляя интересы свои от интересов народа, стал ненавистным последнему¹⁵⁴. В 1680 году сейм передал верховную власть королю с правом выслушивать мнения и представления сената, сохраняя решающий голос. Это означало свободу от всякой власти закона, и сейм, ослепленный злопамятством, не заметил, что с того времени, как сделал государя столь сильным и подчинил ему сенат, лишается всего своего могущества.

В самом деле, шведы вскоре испытали на себе неудобства произвольной власти. Как говорят, Карл XI имел способности к управлению, но они стали бесполезными для подданных с тех пор, как сделался он достаточно могущественным, чтобы иметь царедворцев и льстецов. Швеция перенесла самые вопиющие притеснения и потеряла отчасти доброе имя за пределами своими. При таковых обстоятельствах и возшел на трон Карл XII. Этот герой, самый необычный, какого только видели со времен Александра, принес своему королевству несчастья, доводя качества, способные произвести на свет великого государя, до своей противоположности. Шведы были слишком мужественны, чтобы обожать его, но по смерти его у них достало рассудительности сказать себе: "Если государь, коему невозможно не удивляться, носит в себе великую, благородную и возвышенную душу, и, хотя его не обуревают низкие страсти, причиняет столько зла, во всем следуя только своим прихотям, то чего же ожидать от обыкновенных душ, от бесхарактерных людей, позволяющих себя одурманивать парами произвольной власти людей, которые правят, повинуюсь страстям своих любимцев и льстецов?"

После смерти Карла XI Швеция восприняла право избирать себе короля и образовывать новое правительство. Учреди она республику, это было бы своего рода чудом, если бы необычайный деспотизм сего государя не был столь же способен придать возвышенность умам, сколь обыкновенный деспотизм способен унижить их. Свершая великие дела при Карле XII, шведы чувствовали, что рождены они не для рабства. В то время как народ оплакивал свою свободу, просвещенные и добродетельные граждане занялись изысканием законов, коим их отечество должно было повиноваться: итак, после неожиданной смерти Карла все было готово к перевороту. "Мы приносим всеподданнейшее благодарение ее величеству (принцессе Ульрике-Элеоноре), — заявили сословия государства, собравшиеся в сейме, — за справедливое и благоразумное отвращение, каковое благоугодно ей было выказать к произвольной и абсолютной власти, последствия коей нанесли великий ущерб королевству и весьма ослабили оное, так что

мы, собравшиеся здесь советники и сословия королевства, обретя горестный опыт, твердо и единогласно решили вполне уничтожить сию во всех отношениях вредную произвольную власть”¹⁵⁵.

”Наша главная цель, – заявил сейм 1720 года, – состояла в том, чтобы верноподанными нашими попечениями, искренней приверженностью нашей, нашим рвением и нашими решениями сделать так, чтобы величество короля осталось неприкосновенным, чтобы Сенату была сохранена власть, ему принадлежавшая равно как и права и свободы четырех сословий, дабы власть и повиновение соответствовали определенному и постоянному порядку, и глава и члены были соединены между собою в неделимое целое”¹⁵⁶.

Вот, поистине, тот предмет, каковой всякое общество должно поставить перед собой в качестве цели. Речь идет только о том, Ваша светлость, чтобы раскрыть перед Вами средства, кои употребляли шведы, дабы повиноваться одним только составленным ими законам и вручить своим правителям мудрую власть, возносящую их до положения граждан и подчиняющую их законам. Именно благодаря такому счастливому согласию сладывается правление столь же благоприятное целому, как и каждой из его частей.

Шведский сейм, более благоразумный, нежели английский парламент, присвоил себе всю законодательную власть. Ему не надобно согласия государя: все его решения суть законы для короля. Король сам соглашается, будучи уверенным, ”что сословия государства обладают всей полнотой власти предписывать отныне и впредь указы, распоряжения и ордонансы обо всем том, что они рассматривают и что касается государства, и каковые они полагают приемлемыми для общественного блага, свобод, благополучия и безопасности”. Опасаясь лишиться этой власти, шведы из благоразумной предосторожности остереглись вверить исполнительную власть одному королю. Он должен приводить законы в исполнение, но обращаясь за советом к сенаторам и сообразуясь с их мнением. ”Король, – гласит ордонанс от 17 октября 1724 года, – соблюдает и приводит в исполнение всякое определение сословий, а Сенату предоставляется извещать о сем короля, оказывая ему необходимое вспомоществование. В отсутствие короля то, что должно быть скреплено его именем, подписывается Сенатом. То же должно совершаться и после представлений королю, когда в ожидании его решения протекает больше времени, нежели сколько существо рассматриваемых дел может допустить, так что никакое дело, из всенижайше представленных сословиями для подписания его величеством, не оставалось бы без исполнения”¹⁵⁷.

Вы видите, Ваша светлость, что если бы Сейм не принял мудрой предосторожности, дабы обойтись без подписи короля, то последний и при ничтожно малой настойчивости обладал бы тем же исключительным правом, что и король английский, а именно – сделать бесполезной законодательную власть, ослабить силу неблагоприятствующих ему законов, предать их забвению или презрению и день ото дня самому

становиться все более могущественным. Сейм не удовольствовался гарантиями лояльности первого своего правителя. Он сделал так, что и над королем оказался судья и потому монарх уже не мог нарушить собственных обещаний, не подвергаясь при этом всей строгости законов. "Сим мы объявляем, – провозглашает сейм, – что тот, кто тайными происками или открыто будет стремиться возложить на себя неограниченную власть, должен быть лишен трона и признан врагом государства"¹⁵⁸.

Возлагая на наследственного монарха охранение законов и все дела как внутри, так и вне королевства, Швеция не избежала бы опасности узреть на престоле государя слабого или жестокого, слабохарактерного или упрямого, ум подозрительный или весьма ограниченный; тогда пружины исполнительной власти были бы или весьма ослаблены или слишком натянуты, а дух законов или был бы понят, или дурно истолкован. Устраняя эти неизбежные в Англии злоупотребления, Швеция наложила еще новые оковы на честолюбие короля. Сейм дал ему в качестве совета Сенат, составленный из шестнадцати членов, которые разделяют с ним вместе всю его власть. Сенат всем распоряжается и всем управляет посредством большинства голосов, а король лишь председательствует в нем. Его исключительное право заключается при известных обстоятельствах лишь в решающем голосе. Я объясняю это так: если в Сенате возникает два мнения, из которых одно поддерживалось бы шестью или семью сенаторами, а другое – восемью, то король, одобвив первое мнение, делает его преобладающим, но, когда одно мнение превышает тремя голосами другое, то он не властен принять последнее, а если все-таки и примет, что ничего из этого не воспоследует. Мы видели, как царствующий король отказался в сих обстоятельствах утвердить декреты Сената под тем предлогом, что совесть не позволяет ему подписать то, что он почитает несправедливым или опасным. Пререкания Сената и короля были перенесены на сейм 1755 года, и сословия вынесли определение, что просвещенная совесть короля шведского повелевала ему подписать то, что было постановлено в Сенате большинством голосов, поскольку он должен управлять сообразно с мнением последнего, что подписание не является знаком одобрения, и если бы совесть служила правилом закону, то утвердился бы деспотизм. Однако, из снисхождения к совестливой слабости короля, было предписано, что в случае отказа с его стороны, подпись его была бы заменена особой печатью, которая воспроизводила бы оную¹⁵⁹.

При заключительном рассмотрении имя короля решает все, особа же короля или личная его воля не значит ничего. Он не кто иной, как частный человек, когда не является орудием Сената, образ действий коего подлежит рассмотрению и обсуждению в сейме. Он не может отдавать повеления, поскольку в таком случае не является уже исполнителем закона. Никто не смог бы оправдаться, ссылаясь ради своей защиты на подобное повеление, ибо в Швеции принято за свя-

щенный и основополагающий принцип, что король никогда не может ничего сделать вопреки данным им заверениям и противно образу существующего правления.

Все важные должности без изъятия, начиная от полковника вплоть до фельдмаршала, равно как и соответствующие им гражданские чины, жалуются королем в собрании Сената, который представляет ему трех подданных, из коих он выбирает по своей воле одного, наиболее ему приятствующего. Когда оказывается свободной должность низшего ранга, соответствующая коллегия представляет королю трех особ, из коих он избирает того, кого хочет. Что же касается до назначения прелатов или суперинтендантов духовенства, то консистория представляет королю трех подданных, в пользу которых подано больше всего голосов в собрании епархии, и сообразно с мнением Сената он жалует достоинство епископа. Существует весьма немного должностей, на которые король назначает без представления; таковыми являются губернатор Стокгольма, командующий гвардией и полковник гвардии и артиллерии. Так же по своей воле назначает он генерал-адъютанта и всех особ своего двора. Надобно, однако, заметить, что должность гофмаршала, которая важнее всех прочих при дворе, может быть возложена только на сенатора.

Если какое-либо сенаторское место становится вакантным, сейм сам назначает нового сенатора, представляя королю трех подданных, из коих он выбирает одного. В Сенате не может быть более двух лиц одной и той же фамилии. Первая цель сенаторов состоит в том, чтобы охранять, оказывать покровительство и защищать существующий образ правления, наблюдать за тем, чтобы правосудие было отпрямляемо среди граждан в соответствии с законами, принимать необходимые меры к отвращению всякого вреда, каковой может быть причинен как народу в целом, так и каждому сословию. Если в перерыве между сеймами происходит какое-либо событие, требующее нового королевского указа, Сенат издает его именем короля, и это временное распоряжение имеет силу только до будущего Сейма, который обсуждает его, изменяет, принимает или отвергает, как того требуют обстоятельства. Каждый сенатор ответствен перед сословиями и должен отдавать им отчет, когда они того потребуют.

Сенату в управлении делами помогают разного рода коллегии или советы, независимые друг от друга, и департаменты, ограниченные теми делами, коими они занимаются. Судопроизводство, внешние сношения, военное и морское дело, финансы, горные промыслы, торговля – всем этим и многим другим ведают особые коллегии. Во главе каждой из них стоит сенатор. Они готовят вопросы, которые должны быть обсуждены и решены в Сенате, и каждая из коллегий приводит в исполнение данные ей по ее части повеления.

Если сейм созван, король и Сенат не могут без его согласия ни заключить мир, ни перемирие или союзный договор. Когда сейм распущен, эта часть управления лежит на короле и Сенате, и последние

должны известить впоследствии собрание сословий обо всех делах, каковые они обсуждали. Король и Сенат, две нераздельные части одного целого, не могут объявить войну без согласия сейма, но если королевство подверглось нападению внутреннего или внешнего врага, то должно отразить нападение силой и созвать чрезвычайный сейм.

Обычный сейм должен созываться каждые три года в середине января. Если случится так, что ни король, ни Сенат не созовут сословия для сего обыкновенного собрания или для чрезвычайного сейма, назначенного ранее, то все то, что король и Сенат привели в исполнение в этом перерыве, будет недействительно. Сообщения о созыве сейма должны быть выпущены в середине сентября. Если они не появятся 15 ноября, то губернатор Стокгольма и провинциальные балы должны тотчас известить о том по всему ведомству, дабы депутаты четырех сословий могли сами прибыть в Стокгольм для открытия сейма к середине будущего января. Прежде рассмотрения всякого другого дела им надлежит изыскать причины, побудившие короля и Сенат пренебречь созывом сословий.

Каждое благородное семейство имеет своего представителя в сейме, который должен иметь полных двадцать четыре года. Все епархии посылают по депутату, а каждое превоство особого уполномоченного. Города пользуются той же привилегией, коммуны же выбирают в каждой области или дистрикте депутата из крестьянского сословия. Сей представитель должен водвориться и жить в той провинции, коей он уполномочен с тем еще условием, что ранее не управлял общественную должность и не принадлежал к другому сословию. Многим превоствам предоставлена свобода быть представленными сообща одним депутатом. Два или три города в случае, если они не весьма значительны, могут также доверить свои интересы и голоса одному представителю. Теми же правами обладает и крестьянское сословие. Каждый депутат должен быть наделен полномочиями своих доверителей рассматривать и решать дела, поставленные на обсуждение, и в особенности сообразовываться с основным законом государства и никоим образом не допускать, чтобы ему был нанесен ущерб. Личность депутата в сейме неприкосновенна. Нанести ему обиду, будь то словесно или действием в собрании сословий, когда они там находятся, есть уголовное преступление. Депутат не может быть взят под стражу, если только не уличен в тяжких преступлениях, и в таком случае об этом немедленно оповещают сейм.

По открытии королем сейма и по сообщении его предложений или требований его провожают во дворец, и каждое сословие, прибыв в залу, для него предназначенную, присутствует при чтении эдикта, называемого *образом правления* и содержащего гарантии, которым король поклялся следовать, а также ордонанс, касающийся порядка, строя и прочих процедур в сейме.

Для того чтобы дать Вам, Ваша светлость, самое точное понятие о власти и управлении этого собрания, надо изложить здесь тринадца-

тую статью основного закона. "В сейме идет речь не только о том, что было представлено королем в его предложениях или актах, посланных и утвержденных по мнениям Сената, но еще и о всем том, что сами сословия признают касающимся общего блага государства. Там внимательно исследуется, как соблюдались эдикт об образе правления, королевские гарантии и основной закон, и если происходит что-либо противное этим законам, не должно терпеть того ни под каким видом, но исправить оное и наказать виновных. Там рассматриваются решения Сената и ведение им дел со времени последнего сейма, будь то внутри государства или вне его. Если случаются дела, которые по существу своему не могут быть преданы гласности, о них трактуется в тайном комитете, или в какой-либо другой депутации, или в особой комиссии, учреждение коих сословия признают необходимым для этой цели. Сословия должны также исследовать, как отправляется правосудие и насколько справедливо то, что называется пересмотром судебных дел. Кроме того, сословия должны знать, на какие нужды идут собранные налоги, равно как и о том, как сохраняются регалии и прочие драгоценности короны, будь то в казначействе или в каком-либо ином месте, каково хозяйство страны, сухопутные и морские силы, крепости, как распределяются расходы, и должны ли ордонансы или декларации, обнаруженные со времени последнего сейма, получить силу закона. Одним словом, без исключения все то, о чем они признают нужным иметь свое суждение. Коллегии и консистории также должны давать им отчет. Сверх того, в сейме выслушиваются прошения, жалобы и предложения каждого сословия в том случае, если они не содержат в себе ничего противного основным законам, но по сему предмету решения принимаются лишь по единодушному одобрению сословий. Частные лица так же могут представить свои жалобы сословиям, но только при условии, что они не получили в другом месте удовлетворения и под страхом наказания, если не смогут доказать, что с ними поступили несправедливо, противно ясному и точному смыслу закона или королевского указа. Сверх того, при подаче таких жалоб на Сенат, или коллегии, или консистории, равно как и на должностных лиц, судей, следует всегда следить за тем, чтобы не нарушить должного почтения к сим сословиям или особам, но выражать мысли свои сдержанно и учтиво"¹⁶⁰.

Я не стану пускаться в подробности устройства комитетов и комиссий сейма. Боюсь, это повергнет меня в излишнее многословие. Не стану я говорить Вам и о порядке его заседаний, обсуждении дел и составлении законов. Приглашаю Вас, Ваша светлость, поразмышлять о том ордонансе, важную статью из коего я только что Вам представил, и найти причины, вызвавшие эти мудрые установления, о которых Вы еще прочтете. Чем больше познаете Вы основополагающие законы Швеции, тем более проникнетесь уважением к внушившему их глубокомыслию. Это превосходное творение нынешнего законодательства, и самые знаменитые законодатели древности не опровергли бы установ-

ления, в котором равенство и права человечества уважались в большей степени, нежели сколько можно было бы надеяться в наши злосчастные времена. В этом законодательстве все стремится к одной цели, все в нем взаимно поддерживается и подкрепляется. Все власти имеют свои пределы, их разделяющие, и они никогда не могут нанести вред друг другу. Все способствует возведению закона превыше правителей, между тем как он вооружает их силой, достаточной для того, чтобы привести свободных граждан к повиновению. Однако никакое произведение рук человеческих не совершенно, и Вы найдете в шведских законах статьи, кои Вам хотелось бы уничтожить, и в которые опыт и время вносят свои перемены.

Удивляйтесь, Ваша светлость, тому, как шведы, познав посреди пороков, заразивших целую Европу, что добрые нравы составляют непоколебимое основание законов, стараются привить уважение к скромности, труду, простоте и умеренности. Они охранили себя от великолепия, роскоши, блеска и естественной неумеренности государей и правителей, они знают, что продажность власть предержавших быстро передается самому последнему из граждан. Вы прочтете в шведских законах такие примечательные слова: "Великолепие и представительство в случае известных торжеств, устроенных более для славы государства, нежели самого представляющего лица, более по отношению к иностранцам, нежели к подданным, донныне были злоупотреблением, привнесенным гордыней и политикой, дабы внушить более почтения и страха прежде всего к особе короля, а затем к его прихотям. Таковым способом подданные усвоили рабский дух и приучили себя носить иго". Вы прочтете далее, Ваша светлость, слова, кои Вы никогда не должны забывать: "Короли не имеют никакого права стеснять и нарушать права подданных: они сотворены из того же вещества, что и прочие люди, в равной степени слабы со дня явления своего на свет и в продолжение всей своей жизни, у них общая с прочими смертными участь, и перед Богом в судный день они так же достойны осуждения за все их пороки и преступления; выбор народный есть основание их величия и необходимое средство к сохранению оногo; одним словом, верховное существо отнюдь не сотворило род людской к вящему удовольствию нескольких дюжин семейств"¹⁶¹.

Вы видите, что Швеция хочет возвысить своих государей в добродетелях, украшающих человека и предписанных нам религией, нравственностью и историей. Она сама заботится об их воспитании и назначает особ, кои должны руководить и направлять их: "Да удалят государей, — гласит закон, — от весьма обыкновенных при дворе камней преткновения. Да содержатся они со скромностью в том, что касается одежды и пищи, дабы собственная их бережливость послужила примером для подданных, ибо весьма полезно, если народ беден, но свободен". Пусть шведы всегда гордятся бедностью, в коей сущая душа их свободы! Пусть они всегда презирают богатство, коего алчут другие державы! Пусть никогда не забудут сеймы, что корыстолюбие отнюдь

не делает народы счастливыми и что благополучие – это отнюдь не яства, покупаемые за деньги. Пусть обратят они все свое внимание на предупреждение и пресечение малейших злоупотреблений, влекущих за собой величайшие несчастья. Пусть ищут они иное средство, нежели деньги, дабы расшевелить и побудить к действию граждан. Чем больше состояний приблизится к равенству, тем больше возникнет добродетелей в государстве, и равенство будет приятнее по мере того, как отыщется более способов сделать богатства менее нужными. Пусть шведы, осознав, сколь необходимы законы против роскоши, полюбят их и возгордятся ими, не имея тех нелепых нужд, кои унижают нас: "Пусть государи, – продолжает закон, – чаще совершают поездки в сельскую местность, пусть входят они в хижины поселян, чтобы самим видеть жизнь бедных и чтобы, благодаря этому, могли они убедиться, что народ не богат, в то время как при дворе процветает изобилие и бесполезные расходы одного уменьшают размеры имущества и умножают нищету бедного поселянина и изголодавшихся детей его"¹⁶². Не я говорю Вам это, Ваша светлость, но целый народ, один из самых прославленных народов Европы, и по нынешним временам самый мудрый. Я желал бы, чтобы все сказанное тронуло Ваше сердце.

Чем более углубитесь Вы в изучение шведского государственного устройства, тем более убедитесь в том, что справедливость его законов рождает в гражданах преданность отечеству. Дворянство, во всех других странах столь властное, почитающее долгом своим с презрением относиться к другим сословиям, управлять ими и тем самым внушать к себе ненависть, здесь, в Швеции, поняло, что дух рабства или тирании есть величайшее из унижений, а собственное его величие состоит в том, чтобы быть во главе свободного народа, где последний из граждан чувствует себя воистину человеком. И какого величия достигло бы это дворянство, если бы могло оно отказаться от некоторых особых привилегий. Может быть, они-то невольно заставляют его склоняться на сторону аристократии. Может быть, сии особенности со временем потрясут основы государства, возмутив согласие, каковое должно царить между четырьмя сословиями. Добродетели и таланты дворянства обнаружались бы, несомненно, с большим блеском, если бы оно страшилось соперничества других сословий и было бы вынуждено прилагать усилия к тому, чтобы заслугами своими снискать оспариваемые у него привилегии. Известно по крайней мере, что Римская республика многими великими мужами обязана закону, возволившему плебеем добиваться куриальных магистратур¹⁶³.

Некогда самовластное духовенство усвоило из законов политических то, что без всякой для себя пользы знало по Евангелию, а именно – что царствие его не от мира сего¹⁶⁴. Оно отказалось от сделавших его ненавистным притязаний, кои были противны правам народа и вели только к установлению деспотизма иерархии, обращая истинный религиозный дух в суеверие. Оно любит притесняемое им доселе отечество, поскольку само стало его гражданином. Сословия горожан

и крестьян пользуются в сеймах законодательными правами, и власть их творит законы почти столь же беспристрастные, сколь могут они быть таковыми в стране, где предрассудки породили многие классы людей: равенство не водворено, но зато притеснение изгнано. Они охотно повинуются закону, они дорожат им, поскольку участвовали в его составлении, и он, будучи их детищем, защищает их и гарантирует их права.

Не все было создано великими людьми, которые преобразовали правление по смерти Карла XII. Потому ли, что они были остановлены в своем начинании одним из тех предрассудков, уважать кои законодатель весьма часто обязан, либо из-за того, что переворот наступил прежде, нежели они устроили свою политическую систему, они пренебрегли некоторыми отраслями управления, не выработав всего необходимого для утверждения законности, и удовольствовались тем, что дали для народа свободу, уповав на сию последнюю и любовь к отечеству, кои породят все нужные законы. Именно отсюда родилась в Швеции некая неуверенность в своей судьбе. В течение какого-то времени сомневались, возвратится ли она к древним своим законам, или же сильнее привяжется к новым.

При всей своей добродетельности принцесса Ульрика не вполне понимала истинные свои интересы, чтобы предпочесть свободу шведов той власти, которой пользовались ее отец и брат. Муж ее, возведенный на трон¹⁶⁵, происходил из Германии. Приученный в Гессене к самой неограниченной власти и весьма самостоятельный, он считал вопиющей несправедливостью то, что шведы не верили ему по меньшей мере такой же власти, каковую англичане вручили своему королю, и возжелал он ее, отнюдь не думая о том, что, оказавшись он на английском престоле, вряд ли был бы доволен своей судьбой. Достаточно богатый, чтобы окружить себя друзьями и ставленниками за счет государства, он остановил преуспеяние сего правления. Но какой прок от честолюбия, которое изнуряет себя в печалях и не имеет никакого средства доставить себе удовлетворение?

Шведский король не может развратить своих подданных ни благодарениями, ни посулами, ни страхом. Влияние народа должно день ото дня расти, ибо он располагает всеми оказываемыми милостями. Напротив того, государь с каждым днем будет терять своих сторонников, коих привычка привязала ко двору. Правда, несколько лет назад возник заговор в пользу королевского самовластия, но, вероятно, заговор этот был последним. Кто же составил сей заговор? Люди презренные, безвестные, так сказать, безродные. За исключением графов де Браге и де Харда и гофмаршала барона де Хорна, в заговоре участвовали одни лишь гвардейские солдаты, матросы и несколько ремесленников¹⁶⁶. Если бы эта горсть мятежных рабов устрасила Сенат и вручила королю верховную власть, счел бы себя народ побежденным и поработленным? Разве не было у него тысячи способов возвратить себе власть, которой хотели его лишить? Заговор, потерпевший неудачу, есть благосклонность фортуны: он заставляет народ с большею ревнос-

тью относиться к свободе и не дает ему впасть в своего рода беспечность, порождаемую порой чрезмерной безопасностью, от которой шведы, говорят, еще не вполне избавились. Королевское семейство, восприняв нравы нового отечества, будет судить о королевстве по нравственности самих шведов, а не по предрассудкам, распространенным в Европе. Эти государи за славу для себя почтут быть слугами и первыми правителями свободного народа. Они поймут, что стремящийся к добродетели не имеет нужды в более пространной власти и что лучше подчиниться народу, нежели нескольким фаворитам, как случается обычно с деспотами. Загляните в свою душу, Ваша светлость, проникните в тайники Вашего сердца и Вы увидите, что стремление Ваше к всемогуществу есть лишь желание удовлетворить несправедную страсть.

Быть может, Вам кажется, Ваша светлость, что королевский титул есть нечто совершенно бесполезное в шведском правлении и что медный вензель, о котором я уже имел честь говорить¹⁶⁷, мог бы вполне заменить собой короля. Может быть, Вы сделаете из сего заключение, что народом мог бы управлять один лишь Сенат. Но благоволите заметить, что шведы не опасаются даже наследственного монарха. Вы уже видели, сколько принято мер к тому, чтобы он не мог преступить закон и захватить законодательную власть. Во-вторых, наследственная монархия благоприятствует нации, ибо она способствует сохранению равенства дворянских семейств и содержит их в подчинении. Если бы корона не была наследственной, то мы узрели бы, как и в Польше, одни лишь происки, мятежи, постоянные раздоры, и никогда она не была бы наградой за заслуги. Без короля дворянство непременно хотело бы создать аристократический образ правления, а в лоне его вскоре возвысился бы тиран. Если трон занят государем, который не может ни внушить страх, ни ненависть, то самый честолюбивый и одаренный величайшим из дарований дворянин никогда не помыслит узурпировать его. Став сенатором, он становится как бы равным ему, и честолюбие его уже удовлетворено.

С тех пор как в Швеции были признаны различия общественного положения и занимаемых должностей, интересы ее требовали, чтобы над всеми возвышался наследственный монарх. Повторяю: при существующем гражданском устройстве никакой шведский вельможа не может употребить во зло доверие своих сограждан или уважение к слугам его, чтобы стать Суллой или Цезарем. С того времени, как людское честолюбие обуздано, все дворянское сословие склонно скорее к умеренности, нежели к искушению пользоваться особыми правами, дабы приумножить оные и пристрастно толковать законы. Из сего Вы видите, Ваша светлость, что шведский король сам является препятствием для тирании, которая привела к крушению большинство государств. Не страшитесь права наследования, ибо после продолжительного царствования тот государь, понять действия коего, проникнуть в намерения и пресечь замыслы вовсе не трудно, не оставит

преемнику своему большей власти, нежели та, какую он сам получил. Швеция не страшится препон, сопряженных с малолетством или неспособностью государя. Характер его отнюдь не наложит отпечатка на правление, и бездействие немощной старости не ввергнет государство в изнеможение: король, который сам по себе ни к чему не способен, может быть злобным, слабым или безвольным, но подданные не сделаются жертвами его пороков.

Не скрою, шведскому правлению можно сделать некоторые упреки. Небесполезно, Ваша светлость, чтобы и Вы получили о них представление. Порицают, может быть и не без причины, исключительное право короля жаловать по своему желанию графское и баронское достоинства. Они не придают никакой осязаемой власти и суть нечто иное, как отличия в дворянском сословии, но поскольку это отличие льстит тщеславию и может стать средством подкупа, то почему же не делают из него средства поощрения? Я могу сказать то же о рыцарских орденах, знаки которых король раздает, не прося согласия сейма или Сената. Сие учреждение отнюдь не сообразно с духом государства. Вознаграждение свободного человека — должность, которую в свободной стране может жаловать только народ, если надобно, чтобы сам народ был уважаем.

Более серьезный упрек, который можно сделать правлению Швеции, — это пожизненная власть сенаторов. Пожизненные должности всегда отправляются с некоторым нерадением, мало благоприятствующим общественному благу, и весьма часто порождают у тех, кто ими обладает, гордыню, оскорбительную для общественной свободы. Кажется, я уже имел случай заметить, что правители, кои не возвращаются более к сословию простых граждан, впадают во искушение возомнить о себе, как повелителях закона, коего они всего лишь исполнители. Может быть, они и не нарушат их столь беззастенчиво, чтобы заслужить примерное наказание, но тогда неизлечимое зло делается еще опаснее. В правящем сословии водворяется ложная политика и скрытая испорченность, мало-помалу приводящие в расстройство все начала правления. По мере того, как законы теряют свою силу, их место заступают страсти, и в конце концов они открыто обнаруживают себя. Правители же без труда подчинят себе уже развращенных ими граждан.

Шведы испытали это в предыдущем столетии: именно потому, что Сенат охладил к своим обязанностям и утратил их своим самовластьем и неправыми действиями. Они доверили неограниченную власть Карлу XI. Вместо того чтобы назначать сенаторов пожизненно, не выгоднее ли на каждом обычном сейме заменять самых старых сенаторов новыми и возвращать первых в сословие простых граждан, оставляя у них надежду вторично достигнуть того же достоинства? Благодаря этому, Сенат, если не ошибаюсь, стал бы более надежным хранителем законов и не отделял бы свои интересы от интересов народа.

Если Швеция и не достигла того преуспевания, которого можно было бы ожидать, если законы ее едва имеют некую устойчивость, а новый

сейм часто разрушает то, что определено предыдущим, то, вероятно, обвинять в том должна только пожизненность сенаторства. Дабы вступить в Сенат, где столь редки вакантные места, честолюбивые интриганы должны заниматься беспрестанными происками. Несомненно, именно по их побуждению Сейм 1739 года решил, что, для лишения кого-либо сенаторского достоинства, достаточно, не порицая его на заседаниях сейма, лишь объявить ему, что народ не питает более к нему доверенности¹⁶⁸. Я полагаю, такая зависимость людей, держащих в руках своих все нити правления, от каприза или интриги весьма опасна. Мне кажется, исполнительная власть должна покоиться на столь же прочных основаниях, как и власть законодательная: если одна из них шатается, другая потеряет влияние. Представьте себе, Ваша светлость, возможно ли устранить это зло, не ограничив срока пребывания сенаторов на их должностях. Я уверен, что сеймы менее волновались бы и правление было бы прочнее, если бы они терпимее относились друг к другу, и партии шляп и колпаков, кои раскалывают страну¹⁶⁹, мало-помалу сблизилась бы между собой.

Имеется еще и другая причина неустойчивости в принципах и делах сеймов, заключающаяся в том, что они отнюдь не желают ограничить себя присвоением власти, им не принадлежащей. Вместо того чтобы составлять только общие законы, они входят в частности, кои должны быть предоставлены власти исполнительной. Я полагаю, Вы поняли, Ваша светлость, из сего сочинения, что законодатели и правители не могут сливаться воедино и покушаться на права друг друга, не ослабляя взаимно своего влияния и, следовательно, не приуговляя тем самым великих испытаний согражданам.

Гордые, свободные, мужественные и воинственные шведы должны остерегаться своего военного гения. Свершив все необходимое к отвращению страха, внушаемого их соседями, никогда не должны они помышлять о завоеваниях. С удовольствием читаем мы в наставлении о воспитании государей, составленном сословиями в 1758 году, что "в самодержавном монархе желание завоеваний почитается за добродетель, но оно отнюдь не таково у вольного народа: ибо бесполезные завоевания менее сообразны с принципами свободного правления, нежели с таковыми же самодержавного"¹⁷⁰. Если шведы хотят утвердить свою свободу и упрочить свое благосостояние, они должны придать своему воинству устройство, нравы и порядок, которые должны существовать в войсках свободного государства. Защита отечества там вверена гражданам, а не наемным солдатам. Они познают, что не бывает полезных завоеваний, и отныне не переступят за пределы своих провинций, которые легко могут они сделать непроходимыми для иноземных армий. Они поймут, что Померания может стать для них тем же, чем Нидерланды и Италия были для Испании, то есть источником помех, распрей и честолюбия¹⁷¹. Пусть же шведы всегда почитают в соседях права человечества, как почитают оные у себя дома и не ищут счастья иначе, как сообразуясь с попечениями природы и благоденствием государств!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

*Об общих причинах, кои удерживают правления
в их пороках и препятствуют преобразованиям*

В остроумной сатире на правление своего отечества Ксенофонт предупреждает недовольных современников, чтобы не порицали они легкомысленно афинян, если те предпочитают доверяться людям безвестным и опороченным, а не гражданам, отличным своими заслугами. По его мнению, то, что сначала мы считаем глупостью, на самом деле есть плод утонченной политики. Правда, говорит он, чернь, связывая руки правителям и играя их постановлениями и указами, делает правление и законы бесполезными, но что стало бы без этого с верховной властью, которую присваивает она себе при народном правлении? Что стало бы с той вседозволенностью, которая ей дороже всего остального? Дабы сохранить демократию во всем ее совершенстве, благоразумнее сохранять беспорядок и не обуздывать заносчивость вольноотпущенников и черни. Не правда ли, добавляет он, — сколь мудра толпа, умеющая забавляться напыщенными речами нескольких крикунов, не дающих честным людям места на трибуне, и тем более во главе правительства?¹⁷²

Мало таких народов, которые не заслужили бы тех же похвал, что и афиняне. Следуя Ксенофону, разве невозможно ныне сочинить забавную апологию неподражаемой политике европейских государств? Остерегайтесь, сказал бы я, порицать такое-то устройство, такой-то обычай, такой-то закон: глубокая мудрость сокрыта под наружным обликом безумия, которое возмущает при первом взгляде. Эта глупость, если Вы хорошо поразмыслите о ней, не столь несурозна, какой она кажется Вам поначалу: одна часть государства, правда, находит ее довольно бедственной, но представьте себе выгоду, каковую другая извлекает из оной. Вообразите сего государя, сего министра, сего вельможу, сего интригана, разве не счастливы они за счет общества? И в каких только ухищрениях не нуждаются они, чтобы преуспеть?

Я вспоминаю при этом, Ваша светлость, одного доброго испанца, который, вовсе не имея представления о том, как управляется мир, был весьма возмущен, услышав, что один из его старых друзей, министр Вашего деда¹⁷³, приносил государство в жертву своим прихотям. Он почел за долг сделать представления своему отечеству и своему дру-

гу: он покинул свое уединение и явился ко двору, отнюдь не сомневаясь в том, что дела примут новый оборот, как только он скажет своему другу, что тот губит Испанию. Честного человека выслушали с благосклонностью, но и не без презрения, и Патиньо¹⁷⁴, столь же искусный, как афинская чернь, улыбаясь просил своего друга не беспокоиться и уверил его, что Испания будет существовать дольше, нежели он сам. Такое глубокомыслие было вполне оправдано: и в самом деле Испания до сих пор существует, а Патиньо давно уже мертв. Благодаря превосходным условиям, созданным людьми для достижения благополучия, мир должен быть наполнен одними лишь Патиньо, и когда каждый движем только личной выгодой, то чего можно ожидать от бесчисленных законов, коими обременены государства? Воспоследует ли из этого общественное благо?

Вы, несомненно, заметили, Ваша светлость, на протяжении Ваших занятий, что все народы подвержены были долгим внутренним распрям прежде, нежели могли они утвердить принципы своего правления. Все чувствуют неудобства скверного законодательства, никто не хочет быть притесняемым, но все стремятся стать притеснителями. Верховная власть как бы подвешена между государем, правителями и различными сословиями граждан, и каждый старается овладеть ею и употребить во зло. Сколько причин препятствует выгоде преобразования, пока государства пребывают в таком брожении! Вместо того чтобы законы явились порождением разума, они диктуются страстями. Да и вообще весь мир являет весьма мало тех отрядных правлений, где, благодаря разделению и распределению власти на различные отрасли, интересы граждан едины и согласны между собой. Тот, кто удален от основополагающих истин, о которых я имел честь говорить Вам в первой части сего сочинения, бросается в крайности. И если бы свобода была действительно врагом порядка, никакое повеление нельзя было бы считать излишне тягостным, а повиновение ему – слишком рабочим.

Привыкают ли, наконец, люди, утомленные распрями, к правлению, которое их поработило? В таком случае они менее, нежели когда-либо расположены исправлять свои пороки. Привычка ко злу, так сказать, притупляет их чувства. Переставая жаловаться, перестанут они и мыслить. И вскоре водворяется общее предубеждение, каковое и почитается за неопровержимую истину. Люди признают самые странные нелепости неоспоримыми принципами, отцы передают оные детям. Так азиатские народы, которых в конце концов стали считать лишь презренными толпами, впали мало-помалу в столь глубокие заблуждения и столь грубое невежество, что, прозябая в пороках, страшатся утратить даже их.

Я ничего не преувеличиваю, Ваша светлость, ибо Вы припомните несомненно того индийского царя, который счел голландцев безумцами, когда они сказали ему, что у них нет государя и управляют ими законы, составленные ими самими в собраниях, представляющих весь

народ. Он хохотал, когда ему рассказывали о Генеральных Штатах, об отдельных сословиях, о прерогативах дворянства, о привилегиях городов и так далее. Вполне искренне удивлялся он вместе со своими министрами и придворными тому, что люди, столь невероятно помутившиеся в рассудке, могли существовать хотя бы восемь дней без потрясения и разрушения государства. И стоит ли удивляться тому, что монарх, развращенный низостями своего двора и опьяненный духом деспотизма, не на шутку считал себя великим человеком, достойным повелевать, а все его прихоти ради блага государства должны быть священными законами, поскольку сами подданные, будучи рабами, настолько приучены к подчинению, что не могут помыслить ничего иного?

Не нужно даже ехать в Индию, спросите хотя бы турка, каков наилучший образ правления. Самая произвольная и самая неограниченная монархия, не колеблясь, ответит он Вам. Почему именно? А потому, скажет он, что люди сотворены, чтобы любить мир, что человек пребывает в обществе для того, чтобы наслаждаться им, и люди могут быть совершенно спокойны, только находясь под таким правлением. По его мнению, то, что он слышал о свободе от христианских купцов, делает умы весьма мятежными, неуступчивыми и ожесточенными. Так как же ему не страшиться ее? Как ему не смешивать свободы с распрями и междоусобной войной, ведь даже рассказ англичан о порою несколько шумных дебатах в Парламенте потрясает его.

Если турок имеет некоторое представление о предмете разговора, ибо не все же они невежды, убеждайте его рассуждением, покажите, по какой причине деспотизм порождает много зла, но он возмнит, что уже опроверг Вас, испуганно повествуя о беспорядках в двадцати скверных республиках, где свобода превратилась в анархию. При свободном правлении, присовокупит он, благо свершается только благодаря соучастию многих, кои, побуждаемые всяческими выгодами, никогда не стремятся к единой цели. Турок сей, который не чувствует ни любви к отечеству, ни почитания справедливости, ни жадности славы, не может вообразить, что эти три чувства служат связующими звеньями между гражданами, если правосудные законы уже утвердили свободу на прочном основании. При деспотизме, присовокупит он, все зависит от одной только воли. Стоит государю приказать, стоит ему только произнести слово или подать знак, и благо совершено. Бедный турок не замечает, что султан его имеет порою десять, двадцать, тридцать, сто прихотей и не хочет в сущности ничего, ибо хочет все. Он не понимает, что бесконечно труднее соединить в одном человеке добродетели и таланты, необходимые для мудрого управления государством, нежели внушить многочисленному собранию, каким является парламент Англии или сейм Швеции, желание делать добро и обрести средство к его достижению. Он никогда не уразумеет, что из пятидесяти принцев, детей султана, рожденных в серале, сорока девяти суждено оставаться всего лишь обыкновенными людьми, что их воспитание унижает дух и

сердце и что, наконец, верховная власть еще более развратит принца, коего избрали среди прочих, одаренных некоторыми талантами. Несчастный турок отнюдь не догадывается, почему султан, ум которого менее всего приучен к противоречию и который тем не менее имеет страсти более свободные, нежели прочие люди, будет судить об общественном благе, исходя из своего частного благополучия, или почему он возомнил бы, что должно ему желать чего-либо как государю, когда его нужды как человека удовлетворены и даже пресыщены. Этот образ мыслей так глубоко запечатлен в уме турок, что в ту самую минуту, когда, утомившись терпением, они отваживаются свергнуть великого властелина или удавить его визиря, они отнюдь не хотят воспользоваться своими преимуществами и заложить основы такого правления, при котором новый султан и его министр уже не могли бы совершать прежние несправедливости и насилия. Каким-то чудом они сочетают в себе любовь к тирании и ненависть к самому тирану.

Не следует думать, что в одном только деспотизме, который, достигая последнего предела, раздражает души, человек встречает непреодолимые преграды к преобразованию правления и законов. Древняя и современная история наполнена, Ваша светлость, бесполезными попытками, каковые предпринимали некоторые народы к улучшению власти, злоупотребления коей были нестерпимы: не удивляйтесь при виде того, что они вновь ниспровергаются в бездну, из коей старались выбраться. Когда человек ропщет, когда он раздражается против жесточайших несправедливостей, он еще по привычке, и сам об этом не догадываясь, любит первопричину, которая порождает их. Взгляните на римских плебеев, кои возвращаются на Священную гору¹⁷⁵. Каких только жалоб не было у них на алчность, честолюбие и жестокость патрициев! Вместе с тем они все еще почитали исключительные права, связанные с высоким происхождением, и отнюдь не стремились быть равными патронам, и требовали лишь того, чтобы их не притесняли. Они оставили Сенату всю власть аристократии, и если бы могли они предвидеть, что правители принудят их, наконец, принять сию власть, которая составила величие Республики, то они никогда не осмелились желать трибунов и не захотели бы разрушить тем самым все основания общественной безопасности.

Посреди величайших волнений междоусобной войны Вы увидите всегда, если можно так выразиться, лежащие на виду народные предрассудки. В восставшем народе, который как будто воспринял новые нравы, Вы откроете характер, порожденный прежним правлением. Я мог бы привести Вам сотни примеров, но ограничусь напоминанием того, что Вы видели в Соединенных Провинциях, когда свергнуто было иго Филиппа II. Они основали Республику только из-за охватившего их отчаяния, и потому, что никто не хотел быть их повелителем. Разве кто-нибудь мог представить себе, что при Карле I англичане не желали общенародного правления? Монархия и прерогативы вельмож были для них в равной степени ненавистны. Но отнюдь не в этом заключа-

лись истинные их чувства. Прошло некоторое время, возмущение улеглось, и они вернулись к прежнему своему правлению, законам и предрассудкам. Когда корсиканцы не могут уже более терпеть владычества Генуи, они восстают, но делают это как люди, привыкшие повиноваться, хотя сами долгое время полагают, что могут стать свободными. Я вспоминаю, Ваша светлость, об одном происшествии, которое вполне может подтвердить Вам то, что я только что имел честь Вам сказать. Рабы скифов восстают, и если бы властители их явились с мечом, дабы поразить их, то придали бы им достаточно храбрости, чтобы защищаться, но они приходят лишь с бичами, и подавленные рабы бегут и рассеиваются¹⁷⁶.

Почему люди так сильно привязаны к своим предрассудкам и исконным привычкам? Потому, что при начале пути всегда трудно усмотреть ту цель, к которой надлежит стремиться. Сколь бы порочным ни было правление, каждый из нас приучен его бояться и оказывать ему мнимое почтение, и чувство это действует еще и на нас самих, даже когда мы негодуем. Презрение, гнев и запальчивость суть душевные движения, коим всегда противостоят страх, праздность и любовь к покою, и, следовательно, они не могут быть продолжительны. Правда, что нет такого порока в гражданском устройстве и законах, который не держал бы великого числа граждан в тягостном и стесненном положении. Каждый из этих несчастных заинтересован в том, чтобы произошел переворот: он того желает, но одно желание есть ничто и, не поддержанное надеждой, быстро гаснет. Если бы пороки гражданского устройства в равной степени возмущали всех граждан, то они вскоре были бы искоренены. Но прошу Вас, Ваша светлость, заметьте: то, что наносит вред одним, благоприятно для других. Извлекающий пользу из злоупотреблений, тем самым покровительствует и защищает их, и посему нам не суждено исправить себя.

Переворот никогда не происходит внезапно, поскольку не за один день меняется наш образ видения, чувств и мысли, и я доказал бы Вам сию истину, если бы Вы не были воспитаны выдающимся философом, который раскрыл перед Вами существо нашей способности суждения¹⁷⁷. Если по видимости какой-либо народ внезапно переменяет нравы, дух и законы, будьте уверены, Ваша светлость, что этот переворот с давнего времени был предуготовляем долгой вереницей событий и продолжительным брожением страстей. Отнюдь не насилие, содеянное над Лукрецией юным Тарквинием, породило в римлянах любовь к свободе¹⁷⁸. Они давно уже были угнетены тиранией его отца, и, устыдившись позора, вознегодовали на излишнее свое терпение, и чаша его оказалась переполненной. Даже без Лукреции и Тарквиния тиранья была бы свергнута, ибо какое-либо другое событие послужило бы причиною мятежа.

Отнюдь не гений Густава Вазы утвердил новый порядок вещей в Швеции и переменял правление и религию. Как великий человек он лишь воспользовался обстоятельствами, которые другой на его мес-

те, быть может, и не приметил бы или не постиг бы столь искусно. Когда он укрылся у жителей Далекарлии в поисках мстителей за свое отечество, шведы, в равной степени утомленные свободой, которой тщетно хотели они воспользоваться, и жестокими насилиями, каковые претерпевали, почувствовали, наконец, необходимость перемен в своем правлении, и со времени стокгольмской резни, где погибли вожди первых аристократических родов, не было уже более между вельможами той ненависти и соперничества, которые мешали упрочению трона и способствовали беспрепятственному проникновению датчан в страну. В этих обстоятельствах Густав явился ангелом-хранителем сограждан. Повсюду оружие его несло победу, а его интересы становились интересами всего народа, и вместо того чтобы воспользоваться народной признательностью, он как будто и вовсе не выказывал желаний поддерживать воодушевление народа. Теперь уже не страшатся иметь государем человека, сражавшегося только за свободу, и чем более утверждают шведы величие его Дома, тем более думают они о том, чтобы укоренить общественное благо. Однако, если бы не успехи нового учения Лютера, он не уничтожил бы тирании духовенства, и Швеция, постоянно раздражаемая честолюбием епископов, сохраняла бы внутри страны сторонников и могущественных союзников датчан. Дабы Густав мог произвести ту перемену, коей мы удивляемся, нужно было, чтобы некий германский монах осмелился восстать против власти, повергавшей в трепет королей, и, представляя духовенство гнусным и достойным презрения, лишить оно доверия народов, в чем и состояла вся его сила. Дабы принудить духовенство к смирению, законопослушанию, надлежало ввести и упрочить в Швеции Лютерово учение, как то произошло в Германии.

К сим причинам, способствующим раздорам между народами, присовокупляется некое тщеславие, причудливое самолюбие, побуждающее народы быть довольными и самими пороками своего гражданского устройства. Они хотят иметь льстецов, и я не знаю почти ни одного государства, которое оказалось бы столь благоразумным, чтобы обратить внимание на какое-либо из существенных своих заблуждений. Не доказывает ли это, что они к ним привязаны и страшатся исправить себя? Англичанин никогда не согласится с тем, что его правление не самое совершенное, какое только можно себе представить. Проникнутый идеей о равновесии между королем, Палатой лордов и Палатой общин, он остается неколебим, даже если постоянно ощущает, что равновесие нарушается и уж слишком склоняется в одну сторону. Все газеты выступают против власти министров, против их интриг, против порчи, водворяемой ими в парламенте, которая распространяется отсюда по всей стране, но вместо того, чтобы восходить к причине сего зла, не хотят признать даже того, что таковая существует и в их свободе есть какие-то изъяны. Англичане предпочитают лишиться оной, нежели думать, что она покоится на зыбких основаниях.

Недавно наблюдали мы превосходный пример такой странности. Ге-

орг II весьма щедро раздавал звания пэра, и злоупотребление это оказалось столь значительным, что всего лишь несколько месяцев назад речь шла о том, чтобы упразднить многие титулы, пожалованные особам, кои раболепствовали перед страстями государя. Посоветовались даже с юристами, и, если верить газетам, те ответствовали, что, не покушаясь на королевскую прерогативу и не расстроив образа правления, свершить сие невозможно. Жалобы тотчас прекратились, и все без особого возмущения узрели пэров Георга II, облеченных прежним достоинством. Порок обнажили, но, поскольку дело касалось самого гражданского устройства, его не тронули.

Позвольте мне, Ваша светлость, высказать некоторые соображения по этому поводу. Если бы английские законоведы не были столь же преданы старине и заведенным порядкам, как и юристы других стран, мне кажется, они должны были бы отметить, что никогда не позволено разрушать или объявлять недействительным учиненное по закону, и присовокупить к сему, что дать этому новшеству обратную силу значит поколебать доверие граждан к правительству и посеять у него сомнение в собственной их судьбе и положении, а вместе с тем напрасные тревоги и обманчивые надежды. Действительно, худшее из злоупотреблений в обществе – это обманываться тем, что можно искоренить оные, не прибегая к упорядоченным мерам. Многочисленные опыты доказали истину этого правила. На смену могуществу уничтоженных законов приходила самоуправная власть. Столько раз уже и у стольких народов честолюбивые интриганы сеяли великие злоупотребления под видом искоренения малых! Нация, должны были сказать английские законоведы, не может, не погрешив против самой себя, отказаться признать пэров, хотя и заслуживших титулы недостойными способами, но коим пожалованы были они законной властью. Зло, на которое мы жалуемся, есть кара за наше неблагоразумие, ибо мы оставили королю власть, коей невозможно не злоупотреблять. К сему надлежало присовокупить еще: общественное благо требует отнюдь не прикасаться к уже содеянному, но и не повторять его снова. Королевская прерогатива должна быть источником блага, если же она станет источником зла, то да будет подчинена она новым законам.

ГЛАВА II

*Размышления об особых причинах,
кои препятствуют европейским державам
совершать благие перемены правления своего и законов*

Вы, Ваша светлость, доселе узнавали только о препятствиях, стоющих на пути к преобразованиям: если Вы хотите познать их все, прошу Вас наблюдать со вниманием нравы, законы, обычаи и привычки большинства европейских народов. То, что удивило бы более всего человека древних времен, явись он среди нас, — это разделение граждан на различные классы, которые не имеют между собой ничего общего; напротив того, нравы, принципы и предрассудки их противоположны. Вследствие сего дух человеческий оказался заключенным в тесных пределах. Грек или римлянин был великим государственным мужем, поскольку ум его охватывал все полезные государству знания и эти знания взаимно дополняли и укрепляли друг друга. Мы же создаем только людей посредственных, поскольку ограничиваемся всего одним, отдельно взятым предметом. Кто обращает внимание лишь на одну отрасль государства, тот в совершенстве не постигнет ее, ибо он не знает ее связей и ее отношений со всеми прочими.

Что бы ни говорили о наших талантах, выходит, что каждый гражданин, военный, священник, юрист, казначей или купец привыкает судить об обществе, исходя из особых интересов своего сословия. Вместо общих и беспристрастных законов каждый думает лишь о законах пристрастных и частных. Если человек неспособен охватить интересы всего государства, то ему не исправить какое-то одно зло, не породив при этом другое. И после величайших перемен мы видим, что истинное преобразование еще и не начиналось. Быть может, мы избавились от прежних недостатков, но число наших пороков отнюдь не уменьшилось.

Боюсь, Ваша светлость, как бы Вы, познав нравы Европы, не отчаялись в ее благе. Миллионы ремесленников заняты тем, что возбуждают наши страсти и стараются сделать для нас необходимым то, о чем нам лучше было бы не иметь никакого представления. Провинции наши наводнены излишествами со всего света. Праздность, вкус к бесполезным искусствам и роскоши повергли нас в оцепенение, из коего одна только любовь к богатству могла бы нас извлечь. Если мы действуем, то для того лишь, чтобы быть подлыми, низкими, раболепными и продажными. Честь, порок, добродетель, мужество, малодушие — все продается за деньги. Сей дух, приводящий в движение честных людей, руководит и правительствами, которые почитают золото нервом войны и мира; вот каким законодателям вверена наша судьба!

Однако сколь бы ни была презираема добродетель, я предпочитаю к вящей славе человечества верить, что мы не успели еще совсем подавить в наших сердцах общественные свойства, кои вдохнула в них са-

ма природа. Любовь к благу истекает из естественной склонности, и оно торжествовало бы, не будь законов, склоняющих людей ко злу, и рождающих глубочайшее невежество касательно обязанности следовать своему долгу. Не сомневайтесь, Ваша светлость, есть еще непорочные и благородные души, они свершили бы благо, если бы познали его. Мы ищем счастья, но делаем это как слепцы. Учение, которое раскрыл я перед Вами, должно казаться прописными истинами, но люди осудили истину на безмолвие: им выгодно пользоваться нашим невежеством, чтобы вводить нас в заблуждение.

Пусть не пренебрегают правом естественным, без коего нет ни здоровой нравственности, ни истинной политики. Пусть общества познают счастье, к которому они призваны природой. Пусть полагающие сему основу принципы станут всеобщими, и Вы увидите, сколь преобразится Европа. Разве нет признаков того, что государи и правители, безнаказанно творящие зло, почитая его благом, изменились бы, если бы истина просветила их? Не разумно ли предположить, что те, кто заботится лишь об удовлетворении разнузданных страстей, обрели бы некоторую стыдливость и, стремясь представить в ином свете свои неправо поступки, стали бы творить меньше зла? Граждане образованные в меньшей степени боязливы, нежели невежественные, и к ним относятся с почтением, поскольку они того заслуживают. Даже в странах самых деспотических, где подданные подавлены страхом, общественное мнение не позволяет давать волю страстям. Есть прихоти, которые самовластнейший деспот не дерзает разрешить себе, даже великий властелин, опасаясь возбудить в Константинополе возмущение, снисходит до того, что обращается за советом и не задевает предрассудки своих подданных.

Откуда у нынешних вельмож и правителей аристократического строя может возникнуть мысль об уменьшении своих прав и о том, чтобы почитать себя только правителями государства, если они вполне убеждены, что общество создано для них и они предопределены к счастью за счет подданных? Пока народ будет смешивать свободу и распущенность, подчинение и рабство, пока не ведомо ему собственное его достоинство, чего ради повиноваться ему беспринципным законам? Он всегда будет впадать в крайности: или дерзостью своих деяний и страстей разрушать основания собственной свободы, или стремиться навстречу игу и полагать, что он создан из другой материи, нежели вельможи. Почему бы государю, не сознающему свое предназначение, не стараться все подчинить своей воле, а не подвергать себя строгим правилам закона? Зачем царедворцам отказываться от обмана и злоупотреблений его страстями ради достижения власти, если подданные не столь благоразумны, чтобы познать благо и желать одного, и если они, напротив, почитают для себя необходимым ничем не ограниченный произвол?

Повторяю еще раз, Ваша светлость, когда все сословия общества будут просвещены относительно своих обязанностей и прав, а повсюду

распространится просвещение, тогда и правосудие, и истина мало-помалу приблизятся к народным собраниям, Сенату, вельможам и дворцам государей. Сколь раз в республиках Древней Греции народ оказывался столь же справедливым и столь же мудрым, сколь и сам ареопаг? Среди нынешнего дворянства, заботящегося более всего о своих прерогативах и привилегиях, а отнюдь не о том, чтобы заслужить их, появятся Валерии Публикулы, кои возьмут на себя смелость признать, что они составляют лишь часть общества, которому они тем более обязаны, чем более оно почитает их. Дворянство, столь склонное презирать сограждан, поймет, что, чем более уважает подвластный ему народ, тем само оно станет более великим и могущественным. И тогда возродятся Теопомпы¹⁷⁹. Сей спартанский царь сам ограничил свою власть, расширив при этом власть эфоров. Я укрепляю свое счастье, говорил он жене, которая упрекала его за унижение своего достоинства, всякая чрезмерная власть разваливается под собственной тяжестью. Разве не должен я остерегаться слабостей человеческих, поскольку я всего лишь человек? Я облагораживаю свое достоинство, подчиняя оное законам правосудия. Не лучше ли повелевать людьми свободными, кои будут доверять мне, нежели трепещущими от страха рабами? Именно благодаря этому я умножу силы Спарты, заставлю почитать во всей Греции и среди варваров имя спартанцев и мое собственное.

Благоволите заметить, Ваша светлость, что чувства беспокойства, которые испытываем мы в обществе, суть те же предостережения, которые уведомляют нас о наших проступках и побуждают к их исправлению. Мы хотели бы исправиться, но невежество наше губит все, и нам остается лишь беспокойство, которое только обостряет беды. История наполнена усилиями, каковые прилагались народами, дабы изменить свое несчастное положение, но, не ведая пути, который привел бы их ко благу, с неясными и сбивчивыми представлениями об оном, они не могли иметь ни твердости, ни постоянства, ни терпения в своих начинаниях. Участь их оставалась прежней, и не видно было никаких перемен. Сколь государей искренне желали блага подданным? И они обладали талантами, необходимыми для свершения великих дел. Почему же царствования их оказались бесславными? Именно потому, что они не имели представления ни о своем долге, ни о том, как его исполнить.

Заканчивая главу, расскажу Вам, Ваша светлость, о том, что произошло в России в конце прошедшего века, и пример сей убедит Вас, сколь полезно просвещение и сколь пагубно невежество.

Еще каких-нибудь восемьдесят лет назад Россия была погружена в глубочайшее варварство. Большая часть владений этого обширного царства оставалась необитаемой или же населенной людьми, едва ли заслуживающими сего имени. Во главе народа стояли два человека, коим, казалось, предназначено было сделать его несчастным, и оба одинаково заставляли почитать себя. Царь-деспот, на которого невежественные подданные взирали как на некий верховный разум, и пат-

риарх, вещавший именем Бога и Святого Николая, о коих сам он имел лишь смутные и суеверные понятия. Под тяжким игом двух властителей духовенство и дворянство выказывали к крепостным своим то жестокое тиранство, на которое способны рабы алчные и наглые, уверенные в безнаказанности. У них не было ни нравственных устоев, ни законов, ни трудолюбия, ни даже желания лучшей участи — страх и невежество сковывали их умы. Русские вряд ли обрели бы сознание своего гражданского и политического бытия, когда бы послушная и непокорная гвардия не учиняли частые государственные перевороты, возводя на престол государей, у каждого из которых были свои капризы, пристрастия и пороки.

Судьба, однако, поставила над этим народом государя, обладавшего всеобъемлющим созидательным умом и еще большими твердостью и терпением, коим суждено было преодолеть все препятствия. Сии природные дарования могли оказаться заглушенными и вполне вероятно, так бы и случилось из-за окружавших его со всех сторон тупого невежества и грубых страстей, когда бы не содействие одного женева, приехавшего искать счастья в Москве, которому случай помог попасть в число приближенных молодого царя.

Лефорт, так звали этого женева, был человеком умным, но исполненным предрассудков, привыкшим с некоторым суеверным восхищением относиться к политическому устройству европейских стран и их учреждениям. Почувяв в Петре I любознательность, говорившую о его дарованиях, он принялся рассказывать ему о различных странах, кои проезжал он во время своего путешествия. Живо описывал он возделанные поля, где труд и прилежание рождает изобилие, города, украшенные благодаря искусствам и ремеслам, кои прославляют их и обогащают, удобную и изящную роскошь, свидетельствующую об изысканном и утонченном вкусе подданных, рассказывал о могуществе государей и источниках государственных доходов. Он говорил о той политике, что связывает между собой всех властителей Европы посредством переговоров, движет их вожделениями, развивает их таланты и, возмещая слабость одних или умеряя силу других, держит всех вопреки притязаниям каждого в некоем равновесии, обеспечивающем безопасность их держав. И душа Петра целиком обнаружила себя. Пораженный услышанным и полагая, будто ему доступно все самое высокое, что способен произвести человеческий разум, он загорелся желанием быть причисленным к тем государям, которые влияют на дела европейские. Он льстил себя надеждой стать вскоре достаточно ловким или достаточно могущественным, чтобы обмануть их или покорить, и уже заранее упивался славой, коей сумеет покрыть себя, если будет подражать нам.

Лефорт подробно рассказывал о выгодах торговли, которая доставляет Европе улады и сокровища трех частей света и являет собой в каждом государстве источник доходов, без коих политика делала бы одни лишь беспомощные усилия. Женевац с упоением повествовал о

том, что доброй славой и величием своим Англия и Голландия обязаны оборотливости своих купцов, но умалчивал, какая участь постигает державу, зиждущуюся на хрупком основании роскоши. Он объяснял Петру, что разделяющие страны моря, которые русские считали лишь защитными стенами их империи, на самом деле служат сближению народов, что народ, который заботится о мореплавании и наполняет море кораблями, выходит за тесные границы своих владений, и слава его распространяется по всей вселенной, а все другие народы попадают в зависимость от его промышленности. Стоит ему захотеть, и они становятся его союзниками. Если же осмелятся они быть его врагами, он наказывает их и, запирая в собственных гаванях, обрекает участи пленников. Лефорт не преминул подогреть и сребролюбие молодого царя, объяснив ему, что государи могущественны лишь в той мере, сколь они богаты. Он поведал ему о тех изощренных и сложных способах, с помощью которых большинство государств управляет денежными своими делами; объяснил пользу банков, умножающих богатства, благодаря доверию, открывающему кредит. Но он не указал при этом, что государь, если он распоряжается своими доходами, не руководствуясь теми же простыми средствами, к коим прибегает отец семейства, весьма далек от поставленной им цели. Он не понимал, что, поскольку богатств никогда не хватает и приходится возмещать их посредством банков, для политика куда проще и осмотрительнее было бы научиться вовсе обходиться без оных. Наконец, Лефорт говорил о воинской дисциплине, которая, делая солдат послушными и преданными правительству, приготавливает их к победам и льстит честолюбию государя.

Речи женева явились для Петра лучом света¹⁸⁰. Он почувствовал себя униженным оттого, что правит всего лишь диким народом, который мог бы стать могущественным, — но во всем свете никто не брал его в расчет. Тотчас же возымел он намерение образовать из русских новых людей, и сам уже ничем иным не занимался, как только поисками средств, с помощью коих мог бы свершить эту великую перемену.

Вам, Ваша светлость, должно быть, известна история сего государя нашего времени, явившегося истинным творцом своего народа, способствовавшего появлению искусств и наук в потрясенном государстве, того государя, чьи корабли покрыли собою Балтийское, Черное и Каспийское моря, который из трусливейших людей создал армии, оказавшийся способными одержать победу над Карлом XII, государя, который воспитал министров и дипломатов и политика коего, внушая страх, одновременно вызывала уважение и Европы, и Азии. Ничто не могло укротить его страсть к образованию. Одно лишь это показывает величие и силу его характера, и было бы весьма и весьма бесполезно почаще напоминать о нем тем государям, кои склонны предаваться роскоши, изнеженности и праздности, удовольствиям и скуке и полагают, будто слава преобретается так же легко, как о том твердят льстивые наперсники. Петр понял, что недостаточно слушать одни рассказы,

и пожелал увидеть все это собственными глазами. Чтобы стать достойным трона, он в некотором роде отказался от царской власти и поехал обучаться плотницкому делу точно так же, как раньше начал с матросского ремесла на море и с барабанщика в сухопутных своих войсках, чтобы стать потом генералом. Повсюду набирался он знаний: путешествовал по главнейшим странам Европы — Германии, Англии, Франции — и повсюду знакомился с заведениями, коими мог в будущем обогатить свою страну. Желая лишь подражать другим государям, он исправляет и совершенствует их установления, превосходя их всех и являя собою образец, коем могут подражать лишь те, кто носит в себе душу, столь же великую и сильную.

Мы испытываем законное удивление при виде того, что удалось свершить сему царю. Сколько препятствий понадобилось ему преодолеть! Какие обширные замыслы пришлось ему сочетать! Тем не менее разве не мог некий второй Лефорт в то время, когда Россия приняла новое обличие под его созидающими руками, надоумить его, что существует политика более здравая, нежели та, которая рождает чудеса в Петербурге, и что, свершая великие дела, он впадает в одни лишь ошибки?

”Государь, — мог бы сказать он ему, — вы снискали себе славу смертных: свидетели ваших предприятий с трудом могут поверить тому, чего вы достигли. Вы сравнялись с теми отпрысками богов, что некогда собирали скитавшихся в лесах людей и строили города. Вы подобны Прометею, похитившему огонь небесный, дабы вдохнуть жизнь в грубую глину. Вы воздвигли огромное здание, но позвольте спросить вас, на каких основаниях покоится оно: быть может, вы пренебрегли ими, дабы заниматься одним лишь наружным убранством? Невиданное ваше сооружение может исчезнуть вместе с вами, а потомки ваши, отдавая дань восхищения, упрекнут вас в том, что не сумели вы упрочить благо империи, быть может, обнаружат они причины своего упадка и своего крушения в самих принципах вашего управления.

Взяв за образец Европу, вы, может быть, оказали ей слишком большую честь, а Лефорт, обманутый блеском ложного благоразумия, сумел воззвать к одним лишь вашим страстям. Приятно обладать большими богатствами и одерживать победы, но каким чудом алчность и тщеславие, уже погубившие так много государств, могли бы служить основой для процветания России? Будут ли способствовать сии два порока, к коим вы приобщили ее, вашей славе великого законодателя? Может статься, что эта политика, которой вы подражаете, с точки зрения здравого смысла — не более как безумие. Действительно ли вы начали именно с того, что больше всего нуждалось в преобразовании? И если бы вы поступали иначе, пороки, кои остались неискорененными, разрушили бы ваши установления? Вы создали матросов, строителей, солдат, купцов, художников, но если вы прежде всего не научили их быть гражданами, то какие же непреходящие преимущества извлечет Россия из ваших трудов, из их знаний и ваших талантов? Отнюдь не

своими верфями, каналами и плотинами Голландия достойна восхищения, но благодаря тому духу, который создал ее и благодаря законам, утвердившим ее свободу. Не к самовластному монарху обращаюсь я, но к великому человеку, любящему истину и признающему свои заблуждения.

Удаляясь на верфи учиться корабельному делу, вы явили Европе зрелище необычайное, но от вас ожидали не ремесла плотника, а познаний законодателя. Не строение кораблей надо было изучать вам, но страсти человеческого сердца, ибо вам предстояло управлять обширным государством. Ничему истинно полезному не научились вы в Голландии, если не поняли причин, в силу которых Соединенные Провинции лишились прежнего могущества. Англия могла просветить вас о предметах более важных, нежели средств, коими она пользуется для распространения и процветания своей торговли. Быть может, вы заметили бы тогда, что богатства, являющиеся плодом этого процветания, уже расшатывают ее государственное устройство и могут разрушить ее торговлю и свободу. Какую пользу могло бы принести законодателю знание всего этого? Изящество, вкус, легкость нравов, кои готовились вы встретить во Франции и кои желали бы перенести в Россию, все это не более как приятные пороки, столь же далекие от истинно полезных государственных установлений, как и те грубые варварские нравы, которые вы хотели изгнать из России. Соболаговолите поразмыслить: если верно, что счастье не пустая безделка, почему думаете вы, будто людям предназначено искать его среди легкомысленного вздора?

Вы сумели воспитать солдат, которые победили и рассеяли ваших врагов под Полтавой. Меня приводят в восхищение средства, благодаря которым вы приутожили победы, и в особенности то великое дерзновение, которое посреди военных неудач внушило вам надежду на то, что вы сможете победить. Вы не пренебрегли ни одной из обязанностей военачальника, но, как законодатель, который обязан трудиться для будущего, какие меры приняли вы для того, чтобы эта армия сохранила привитый вами дух и дисциплину? Разве нет оснований опасаться, как бы она не стала вскоре столь же непокорной и заносчивой, как и стрельцы, коих вам удалось истребить, как бы она не начала управлять вашими преемниками, наводя на них страх, и не научилась играть их трон? Благодаря своему флоту вы завладели Балтийским морем, а в Константинополе султан обеспокоен силами, которые вы собрали на Черном море: радуйтесь творениям ваших рук, наслаждайтесь вашей славой, я отнюдь не хочу, государь, омрачать вашу радость. Но однако позвольте спросить вас, какую пользу принесет России ваше честолюбие, внушающее тревогу соседям вашим и уже возбуждающее против вас подозрение всей Европы? К чему послужит вам увеличение ваших сил, если умножилось число ваших врагов? К чему эти завоевания, когда у вас столько безлюдных просторов, которые можно заселить людьми? Какое вам дело до того, что творят у себя ваши соседи, когда дома у вас столько дел? Во всем вижу я военачальни-

ка и завоевателя, который хочет внушать страх, а я хотел бы видеть глубокомысленного законодателя, закладывающего основы вечного благоденствия своей страны, стремящегося привлечь союзников осмотрительностью и справедливостью законов и готовящего граждан к бранному труду лишь после того, как им внушено, что у них есть родина, которую они должны любить и защищать ценою собственной крови.

Разве не охватывает вас, государь, беспокойство оттого, что вы слишком необходимы вашей империи, что в вас заключена душа ее, и что могущество России исчезнет вместе с вами? Все погибло, если поданным вашим надобны цари, подобные вам: законодатель должен ввести такое правление, чтобы государство могло обходиться без великих людей и не боялось бы ни отсутствия талантов, ни даже пороков своих правителей. Ваши гавани открыты, вы учредили уже некоторые мануфактуры, торговля начинает процветать, ваша казна полна, доходы растут, но если правда, что благоденствие, основанное на торговле, изменчиво и преходяще, если правда, что следствием приносимых ею богатств является бедность, которая в таких обстоятельствах кажется еще более нетерпимой и неизбежно ведет к разрушению государства, если верно, что новообретенные ваши богатства лишь породили в России новые пороки, если преемники ваши, злоупотребляя вашей предприимчивостью, предаются роскоши и излишествам, если вы должны опасаться в равной степени как расточительности их, так и алчности, то сколько еще надобно было сделать вам как государственному мужу? Ведь законы Ваши едва только означены.

Простите, государь, мою дерзость, я откровенно говорю о моих сомнениях, поскольку вы слишком велики, чтобы оскорбиться ею. Прежде чем отягощать Россию воинственностью, надо было сделать ее счастливой. Надлежало изучить и постигнуть благо, к которому природа предназначает человека, и прежде всего внушить вашим подданным любовь к закону, порядку и общественному процветанию. Что сделали вы для того, чтобы ослабить тягостный страх, которым поддерживается ваша власть и который способен породить лишь продажные и рабские души? Шла ли речь о благе государства или о каких-либо пустяках, вы всегда грозно повелевали, но никогда не снисходили до искусства убеждения. Повсюду вижу я бдительность, твердость, мужество, таланты Петра Великого, но я еще не примечаю благодетельного управления государством. Достаточно ли мудры его законы для того, чтобы с помощью соревнования множились бы таланты и добродетели, а важнейшие посты в государстве естественным образом занимали бы достойные?

Поскольку Европа придерживается одних лишь ложных политических принципов, поскольку она введена в заблуждение своей алчностью и честолюбием, я предвижу, что как только движение, которое запечатлели вы в умах, будет замедлено и приостановлено, ваша империя, воспринявшая одни лишь эти блистательные пороки, станет

приблизительно такой же, что и прочие государства. Большинство из европейских народов нуждается в значительном переустройстве, с этим согласны все, а между тем вы им подражали. Русские коснели в варварских пороках, теперь они погрязнут в пороках цивилизации, и от этого не станут счастливее. Боюсь, что единственными законами, действующими пока в России, являются страсти и причуды ваших преемников. Какие благие дела может вершить государь, трепещущий от страха перед собственной гвардией, и подданные, которые никогда не осмелятся стать гражданами! Вы создали Сенат, не обладающий никаким влиянием и, стало быть, не способный служить поддержкой вашим преемникам. Вы видели в различных странах национальные сеймы или собрания: вместо того чтобы перенести их уклад в ваше государство, дабы бросить хоть какие-то семена свободы, высоких помыслов, благородства, общественного блага и любви к отечеству, вы удовольствовались тем, что призвали иностранцев, которые покинули отечество и связали свою судьбу с вами: именно с ними, а не с природными вашими подданными свершили вы великие подвиги. Вы надеетесь с помощью иностранцев привести свои владения в цветущее состояние? Тщетная надежда! Они не вызовут в ваших подданных никакого духа соревнования, поскольку будут занимать весьма высокие должности: заслужив награды и отличия, они вызовут ненависть к себе и отвращение к правительству. Вы богаты лишь чужеземными богатствами, а должны были бы создать те, которые принадлежали бы вам. Впрочем, чего ожидать от людей, добровольно покидающих родину ради денег? Ваша бдительность и твердость сдерживает их. Ныне одни льстецы и продажные души служат вам с пользой, но при государях менее искусных и осмотрительных они сделаются изменниками.

Хотите ли Вы, Ваше Величество, возвести вечный памятник своему имени? Да сопутствует вам счастье и слава в грядущих поколениях! Пусть останется в народе след вашего благородного и возвышенного гения и не удастся преемникам вашим наложить на него свою печать. Дабы с пользой преобразовать Россию, сделать ваши законы прочными и создать воистину новый народ, начните с преобразования собственной вашей власти. Если вы не сумеете ограничить свои права, вас заподозрят в малодушии, в том, что вы никогда не считали себя достаточно могущественным государем, и робость ваша смешает вас с толпой прочих властителей. Гражданин должен подчиняться правителю, но правитель должен подчиняться законам. Вот принцип всякого разумного правления: и в зависимости от того, сколь близки мы к нему, мы приближаемся или удаляемся от совершенства. Стоит сему основному правилу нарушиться, и порядок в обществе исчезнет. Как только вместо законов станут повелевать люди, в нации уже не останется никого, кроме угнетателей и угнетенных. Пусть императоры российский передадут законам предназначенную им власть, пусть поставят они себя в счастливую необходимость подчиняться им, пусть почитают они народ свой, не дерзая показаться порочными. И тотчас же

ваши рабы, превратясь в граждан, легко обретут таланты и добродетели, способные привести в цветущее состояние вашу империю”.

Поразительные перемены, кои Петр Первый свершил в своей стране, препятствия, кои он преодолел, все позволяет предположить, что еще он мог бы свершить, если бы основывал дела свои на лучших образцах, нежели представленные ему Лефортом. Незнание принципов, на коих общество должно основывать свое счастье, – вот что ввело в заблуждение его гений. Какой урок для Вас, Ваша светлость, и сколь настоятельно должен он побуждать Вас к постижению обязанностей Ваших и того, как Вы должны их исполнять! После стольких трудов, стольких свершений и преобразований русские достигли лишь того, что восприняли некоторые из наших пороков. Их правление, сохранившее к тому же и собственные пороки, вновь вернуло их в прежнее варварство. Они еще долго пребудут несчастными и могут надеяться на недолгое процветание, если только счастливый случай возведет на трон какие-нибудь таланты.

ГЛАВА III

*Общества более или менее способны к преобразованию.
Каким образом следует достигать сего*

История, изображая длинную вереницу событий и испытаний, показала Вам, Ваша светлость, в чем состоит благоденствие государства, но отнюдь не только эту пользу извлечете Вы из нее. Она еще укажет Вам, благодаря каким средствам и как искусно можно утвердить добрые принципы в народе, никогда не знавшем оных или однажды отступившем от них. Вы увидите, что не все времена и не все обстоятельства благоприятствовали преобразованиям. В политике, как и в медицине, существуют лекарства предуготовительные, кои по природе своей не предназначены к тому, чтобы исцелять, но только способствуют благоприятному действию средств, назначенных впоследствии для воздействия на очаг болезни. Вместо принуждения просвещенный законодатель порою довольствуется тем, что побуждает и склоняет к действию. Боясь по неосторожности возмутить общественные нравы и мнения, он зачастую уклоняется от кратчайшей дороги для достижения предполагаемого им блага. То вызывает он преданность и отвагу, то внушает страх. Он стремится лишь привить им любовь к предлагаемым им законам и знает, что если они ненавистны, то скоро ими будут пренебрегать.

История представит Вам, Ваша светлость, пример многих великих людей. Она даст Вам понятие о нравах и привычках, которые отнюдь не были установлены законами и являются лишь делом случая, событий и обстоятельств. И почему политика не может свершить то, что удалось фортуне? Почему преобразователи государств, познавая сии

перемены и умело приуготавливая те же события, не могли бы иметь того же успеха?

Когда народ сохраняет свободное правление, то есть повинуетя лишь им же установленным законам, тогда весьма легко, если нет порчи нравов, исправлять законодательство, которое не основано на здравых принципах, и соединить все части государства согласием и такими отношениями, которые побуждают правителей стремиться ко благу. Граждане, глас коих не продан и кои почитают свою свободу величайшим даром, нуждаются лишь в просвещении: укажите им путь истины, и они бесповоротно вступят на него. Так, например, Вы видели, что в достославные времена Греции многие республики охотно следовали советам правителей. Частные интересы принесены были в жертву интересам общественным, и преимущества, которые одна часть граждан извлекала бы для себя из некоторых злоупотреблений, не служили основанием для их сохранения. Если неурядицы не имеют иного происхождения, кроме своего рода утомления и лености, которым люди весьма подвержены и которые порою лишают закон силы и ослабляют пружины правления, то часто какого-нибудь пустяка достаточно для устранения оных. Старайтесь вызвать дух соперничества среди граждан, чтобы пробудить их души. Большею частью всякое зло происходит не иначе, как по тому небрежению, с каковым правители исполняют свои обязанности. Облегчите же их бремя, дабы не имели они причин ими пренебрегать. Римские консулы именно тогда стали служить с большей пользой Республике, когда цензоры и преторы переложили на себя часть отягощавших их дел¹⁸¹. Временами полезно создавать новую власть. А порою достаточно уведомить власть, уже существующую, что законы слабеют и государству угрожает опасность.

Но когда государство падет вследствие развращенности нравов и новые страсти восстанут против прежних законов, когда государство заражено алчностью, расточительством и роскошью и умы заняты поисками наслаждений, когда деньги дороже добродетели и свободы, тогда, Ваша светлость, всякое преобразование уже невозможно. Надо было начать с преобразования нравов; и немногим честным людям невозможно успешно бороться против укоренившихся в сердцах предрассудков и страстей, кои властно управляют толпой. Вы станете предписывать законы? Но продажные правители будут обходить их. Напрасны были бы стенания Катона: "О, времена! О, нравы!"¹⁸² Для тех, кто не хочет слушать, советы его скучны. Быть может, то простосердечие, с каковым он ожидает блага, вызовет насмешки. Он уверен, по крайней мере, что никогда не снискает ему столько доверенности, чтобы убедить своих сограждан напрягать усилия против самих себя и вновь подняться на ступень, с коей они были низвергнуты.

Такое государство, истощенное, не имеющее уже сил противостоять собственным своим порокам и приблизиться к законам естества, станет добычей иноземного врага, или увидим мы тирана, рожденного в его недрах. Я не знаю, мог бы Ликург в подобных обстоятельствах от-

вратить пороки своих сограждан, силой наставить их на путь истинный и сделать их справедливыми и счастливыми помимо их воли: боюсь, как бы не постигла его участь Агиса¹⁸³. Смятение одного народа обычно возбуждает честолюбие соседей. Народ сей презирают, оскорбляют и, наконец, идут на него войной, ибо надеются победить и поработить его. Но, если не падет он от ударов иноземцев, то будет изнемогать под игом врага внутреннего. Успехи интриганов, стремящихся добиться власти, не желая при этом исполнять обязанности, с нею сопряженные, вскоре породят честолюбцев, кои откровенно стремятся к самодержавному правлению. Тирана еще нет, но тирания уже водворена. Утомленные переменчивостью, волнениями, тяготами и беспокоемством, каковые сопровождают умирающую свободу, люди желают покоя, и, для того чтобы освободиться от прихотей и насилий беспомощной и беспорядочной олигархии, они отдают себя в руки самодержавного властелина.

Когда правление приведено в расстройство интриганам, заговорами и происками соперничающих сторон, стремящихся к власти, тогда государство оказывается в опасности, хотя не все еще для него потеряно. Заметьте, Ваша светлость, что честолюбие есть страсть менее опасная, нежели корысть. Сия последняя всегда неизменна, она унижает душу, она не восприимчива ни к какому благородному совету. Честолюбие же может быть сопряжено с такими добродетелями, как любовь к славе, бескорыстие и любовь к отечеству. Распри, возбужденные корыстолюбием, всегда губили государства, а честолюбия, напротив, иногда находили пути к соглашению друг с другом. В то же время мы порой видели, что, когда эти две страсти, соединенные между собой, породили смятение, одна приходила на помощь другой. Афиняне являют Вам достойный тому пример. Если бы потребовали одного только нового раздела земель и упразднения долгов, то Республика бы погибла. К счастью, граждане прибрежных мест, жители долин и гор по разному смотрели на власть¹⁸⁴. Корысть довела бы богатых, бедных, кредиторов и должников до кровавых насилий, честолюбие же, более склонное к примирению, явило в качестве посредника самого Солона.

Для полезного преобразования в государстве остерегайтесь употреблять коварство и хитрость: Вы успокоите умы лишь на мгновение, ибо, став жертвой обмана, никто не пожелает верить и самой истине, и зло окажется непоправимым. Остерегайтесь привлекать граждан к предполагаемой Вами цели, угождая их корысти и честолюбию, как это делал Солон: сие вынудило бы Вас породить у них надежды, кои, осуществившись, еще более усилят эти две страсти, породившие все то зло, которое Вы хотите обуздать. А если надежды эти ложны, спокойствие не будет продолжительным: страсти нетерпеливы, они отомстят за себя, вызвав еще большее замешательство.

Чувство свободы нуждается в меньшем поощрении, нежели любовь к законам. В государстве, разделенном противоборствующими сторонами, где граждане хотят устраниваться от принципов равенства, не душам

не хватает сил, но умам не достаёт просвещения. Просветите же оные, дабы благодаря всем Вашим законам гражданин предпочёл общественное благо частным своим выгодам. Если Вы будете оказывать покровительство людям богатым и могущественным, они употребят сие во зло и преисполнятся дерзновения и предприимчивости. Сделайте более могущественным все государство, дабы частные лица оказались слабее оною. Умножьте число правителей, разделите их обязанности, дабы, завися один от другого, они сдерживали друг друга. Доверить в этих обстоятельствах значительную власть одному правителю для восстановления порядка, значит вводить его в опасное искушение. Он может воспользоваться раздорами для порабощения государства или же вообразить, что сограждане его хотят видеть его своим повелителем.

Должен ещё заметить, Ваша светлость, что государства, свободные более или менее, способны предупредить свое падение или совершить глубокие преобразования, смотря по тому, сколь протяженна территория, каковую они занимают, и сколь цветущим является их состояние. Когда все граждане живут в стенах одного города и составляют, так сказать, единую семью, то порою не понимают, что законы, нравы и обычаи должны сохраняться более благоговейно, нежели на великом пространстве, которое составило бы одну республику. В последнем случае неусыпное бдение правителей часто бывает обмануто, в первом же все граждане, знающие друг друга, являются друг для друга неутомимыми правителями. Вследствие той же причины, по которой в небольшом государстве без труда поддерживается порядок, легко восстановить его и в том случае, когда в нем завелась порча. Ликургу достаточно было найти тридцать добрых граждан, дабы произвести глубокие перемены¹⁸⁵. Если бы Спарта господствовала над всем Пелопоннесом, что предпринял бы он для блага своего отечества? Если бы покорилась она его законам, то последовали бы тому и другие города? В этом случае надлежало бы составить заговоры в каждом городе, вызвать их на решительное выступление в единый момент: трудное предприятие, которое могли бы расстроить тысячи непредвиденных случайностей.

Замечу, Ваша светлость, что обширные государства суть истинное бедствие для народа. Что бы ни думали честолюбцы, общества не могут распространяться далее известных пределов, не слабея при этом. Я не хочу сказать, будто природа создала реки и горы, дабы служили они преградами между государствами: она дала нам более ясное понятие о своих предназначениях, сотворив нас столь слабыми. Мы созданы для того, чтобы видеть лишь происходящее вокруг нас, и разве не достойно порицания стремление наше править обширными странами?

Но возвращаюсь к моему предмету, Ваша светлость, и прошу заметить, что история, быть может, не представила Вам в качестве примера такой народ, который в благоденствии помышлял бы освободиться от своих пороков. Напротив, Вы повсюду видите, что благоденствие ослабляет, портит и развращает принципы правления. Благополучие вну-

шает нам самонадеянность, а между тем именно в благополучии более всего должны мы не доверять себе. Мгновение, когда человек наиболее счастлив, не бывает благоприятным для законодателя, если только не издавал закон, благоприятствующий общественному мнению. Было бы чудом, если бы усилия Катона в защите Оппиева закона принесли бы успех в то время, когда римляне, победившие всех врагов и нагруженные трофеями, пожинали плоды своих побед. Разве могли они предвидеть дурные следствия роскоши, одни только прелести коей они чувствовали? Кто мог подумать, что благоденствие ведет их к гибели? Такой подвиг рассудка выше наших сил, но пусть же и не окажется он надобен законодателю. Только тогда прислушиваются к его голосу, когда случается какое-либо несчастье и когда страшатся оно: вот благоприятное время для полезного преобразования. Если Вы упустите его, то, может статься, граждане свыкнутся с пороками или даже возлюбят их.

Если свободные народы с таким трудом исправляют свои ошибки, если они столь редко совершенствуют свои законы и, по-видимому, приобретают иные черты нравственного облика, история монархий, Ваша светлость, когда они еще не испорчены крайним деспотизмом, который душит всякое чувство добродетели, отечества и общего блага, показывает, напротив, множество примеров счастливых перемен. Сохранившие пылкость души подданные приучены повиноваться повелителям. Государь, который знает, как воспользоваться этими преимуществами, создаст при желании новый народ, который выйдет из своего оцепенения, оставит пороки и постепенно воспримет новые обычаи и добродетели, кои старались ему внушить. Вы слишком образованы, чтобы сомневаться в этой истине, и не раз в продолжение Вашего учения видели, как народы, даже не весьма почитаемые, были творцами великих свершений под водительством государя, способного пробудить к жизни зачаток добродетелей и талантов, который был задушен его предшественниками. Надо ли мне приводить Вам в пример персов при Кире и македонян в правление Филиппа и Александра? Не восходя к такой древности, не удаляясь от современной европейской истории, я мог бы сказать Вам о некоторых государях, если таковые Вам неизвестны, кои действительно были благодетелями своих народов.

Но, Ваша светлость, позвольте спросить Вас, возможно ли после самого продолжительного и гнетущего деспотизма превратить рабов, опустившихся до скотского состояния, в людей? Мне скажут, что Марк Аврелий, мудрейший и справедливейший из государей, не мог вызвать никакого возвышенного чувства в римлянах. Он почитал себя не обладателем, но правителем Империи, и говорил, что все и сам он принадлежит государству. Вручая меч начальнику преторианцев, он повелел употреблять оный и против него самого, если будет он несправедлив¹⁸⁶. Он был другом и братом всех людей. Столь многие добродетели вызвали, однако, лишь холодное и пустое удивление у сенаторов, привыкших собираться в Сенате, не испытывая ничего, кроме трепет-

ного ужаса. Никакого понятия чести или чувства свободы не пробудилось в душе римлян. Все это так, и тем не менее я склонен полагать, что Марк Аврелий мог бы свершить больше, нежели содеянное им.

Сей государь, полагавший, что добродетель есть награда сама по себе, и любивший ее именно такой, возомнил, что и души низкие способны на подобное чувство. Он заблуждался. Чтобы сделать римлян достойными благих законов и воспринять мудрое правление, надлежало сильно потрясти их и поразить воображение. Слабые и робкие страсти, кои унижают, заменить страстями сильными и строгими. Римляне не способны были восхищаться Марком Аврелием. Они принимали его мудрость с беспокойством и страхом, подобно мореплавателям, едва избежавшим крушения, которые наслаждаются минутой покоя в виду приближающейся новой бури.

Действительно, разве могли римляне воспринять какие-то чувства свободы и возвышенности духа, в то время как никакое новое устройство общественного управления не могло дать им удовлетворение? Какая бы для них была польза в том, чтобы, пробудившись ото сна, узреть государя добродетельного – ведь они все еще не чувствовали никакой безопасности, и преемник Марка Аврелия мог быть еще одним чудовищем и тираном? Речь шла не о том, чтобы дать Сенату, вельможам и народу хоть какое-то достоинство: вследствие слишком долгой привычки к оскорблениям и насилиям они слишком свыклись со своим унижением и думать не могли, чтобы избавиться от него. Дабы снова пробудить в римлянах народный дух, не следовало оставлять в силе ни одного из древних установлений. Почему Вы с трудом поверили бы, Ваша светлость, что Марку Аврелию удалось бы возродить чувства свободы и возвышенные помыслы, если бы он прибегнул к тем законам, народным собраниям и обычаям, которые ныне составляют преграды деспотизму и о которых я имел честь Вам говорить во второй части сего сочинения? Его предшественники, овладев всей полнотой власти, повергли римлян в прах, и, вновь получив ее обратно, народ обрел бы новую жизнь.

Нужно признать, к нашему стыду, что есть качества, более, нежели сама добродетель Марка Аврелия, способные волновать, воспалять и подчинять наши умы; именно таковы блистательные качества героев, кои, будучи сопряжены с выдающимися воинскими талантами, вселяют в самые слабые души своего рода гордость, уверенность и деятельность, кои приуготовляют их к свершению великих дел. Траян, который восстановил славу римского имени среди других народов и выдающимися победами раздвинул границы Империи, по всей видимости, с большей легкостью, нежели Марк Аврелий, смог бы возратить Риму прежние его добродетели. Не было ничего невозможного для Александра, и он сумел бы пробудить даже в персах стремление к свободе, будь он способен с таковому замыслу. Можно упрекать Петра I в том, что он не воспользовался одержанными успехами и победами ради утверждения нового правления в своем государстве. Именно потому, что он да-

же не пытался предпринять это, его будут причислять к государям, правление которых было славным, но никогда он не окажется в ряду законодателей и благодетелей своего народа.

Ныне Европа видит государя, обладающего столькими блистательными качествами, коих хватило бы на двух или трех славных мужей. Превосходный во всех отраслях политического управления, еще более способный добиваться своего в переговорах и непревзойденный во главе войск, он самые невзгоды использовал для того, чтобы раскрыть новые характерные стороны своего гения. Слава и имя его снискали ему такую власть над подданными, что он может внушить им те мысли, какие пожелает, и воцарившийся мир дарует ему досуг, чтобы утвердил он на незаблемом основании величие своей короны и своего народа¹⁸⁷. Но не исчезнет ли оно вместе с ним, поскольку он хочет, чтобы оно не имело иной опоры, кроме талантов его преемников? Повергнув в изумление свой век, что ж не спешит он приуготовлять благоденствие потомков?

По какому злосчастию следует, чтобы те героические качества, которые мы обнаруживаем во многих прославленных монархах, почти никогда не были полезны их государствам? Мужичи эти, называемые героями, заняты только самими собою. Поскольку забыли они о наших интересах, то, по крайней мере, надобно было бы нам мстить за себя, а не хвалить их. Скажут, что вдохновленные сей ненавистной политикой, в которой Тацит упрекает Августа¹⁸⁸, они с удовольствием предвидят падение своего государства после своей смерти и думают, что слава их пребудет более громкой, если преемник окажется неспособен сохранить их творение. Они стремятся создать себе великое имя. Слепцы! Что же не помышляют они о том, чтобы снискать себе любовь потомства? Что же не трудятся они ради него? Ведь оно будет признательно за излившиеся на него благодеяния. В продолжение шестисот лет не было спартанца, который не почитал бы себя обязанным Ликургу и который не видел бы в нем величайшего и мудрейшего из людей. Пусть же государь, способный по примеру сего законодателя управлять своими подданными и вести их за собой, вознамерится сделать из них граждан. Пусть предпишет он мудрые законы, пусть утвердит их власть, соображая правление с правилами и первоначалами самого народа, и я ручаюсь Вам, что вся слава, приобретенная его преемниками и подданными, будет принадлежать ему.

ГЛАВА IV

*О том, как государь должен приступать
к преобразованию правления и законов*

Разумеется, я хочу воздать справедливость тому государю, который, с тщанием познав подвластные ему владения, намеревается искоренить злоупотребления: однако, если он ограничивается установлением нового порядка в различных частях управления, ничего не меняя в самом образе оногo, я с похвалой отзовусь о его благих намерениях, но надлежит признать, что он выполнит только лишь наименее важные из обязанностей, возложенных на законодателя.

Действительно, Ваша светлость, разве не примечали Вы при чтении книг, что государи, ограничивавшиеся предписанием законов о предметах частных, приносят лишь преходящее и весьма кратковременное благо? Вы могли наблюдать, как, состарившись на троне, они сами порой наблюдали разрушение своих установлений. Мудрый опыт одного царствования никогда не служит уроком для царствования, за ним следующего. То ли государь, восходя на престол, почитает себя умнее предшественника, то ли он отличен от него характером, но редко случается, чтобы он не руководствовался противоположными намерениями и принципами. Займитесь основательно изучением монархии, и Вы увидите, что большинство государей-самодержцев вообще ничем не интересуется, хотя некоторые и обращают внимание на то, к чему имеют склонность. Один усвершенствует войско, другой – судебные учреждения. Этот занимается флотом или финансами, а тот посвящает себя искусствам, торговле и земледелию. Можно подумать, что по истечении известного времени все отрасли государства должны быть, наконец, должным образом упорядочены и хорошо управляемы благодаря такому отличному друг от друга образу действий самовластных государей, однако коренное преобразование остается пока только на бумаге, ибо люди не прониклись доверием к законам. Они уже привыкли, что при правлении, которому чужда всякая последовательность и твердость в ведении дел, то к одним из них, то к другим относятся с пренебрежением. Умножаясь и взаимно противореча друг другу, законы, в конце концов, образуют хаос, в коем граждане уже ничего не разумеют.

Карл Великий, обширному и могущественному гению которого Вы удивляетесь, постиг, что вложенная в руки одного человека законодательная власть неминуемо влечет за собой порочные законы. Чем более он возвышался, тем больше познавал пространные обязанности законодателя и тем больше убеждался в том, что ему не по силам исполнить их. Как могу я, – верно говорил он сам себе, – войти во все подробности составления мудрых законов? Если оставлю я без внимания какую-либо отрасль, то разве не вследствие этого вкрадется в государство порча? Если я буду судить, основываясь на мнении тех, ко-

му окажу доверие, кто поручится, что они, будучи льстецами и обманщиками, дадут мне верный отчет? Могу ли я быть уверен, что они не будут взирать на положение народа сквозь призму предрассудков и страстей? Стало быть, желая вкупе со своим советом принести благо обществу, я беру на себя непосильную ношу и неизбежно навлекаю на себя ненависть части моих подданных. Все сословия граждан обуреваемы различными страстями, нуждами, предрассудками и интересами, и поскольку в одном лишь всеобщем народном собрании они могут обсуждать свои права, прерогативы, взаимные притязания, только так и возможно для всех сблизиться и примириться ради общего счастья.

Но, — должен был он добавить, — если смогу я приобрести все необходимые для законодателя знания, то сколь велико было бы мое сомнение, если бы осмелился я полагать себя выше слабостей человеческих и думать, что мои наклонности, мои предубеждения и собственные интересы не введут меня в заблуждение? Не возгоржусь ли я, вознамерившись сохранить беспристрастие между всеми сословиями граждан? Достаточно ли я уверен в том, что выгоды окружающих меня людей, не будут мне дороже интересов всех прочих, не известных мне? Один лишь народ может вполне познать то, что ему нужно. Сам предписав себе законы, он терпеливее будет переносить оные и возлюбит их как дело рук своих. Если я пожелаю править самовластно, то власть моя будет подозрительной. Если я издам законы, их посчитают принуждением, от коего надобно освободиться. И со всей своей деспотической властью я буду на деле не столь уж могущественным. К чему мне рабы? Не полезнее ли мне свободные люди?

Несомненно, Ваша светлость, эти размышления побудили Карла Великого восстановить правление по древним салическим законам, хотя ему гораздо удобнее было бы присвоить абсолютную власть. Дела его удивительны, но поразительнее всего то, что среди стольких государей, стремившихся к неограниченной власти, ни один не был достаточно просвещен, дабы понять, что, подражая Карлу Великому, он стал бы могущественнее самого безудержного деспота. Я не собираюсь доказывать сей истины, она очевидна, и отнюдь не сомневаюсь, что из нее воспоследовали бы многие благотворные перемены в правлении, если бы государи не были обмануты теми, кто управляет ими и употребляет их власть во зло.

Прошу Вас, Ваша светлость, вспомнить, что законодательная власть есть не что иное, как право предписывать новые законы, изменять, переделывать, упразднять и отменять старые. Если это право принадлежит безусловно одному только государю, трепещите: Вы создали деспота, который погубит Вас. Если же Вы предоставляете это право кому-либо на известных условиях, не имея ручательства в том, что они будут соблюдать, то и в этом случае Вы повинуетесь деспоту. Если же Вы в самом деле нашли поручителя, который отвечает Вам за точность исполнения законодателем принятых им обязательств, я скажу на это, что Вы создали в государстве власть выше законодательной, что противно

самым простым понятиям об обществе. Я скажу, что Вы воспрепятствовали законодательной власти, которая, по природе своей, должна быть во всем господствующей, и присовокуплю, что законы Ваши будут скверны и не получится у Вас никакого публичного права, а сами Вы испытаете все злоключения, каковые из этого должны произойти.

Когда народ не обладает властью предписывать себе законы, то, дабы не впасть в деспотизм, мы обязаны установить за правило, что государь должен управлять сообразно с основополагающими законами, кои он не в состоянии отменить, и что новые законы должны быть внушены духом древних. Эти прекрасные слова у всех на устах, но никто их не понимает. Если имеется в виду, что законодатель должен сообразовываться с законами, пока он позволяет им существовать, то нет ничего справедливее, но если утверждают, что он не властен упразднить их и заменить другими, то это нелепость, и я прошу Вас сказать мне, каким именем назовете Вы власть, которая этому противится. Я хотел бы знать, почему называемые основополагающими законы имеют исключительное право никогда не быть отмененными? Они суть творение законодателя, но почему же всегда будут они иметь силу? Не по самой ли природе своей законодательная власть не может предписать себе пределов? Было бы нелепо полагать, что новые законы никогда не должны быть противны старым, ибо совершенно различные обстоятельства требуют законов, совершенно отличных по духу. К тому же древние законы могут быть порочны и восходить к невежественным и несправедливым законодателям, почему же не позволить мужу просвещенному и справедливому исправить их?

Я мог бы присовокупить здесь, Ваша светлость, тысячу других умо-заключений, чтобы доказать Вам невозможность совершить истинно полезное преобразование иначе, как дав народу возможность самому предписывать себе законы, но к чему распространяться далее об истине, в коей я Вас, кажется, убедил? Добавлю лишь, что для долговечности преобразований законодательная власть должна принять самые действенные меры к сохранению своей независимости. Пусть никогда не ввернется она честолюбию правителей, исполняющих ее повеления. Во всех свободных государствах мы видим вечное соперничество между народами и правителями. Постоянно подвергающаяся нападкам законодательная власть, наконец, падет, если не сохранит в себе сил, превосходящих те, кои должна она оставить власти исполнительной, чтобы та могла с пользой озабочиваться соблюдением законов.

Прежде чем сказать Вам, Ваша светлость, в чем состоит политика, которая всегда будет удерживать правителей под властью народов, позвольте мне сделать некоторые замечания о том, что происходит во многих европейских государствах; замечания сии прольют свет на этот предмет.

Если бы Швейцария, свергнув иго своих вельмож, перестала быть воинственным народом, если бы каждый из ее жителей не был назначен защищать отечество как воин, то смею Вас уверить, что она

не сохранила бы свободу. Если бы волею случая она не смогла полагаться более на храбрость своих граждан или правители, попустительствуя их лености, вознамерились бы предпочесть наемников, то, несомненно, в сей счастливой стране вскоре исчезло бы беспристрастие законов и кротость правления, составляющие благоденствие Швейцарии. В демократических кантонах правители приобрели бы опасную власть, а во всех прочих аристократия становилась бы день ото дня все более жестокой. Невероятно, чтобы правители, чувствуя себя более могущественными, не обрели больше уверенности в собственных силах и не стали более предприимчивыми и менее ревностными к обязанностям. Отсюда не долог путь до нарушения законов и противоправного захвата власти. Испытав терпение народа, мало-помалу привыкнув совершать мелкие несправедливости, они отважились бы на все ради неограниченной власти, обеспечивающей им собственную безопасность.

Такова природа страстей человеческих, и у Вас не будет в том сомнений, если Вы вспомните о перемене, последовавшей за учреждением постоянных армий, ныне распространенных по всей Европе. Стоило сюзеренам позволить своим вассалам и подданным откупиться от военной службы — и они уже не чувствуют необходимость содержать, как в прежние времена, вооруженных людей, кои могли бы за себя постоять. Перестав быть воинами и предавшись заботам о домашних делах, граждане скоро заметили свою ошибку. Они поняли, что человек, если он не внушает страха, оказывается поработленным и лишенным средств отвратить несправедливость. Утомленные бесполезными жалобами на грабежи и насилия солдат, они, наконец, согласились безмолвствовать: ум потерял силу и распушенность стала проявлять себя с большей свободой.

Если имперские князья не пали под могуществом Австрийского дома, если Карл Пятый и его преемники во главе столь многочисленных армий не могли разрушить феодальное правление и предать забвению древние законы и обычаи, то лишь потому, что силе противопоставили силу, а солдатам — солдат. Без этого средства все установления, способствовавшие некогда сохранению германской свободы, были бы потеряны для Империи. Окажись князья безоружными, они не обрели бы ни союзников, ни покровителей, достаточно мужественных, чтобы защищать их. Тщетны были бы предостережения и призывы о помощи к судам, ибо законы склоняются перед силою, и народный дух научился бы отступать перед неизбежным. Сегодня отреклись бы от одной прерогативы, завтра от другой. Договоры и переговоры уже не могли бы служить основой права. В Мюнхене, Берлине, Брауншвейге и других местах восторжествовали бы новые принципы, и ныне правящие там государи были бы низведены до положения простых дворян, сохранив лишь пустое утешение в том, что они столь же прославленного происхождения, как и их повелитель.

После царствования Генриха VIII и его детей Англия никогда не

могла бы возвратиться к принципам Великой Хартии, если бы по возвышении Стюартов армия пребывала в теперешнем своем состоянии. Но, — говорит господин Юм, — Карл Первый, который гордился тем, что он Божьей милостью самодержавный монарх, имел для того, чтобы отстоять свои притязания, только шестьсот солдат дворцовой стражи¹⁸⁹. Когда умы при дворе и в столице ожесточились и когда народ заметил, что государь хотел силой защищать свои прерогативы, это не было ни для кого неожиданностью. Нация, оставаясь в пределах благоразумия, могла и не прибегать к бесполезным переговорам, поскольку для нее не составляло труда собрать армию против государя, который имел всего лишь шестьсот солдат. До тех пор пока англичане будут иметь под ружьем в мирное время восемнадцать или двадцать тысяч регулярного войска, им невозможно будет исправить те пороки, кои ставил я в упрек их правлению. Король, окруженный толпой потворствующих ему льстецов, помимо своей воли возымеет весьма высокое мнение о своем могуществе. Нечувствительно он запугивает умы. При виде столь великих сил государя приверженцы свободы, естественно, не столь отважны; даже не отдавая себе в том отчета, они чувствуют, что надобны уступки. Таким образом привыкли они к известной податливости, между тем как весьма естественно, чтобы новый Карл Первый решился на крайние меры и отважился на все ради умножения своей власти.

Пусть вспомнит Англия, какова была бы участь ее в царствование Якова II, если бы принц Оранский не высадился на британской земле с иноземными войсками, кои послужили средоточием и убежищем для всех недовольных. Не будь этого прикрытия, их мужество не осмелилось бы проявить себя перед армией короля, стоявшей в окрестностях Лондона, более того, после бесполезного возмущения оно скоро уступило бы место страху и переговорам. Если новое ополчение, которое англичане создали в только что закончившейся войне, находится в распоряжении двора, то не подвержена ли их свобода величайшим опасностям? Но, напротив, когда это ополчение подчиняется парламенту, когда оно обязано ему своим жалованием, почестями и отличиями, то народ будет свободен, ибо, имея всегда под рукой силы, равные силам короля, он вновь почувствует себя таким же, каким он был при восшествии на престол Стюартов. Да и государь не будет пользоваться своими силами иначе, как с благоразумием. Равновесие, которое ныне склоняется в сторону двора, будет прочнее установлено между государем и народом, а может статься, склонится в сторону свободы.

Правление в Швеции такое же, как в республиках, а воинство — как в монархиях. Почему среди народа, ревностного к своим правам, который вручает королю и Сенату одну только исполнительную власть, граждане не являются солдатами? Если государь и сенаторы умеют внушить к себе любовь и уважение войска, я опасюсь, как бы они вскоре не стали внушать страх гражданам. История, Ваша светлость,

должна была раскрыть перед Вами характер сих наемников, кои занимаются войной, как обычным ремеслом. Они вносят в гражданскую жизнь слепое повиновение, каковое необходимо в армии. Привыкшие к насильственным действиям и судящие о праве лишь по силе, они угнетают, если им это удастся, своих правителей, или, если они не преторианцы, не янычары, не стрельцы, то все равно они без угрызения совести служат орудием насилия.

Если я не ошибаюсь, Ваша светлость, высказанных мыслей достаточно, чтобы убедить: народ, которому дается право составлять законы, не надолго сохранит оное, если граждане нанимают воинов ради своей защиты и не почитают себя предназначенными к отражению врага с оружием в руках. Римская республика была непобедима потому, что граждане ее были воинами, и для того, чтобы добиться правительственных должностей, они должны были выказывать себя на войне. Именно потому, что в легионы допускались только те, кто стремился к славе и благоденствию отечества, смогла она установить тот суровый и искусный военный порядок, который был душой ее успехов и триумфов. Именно потому, что плебеи защищали свое отечество, они научились защищать, укреплять и сохранять свою свободу. Не учит ли нас история, что Греция тогда только начала клониться к упадку и испытывать на себе беспорядки анархии или тирании, когда богатые граждане, расслабленные роскошью и праздностью, стали делать различие между гражданскими и военными должностями, не носили более оружия и лишь оказывали содействие в покрытии военных расходов. Наконец, Ваша светлость, разве Речь Посполита не существует только благодаря военному гению своего дворянства? Пороки правления уже давно погубили бы ее, если бы храбрые граждане все как один с оружием в руках не защищали свободу.

Если нынешние европейские нравы не позволяют развивать воинственный характер народов, то, может быть, это следует приписать только тому, что большинство народов отнюдь не заинтересовано в защите отечества, которое не делает их счастливыми. Но во время переворота, целью коего была бы свобода и которой вызвал бы в умах новое движение и новые мысли, вероятно, можно было бы принудить граждан к тому, чтобы они смотрели на войну отнюдь не как на барщину, — лишь бы не были они развращены роскошью и тем духом торговли и биржевой игры, у которого в чести одно богатство; а законодатель, по безрасудству своему, не требовал бы от них мужества и великодушия, почитая деньги нервом войны и мира. В то время как шведы преобразовали свое правительство после смерти Карла XII я был уверен, что они могли умножить регулярные войска до числа, достаточного для гарнизонов в пограничных крепостях, и созвать в провинциях храброе и хорошо обученное военному строю народное ополчение. Тот, кто сомневается в этой истине, не знает всех возможностей, заложенных в свободе. Им не известно, что свершили некогда воинственные республики, а равно и то, что при воздаянии или при отличиях, мудро распре-

деляемых, нет ничего невозможного для людей, любящих свое отечество.

Как бы то ни было, если граждане не предназначены к тому, чтобы быть воинами, остерегайтесь унижить наемные войска: ни на что не годное воинство Вам дорого обойдется. Чем менее у Ваших солдат будет чести, тем легче употреблять их против граждан, и, конечно, они наведут страх на трусливых в деле защиты отечества обывателей. Приучите Ваши наемные войска к самому суровому и исправному военному порядку. Не уставайте внушать им мужество и неустрашимость, подчините их поведению совету, члены которого обладают краткой и переходящей властью. Ежегодно назначайте новых командующих ими генералов, чтобы у них не было времени приобрести опасное влияние.

Предпринимая самые осмотрительные меры против честолюбия наемников, напрягая все усилия, дабы воспрепятствовать правителям употреблять во зло вверенные им силы, законодатель ничего не сделает для общественной безопасности, если не примет в расчет необходимость устранить их от управления финансами. Распоряжаясь общественной казной, приобретут они тем более пагубную власть, что развратят граждан милостями, дарами и щедротами. Не надейтесь предупредить их обманы и обязать их верным отчетам о своих делах. Высшие чиновники найдут тайный способ обойти силу Ваших законов, единомышленники сделают их опасными, и, пользуясь некоторое время доверием целого народа, они дойдут до того, что, наконец, поработят его. Пусть все налоги и все, что платится за государственную службу, будет собрано и распределено самим народом. Он бережливее, благодеемства его никогда не развратят, и если хранители казны обманут его, это никогда не будет иметь столь опасных последствий, как обманы, совершаемые правителями.

Как бы ни был рачителен преобразователь какого-либо народа, как бы не устремлял он взоры к благополучию, предназначенному людям природой, сколько бы труда ни положил он ради утверждения нового образа правления, его мысли, его попечения и его труды – все пропадет, если не приложит он особое старание укоренить добрые нравы в своих гражданах: именно на этом основании должно быть воздвигаемо политическое здание.

Отнюдь не стану повторять здесь, Ваша светлость, что уже пространно излагал я в другом сочинении, где позволил себе дерзость вложить в уста одного из величайших мужей древности рассуждения о соотношении морали и политики. Я не стану повторять, что нет такой известной добродетели, которая не была бы полезна и необходима для благоденствия общества, что душевные качества определяют общественные нравы, что безрассудно ожидать благих правителей, пока граждане не обрели семейные добродетели, что добрые нравы часто заменяют собой законы, ибо они естественно влекут за собой любовь к порядку и справедливости, но законы, напротив, никогда не заменяют собой нравы, ибо без сей опоры они постоянно подвергаются нападкам и,

в конце концов, не соблюдаются и безнаказанно нарушаются. Вам известны, Ваша светлость, четыре главные добродетели – умеренность, трудолюбие, любовь к славе и почитание религии. Без пособия этих четырех добродетелей народ всегда будет тщетно прилагать усилия к тому, чтобы быть справедливым, благоразумным и мужественным, то есть счастливо утвердить свое благоденствие.

Каких только размышлений ни присовокупил бы я здесь о природе и характере законов, каковыми должен обладать государь, желающий осуществить в государстве своем подлинно полезное преобразование! Но этот предмет по своей обширности и важности заслуживает особого сочинения. Если силы позволят, то я осмелюсь, быть может, когда-нибудь предпринять такой опыт, чтобы дать пищу для Ваших размышлений. Ныне же я удовлетворюсь честью сказать Вам, что всякий закон более или менее мудр по мере того, в какой степени способен он к обузданию алчности и честолюбия граждан, высших чинов и правительства. Всякое установление, благоприятствующее одной из этих страстей, пагубно. Это правило справедливо повсеместно: нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах оно не допускает никаких исключений, что мне легко было доказать историей процветания и упадка всех древних и нынешних государств.

ГЛАВА V

Заключение

Истины, о которых Вы только что прочли, Ваша светлость, будут для Вас бесполезными, если Вы не сделаете оные, посредством размышлений, собственными Вашими истинами. Читая историков, особенно древних, ищите новые доказательства политических истин и Вы найдете их тысячи, ибо я привел далеко не все из них. К счастью, небо наделило Вас сердцем открытым и чувствительным, умом, жадным до знаний, и быстрым воображением: пусть не будут потеряны эти редкие и драгоценные дары природы ни для Вас, ни для других. Подумайте, Ваша светлость, что великая слава, если только Вы желаете ее, ожидает Вас в небольшой стране. Не обширные провинции производят на свет великого государя. Ах! Какой человек не покажется малым, повелевая великой империей? Ни несметные богатства, ни многочисленные войска не делают государя могущественным: сколь многие цари лишились своих стран, обладая этими мнимыми выгодами! Одной только мудростью законов государь может и должен снискать прозвание великого, и только сей мудростью утверждает он счастье свое. Действительно, мудрые законы суть бесценнейший дар для человечества: и Ликург, который был лишь законодателем небольшого города, почитается все еще величайшим из людей. Сравните Кира с этим мудрецом, и сколь один из них покажется Вам выше другого, когда

усмотрите Вы преемников первого из них, кои обрушиваются всеми силами Азии на добродетель, мужество и военный строй, дарованный Ликургом спартамцам!

Можете ли Вы себе представить без некоего внутреннего трепета, что Вы по праву рождения призваны стать законодателем для жителей Пармы и Пьяченцы, что их благоденствие или несчастье будут зависеть от Вашей воли, хотя, быть может, среди них есть сто человек, более Вас способных повелевать? Ныне пора приуготовить Вас к предназначенной Вам августейшей должности. Попытаетесь ли Вы самому себе предписать законы? Вы, должны быть, обладаете многими свойственными человечеству несовершенствами. Если Вы снисходительны к ним, если не стараетесь их победить, то они день ото дня будут набирать силу и, умножаясь, откроют, наконец, Вашу душу всем порокам, каковые льстецы стараются привить особам Вашего положения, чтобы управлять ими. Отвращение к труду есть самое большое препятствие для государя: оно всегда есть следствие невежества, а Вы между тем будете иметь нужду в обширных познаниях, дабы понять Ваши обязанности и быть справедливым. Возлюбите труд для того, чтобы не быть в тягость самому себе, равно как и во избежание скуки, напрасно побуждающей Вас искать удовольствий, кои толпой предстанут пред Вами. Если Вы не научитесь жертвовать ими ради полезных занятий, то наслаждения вскоре покажутся Вам ничтожными, а душа Ваша, пресыщенная, пустая, поблекшая и стесненная, станет ни к чему не способной.

Вы только что видели, Ваша светлость, как государь должен совершать благотворные преобразования, но прежде того чтобы достойно исполнить столь великое предназначение, ему нужно доверие подданных. Будьте уверены, что, несмотря на показное почтение и соблюдение этикета, они ни во что не будут ставить Ваши повеления, Ваше слово, Ваши обещания, если они не уважают Ваших личных достоинств или заподозрят, что мысли Ваши взяты у других и Вы руководствуетесь причудами, прихотями или посторонними внушениями, ни в чем не имея постоянства. Люди прощают ошибки государя, когда и он старается исправить их, но смогут ли простить его, если он перенимает недостатки окружающих? Возможно ли представить себе государя, который, нимало не смущаясь, повелевает своим подданным то, что сам не желает исполнить? Сможете ли Вы наказать гражданина, Вам подражающего и Вашим примером развращенного? Поставьте себя, Ваша светлость, на место послушного жителя Пармы. Разве не подумаете Вы тогда, что государь потешается над Вами, повелевая Вам быть добронравным, в то время как двор его являет собой рассадник роскоши, пышности, неги и праздности?

Чтобы те законы, которые Вы со временем предпишете, служили на благо, они должны быть беспристрастными. Привыкайте же отныне не думать о том, что все принадлежит Вам и что все сотворено для Вас одного. Не воображайте, что это уж такое великое счастье – всем жертвовать ради Ваших прихотей. В подданном, который почитает Вас, над-

лежит видеть брата и человека, коего надо любить. Он должен повиноваться Вам только потому, что Вы обязаны оказывать ему покровительство. Пусть эти мысли глубоко запечатлятся в Вашем сердце и Вашем уме и никогда не будут изглажены лезвием!

Я сказал, что Ваши законы должны быть беспристрастны, то есть во всех Ваших установлениях Вы должны стремиться к тому равенству, для которого природа и создала людей. Однако не думайте, Ваша светлость, что в настоящем положении вещей я побуждаю Вас смешать все сословия или снова поделить землю, дабы уравнивать состояния Ваших подданных. То, что законодатели могли сделать в более счастливые времена, стало ныне невозможным из-за нагромождения пороков и предрассудков. Я знаю, к чему ведет любовь к богатству, знаю, сколь могущественно тщеславие: нужно щадить страсти, нужно, так сказать, вступать с ними в переговоры, и политика, если она не безрассудна, никогда не восстановит их против себя ради того, чтобы исправить их. Я полагаю даже, что не будь привычки к униженному положению и смирению у большей части людей, влачащих жалкое существование в низких слоях общества, а вельмож и богатых людей можно было принудить ныне отказаться от безумных притязаний своего корыстолюбия и тщеславия, то, быть может, о черни мы теперь бы и не говорили.

Равенство, к которому все-таки можно стремиться и которое непременно должно быть достигнуто, состоит в том, чтобы не было в обществе ни преимущества по рождению, ни по титулу, ни в силу исключительного права, освобождающего от обязанностей гражданина, и чтобы достоинство гражданина нерушимо было почитаемо в последнем человеке государства. Поскольку мы не умеем быть братьями и сообразовываться с предначертаниями природы, то должно учредить классы граждан, один привилегированнее других, но пусть ни один человек не будет притеснен и унижен в своем положении, разве что злодей да будет осужден законами влачить жизнь в презрении. Несмотря на отличия разных сословий, они будут равны между собой настолько, насколько не будут презирать и взаимно притеснять друг друга, если, конечно, закон принял разумные предосторожности ради того, чтобы уравновесить их власть и сделать неприкосновенными и священными особые права каждого из них. Третье сословие будет почитать вельмож, не будучи унижено их отличиями, если вельможи в свою очередь будут обязаны уважать в мещанах и крестьянах человеческие права и достоинства свободных граждан, спешествующих составлению законов, которым они должны повиноваться. Не дай Бог, Ваша светлость, чтобы под предлогом величайшего блага, то есть имущественного равенства, я побуждал Вас поднять дерзновенную руку на собственность Ваших подданных! Но, если невозможно ныне стремиться к спартанскому равенству, если невозможно равенство в имуществе каждого гражданина, то, по крайней мере, незатруднительно изгнать нищету и роскошь. Легко установить такой порядок вещей, чтобы труд доставлял каждому достойное содержание, и чтобы трудолюбивый отец ни

при каких обстоятельствах не был осужден на голодную смерть вместе со своей семьей. Если бы государь захотел положить предел своим желаниям и явить пример умеренности, тогда нетрудно было бы сделать так, чтобы пропитание народа не пожиралось фаворитами, льстецами и откупщиками. Без труда можно составить законы против роскоши, которые преуменьшат наше корыстолюбие, сделав богатство менее вожделенным. Ничто не мешает также предписать новые земельные законы, препятствующие алчному поглощению владений и способствующие мало-помалу исчезновению этих полных всяческого соблазна колоссальных богатств, кои суть лишь средоточие несправедливости, притеснений, тирании и рабства, развращающего даже тех, кто им не пользуется. Словом, употребляя выражение Цицерона, хотя бы мы находились средь Ромулова отребья, политика еще обладает действенными средствами внушить людям, что есть нечто драгоценнее золота и серебра¹⁹⁰.

Если Вы вспомните основополагающие правила, почерпнутые в древней и новой истории и изложенные мною на всем протяжении этого сочинения, Вы, Ваша светлость, без труда составите себе представление о том, что благополучие, к которому европейские народы пока еще только стремятся, обретается лишь в тех странах, где законы обладают полной силой и где правители понимают необходимость быть их орудиями и исполнителями. Какую бы ревность к общему благу я в Вас ни предполагал, как бы ни решились Вы пожертвовать ему устремления Ваших страстей, сколь бы необширны ни были Ваши владения, если вы пожелаете быть единственным и верховным законодателем, будьте уверены, Вы впадете в самообман и не выдержите возложенного на Вас бремени. Нечувствительно лесть представит Вам все в ином свете, ваши страсти обманут Ваши истинные интересы, и Вы будете издали взирать на свой народ и видеть близ себя одних придворных.

Но я хотел бы, чтобы некое величайшее из чудес освободило Вас от всех человеческих слабостей и заблуждений. Между тем, если Вы, по крайнему малодушию своему, пожелаете быть всемогущим и, вопреки справедливости, подчинить своей воле людей, коим природой суждено, как и Вам, быть свободными, то я хочу, чтобы Вы, явив собою единственное исключение из правил, были поистине образцом для государей и сделали бы счастливыми Ваших подданных. Что скажут о Вашем правлении? Принц Пармский принес в одно мгновение благополучие жителям Пармы, был справедлив и человеколюбив, но, к несчастью, поскольку его познания не были равны его добродетелям, он не сумел утвердить благоденствие своего отечества, ибо не смог придать законам ту великолепную раз навсегда установленную форму, которая сохраняет оные, внушая к ним любовь и уважение. В самом деле, Ваша светлость, если благоразумно с Вашей стороны не доверять своим добродетелям и талантам, то Вам следует приуготовлять себя к тому, что Ваши преемники окажутся недостойными Вас, ибо достоинство отнюдь не передается по наследству, как титулы и земельные владения. Итак,

в чем же состоит Ваш долг? Поставте себя и своих преемников в необходимость повиноваться законам, предохранять их от злоупотреблений, сопровождающих самоуправную власть, дабы подданные Ваши не имели пороков рабского повиновения. Истина может подать Вам только один совет: соберите, Ваша светлость, сословия Вашего государства, но, дабы сделать их полезными, прилагайте к тому те же усилия, каковые другие государи употребляли, чтобы унижить, расстроить и разрушить верховные собрания, известные под названием Сеймов или Генеральных Штатов.

Я отнюдь не буду пространен, рассуждая о той власти, которой должны Вы пользоваться сами, о той, каковую надо оставить народу. Вторая часть этого сочинения, где мною показаны пороки и неудобства многих правлений, достаточна для изъяснения Вам обязанностей Ваших. Каково должно быть устройство Сеймов? Каким правилам должны они следовать, совещааясь о делах? С какой последовательностью, с какой предосторожностью следует обсуждать и обнародовать законы? Вот, Ваша светлость, весьма важные вопросы, и прошу Вас принять на себя труд разрешать их. Обратите особое внимание на то, что люди, естественно склонные к излишней строгости или к чрезмерной снисходительности, никогда не умеют держаться той золотой середины, где обретается истина. Чтобы избежать анархии, остерегайтесь стеснять свободу. Предоставляйте судить о делах различным сторонам, чтобы можно было принять в соображение их мнения до того, как будет вынесено решение. Наконец, остерегайтесь внезапной пристрастности, коей подвержены порой большие собрания, и которая может только способствовать принятию неправых законов.

Если народ не свободен в выборе своих представителей, то он не будет питать к ним доверия, и они не принесут ощутимого блага. Препятствуйте скрытой порче, подтачивающей основания здания, воздвигнутого Вами. Главное – не предписывать суровые законы, но устраивать дела таким образом, чтобы никто не усматривал выгоды в продаже своего голоса и своей свободы. Отделите с тщанием власть законодательную от исполнительной, дабы вместо того, чтобы наносить вред и чинить препятствия друг другу, они пользовались взаимной помощью. Если Вы хотите стать великим мужем, забудьте, что Вы государь. На место ложных правил, которые лезть делает достоянием придворного общества, поставте принципы, предписываемые Вам разумом. Государи суть правители, а не повелители народов. Вот чему учит философия, но эта истина ускользнула от деспотических императоров.

Вы ничего не потеряете, Ваша светлость, если будете держать себя в пределах ограниченной власти. Те же государи, кои желают быть всем в своих владениях, сколько бы ни пытались, остаются всего-навсего орудиями фаворитов: кто хочет сделать все, неизбежно не сделает ничего. Вас будут осыпать знаками почтения и уважения. Любовь подданных дарует Вам больше власти, которой Вам не захотелось бы лишиться. Вы утвердите благоденствие Ваших преемников. Тацит ска-

зал: слишком пространная власть всегда неустойчива. Великая слава будет Вашей наградой, и все соседние народы будут завидовать счастью Ваших подданных. Если бы Фердинанд Пармский, – скажут они, – если бы этот новый Теопомп, этот новый Карл Великий был нашим королем, если бы милосердное небо даровало нам такое благоденствие, мы были бы счастливы и почитали бы наше благополучие наследством для наших детей. Вы будете утешаться, взирая на благоденствие будущих поколений, как на дело Ваших рук.

Имейте, Ваша светлость, мужество, твердость и терпение царя Петра. Старайтесь, подобно ему, явить к жизни новый народ, но познайте лучше него обязанности Ваши, права рода человеческого и ту политику, которая составляет счастье граждан, благосостояние монархов и истинную славу государств. Не довольствуйтесь избавлением Ваших подданных от свойственных им пороков, чтобы привить им другие, в равной степени опасные. Делайте то, чего не сделал Петр: обширностью Ваших намерений и величием Вашей души обнимите будущее и царствуйте многие лета над пармским народом. Мне же более чем достанет и того счастья, если когда-нибудь скажут, что я был Вашим Лефортом.

Конец

О ТОМ, КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ

БЕСЕДА ПЕРВАЯ

*О различных видах истории.
О студиях, коими следует приуговлять себя
к изложению оной.
Об истории общей и всемирной*

Вот еще одна беседа, любезный Клеант, не пугайтесь. Обещаю вам, здесь не будет ни единого слова касательно войны нашей с англичанами, ни о чьих-либо делах и выгодах: будь то те же англичане, мы сами, либо испанцы или инсургенты¹. Вам и так уже изрядно наскучили глубокомысленные рассказы о какой-нибудь стычке фрегата с корсаром, употребляемой чуть не битве при Акциуме², и я не осмеливаюсь ради таких пустяков нарушать покой вашего уединения. Предавайтесь размышлениям, я не посягну на них, пока замышляются и вызревают будущие наши триумфы. Но когда силы наши, вкупе с испанцами, одержав победу, обеспечат нам безраздельное превосходство на морях и принудят надменных англичан признать наше могущество и не почитать себя выше инсурентов, я уж ни в чем не обязуюсь перед вами: придется вам терпеливо сносить излияния моих рассуждений. Какие законы продиктуем мы униженной Англии? Разве истинные наши выгоды не велят нам следовать великодушной умеренности? А пока, взяв в соображение переменчивость фортуны и не предвосхищая собственных своих рассуждений касательно того события, каковое произведет истинную перемену в обоих полушариях, я занимаю себя одной только литературой.

Спустя несколько дней после того, как вы покинули нас, прогуливаясь в одиночестве по аллее, столь дорогой мне по воспоминаниям о наших с вами беседах, я увидел Сидамона и Теодона, идущих ко мне навстречу. Мы встретили вас весьма кстати, — сказал мне первый из них, и после обычных любезностей присовокупил: Если вы согласитесь помочь мне, надеюсь, удастся нам излечить Теодона от лени или, если угодно, от той свойственной ему переменчивости, которая побуждает его пробовать себя в самых различных родах литературы, отчего и не может он найти подлинное применение своим талантам. Я говорю ему не шутя, что слишком долго пребывает во младых летах, и в тридцать лет уже следует целиком посвятить себя какой-нибудь одной науке, вместо того чтобы во всем пробовать силы в угоду непостоянству сво-

его ума. Тот, кто занимается всем понемногу, в конце концов рискует не знать ничего, если не положит себе более тесные пределы. Ум, который делит себя между различными занятиями, нечувствительно привыкает отступать перед трудностями и лишь скользит по поверхности явлений, кои быстро его утомляют, и, в конце концов, становится он неспособным к тем глубоким размышлениям, которые необходимы величайшим талантам, дабы не исчерпали они себя. Оставаться всю жизнь остроумцем, который болтает о пустяках – какая печальная участь! Ведь недаром говорят – за веснными цветами должны последовать и плоды осени. Мне удалось поколебать его в мыслях об этом предмете – добавил Сидамон, – и я советую ему приняться за историю, не жалея великих трудов, и если угодно будет вам помочь мне, не сомневаюсь, он не останется глух к вашим увещаниям.

Может быть, – отвечал скромно Теодон, – то самое легкомыслие, за которое порицает меня Сидамон, доказывает, что у меня ни к чему нет настоящего таланта. Я, правда, получал немалое удовольствие от различных родов сочинительства, поэзии, элоквенции, истории, посвящая каждому из сих предметов по несколько часов в день. Я много читал, у меня даже являлось желание взяться за перо, но я потерпел неудачу, и, признаюсь вам, ни разу не почувствовал в себе той тайной силы, что невольно завладевает нами, если природа наделила нас истинными талантами. Разве не должен был я заключить из этого, что мне лучше удовлетворять жажду познания в другом, не стремясь к чести обрести читателей, просвещать их или забавлять? Но раз Сидамон того желает, я сделаю над собой усилие, и ныне уже чувствую в себе решимость приступить, раз уж это находят нужным, к сочинению какого-либо важного исторического труда, если при этом вы дадите мне честное слово самым строгим образом отнестись к первым тетрадям моего опыта и вывести из заблуждения мое самолюбие, не допустив, чтобы я умножил собою число тех историков, которые, как говорил Ювенал, испиывают том за томом, оставаясь всего лишь жалкими компиляторами³. Но где искать мне своих героев? Где тот злосчастный народ, историю коего я, быть может, обречен кропать путанно и беспорочно? Я охотно бы взялся за древнюю эпоху. У людей древности внешность исполнена такого благородства и величия, каковые не найти у современных народов, но о древней истории судили столь великие умы, что было бы безрассудным легкомыслием вновь касаться тех же предметов. Не буду ли я прав, если предположу, что вы ответите мне пожеланием непременно писать так, чтобы поступки выдающихся личностей не казались принужденными или, во всяком случае, попытаться придать выразительность их образам? Буду ли я счастливее тех художников, которые только что выставили в Лувре Гектора и Попилия?⁴ Может быть, мне все же следовало обратиться к новой истории, которая, представляя нам людей, весьма во многом уступающих грекам и римлянам, не требует, чтобы писатель непременно обладал мужественным, смелым, мощным слогом, каковой необходим

был Фукидиду и Титу Ливию. Не посоветуете ли вы ограничиться каким-нибудь памятным событием или одним царствованием? Я попытаюсь превозмочь скуку наших хроник и, если нужно, углублюсь в пыльные манускрипты. Я буду искать истину и среди скрывающего ее мрака. Выносите свое решение, и ваши советы будут для меня законом.

Любезный Теодон, — отвечал я, — вы приводите меня в великое смущение. Нет ничего легче, чем давать общие советы, но решиться избрать предмет среди всех прочих — в этом как раз и состоит трудность. К тому же Сидамону, которому непременно хочется сделать из вас историка, и самому-то так сразу не сказать, какую именно историю он ждет от вас. Вы просите, чтобы дал я честное слово указывать на недостатки со всей строгостью. Даю вам в том обещание, и теперь же, дабы оценили вы мою откровенность, объявляю Вам, что, невзирая на ум ваш, коим я восхищаюсь, мне все еще непонятно, к чему вы питаете склонность. Историком рождаются, как рождаются поэтом, оратором etc. Если книги великих историков никогда не вызывали у вас волнение от пробуждающегося духа соперничества, если описания Тита Ливия, Саллюстия и Тацита не пробудили в вас своего рода чувства восторга, я прошу Сидамона простить меня, но все же посоветую вам не бросаться в занятия историей, ибо, несмотря на ваш изящный и увлекающий слог, вы будете неспособны вдохнуть в нее душу, каковая делает ее в равной степени и полезным и занимательным чтением.

Если же предположить, что вы поистине рождены историком, то никто лучше вас самих не сможет судить об истории, к написанию коей вы намереваетесь приступить. Вспомните, какие мысли тронули вас более всего при чтении наших великих образцов. К примеру, если вы, естественно и в какой-то мере инстинктивно, обращаясь к Титу Ливию, останавливали свое внимание на тех особых чертах, кои послужили к раскрытию и складыванию римского гения, если законы обладают для вас притягательной силой, если перевороты, произошедшие в эпоху Республики, натолкнули вас на размышления, не сомневайтесь более — вы можете братья за общую историю. А если же войны римлян поражают ваше воображение, их военная дисциплина и подвиги консулов, то постарайтесь в таковом случае ограничить себя написанием истории какой-нибудь достопамятной войны, которая переменяла судьбу государств. Если же вас привлекает то, что касается нравов, если вы любите размышлять о страстях, пороках, добродетелях знаменитых мужей, воинские подвиги или гражданские заслуги коих столь превознесены, ступайте по следам Плутарха и пытайтесь просветить нас, сделать нас лучше, изобразив людей, чьи таланты сделали честь роду человеческому и чья жизнь должна быть для нас вечным поучением.

Существуют разные роды исторических сочинений, кои требуют различных познаний и талантов. Познайте свои силы — говорили Гораций и Депрео молодым поэтам, — дабы не отяготить себя ношей, под которой вы будете изнемогать⁵. Сие наставление касается всех писателей,

и следует поэтому остерегаться, как бы не возомнить слишком много о том сочинении, за которое хотели бы приняться. Обращайтесь всегда только к вашим талантам, но помните, что самолюбие преувеличивает их в наших глазах. Сколь смешными явились бы Анакреон и Катул, если бы по безрассудному тщеславию пренебрегли приятными пустяками, кои забавляли их и покрыли славой, и взялись бы за флейту Калиопы или кинжал Мельпомены⁶. То же и об историках. Разве в стольких познаниях и талантах, коими обладал Тит Ливий, равно нуждались и Саллюстий, и Тацит? Тит Ливий являл нашим глазам бесконечную вереницу картин, характеры коих требовали самых различных красок и оттенков. Следуя за римлянами в их завоеваниях и переворотах, он должен был раскрывать причины и связи оных. Чтобы привязать к себе читателя, надо было живописать все страсти, все добродетели и пороки, которые сотворили и разрушили величие римлян. Вы чувствуете, любезный Теодон, что этот разносторонний всеобъемлющий гений не был необходим Саллюстию, дабы во всех подробностях изобразить заговор Катилины и Югуртинскую войну⁷. То же можно сказать и о Таците, который, превосходно описывая мрачные страсти Тиберия, скудоумие Клавдия, злодейство Нерона, интриги влиятельных вольноотпущенников, низость Сената, уступавшего из страха или унижавшегося до мелких происков, не мог раскрыть превратности судьбы Рима, так как, казалось, не предвидел его крушения, которое подготовлено и предвозвещено было деспотизмом преемников Августа. Более определенно скажу вам о Плутархе, являвшем собой замечательный образец в том, что касается жизнеописания великих людей. Он всегда рисует нам одновременно и человека, и героя. Плутарх ставит его перед нашими глазами, открывает нам его душу и все причины, побуждающие к действию, и воспламеняет в наших сердцах любовь к чести и красоте. Однако сей историк, с коим, быть может, не сравнится никто и никогда, наверное не был бы в силах написать общую историю Греции. Он отнюдь не всегда способен с равной проницательностью разобратся в тех страстях, которые обуревают все сословия и которые с едва уловимой изменчивостью приводят общество в движение. По всей видимости, без определенных принципов естественного права и политики он не мог бы изобразить, так же превосходно как Фукидид, Пелопоннесскую войну или что-либо другое подобное в этом роде.

Но я умолкаю, любезный Теодон, и прежде чем говорить с вами о разных родах исторического сочинительства, требующих несходных между собой дарований и подчиненных разным законам, позвольте мне спросить вас, предпринимали ли вы то, что я назвал бы приуготовительными занятиями, мимо которых ни один историк не может пройти? Приходилось ли вам изучать естественное право? Если вы не знаете происхождения публичной власти, прав человека – гражданина и магистрата – если не имеете представления о правах и обязанностях одних наций по отношению к другим, как, спрашиваю я, можете вы судить о справедливости или несправедливости тех деяний, о которых

вам придется рассказывать? Если речь пойдет о какой-нибудь домашней ссоре между монархом и его подданными, то неужели ваше суждение будет основано на обычных свойственных людям предрассудках, неужели истиной для вас послужит укorenившееся ложное мнение? И тогда вместе с преподобным д'Орлеаном вы скажете нам, что если говорить о могуществе английских королей, то никакое другое не было изначально более неограниченным и самодержавным, так как зиждилось на праве завоевания. От сей возведенной в принцип первой глупости на всю историю распространится ложное, нелепое, опасное учение, и просвещенные люди отвернутся от вас, сочтя либо лыстцом, либо невеждой. Вы введете в заблуждение других, и история, которую Цицерон называет *Magistra vitae*⁸ и которая должна учить нас избегать ошибок, тем вернее приведет нас к оным. И от вас произойдет тогда великий вред для людей малосведущих, то есть почти для всего света, ибо вы напишете увлекательно и рассеете здесь и там по всей вашей истории общие места всем известной и привычной морали; я говорю всем известной и привычной, поскольку без естественного права невозможно подняться до того, чтобы познать права человека – гражданина и магистрата – а также великие добродетели, коих даже имена нам едва известны и на которые мы взираем почти как на химеры. Воистину, любезный Теодон, не стоит труда писать историю только для того, чтобы приготовить из нее яд, подобно Страде, который, пожертвовав достоинством Нидерландов ради пользы испанского двора, призывает подданных к восприятию рабства и таким образом укorenяет процветающий деспотизм⁹. Если верить сему историку, то Филипп у II позволено было попирать все древние законы, трактаты, договоры своих подданных, поскольку он принял корону от самого Бога. Опасный сей казуист требует, чтобы Нидерланды терпеливо сносили уничтожение своих привилегий и жесточайшее угнетение, и все ради того, чтобы не быть обвиненным в кощунственном неповиновении.

Не знаю, – продолжал я, – может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что именно этому незнанию естественного права или малодушию, с которым большинство современных историков поступает из лести своей совестью, мы должны приписывать вызывающее безвкусице их трудов. Почему Гроций столь превосходит их? Да по той именно причине, что, серьезно размышляя о правах и обязанностях общества, я узнаю в нем возвышенность и силу древних. Я буквально проглатываю его историю Нидерландской войны¹⁰, а Страда, который как рассказчик, может быть, и талантливее, просто выпадает из рук моих. Я могу дать вам другой пример важности того знания, о котором идет речь, это Бьюкенен. Стоит прочесть его учное сочинение *De jure regis apud Scotos*, о верховой власти в Шотландии, и не вызовет удивления то, что писатель, который предвосхитил мысли Локка¹¹, написал историю, проникнутую духом благородства, великодушия и возвышенности, ка-

ковые с лихвой возмещают отсутствие порядка и связи, в чем могут его упрекнуть¹².

К изучению естественного права надлежит присовокупить и политику. Но, заметьте, прошу Вас, что существует два рода политики. Одна основана на законах, установленных самой природой ради счастья людей, к чему она сделала их восприимчивыми. Эти законы, как и она сама, неизменны, и мир достиг бы блаженства, если бы следовал им. Другая политика – плод страстей, которые ввели в заблуждение наш разум и приносят лишь мимолетные и подвластные пагубным превращениям преимущества. Надо изучать прежде всего первую из них; она послужит мерилom того, какие народы в большей или меньшей степени были отдалены от тех целей, каковые им надлежало полагать себе: но раскрытие этого будет происходить лишь по мере проникновения в движения сердца человеческого и того, как действуют на наш разум и сердце окружающие предметы. Для тех, кто надеется быстро преуспеть на этом поприще, не обращаясь за помощью к философам прошлого, путь познания слишком долг и труден. Именно из их сочинений мы узнаем, каково то счастье, к которому мы должны стремиться, и какими средствами мудрейшие законодатели хотели утвердить его в своих государствах. Тогда придется, – прерывает меня Теодон, – все-речь заниматься сумасбродством Платона, Томаса Мора и Бог весть скольких еще других мечтателей, только и говорящих, что об одной политике, которая никогда, быть может, и не существовала, но которая, конечно же, не пригодится никому из историков, ибо древнейшие памятники истории являют нашим взорам уже погрязшие в испорченности общества, к каковой истории вся эта прекрасная философия не может быть приложима, и, следовательно, тут не извлечешь никакой для себя пользы.

Нужды нет, – возразил я холодно, – я не уступлю ни в чем и не только требую, чтобы историк знал то, что вы называете мечтаниями, но и обязую его основательно обдумывать, дабы они явились ему как неопровержимые истины. Согласен, господство страстей, быть может, так же старо, как мир, и, разумеется, пребудет до скончания света, однако же и вы не можете отрицать, что общества, которые претерпевали вследствие этого смуты, беспорядки и потрясения, не заботились о том, чтобы утвердить спокойствие, согласие и мир. Отсюда и произошли все страдания, войны, соперничества, раздоры, все законы, все смеявшиеся друг друга роды правления. Отсюда крушения царств и возвышение на их развалинах новых государств, кои, в свою очередь, ожидала все та же судьба. Вот картина, которую историки должны явить нашему взору, но не ради пустого любопытства, а для того, чтобы помочь нашей неопытности и вселить в нас осмотрительность, научить удаляться от подобных несчастий и дать нам компас в бушующем бескрайнем море. Итак, я спрашиваю вас, любезный Теодон, каким образом историк сможет исполнить сей первейший долг, если ему незнакомо

то, что Лукиан в своей книге "О том, как писать историю" называет наукой или искусством правления?¹³ Если я не поднимусь до первоначальных целей природы, то невольно сочту непостоянство, предубеждения и заблуждения страстей за незыблемые и спасительные принципы, и неужели, подражая тем магистратам и законодателям, кои ввели людей в заблуждение, я постигну ту политическую науку, каковую Лукиан желает обрести в историке?

Если, изучая природу человека, я не возвышаюсь до источника нашего счастья или наших бед, если я не распознаю свойства, отличающие каждую из наших добродетелей и каждый из пороков, если я не раскрываю в моих размышлениях чудесную побудительную силу, которая помогает добродетелям нашим привести к соглашению интересы всех граждан, развивать их таланты и умножать силы общества, то, заблуждаясь сам, непременно введу в заблуждение и своих читателей. Я искренне буду восхищаться министрами и магистратами, преуспевавшими в распространении господства страстей, и не замечавшими при этом пропасти, которую сами себе рыли; я буду уважать их заблуждения; как и они, я надену на порок пленительную маску, и наверно, после этого не стоило труда браться за перо.

По тому, как вы смотрите, любезный Теодон, примечаю я, что хотите возразить мне, догадываюсь почему и отвечаю. Древние законодатели, мудрость коих нас больше всего восхищает, не могли в те времена, более счастливые, нежели наши, обратить своих сограждан к той политике, о которой я говорю; какая же польза нам от нее сегодня? Признаю, что видевшие соперничество, ненависть, междоусобие, порожденные в государствах дурными законами и скверными нравами, эти великие люди были вынуждены, так сказать, уступить стремительному потоку, который их увлекал за собой, с тем чтобы уничтожить некоторые проявления зла и положить начало добру. В этом смысле я хвалю Ликурга за то, что оставил он некоторые пороки спартанцам, поскольку ему все равно не удалось бы сделать из них людей, исполненных совершенств. Вы спросите меня, кому же, по вашему мнению, историк должен проповедовать вашу политику, которая может показаться сущим вздором, и почему бы по примеру умнейших законодателей не уступить увлекающему его потоку? – Почему? – Да потому, отвечу я, – если умы не подготовлены к какому-либо закону, он вызывает в них отвращение, и умный уступает нашим слабостям с тем, чтобы нас исправлять, и не должно ему вести себя подобно тирану. Историк же, напротив, всегда должен с полным основанием обличать наши предрассудки, заблуждения и пороки. Никогда его философия не станет причиной смуты или беспорядка: глупцы ее не заметят, люди развращенного ума ее освищут, но мало-помалу она будет усвоена рассудительными людьми как истина, и донесет она до них понятие о наших нуждах и заставит нас, если это еще возможно, прибегнуть к необходимой помощи.

Коль скоро историк получит представление об этой подлинной по-

литике, тем самым получит он для себя путеводную нить, которая не даст ему сбиться с пути. Не опасаясь ошибиться, будет он судить об участии государства, рассчитывая и отмеривая, на сколько они приблизились или удалились от идеала, предначертанного природой. Его отнюдь не введут в заблуждение процветание или невзгоды, как вводят большую часть наших историков, которые, не зная, что составляет величие, силу или слабость государств, удивляются их благоденствию, когда на самом деле видят перед собой одни развалины.

С другой стороны, посмотрите на Саллюстия. Несомненно, это был весьма бесчестный человек, ради насыщения своих прихотей извлекавший выгоду из всех пороков¹⁴, которые разъедали римлян, но, возвысившись познаниями своего гения над самим собой, он не почитал роскошь, богатства, сладострастие и обширные пространства провинций Республики за приметы и доказательства ее процветания. Он видит Рим, колеблющийся под тяжестью богатств, готовый продать себя первому встречному¹⁵. Преподобный Рапен упрекает Саллюстия за то, что тот всегда недоволен правлением и своими рассуждениями о той роскоши, в коей оно утопало, дает превратное понятие о Республике¹⁶. Из сего упрека я заключаю, что сей критик, полагающий, будто иногда следует замалчивать правду, невзирая на все свои таланты, был бы историком не лучше Страды, д'Орлеана¹⁷, Даниэля¹⁸ и прочих его собратьев. В добрый час! Пусть себе преподобный Рапен требует фактов, не желая знать их причин. Что до меня, то я предпочитаю историю, которая меня просвещает, развивает мой ум, учит судить о том, что произошло на моих глазах и на примере других народов предугадывать судьбу своей страны.

Но если бы Тит Ливий знал ту политику, о которой я говорю, то уж конечно не упустил бы, дабы показаться более интересным, заставить читателя трепетать при рассказе о первых столкновениях патрициев и народа, когда каждое мгновение могла разгореться междоусобица. Именно в таковом случае одерживает верх красноречие посредственного историка, и читатель оказывается под бременем заблуждений и предрассудков. Когда же, напротив, он показывает мне, что свобода есть плод этих распрей, что свобода порождает равенство, и что без этого равенства тысячи граждан, которые были честью и украшением Рима, превратились бы в презренных рабов, мне становится понятным, на каких основаниях зиждется римское величие. С легкостью обретаю я познания, полезные для гражданина, и невольно сравниваю различные роды правления. Коль скоро мне доказали, что свобода и равенство возвышают душу и приближают нас к замыслам природы, то я должен признать, что правительство, которое изгоняет их, тем самым удаляет нас от этих замыслов и что оно будет снисходительно лишь к ложным добродетелям, предаваясь безрассудству до такой степени, что станет притеснять таланты, в коих само нуждается больше всего.

Отнеситесь к историку, любезный мой Теодон, с должной возвышенностью, ибо принадлежит ему некая власть, и желать, чтобы он спле-

тал всего лишь нить фактов, излагая их с приятностью ради нашего развлечения, означает для него унижение и низведение до ничтожного газетного писаки и пошлого остроумца. Но, поскольку страсти опрокинули все препятствия, которые воздвигли на их пути мудрейшие законодатели, ибо сами стали предписывать законы развращенным обществам, то есть управлять миром, следует иметь представление о коварстве, хитросплетениях и, если я могу так выразиться, о политике, благодаря которой они утверждают свой деспотизм. Если историк не употребит старание к познанию сей политики, то он неизбежно предастся, как то свойственно простому народу, бессмысленным упованиям, страхам и пустым радостям. Не имея представления о том, что следует не доверять посулам страстей, он окажется их жертвой. Он одобрит законы и установления, которые принесут преходящее благо, не догадываясь, что они породят вереницу бедствий, и сочинения его, которые должны учить истине, послужат лишь умножению и укоренению заблуждений.

Вы пугаете меня, — возразил Теодон, — говоря о всех этих предварительных штудиях, ведь жизни человеческой едва хватит на них. Но предположим, эти знания приобретены, разве не принесут они вред историку? Вопреки его воле самолюбие направит обладателя стольких богатств на путь расточительства. Как не поддаться искушению вставить в сочинение свое рассуждения о естественном праве и политике? К чему это приведет? Ведь повествование, требующее быстроты, будет развиваться медленно. Достоинства философа повредят историку. Они наведут скуку, сочинение мое выпадет из рук, и оттого, что хочу я быть слишком ученым, мне не удастся никого просветить.

Вы правы, — отвечал я, — либо ваш лишенный вкуса историк — педант, выставляющий на показ свои знания, и не способный пожертвовать хоть одной своей мыслью, или же один из тех расплодившихся философов, которые по любому поводу пускаются в рассуждения о прописных истинах. Но дайте мне Фукидида, Ксенофонта, Тита Ливия, Саллюстия, Тацита, которые понимали человеческое сердце, природу страстей, и чей гений не позволял злоупотреблять этими познаниями. Я хочу, чтобы историк мог написать трактат о нравственности, политике и естественном праве, но я не желаю, чтобы он это делал: пусть довольствуется тем, что даст умному читателю материал об этих отраслях познания. Пока у нас не идет речь о том, чтобы исследовать, с каким благоразумием, умеренностью и искусством должен историк пользоваться своей философией, дабы, желая просветить читателя, не наскучить ему. Мы коснемся сего впоследствии, если вы того пожелаете, но позвольте продолжить наш разговор о предварительных знаниях, в которых нуждается историк, если хочет сделать свой труд полезным.

Чтобы познать упомянутую политику, берущую в расчет страсти человеческие, нужно изучать их игру, их течение, развитие и характер, свойственный каждой из них, и как они, соединяясь, взаимно пользуются друг другом, как одни страсти порабащают другие, истощая

при этом самих себя, как они порой исчезают лишь для того, чтобы возродиться с новой силой. Именно после такого исследования становится очевидным, что настоящее несет в себе будущее, и в самом поверхностном заблуждении обнаруживается скрытый источник самых губительных смут. Историк, каким я себе представляю его, непременно должен привлекать просвещенные умы. Он не займет читателей пустыми и безвкусными рассуждениями, кои обнаруживают в нем человека, скользящего по поверхности явлений и поражающегося событиями, которые не могли не случиться. Приведу в качестве примера первое, что приходит не ум, хотя, может быть, и не самое нелепое: что сказали бы вы об историке, который по простоте душевной замечает с удивлением: *христиане предавались мщению даже после триумфа при Константине, каковой должен был исполнить их духом миролюбия?*¹⁹ "О! Восхитительное знание сердца человеческого!", – воскликнул Теодон, разражаясь смехом. – Историк ваш, стало быть не знал общеизвестного, а именно, что процветание расширяет и умножает наши надежды. Неужели он хотел, чтобы христиане, не терзаемые воспоминаниями и без всякого злопамятного чувства, забыли в одно мгновение все то зло, которое они претерпели? Этот дальновидный и благоразумный человек мог посоветовать им отомстить за себя в то время, когда идолопоклонство было еще на вершине могущества и следовало опасаться язычества, стремиться обратить его путем просвещения не раздражать его, дабы показать себя достойным терпимого отношения.

Мы никогда бы не кончили, – возразил я, – если бы пустились в рассуждения о несуразности и ребячестве этой мысли, но вот нечто еще более восхитительное. Тот же историк соглашается, что *сластолюбие при дворе Льва X могло неприятно поразить взор, и тут же присовокупляет: но нельзя было не видеть и того, что этот же самый двор приобщал к культуре Европу и делал людей более общительными*²⁰. Вот уж не слышал я, чтобы общество совершенствовалось с помощью порока, а не добродетели. Но в этом историке, патриархе наших философов, которого нам представляют как самого могучего гения нации, еще больше удивляет то, что этот человек, да простят мне такое выражение, не видит дальше своего носа. Разве так уж трудно было понять, насколько непристойные развлечения Льва X должны были унижать его двор, его клир и возмущать весь христианский мир? Что сей позор укоренил презрение к римскому престолу и к самому папе? Отсюда искушение подвергнуть обстоятельному исследованию христианское вероучение и сравнить его с таковым же первых веков христианства. Было от чего взбудоражиться мятежным головам. Разве не будет неизбежным следствием сего перемена во взглядах? Отсюда – богословские споры, оскорбления, ереси, преследования, соперничество, коими корысть и честолюбие вельмож должны были воспользоваться для разжигания междоусобиц, каковые несомненно весьма способствовали тому, чтобы сделать наших предков более общительными.

Веллей Патеркул был всего лишь историком с претензией на остроумие, однако ему удалось избежать величайшего заблуждения, в какое впал Вольтер касательно связи между пороками и страстями. С другой стороны, посмотрите, с чего начинается вторая его книга: первый Сципион, говорит он, открыл широчайшее поприще римскому благополучию, второй же – порокам, которые должны были их погубить. После разрушения Карфагена Республику уж более не сдерживала соперничавшая с ней держава, и тогда отнюдь не постепенно, но со стремительной поспешностью пороки заместили собою добродетели. Удовольствия, наслаждения, роскошь, неизбегные следствия удовольворенного честолюбия и источники ненасытной алчности как-то вдруг лишили римлян мужества²¹. Опасным врагом становится Вириат, главарь воровской шайки²². Нума, более не способный вооружить и десять тысяч граждан, довел Рим до того, что вынужден он был заключать постыдные договоры²³. Республика, распространявшая всю тяжесть своей власти на столь обширные пространства, уже не в состоянии употребить силу законов против мятежных граждан, которые влекут ее к тирании. Пусть это не удивляет вас, добавляет Патеркул, малейшая терпимость к распущенности ведет к преступлению, порок, который поначалу робко пробует свои силы, не будучи наказан, надменно поднимает голову, и, наконец, при таком правлении не почитается уже предосудительным извлекать из порока пользу²⁴.

Прошу вас о снисхождении, любезный Теодон, что остановился я столь долго на познании страстей, но, на мой, взгляд, нет ничего нужнее для историка, который хочет просвещать, в этом его первый долг, но также долг и историка, ставящего своей целью понравиться читателю. При основательном изучении их увидит он без труда, сколь страсти извращают правление, и уже довершили разрушение одного, хотя народ, заблуждаясь обманчивой видимостью, все еще рассчитывает сохранить прежние законы, прежних магистратов и исконное достоинство своих предков. И сколь полезно будет, если многознающий и глубокомысленный историк изобразит нам те же страсти, кои по одному только капризу порой потрясают государство, и претендуют на то, чтобы вывести его из оцепенения? Тогда перо историка обретет смелость, его прикосновения исполнятся благородства, и если читатели его не законченные тупицы, они помимо своей воли заинтересуются историей уже не существующего народа и будут сравнивать ее с тем, что происходит у них на глазах, потому что история, написанная искусным в познании страстей человеком, не чужда любой эпохе и любой стране. Признайтесь, вам не приходилось читать Тита Ливия, Саллюстия, Тацита без того, чтобы не воскликнуть тысячу раз с восторгом: *fabula de me narratur*, это о нас²⁵. Что касается меня, то, читая недавно историю Фукидида, я предполагал найти в безрассудствах греков те самые страсти, которые сегодня потрясают Европу и которые поработят нас так же, как поработили они греческие республики, если появится среди нас новый Филипп Македонский.

Но, коль скоро нельзя льстить себя надеждой сравниться с этими

великими историками, следует, по крайней мере, изучать страсти, чтобы не болтать с пафосом глупости вроде того, что *Европа в наши дни была бы лишь обширным кладбищем, если бы философия не подавила фанатизм и пылкость религиозного чувства*²⁶. Какое невежество не видеть, что фанатизм истощает свои силы, так сказать, благодаря тому злу, которое сосредоточено в нем самом, и что страсти, которые он возбуждает, должны после тщетных усилий ослабеть и, наконец, исчезнуть вовсе. Надлежит знать, что природа даровала нам провоборствующие друг другу страсти, чем мы и пользуемся для их обуздания. Различая, по примеру Цицерона, человеческие пороки от пороков, присущих времени, *pop vicia hominis sed vicia saeculi*²⁷, истрик обвинил бы правительство в слабости и приписал ему все те беды, поводом и орудием которых явились учения Лютера и Кальвина. Если бы мы имели те же склонности, то были бы обуреваемы теми же страстями, имели бы те же предрассудки, те же нравственные устои, коими еще при Франциске I и его сыне обладали наши возросшие из феодального безначалия честолюбивые предки, то историк мог бы заключить, что хотя янсенизм²⁸ и основан на метафизике, а посему мало способен возмутить толпу, он все-таки продолжал бы разжигать под носом у господ философов и их прислужников междоусобные войны.

Историк, лишенный знания страстей, следует столь же неопределенной и неустойчивой политике, как и некоторые государственные мужи, которые позволяют судьбе потешаться над собой. В одной главе он макиавеллист, а в другой восхваляет чистосердечие. Ревностный поклонник роскоши, он станет смеяться над правительствами, кои предписывают законы против нее, а в другом месте он скажет вам, что швейцарцам не известны были науки и искусства, порождаемые роскошью, но тем не менее они были добродетельны и счастливы. Те рассудительные изречения, которые у него порой встречаются, лишь доказывают его малосмысленность. В его сочинении найдут лишь половинчатые истины, кои обратят в заблуждения, ибо он неизбежно придаст им либо слишком большое, либо чересчур малое значение. Там не будет ни надлежащей соразмерности, ни подлинных красок.

Такова, между прочим, "Всемирная история" Вольтера. Я охотно простил бы ему скверную политику, дурную мораль, его невежество и вольность, с которой он кромсает, уродует и искажает большинство фактов, если бы мог найти в этом историке по крайней мере поэта, которому хватило ума не заставлять своих героев кривляться и который изображает страсти со свойственными им характерными чертами. Я хотел бы встретить писателя, которому хватило желаний понять, что никогда история не должна позволять себе паясничать и что жестоко и постыдно смеяться и шутить над заблуждениями, которые близко касаются благоденствия людей. Все рассуждения Вольтера чаще всего безосновательны, хочет ли он достичь цели или проходит мимо, не обращая на нее внимания. Это не удивляет меня с тех пор, как один из девностнейших его обожателей открыл нам, что он советовал обратив-

шимся к нему молодым людям, поражать воображение скорее силою, нежели справедливостью суждений. Великолепное наставление, как понравится толпе, но толпа склонна лишь к проходящей моде, и мне кажется, что в сем случае должно верить скорее Лукиану, советуящему пренебрегать толпой, не писать для нее, а также не сообразовываться со вкусами своего времени и иметь всегда в виду суждение следующих поколений, кои никогда не ошибаются²⁹.

Если бы историку надлежало толковать лишь о выгодах, несогласиях и войнах государств, их устройстве, законах и переменах, то тех познаний, о которых я только что говорил Вам, может быть ему было бы и достаточно. Но предмет истории заключается не в том, чтобы просветить ум, она ставит себе целью руководить сердцем и расположить его к тому, чтобы полюбить благо. Между тем как лучшие люди черпают в ней познания, необходимые в управлении государством, нужно, чтобы остальные при этом обучались обязанностям граждан. Я хочу, чтобы историк испытывал глубочайшее почтение к добрым нравам, чтобы он учил меня любить общественное благо, отчизну, справедливость, чтобы он сорвал маску с порока, и заставил почитать добродетель. Принципы чести, почерпнутые мною из истории, подготовят меня к тому, чтобы способствовать просвещению магистратов, которые стоят во главе всех дел. Они будут страшиться моего суждения, и, если можно так выразиться, я буду удерживать их от неистовых страстей, коим они более подвержены, нежели простые граждане, и укреплять в них стремление к справедливости.

Итак, вы видите, любезный Теодон, углубленное исследование нравственного духа совершенно необходимо для того, чтобы историк мог исполнить долг, на него возложенный. Именно благодаря их нравственному духу, чтение древних историков (я не говорю обо всех, ибо Рим имеет своих Котэнов³⁰) столь полезно и занимательно, что их перечитывают без конца, между тем как посмеявшись однажды над безделками Вольтера, невозможно, если имеешь хоть каплю вкуса, удержаться от презрения к оным. Большинство новейших историков совершенно не представляют себе образ и достоинство добродетелей, равно как и безнравственности, порождаемой в большей или меньшей степени пороками. Они имеют основанием лишь общественные предрассудки того государства, коего историю они описывают. Одни из них будут восхищаться честолюбием Карла Пятого и расточительной щедростью Людовика XIV. Другие восхваляют изуверскую набожность Филиппа II или Вильгельма Завоевателя, поскольку первый из них, к примеру, ежедневно слушал мессу и ходил в церковь не только в канонические часы, но даже к заутреням. Изучим же природу добродетелей и познаем пределы, которые они не могут преступить без того, чтобы не обратиться в пороки, или, по крайней мере, в смехотворные пустяки.

Знай, говорил Цицерон Бруту, что без философии красноречие, к которому стремимся и о котором хотим составить себе представление,

никогда не достигнет совершенства. Дело не в том, добавляет он, что философия могла бы дать оратору все те сокровища, в коих он нуждается, но она даст ему те из них, без которых он останется тощим и обескровленным³¹. То же самое мог я сказать и об историке, и, может быть, с тем большим основанием, что красноречие стремится лишь ослепить и пленить, а история, которая ставит своей целью изо дня в день просвещать нас и делать лучше, не может пренебречь самыми важными человеческими добродетелями. Без философии, говорит Цицерон, люди скверно судят о религии, смерти, страдании и о своих обязанностях³². Она, следовательно, необходима историку, поскольку его долг заключается в том, чтобы непрестанно обращать наше внимание на все эти различные предметы.

Ему не было бы необходимости обладать особым умением, дабы сделать нашу душу восприимчивой к достоинствам добродетели, если бы, подобно поэту, повелителю творимых им образов, он волен был бы вознаграждать по своему произволению добродетель и наказывать порок. Но истина, которая всегда должна быть священна для историка, принудит его отнюдь не скрывать того, что счастливый порок слишком часто торжествует над добродетелью. Пусть он укажет тогда, что сие бедствие есть справедливая кара обществу, удалившемуся от природных своих целей и позволившему страстям управлять собой. Я хочу, чтобы изображение преходящих успехов несправедливости, честолюбия и скупости предвещали мне продолжительные невзгоды, каковые постоянно будут следовать за ними. Пусть угнетенная добродетель найдет утешение в себе самой, между тем как порок, счастливый лишь по видимости, часто снедаем угрызениями совести, всегда терзается опасениями, тревогами и беспокойствами, кои следуют за ним по пятам. Именно в этом Плутарх, быть может, есть первый среди историков. Его невозможно читать, не склоняясь все более и более к добродетели. Я желал бы стать Аристидом, даже если бы, подобно ему, был бы осужден на изгнание³³. Я восхищаюсь талантами Фемистокла, и чем больше сожалею о его несчастном конце, тем больше привязываюсь к оцененной мною добродетели, от которой он отступил³⁴.

Разве жизнь Августа не являет собой поучительный урок морали? Какое славное торжество для добродетели видеть, как сей жестокий и обогранный кровью своих сограждан триумvir избавляется от своих страхов и заклятий, лишь только коснулись его добродетели, каковыми он доселе не обладал. Но, увидев, что им он обязан своим покоем и безопасностью, он быть может кончил тем, что полюбил их. Сколь я сожалею, любезный Теодон, что Тацит, который в описании жизни Тиберия изобразил порок столь отвратительным, а добродетель во всем достойной уважения, не начертал перед нами сей занимательной картины! Вспомните, какими красками живописует он этого владыку мира, пред которым все трепещет и который сам содрогается посреди тех бездонных пропастей, коими мнит себя окруженным. Утомленный самим собой, утомленный Римом и своим могуществом – возможно ли

для него спасение на Капри? Он чувствует, что нельзя бежать от самого себя. Тщетно хочет он заглушить угрызения совести и заставить замолчать свои страхи, погружаясь в мерзкое сладострастие, и, мне кажется, я слышу, как он твердит *Discite justitiam, moritū*³⁵. Будучи лишь частным человеком, помимо своей воли я узнаю, что богатства и владычество над целым светом не могут сделать человека счастливым. Если бы Тиберий, невольно говоря я себе, подражал Августу, то подобно ему мог бы он наслаждаться покоем.

Вы видите, как история украшается моралью в таких искусных руках, как у Тацита. Меня трогает смерть Гельвидия, но спокойствие, с которым он принял ее³⁶, заставляет меня чуть ли не завидовать его судьбе, и уж во всяком случае возвышает мою душу. Тацит не упустил ни одного случая, когда высокодостойный муж погибал по воле цезаря, чтобы не извлечь из сего поучительный пример. Мораль тем естественнее соединяется с историей, что благодаря извечным законам Провидения добродетель несет мир в сердца людей, а порок вселяет в них смущение и страх. Первая делает меня любезным соотечественникам моим, последняя – ненавистным. Присовокуплю еще, и нет нужды это доказывать, что счастье или несчастье государства подчиняется одним и тем же законам. Несправедливая политика может принести кратковременное благополучие, но бойтесь превратностей, ибо вам перестанут доверять, а враги ваши объединятся, чтобы погубить вас. Не найдете вы ни единого народа, который опустился бы и впал в разложение без того, чтобы не потерять перед сим свои нравы, когда пороки уже поколебали законоустановления.

Вот нравственная философия, которой должен следовать историк. Если же он пренебрегает ею, то тем самым не исполняет одну из существеннейших своих обязанностей. Доказывая ради побуждения добродетели, что Провидение никогда не оставляет оную на произвол судьбы, отнюдь не следует примешивать к сему чудеса. Страда всякий раз призывал на помощь Святую Деву и Святого Иакова, чтобы добыть победу католикам над протестантами. Эти монашеские глупости лишают историка доверия, которое он должен внушать своим читателям, и как только побуждаемый собственной волей отваживается он проникнуть в сокровенные тайны Провидения, то неминуемо впадает в ребяческое суеверие и принижает тем самым божественную премудрость. Если послушать Страду, можно подумать, что Бог на некоторое время впал в дремоту, а Лютер и Кальвин воспользовались ею, дабы произвести на свет свое учение и привлечь к себе последователей, и что очнувшись ото сна Господу понадобились целые армии государей, чтобы отомстить еретикам. Разве не безрассудно приписывать божественное участие в жестоких несправедливостях Филиппа II, Гранвелля и герцога Альбы?³⁷ Пусть никогда подобные кощунственные нелепости не оскверняют историю. Стоило ли измышлять два десятка чудес, дабы спасти католиков от поражения или доставить им какое-нибудь незначительное преимущество, тогда как в важнейших и самых решающих

случаях Непорочная Дева и Святой Иаков допускают промах и позволяют ветрам разметать блестящий флот³⁸, от которого Страда ожидал полного подчинения Нидерландов, завоевания Англии и восстановления в этих странах прежней религии.

Чудеса эпической поэмы, столь милые нашему самолюбию и воображению, давая возможность общения с богами, коих страсти сродни нашим страстям, не годятся для истории, которая обращается только к разуму. Я с удовольствием читаю у Гомера и Вергилия, как Ахилл и Эней получают с небес оружие, выкованное Вулканом³⁹, но я хочу, чтобы историк убедил меня в том, что и великий муж и самые государства не обладают иной опорой, кроме собственных талантов и мудрости законов. Не будем прибегать к чудесам ради красоты повествования или пытаться объяснить события, причины которых нам не известны, позволим миру повиноваться тем всеобщим законам, кои Бог установил при начале всех вещей.

Я одобряю вашу мысль, — отвечив на это Сидамон, — и все эти историки, которые предерзостно заставляют Бога вмешиваться в наши дела, кажутся мне столь невежественными и грубыми, как и наши отцы, которые верили испытанию раскаленным железом, освященной водой или судебному поединку. Но скажите мне, почему ускользает от вашей критики Тит Ливий, коего вы почитаете совершенным во всех отношениях историком, и который, однако, столь же повествует о чудесах, сколь и Страда? Очень просто, — возразил я, — историк, говоря о весьма суеверном и невежественном народе, который в естественном течении событий усматривал предвестие бедствий или гнева Божьего, каковой следовало бы умиловить жертвоприношениями или религиозной церемонией, не исполнил бы своего долга, если бы обошел молчанием то, что весьма беспокоило Сенат, закладывавший основы величайшей мировой империи. Тит Ливий, смею уверить вас, вовсе не был суеверен и если бы сам верил в рассказываемые им чудеса, то говорил бы о них совсем по-другому. Но он отнюдь не смеялся над ними, как это свойственно нашим философам, ибо не почитал суеверие величайшим источником всех зол. Разве чуждый всякого суеверия Цезарь, который слишком почитал Эпикура, чтобы верить в Провидение, беспокорящее леность богов, не сообщает нам о мнимых чудесах, предвещавших его победу при Фарсале? Он не верил в них, но верила его армия: чудеса укрепляли ее и способствовали успеху в тот славный день⁴⁰. Тит Ливий писал после Цезаря, когда философия греков была хорошо знакома римлянам, а философские сочинения Цицерона, в особенности его трактаты о пророчестве и природе богов⁴¹, просвещали всех, кто стремился совершенствовать свой ум.

Вот вам, любезный Теодон, почти все, что касается знаний, каковыми следует приуготовлять себя к написанию истории. И с меня довольно, — смеясь отвечал он, — чтобы убедиться в том, что Сидамон подал мне опасный совет. Я уступил, доверившись Вольтеру, который сказал где-то со свойственным ему здравомыслием, что "история требует

только труда, способности к суждению и вполне заурядного ума”⁴². И вот у меня открылись глаза, и надеюсь, что впредь Сидамон предпочтет мою лень и молчание посредственной истории, чтобы не сказать хуже. Вы преподали нам новые, доставившие мне превеликое удовольствие, идеи, поведав о различных родах истории, требующих приличествующих им талантов и подчиняющихся различным законам. Но вы еще не исполнили всего обещанного, а лишь возбудили во мне любопытство, равно как и у Сидамона, который слушал вас с не меньшим интересом. Погода прекрасная, и мы можем продлить нашу беседу. Если вы поделитесь с нами вашими размышлениями, Сидамон оставит невежд в покое. Что касается меня, то я с тем большим удовольствием обращаюсь к древним историкам и, может быть, буду примечать их недостатки, но непременно и все их красоты, каковые ускользнули бы от меня по недостаточности моих сведений. Любезный Теодон, — отвечал я, — с превеликою охотой исполню я ваше желание ради нашей с вами и Сидамона дружбы. Да и для меня это будет бесполезно. Благоразумие и вкус ваш побуждают меня к сему, и если вы укажете на мои ошибки, я постараюсь исправить оные, а одобрение ваше еще более укрепит меня в моих суждениях.

Стоит только посмотреть, какой целью задается Тит Ливий, начиная свою историю, чтобы составить понятие о плане, который должен начертать себе сочинитель общей истории. Не останавливаясь на баснях, коими грубые наши пращурь надеялись придать более блеска своему происхождению, — говорит он, — займемся только познанием нравов, законов, гражданских и воинских, изучением жизни знаменитых людей, распространивших могущество Республики на весь мир, рассмотрим, как обмануло нас процветание и привело к тому роковому пределу, когда под тягость корысти и тщеславия мы не имеем уже более сил, потребных к собственному своему исправлению⁴³.

Мне кажется, что план Тита Ливия объемлет все, что благоразумный читатель вправе ожидать от историка. Чего желать еще более? Нельзя пренебрегать ничем из того, что сообщает истории интерес и вразумительность. Если я не познаю общественные нравы и законы, тщетны все старания дать мне представление о достойных примечания событиях. Я не постигну причин оных и отнесу их успех на счет тех, кто стоит у кормила правления. Я заключу, что события порождены случаем, как породил он некогда Ганнибала у карфагенян и Карла Великого у нас, каждый из которых среди своего народа есть муж во всех отношениях необычайный. Вместо огромного живописного полотна вы покажете мне, если можно так выразиться, один только портрет. Внимание мое ослабевает, истина ускользает от меня, и я не найду в истории наставления, каковое должен в ней искать. Если же, напротив, вы покажете мне нравы и правление Республики, я увижу, что являющиеся на сцене великие люди суть порождение законов. Я почувствую любовь к Республике, сообщающей им свой гений. Интерес мой возрастает, а разум понемногу просвещается.

Тит Ливий, знавший сию истину, открытую мною лишь после того, как познал я удовольствие, которое доставляет чтение его истории, тщательно исследует все учреждения римлян, не забывая ни одного из законов, который мог переменить жизнь патрициев и плебса.

Я замечаю смешение добродетелей и пороков, вовлеченных в неравную борьбу друг с другом. Всякий гражданин, который примером своим колеблет или, напротив, укрепляет основной закон, — перед моими глазами, и, если только способен я осмыслить описываемые деяния, то пойму, откуда проистекают превышающие всякое воображение успехи римлян. Некоторые пороки, скупость, например, и честолюбие, искоренить кои законы не смогут, и целиком находящиеся в подчинении у любви к славе и к отечеству, все же временами еще проявляются и дают мне возможность судить о том, какова будет дальнейшая судьба сей Империи: я предвижу, что они овладеют общественным влиянием и приведут к тому, что свобода уступит место тирании.

Если общая история изложена вполне основательно, то по нравам народа, когда он только еще складывается, и по тем усилиям, которые прилагает он к достижению поставленной цели, должно судить о том, как он будет пользоваться своим благосостоянием. Историк должен дать мне возможность заранее почувствовать в этом благоденствии причины упадка. Тогда все разворачивается само собой, факты естественно проистекают одни из других, и именно в этом и состоит все искусство изложения общей истории. Повествование, не прерываемое ради того, чтобы дать необходимые пояснения, шествует стремительно, ни в коем случае не затягивается и увлекает за собой читателя. Но, любезный Теодон, не ждите ничего подобного от писателя, который путем разного рода штудий, о которых я вам только что говорил, не подготовит себя к написанию исторического сочинения. Историк надлежит подолгу обдумывать то, что ему предстоит создать, особо изучить каждую из отдельных его частей и только тогда окинуть все единым взглядом.

Я уверен, что никакой народ не явит нашему взору столь же прекрасную картину, каковую являет собой Римская республика, но остановимся, прошу вас, на самом предмете изучения историка, на том умении, с которым он владеет им и использует его в своем сочинении. Варвары, основавшие наши новейшие государства, были, наверное, сродни разбойникам, коих приютил у себя Ромул⁴⁴. Могущество одних варваров было уничтожено прежде, чем могло укрепиться, другие заложили основы некоторых до сих пор существующих государств и вследствие пережитков первоначального своего варварского состояния склонны были усматривать в своей роскоши и слабости образец самого совершенного устройства. Почему же их история отнюдь не интересуется читателей? Да потому, что в ней всегда забывали осведомить читателя о нравах, законах, обычаях и общественном праве этих варваров. И читателю приходится следовать за историком, который

сам не знает, куда идет. Скука объемлет его посреди сражений, войн, побед, коими его занимают, не заботясь о том, чтобы сказать, куда весь этот шум и треск приведет его. Пусть, например, покажут мне характер воинов Хлодвига, принесенный ими из Германии дух свободы, и то рабство, которое застали они среди галлов, и мне думается, я смог бы понять тогда, что произошло, то есть судить о распространении самовластия у одних и рабской зависимости у других. Вряд ли был бы я высокого мнения о народе, каковой предстал бы таким перед моими глазами, но я искренне восхищался бы мудростью и искусством историка. Обо мне не отозвались бы одобрительно, но во всяком случае пожалели бы меня. Это сочувствие спасло бы меня от скуки. Рассудок мой обогатился бы новыми познаниями и быть может, я следил бы за тем, как один народ пребывает в вечном детстве, с меньшим удовольствием, нежели за причинами величия римлян.

Обратитесь к Титу Ливию, посмотрите, как, начиная свою историю, возбуждает он любопытство читателя и овладевает его вниманием. *Res romana quae ab exiguis profecta initiis eo creverit ut jam magnitudine laboret sua*⁴⁵. Мне доставляет удовольствие рассматривать и соразмерять бесконечное расстояние, которое разделяет Рим только еще зарождающийся и Рим-повелитель мира. И меня уже интересуется малейшие подробности, кои рассказывают мне о Ромуле и его преемниках. Ничто не предвещает мне еще начало великой Империи, но, к счастью для римлян, Тарквиний уже становится ненавистным и подвергается изгнанию. Когда историк говорит, что свобода смогла утвердиться лишь при Тарквиние, он возбуждает мое внимание и любопытство⁴⁶. И я уже предрасположен к тому, что вскоре откроются мне величие и падение Республики. Вот предмет, познание коего поставляю я себе целью. Превеликое удовольствие доставляют мне описания войн римлян против эквов, вольсков, тосканов, сабинян и прочих, равно как и вечных их раздоров между патрициями и плебеями. С чего бы это? Да потому, что я вижу народ, который в своих деяниях и распрах, внешне как бы незначительных, приобретает великие добродетели, готовит себя для более великих дел и приближается, хотя и медленно, к пределу, положенному для него самой судьбой или скорее нравами и образом правления. Зрелище множества соединяющихся в обширное строение частей доставляет вам удовольствие, поскольку воображение ваше уже заранее нарисовало себе великолепную картину чертогов, которые предполагают возвести: то же и с римской историей. Если вы встретите, любезный мой Теодон, кого-нибудь из тех читателей, кои будут утверждать, что первая декада Тита Ливия⁴⁷ уступает прочим, можно ли сомневаться, что это один из тех, кто не умеет читать и в происходящем перед его глазами события не видит то, которое должно за ним последовать.

Это единство действия и увлекательности, столь необходимое эпическому поэту для привлечения читателей к деяниям своего героя, не менее надобно и историку, ибо основано оно на самой природе

нашего ума, который не может заниматься несколькими предметами одновременно без того, чтобы не разбрасываться, а следовательно получать впечатление менее яркое, и не пресыщаться без того, чтобы не путаться, не чувствовать отвращения и, наконец, не извлекать никакой пользы из своих трудов. Гомер занимает меня там, где он пишет о возвращении Одиссея на Итаку, а Вергилий – о поселении Энея в Италии. Оба никогда не забывают, что в этом заключается цель их поэм, и для привлечения внимания читателя они часто напоминают ему об этом. Также и историк отнюдь не должен позволять мне терять из виду той цели, к которой он обещал меня сопровождать. Тогда и история до известной степени принимает вид эпической поэмы; она идет к своей цели сквозь препятствия, протигополагаемые ей страстями и превратностями фортуны. Галлы в осажденном Риме⁴⁸, Пирр и Ганнибал в Италии заменяют сверхъестественное Гомера и Вергилия, и заставляют меня не меньше тревожиться об участи римлян, чем Юнона и Нептун заботились о судьбе Энея и Одиссея.

После Тита Ливия могу привести вам в пример Гроция. Его история войн, положивших основание Республики Соединенных Провинций – сочинение, достойное величайшей похвалы. Я умолчу о том, что оно наполнено максимами, каковые политическая наука должна принять безоговорочно, что изображение страстей исполнено силы и искусства, не в этом заключается сейчас мой интерес к нему. Вспомните, с каким тщанием Гроций описывает нравы и гений народа, могущего терпеливо сносить власть повелителя, но не тирана, народа, который пытается стряхнуть с себя иго, но сохраняет предрассудки, коими он обязан прежнему своему правлению. Вы видите этот народ, еще не доверяющий самому себе, сомневающийся, колеблющийся, уже начинающий ощущать гнев, но, не обладая характером, пригодным для монархии, не выработавший еще свойств, приличествующих республиканцам. Для того, чтобы лучше изобразить сие неопределенное положение, Гроций придает первым книгам своего сочинения форму анналов: соотнося события в хронологическом порядке, я вижу, как успехи перемежаются с поражениями и колеблются меж опасений и надежд. Восхищаясь благоразумием Вильгельма, принца Оранского, я хотел бы порою подстегнуть его мужество, но скоро и сам уже упрекаю себя за нетерпение, и в сем волнении просвещаюсь и чувствую, сколь трудно водворить свободу на обломках монархии. И все-таки Вильгельм закладывает основы Республики, а сын его Мориц собирается возводить на них все здание, и теперь Гроций придает новую форму своему произведению, благодаря чему я быстро достигаю того предела, который поставил предо мною историк, и познаю все пружины управления. Читая Тита Ливия, я предугадываю всю римскую историю. Ничто меня не задерживает и если я размышлял над первой декадой, то у меня уже есть ключ к разгадке всего целого. Римляне, повелители Италии, будут подвергать себя опасностям войн, но прошлое просвещает меня и относительно будущего, и я ожидаю найти среди величай-

ших бедствий новых Фабиев, Марцеллов и Сципионов. Также и Гроций, хотя заканчивает он свою историю знаменитым перемирием 1609 года⁴⁹, но я однако нахожу в нем источник всех событий, каковые имели место в Соединенных Провинциях впоследствии, равно как и страсти, которые были причиною этого. Претензии Республики и ее склонность к войнам, которые вмешивают ее во все дела самодержавных государей, не удивляют меня, но сквозь весь этот блеск я вижу купеческий дух, который должен усиливаться несмотря на затраты и невзгоды войны; дух сей достигнет могущества своего, и Республика будет почитать мир высшим после торговли благом.

Признаюсь вам, что Гроций по общему расположению своего сочинения во многом, как мне кажется, превосходит Тацита. Можно сказать, сей последний брался за перо, хорошенько не представляя себе все размеры задуманного им труда. Нет ничего превосходнее его описания царствования Тиберия, и Расин прав, называя его величайшим писателем древности⁵⁰, но, по моему мнению, он все же кое в чем оставляет желать лучшего. Открывая его "Анналы", я отнюдь не приуготовлен видеть мрачного тирана, который всегда полагает, что власть его недостаточна, и в то же время опасается, как бы не показалась она чрезмерной. Я вижу, как складывается самый нетерпимый деспотизм, но не знаю, к чему он приведет в дальнейшем. Меня утомляют однообразность жестокости и несправедливости, и я не понимаю, надо ли множить все эти рассказы, чтобы дать мне представление о Тиберии и его дворе, о постыдном терпении Сената и малодушии народа.

Вы, может быть, осуждаете мою смелость, любезный Теодон, но согласитесь, что если бы Тацит вместо того, чтобы ограничиваться сказаниями о Тиберии, Клавдии, Нероне и некоторых других властителях, написал бы историю Империи, а не цезарей, он породил бы в читателях больший интерес и распространил бы познания на все времена и все страны. Предки наши, мог бы сказать Тацит в начале своего сочинения, завоевали мир, потому что любили добродетель и свободу. Но поскольку добыча, захваченная у врагов, развратила их, они не достойны были оставаться свободными. Раздоры поработили нас, заставив передать власть в руки немногих граждан, скупых и честолюбивых. Марий и Сулла подготовили могущество Юлия Цезаря, который присвоил себе верховную власть и понес за то наказание, но Бруту и Кассию суждено было стать последними римлянами⁵¹. Воздвигнулся новый порядок вещей. Погрязшие в пороках и рабском состоянии, мы сами приучили себя к целям, и варвары, которые научатся нас презирать, сотрут с лица земли и нас и самое имя наше.

Или я весьма ошибаюсь, или это изложение, скорее мое собственное, нежели самого Тацита, способно было бы возбудить любопытство его читателей и заинтересовать их. Вместо того, чтобы писать историю нескольких государей, жестокость и слабоумие коих внушает ужас, я обратился бы к судьбе самих римлян. Вот, сказал бы я себе, потомки

тех людей, некогда удивлявших мир своими добродетелями, а затем и талантами, обреченные теперь стать добычей варварских орд. Благодаря какому скрытому яду, спросил бы я себя, силы этой грозной державы оцепенели? Если Тацит хотел раскрыть перед нами рост монархии по примеру предшествовавших историков, просвещавших нас касательно распространения свободы, ему, очевидно, следовало бы начать свое сочинение с самого начала, а не с царствования Тиберия. Вместо того, чтобы сохранять историю Августа только для того, чтобы захватить последние годы его жизни, Тациту нужно было прежде всего рассказать нам об этом государе.

Чем бы я только не пожертвовал ради того, чтобы он начертал себе такой план? С каким бы интересом, с какой жадностью читали бы историю жизни искуснейшего и хитрейшего из тиранов, написанную историком, лучше всех знавшим лукавство и хитросплетения человеческого сердца, и который уверенным взглядом проникал за личину любой страсти. Я содрогнулся бы за судьбу государства при виде того, как гибнут граждане, добродетели коих вызывали подозрения у узурпатора, который не перестал быть жестоким, перестав бояться. Какое было бы для меня поучение, если бы Тацит дал мне понять побудительные силы этого властолюбия, таящегося ради того, чтобы с тем большей уверенностью распространять свое господство, и призывающего себе на помощь все низкие страсти, дабы унижить римлян, делая их ко всему безучастными. Но я сказал еще не все. Его властолюбие умело расположить к себе и заставить сожалеть о себе. И в конце концов сему Октавию, которому лучше было бы вообще не родиться, опустившиеся римляне желали бессмертия⁵².

Написав Августа именно такой кистью и такими красками, Тацит вновь превзошел бы самого себя в описании жизни Тиберия. Он раскрыл бы пороки государя, которыми тот обязан был своим страстям и тому, что к ним прибавили обстоятельства. Август скрывал свои чувства и не хотел, чтобы о них догадывались. Тиберий принуждал смотреть на себя через покров, которым тщился защитить себя от взоров людских. Отсюда та глухая тирания, каковую робкие римляне не в силах были сбросить с себя. Все сии подробности доносов и казней, которые Тацит порой сопровождает извинениями в опасении утомить своих читателей⁵³, я читал бы с жадностью, потому что они помогали бы мне составить связующую все события цепь и понять, почему римлянам, пользовавшимся еще понятием "Республика" при полновластных императорах, суждено было впасть в такую подлость и испорченность, что они сожалели даже о Нероне⁵⁴.

Позвольте сказать вам еще кое о чем, вызывающем во мне невольный трепет; а именно, что Тацит, благодаря тому начертанию, которое я беру на себя смелость предложить, обо многом дал был мне ясное понятие и сам узнавал бы многое о положении и судьбе Империи.

Мне трудно вас понять, — возразил мне Сидамон тоном, выражающим удивление, — объяснитесь. Неужели вы всерьез утверждаете,

что Тацит полагал, будто римляне, повинувшись императорам, шли навстречу собственной гибели? Именно так я и думаю, — отвечал я как можно скромнее, — ибо, хотя он говорит в своей Германии, что Империя не в состоянии более противостоять силам своих врагов, *urgentibus imperii facis, nihil jam proestare fortuna majus potest quam hostium discordiam*⁵⁵, я вижу, что эта истина вырывается у него случайно или с досады, а не вследствие его политических пристрастий, поскольку во второй книге своих "Анналов", там, где речь идет о Тиберии, он говорит, что Арминий напал на Римскую империю во время ее наивысшего расцвета. Мне вспоминается его выражение: *Liberator haud dubie Germaniae et qui non primordia populi romani, sicut alii reges ducesque, sed florentissimum imperium lacesserit*⁵⁶. Вы видите, что он думал, будто судьба Рима покоится на более прочном основании, чем в ту эпоху, когда самниты⁵⁷, Пирр и Ганнибал пытались ниспровергнуть его.

В похвальном слове Агриколе он превозносит Нерву за то, что тот примирил между собой власть государя и свободу народа, *res olim dissociabiles*⁵⁸, говорит он, полагая, что после правления Нервы власть государя можно было каким-то образом сочетать со свободой народа, и присовокупляет, что Траян утвердил общественную безопасность. Следующие слова показывают, что надежда не осталась тщетной: *Nec spem modo ac votum securitas publica, sed ipsius voti fiduciam ac robur assumpserit*⁵⁹. Тацит, не будучи льстецом, тешил себя приятными мечтаниями, и мне кажется, если бы он начинал с описания царствования Августа и разъяснил с присущим ему глубокомыслием ту политику, которая обманула римлян и приучила их к рабству, то понял бы, что Тиберий мог обойтись без коварства, вероломства и жестокости, кои считал необходимыми для своей безопасности, но, показав римлянам, сколь опасно обладать добродетелями и талантами, он тем самым довел Империю до крайнего ослабления. Боясь граждан, Тиберий попустительствовал солдатам и развращал их, дабы сделать себе послушными. После смерти Нерона Империей распоряжалось войско, ибо в государстве не оставалось иной общественной силы⁶⁰. Обратившись к правлению Августа, Тацит увидел бы, что именно под защитой этой могущественной силы или скорее образа силы, император обрел свою безопасность, и что стоило только сему призраку рассеяться, как нужно было ожидать самых пагубных бедствий.

Но достаточно об этом, я всегда помню мудрое наставление Квинтилиана, и отнюдь не без некоторого стеснения осмеливаюсь порицать такого человека, как Тацит⁶¹. Впрочем, каковы бы ни были мои рассуждения, я уверен, что при сочинении общей истории необходимо уже с самого начала показать то, к чему историк хочет привести читателя, равно как и все частные подробности, каковые дали бы понятие о взаимосвязи всех событий, когда последующие перевероты являются порождением былых перемен.

Один пример поможет вам понять мою мысль, и я приведу вам

выдержки из "Истории римских переворотов" аббата де Верто⁶². Я считаю его способнейшим из всех наших исторических писателей. Это возвышенная и благородная душа, и пылкое воображение не властвует над ним, а служит лишь для того, чтобы придать предметам, о коих трактует, приличествующие им красоты. Описания его начертаны смело, рассуждения лаконичны. Ему знакомо и сердце человеческое, и движение страстей. Повествование его стремительно. Все это, несомненно, отраднейшие дарования. Но, то ли введенный в заблуждение легкостью и изяществом своего гения, пренебрег он теми приуготовительными познаниями, о которых я уже говорил, то ли из желанья понравиться полнящим Париж читателям, мнящим себя достаточно напитавшимися знаниями, если только их вдоволь позабавили, задумал он одарить нас римской историей, свободной от многословия Тита Ливия. Все наши ученые дамы и вся бесчисленная толпа пустословов, кои суть не что иное как те же женщины, читали его с жадностью, и, твердя кстати и некстати имена и события, которыми обременили они свою память, досаждают людям здравомыслящим. Часто, читая аббата Верто, испытывал я это на себе самом и принужден был делать дополнения к тому, что обошел он молчанием. Если бы я не был немного наслышан о деяниях римлян, я ничего бы там не понял, поскольку история становится совершенно невнятной для здравого ума, если она не раскрывает общие причины событий и не указывает на близкую связь между ними.

Но, когда я говорю, любезный Теодон, что мельчайшие подробности, если они касаются нравов, законов и образа правления того или иного народа, доставляют удовольствие, просвещают и вызывают интерес, я отнюдь не хочу, чтобы ими злоупотребляли. Сколь бы ни были необходимы эти подробности, пусть историк, который хочет просвещать и одновременно нравиться, *omne tulit punctum qui miscuit utile dulci*⁶³ выбирает среди них те, что наиболее способны сделать истину возбуждающей и приятной для ума. Не утомляйте читателей ваших избытком учености и однообразием сведений: пресыщенный ум отвергнет их в одно мгновение. Впрочем, аббат Флери, признаться, не всегда следовал сему наставлению наших учителей. Для человека, наделенного в большей степени пронизательностью и вкусом, нежели благочестием, он в своей духовной истории утомителен бесчисленными подробностями, кои беспорядочно нагромождены и, разумеется, не в силах показать то, каким образом вера должна была одержать верх над политикой государей, спесью философов и завистью языческих жрецов⁶⁴. Хотя может быть, я и ошибаюсь, может быть, духовная история и должна подчиняться иным правилам, нежели история светская. Я готов поверить в это, поскольку сам аббат Флери взял за правило сообщать о событиях, словно бы он был тому простой свидетель, не позволяя себе приносить никакого собственного суждения и мнения по тому или иному поводу. Как бы то ни было, не будем забывать, что этот писатель — один из тех гениальных людей, которые оказывают

величайшую честь нашей нации. Мы обязаны ему речами на темы церковной истории⁶⁵, которые будут всегда читаться с восхищением, и которые доказывают, что автор их сполна наделен честностью, мудростью и большими познаниями, долженствующими составлять душу историка.

Задаваясь той же целью, имея в виду те же намерения, те же виды, что и Тит Ливий, новейшие историки, если бы были одарены способностями и потребными к написанию истории познаниями, могли бы, как мне кажется, представить поучительную и занимательную картину своего народа. Во Франции, Англии, Испании, Италии, Германии и прочих странах бытовали нравы крайне варварские, и в течение нескольких веков законы или обычаи, происходившие от оных, сохраняли в среде обитателей сих стран, коих не осмеливаюсь называть гражданами, грубость, невежество, но одновременно силу и твердость, каковые подвинули их к свершению деяний столь чрезвычайных и превышающих всякое воображение. Через многочисленные перевороты народа сии были приведены к той самой учтивости, за которую нас ныне превозносят, и которая сама по себе есть не что иное как то же варварство, но иного свойства, поелику мы обязаны оной изнеженным гравам, низким и презренным порокам, а не мудрым законам, кои приближали бы нас к предначертаниям природы. Надлежало бы изобразить возмущение страстей, которые, взаимно друг другу препятствуя, непрестанно между собою борются, равно как и игру фортуны, каковая посреди этого хаоса решает участь королей, знати, народа и играет судьбою государств. Историки развернули бы перед нашими глазами не одну захватывающую картину, если обладали бы талантами и познаниями Тита Ливия. Сей великий муж извлекает пользу и из людских заблуждений, и из самых благоразумных деяний, а читатель, получая представление о том, чего ему нужно избегать, познает и то, чему должно следовать. Если вы станете читать преподобного Даниэля, то убедитесь, что он даже и не догадывается о плане, каковой ему следовало наметить. Вместо изучения древности он счел более удобным судить о ней по временам нынешним. Почитая всякое государство, где только находил он имя короля монархией, он никогда не говорит о нравах, составляющих единственное публичное право описываемого им народа. Он ведет за собою Хлодвига до наших дней так, что даже и не подозреваешь о скрытых и явных переменах, в государстве нашем случившихся⁶⁶.

Сравнительно с преподобным Даниэлем Мезерэ⁶⁷ отнюдь не льстец, но и ему не хватает необходимых познаний. Нравственный дух его в большей степени соответственен истории, нежели таковой у Даниэля, слог не столь вял и временами даже резок. Его картины начертаны грубо и отнюдь не блещут теми красотоми, которые привлекали бы к себе читателя. Что касается аббата Вели, то, как говорят, он хотел пойти другим путем, рассмотреть наши законы и обрисовать нравы, но, по неведению своему, все перепутал. Об обычаях, которые, по всей

видимости, проявили себя лишь в последующих поколениях, он говорит как об изначально присущих данному роду или племени. Его история⁶⁸ – хаос, где все свалено в одну кучу, перемешано, перепутано и критически не осмыслено. Одним словом, я вижу в нем историка, подрядившегося на заработки к книгоиздателю. Его продолжатели стали пользоваться этой методой, и я слышал, что публика читает их с удовольствием.

Не знаю, повезло ли в этом отношении истории других государств более, нежели нашей. Я не знаком с трудами Марианы, и потому говорить о нем для меня бессмысленно. Впрочем, готов держать пари, что история Испании⁶⁹ вышла у сего испанского иезуита весьма посредственной. Плохой монах занимается лишь происками, а тому, кто изо дня в день строго наблюдает устав своего сословия, неизвестны политические истины, каковые он презирает. Некий каноник из Сен-Женевьев, имя коего я позабыл, дал нам историю Империи⁷⁰. По прочтении нескольких страниц я увидел, что довольно будет и беглого просмотра, однако и это скоро мне прискучило. Рапен де Туара изучал английский народ и его государственность⁷¹ с большим тщанием, чем другие историки: взгляды его отличаются прямою и стремлением к справедливости, а принципы основаны на естественном праве, но повествование медлительно и утомляет читателя, ибо, к сожалению, он стремится вместить в свое сочинение все те сведения, кои он дал себе труд собрать. Разумеется, его нельзя не назвать ученым, но вкуса у него явно недостает. Юм же, напротив, ведет свой рассказ с излишней быстротой, не знает при этом описываемого им народа, и в рассуждениях его невозможно обнаружить влияния национального характера на события. Его рассуждения скорее общего свойства и слишком часто внушены ложными принципами, которые нравственность не может одобрить. Юм приступил к своему сочинению с конца, не дав себе труда изучить и распутать цепь, связующую все века и события в истории того или иного народа. Неудивительно поэтому, что его изображение царствования Стюартов оставляет желать слишком многого. Затем он простирает свою историю до древних бриттов, но и здесь мы вновь встречаем историка, который ничего не читал, кроме хроник. Ему незнакомы законы норманов и все, что говорит он об управлении поместьями, невразумительно, по крайней мере, я в этом ничего не понял⁷². Преподобный д'Орлеан возжелал изобразить историю переворотов в Англии⁷³. Но вместо того, чтобы говорить только о войнах, которые ставили на престол государей, ему надлежало дать понятие о правлении бриттов, англосаксов, датчан и норманов, поскольку именно из этих различных государственных оснований, вышли как из средоточия лучей различные устремления, распри, смуты и перевороты, сотрясавшие Англию. О, странный историк! Он оставляет без внимания Великую Хартию и довольствуется тем, что называет ее камнем преткновения королевской власти и источником движений, каковые волновали впоследствии англичан. Зато препо-

добный д'Орлеан, напротив, хотел порассуждать лишь о тех переменах, которые претерпевала религиозная жизнь в Англии со времени Генриха VIII. Но почему не дал он своему труду более подходящее название? Доведа изложенное до этой эпохи, он лучше стал бы понимать то, что сам желает изъяснить, повествование его становится быстрее и можно было бы счесть его достойным написать историю, если бы предубеждения не препятствовали ему видеть истину и говорить о ней.

Историю Шотландии Бьюкенена отнюдь не должно ставить в один ряд с теми, о коих я только что говорил. Вы найдете в нем писателя превосходных талантов, воспитанного в школе великих историков древности. Повествование его исполнено живости и одушевления. Он по справедливости ценит добродетели и пороки, рассуждения всегда лаконичны, таят в себе большой смысл и приглашают читателя к размышлению. Нравы и страсти изображены с большой силой и правдой. Его сочинение не слишком велико, поскольку, как мне кажется, составлено ради просвещения потомков и, следовательно, не должно было обременять себя теми пустяками, которые развлекают наше любопытство в мемуарах, обреченных на забвение, ибо на смену им новые воспоминания пичкают следующие поколения теми же глупостями и нелепостями, но лишь под другими названиями.

Я желал бы, чтобы Бьюкенен с таким же тщанием, что и древние, относился к изучению образа правления и публичного права своего отечества. Не то чтобы в его описании этих предметов нельзя было найти много поучительного, но одно слишком удалено у него от другого и не может произвести желательное впечатление, чем грешит и писавший до него знаменитый Робертсон⁷⁴. Бьюкенену следовало бы соединить воедино все, что относится к феодальному устройству шотландцев, ибо историку не должно забывать, что леность и нерадение читателей безграничны. Надобно поражать их воображение яркими лучами света, которые просветили бы их рассеянный ум и заставили дойти до причин событий, позволили без особого труда и даже с удовольствием наблюдать за их последовательным ходом: именно в этом, может быть, и заключается самое редкостное и трудное искусство историка.

Я не советовал бы никому, любезный Теодон, заниматься сочинением общей истории. Большая часть государств Европы в сущности должна бояться истины; они желают иметь не историков, а льстецов. Восходя к началу обычаев, нравов, законов, права и притязаний этих государств, такая история раскрыла бы перед всеми причины их расцвета или упадка и оскорбила бы их самолюбие, а может быть ее сочли бы даже сочинением неблагомыслящего гражданина. Но, независимо от сего первого обстоятельства, посмотрите, в каких мутных источниках нынешним нашим историкам приходится искать истину. Я знаю, что Тит Ливий выражал порой недовольство первыми историческими памятниками римлян, где об одних и тех же событиях говорилось по-

разному. Но эта недостоверность касалась лишь событий частных, несходные обстоятельства коих не могли дать повод к какому-либо заблуждению на счет природы правления, законов и характера Республики, граждане которой обладают одинаковыми познаниями и заключены в стенах одного города. Того же нельзя сказать о народах новейших, и дабы ограничить себя тем, что касается нашего отечества, вспомните, сколько Галлия заключала в себе различных племен, кои имели свои обычаи, законы, предрассудки и равное для всех них невежество. Бросьте взгляд на нашего Григория Турского⁷⁵ и живших после него еще более несведущих и ограниченных летописцев. Ни один из этих историков не знал самой природы современного ему правления. Итак, чтобы открыть неизвестную и всегда готовую ускользнуть от нас истину, непременно надо погрузиться в изучение грамот, наших древних формуляров, наших капитуляриев и стенать под сей грудой бумаг, способной повергнуть в ужас самого неутомимого и упорного ученого.

И даже иссушив свой ум в сих неблагоприятных штудиях, разве сможет историк сочинить что-либо, кроме истории воистину варварской во всех отношениях. Согласен, можно приобрести знания, необходимые для описания нравов, публичного права и духа народов, но как сохранить при этом тот вкус и выразительность, каковые привлекают читателя? Вольтер где-то похвальноется тем, что читал наши капитулярии⁷⁶, но не всякому дано черпать из них вдосталь веселья, дабы стать легкомысленнейшим и забавнейшим из историков. Опасаясь, что всякий писатель, пожелавший взять на себя труд изображения общей истории, проведет самые драгоценные годы жизни за распутыванием исторического хаоса, а на описание ее у него останется только немощная старость и воображение почти угасшее, неспособное воспламенить разум, дабы представить с приятностию, а равно и с силой, события и людей, о которых он хочет поведать читателям.

Повествуя о злополучиях и свершениях некоего народа, историк должен рассказать о том, как этот народ вынес свою благую и злую судьбу. Из сего-то описания, если только оно достоверно, я проникну в связь событий, кои попеременно, то как причина, то как следствие, следуют одно за другим, и сами не остаются при этом неизменными. В таком случае историку нет надобности заимствовать высокомерие и скуку у философа с тем только, чтобы просветить меня относительно влияния обстоятельств на наш дух, наши законы, и в причудах фортуны я открою самый источник нашего непостоянства.

Если историк ради привлечения внимания чрезмерно преувеличивает несчастные обстоятельства и неосновательно предсказывает государству близкое его падение, он сможет привлечь к себе только несведущего читателя, но человек просвещенный посмеется простодушию сочинителя, и книга выскользнет из его рук. Он знает, что народ постигают существенные и неповторимые утраты только тогда, когда теряет он свойства, коим обязан своими свершениями.

Замеченная мною погрешность встречается сравнительно редко, чаще мы видим ошибки историков, которые позволяют ввести себя в заблуждение обманчивым благополучием. Сколь приятно обольщаться и верить, что только самому себе обязан благосклонностью фортуны, что народ меньше заботится о собственном своем благополучии по мере того, как благодаря процветанию он преувеличивает свои силы и могущество, внушает себе все новые надежды и смягчает опасения. Вот камень преткновения для почти всех историков. Вместе с этим народом они суть не что иное, как жертвы того положения вещей, которое приуготавливает и предвещает упадок государства. Видя с самого начала в зреющей перемене лишь крохотную и благостную добродетель, они, подобно Катону, отнюдь не смеют предвидеть, что высвободившиеся страсти вскоре внесут в управление скрытое от посторонних глаз безначалие, сделают законы более снисходительными и, наконец, достигнут опаснейших излишеств. Всем сердцем хотел бы я, чтобы позволено было мне изгладить первые строки тридцать четвертой книги Тита Ливия. До сего места даже самая суровая критика не могла поставить ему в упрек ни единого заблуждения, и я с тем большим удивлением вижу, что он называет пустяками споры, которые возгорелись вокруг *Уппиева* закона, побудившего Катона произнести приличествующую его достоинству и прозорливой мудрости речь, тогда как трибун Валерий защищал роскошь женщин бесконечно слабыми доводами⁷⁷. Что же, Гомер и Демосфен, по отзывам Горация и Цицерона, также порою усыпляли свой ум⁷⁸, простим сие и Титу Ливию. Я хотел бы все же, любезный Теодон, чтобы общая история, рассказывая мне о начинаниях и подвигах некоего народа против врагов, с той же предупредительностью просвещала меня относительно распространения пороков общества и упадка нравов, каковые предвещают падение самого государства.

Мне остается только сказать еще два слова о том, каким образом, по-моему, должна писаться общая история, когда народ достиг той степени испорченности, что не может помочь уже никакое лечебное средство. Заметьте поначалу, что упадок одного государства не похож на упадок другого, одни содрогаются в жестоких конвульсиях, другие впадают в летаргическую дремоту или в нечто вроде иступления, что еще опаснее. Народ, наслаждающийся свободой, народ, управление коего, долгое время расшатываемое в своих основах, наконец рухнуло, заслуживает изображения всего этого. Нравы, законы и магистраты сего государства не имеют более, правда, никакой силы, но память о них жива. Граждане, страдающие от безначалия, настойчиво заявляют о своих правах, тогда как тот, кто ими пользуется, хочет утвердить свое самовластие. Несправедливость одних делает и других несправедливыми. Не видно более ничего, кроме посредственных добродетелей, но великие дарования остаются, и история от этого может быть столь же поучительно, сколь и заслуживающей внимания.

Дабы вы лучше поняли мою мысль, позвольте мне напомнить вам

историю Пелопоннесской войны Фукидида. Этот историк, коему удивлялся весь древний мир, оставил совершенное произведение, написав для нас историю упадка Греции. Ее республики, упоенные славой, каковую приобрели они, отразив Ксеркса, не чувствовали более надобности сохранять единение. Фукидид живописует греков, готовых забыть законы своего союза. Гордость Афин уязвляет славу Лакедемона, и вся Греция, которая вновь возвращается к раздробленному состоянию, склонна потворствовать честолюбию этих двух городов с тем же мужеством и постоянством, каковые она отдавала бы служению отчизне. Равные достоинства и дарования этих городов являют собой занимательное зрелище, но я, наконец, примечаю, что республики истощают себя, пускаясь в предприятия, им непосильные и вскоре должны они утомиться мужеством и постоянством, каковые противоречат их новым наклонностям. Из этих отношений между Афинами и Лакедемоном и должно было возникнуть греческое безначалие, а из последнего – величие Македонии, и ничто, как вы видите, не может в большей степени просветить и заинтересовать читателя, для которого счастье и несчастье общества не являются предметами безразличными.

Позвольте привести вам еще пример из истории Римской республики. Когда добытые завоеваниями богатства ее разрушили незыблемость магистратов и силу законов, то уже не существовало более публичной власти, раз уж Сципион Назика, столь восхваляемый древними, не имел иного средства воспротивиться намерениям Тиберия Гракха, кроме как напасть на него с оружием в руках в публичном месте⁷⁹. Благородное дерзновение Назики и кровь одного из трибунов, личность коего была неприкосновенна, вот источник длинной вереницы войн, преступлений и несчастий, непрерывно порождавших все новые и новые бедствия. Сия картина не менее поучительна и занимательна, чем изображение счастливых времен Рима. Мне известны, если можно так выразиться, все крайности природы человеческой и в благодати, и в скверне. Римляне ужасают меня своей порочностью, но их дарования заслуживают моего восхищения. Если историк исполнил свой долг, если только он не пренебрег обязанностью дать мне заметить связь, каковая сцепляет все события, одно из двух, или я оказался бы самым несообразительным из читателей, или приблизился бы ко временам, им описываемым, и, сравнивая все происходившее, заключил бы из такового сближения и сопоставления, что политика ведет к счастью только в том случае, когда она черпает правила свои в нравственности.

Но это не относится к тем явлениям упадка, которые обнаруживаются лишь в признаках слабости, малодушия и низости. Пусть история познает свое достоинство и предаст забвению самую память об этих заслуживающих презрения временах. Если посреди пышных празднеств преданного раболепию народа вы найдете государя, не ослепленного своей удачливостью, мудрость и таланты которого приостанавливают крушение его власти, беритесь за перо, ибо вы обязаны

тогда воздать похвалу добродетели. Если выдающийся среди подобных себе изверг или глупец ускорит и приблизит своей порочностью или неспособностью гибельное мгновение в жизни своего народа, вы можете, исторгнув его из небытия, воздать ему по заслугам, а также наставлять государей, не могущих быть добродетельными, дабы они довольствовались пороками сокровенными и не выходящими за пределы заурядности.

Геродиан, по моему мнению, один из самых разумных историков древности, поставил перед собою цель следовать указанному правилу. Вы помните, что он избрал ту известную эпоху, когда несчастья Империи, приостановленные трудами некоторых добрых государей от Траяна до Коммода⁸⁰, возобновляются с неистовой силой стремительного потока, прорывающего сдерживающие его воды плотину. Вы видите Коммода, обремененного доброй славой родителя своего⁸¹. Вы сказали бы, что это омерзительное чудовище пытается избежать преступления, но вскоре, ободренный зрелищем пороков своего народа, сей злодей будет раскаиваться подобно Нерону в том, что он всего лишь подражал. Именно тогда военная демократия подошла к высшему пределу, что можно было предвидеть еще со времен Тиберия, поскольку легионы именно тогда почувствовали, что Империя должна принадлежать им, ибо в них заключена ее сила. Преторианские когорты, усвоившие, наконец, сии честолюбивые мысли, пускают Империю с молотка⁸². По их примеру всякое войско хотело ставить и на самом деле ставило своего императора, дабы обратить его, если можно так выразиться, лишь в первого своего магистрата. Сколь отрадн краткость Геродиана в изложении тех событий, о коих историки наши сочинили бы несколько томов, что отнюдь не сделало бы меня просвещеннее. Посреди гражданских войн мне видится какой-то след прежних принципов и зачинаются перемены, которые должны последовать за тогдашними распрями. Север, опасавшийся Альбина, делает его цезарем единственно ради того, чтобы выиграть время, потребное для уничтожения Нигера, а потом погубить и его самого⁸³. Вскоре после этого полагают обеспечить безопасность императору разделом Империи, и Антонин правит вместе с Гетой⁸⁴. Макрин, который наследовал им, возвысил своего сына в достоинство цезаря, чтобы быть уверенным в надежности обеих армий⁸⁵. Все это весьма поучительно для меня. Я вижу, что у политики, основанной на страстях, нет иных способов, кроме приспособления к обстоятельствам и подчинения им. Я признателен Геродиану за то, что он приуготовил меня к перевороту, который должен, наконец, дать Риму соперницу и сделать из Империи две обособленные и независимые державы.

Писатель равного Геродиану дарования, изобразивший бы для нас историю Константина, не преминул бы дать нам понятие о том, какого рода новых пороков следовало ожидать с того времени, как только легионы утратили былое мужество и мятежный дух, и когда императоры стали более доверять придворным и закоснели на своем троне.

Тогда не нашлось бы и двух-трех государей, заслуживающих известности, а для истории оставались лишь варвары, каковым суждено было вскоре стереть с лица земли и самое имя римлян. Признаюсь вам, что мне отнюдь не ясно, по каким причинам господин Лебо, дарования и познания коего многие достойные особы высоко ценят, мог взяться за общую историю Восточной империи. Одного тома было достаточно, чтобы изобразить ее в бесконечном и всегда неизменном ничтожестве⁶⁶. Многословие его сочинения ужаснуло меня. Говорят, что в нем обнаруживаются обширные познания, что ж, пусть так, но к чему вся эта ученость, которая только и сообщает мне, что о событиях, из коих я не могу извлечь для себя никакой пользы?

Таковы первые пришедшие мне на ум мысли по поводу общих историй, и я мог бы еще многое сказать. А мы с величайшим удовольствием выслушаем вас, — отвечал мне Сидамон. — Но моя вина в том, — добавил он, смеясь, — что я не советовал Теодону взяться за всемирную историю. Мы рассмеялись этой шутке. Если я хорошо понял, — продолжал Сидамон, — обращая ко мне, — из учения, которое вы нам только что изложили, следует заключить, что сам замысел всемирной истории есть дело безрассудное. Возможно ли было бы историку в этом скопище до такой степени различных между собою предметов найти столь нужное единство, о коем вы говорили? Внимание, направленное на столь многое, не даст плодов, способных привлечь к себе и не произведет на меня сильное впечатление. Если я занят историей одного народа, историк непременно вызывает мое неудовольствие всякий раз, когда он вдруг оставляет этот народ и начинает говорить о другом. Разрозненные и отрывочные факты не могут принести мне никакой пользы. Я не говорю здесь о всемирной истории Вольтера, каковая есть не что иное как пасквиль, достойный читателей, полагающихся во всем на мнение наших философов. Но речь идет о господине де Ту⁶⁷. Я испытал при чтении этого автора досаду путешественника, который переезжает из города в город, из провинции в провинцию, то сюда, то туда, постоянно находится в движении, не зная хорошенько, куда едет. Итак, дабы избавиться от повествований столь утомительно длинных, хотя и кратко изложенных, смутных и бесвязных, решил я, наконец, прерывать чтение всякий раз, когда он оставляет Францию, отправляясь в другие государства, кои меня вовсе не занимают, даже в Америку и Индию.

Любезный Сидамон, — продолжал я, — вы правы: историк должен высказать более ревности к здравым суждениям, нежели к учености, коей я вопреки себе не доверяю, коль скоро она хочет охватить все. Если господин де Ту заслуживает порицания за то, что взялся изобразить всемирную историю весьма непродолжительной эпохи, что сказать об историке, который пожелал бы говорить нам обо всем, происходившем от сотворения мира; равным образом я не думаю, что можно написать основательный труд, ограничиваясь историей Европы со времени крушения Римской империи. Пример господина Робертсона дол-

жен внушить нам осторожность и осмотрительность. Разумеется, это человек весьма выдающихся заслуг и то, как он постигал историю своей страны⁸⁸, достойно величайших похвал. Сверх всякой меры ободренный первым успехом, он отважился поместить в начале своей истории Карла Пятого описание тех потрясений, каковы нынешние европейские государства претерпели со времени основания. Прежде, нежели мы получили перевод сего введения в историю Карла Пятого⁸⁹, я слышал хвалебные отзывы об этой книге, как о совершенном творении. Я ожидал перевод с живейшим нетерпением. Наконец он появился, и что же нашел я? Сочинение, читающееся с превеликим трудом, никакого проникновения в глубины, а если говорить об истории Франции, то непременно натыкаешься на все предрассудки и заблуждения наших историков, сочинения коих пробегал он слишком поверхностно. Робертсон ссылается на президента де Монтескье, аббата Дюбо, графа де Буленвилле и меня, недостойного⁹⁰, но кажется, ему неизвестен ни один из сих авторов, поскольку он соединяет в одно целое самые различные, несовместимые друг с другом мнения, вследствие чего и получается законченная историческая бессмыслица.

Справедливо то, что люди, коих нищета не осуждает на полное невежество, не чувствуют себя чуждыми в окружающем их обществе, а потому должны они при воспитании своем усвоить общие принятые понятия о всемирной истории. В сих начальных основаниях, имеющих целью просвещение юношества, не достигшего зрелости, нет речи о том, чтобы сделать зримыми причины событий и раскрывать разнообразие политики. Пусть писатель будет достаточно просвещен, дабы избежать опасных заблуждений и не сделать ум и сердце своих читателей доступными пороку, выдавая им за истины предубеждения толпы. Ему следует заботиться только об укоренении у читателей общих правил нравственности, возвышении их душ, иногда представляя им размышления, возбуждающие любопытство и, если они не лишены ума, подвигающие к тому, чтобы мыслить и изучать более основательно историю своей страны или историю другого наиболее прославленного народа. Для облегчения этого я полагаю более предпочтительным не соблюдать временную последовательность, то есть не смешивать и не перепутывать друг с другом народы, не имеющие между собой ничего общего, а перенять методу Пуфендорфа, который рассуждает о каждой нации в отдельности. Но совсем нет нужды, чтобы непременно подражать его отталкивающей сухости и следовать за ним в означении событий без каких-либо подробностей, кои, не оставляя никакого следа в памяти, неизбежно вызывают отвращение читателей. Та всемирная история, о которой я говорю, должна быть только собранием частных историй, составленных по образцу Флора, дающего некоторое представление о римлянах⁹¹.

Можно было бы начертать себе план всемирной истории, сведя все к нескольким прославленным народам, которые сменяли один другого на мировой сцене, и к некоторым главнейшим эпохам, каковы

принесли с собой перемены для рода человеческого. Именно это совершил Трог Помпей, известный нам только благодаря его сократителю, сделавшему сочтение его почти бесполезным для чтения⁹². Если Юстин ничего и не изменил в общем строе сокращенной им книги, можно утверждать, что сам Помпей не дал себе труда поразмышлять об искусстве размещения и расположения событий и дел, но мне хотелось бы думать, что сократитель испортил его, устранив те связи и переходы, каковые у Трога Помпея служили объединяющими звеньями всех частей его труда. Я говорю так потому, что встречающиеся пороку у Юстина прекрасные места слишком хороши для него⁹³.

Основываясь именно на этих принципах, Боссюэ сочинил рассуждение о всемирной истории, труд бесполезный для людей мало просвещенных, но который будет вечно доставлять наслаждение тем, кто способен понимать его. Сколь глубокий смысл в выборе событий, какое искусство в манере изложения! Мы видим, как создаются, расширяются, колеблются, падают империи — одни вослед другим. Любопытство непрестанно влечет читателей к раскрытию причин этих событий, кои обнаруживают величие и в то же время бессилие всех деяний смертных. В охватывающем меня смущении я кахожу учителя, наставляющего меня на путь истины и просвещающего. Ему достаточно одного слова, чтобы привести мне на память всю историю. Пирр, говорит он, одерживал над римлянами победы, которые привели его к гибели⁹⁴. Сочинение Боссюэ изобилует подобными характерными местами, и я без разбора привожу вам те, которые приходят мне первыми на ум. Рим, которому угрожал Ганнибал, говорит он в другом месте, обязан своим спасением трем гражданам — Фабию, Марцеллу и Сципиону⁹⁵. Изобразив мощными штрихами философию греков и ее достижения, переходит он к римлянам и говорит, что философия у них была иного рода, и отличала ее не споры, не суждения, но умеренность, нестяжательство, тяготы военной и сельской жизни, любовь к отечеству и славе, все то, что сделало их повелителями Италии и Карфагена.

В своей третьей части Боссюэ говорит, что многих предметов коснулся он слишком поверхностно и потому не может рассуждать о них в той степени, как они того достойны. Он прав, и признаюсь вам, что, дойдя, например, до правления Августа, то есть до падения Западной Римской Империи⁹⁶, наш историк впадает в излишнюю краткость. На обломках сей некогда столь обширной Империи я вижу вновь возвышающиеся государства и там устанавливается новый порядок вещей. Пораженный сверх всякого ожидания, я надеюсь найти объяснения, каковые помогли бы мне сблизить прошлое с будущим. Быть может, я ошибаюсь, но позвольте мне сказать, что чтение первой части было бы еще более приятным и поучительным, если бы историк, который как бы наделяет читателя своего крыльями, приберег бы для него несколько мест отдохновения, чтобы остановиться там со своим наставником и рассудить о причинах процветания и падения народов.

Если бы Боссюэ разбросал в своей первой части те глубокие и возвышенные мысли, кои находим мы только в третьей, как мне кажется, он невольно сравнил бы государства древности с теми, кои поднимались на развалинах Империи. Он понял бы, что невежественные варвары, восприимчивые пороки и богатства римлян, не могли возвратить прекрасные времена Греции и Рима.

Рассуждения об этом предмете могут быть бесконечными, но я не хочу докучать вам. Впрочем, пора нам расходиться. О, повремените немного, говорит, удерживая меня Теодон, прошу вас еще пройтись со мною по этой аллее. Вы сказали нам об умеренности, с которой историк должен пользоваться сесею философией, и о том искусстве, которым он должен приправлять ее: *sed lateant vires, nec sis in fronte disertus*⁹⁷. Я чувствую необходимость в сей умеренности, и в таком искусстве, но не имею ясного и отчетливого понятия о законе, знание коего вы считаете необходимым для историков. Судя по тому, что многие исторические писатели в равной степени и просвещали меня, и доставляли мне удовольствие, немалое число оных следовало бышеозначенному закону. Но я хотел бы, чтобы вы помогли мне понять, благодаря чему они сего достигли.

Не знаю, любезный Теодон, смогу ли я удовлетворить ваше любопытство, но попытаемся. Припоминаете ли вы, — продолжал я, — как читали Полибия?⁹⁸ Конечно, — отвечал он, — и настолько хорошо, что, несмотря на всю глубину и мудрость его рассуждений, не полагаю более его перечитывать. Я обращаюсь к нему лишь тогда, когда хочу заняться теми достопамятными мужами древности, коих описывает он в своей истории. Повествование свое прерывает он разного рода отступлениями, и я впадаю в зевоту от восхищения. Прекрасно — отвечал я, — но бьюсь об заклад, что если бы эти наводящие скуку отступления вместо того, чтобы прерывать и затягивать повествование, сделали бы его ярче, одушевленное и интереснее, вы читали бы их с величайшим удовольствием. Полибию пришлось бы подражать Геродоту, Фукидиду и Ксенофону, следовавшим за этими великими образцами, а также Титу Ливию и Саллюстию⁹⁹. Если бы Геродот пустился в рассуждения о монархии, о народном правлении и аристократии, это неминуемо навело бы скуку, и нетерпеливый читатель тотчас обратился бы к самому делу, минуя все эти полные глубокомыслия рассуждения. Напротив, когда политические рассуждения вкладываются в уста Отанов, Мегабизов и Дариев¹⁰⁰, читатель с удовольствием слушает подобные рассуждения и разделяет одушевляющий вождей персов интерес. Другой пример: если бы Тит Ливий говорил от себя против роскоши в пользу закона Оппия, а не устами Катона Цензора, надобно было бы восхищаться им; но *non erat hic locus*¹⁰¹, — прокричал бы я ему, — рассказывайте, но не поучайте, и был бы вполне прав, поскольку Тит Ливий оказался бы в роли ничтожного педанта, выставляющего напоказ мораль, тогда как Катон, следовал долгу человека честного и отмеченного талантами, государственного мужа, который про-

тивился растущей испорченности, усиление коей он предвидит, и против которой он борется ради спасения Республики.

Ваше замечание разумно, — говорит мне Теодон, — и я начинаю понимать истинную причину того удовольствия, каковое доставляет мне чтение некоторых историков. Но заметьте, что вы исподволь вводите нечто романтическое в историю. Читатель не доверяет сим речам, он чувствует, что принадлежат они перу самого сочинителя, и тогда история не внушает ему уже никакого доверия. Не бойтесь ничего, — отвечал я, — довольство вводит нас в заблуждение. Читатели, ищущие только забавы, не будут придирааться к историку, который им нравится, те же, у коих достало ума, ищут знаний и хорошо понимают, что эти речи на самом деле никогда не были произнесены. Они хотят познать побудительные причины, мысли, стремления действующих лиц истории, от историка же, который должен их изучать, требуется просвещать и руководить нашим суждением, и ему благодарны за то, что он придает изложению такое направление, каковое живо поражает наше воображение и делает истину более приятной нашему разуму. Эти речи оживляют повествование, мы забываем о самом сочинителе, вступая в общение с величайшими мужами древности, постигаем их тайны, и поучения их глубже врезаются в нашу память. Я сам слышу всяческие рассуждения и участвую во всех делах. Это уже более не повествование, но самое действие, которое проходит на наших глазах.

Никогда, любезный Теодон, не может быть истории одновременно и поучительной и приятной, без скучных рассуждений. Попробуйте обойтись без них у Фукидида, и вы лишите историю его самой души¹⁰². Сие сочинение, которое все государи и их министры должны бы читать на протяжении всей своей жизни, а еще лучше знать на память, выпадает из ваших рук, ибо не познаете вы ни гения, ни страстей, ни деяний греков в эпоху упадка. Отнимите у Тита Ливия его речи, и вы лишитесь тех внезапно осеняющих мыслей, кои просвещают и возвышают ум, равно как и одного из тех лучших украшений, коими он будит воображение и трогает сердце. Именно отсюда почерпнул я то немного, что известно о политике¹⁰³. Просвещая, он восхищает меня, но, если бы говорил он от своего имени, приводя долгие и посему бесстрастные размышления, то быть может, отвратил бы у меня и саму охоту к чтению.

Тит Ливий подчиняет себя строгим законам, дабы не превратиться в презренного болтуна. По моему, речи надлежит употреблять только по необходимости, то есть в случае нарочитой важности, когда дело касается блага и славы государства или же замышляется некое смелое предприятие; сверх того нужно, чтобы рассматриваемый предмет мог быть подвергнут изучению сведущими людьми с разных сторон. Избегайте при этом общих мест, свойственных школярскому красноречию. Пусть ничто не напоминает о стремлении к словесным приукрашиваниям и напыщенностям. Повинуйтесь только рассудку, доказывайте,

увлекайте меня за собой, и да будет потеряна для меня всякая возможность противостоять вам. Между прочим, любезный Теодон, теперь вы понимаете, сколь важно не пренебрегать занятиями, благодаря коим, как говорил я вам, следует приутоговлять себя к написанию исторического сочинения. Восприявший сие историк поднимается вскоре до главных принципов естественного права и укажет нам, на каких условиях природа дарует обществу благоденствие. И тогда ограничившись лишь изучением действия страстей, направляющих и потрясающих вселенную, смогу я обнаружить среди колебаний и заблуждений постоянное движение, в коем они находятся, и заранее смогу открыть для себя в откровениях моего героя причины вождельного успеха или несчастий, его ожидающих. Говорю вам, любезный Теодон, только то, что испытал я при чтении Тита Ливия. Я возвращался к нему много раз, и всегда с новым удовольствием, но буду перечитывать еще и еще и находить в нем красоты, прежде ускользавшие от меня. Даже то, что известно мне более всего остального, будет и далее восхищать меня, поскольку Тит Ливий рассказывает о них совсем по-другому. Я, к примеру, хорошо помню, что римляне после взятия Рима и пожара в нем хотели покинуть свое отечество и переселиться в Вейи, а Камилл противился этому гибельному намерению¹⁰⁴. В глазах посредственного историка событие это совершенно незначительное, но стоит Камиллу заговорить, и я чувствую себя увлеченным и с наслаждением созерцаю зрелище всех тех чаяний и надежд, кои возвысили добродетели римлян и предопределили их владычество над всем миром: Рим возникает из-под своих развалин навстречу мировому владычеству, и я не устаю следовать за Республикой во всех ее деяниях. Разве битва при Каннах не вызывает в памяти сражение при Аллии?¹⁰⁵ Сципион, определенный судьбой к тому, чтобы победить Ганнибала, — это второй Камилл. Речь, которой он ободрял римлян, готовых покинуть свое отечество, успокаивает встревоженного читателя. Охватывающее меня чувство страха отнюдь не подчиняет меня себе. Я, как и Сципион, надеюсь во всем на исполненную величия, неизменности и мужества политику, ту, которая должна привести Республику к триумфу.

Вот все, что касается образовательной стороны дела. Но если говорить о разного рода приятностях, то вы прекрасно понимаете, сколь способствует им торжественная риторика. Она пробуждает внимание читателя, прерывает однообразие повествования и направляет или скорее побуждает историка пользоваться то одними, то другими средствами красноречия, как высокими, так и менее возвышенными. Не обнаруживая предо мною желанья поучать, она дает мне понятие о различных мнениях, нравах и характере каждого века. Историк с успехом будет вкладывать в уста великих мужей, которых он заставляет говорить, то, что показалось бы оскорбительным в его собственных устах. Вкус есть раб условностей, и историка восхищает в Камилле то доверие к авгурам, которое он осудил бы у Тита Ливия, история

коего, написанная в правление Августа, не должна иметь на себе отпечаток древних суеверий.¹⁰⁶ Возвышенные речи служат еще и к тому, чтобы поселить в уме читателя представление о том главнейшем предмете, который должен его занимать и сделать для него любопытными мельчайшие подробности. Если историк в стремлении подействовать на мою память и придать ясность своему слогу, напоминает о том, что уже совершилось, или о событиях, им уже незадолго перед тем рассказанных, то причиняет он мне истинную неприятность, ибо тем самым не доверяет моей памяти. Того нельзя сказать о каком-нибудь полководце или магистрате, ибо тогда, когда я смеиваюсь, так сказать, с толпою их слушателей, я одобряю в том или другом то, что порицал бы в историках. Вспомните, наконец, с каким искусством сии последние исполняют порою возвышенную риторику, дабы с силой и изяществом обрисовать положение дел в Республике. Например, Саллюстий весьма часто удерживался говорить от своего имени то, что он повелевал изрекать Адгербалу¹⁰⁷. А почему именно? Потому, что он чувствовал неуместность для него самого тех же оборотов речи или выражений в означении духа римлян, еще подвижных древними представлениями, но вместе с тем уже предавшихся корыстолюбию. Наконец, чтобы закончить разговор наш, укажем, что риторика необходима, когда историк повествует о событии, которое должно вызвать удивление и, может быть, возвысит души смертных. Приведу здесь в пример Манлию, подтверждающего смертный приговор, вынесенный им собственному сыну за то, что он одержал победу вопреки его повелениям¹⁰⁸. Даже самый низменный человек не может не отдать дань восхищения отцу, который нашел в себе силы пожертвовать отечеству нежно любимым сыном. Внимая Манлию, я сожалею о нем, но с внутренним содроганием восхищаюсь его мужеством. Я не осмелился бы подражать Манлию, и мне было бы стыдно не воздавать ему хвалу. Но по всей вероятности, похвала самого Тита Ливия вызвала бы во мне лишь негодование, я слышал бы в ней только декламатора, желающего украсить себя благородством, к коему сам он не способен.

Если вы будете писать историю, любезный Теодон, советую вам влагать в уста каждого героя речи, близкие его характеру и приличествующие духу времени; это правило, предписываемое поэтам законодателями искусства, в равной степени годится и для историков. Кто простил бы Фукидиду, если бы Алкивиад, и Никий говорили одинаково?¹⁰⁹ У Саллюстия Марий, Цезарь и Катон выражают свои мысли совсем по-разному. Что касается Тита Ливия, то все выдающиеся личности, которые он заставляет говорить, наделены отличным друг от друга красноречием, и нужно поставить его наряду с Цицероном во главе тех редких гениев, кои всегда обладают слогом, соответствующим тому предмету, о котором они трактуют. У него подданный Филиппа или Антиоха¹¹⁰ никогда не выразится подобно гражданину греческой республики. Древние доводили эту утонченность до изысканной

щепетильности. Если Фукидид заставляет Брасида произнести речь длиннее и витиеватее, чем можно было ожидать от жителя Лакедемона, он заботится заранее предупредить своих читателей о том, что герой его выделялся красноречием среди своих соотечественников¹¹. Что касается назиданий в виде намеков и иносказаний, каковые представляют собою едва ли не единственное, из чего наши современные историки сделали употребление, то они по природе своей равнодушны и вялы. Древние пользовались ими редко, и только в делах менее важных, или когда повествование должно подвигаться вперед быстрее.

Но вот наша прогулка и подошла к концу. Тем хуже, — ответил Теодон, — надобно было вам закончить все то, что вы намеревались рассказать нам об истории. Я просто в отчаянии, но дела вынуждают меня уехать завтра после полудня в деревню; позвольте же нам, Сидамону и мне, похитить ваше утро. С большою охотою, — отвечал я, — буду с нетерпением ожидать вас.

БЕСЕДА ВТОРАЯ

Об исторических сочинениях, касающихся отдельных стран и эпох, каким должен быть предмет оных.

Общие наблюдения или правила относительно всех родов исторических сочинений

Мне показалось, любезный Клеант, что Теодон забудет о нашей встрече, но я ошибся, и вчера явился он ко мне вместе с Сидамоном в назначенный час. Я, — сказал он после обычных приветствий, — пришел просить вашего совета, какие новые средства употребить мне против Сидамона; поверите ли, — добавил он, смеясь, — несмотря на его ум и все то устрашающее, что вы говорили об истории, он упорствует в своем желании сделать из меня историка. Не скрою от вас, он снизошел до того, что признал: с моей стороны было бы безрассудным браться за общую историю, но мне не следует пренебрегать историей частной. Вы видите, — говорил он, когда мы направлялись к вам, — что наш Аристарх¹² не будет сегодня столь суров, как вчера. Все его мысли о совершенстве никогда не помогут сделать хоть что-нибудь. Не будучи совершенным, можно обладать превосходными достоинствами, и неужели древние историки, коим он удивляется, коих читает и будет еще не раз перечитывать, не оставляют ему желать ничего более? Разве не отважился он критиковать даже Тацита? Вам присоветуют приняться за небольшое историческое сочинение, не требующее якобы тех предварительных знаний, каковые внушили вам страх. Прошу вас, — продолжал Теодон, — опровергните это несправедливое мнение, и укрепите меня в драгоценной моей праздности, каковую я предпочитаю всему, и ничего больше не нужно мне для возжеленного счастья.

Сидамон прав, любезный Теодон, — ответил я, — между общей

историей и историей частной великая разница; вчера мы были согласны в этом, если не ошибаюсь, и обе действительно требуют больших знаний, и весьма различных способностей. Между тем я не отважусь посоветовать вам описывать то или иное событие. Не сердитесь, — добавил я, обращаясь к Сидамону, — только бездарный человек способен писать легко, но по несчастью он обречен продавать свое перо книготорговцам. Не без причины противился я вчера предложить Теодону какую-нибудь тему. Он признался, что никогда не имел дела с тем, о чем мы говорили, и из сего я должен заключить: если бы ему указали то, что так и просится на перо историка, пожалуй, его или смутило бы великое многообразие событий и обстоятельств, или, скорее всего он даже и не заметил бы оного. Оно кажется ниже тех выдающихся личностей, которых выведет на сцену, и, повествуя о важнейших событиях, не прочувствует всей их важности и будет задерживать внимание читателя на мелочах, коими следовало бы пренебречь. Вы обнаружите историка, полного современных предубеждений. Из боязни уронить себя в глазах читателя, он не осмелится последовать ни одному твердому принципу, и его переменчивые политические убеждения будут целиком зависеть от описываемых событий. Таковым и было большинство наших историков. Непросвещенная публика с самого начала доставила им великую славу, но образованные читатели в конце концов похоронили их на пыльных полках библиотек. Писателю, прежде чем приняться за историческое сочинение, надлежит долго обдумывать, какую пользу можно из него извлечь, и если вы соблаговолите вспомнить сказанное мною о Таците, вы согласитесь с тем, что нет такого историка, который не испытывал бы страха перед тем, по силам ли ему будет раскрыть причины событий и цепь, их связующую.

Вчера я советовал Теодону обратиться за советом к своему вкусу: ныне, любезный Сидамон, я уже сожалею об этом: я буду строже, и скажу вам, что он не должен полагаться на опыт, пока, благодаря предварительным нашим занятиям, не приобретет он необходимых сведений. Я не разделяю мнения наших философов и уверен, что, не обладая разумом, нельзя сделать ничего путного, но они доказывают мне, что с большим умом, да и с сомнением историка сочиняют посредственные, нередко никому не годные произведения. Они рискуют сделать причудливый выбор, основываясь на мелких и ничтожных соображениях, и придти отсюда к нелепому расположению действия. Не думайте, что я говорю это бессознательно, напротив, у меня перед глазами пример, который повергает меня в трепет от одной мысли о всех этих изготовителях исторических сочинений. Преподобный Бужан был, разумеется, человеком большого ума, и хотя иезуитская сутана не раз становилась для него тягостным препятствием, о нем легко вынести суждение, как о человеке, обладавшем большими способностями к написанию истории¹¹³. Ему было знакомо человеческое сердце, непостоянство и коварство страстей. Во множестве мест у

него ощутима видимая им истина, которую он мужественно обнаружил бы пред нашими взорами, если бы власти ордена не принудили его взять полезные для них меры предосторожности. Кисть его исполнена благородства и дерзкой отваги. Посмотрите, как рисует он Валленштейна, утешающего себя среди опалы тем, что сотрясающие Империю бедствия делают его необходимым для нее. Его описания полны жизни и одушевления, его перо следует за стремительным маршем Густава-Адольфа. Его рассуждения столь же лаконичны, как высказывания древних и, искусно перемежаясь с повествованием, они всецело поддерживают его, не давая ослабевать и приглашая благоразумного читателя к размышлению.

Но скольких талантов недоставало преподобному Бужану! И никогда не будет он помещен в число славных историков, поскольку он сделал ложный выбор или скорее потому, что в некоем весьма важном событии он обратился к замыслам, на которые ему не следовало обращать внимания. Спутав политику с интригой, он невольно доверился репутации графа д'Аво, обладавшего и в самом деле многими достоинствами, даже большими, чем требовалось первому дипломату своего времени¹¹⁴, и уступил дружеским чувствам к президенту де Мемум, который хотел совсем некстати сделать одного из своих родственников героем некоего важного события¹¹⁵. Вместо ожидаемых мною великих предметов, таких, как свобода совести, свобода Империи и новая система власти, целей и выгод, кои охватывают и объединяют север и юг Европы, сей историк, не ведая ни собственных достоинств своих, ни обязанностей, только и делает, что занимает меня беседой о наших дипломатических уловках и обо всех заурядных ухищрениях нынешних переговоров. Он постоянно заставляет героев говорить об условиях мира, которого они отнюдь не желают, и, не доверяя друг другу, теряют время в разговорах о пустяках, касательно коих сами ничего не могут решить.

Однако же преподобный Бужан, будучи разумнее большинства дипломатов, коих он стремится выставить в выгодном свете, чувствовал на каждом шагу, сколь неблагодарен и ничтожен избранный им предмет. Он понимал, что о переговорах, кои по самой природе вещей зависят от военных событий и направляются мелкими страстями различных дворов и привратными интересами их первых министров, нельзя рассказывать во всех подробностях, не позоря при этом самого имени Истории. Я признателен ему за это и хвалю его ум — ведь ему и самому наскучило всерьез излагать все те нелепости, коими полон сей труд. Перо сочинителя, столь ярко живописующее нам военные предприятия, едва влачится, повествуя о переговорах. Скука, охватывающая его при этом, служит ему предостережением, что читателей она и вовсе доконает. Ему следовало бы отказаться от сего предмета или, вернее, поступиться описанием всех перипетий этих переговоров, дабы направить внимание читателя лишь на подлинные причины мира. Но то ли по недостатку сведений, то ли из снисходительности или

ложного стыда, это оказалось уже не в его власти, и, что совсем непростительно, пытается он пробудить интерес читателя и приободить себя самого, говоря, что ставить себе в заслугу ту откровенность, которая ничего не может утаить и позволяет догадываться о самых потаенных намерениях — значило бы наверно судить об искусстве переговоров. Искусный дипломат, присовокупляет он, способен на откровенность лишь при крайней необходимости и то сопровождая оную великой осторожностью. Он может даже иной раз противоречить самому себе, сдеать вид, будто готов поступиться своими взглядами и намерениями, притвориться, будто не придает значения тому, чего на самом деле опасается, и страшится того, к чему тайне стремится. Благодаря этому никто не в состоянии будет проникнуть в его замыслы, и если только противная сторона не выкажет крайней осторожности, он легко может разгадать подлинные ее намерения.

Итак, перед нами весьма умный человек, но он заслужит неодобрение людей просвещенных, а всех других введет в заблуждение, внушив им почтение к Бог весть каким хитростям и уловкам, кои могут пригодиться при каком-нибудь кишашем интригами дворе, но всегда будут бесполезны и даже опасны в управлении делами государственными. Если бы преподобный Бужан приутопил себя к тому, чтобы писать историю, ему не было бы нужды тешиться обманчивыми представлениями. Вестфальский мир¹⁶, который придал правлению Империи неизменный порядок и установил равные законы для вероисповеданий, с ненавистью относившихся друг к другу, который изменил политическую систему Европы, принизил значение Австрийского Дома и возвеличил Францию, закрепив в определенной степени интересы различных народов, показался бы ему одним из наиболее достопамятных событий последних лет. Не думаете ли вы, любезный Сидамон, что историк в этом случае возымел бы более верное и возвышенное представление о своем предмете? Более того чтобы томить меня, повествуя о долгих и бесплодных переговорах, он рассказал бы мне о том, как фанатизм и честолюбие, поддерживаемые талантливейшими и даже исполненными добродетелей политиками, разожгли пламя войны и не давали ему угаснуть в течение тридцати лет, напрягая и усиливая все пружины правления. Он показал бы мне затем, как честолюбие и фанатизм истощаются и ослабевают в предприятиях, которые выше их сил. По мере того, как ослабевают сии страсти я наблюдал бы, как близится заключение мира. Обнаруживая таким образом причины этого, историк касался бы переговоров только для того, чтобы сказать о том, что Франция и Швеция, по-прежнему, несмотря на взаимную подозрительность, состоящие в союзе, нашли способ побудить союзников императора покинуть своего сюзерена и принудили его тем самым согласиться на условия договора, который знаменовал собой крушение политики Карла Пятого или скорее приостанавливал ее действие.

Позвольте мне, — прервал меня Сидамон несколько огорченным

тоном, – позвольте мне не во всем согласиться с вами. Разве не должна история быть точным отображением того, что произошло в действительности? Вне всякого сомнения, – отвечал я. – Ну вот вы и попались, – продолжал Сидамон, – что же дурного в том, что преподобный Бужан привел нам в своем сочинении подробности, на которые вы сетуете? Разве они не помогают нам понять нравы тогдашней Европы, ее дух, образ ее мыслей, ее политику? Но, – возразил я, – если так уж случилось, что у меня нет причин интересоваться этими завлекательными подробностями, разве не напрасно преподобный Бужан станет щедро рассыпать их предо мною? Разве не составлю я себе точное и верное представление о наших переговорах в Вестфалии, если историк в двух словах скажет мне о том, что долгое время трактовали о мире, не испытывая при этом желания заключить его, и что каждая держава, тщась хитростью восполнить недостаток сил, прибегала к средствам обмана и интриги?

Вспомните, с каким достоинством писали о дипломатических переговорах историки древности. В том я согласен, – сказал Сидамон, – и я знаю, что греки и римляне в лучшие свои времена вели переговоры с добрыми намерениями и честностью, каковых уже и не встретишь. Их история живописала то, что происходило в ту пору, а наша должна описывать происходящее сегодня. Древние историки были счастливы, я завидую им и жалею наших, но не порицаю их. Прекрасно, – ответил я, – но, в конце концов, любезный Сидамон, этих греков и римлян развратили преуспеяние и гордыня. Однако не станете же вы утверждать, что Фукидид запятнал свою историю этими пустяками и хитрыми уловками, к которым Греция, увы, уже в достаточной мере прибегала? Разве Саллюстий вдается в подробности о переговорах Югурты с римлянами и об ухищрениях римских послов? Отнюдь нет. Он довольствуется лишь упоминанием, что все в Риме приобреталось ценою золота, а Югурта приказал отправить туда много денег¹⁷. Последуйте за Суллой ко двору Бокха¹⁸. Никогда не бывало обстоятельств более щекотливых и затруднительных. Нет сомнений, что в согласии с добрыми наставлениями преподобного Бужана, в тогдашних переговорах скрывали свои мысли, утаивали правду, притворялись охваченными страхом или не боящимися ничего на свете, что с обеих сторон старались всячески, хотя и безуспешно, обмануть друг друга. Разве станет Саллюстий утомлять читателя этими наводящими скуку подробностями, коими Сулла по возвращении мог забавлять близких друзей? Он и не упоминает об оных. Саллюстиям достаточно было двух страниц и, представив Бокха колеблющимся между Югуртой, коего он не осмеливается покинуть, и римлянами, злопамятства коих он опасается, сей историк повествует нам о том, как герой его решается все-таки перейти на сторону Суллы.

Признаюсь, – прервал меня Сидамон, – это одно из самых прекрасных мест в книге, но сказать вам откровенно, я был бы не против, если бы Саллюстий испортил сию красоту, позволив себе войти во все

обстоятельства действий такого искусного дипломата, как Сулла. Я воспринял бы для себя определенные принципы столь необходимой и многотрудной науки или, если угодно, искусства. Любезный Сидамон, — возразил я, — вы ошибаетесь, ибо образ действий, который привел к успеху Суллы в Мавритании, быть может совсем не был бы пригоден в другой стране и в отношениях с иным государем, нежели Бокх. Что, спрашивается, вы узнали бы, благодаря всем этим подробностям? Что дипломат, дабы преуспеть в делах, должен для начала понравиться тому, с кем ведет переговоры, и после сего внушить ему опасения и надежды. Саллюстий сообщает об этом на двух страницах, чего, если я не ошибаюсь, здравомыслящему человеку вполне достаточно. Какую пользу извлечете вы из всех этих переговоров преподобного Бужана, которые ничего не дают вашему уму? Если они утомляют вас, я рад, ибо это доказывает, что вы не поддались на обман сочинителя. Но хуже, если они занимают вас, ибо, поверьте мне, вскоре ощутите вы склонность к почитанию хитрости и не будете придавать значения истинным способностям.

В добрый час, — сказал Сидамон, — поскольку мне никогда не будут поручены дела государственные, охотно отказываюсь от своей политики. Но, признаюсь, я бы не сумел приноровиться к строгости ваших принципов. Я люблю подробности, они занимают меня и показывают, как происходит дела мира сего. Так вы полагаете, — возразил я, — что я привержен к ним менее, чем вы? Помнится, я говорил вчера, что мельчайшие подробности интересны в общей истории, когда они дают понятие о том, как развивались образ правления, законы, характер и нравы народа или в чем причины того, что подверглись они некоторой порче. Не менее занимательны они и в частной истории, если способствуют раскрытию причин благополучного или несчастного исхода. Но все, что не служит этому, должно быть безжалостно отброшено. Именно для такой воздержанности и надобны рассудительность, превосходный вкус и истинно философский ум. Первое правило истории заключается в быстром движении к цели: все, что встает преградой на ее пути, лишено приятности и должно вызвать неудовольствие читателя. Но пусть это будут настоящие препятствия, а не те пустяки, кои не могут привести в смущение ни воина, ни политика, ни даже просто умного человека. Не будем смешивать, любезный Теодон, различные роды исторического сочинительства: сотни мелких подробностей, сотни забавных случаев, весьма приятные в мемуарах или посольских депешах, принизили бы историю. Позволим этим писателям сочинять, что им заблагорассудится. Они отнюдь не будут бесполезны историку, и даже философ сможет извлечь из скверны Энния¹⁹ золотые песчинки, когда напишет трактат об одной из отраслей политики или управления.

Как бы то ни было, — продолжал я, — важнейшее состоит в выборе предмета для частной истории. Возьмите, — сказал бы я историку, который усомнился в своих силах, — событие, заслуживающее внима-

ния, а иначе рискуете навлечь на читателей скуку. Если лица, о которых вы собираетесь писать, обладают выдающимися заслугами, дарования их послужат для вас поддержкою; в этом случае дух незаметно исполнится возвышенных чувств. Если вы владеете пером, слог одушевленный и благородный привлечет внимание читателя, и вам не нужно будет завлекать его отступлениями и чужеродными приукрашиваниями, кои всегда неуместны. Если бы такой человек, как Тацит оказал мне честь и пожелал знать мое мнение, то отвечал бы ему: всякий предмет достоин вас и только выиграет под вашим пером. Великий государь, тиран, благородный муж, продажный сенат, двор, возвращенный вольноотпущенниками, рабами и гистрионами¹²⁰ — независимо от предмета вы всегда явите перед моими глазами картину величественную и занимательную. Читатели, за исключением тех, коим следовало бы развлекаться только романами, отнюдь не довольствуются бесплодным проведением времени: они стремятся к просвещению, ибо просвещение дает пищу уму. Таким образом, историк должен раскрыть передо мною политическую и нравственную истину того, о чем он повествует. Сему правилу следовали Фукидид, Саллюстий, Геродиан и сам Плутарх, который, дабы основательнее просветить нас, всегда стремился сделать своими героями участников великих событий.

Новейшие времена не имеют недостатка в этих важных предметах. Со времени падения Римской империи в Европе произошло не одно потрясение, каковое властно вторглось в наши нравы, предрассудки, наши законы и политику. Склонность семейства Медичи к изящным искусствам, открытие Америки и утверждение европейцев в обеих Индиях, разве не открывают перед историком обширное поприще? Но, не задерживая свое внимание на посторонних предметах, не находим ли мы в анналах нашей истории эпохи, заслуживающие того, чтобы быть описанными умелой рукой? Не в событиях осязателен для нас недостаток, любезный Теодон, но в историках, способных развернуть перед нами их причины и следствия.

Историки наши, находясь, так сказать, посреди величайших потрясений, не замечают их. В царствованиях Людовика Святого, Филиппа Красивого, Карла Пятого я не нахожу ничего для себя интересного. Историки появляются один за другим и так же один за другим канут в забвение, их ожидающее. Мне досадно, что президент де Монтескье, столь хорошо знавший Тацита, к несчастью потерял написанное им сочинение о Людовике XI¹²¹. Но, может быть, у меня есть образец, коему можно следовать. Его замечанию о причинах величия и упадка римлян представляют собой превосходный политический трактат¹²², но помимо этого он размышлял еще и о старинном французском правлении. Поскольку французы вполне отделились, если можно так выразиться, на волю своих страстей и стечение обстоятельств, кому могло оказаться по силам проникнуть в сокровенные тайны той прославленной эпохи, когда Людовик XI наделил своих преемников

полной независимостью? Надобно было бы изобразить борьбу древних предрассудков с новыми. Последние одержали верх, и старые злоупотребления уступили место новым.

Но если не явилось еще такое произведение, которое достойно было бы величайших похвал, то я могу упомянуть другое сочинение о том же государе. Оно представляет собой подлинный шедевр в своем роде. Речь идет об истории Дюкло²³. Не взяв на себя труд собирать нужные ему материалы, что ставило бы его в необходимость порою рассуждать и думать, он работал над неотделанными и бессвязными экстрактами аббата Ле Грана²⁴, посему и очевидно, что этому историку неизвестно все предшествующие событиям, о которых он повествует, равно как и чрезвычайно важные сопутствующие им обстоятельства и неизбежные следствия оных. Невозможно хорошо описать какое-либо частное событие, не имея общего представления об истории того народа, к которому оно относится, и я готов биться об заклад, что Дюкло прежде чем приступить к истории Людовика XI, не читал ни Мезере, ни Даниэля. Испорченный философией, которая сделала среди нас столь большие успехи, сочетая самое безрассудное самомнение и глубочайшее невежество, он тешил свое самолюбие тем, что показывает ученым образец, как писать историю. Но, по несчастью, он оказался затерянным в толпе безвестных сочинителей, и я боюсь, как бы последовательей его, стремящихся подражать ему, не постигла та же участь.

У нас имеется историческое сочинение, которое во многих отношениях может быть поставлено рядом с наиболее выдающимися творениями древних. Это история переворотов в Швеции аббата де Верто²⁵. Какой восторг испытываешь при чтении сей книги! Во всем вижу я историка, который наблюдениями над сердцем человеческим приобрел великие познания о движении и перипетиях страстей. Тит Ливий, вдохновлявший его, когда писал он о потрясениях в Римской республике, научил его тайнствам своего искусства. Я говорил вам вчера о разного рода затруднениях, кои испытывают, читая историю Рима; таковых не встретите вы в книге о переворотах в Швеции. Здесь раскрываются передо мной причины событий так, что я не теряю из виду цепь, их связующую, и иду вслед за ней, испытывая при этом все новые и новые удовольствия.

Но, любезный Сидамон, — возразил я с улыбкой, — дабы польстить легкомыслию Теодона, просящего защитить его от ваших нападок, я признаюсь вам, что сие сочинение при всех его красотах обезображено в некоторых местах, где сочинитель позволяет увидеть у него недостаток тех докучливых предварительных сведений, о коих мы так много рассуждали. Например, лучше бы он не порицал бесосновательно чрезмерную свободу шведов как причину всех их несчастий. С печалью вижу я, что историк смешивает понятия своеволия, каковое не хочет признавать никакой узды, и свободы, которая знает, что может существовать лишь в уважении и любви к закону. Если бы он готовился к написанию истории, размышляя о природе различных

форм правления, пороках и добродетелях, им сопутствующих, которые должны способствовать их упрочению или низвержению, я думаю, он поостерегся бы неопределенного понятия чрезмерной вольности, говоря мне о старинном безначалии шведов. Иначе мне не понятно, где нахожусь, и мне следует поэтому обратиться к собственному мнению, дабы не принимать за истину ошибочное суждение, каковое предлагает мне аббат де Верто.

И это еще не все. Если бы этот историк задумывался о намерениях природы и о той политике, каковую она требует от нас, не сомневаюсь, что он не стал бы говорить о произведенных Густавом Вазой перемен в правлении, как о высшем благе для шведов. Следовало в этом случае сказать лишь о том, что при благополучных для Швеции обстоятельствах того времени самым благоразумным было сохранение наследственности престола и ограничение честолюбивого духовенства, которое могло властвовать только при помощи смут и интриг, поскольку мятежи, раздоры и озлобление не позволяли прибегнуть к более действенным средствам. Следовало бы дать понятие о том, что шведы, еще пребывавшие в нерешительности между обычаями, воспринятыми ими от старинного их безначалия, и теми, кои подготовили бы наследование престола, оказались в сомнительном положении: избежав Сциллы, не устремлялись ли они прямо к Харибде? Вот что должен был предвидеть историк, и в этом случае мысли его, более ясные и точные, определили бы и мое понимание. Если я не ошибаюсь, историк, внушив мне серьезные опасения за будущее Швеции, тем самым возбудил бы во мне более живой и пытливый интерес к превратностям, которые еще ожидают ее. Испытывая интерес к Густаву Ваза, я бросил бы взгляд и на его преемников и, колеблясь меж опасений и надежд, разве не им обязан был бы я размышлениями, каковые просвещали бы меня. Именно в том, чтобы побудить к размышлениям, и состоит великое искусство, высшее искусство историка.

Не все сюжеты, которые предлагаются в частной истории, являются столь же благодарными, как те, о коих я только что говорил, а равно и повествующие об изменениях обычаев, законов и общего устройства государства. В этом втором разделе частных историй я поместил бы важные события, которые заслуживают того, чтобы быть спасенными от забвения. Выбирайте, — посоветовал бы я историку, — предмет, который мог бы вызвать во мне чувства благородства и величия или наделить меня высшими познаниями, ибо я всегда буду любить писателя, который возвышает меня над самим собой или же расширяет границы моего разума. Нужно, чтобы таковая история являла моему взору великие препятствия и опасности, которые преодолеваются благодаря великим добродетелям и дарованиям. Тогда вы возбуждаете мое любопытство и можете быть уверены в неослабном моем внимании, ибо при чтении вашей книги я ощущаю то сладострастное волнение, каковое обычно ощущают в театре; вы восполняете мою неопытность, и я доволен вами, поскольку еще больше доволен самим

собой. Такова, к примеру, история отступления десяти тысяч греческих воинов, описанная Ксенофонтом¹²⁶. Помимо своей воли читатель двигается вослед за греками, делит с ними тяготы войны, опасности, труды, тревоги. Его охватывает страх, в нем поселяется надежда, перемежаемая восторгом, и порою он вопрошает себя: почему во всей Европе нет сегодня десяти тысяч греков и одного Ксенофонта? И человеку внимательному историк укажет на причину сего.

Могу предложить вам образец столь же в своем роде замечательный, который еще долго будет служить предметом основательного изучения. Я имею в виду Цезаря и его записки о Галльской войне¹²⁷. Цицерон воздал им должное, сказав, что, предлагая читателю как бы лишь подготовительные материалы и записки, Цезарь на самом деле написал совершеннейшую историю¹²⁸. Можно было бы предположить, что описание частных случаев не требует от историка всех тех знаний, о коих я говорю. В самом деле, он не будет иметь случая использовать их, как, например, в общей истории или в описании какого-нибудь переворота. Но если он не обладает ими, то найду ли я историка, подобного Ксенофону или Цезарю, возвышающегося над предметом, о коем он трактует? В полководце, предводительствующем десятью тысячами воинов, мне хотелось бы видеть ученика Сократа. Обладая меньшими способностями, он не был бы столь прост и не казался бы мне столь привлекательным. Разве Цезарь не обязан свойственной ему отрадной лаконичностью своему гению, который побуждал его размышлять о пороках, средствах и свободе отечества своего и который, победив галлов, готовился его поработить? Одно выражения, одного даже слова, как случайно оброненного этими историками достаточно, чтобы просветить меня. Я продвигаюсь вперед стремительными шагами, отнюдь не ощущая при этом скуки, каковую причиняет мне повествователь, колеблющийся на каждом шагу и усматривающий лишь отчасти или не вполне ясно причины описываемых им событий.

Саллюстий по-иному повествует о событии, которое не вызывало никакого потрясения среди римлян, но столь же способно просветить меня и привлечь мое внимание, поскольку он сообщает мне, что Республика, которая не поддерживается более своими институтами, но только заслугами отдельных граждан, неминуемо потеряет свою свободу, коей она уже не достойна¹²⁹. Почему, — спрашиваю я себя, — Югурта, этот государь, во всем уступающий Ганнибалу, может подобно ему сравниться по духу и счастью своему с повелителями мира? Потому, — отвечает мне историк, — что римляне жертвуют всем своему корыстолюбию, как они некогда готовы были на все ради отечества. Читая у Саллюстия об их опасениях за исход войны, которая предкам показалась бы сущей безделицей, я постигаю, что великая империя может обладать весьма посредственными силами, а славные завоевания, благодаря коим надеялись стать еще могущественнее, привели лишь к ослаблению. Вослед первой истине открылись мне и многие другие. Я вспоминаю то, что читал о заговоре Катилины и перечитываю

это уже с большим удовольствием, ибо чем более читаю я Саллюстия, тем больше чувствую себя достойным читать его. У людей все взаимосвязано. Я вижу пороки, каковы, по злополучному стечению обстоятельств, но вместе с тем и по необходимости, породили некоего Катилину, и в будущем не перестанут являть на свет подобных ему опасных сограждан. Мне нравится историк, сделавший меня философом, хотя прежде я думал только о том, чтобы меня забавляли.

Позвольте, любезный Сидамон, вернуться к преподобному Бужану. Неужели вы на самом деле верите тому, что три историка, о которых я говорю, не усмотрели ничего более славного во всей Тридцатилетней войне, кроме графа д'Аво, который вел переговоры о мире? Ведь не был же, например, Саллюстий столь неловок, чтобы заставить играть главную роль на переговорах Суллу, который ничего не мог добиться от Бокха, если бы не внушаемый Марием¹³⁰ ужас. Разве преподобный Бужан не мог за обманчивым процветанием Франции видеть, что мы злоупотребляли им и имели те же самые претензии, в которых укоряли Австрийский Дом? Трое историков, коих должно почитать образцами, проходят мимо всех этих никчемных подробностей, не оказывающих никакого влияния и отнюдь не важными. Дабы научить меня, они повествуют обо всем, чему мы обязаны просвещению, талантам и благоразумию вождей и их подначальных. Чтобы сделать меня осмотрительнее и осторожнее, они внушают мне, как много зависит от непостоянства фортуны, коей великий человек может порою управлять и милостями которой человек заурядный пользуется весьма редко и недостаточно. Создавая свои произведения, Ксенофонт и Цезарь несомненно стремились способствовать воспитанию великих полководцев, но даже ради просвещения они отнюдь не хотели при самом начале истомить их скукой. Если бы преподобный Бужан намеревался образовать искусных дипломатов, он должен был с той же осторожностью опустить все бесполезные подробности, а особенно не побуждать своих читателей ценить скрытность и лукавство, кои наносят вред любым переговорам, ибо разрушают всякое доверие.

Это не все, любезный Теодон, ибо есть еще исторические сочинения, предназначение которых заключается не в повествовании о неких событиях, но лишь о славных мужах. Именно таков интересный предмет, который был предложен Плутархом, и историк сей являет собой совершеннейший образец этого рода сочинительства¹³¹. Правда, ему недостает познаний, о которых я не устаю вам говорить, поскольку никогда еще они не были так нужны и столь редки, как ныне. Но я все прощаю историку, обладающему даром снискать мое доверие и дружеские чувства. Если он вводит меня в заблуждение, то лишь потому, что ошибается сам. Он открыл бы мне истину, если бы она ускользнула от него. Впрочем, политические заблуждения историка никогда не будут столь уж серьезными и опасными, если никогда не отступит он от принципов морали. В самом деле, почитайте со вниманием Плутарха, и он сам вооружит вас против собственных заблужде-

ний. Никогда не сбивается он с дороги, предначертанной природой и, опускаясь в пропасти человеческого сердца, без нарочитых усилий постигает начала добродетели и порока. У него вовсе нет людей, лишенных каких бы то ни было человеческих черт, как у бездарных историков, кои думают, что унижат своих героев, допуская в них человеческие слабости. Герои Плутарха нисходят до меня, внушая мне зависть и дерзкое желание возвыситься, сравняться с ними. Каков же тот дар, благодаря которому Плутарх привлекает и доставляет наслаждение? По-видимому, дело в том, что он не столько хочет просветить, сколько просто побеседовать со мной. И кроме того, являет глазам моим только великие добродетели или великие дарования, весьма отличаясь от лишенных вкуса историков, кои написали столько томов о знаменитых людях новейших времен. Им кажется, что довольно обладать важными должностями и уже одно это дает право на память грядущих поколений. Надобно ли излагать вам мое мнение? Я думаю, что наши политические учреждения, подразделив граждан на различные классы, существенно ограничили их силы и не позволяют надеяться на то, что со временем появится еще один Плутарх.

Воздают хвалу слогу Корнелия Непота, находя в нем даже какую-то легкую искру того политического гения, который сохранялся еще в Риме, особенно в то время, когда уже рушилась Республика, о коей все сожалели, исключая, конечно, тех, кто хотел возвыситься на ее развалинах¹³². Однако Корнелий Непот может понравиться разве что ребенку. Почему он не вдается ни в одну из тех существенных подробностей, которые дают лучшее представление о герое? Вы хотели быть кратким, — сказал бы я ему, — но добились лишь того, что обеднили ваш труд, опустив весьма важное для пытливого рассудительного читателя. В самом деле, любезный Теодон, подробности, самые по видимости мелочные и пустые, обретают великую важность, коль скоро помогают они мне разобраться в причудах и странностях природы, коей доставляет порою удовольствие делать людей столь великими в одном и столь ничтожными в другом, соединяя между собой противоположные свойства характера и чувства. Во всякой другой истории спешите к событиям, но в сей торопитесь медленно, ибо надо узнать сокровенные помыслы сердца человеческого. Славные мужи Плутарха помогают мне познать живущих рядом со мной.

Не знаю, должен ли я говорить вам о Светонии, читать коего едва стоило бы, если бы время не похитило у нас часть творений Тацита¹³³. Историк сей, родившийся в первые годы правления Веспасиана, и обладавший не столь уж блестящим умом и еще меньшим благородством души, не проникся мыслью, что ему должно вести речь о величайшей перемене у повелевавшего вселенной народа, в прежние времена столь ревностного к свободе, но приучившего себя к рабству с легкой и ловкой руки Августа. Светоний, если можно так выразиться, не остановил свой взгляд ни на одной из особенностей этого перелома. Неуверенный, подозрительный и жестокий Тиберий не заме-

чал, что римляне неспособны вернуть себе утраченную свободу, и что уже вскоре после него они не станут даже сожалеть о ней. Историк, пишущему об этом времени, следовало быть более просвещенным, но все, что носит на себе печать великого свершения и в то же время сильно не поражает чувство, ускользнуло от Светония. Не надейтесь узнать из книги его о гении, честолюбии и политике Цезаря, Светоний никогда не увидит в императоре государя и будет судить о нем лишь как о человеке, обнаруживая при этом самый поверхностный взгляд. Он поведает вам, что Август, обладая всей властью неограниченного государя, почитал оскорблением титул господина или повелителя. *Domini appellationen ut melectum et opprobrium semper exhorruit*¹³⁴. В другом месте он сообщит, что император этот, искуснейший из тиранов и самый ревнивый к своей власти, непрестанно трудился ради примирения умов и чтобы сблизить самые противоречивые интересы: *promptissimus affinitatis cujusque et amicitie conciliator et fautor*¹³⁵.

Вспомните, прошу вас, как этот достойный сожаления историк, верящий всему, что говорят, и изнемогающий под бременем своего труда, трактует историю жизни Августа. Светоний, по собственным его словам, не собиравшись соблюдать последовательность времени, но распределил деяния сего государя на несколько разделов сообразно их содержанию. Он льстит себе тем, что благодаря такой методе даст лучшее представление об Августе, а на самом деле она приводит к совершенно противоположному. Читатель не может проследить зарождение, созревание и развитие его надежд и страхов, нравов и политики. Мы не замечаем ни влияния характера Августа на события, ни влияния обстоятельств на его характер. Государь сей, который всегда оставался самим собой, каждое мгновение меняет свое поведение, и у меня нет возможности постигнуть характер честолюбца, который достаточно податлив, чтобы примерять на себя попеременно всякие личины, сообразно со своими намерениями. Если читатель не превосходит Светония ни умом, ни познаниями, то вполне может удовольствоваться подобной галиматьей, но желающему приобрести ясные и верные представления надо разобрать его сочинение на составные части и приложить к ним иную методу. Только придав всему этому неотделанному и плохо пригнанному материалу новый порядок, можно достигнуть цели и познать воистину необыкновенного человека с незатухающими пылкими страстями, который подчинил римлян, делая вид, что потакает им.

Еще два слова о нелепости Светония: как показывает он Нерона в образе двух различных людей. Сначала, говорит он, я собрал все о деяниях сего государя, все маловажное и даже заслуживающее похвалы, дабы не смешивать оное с его подлостями и преступлениями¹³⁶. Какое безрассудство делить человека надвое! Можно ли вообразить себе что-нибудь более способное вызвать раздражение не лишеного здравого смысла читателя? Я хотел бы получить представление о движении страстей и пороков, и о том, как усвоенная привычка к

добродетели противится им. Разве нравственности нечем обнаружить благо свое перед лицом очевидной слабости сердца человеческого и той чудовищной наглости, к которой оно, наконец, привыкает? Я хотел бы наблюдать ту смену чувств, благодаря коей Нерон, удерживаемый поначалу страхом, затем бесполезными угрызениями совести, достиг, наконец, крайних пределов развращенности. Мне кажется, что это дало бы мне возможность извлечь для себя весьма существенные политические и нравственные истины.

Если бы сей строгий и критический тон так утомляюще не действовал на меня, любезный Сидамон, я мог бы привести вам еще многих новейших историков, писавших истории различных государей – и почти также неискусно, как Светоний. Охотно верю, – отвечал мне Сидамон, – а между тем, пока вы говорили о нем, я пытался применить ваше учение к некоторым из наших Светониев. Я не виню их, более того – воздаю им хвалу и признательность за то удовольствие, каковое доставили мне их искания; но оставим все это. Чего, – продолжал он, – ожидаете вы от ваших чересчур строгих суждений? Я бы не хотел видеть все эти рассуждения в каком-нибудь из ваших сочинений: они привели бы в уныние большинство сочинителей. Теодон, коего я обратил в свою веру, готов уже меня покинуть, а с ним и некоторые другие также поддались бы безумному страху, и тогда никто уж не осмелится писать на исторические темы.

Успокойтесь, – возразил я, – пока есть в свете невежды, болтуны и люди, падкие на пустые забавы, не будет недостатка в плохих историках.

Pugnas et exactos tyrannos
Densum humeris bibit aure vulgus¹³⁷

Чем больше недостает нам талантов и просвещения, тем менее приготовлены мы судить о собственных способностях, а из бестолковых читателей всегда выходят посредственные авторы. Что касается людей гениальных, то они повинуются своему дару, и чем больше проникаются истинной идеей истории, тем более приуготовляют себя к ее написанию своими размышлениями и полезными штудиями. Познание сие отнюдь не обескуражит их, напротив, оно придаст им новые силы, и они будут стремиться превзойти самих себя в поисках недостижимого совершенства. Если Цицерон был прав, когда начертал нам портрет риторика, которого не бывает в жизни¹³⁸, то в чем неправ я, желая, по его примеру, совершенного во всех отношениях историка. Положимся, любезный Сидамон, на людское самолюбие: с ним возрастает доверие глупцов, но вместе с тем оно поддерживает людей достойных. Неужели вы думаете, что Тит Ливий не был бы доволен собой, видя, что не удалось достигнуть ему ускользавшее от него порой совершенство? Поверьте мне, если бы Теодон был рожден стать историком, рассуждения мои, нимало не предназначенные опугнуть его, напротив, вдохнули бы в него новую смелость, и он не без удовольствия представил бы

себе сколь славно было бы поприще его в преодолении встретившихся ему препятствий.

Превосходно, — отвечал Теодон, — вполне согласен с вами. Я хорошо понимаю, что меня-то вы не обескуражили бы, если бы только эти приуготовительные познания, которые вы полагаете необходимыми, не оказались чуждыми мне; если бы я ощущал неторопливое и терпеливое спокойствие, которое одно только и помогает находить истину, и, наконец, если бы мог я надеяться, что воображение мое не ослабело бы при написании такого сочинения и сохранило достаточно живости, чтобы явить перед глазами читателя события во всей присущей им и поддающейся восприятию силе, мощи и приятности. Но, — продолжал Теодон, — если вы внушили мне отвращение к написанию истории, то я полагаю, научили меня читать ее с большим для меня удовольствием. Благоволите продолжать свои рассуждения. Мне понятно, какой должна быть необходимая историку просвещенность, но скажите, прошу вас, каким образом удастся ему доставить мне удовольствие и завладеть моим вниманием? Почему его живое, стремительное и одушевленное повествование никогда не прискутит мне? Какой тайной силой пробуждает он мое внимание, непрестанно обращаясь к моему разуму? Я хочу получить представление о том удовольствии или досаде, каковы испытываю при чтении истории. Прирожденные историки без труда постигают это, при чтении же других авторов я утешусь тем, что буду находить источник или причины моего отвращения.

Продолжим же, — прервал я его, — поскольку эта беседа доставляет вам удовольствие. Мне кажется, любезный Теодон, что уже сказанное дает понятие о принципах искусства, благодаря коему историк может нравиться рассудительным читателям и привлекать их внимание. Что касается всех прочих, то не стоит и думать об этом, ведь самая бессвязная и беспорядочная история приведет их в восхищение, лишь бы вызывала она только удивление, льстила модным предрассудкам, без разбора и особой необходимости расточала долгие, путанные или рискованные рассуждения. Но вся эта падкая на восхищение толпа забросит еще недавно вызывавшую восторг книгу, стоит только появиться другому подобному же историку. Мне же — а я полагаю, что могу числить себя среди разумных читателей — отнюдь не понравится та история, которая ничего не говорит моему уму. Именно с этого и следует начать. Просвещение, коего ожидаю я от историка, ни в коем случае не должно быть педантичным: оно утомило бы меня и оттолкнуло. Чтобы нравиться людям, наделенным недюжинным умом, оно должно до некоторой степени избегать всех остальных. В этом заключается метода, которой следовали великие историки, о коих я вам столько говорил. Большинство читателей склонно видеть у Фукидита, Тита Ливия, Саллюстия и Тацита только события, привязанные одно к другому. Они читают с прохладцей, поскольку не замечают ни одной из тех внезапно осеняющих мыслей, которые обращают на себя внимание

просвещенного читателя. Что касается меня, то я предпочитаю, чтобы историк, живо поразив мое воображение, вынуждал меня порой откладывать чтение. Приведенный в восхищение, я закрываю книгу, заставившую меня задуматься, и по некоторым размышлениям с новым удовольствием возвращаюсь к ней.

Здравомыслящий читатель требует не только стремительного повествования, но в равной мере ясного и вразумительного. Главное искусство, таким образом, состоит в том, чтобы подготовить читателя к событиям, кои должны развернуться перед его глазами. Есть ли что-нибудь скучнее господина Гиббона, который в своей бесконечной истории римских императоров¹³⁹ прерывает на каждом шагу медлительное и бесцветное повествование, дабы объяснять причины описываемых им событий? Ничто не должно останавливать мое внимание. Ясность — вот первый закон всякого историка, но нужно искусно пользоваться этим законом, иначе у меня пропадет охота к чтению. И сей второй закон нужен не меньше, чем первый. У меня исчезает всякое желание читать, и я буду изнемогать, если вы допустите, чтобы упустил я из виду ту цель, к которой вы ведете меня, ибо я наделен заурядной памятью, и на вас лежит обязанность облегчить мое восприятие, напоминая мне о том, что я легко могу забыть, читая пространное сочинение, которое без этого было бы просто непонятно. Если же историк поступит подобно господину Гиббону, думаю, что и без его помощи я вспомнил бы уже не раз им сказанное и с отвращением я отверг бы его. *Arg Casum simulet*¹⁴⁰, говорил Овидий о предмете, весьма далеком от того, каковой занимает нас, и сие искусство отнюдь не в меньшей степени необходимо историкам, чем любовникам. Древние и здесь, как и во всем прочем, остаются нашими учителями. Вчера я говорил вам о высокой риторике, а сегодня прошу вас, перечитав Тита Ливия, отметить, с каким искусством умеет он извлечь пользу из нее, чтобы освежить память читателей и поддерживать их неослабное внимание.

В общей истории автор начинает описывать какой-либо народ со времени первобытного состояния, и если историк озабочен тем, чтобы не оставить без внимания развитие его характера и изменение обычаев и политики, то каждое представляемое им событие естественно окажется подготовленным тем событием, каковое ему предшествовало, и предварит то, которое должно последовать за ним. Если я не ошибаюсь, первая декада Тита Ливия повествует о чудесах постоянства, терпения, храбрости или скорее о великодушии, о коих я должен буду прочесть в третьей декаде. Рядом с великими людьми, которые должны одержать верх над Ганнибалом, меня отнюдь не удивит обнаружить нескольких корыстолюбивых военачальников, кои пользуются общими несчастьями с тем, чтобы приумножить свое благосостояние за счет народов Италии, ибо Тит Ливий рисует мне страсти, которые еще немного — и возмутили бы возникшую после смерти Тарквиния Республику. Страсти эти еще таятся, но он уже спешит осторожно

сообщить мне, что ими неприметно охвачены все сердца, и поэтому меня не удивят чудовищные злоупотребления, где найдется место и алчности, поощряемой трофеями из Карфагена, Азии и Македонии в такой степени, что не достанет и всех сокровищ мира, чтобы насытить ее.

В общей истории – если народ, о котором идет речь, сталкивается с новым врагом – и необходимо нам это предварительное изложение, дабы составить о нем представление, смотря по тому, сколь он прославлен, могущественен и опасен для врагов. Какая жалость, что потеряли мы вторую декаду Тита Ливия!⁴¹ Было бы великим наставлением для историков то, что он сначала сказал бы о царстве Пирра и характере сего государя, прежде чем обрушит он войско свое на Италию, а потом о карфагенянах перед повествованием о Первой Пунической войне. Фрейнсхемиус, хотя во многом и уступал Титу Ливию, которого взял он себе за образец, но, не истощив еще в себе прежние силы, трактует в своем прибавлении об этих двух предметах⁴² с присущей ему ясностью и изяществом. Но если вы желаете иметь совершенный образец сего рода сочинительства, вы найдете его в Фукидиде. Невозможно дать лучшее представление ни о положении, ни об интересах различных народов, кои населяли Сицилию, куда афиняне отважились устремиться войною⁴³.

В частной истории мы замечаем совсем другое. Здесь подобно театральному сочинителю историк должен вдаваться в подробности, каковые дали бы представление о временах предшествующих, по тому влиянию, которое они оказали на представляемое событие: мэтры стихотворного искусства предписывают драматическому поэту возможно быстрее развивать сочинение в целое действие, которое должно вызывать интерес и пробуждать трогательные чувства. Историк в не меньшей степени, чем поэт подчиняется сему закону. Он покоится на характере нашего жадного к знаниям ума и требует краткого изложения того, что предшествовало основному действию. Говорите только то, что настоятельно необходимо для понимания вашей истории. Старательно просвещайте читателя, дабы он не испытывал никаких трудностей среди множества событий, о которых вы собираетесь ему рассказать. Чем доходчивее вы объясните, тем легче ему будет постигнуть ваши мысли и вернуться к ним когда в том будет нужда.

Во всем остальном, если сможете, подражайте Саллюстия – но не в том, как он излагает заговор Катилины. После того, как он изобразил сего достославного заговорщика, к чему снова заводить речь о прибытии Энея в Италию?⁴⁴ Саллюстий мог со свойственной ему быстротой окинуть взором это многовековое пространство, но он медлит, несмотря на сжатость изложения, ибо в том, что он говорит, не было никакой необходимости ни для самих римлян, ни даже для нас. Достаточно было бы сказать, что добродетельный Рим покорил весь мир и воспринял все его пороки, несовместные с древними законами и свободой. Надо было сразу перейти к десятой главе, которая представляет собой

великолепнейшее изображение испорченных римских нравов. Я готов к любой подлости, каковую может изобресть злодейство, но в то же время меня изумят замыслы Катилины и влияние его на своих сообщников. Я готов ко всему, но, не предвидя ничего заранее и побуждаемый любопытством, буду сохранять неослабное внимание.

В своей истории переворота Густав Вазы аббат де Верто изложил все предшествующее со всей желаемой краткостью и вместе с тем не забыл ничего из того, что необходимо для понимания событий. Поэтому повествование его и продвигается вперед с восхитительной быстротой. Все без труда становится мне понятным, и если я хоть немного могу отдать себе отчет в том удовольствии, каковое испытываю, то уже за одно это признателен я историку, не позволяющему мне сбиться с пути и дающему мне возможность обнаружить цепь, связующую причины и следствия.

Предложив вам образец, коему должно следовать, приведу вам изложение предшествующих событий в Вольтеровой "Истории Карла XII" подражать которой ни в коем случае не следует. Сколько нагромождено там! Поистине, чего только ни позволяет себе историк, если он глубокий невежда! Поразившись только что узанному, он отнюдь не сомневается в благодарности читателей за его ученость, он ничего не хочет терять и щедро наполняет свою книгу всем, что ни попало. Между тем какая нужда мне знать, что в Швеции известны только два времени года, зима и лето?¹⁴⁵ К чему занимать меня длинными рассуждениями о жестоких законах и диких нравах шведов в старину?¹⁴⁶ Безусловно, они повлияли на переворот Густава Вазы, но до всего этого нет никакой нужды в "Истории Карла XII". Следовало бы ограничиться указанием на то, что королевское достоинство было со времен Вазы наследственным, и что Швеция благоразумно не оградила себя мудростью против абсолютной власти, превратившейся в деспотизм при отце Карла XII, и что сей государь, воспользовавшись раздорами среди своих подданных, чтобы еще больше унижить их достоинство, не мог, однако, совершенно подавить то благородство и величие души, коему они обязаны правлению Густава-Адольфа. Вместо бесполезного изложения предшествующих событий, вы видите, что Вольтер мог бы сделать его весьма и весьма превосходным и привлекающим внимание, если бы знал, сколь полезно это для объяснения причин случившегося.

К несчастью, Вольтер закончил все литературные труды прежде, нежели ему стало понятно, что же все-таки он хотел сделать. Разве вас не удивляет историк, который забывает рассказать о нынешнем положении Швеции, и, не предвидя, что необычайный характер его героя должен явиться причиной потрясений в нравах и образе правления шведов, тратит свое время на изучение только настоящего времени, а затем внезапно обращает свой взгляд в будущее, чтобы сделать тем самым очередную ошибку?

В самом деле, вместо того, чтобы изобразить мне царя Петра I таким,

каким он был еще в начале войны, он показывает его таким, когда преодоленные им невзгоды способствовали развитию всех сторон его гения¹⁴⁷. Из всего этого возникает новое препятствие, каковое некоторые из читателей не замечают; но оно приводит в замешательство тех, кто стремится составить себе представление о происходящих событиях. После столь порочного изложения предшествующего вы не вправе ожидать дельную историю. Деяния героя будут беспричинны, а историк будет следовать за сим помешанным подобно безумцу.

Не могу умолчать об изложении предшествующих событий, принадлежащем перу Геродиана, которое обладает всеми желаемыми качествами и представлено самым искусным образом. Марк Аврелий, достигший уже довольно преклонного возраста и приближавшийся к концу жизни, являет собой трогательнейшее зрелище. Я разделяю живое беспокойство, волнуемое государя при одной только мысли о том, что безграничная власть вскоре перейдет в руки пятнадцатилетнего ребенка. Добродетельный отец вспоминает злоупотребления тирана Дениса, насилия, жестокости, иступление преемников Александра¹⁴⁸, и я вместе с ним трепещу за судьбу римлян. Опасения мои возрастают, когда, переходя к более близким примерам, он показывает мне чудовищные излишества Нерона, более памятные жестокости Домициана и то терпение римля, которое до некоторой степени порождает пороки из властителей. Я уже не сомневаюсь более, что Коммод был развращен и благодаря своему богатству и нравам общества. Меня трогает речь, которую умирающий Марк Аврелий обращает к тем из своих друзей, коим он поручил воспитание сына. Будьте ему отцом, говорит он, и повторяйте неустанно последние мои наставления¹⁴⁹. Вот одна из тех черт гения, каковая не может не вызвать восхищения, и для того, чтобы судить о несчастьях, кои должна была испытать Империя, будь то внутренних или внешних, равно как и о причинах, каковые их вызовут, я должен лишь вспомнить последние мгновения жизни Марка Аврелия. События притекают одно из другого, и мне уже заранее становится вполне ясной история крушения Империи.

Но прежде чем оставить этот разговор, позвольте мне заметить, что изложение предшествующего в частной истории требует более обстоятельных подробностей – смотря по тому, какое правление, законы, обычаи и характер у народа, о котором вы хотите со мною беседовать. Но, быть может, народ уже не составляют граждане, и он пребывает в бездействии под рукою им управляющего? Вам надобно только дать мне представление о характере, нравах и дарованиях сего удивительного человека.

Я в восхищении, – сказал Сидамон, прерывая меня, – горю нетерпением, когда вы дойдете наконец до изображения этих личностей, каковые проливают необычайный, поистине возвышенный свет на историю и составляют одно из чудеснейших ее украшений. Я всегда с удовольствием читаю о них. Тем лучше для вас, любезный Сидамон, –

ответил я, — ибо наши историки не допустят, чтобы вы испытывали в этом недостаток, и их воображение оказывает им при этом великую услугу. Но, что касается меня, я более привередлив, и отнюдь не всегда мне по душе сии украшения. Когда является человек, выдающийся по своим добродетелям, порокам и талантам, который вносит перемены в жизнь страны, придает новые силы ее устройству или посягает на него, стремитесь к тому, чтобы изобразить все это передо мною. Не показывать мне Аристиду, Фемистокла, Перикла, Алкивиада, Камилла, Деция, Фабриция, Сципиона и прочих — значит пренебречь моим просвещением и приближением ко благу или отвращением от зла. Входите во все подробности, у подобных людей не бывает ничего не достойного внимания; безделицы оборачиваются добродетелями и величием. Но пусть историк не задерживает свое внимание на личности, не заслуживающей внимания разумного читателя. Изобразите мне тех, кои совершают перевороты и направляют великие начинания. Дайте мне понятие о том, каким образом их нравы и таланты переменили лицо империй и республик. Я предпочел бы увидеть, как проистекают события из характера сих великих мужей, и я признателен историку, раскрывающему в страстях и дарованиях причины событий, каковые я мог бы счесть творением судьбы. Характер, будь он даже достоин презрения, интересен и притягателен для меня, лишь бы он производил неизгладимое впечатление. Так, например, историки могли бы извлечь пользу, раскрыв свойства нашего Карла VI, безрассудство коего, то сумасбродное, то неистовое, направило страсти французов в новое русло и повергло в прах прежние нравы, дав место новым заблуждениям.

Изобразив великую личность, пусть историк ни в коем случае не показывает мне такого героя, который не зависел бы от своего века или не имел никаких пороков. Это означало бы отсутствие всякого понятия о природе человека. Характер всегда порождается нравами, воспитанием, либо обстоятельствами, к коим надобно применяться, дабы осуществить свои замыслы. Страсти всегда остаются страстями, но, благодаря общественным законам и обычаям, проявляют они себя по-разному. Манлий Капитолин равнялся в честолюбии своем с Марием, но Тит Ливий ни в коем случае не станет писать портрет первого из них, употребляя те же краски, которыми он пользовался в той части своего произведения, что до нас не дошло. Эти тонкие оттенки суть плод гения, и я предпочитаю открывать в необычайной личности и унаследованное от природы, и привнесенное обстоятельствами. Манлий у Тита Ливия скрывает свое честолюбие под личиной добродетелей, наиболее способных прельстить римлян, и Марий среди обогреного кровью подданных города будет тиранически править в еще свободной, но уже более не заслуживающей такого именованья Республике¹⁵⁰.

Нет ничего прекраснее характера Катилины, выписанного Саллюстием. Вы видите человека, выдающегося по своим качествам.

который отмечен печатью самой отвратительной испорченности и в то же время сохраняющий понятия о величии, каковые еще носил тогда в себе Рим. Я предпочел бы увидеть, как из лона разврата и при помощи мошенников, коих он удостоил быть своими сообщниками, отваживается он составить заговор, наводящий страх на тех, кто его обнаружил. Все сочинение есть высочайший образец изображения характеров. Катилина действует с уверенностью, порожденной как собственным его дерзновением, так и пороками римлян. Цицерон не осмеливается вверяться законам, слабость которых он сознает в ту самую минуту, когда последний раз они одерживают победу. Катон и в наше время также скрывал бы в уединении свою рожденную стоической философией добродетель, каковая с тех пор не была уже известна в Риме. Занятый единственно справедливостью и благом Республики, он что бы ни случилось, высказывает свое суждение в Сенате, подобно тому, как это было во времена Фабия и Регула, меж тем как Цезарь, соединявший с некоторыми добродетелями более обширное, нежели у Катилины, честолюбие, взирал на волнения, беспорядки и пороки римлян как на опору задуманной им тирании.

Давайте избегать сверхъестественного в характерах. Не без причины, любезный Теодон, сказал я вчера, чтобы историк всерьез занялся изучением страстей. Как сможет он без этого распознать, чем мы обязаны природе, а чем – превратностям судьбы? Природа наудачу рассыпает свои дары, щедрой рукой расточает она эти полудобродетели, полупороки, эти полуталанты, каковые делают нас способными к восприятию любого характера, которым нас захотят наделить, а чаще всего вообще никакого. Когда она хочет облагодетельствовать кого-нибудь и сотворить тех, кои делают честь роду человеческому, она одаряет их преобладающей страстью и в то же время умом достаточно деятельным, плодотворным и здравым, дабы оказывать ей пособие и подготовить успех, в коем чувствует она необходимость, чтобы уберечь себя, увеличить свои силы и укрепиться. Такое произведение природы пока лишь едва очерчено, но именно обстоятельства и события, которые происходят вокруг нас, поражают и привлекают внимание, воодушевляют или сдерживают движения чувств нашего характера, ослабляют его или сообщают ему новую силу. Фортуна же лишь окончательно совершенствует и кладет последние штрихи.

Характеры выдающихся людей имеют, если можно так выразиться, свое детство, юность, возмужалость и старость. В том, чтобы не смешивать эти различные возрасты и отличать в них, что природа и случай сотворили отдельно друг от друга, а что – сообща, и обнаруживается великое искусство историка. Именно это распознавание придает Тациту тайное очарование, которое невольно привлекает меня в его книгах. Он показывает в Тиберии честолюбие Цезаря, которое может удовлетвориться только обладанием самой неограниченной властью, но оно неуверенно в себе и осмотрительно, поскольку государя подозрительного и завистливого оно приучило бояться, как бы на смену

ему не пришла Республика. Я с удовольствием вижу, что Тиберий, скованный усвоенным обыкновением, не осмеливается выказать честолюбие трепещущему у его ног Сенату. Он правит рабски: оттого и происходит та потаенная тирания, каковой у него не было бы, царствуй он в стране, привыкшей к монархии. Его стремление к власти, постоянно усиливающееся и стесненное препятствиями, кои рисует ему его воображение, и его неуверенность следуют за ним и на Капри; но и там не отдается он на волю сладострастия, а пытается только тешить или обмануть свое честолюбие наводящими скуку наслаждениями.

Вот каким образом искусный художник рисует характер, а не смешивает все, как это делает Сарразэн в портрете Валленштейна. Наши новейшие историки отнюдь не сваливали бы в одну кучу эти прекрасные противоположности, до которых они столь любопытны, если бы изучали то, чем люди обязаны неизменной природе и переменчивым обстоятельствам, кои повелевают страстям приспособляться ради достижения цели. Все эти вымышленные образы, положенные в основу исторического сочинения, до крайности смехотворны, и автор, чтобы и далее не отступать от высказанных суждений, совершает тысячу нелепостей. Как бы то ни было, я хвалю Сарразэна за то, что, едва начав, он оставил свою историю: ему было бы непосильно изобразить деяния своего героя¹⁵¹. Показывая великого человека, говорите мне лишь о его добродетелях. Сему правилу следовали великие историки; и в самом деле, что подумали бы вы о Саллюстии, если, желая изобразить честолюбивого Мария в его войне с Югуртой, он присвоил бы ему как прирожденные все привнесенные обстоятельствами пороки? Если и вы того же пожелаете, то в конце вашей истории помогите мне составить верное представление о великом человеке. Укажите мне главное, никогда не покидавшее его качество, но которое подобно Протею¹⁵² принимало самые различные облики. Тогда почерпну я из ваших сочинений полезные наставления, научусь познавать людей, проходящих у меня перед глазами, равно как и самого себя, и не вверяться непостоянству человеческих добродетелей.

Не могу не поддаться искушению, — продолжал я, — и для того, чтобы дать вам образец самого странного и скверного из известных мне исторических портретов, с вашего позволения я покажу вам, каким образом преподобный дю Серсо бестолково пачкает образ знаменитого Риенци. Он сообщает нам, что "сей человек был рожден среди подонков общества, но что он весьма преуспел в науках и, обладая как умом, так и возвышенностью мыслей, он сделался весьма искусен, приобрел славу человека необыкновенного и заслужил уважение и дружбу Петрарки. Он был красноречив (говорит историк), занимался древней историей и сравнивал оную со своим временем. Из этого сравнения он вынес суждения, каковые явились основой его жизни. Риенци проводил время в размышлениях над Цицероном, Валерием Максимом, Титом Ливием, Сенекой и в особенности над ком-

ментариями Цезаря. Он имел довольно высокий рост и благородную осанку". К чему все это? Лишь для того, чтобы рассказывать нам невероятные вещи! "он являл собою необычайное смешение добродетелей и пороков, прекрасных качеств и недостатков, талантов и неспособности, кои, казалось, противоречили друг другу и тем не менее, объединяясь, придавали характеру высокие достоинства". Постигаете ли вы после этого выдающийся ум Риенци, его возвышенную душу, его высокую образованность? Затем дю Серсо что было сил пускается в противопоставления и нелепости. Его герой "умен и груб, коварен и простодушен, горд и уступчив, благоразумен и отважен. Его могли принять (присовокупляет он) за глубокомысленного политика, способного на самые дерзкие предприятия, но он испытывал врожденный страх, не позволявший ему пуститься в оные. Слишком мало способностей, чтобы думать о препятствиях, встававших на его пути, и недостаточно храбрости бороться с ними. Его отвага доходила до неустрашимости и тотчас оборачивалась слабостью". Что за нелепости! Но это еще не все, он сообщает нам, что "коварство Риенци было основано на свойственном ему простодушии, что лицемерие его имело своим источником что-то вроде того же простодушия. Он был до того честолюбив, что вознамерился воплотить идею всемирной монархии. Будучи до сумасбродства безрассудным (сии выражения я отлично помню), он обнаруживал тонкую рассудительность".¹⁵³

Вы правы, — отвечал мне со смехом Теодон, — вот совершенное творение, превосходящее все мыслимое. Но я уверен, что прочитав оное, вы не испытали искушения продолжать дальше. Прошу прощения, — отвечал я, — мне было любопытно узнать, как сочинитель выпутается из всего этого. Меня удивило, что историк не смог понять человека, весьма выдающегося среди современников, который в более счастливые времена свершил бы величие деяния. Глубоко тронутый различием, каковое усматривал он между правлением древних римлян и правлением изгнанных в то время из их столицы пап, где они не умели управлять, он негодует на унижение своего отечества и хочет отомстить за него. Не ожидая помощи от народа, представлявшего собой лишь подлый сброд, притесняемый баронами, и не имея возможности поступать подобно государю или папе, он принужден дознаваться о настроениях умов с крайней осторожностью, вести переписку тайнописью, но, прежде чем заявить о своем намерении установить свободу, он хочет знать, желает ли ее большинство народа и заслуживает ли он своего трибуна. Я согласен, что средства Риенци, весьма необычного свойства, но то, из чего он исходил, и цели, каковые он преследовал, все сие весьма благоразумно и осмотрительно. Этот трибун нового Рима, который бы конечно играл значительную роль в древние времена, совершил только одну, но зато отнюдь не маловажную, ошибку, которая тотчас же разрушила все его надежды и замыслы. Честолюбие Риенци, благодаря коему он в своих собственных глазах приобрел ореол восставшего рыцаря, не кажется мне большим,

нежели честолюбие какого-нибудь городского обывателя. Испытывая желание выказать себя дворянином, он и не догадывался, что унижает свое достоинство трибуна, возвышавшее его над дворянским сословием. Минута рассеянности и слабости губит его окончательно. Он не может более добиться успеха, заслужив презрение принявшей его в свои ряды знати, и стал ненавистен народу, от которого он отошел. Отсюда беспомощные усилия воскресить слабеющую власть и все новые и новые средства, кои употреблял он к ее восстановлению, но которые не внушали более ни доверия, ни страха. Однако же довольно об этом историческом сочинении, для которого надобен был Саллюстий, а не посредственной стихотворец, возжелавший, по честолюбию своему, стать последним из ни на что не годных историков.

Чтобы правильно судить о людях, появлявшихся на великой исторической сцене, историк должен изучать и распутывать ту страсть, каковая образует, если можно так выразиться, существенную сторону их характера. Сравните между собой различные их поступки. Следуйте за вашим героем, изучайте его в различных обстоятельствах. Всегда ли проявляется одна и та же страсть, хотя бы и изменившаяся, благодаря всяческим случайностям и в различных облициях? Вы далеко продвинулись вперед, вы поняли причину, побуждающую к действию человека, коего хотите вы изобразить. Размышляя над этим, вы откроете, каким изменениям подвержена сия причина, то ли благодаря стечением обстоятельств, то ли из-за низменных страстей, каковые она вмещает в себя. Представляя себе возвышение Суллы, я готов приписать ему безграничное честолюбие, но для меня очевидно в нем лишь обыкновенное честолюбие гражданина, если примечу, как напрягает он силы, дабы сделаться повелителем мира с тем только, чтобы противодействовать Марию, который хотел его обесславить и тем принудить к отречению от диктаторской власти, не дожидаясь пока его убьют. У Мария же было поистине безграничное честолюбие. Как бы велика ни оказывалась его удача, он никогда не довольствовался ею; успехи усугубляли его честолюбие, невзгоды озлобляли и самые отвратительные средства кажутся ему вполне пригодными, если соответствуют его видам. Пусть историк ни в коем случае не думает, что господствующая страсть, как, например, честолюбие, всегда одного и того же свойства. Честолюбие Цезаря и Помпея отнюдь не одинаковы. Один замышляет разрушение Республики, но вовсе не ради того, чтобы самовластие, каковое хочет он обрести при Фарсале, было благодеянием для презираемых им сограждан. Другой, возросший среди сторонников Суллы, хочет заставить неспособных к самоуправлению римлян просить его принять верховную власть. Дабы искоренить в себе привычку молодости, надо было, чтобы честолюбие его воспламенилось примером Цезаря, сделав его более деятельным, и гнев его сделал бы тиранию столь же суровой, сколь тирания Цезаря была невозмутимой и умеренной.

Не следует спешить с суждением о характере какого-то человека.

Легко можно ошибиться, если судить по первым его поступкам. Ришелье и Мазарини, столь отличные один от другого, всю жизнь стремились возвыситься одними и теми же средствами. С первого взгляда я вижу в их низкой и коварной игре одно и то же побуждение. Подождем, обстоятельства вскоре проявят и раскроют передо мною подчиненные страсти, кои служат, так сказать, одной всепоглощающей, и сообщают ей различные оттенки. Мазарини, скажу я себе, должен был обладать лишь робким, подозрительным, но вместе с тем и проницательным честолюбием, поскольку он продолжает интриговать, пользуясь уже самодержавной властью короля в точности так же, как он интриговал, чтобы завладеть ею. Мне кажется, что Ришелье приходилось делать над собою усилия, когда надо было унизиться до интриги, и что он утешал себя лишь надеждою на успех. Как только у него появляется возможность, он становится твердым, высокомерным и властным, он подчиняет Людовика XIII, заставляя трепетать придворных. Вы сказали бы, что он хочет отомстить за первые свои низости и тем изгладить саму память о них. В большей мере благодаря силе характера, нежели блеску своего ума и мудрости своих проектов, удивляет он врагов и добивается успеха.

Во главе государственных и прочих дел нам видятся только ложные добродетели и, если можно так выразиться, выдуманные пороки. Каким образом могу я различать оные, если время не помогает мне, являя этих великих мужей в различных положениях и обстоятельствах? И если большинство, всегда склонное к неумеренности, считает их образцами бескорыстия, великодушия и любви к общественному благу, я, со своей стороны, воздерживаюсь от суждения. Всякая добродетель, стремящаяся поражать, кажется мне подозрительной. Мне известно, что всепоглощающая страсть способна на великие жертвы и что в более счастливые времена она надеется вознаградить страсти, кои ей служат. Но мы никогда не достигнем конца сего рассуждения, оставим это, любезный Теодон, и рассмотрим, каков должен быть порядок повествования, без которого историк не может рассчитывать на добрую репутацию.

Порядок — это то, что наиболее необходимо в историческом сочинении, и не нужно иных доказательств, кроме множества книг, кои содержат много хорошего, но отнюдь ничему не способны научить, поскольку утомляют и надоедают большинству читателей. Мы все знаем это по себе: истина кажется сомнительной, если она не подготовлена тем, что ей предшествует, и неуместная красота есть недостаток, но, будучи поставлена на свое место, обретает она новую цену.

*Ordinis haec virtus erit et venus, aut ego faller,
Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dici;
Pluraque differat, et praesens in tempus omittat*¹⁵⁴.

Если рассказанное заранее объясняет мне то, о чем пойдет речь далее, это не остановит меня, напротив, я лишь еще более погружусь

в увлекшее меня чтение. Но, полагаю, историку труднее всех прочих сочинителей обрести сей порядок. Его придавливает тяжесть огромного числа источников и, если он не сумеет привести их в порядок для того, чтобы возвести исправное здание, то читатель потеряется в безвыходном лабиринте. Я испытал это, читая "Историю дома Стюартов" Юма. Вместо обещанного там оказались записки, служащие к написанию истории. И как мог я одобрить сочинение, которое историк то ли по неумению, то ли из-за лености или медлительности ума набрасывает лишь в общих чертах? Все эти бессвязные факты ускользают из моей памяти, я потерял время и уже не могу судить о событиях, кои прошли перед моими глазами^{154а}.

И тщетно надеяться на ясный порядок в историческом сочинении, если не обдумана каждая из ее частей в отдельности. Сопоставьте их, чтобы найти между ними наилучшее соотношение. С помощью наших приуготовительных штудий постарайтесь расположить их таким образом, чтобы они разъясняли и дополняли друг друга. Одним словом, следуя наставлению Горация, овладейте предметом своим вполне.

*Cui lecta potenter erit res,
nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo*¹⁵⁵.

Порядок сей состоит по большей части в изложении предшествующих событий, о коем я только что говорил вам. Как только историк ясно представит себе, какова его цель, ему будет легко, я уверен, устранить посторонние или малозначительные сведения и показать влияние одних событий на другие. Благоволите заметить, что во всех государствах, во всех предприятиях, во всех делах один или два главные начала определяют успех и увлекают за собой подобно стремительному потоку все отдельное и второстепенное. Познание основополагающих начал и составляет сущность великого государственного мужа, и лишь никогда не теряя их из виду и неотступно преследуя свою цель, он может быть уверен в успехе. Так же и историк: именно на эти предметы он должен обратить внимание. Тогда он без труда обретет воделенную ясность. Все становится простым, и я незаметно просвещаюсь, ибо события запечатлеваются в моей памяти, поскольку я не теряю из виду связующую их цепь, а цепь эта станет нитью Ариадны¹⁵⁶, которая не даст заблудиться моему разуму. Таково удивительное искусство Тита Ливия, и вот вам лишь один пример: вспомните, как в третьей своей декаде, когда, представив разом великое множество предметов, он обращает наше внимание на одного Ганнибала, гений коего колеблет судьбу Рима. Все, что происходит вне Италии, соотнесено лишь с карфагенским вождем. Рим в своих военных действиях помышляет только о том, чтобы уменьшить силы Ганнибала, и не дать Карфагену случая возместить себе те потери, ценою коих одерживает он победы¹⁵⁷.

Если государство столь счастливо и благо разумно, что знает свои

силы, бережет оные и не растрачивает их одновременно на разные предприятия, то это облегчает труд историка, и чтобы придать наилучший порядок своему повествованию, ему надо лишь в точности соблюдать последовательность событий. Но если сие государство, по неведению своих выгод или какому-то роковому стечению обстоятельств, позволяет себе ввязываться разом в несколько дел, не различая при этом главное от второстепенного, то опасаясь, труд историка окажется не лучше, чем та республика, историю которой он пишет. И если сами правители не понимают ни своих дел, ни своих намерений, то и историк, который не более искусен, нежели они, будет нанизывать одни события вслед другим, наводя на вас лишь скуку, и бесплодное его повествование будет являть жалкую и отталкивающую картину. Не имея в виду никакой конечной цели, он некстати оставляет предмет, о котором трактует, и столь же некстати возвращается к нему, чтобы вскоре опять оставить без всякой видимой причины. Он кромсает события, рубит их на части и никогда не представляет их в надлежащей соразмерности.

Какое же средство остается в таком случае историк? Ему надо быть несколько искуснее своих героев. Чувствуя неловкость положения, в которое ставит его их запутанная политика, пусть он отнюдь не скрывает сего затруднения и предупреждает о том читателя: мне кажется, что я менее нетерпелив, когда меня просят проявить терпение. И пусть после глубоких, но непременно кратких размышлений он расскажет об ошибках Сената и военачальников, пусть возвысится над ними, и я последую за ним, и в надоевшем повествовании почувствую утешение и поддержку, испытав удовольствие от того, что ощутил хотя бы на минуту свое превосходство над людьми, историю которых я читаю. Их ошибки, становясь для меня очевидными, вознаградят меня за скуку. Однако и посреди путаницы историк не должен пренебрегать установлением порядка. Одно в нем представляется совершенно естественным всему свету — направить все свое внимание на главную цель, сделать ее преобладающим предметом своей картины и отодвинуть в сторону менее важные персонажи. Читатели, склонные восхищаться посредственной историей, будут довольны, но другие потребуют большего искусства в повествовании. В сих неблагоприятных сюжетах я желал бы, чтобы историк дал мне понять, благодаря каким случайностям или каким неожиданным поворотам судьбы наступает, наконец, развязка. И коль скоро благосклонность формулы перемены, я хотел бы, чтобы она играла здесь свою роль и чтобы было показано, как, истощая силы, государства отрешаются от надежд и отказываются, наконец, от предприятия, превратности коего и успехи взаимно уравниваются и медленно сменяют друг друга.

Независимо от сего общего порядка, который должен быть душой вызывающей интерес и поучительной истории, существует частный порядок, долженствующий указать мне то место, где каждая вещь должна быть поставлена. Например, аббат Дюбо в истории лиги Камбре

переносит в конец последней книги рассуждение о торговле, которой венецианцы обязаны своим богатством, необходимым для войны против многочисленных врагов. Сие предваряющее объяснение следовало, несомненно, поместить в начале книги. Когда историк объясняет мне, каким образом Венеция смогла покрыть военные издержки¹⁵⁸, я, если принадлежу к тем читателям, кои не затрудняют себя пониманием причин, не желая знать больше, лишь досажую, когда меня останавливают в моем нетерпеливом стремлении к развязке, и я с досадой закрываю книгу. Но более рассудительный читатель проклянет того неискусного историка, который слишком опоздал со своими объяснениями.

Я не читал историю Америки Робертсона, но, если меня не ввели в заблуждение сделанными для меня извлечениями из сего сочинения, мне кажется, что оно, несмотря на многие любопытные и даже превосходные мысли, не может, однако, быть взято за образец. К чему, позвольте узнать, на протяжении всей первой книги говорить о морских путешествиях древних, об их торговле и открытии неведомых земель? Возможно, все это написано с большим знанием дела, справедливо и точно, но не этого я ищу, а хочу знать, на каких соображениях основывалось предположение о существовании Нового Света, и иметь представление о Христофоре Колумбе и тех редких и великих качествах, благодаря коим совершил он величайшее предприятие. Вся вторая книга, говорят мне, и предназначена для того, чтобы удовлетворить это любопытство, но если судить по тому отрывку, который мне перевели, я вправе задать вопрос, не оказался ли бы Тит Ливий в сем случае лаконичнее. Разве позволил бы он себе сообщать множество не лишенных значения подробностей, которые, однако, малоинтересны читателям, с нетерпением стремящимся узнать о том, как европейцам удалось подчинить себе обширную страну, залившую нас золотом и серебром, и тем доведенную до истощения, и обладание коей явилось новым источником ссор, распрей и войн?

Третья книга трактует об открытии и завоевании островов и о некоторых попытках утвердиться на континенте. В следующей же книге, добавляют мне при этом, сочинитель говорит о дикарях и сравнивает их с народами цивилизованными. Я думаю, что все сии отрывки делают честь величайшему философу, но все-таки опасаюсь, как бы великое желание выставить напоказ свои философские рассуждения и познания не испортило историю, которая должна развиваться без показного умствования и отбрасывать все лишнее, украшая себя только тем, что ей приличествует. Если бы четвертая часть книги была помещена перед третьей, то вероятно, я с большим удовольствием и интересом читал бы о подвигах Колумба и предводительствуемых им испанцев. Правда, Робертсон в таком случае не сказал бы многое из того, о чем я и не спрашиваю его, но он написал бы столь необходимое мне и великолепное изложение событий.

В своем повествовании историк должен обладать тем же искусст-

вом, каковое великий драматический поэт употребляет для того, чтобы подготовить меня к восприятию своей трагедии или комедии. Разве герой его может позволить себе говорить красивости? Даже не слишком суровый критик освищет его и будет прав. В самом начале сочинения никакая поспешность в изложении событий не будет чрезмерна, ибо разум нетерпелив, и у него еще нет никакой надобности в отдыхе.

Тот же беспорядок, насколько меня уверяют, царит и во всех остальных частях сего труда. Сочинитель посвящает пятую книгу завоеванию Мексики и шестую – покорению Перу; вернувшись затем вспять, он в седьмой книге занимает нас беседой о цивилизованности, коей достигли оба эти царства. Разве не было бы во всех отношениях более соответствующим, описав вступление Колумба в Мексику, сообщить, что сему полководцу предстоит иметь дело уже не с робкими, вялыми, ленивыми и грубыми дикарями, коих встретил он на Сан-Доминго и других островах, но с народом цивилизованным, который создал упорядоченную форму правления и мог бы сопротивляться воодушевленным алчностью испанцам; если бы, приведенный в смущение новизной зрелища и угрожающими опасностями, не почувствовал он то изумление и леденящий душу ужас, жертвами коего часто становились народы древнего мира? Повторяю, любезный Теодон, что, следуя во всем порядку, о котором я говорю, сочинитель был бы вынужден отказаться от многих своих замечаний и рассуждений, а для употребления всего остального следовало бы немало потрудиться, чтобы ясное повествование не было перегружено и приостановлено в своем движении. Но это уже не мое дело, и подобно тому, как Деппе похвалялся, что научил Расина чувствовать трудности стихосложения¹⁵⁹, я не был бы в обиде на тех, кто упрекнул бы меня за то, что я учу историков с трудом писать свои сочинения. Не было бы лишним напомнить сим последним, сколь важно ничем не пренебрегать ради собирания большого числа сведений и относящихся к ним наблюдений, но еще важнее указать им, что не должно пускать в ход все свои богатства и, если можно так выразиться, обрезки от работы (особенно в добротном историческом труде) должны быть объемистее, нежели он сам.

И в самом деле, вас не обманули, – отвечал мне на это Теодон, – я с жадностью прочел историю Америки и хотел прочитать ее еще раз, но, признаюсь вам, уже не получил ожидаемого удовольствия. Второе мое чтение было равнодушным и вялым. Я откладывал эту книгу без сожаления, брался за нее, не чувствуя особого рвения. Ваши замечания открыли мне причины сей перемены. Каким бы образом ни писалась история, я понимаю, что уже с самого начала она может вызвать интерес и увлечь, если в ней повествуется о событиях, доселе неведомых и весьма важных. В таком случае смешивают некоторым образом достоинства сочинителя с достоинствами его героев, но при повторном чтении весь этот хаос проясняется: судят на сей раз более об историке

и его искусстве, а сами события, уже не обладая прелестью новизны, да еще плохо рассказанные, утомляют нас. Такое сочинение отправляется на дальние полки библиотеки и никто уже не читает его, разве что изредка обращаются к нему за справкой.

Ныне, — продолжал Теодон, — когда у меня образуются более ясные представления касательно обязанностей историка, я многое мог бы сказать вам об Америке Робертсона. Тщетно пытаюсь охватить весь предмет и рассмотреть его под углом зрения политики, он поселяет во мне надежды, но вскоре обманывает их. Говорится, что открытие Америки является благом делом, но, читая далее, я вижу, что кое-что выиграла от того только география. Завоеванный и опустошенный Новый Свет не пользуется ныне лучшими законами, чем установленные Монтесумой и касиками, а Старый получил лишь бесполезные сокровища и все пороки, кои неизбежно должны были произойти от них. Но довольно об этом. Я сожалею, что прервал вас. Вернемся, пожалуй, к порядку, о котором мы с вами толковали.

Пусть будет так, любезный Теодон, — отвечал я. — Сей порядок, который близок вашему сердцу, есть камень преткновения для большинства сочинителей. Иные, по своему невежеству, никогда не обращали внимания на то, что именно из этого проистекает то волшебство, то тайное очарование, которые составляют сущность красоты, что притягивает и неприметно увлекает за собой читателя. Другие, под властью своего воображения, наносящего вред их здравому смыслу, постоянно видят перед собой только то, о чем они трактуют, и не принимая во внимание ни предшествующее, ни последующее, довольствуются выпренными тирадами, полагая, что именно от сего зависит совершенство произведения. Но удовольствуемся несколькими наблюдениями относительно искусства писать историю.

Хотя хронология (иначе говоря, временная последовательность) и должна соблюдаться, тем не менее историку никогда не следует быть ее рабом. Приступая к описанию какого-нибудь важного события, ни в коем случае не отрывайте его от других, не разрывайте на части, принижая тем самым его значение, и не оставляйте его в ту самую минуту, когда удалось возбудить любопытство читателя. Даже величайшие историки, такие, как Тацит и Гроций, следовали этому правилу в своих "Анналах", то есть тому виду истории, который весьма пригоден для того, чтобы показать, как развивались законы, обычаи и нравы какого-либо народа с течением времени. Оба эти историка хорошо понимали людей и, зная, что, если хочешь просветить их, нужно понравиться им и привлечь к себе, порою забежали вперед и довольствовались тем, что предуведомляли читателей о тех или иных делах. Тацит допустил ошибку в третьей книге своей истории. Потрясенный великими смутами в Германии, которые едва не разрушили дела римлян в пограничных областях, он упоминает о них и обещает рассказать подробнее в другом месте¹⁶⁰. Здесь, если не ошибаюсь, он оплошал, объявляя, но тотчас не рассказывая, о столь важных обстоятель-

ствах. Ум читателя раздваивается, стремится вперед, отвлекается от того предмета, который лежит перед глазами, и выпускает его из виду.

Говорят, что искусство перехода от одной мысли к другой есть труднейшее для историка¹⁶¹ и признаюсь, что в большинстве из наших сочинений это делается неумело, вполне заурядно и бесцветно. Но я полагаю нелишним заметить, что сия неприятная погрешность порождается той поспешностью, с которой начинают порой свой труд, обстоятельно и не поразмыслив обо всех его частях и о месте каждой из них. Пока автор не нашел наистественнейшую связь событий, чтобы соединить их друг с другом, он принужден употребить одну или две привешенные фразы или же дать читателю ощутить сильное потрясение. Напротив, без особых трудностей я иду вслед за историком, соблюдающим упорядоченность; одного слова достаточно ему, чтобы перейти от одного предмета к другому, а часто даже и этого не нужно, если повествование его не стоит на месте и написано сжатым слогом.

Если надо прервать повествование для необходимых пояснений, будьте уверены, что нарушен необходимый порядок. Вернитесь назад, посмотрите, нет ли чего недостающего в изложении предшествующих событий. Одно слово, к месту употребленное две или три страницы назад, может все объяснить вашему читателю. Как бы то ни было, размышляйте и трудитесь над своим произведением до тех пор, пока не поймете, как избежать этого объяснения или хотя бы сделать его приемлемым. Историки, не лишенные способностей, пользуются в таком случае неким отступлением, каковое одушевляет рассказ, повествуя о тревогах и беспоконьях общества. Но в конце концов, я бы предпочел им тех неумелых сочинителей, которые простосердечно помещают в нижней части страницы под видом заметок то, что они не смогли поместить в свое повествование.

Мне кажется, что написанная Фра-Паоло история Тридентского собора¹⁶² является образцом упорядоченности, который безусловно следует изучать и коему следует подражать. Эта частная история охватывает до некоторой степени общую историю Европы того времени, когда ее раздирали на части ожесточенные раздоры теологов, фанатизм ослепленных народов и ложное честолюбие государей и вельмож. В сих гибельных обстоятельствах полагали, что один вселенский собор, содействуя сближению умов примирением их, мог бы смягчить клочочущую ненависть, сделать очевидными заблуждения и вернуть религии приличествующее ей достоинство. Никогда изложение предшествующих событий частной истории еще не охватывало разом столь отличных друг от друга предметов, а вслед за тем Фра-Паоло выводит на ту же сцену целую толпу влиятельных персон, интересы, взгляды и образ поведения коих во всем противоположны друг другу. Пока некоторые государи требовали, чтобы отцы собора объяснили, где лежит истина, другие, менее набожные, не доверяли, если можно так выразиться, самому Святому Духу, боялись, как бы он не оказался

противным их интересам, и склонялись к изворотливой политике римского двора, более дорожившего, согласно Фра-Паоло, своей властью, чем охраной веры, и который, как говорили, твердо решил ни в коем случае не ограничивать злоупотребления духовенства. В то же время нужно было раскрыть интриги папских легатов и зависимость римско-католических епископов, выслушать выпренную риторику теологов, чья схоластика ужасает слух и разум, живописать упрямство реформаторов и дать представление о непрерывных гибельных войнах, исход коих никогда не был безразличен римскому двору, равно как и о государствах, каковые ждали или опасались решений Собора.

Мне известно, что к Фра-Паоло наша религия относится с подозрением. Говорят, что он не был врагом реформаторов. С этим можно согласиться, и тот же упрек делался многим великим людям того времени. Но речь не о том, я говорю здесь лишь об искусстве этого историка располагать и представлять события прошлого. Посмотрите, с какой легкостью распутывается весь этот хаос, как естественно переходит сочинитель от одного предмета к другому, не отдаваясь вполне ни одному из них, приводя все необходимые объяснения и направляя меня к развязке, им уже предуготовленной.

Сидамон прервал меня насмешками над богословами, ибо без этого никто не может претендовать сегодня на звание философа. — Отлично, — со смехом отвечал ему Теодон, — но с вашего позволения, вернемся к нашим историкам, кои составляют все-таки лучшее общество. Мне хотелось, — продолжал я, — чтобы просвещая своих читателей и пробуждая их интерес, историк не пренебрегал ничем, чтобы заслужить их доверие. Доказательства сему мы видим каждый день: разве одни и те же сведения, сообщаемые здравомыслящим человеком, порядочность коего вызывает у нас уважение, не производят на нас иное впечатление, чем когда о них рассказывает человек, обуреваемый страстью или неспособный судить о том, что происходит у него перед глазами? Если кто-то, благодаря самоусовершенствованию, сделается достойным написать историю, он без сомнения заслужит уважение и приязнь читателей. Его глубокие знания преисполняют нас благорасположением, он научит находить в нас самих те чувства чести, величия и свободы, каковые плохое воспитание и нравы века могут приглушить, но которые столь естественны и подлинно человечески, что мы вновь ощутим в себе начала оных, когда не лишенный таланта историк сумеет пробудить наши сердца. Но чего можно ждать от нанявшегося в услужение книгопродавцу сочинителя, притупляющего или облекающего в иные одежды самую истину с тем, чтобы она никогда не задела и удостоилась платы? Мог бы подобный историк обладать теми качествами, каковые желает видеть в нем Лукиан? Пусть он будет свободен в своих суждениях, говорит он, пусть не боится ничего и ни на кого не уповает, пусть он отдает предпочтение истине перед своими друзьями и больше заботится о потомках, нежели

о своих современниках, пусть не будет в нем ничего льстивого и раболепного, пусть пребудет он выше всех предубеждений и не судит пристрастно ни о какой стране и ни о какой религии.

Именно своей любовью к истине историк может заслужить всеобщее доверие, но поверит ли кто-нибудь, что он не пожертвует этой истинной, если он питает расположение к тем особам, кои не кажутся достойными его восхищения? Пристрастие всегда указывает на то, что сочинитель заблуждается, и оборачивается порой против того героя, который послужил тому причиной. Воздайте хвалу, но с умеренностью, чтобы не принизить того, кого вы хотите возвеличить. Страда просто несносен в своем восхвалении Александра Фарнезе¹⁶³ и почти заставляет меня сомневаться в его добродетели и дарованиях. К чему сравнивать его с Цезарем, Сципионом и Александром Македонским? Панегирический тон обесценивает историю. В описании осады Дюнкерка Сарразэн впадает в ту же погрешность, и я убежден, что великий Конде посмеялся бы над нелепым вздором своего льстеца¹⁶⁴. Скорее можно было с меньшей опасностью порицать его, поскольку человеческое злословие довольно снисходительно на этот счет, и поскольку критика придает вид благородства и независимости. В то же время упрекали Тацита за то, что он ищет во глубине сердец тайные пороки и толкует в худшую сторону деяния своих героев. Сие встречается у него довольно часто, но можно ли полагать, что он был прав? Излагая историю лежащего во зле века, когда все добродетели и пороки скрывали свое лицо, разве не прослыл бы он легковерным, если бы принял ту обманчивую видимость, которой хотели одурачить толпу? Нашим новейшим историкам весьма часто не доставало мудрой осмотрительности Тацита. Как бы то ни было, избегайте всего, что может показаться насмешкой, но не упускайте ошибок, кои, может статься, сами читатели не заметили бы, однако не берите на себя наводящую скуку роль декламатора, когда речь идет о гнусных и позорных делах.

Истина не всегда правдоподобна, и ни в коем случае не следует историку, который претендует на то, чтобы быть философом, не изучив основательно хитросплетения человеческого ума и непостоянство наших страстей и фортуны, отвергать как заблуждение все, что кажется ему лишенным всякого вероятия; а между тем именно так поступает Вольтер. Другой, послушный своему воображению в возмещение недостаточности суждения, приукрашивает историю и придает ей возбуждающую острогу, наделяя дела и события, о коих повествует, обаянием сверхъестественного и чудесного. Я хочу, например, чтобы заговор графа де Фиеско был задуман, подготовлен и проведен так, как о том сообщает кардинал де Рец в одном из первых своих сочинений¹⁶⁵. Если я не самый безрассудный из заговорщиков, я ничего не пойму в действиях графа де Фиеско. Чудеса, коими меня хотели удивить и заинтересовать, покажутся мне бессмысленным бредом, и, далекий от того, чтобы с похвалой отзываться об историке, я буду жало-

ваться на то, что он не утаил в себе этот плод воображения, когда возраст и опыт уже придали зрелость его здравому смыслу.

Но и в таком сочинении, где не ищут сверхъестественное, порой находим мы некое подобие романа, который искажает ее. Кто мог бы хоть в чем-то поверить Дон Карлосу аббата де Сен-Реаля¹⁶⁶ и его истории заговора Пизона против Нерона?¹⁶⁷ Романист обнаруживает себя на каждой странице, но быть может, мысль сия преследует меня помимо моей воли, когда я читаю его сочинение, где присутствует только историк: я боюсь слишком легко выказать свою доверчивость сочинителю, который хотел потешаться над моим легковерием, и который не посовестился состряпать безвкусную мешанину из истории и вымысла. С тем большим основанием запретил бы я человеку, известному сочинениями, задавающими нравы и мораль¹⁶⁸, даже осмеливаться писать историю, если только не смог бы он, подобно Саллюстию, расстаться со своими пороками, осудить их и изложить людям наиважнейшие истины. Все то, что обнаруживает низость души, наносит вред историку, преисполненному желанием просвещать и заинтересовывать; если я не хочу позволить обольстить и развратить себя, я должен презирать его.

Но оставим нравственность и ограничимся искусством историка. Если эпический стихотворец, который порождает в своем воображении богов и героев, делается смешным из-за одного только высокопарного начала, то насколько же должен быть скромнее историк, выводящий на сцену всего лишь людей? Подражайте Титу Ливию. Если я кажусь вам чересчур строгим, обратитесь к Лукиану. Он насмехается над историками своего времени, обещавшими читателям чудеса, сравнивая их с детьми, которые забавлялись в масках Геркулеса или какого-нибудь титана. Не приставляйте, говорит он, голову колосса Родосского к телу карлика¹⁶⁹. Разве не покорила бы меня надпись на титульном листе "Философская и политическая история"? Я побился бы об заклад, что историк написал плохое сочинение, поскольку он не понимает, что всякая настоящая история должна быть и политической, и философской, а не только представляться таковой. Другой же историк, разве призовет он высочайшую истину, пусть даже в эпиграфе к своему сочинению, снизойти с небес, дабы просветить королей? Нет, и этого не дано ему, и предсказание Горация сбудется: *nascetur ridiculus mus*¹⁷⁰.

Разумеется, историк, стремящийся заслужить доверие читателей, должен казаться просвещенным, но для того, чтобы казаться, нужно быть таковым на самом деле. Напрасны все старания невежды — невежественность его все равно лезет изо всех щелей. Вольтер, к примеру, хочет казаться ученым и уверяет меня, что знает старинные наши капитулярии, но я тоже читал сии памятники нашей истории и могу ли поверить ему? Чтобы не обвинять его безосновательно во лжи, разве не вынужден я предположить, что он порой плохо понимал

или даже вовсе не понимал их? В другом месте, стараясь доказать, сколь критика его осмотрительна и строга, он расскажет мне, что случай с Лукрецией не кажется ему подкрепленным достоверными свидетельствами, равно как и приключения с дочерью графа Юлиана. Доказательство, которое он приводит в этой связи, заключается в том, что обычно насилие столь же трудно доказать, как и совершить¹⁷¹. Зубоскал, лишенный вкуса, может посмеяться над этой плохой шуткой, но она бесчестит историка. Только невежда прибегает к легкой и достойной презрения учености, дабы прикрыть свое невежество. К чему в истории Карла XII сообщать мне о том, что *balta* по-турецки означает топор, а *soimoug* – уголь?¹⁷² Конечно, весьма приятно узнать, что татары называют *Нап'*ом своего государя, коего мы именуем *Кап*¹⁷³, и что *Jussuf* означает Жозеф¹⁷⁴. Нам доставляет удовольствие вспоминать имя Конфуция, славного мудреца, преклонение перед которым китайцы выражают в некоем подобии религиозного культа. Изменение имени не может никого обмануть, и здесь мы, по всей видимости, вправе полагаться на себя. Нужды нет, господин де Вольтер, точность которого доходит до пустой скрупулезности, все-таки уведомляет нас, что мы коверкаем имя сего мудреца и что он зовется *Song-fut-sée*¹⁷⁵, словно мы не вольны пользоваться своим языком по собственному усмотрению. Он хотел бы, чтобы мы называли шахматы игрою в стэк. Стараясь показать, что итальянский язык знаком ему больше, чем арабский, турецкий и китайский, он находит удовольствие в том, чтобы называть Кристофора Колумба (*Colomb*) – *Colombo*¹⁷⁶. Почему же в таком случае не называет он Рим (*Rome*) – *Roma*, а Лондон (*Londres*) – *London*? Все эти превосходные сведения несомненно имеют свою цену, но есть однако читатели разборчивые и требовательные, которые предпочитают такого историка, который не рассыпает их без разбора, а хранит при себе.

Все эти безделицы, о которых я вам только что говорил, делают писателя смешным, но свою ученость, будь она и лучшего свойства, он должен скрыть от меня, если мне в ней нет никакой надобности. Рассудительный читатель вскоре сам догадается, что представляет собой историк. В иных сочинениях, даже не встречая грубые ошибки, обличающие невежество, все-таки подозреваешь, что автор мало осведомлен: я не могу утверждать это с уверенностью, но мне чего-то недостает. Сообщаемые сведения кажутся искаженными и изуродованными; в сем ступившемся мраке разум мой пребывает в беспокойстве, и я не доверяю познаниям моего историка. В других сочинениях я замечал, напротив того, что автор выше своего предмета или, по меньшей мере, равен ему, и сие часто достигается всего лишь одним словом или кратким рассуждением, которое включается в повествование, не замедляя его течения. Основательная критика есть светоч истории, однако аббат Флери был тысячу раз прав, когда сравнивал ее с лесами, кои нужны, чтобы построить здание, но которые ломают, когда постройка закончена¹⁷⁷. Скрывайте вашу критику, она наскучит

большинству читателей. Скромность нисколько не повредит вашей репутации, будьте уверены, что ученые, кои одни в конце концов решают участь историков, воздадут вам по справедливости и будут советовать невеждам читать и превозносить вас.

Разве не утомляют вас в истории лиги Камбре нескончаемые рассуждения аббата Дюбо, потребные лишь для того, чтобы не пройти мимо не знаю какой еще маловажной ошибки Гвиччардини, заставившей Варилласа принять один трактат за другой?¹⁷⁸ Стоило ли задерживать на этом повествование, которое и без того не может быть слишком кратким. Будем всегда думать о том, что нетерпеливый и легковедный читатель ищет истину, но не хочет участвовать в судебном расследовании. И аббату Дюбо не следовало повторять ошибок Гвиччардини и Варилласа. Прошу вас, когда вы перечтете сию историю, скажите, не утомило ли вас долгое и подробнейшее исследование подлинности торжественной речи Джустиниани к императору Максимилиана. Если таковая речь кажется аббату Дюбо подлинной и здравой, то пусть и приведет он ее в своем сочинении. А если он полагает, что она есть плод воображения Гвиччардини и недостойна мудрости и мужества венецианцев, пусть не говорит о ней ничего или же сочинит лучшую речь. Как же быть, если о каком-то событии разное говорят два равных по достоинству сочинителя, а у вас нет никакого основания предпочесть одного из них? Сосредоточьтесь на том, как каждый представляет свою точку зрения, изложите оба отличные друг от друга мнения. Читатель, благосклонный к вашим познаниям и осмотрительности, будет доволен и отзовется о вас с похвалой. Но остерегайтесь впадать в рассуждения о доказательствах, на коих претендуют основываться в каждом из сих различных повествований. Не стоит задерживать мое внимание на каком-либо событии, чтобы сообщить, что я не узнаю о нем больше, нежели вы, так и не проникший в истинные обстоятельства дела.

Для того, чтобы просвещать, нужно вызывать интерес, и если историк обладает тем утонченным вкусом соразмерности, без коего, что бы ни говорили мудрецы, никогда не может быть истинного дарования, он будет считать, что история отнюдь не допускает употреблять без разбора какие бы то ни было приукрашивания: *caput artis decere*¹⁷⁹. Всегда исполненная благородства, а порой возвышенной простоты и величественности, история в описании различных событий всегда находит соответствующие краски. Нас утомляют постоянные противопоставления Веллея Патеркула и Флора, а еще более те восклицания, которые обнаруживают весьма скромную способность к суждению, если они расставлены не к месту и, так сказать, вызваны одним лишь удивлением. Хотя я и тронут величием души Кодра, который жертвует собой ради спасения афинян и слагает с себя знаки царской власти, чтобы не получить пощадку из рук врагов; *quis non miretur*, – восклицает Патеркул, – *qui his artibus mortem quaesierit, quibus ab ignavis vita quaeri solet*?¹⁸⁰ Меня возмущает историк, который забавляется тем, что

сближает между собой столь удаленные друг от друга понятия и пытается при этом острить. В заключение еще один пример, и я избавлю вас от всего остального. Помпей после битвы при Фарсале решает удалиться в Египет. Послушаем Патеркула. *Sed quis in adversis beneficiorum. servat memoriam? aut quis ullam calamitosis deberi putat gratiam? aut quando fortuna non mutat fidem?*¹⁸¹ Стоило ли труда громоздить три вопросительные знака по поводу столь обыкновенной и обычной вещи, как политическая неблагодарность государей и государства, которая и вообще свойственна почти всем людям?

Флор имеет те же недостатки, что и Патеркул, и мне достаточно, что я не исполнил своего обещания и не поговорил с вами об этом. Как бы то ни было и тот, и другой часто некстати острят, но ни один из них не осмелился бы сказать, подобно Вольтеру в его всемирной истории, что "дети рождаются отнюдь не одним росчерком пера". Они просто обесчестили бы себя столь непристойной выходкой. Вы найдете в этом труде множество шуток, кои не так уж плохи, порою они даже остроумны, я с похвалой отозвался бы о них, если обнаружил бы их в комедии или какой-нибудь сатире, но здесь они неуместны и, следовательно, не имеют отношения к истории. Господин де Вольтер – первый, кто хотел бы переселить в исторические сочинения все прелести веселья и шуток, но говорить в таком тоне обо всем, что обладает большой значимостью в глазах людей, и порой отнюдь не располагает к веселью, значит страдать отсутствием вкуса и здравого смысла. Мне даже кажется, что если бы в глубинах человеческой души было больше места для приличий и порядочности, мы не впали бы в подобного рода заблуждения. Они научили бы историка не жертвовать своим умом ради пустого остроумия, а читателей удержали бы от поощрения этих грубых шуток, которые оскорбляют не только хороший вкус, но в еще большей степени и нравственность.

Не составляет большого труда, я полагаю, не корчить из себя шута в серьезном предмете, но нужно обладать большим здравым смыслом и вкусом, дабы отвергнуть милые пустяки, оказавшиеся не у места. У Квинта Курция можно обнаружить немало красот и блеска остроумия, без коих он вполне мог бы обойтись, ибо порой у него проявляется вкус и возвышенность слога Тита Ливия и Саллюстия. *Scribendi recte, sapere est principium et fons*¹⁸². И по этому поводу расскажу вам, что случилось со мною много лет назад и чего я никогда не забуду. Зайдя к одному из своих друзей, я застал его глубоко погруженным в чтение какой-то книги *in-quarto*. Дайте я прочту вам, сказал он мне, сей прелестный отрывок, от которого я просто в восхищении, и тотчас же я услышал нечто вроде гимна любви. В самом деле, воскликнул я, вы правы, сия ода в прозе кажется мне преисполненной необычайной красоты, и, попросив прочитать мне ее еще раз, я поспешил взглянуть, что же это за драгоценный *in-quarto*. Что ж увидел я? Естественную историю, и все, охватившее было меня, удовольствие рассеялось. О, Плиний! – вскричал я, – вот как ты рассуждаешь о естественной

истории, которая требует еще более простоты, нежели всякая другая. Друг мой хотел доказать мне, что сей сочинитель од был прав, что эти раскиданные повсюду изящные безделицы производят неизгладимое впечатление и показывают, что автор, наделенный умом более чем незаурядным, превосходно разумеет то, о чем трактует. Он присовокупил также, что историку потребовалось немало усилий, дабы посредством этих приятных отступлений доставить минутное отдохновение своему читателю.

Я решил промолчать. Друг мой не понял бы меня, если бы я сказал ему в ту минуту, что литературное сочинение не требует иного ума, кроме того, который необходимо должен присутствовать в нем, и что он странно злоупотребляет отступлениями. Тем хуже, если историк настолько медлителен, тяжеловесен и бесцветен, что надо разгонять скуку читателя. Отступление, каковое Геродиан делает касательно Кибелы в первой своей книге, заключает в себе всего лишь две страницы, и для оправдания себя за оное и чувствуя его бесполезность, он говорит, что таковое отступление будет приятно грекам, в большинстве своем незнакомым с римскими древностями, и заканчивает его словами: но довольно говорить о богине, я и так, может быть, сказал о ней слишком много¹⁸³. Сие оправдание Геродиана показывает, с какой сдержанностью история должна позволять себе уклоняться в сторону. В частной истории следует избегать отступлений, а в общей истории они должны быть весьма редкими. Старайтесь также не делать их в самом начале повествования о каком-то великом событии, но лишь в конце, когда любопытство вашего читателя удовлетворено. Тит Ливий, насколько могу я припомнить, позволяет себе лишь два отступления. Одно об Александре, который замышляет войны против римлян, и хотя сие место проливает яркий свет на положение, интересы и судьбы государства, историк просит читателя о снисхождении¹⁸⁴. Второе касается Филопомена, и в нем он воздает дань памяти последнему из знаменитых мужей Греции¹⁸⁵⁻¹⁸⁶. Вместе с тем он боится нарушить им же положенной закон, который повелевает ему избегать всего, что может быть чуждо его предмету.

Если писатель трактует об истории, изобилующей событиями, к чему выходить за ее пределы? Если же предмет сам по себе неблагоприятен, значит, выбор неверен, и бесполезные отступления не исправят первоначальной ошибки. Все, что не служит к тому, чтобы дать представление о народе, событии или славном муже, составляющих предмет сочинения, должно быть без всякого сожаления опущено. Когда я читаю жизнеописание Риенци, то что мне за дело до всей этой моровой язвы, опустошившей Европу в 1348 году, описание коей дю Серсо, нисколько не сомневаясь, включил в свой труд, говоря при этом, что Провидение избавило Риенци от заразы, поскольку предопределило ему сурово покарать римлян? Вы собираетесь описывать войну в некоем государстве? Говорите мне в таком случае лишь о том, что касается его средств, богатства и нравов, и о том, какого рода

война предстоит. Изобразите мне в общих чертах незащищенные провинции или те, которые перерезаны горными реками, узкими проходами, но не вдавайтесь в подробности топографического описания и в особенности не изображайте из себя знатока естественной истории.

Историю всегда читают с удовольствием, поскольку описываемые в ней события занимательны, *historia quoquo modo scripta delectat*¹⁸⁷, вы сами это знаете, любезный Теодон. Но хорошо известно, коль скоро любопытство наше удовлетворено, оно уже не возвращается, если только сочинитель не одарен талантом возбуждать интерес и привлечь внимание своим стилем. Если историк хочет, чтобы его читали и перечитывали, не теряя очарования новизны, пусть он научится великому искусству изображения страстей, управляющих целым светом, тех самых, которыми философия учит нас управлять, но никогда не освобождает нас от оных. История одухотворяется именно благодаря такому живописанию, и я становлюсь уже не читателем книги, но зрителем, который видит все происходящее собственными глазами. Воспламененное сердце мое сообщает разуму некий луч света, его просветляющий. Сквозь многообразные завесы и покровы, под коими сокрыты страсти, я вижу, как они являются вновь и вновь все такими же, как прежде, но всегда в новом обличье, и как порождают необычайные перемены событий, которые были, есть и будут вечно одинаковыми и вечно изменчивыми.

Тщетно будем мы стремиться к сей цели, не имея основательного знания не только природы, действия и течения страстей, но и того, каким образом они соединяются, взаимно видоизменяются и каким образом получают различный характер в зависимости от управления, законов и нравов. Если вы покажете одинаково спартанцев и афинян, римлян и карфагенян, предков наших и нас самих, то дадите о них лишь весьма несовершенное представление, и тогда останутся неведомы причины как обыкновенных событий, так и великих потрясений. Поэты и риторы могут, или вернее, должны являть себя исполненными пылкой страсти, поскольку она передается людям, и главная их цель состоит в том, чтобы воодушевить их. Не то у историка, он должен сохранять хладнокровие, ибо является свидетелем, а свидетель, если он хочет, чтобы ему поверили, не должен говорить на языке страстей. Я сравниваю историка с живописцем, который отнюдь не обнаруживает себя на холсте, оживающем под его рукою, но должен изобразить героев, черты и позы коих раскрывают их мысли и малейшее движение души. Я сравниваю его и с драматическим стихотворцем, который сам не выходит на сцену, но выносит на нее смятение, тревогу и замешательство, рожденные страстями.

Именно благодаря сему изображению сердца человеческого Тит Ливий, Саллюстий, Тацит и вызывают восхищение. Все одушевляется под их пером, и если я еще способен мыслить, ум мой постоянно поглощен тем, что мне показывают. Я вижу, как с той самой минуты, когда гнев

сограждан поверг в прах тиранию Тарквиния, возникает скопище страстей, которые, сталкиваясь друг с другом, вскоре сообщают Республике величие, силу и мужество, приведшие ее после того, как она стала владычницей мира, к падению. Именно из того умения, с коим историк раскрывает движение страстей, рисуя их непостоянство, спокойствие или порыв, проистекает тот интерес, который облагораживает самые заурядные события, а в кажущиеся слишком схожими друг с другом вносит разнообразие. Когда я говорю, что новейшие наши историки наводят скуку на читателей, ибо не умеют обнаруживать во глубине наших сердец страсти, мне отвечают, что ведь они же обладают силою и величием греков и римлян. Я согласен с этим, но, размышляя о Таците и о том, каким образом он представляет нам предметы, разве тем самым не учатся извлекать пользу из самих презренных, самых безрассудных и грязных страстей?

Порою на холсте дракон иль мерзкий гад
Живыми красками приковывает взгляд,
И то, что в жизни нам казалось бы ужасным,
Под кистью мастера становится прекрасным¹⁸⁸.

Клавдий, Нерон, продажные женщины, гистрионы, управлявшие, дрожащие от страха перед своими хозяевами вольноотпущенники¹⁸⁹, столь же презренные сенаторы – разве не покажется все это чрезвычайно для нас занимательным, если страсти будут живо выписаны и если я пойму, что от них зависит судьба мира? Конечно, свобода сообщает страстям деятельность и отвагу, весьма благоприятствующие истории, а деспотизм, как говорят, приводит их в оцепенение и сковывает: сие есть не более чем заблуждение. Страсти, даже робкого свойства, не менее деятельны, поскольку человек всегда человек: они осмрительнее, коварнее, потаеннее. Почему же, по примеру Тацита, наши историки не несут свет в тот мрак, где они скрываются?

Я спрашиваю себя порой, по какой причине наши историки, за исключением, пожалуй, аббата де Верто, повергают меня в какое-то оцепенение, от коего мне с трудом удается освободиться. Сие, если не ошибаюсь, объясняется тем, что, удовлетворяя лишь отчасти мой разум, они никогда не стремятся всколыхнуть страсти, которые за чтением увлекли бы меня. Поэтам не раз внушали: если вы хотите заставить плакать, пусть проливают слезы ваши герои. То же скажу я и историкам: желая увлечь читателя, не делайте ваших персонажей бездушными манекенами, движущимися от скрытых пружин. Обнажите их душу, дабы мог я любить их или ненавидеть. Заставьте меня разделить буруевающие их страсти. Как использовали Тит Ливий и Саллюстий риторические отступления, дабы передать мне чувства своих героев? Благодаря уж и не знаю какому волшебному очарованию, мысленно переносюсь я туда, где еще дымятся развалины Рима после отступления галлов, когда мне слышится, нет, когда я на самом

деле слышу голос Камилла, удерживающего своих сограждан, готовых покинуть опустошенную родину, чтобы поселиться в Вейи, и я преклоняюсь перед историком, который возвышает меня до Камилла, добродетели и таланты коего восхищают меня. Я привожу вам первое, что приходит мне на память. Найдется ли еще повествование более живое, более возвышенное, более увлекательное, нежели о том, как Папирий хотел наказать Фабия, начальника своей кавалерии, за одержанную им, вопреки повелению, победу? Разве не разделяю я чувства, охватившие его армию, Фабия-старшего, Сенат и народ? Все эти события стремительно следуют одно за другим, и никакая сцена в театре не трогает меня столь сильно. Если бы у Саллюстия Марий не увещевал народ возвышенными речами, я не последовал бы за ним в Африку с тем пылом, удовольствием и влечением, каковыми обязан я гению историка.

Я хочу вам прочитать из "Катилины" Саллюстия описание смут и брожения в Риме, когда Сенат ввел в город преторианские войска под командованием низших магистратов¹⁹⁰. *Quibus rebus permota civitas, atque immutata facies urbis erat: ex summa laetitia atque lascivia, quae diuturna quies pepererat, repente omnes tristitia invasit. Festinare, trepidare: neque loco, neque homini cuiquam satis credere: neque bellam gerere, neque pacem habere: suo quisque metu pericula metiri. Ad hoc, mulieres quibus pro Reipublicae magnitudine belli timor insolitus incesserat, afflictare sese; manus supplices ad caelum tendere; miserari parvos liberos; rogitare; omnia pavere: superbia atque deliciis omissis, sibi patriaeque diffidere*¹⁹¹. Разве это описание не волнует вас? Разве вы не ощущаете, что участие ваше в судьбах Рима усиливается? Мне кажется, что историк не только поражает мое воображение, но и находит в моем сердце страсти, делающие его чувствительным. Мне вспоминается еще, что говорит Тацит о той мятежной армии, которую нужно было обратить к послушанию. *Stabat Drusus silentium manu poscens. Milites, quotiens oculos ad multitudinem retulerant, vocibus truculentis strepere; rursus, viso Caesare, trepidare: murmur incertum: atrox clamor, et repente quies: diversis animorum motibus pavebant, terrebantque*¹⁹². Помимо моей воли меня захватывает описание этих событий, любопытство мое пробуждается и задерживается на страстях, овладевших воинами. Почитайте о смерти Германика, о погруженном в гордую скорбь Агриппе и многие другие столь же прекрасные места у Саллюстия¹⁹³, и тогда сострадание и страх сменяя друг друга, еще глубже запечатлевают в душе вашей уроки сего историка.

Но ничего подобного не найдете вы у наших нынешних авторов; здесь я делаю как всегда исключение для аббата де Верто. История венецианского заговора и заговора Гракхов аббата де Сен-Реаля¹⁹⁴ были близки к пониманию этих страстей, но сочинитель обращается только к вашему разуму и ваше непо потревоженное воображение не видит того, о чем говорится. В другом месте разве говорится о призванном Цинной Марии, который тиранически правил Римом?¹⁹⁵ Сочини-

нитель говорит лишь, что невозможно описать то жалостное положение, в коем оказался город в те бедственные времена, и прочитав сию дурного тона фразу, я начинаю засыпать. В подобных случаях большинство наших историков старается подражать великим примерам древности, но их красноречие есть всего лишь холодная декламация, и сей напускной пыл приводит меня в оцепенение. Не преувеличивайте трудности и опасности тех исторических персон, которыми вы хотите меня заинтересовать. Я лишь посмеюсь над вашими потугами и пренебрегу вашими суждениями, если, по примеру Флора, вы изобразите мне как величайшее из несчастий, такое положение, из коего мне кажется, я выбрался бы довольно легко. Не задерживайте мое внимание на каком-либо событии, более, чем оно достойно внимания здравомыслящего читателя. Но когда трудности умножаются и становятся почти непреодолимыми, остерегайтесь прибегать к красноречию, именно тогда историк, подобно Ксенофону и Цезарю, должен исполниться величайшей простоты. Из нее и проистекает нечто возвышенное, и вы заслужите искреннее восхищение. Не испытывая приязни к Цезарю и его несправедливым замыслам, я с интересом смотрю, как он борется против опасностей и торжествует над нами благодаря своей необычайной деятельности и храбрости, ставившей его всегда выше обстоятельств. Непритязательность Ксенофонта умножает в моих глазах заслуги Цезаря. Я перестаю страшиться за судьбу десяти тысяч греков, которые последовали за юным Киром в глубь Азии только тогда, когда вижу их возвращающимися в отечество свое. Испытав, наверное, большее беспокойство, нежели сами греческие военачальники, я, наконец, разделяю их радость, когда они находят и приветствуют, то благословенное море, которое должно перенести их в Грецию.

Тит Ливий в своей истории (каковая охватывает несколько столетий, и являет нашим глазам величайшие свершения и величайшие невзгоды, равно как и величайшие добродетели и величайшие пороки) кажется, исчерпал все возможности своего гения и искусства. Как и прежде, он влечет меня и я никогда не устаю перечитывать его. В чем причина этого? В том, что ни один историк не умел лучше одушевлять свое повествование искусным изображением страстей в мужах, им изображаемых, и тем трогать мои чувства. Он всегда уверен в успехе, поскольку в любом событии умеет постичь обстоятельства, наиболее способные привлечь мое внимание или тронуть читателя. Я не остаюсь бесстрастным зрителем сражения Горациев и Куриациев и разделяю страхи и надежды римской армии⁹⁶. Вспомните битву, которая происходит в горной теснине Каудинеса. Пришедшие в неистовство солдаты хотят отомстить за свое унижение и разорвать консулов на части: но вдруг переменяют они неистовую злобу на сострадание, когда сии магистраты, полуодетые, безоружные, не сопровождаемые ликторами, теряют свое величие, принижая тем самым достоинство Республики. Солдаты отводят глаза и уже не думают о собственном своем бесчес-

тии, я вижу лишь зловещее оцепенение, которое предвещает неминуемое мщение¹⁹⁷.

Кого не поразит описание, коим Тит Ливий подготавливает читателей сражению при Заме, завершившему упорную борьбу двух могущественнейших государств мира? Ганнибал и Сципион встретились: *paulisper alter alterius conspectu, admiratione mutua prope attoniti, conticuere*¹⁹⁸. Прочтите речь Ганнибала, ответ на нее Сципиона и, чувствуя восхищение и страх, вы ждете сражение, которому суждено преобразить лик мира. Как могу я оставаться спокойным, читая об отъезде консула Лициния на войну против Персея? ¹⁹⁹ Народ теснился у ног полководца, коему доверили судьбу страны. Я разделяю его беспокойство и опасения перед превратностями войны, колеблюсь вместе с ним, не решаясь заключить что-либо определенное. Разве консул, который покидает Капитолий по свершении жертвоприношения, возвратится туда на триумфальной колеснице? Не подготовит ли он сам триумф врагов? Я привожу себе на память всю славу, величие, могущество древних македонян, колеблюсь меж страхом и надеждой и ожидаю с нетерпением того, о чем историк будет говорить мне. Именно благодаря этому неподражаемому искусству, заключенному в чувствительности его сердца и возвышенности духа, Тит Ливий сохраняет для меня всю прелесть новизны. Хоть я и знаю все самое существенное, однако драгоценные подробности ускользают из моей памяти, и я никогда вновь не обрету их без помощи историка, если сам в свою очередь не помогу себе.

Быть может, я навожу на вас скуку, но все-таки надобно упомянуть еще и великолепную картину поражения Персея, вернее, упомянуть о той самой минуте, когда плененный государь вступает в шатер Павла Эмилия. Взгляните, как искусно Тит Ливий приготавливает те противоположности, которые должны поразить меня. Римские солдаты не могут отвести глаз от этого еще недавно могущественного царя, шествующего в римских оковах и воображают, что одержали победу над самим Александром Великим и его отцом. Когда предаюсь я сему величественному зрелищу, Персей, представляющийся мне последним из людей, повергает себя к ногам консула, тот поднимает его, и Персей одними слезами отвечает на доброту Павла Эмилия, который, потрясенный, отводит свой взор. Вы видите, говорит он окружающим его молодым римлянам, великий пример непостоянства дел человеческих. Будем непритязательными в благоденствии, ибо мы знаем, что нам уготовано в будущем, и научимся твердо носить все превратности судьбы²⁰⁰. Я следую сему поучению, хотя оно относится некоторым образом только к тем, кто возвысился над частными обстоятельством. Размышления уже не дают мне задерживаться на гибели Персея — меня занимает крушение Македонии. Вот, говорю я себе, чем заканчиваются многочисленные войны, политические происки, добродетели и пороки — ни одну могущественную державу не минует сокруши-

тельный разгром! И мне искренне жаль римлян, воздвигнувших с таким трудом Империю, которой суждено изнемогать под бременем своего могущества. Тит Ливий наполнен подобными красотами. Он отыскивает их повсюду и, всегда трогая мое сердце, глубоко запечатлевает в моем разуме великие истины, каковыми он просвещает меня.

Второе средство увлечь читателя заключается в быстроте повествования. Этого нельзя добиться, так сказать, отсекая события. Вы заставьте меня желать большего, а я увижу лишь отсутствие способности суждения и полное безвкусье. Не пренебрегайте ни одним из подлинных обстоятельств, чтобы дать мне представление о природе того или иного интересного мне события, но старайтесь расположить их упорядоченно, чтобы они не путались друг с другом. Вы знаете историков, вроде, например, господина Гиббона, которые запутываются в собственном своем предмете, не зная ни как к оному подступиться, ни каким образом его закончить, и возвращаются, так сказать, все время к тому, с чего начали. Одни, за отсутствием должного порядка, не могут справиться с тем, чтобы связать события и теряют много времени и слов, дабы совершить в конце концов равнодушный и навоящий скуку переход от одного события к другому. Другие совсем нехстати корчат из себя философов, хотя вовсе не имеют никакого представления об истинной философии и утомляют меня своими рассуждениями. Порой Тит Ливий довольствуется тем, что предлагает читателю подумать самому. Вместо того, чтобы распространяться об общеизвестной и тривиальной истине, он ограничивается словами: *ut fit*, как обыкновенно случается; и это *ut fit* доставляет удовольствие читателям и людям просвещенным, благодаря краткости, и всем прочим, поскольку он дает им случай поразмышлять об истине, которую они полагают собственным своим открытием. Так как фракция Барки²⁰¹ одержала верх над противниками, карфагеняне после поражения при Каннах распорядились подкреплениями, которые требовал Ганнибал. Наес, — присовокупляет историк, — *ut in secundis rebus segniter otioseque gesta*²⁰². Никогда Тит Ливий не делает отступлений для того, чтобы поразмыслить над чем-либо, но лишь тогда, когда его рассуждение имеет наиважнейшее значение и заслуживает внимания читателя. Такие случаи редки, я приведу вам один пример из оных. Сципион оказался в весьма затруднительном положении, имея в своей армии значительно большее число вспомогательных войск, нежели римских воинов: *Id quidem*, — говорит Тит Ливий, — *caendum semper Romanis ducibus erit, exemplaque haec pro documentis habenda, ne ita externis credant auxiliis, ut non plus sui roboris suarumque proprie virium in castris habeant*²⁰³.

Если вы пишете для детей, я прошу вам длинные рассуждения в духе Роллена и даже похвалю, поскольку речь идет о том, чтобы развивать умы, еще не обладающие способностью к рассуждению. Но, если

вы пишете для достойных читать историю и стремящихся к просвещению, вам надлежит следовать манере великих историков, о коих я вам говорил, и вы измените свои суждения. Вскоре вы научите меня тому, что я должен думать, давая мне отчет об общественных взглядах, или вы будете придавать размышлению значение совершившегося факта. Сим искусством не были обделены и новейшие историки. Бьокенен, Гроций и Фрайнхемий могут доставить нам сотню примеров, подтверждающих это. Фра-Паоло являет собой превосходный образец сего рода. "Это был государь слабый и неспособный, — говорит преподобный Бужан о Якове I, короле Англии, — который, питая отвращение к войне, любил вести переговоры, но именно по сей причине вел их всегда плохо"²⁰⁴. Если у наших философов и явились бы подобные мысли, то сколько из них потратили бы на изложение три или четыре страницы? "Густав, — говорит Бужан в другом месте, — шел во главе своей армии с такой уверенностью, которая уже сама по себе предвещает победу"²⁰⁵. Кажется я уже указывал, что чем более у историка знаний и вкуса, тем он лаконичнее и проворнее в своих рассуждениях.

Я посоветовал бы историку, после того как он изучил великие образцы, основательно поразмыслить над своим искусством и выбрать тот предмет, который наиболее подходит к его способностям. Общая история требует столь большого числа многообразных талантов, что было безрассудно предпринимать оную, не ощущая в себе той счастливой легкости гения, каковая объемлет обширнейшие познания и обладает искусством превращать знакомство с ними в приятное занятие. Разве гении не обладают разнообразными приемами изложения, самыми различными стилями в описании, дабы всегда быть равными тому предмету, о котором они повествуют, и не обнаруживают чарующее многообразие, поддерживающее и воодушевляющее читателя, когда он занят каким-либо обширным сочинением? Ведь, как известно, можно поучать, но не вызывать симпатии. Мне кажется, что Фукидид, Саллюстий и Тацит, несмотря на все их достоинства, оказались бы поистине в затруднительном положении, если бы им пришлось писать общую историю Греции и Рима. Ум их представляется мне бесконечно менее гибким, чем у Тита Ливия, и, как я полагаю, они обладали характером более решительным и манерой изложения, с которой не могли бы расстаться, не потеряв при этом части своих достоинств. Великий человек знает свои пределы и никогда не пытается переступить оные. Проникнув в тайны искусства, дабы развить свой гений, он не ищет большего, и даже в заблуждениях он исполнен такой грации и изящества, что и заблуждения ему простительны. Такой Плутарх: ни один историк не был искуснее в выборе предметов, вполне соответствовавших его таланту и гению. Благородное простодушие, каковое, думается, неотделимо от правдивости и честности, снискало ему доверие или скорее дружеское расположение читателей.

Им представляется, что они дружески беседуют с ним, и как бы не читают, но слушают. Ему прощают, — что я говорю! — ему признательны за неторопливо текущее рассуждение. Порой он останавливается, чтобы сказать то, что, по всему вероятно, смог бы и я выразить без его помощи, и мне доставляет удовольствие соглашаться с историком, коего я глубоко почитаю. Ему прощают отступления, поскольку отнюдь не спешат добраться поскорее до кончины героя, как стремятся увидеть конец утомительной войны или внушающего тревогу переворота. Весьма опасно стараться подражать историку, у коего изящество стиля всегда соседствует, если можно так выразиться, с какими-то изъянами. Я сравнил бы Плутарха и величайшего из баснописцев Лафонтена. Желаящие подражать ему не обладают его гением, и непременно гримасничают, и не могут достичь того изящества, каковое отличает его от всех прочих. Я посоветовал бы уж лучше подражать Федру, ибо даже не сравнившись с ним, не будешь выглядеть смешным.

Стиль есть существенно важная сторона исторического сочинения, ибо почти бесполезно суждение, если автору не дано умение хорошо излагать свои мысли. Пусть же стиль ваш будет столь же возвышен, как и прост, смотря по тому, насколько важны те предметы, о которых идет речь. Будьте хозяином вашего языка, избегайте весьма свойственной нашим историкам медлительной манеры в изложении, учитесь разнообразить свою. В этом весь секрет богатства языка, на котором настаивал Цицерон²⁰⁶, ибо оно очаровывает читателей и никогда им не надоедает. Старайтесь не загромождать ваше повествование отступлениями; лучше выделите неравные разделы. Именно это приводит в нашем языке к гармонии, а без гармонии никогда не будет он превосходным. Пусть ваши выражения, — говорит Лукиан историкам своего времени, — будут понятны людям и вызывают удовлетворение у тех, кто имеет просвещенный ум²⁰⁷. *Erit rebus ipsis par et aequalis oratio*²⁰⁸. Никогда и никто не следовал лучше Цицерона этому закону, соблюдать который он вменил в обязанность всем писателям. Тит Ливий неизменно повиновался сему правилу и таким образом соединил в себе многообразные качества, коими восхищают Геродот и Фукидид: то подобен он низвергающемуся стремительному потоку, то, напротив, реке, которая величаво катит свои воды. Вы едва ли поразите ум, если оскорбите слух: *Voluptati aurium mori gerari gebet oratio*²⁰⁹. Цицерон упрекал Фукидиду за то, что в его произведении не всегда заметна необходимая связность и законченность²¹⁰. Тацит подвержен тому же пороку и искушает его тем, что раскрывает перед нами картины, исполненные чарующей красоты. Я испытал это на себе и всегда с трудом отрываюсь от Тита Ливия, но, восхищаясь Тацитом, я оставляю его порою без сожаления. Слог неровный, отрывистый и бессвязный почитается нашим мэтром в искусстве письма как порочный. Я простил бы его, говорит Цицерон, если бы в каждой из этих

следующих одна за другой и дурно скроенных фраз мы находили красоты, подобные тем, каковые видели бы в каждой частице щита Минервы, изваянной Фидием, когда бы он оказался вдребезги разбитым. Вся статуя пропала бы, но мы имели бы удовольствие видеть драгоценные и достойные нашего восхищения фрагменты²¹¹.

Мне показалось, любезный Клеант, что Теодон остался весьма доволен мною. Сидамон же нашел меня слишком трудным. Он, верно, был бы раздосадован и выразил бы опасение, если бы я написал книгу об этом предмете, — как бы не испытали мы впоследствии недостатка в историках. Мы же с вами, напротив, будем опасаться, как бы не стало их слишком много и утешим себя тем, что отнюдь не будем их читать.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ К СОЧИНЕНИЮ "О ТОМ, КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ"

Тот ненавистен мне, как врата ненавистного ада,
Кто на душе сокрывает одно, а вещает другое.

Гомер. *Илиада*. Песнь 9¹

Первый принцип того, как писать историю, что воистину может быть названо искусством, равно как и первый долг всякого, кто себя этому посвящает, заключается в том, чтобы избегать какого-либо предубеждения, не становиться ни на чью сторону, не примыкать ни к какому сообществу и не быть подверженным никакой страсти. Именно об этом говорит *Лукиан* в кратком о сем трактате², написанном без претензий и с присущей ему легкостью и который тем не менее таит в себе больше истин, нежели та книга, к коей пишу я дополнение.

Автор истории войн во Фландрии иезуит *Страда* рассуждал так же, как и *Лукиан*, и хотя носил сутану, даже превзошел его, утверждая, что для историка лучше не принадлежать ни к какому сословию, ни к какому обществу, не быть гражданином никакой страны и не принадлежать ни к какому вероучению³.

Перо его сковывала сутана — носимая на плечах тюремная клетка, — от каковой не мог он никогда избавиться, и если бы даже не принуждала она его писать ложно, как оно и случалось, не мог бы избегнуть он умолчания о существенных истинах, что само по себе есть один из способов лжи. Вот почему, несмотря на многие исторические труды стольких священников, несмотря на глубокие исследования стольких монахов, несмотря на целые собрания сочинений, которые составили они с замечательным терпением и тщанием, за которые всякий беспристрастный человек должен возблагодарить их, никогда ни из монастырских стен, ни из семинарского уединения так и не вышел ни один из тех великих историков, на которых устремлены взоры всех людей.

Не будем требовать, однако, слишком многого от историка: он — человек, и не следует ему отрешаться от человеческих чувств. Пусть они волнуют его, пусть возгорится он страстью, но ради одной только истины и приверженности ко благу человечества.

Дух справедливости и здравомыслия необходим ему еще в большей степени, нежели магистрату, сему рабу закона, у которого совесть всегда подчинена долгу.

Совесть же историка подлежит лишь собственному его здравому суждению.

Не говорите, *Теодон*, что мое замечание бесполезно, поскольку в этой книге, само название коей возвещает о принципах, старейшина наших историков сам впал в те же самые предрассудки, каковые привели его к порицанию людей великих и превознесению посредственностей. Что же воспоследовало из этого для его славы? Одни утверждали, что сочинение сие было ему заказано неким безвестным сообществом, которое хотело опорочить наших мудрецов и ослабить исходивший от них свет*; другие полагали, что он хотел унижить наших великих историков, дабы самому возвыситься; но ведь никто и не оспаривает места выше тех, кому он воздаст хвалу.

Греция, так же как и ныне Франция, была разделена на философские школы. Я прошел школу этих великих людей, которыми восхищается Европа, и коих ваш наставник порицает; принципы наши различны, но цель одинака: оба мы хотим принести пользу.

Всяк прав: две стороны есть у одной медали**

Например, я не советовал бы вам проверять свой талант по тому впечатлению, которое будут производить на вас труды *Саллюстия*, *Тита Ливия* или *Плутарха*; если пристрастия ваши не руководят вашими поступками, если не служат они вам побуждением, лучше не выходите из рядов зрителей и не отваживайтесь ступить на то поприще, о коем мы рассуждаем.

У человека, склонного к размышлению, при чтении романа может возникнуть желание написать сочинение в роде *Жильблаза* или *Робинзона*, *Кларисы* или *Дафниса и Хлои*⁴. Историк же должен вдохновляться другими побуждениями. Тот, кто ради того, чтобы возбудить воображение, имеет нужду в книгах, кто стремится во всем следовать *Тациту* или *Титу Ливию*, обречен быть лишь безжизненным подражателем великого мэтра, не более того.

Но если тирания вельмож приводила вас в негодование, если трогает вас злосчастье бедняка, если великолепие городов, плодородие полей, совершенство ремесел, оборотливость торговли, мужество и отвага путешественников и мореплавателей поражают ваш ум и волнуют ваше сердце, если имена великих людей повергают вас в трепет, если рассказ о благих деяниях и черты неподкупной добродетели исторгают у вас слезы, я сказал бы вам: Раз душа ваша открыта сим чувствованиям, если она способна к пылкому одушевлению, и вы снедаемы потребностью писать, откройте анналы, старайтесь познать, какими средствами и трудами народы поднялись от варварства до процветания и славы, примером чего служат греки и римляне, Англия и Фран-

*Тем самым сортом опасных и презренных людей, которых господин аббат де Мабли сам презирает как они того и заслуживают, — говорит господин де ... в своем ответе на сочинение "О том, как писать историю", в "Mercure de France" от первого января 1783 г.

**Корнель (дон Санчо Арагонский)⁵.

ция; проникнутый своими идеями, беритесь за перо и пишите историю сих великих народов.

Что из того, что *Саллюстий*, или *Полибий*, или *Тит Ливий*, или *Тацит* уже писали об этом? Вы должны не повторять их, а стремиться изобразить великую картину человечества; и не как поэт, который впадает в преувеличение ради вящей выразительности, не как художник, передающий одни лишь внешние черты и вводящий в заблуждение сочетанием цветов, чтобы выставить напоказ лишь приятную ему сторону: вы – скульптор, который должен изваять цельную статую и явить совершенство в полном смысле этого слова. Старайтесь понравиться, но при этом не упускайте ничего и следуйте во всем самой суровой правде. Вам надлежит обрабатывать детали с искусством скульптора, который, отнюдь не пытаясь изобразить во всей точности каждый завиток, показывает нам, как развеваются волосы и как одушевляется лицо. Цель ваша не будет достигнута, если вас заподозрят в преувеличениях или искажениях, будь то ради красноречия или нравоучения по пристрастию или ради следования избранной доктрине.

Вот о чем должен был рассказать вам тот старец, с которым вели вы две эти скучные беседы, и вот что он даже не обозначил: ибо он даже не подозревал, что история есть картина человечества, он почитал ее своего рода учебником нравственности, а историка – всего лишь учителем, который обязан внушать ученикам: будьте благоразумны и помните, что такие-то и такие-то были наказаны за то, что плохо учились.

Но отнюдь не из-за сего школярского тона и педантического самомнения история становится учебником морали; для историка нет нужды всегда иметь перед собой подобную цель. Пусть история будет правдива, этого достаточно. Она по природе своей нравственна и в сущности такова, даже если показывает нам честного человека в оковах, а тирана на троне. Сокровенное чувство нашего сердца никогда не ошибается. *Катон*, доведенный до самоубийства, *Колумб*, закованный в цепи, и *Самблансэ*, взошедший на эшафот⁶, не кажутся нам преступниками, и всякий справедливый человек, читая их историю, предпочтет такую участь триумфу гонителей.

В обоих томительных разговорах, где несколько добрых советов беспорядочно перемежаются со столькими заурядными, бесполезными и неопределенными рассуждениями, автор настаивает на необходимости для каждого историка особых предварительных штудий, и эти важные штудии ограничиваются, по мнению вашего учителя, естественным правом и политикой.

В той системе, принцип которой я придерживаюсь, любезный Теодон, этих предваряющих штудий явно недостаточно. Иначе мы обманемся вслед за вашим наставником, говоря: *Без естественного права не суждено нам возвыситься до понимания обязанностей гражданина и магистрата, ибо сии две должности принадлежат к порядку общественному, к гражданскому праву, а не к праву естественному.*

В таком случае мы не сказали бы, говоря о политике: *Заметьте, прошу Вас, что существует две политики, одна, основанная на законах, установленных природой..., другая есть порождение страстей, которые ввели в заблуждение наш разум.* Ни в коем случае не следует судить таким образом, поскольку это далеко не так: политика – это не пустое занятие, но есть искусство поведения, искусство уберечь себя, насколько это возможно, от всех тех зол, которыми природа угрожает государству – таких, как голод и заразные болезни. Она есть искусство предохраняться от всяческих бедствий, которым подвергают нас страсти не только других людей, но и наши собственные: восстания, войны, нищета, запустение и т.д. Политика не есть творение страстей, которые вводят в заблуждение наш разум, но твердыня, которую разум воздвигает на их пути, и если слишком часто страсти пользуются ею как оружием наступательным, они развращают оную, но не унижают ее сущность.

Что же касается нравственных правил и их толкования, то следует в первую очередь показать, в чем состоят они, а не заблуждения, которые они порождают.

Из того, что эти нравственные начала были плохо поняты и изложены, представления, содержащиеся в творении вашего *Аристарха*, оказались в беспорядочном смешении, что вызвало у него превратное суждение о древних и нынешних временах. К сожалению, достижения века оказались потерянными для него, и вполне ему известно было лишь то, что он знал, покидая стены коллежа.

Вместо этих неопределенных наставлений, мои учителя внушили бы вам твердые принципы, и сказали бы вам: если хотите писать великую картину истории человечества, прежде всего должны вы познать человека в естественном его состоянии со всеми слабостями и нуждами, которые лежат в основании изначальных его прав и внушают ему первые обязанности вне зависимости от общественного устройства, равно как и отношениями его со всем окружающим миром, со всем тем, что по воле удивительного инстинкта оказалось ему подвластно. Должно знать также, как меняется его облик сообразно с климатом от экватора до полюса: в этом состоит география историка. Старайтесь понять, как многие народы перешли от дикой жизни к жизни кочевой, и от скотоводства к земледелию, меж тем как другие еще находятся в первобытном состоянии, которое, по-видимому, есть младенчество человеческого общества. Вы познаете затем все те перемены, которые прибавились благодаря идеям, религии и законам к переменам природным, и вы поймете, что такое человек в обществе.

Знание человека и страстей, которые внушаются ему инстинктом, даст вам правильное представление о естественном праве, а исследование идей, религии и законов поможет понять право гражданское, право наций и даже церковное право. Вы будете изучать влияние, которое одни права оказывают на другие, и увидите, как часто границы их смешиваются. Легко распознать простые страсти, которые дала нам

природа, и страсти, приобретенные вследствие общественного положения. Но для того, чтобы хорошо познать бездонные глубины сердца человеческого и игру страстей, нужно читать метафизиков, которые основательно исследовали их, равно как и творения великих поэтов. В особенности же нужно обратиться к своему собственному сердцу. Тот, кто поглощен лишь чтением актов и хроник, всегда будет плохим историком.

На это еще не все. У древних платоническая школа, пораженная необычайными свойствами чисел, хотела, чтобы все им было подчинено. Она заблуждалась, пытаясь приложить их к идеям метафизики. В нынешние времена английская школа дает им более правильное употребление, а французские философы дошли до того, что убеждают, будто можно подчинить расчетам и астрономическую систему вселенной, и политическое устройство государства. Начинайте же высчитывать и исчислять: мощь империй, их богатства и народонаселение, их способности к выходу из затруднений, опасность, которую они внушают, — все укажет вам математический расчет. Это — нить, которая не даст вам затеряться в лабиринте. Но обратите особое внимание на первоначальные сведения: если они не верны, всякие расчеты послужат лишь к тому, что вы останетесь при своих заблуждениях.

Я не стану превозносить вам надобность знать интересы государей и их народов, но хочу лишь предостеречь от излишней доверчивости к документам: они часто лгут. Хронисты ошибаются по невежеству, изготовители же документов умышленно вводят нас в заблуждение, ссылаясь на ложные причины, поскольку эти документы всегда продиктованы пристрастиями повелителя или сиюминутными выгодами. Проверяйте же их, обращаясь к хроникам, хроники — по имеющимся документам, а те и другие — по воспоминаниям того времени. И еще есть нечто важное, о чем ваш великий *Аристарх* и не догадывается, а именно то, что часто необходимо сравнивать дела разных веков и судить о них не по словам тех, кто всегда склонен восхищаться прошлым и осуждать настоящее. Только такие сравнения помогут понять сходства и различие нравов, отделить то, что принадлежит самому человеку от того, что относится ко времени или к месту. Они, сии сравнения, укажут иногда, почему то, чего удалось достичь в одно время, оказалось недостижимым в другое. Они помогут вам избежать тех ошибок, в кои впал ваш наставник.

Не стоило труда исписывать столько страниц ради доказательства, что писать историю некоего лица или деяния легче, чем историю целого народа, которая требует более обширных знаний. Вам и без того хорошо сие известно, но лучше бы обратить ваше внимание на то, что недостаточно пишущему истории империи знать политическое и естественное право, акты и хроники, что ему совершенно необходимо общее знание наук и искусств, сельского хозяйства и естественной истории. Ибо если не хочет он, чтобы все те столетия, о которых он станет писать, показались мне однообразно невежественными, он должен рассказать об

успехах наук, развитии изящных искусств, причинах их упадка и возрождения, и если не должен он говорить со мною, употребляя выражения, свойственные художнику, то не должен он говорить об этом и с невежеством новообращенного.

Таким образом, нужно, чтобы на время покидал он свой кабинет и книги, и обращался к памятникам тех веков, о коих пишет: к дворцам, храмам, надгробиям, медалям, рукописям. Знакомство с ними даст лучшие понятия, нежели пустопорожные писания ученых: на том поле битвы, где *Филипп-Август* торжествовал победу, где был пленен король *Иоанн*, где испустил последний вздох *Тюренн*⁷, к нему придут иные мысли, нежели те, что возникают при чтении *Даниэля* или *Ле Жандра*.

Почему ваш наставник забывает говорить вам еще и о хронологии, этой ныне столь основательно изученной науке, но столь плохо понятой в былые времена? Она может устранить две трудности, которые весьма донимают вашего наставника, и которые он не может разрешить. Первое – искусство препарирования фактов, второе – умение упорядоченного их размещения.

В настоящее время, любезный *Теодон*, поскольку все факты происходят одни за другими, искусство проверки поставить их в естественном порядке и поможет связать в одну цепь: и если наш историк не самый неловкий из писателей, он без особых усилий распоряжается событиями, указывая на то влияние, которое одни из них оказали на другие. Не то чтобы при этом он впадал в ошибку, с излишней скрупулезностью следуя хронологической последовательности, но, прерывая изложение одного события, он обращается к другому, после чего прерывает свое повествование в третий раз, и последовательность восстановится только после обращения к первому, – так же, как и историки, которые следуют хронологическому принципу. Это убивает всякий интерес, это губит самые первые ростки просвещения, уничтожает упорядоченность, но, если вы оставляете без внимания вопрос о том, как одно событие влияет на другое, какие политические принципы порождают ту или другую секту, какой закон вызывает к жизни такой-то обычай или как из обычая рождается закон, значит, вы весьма посредственный историк и введете в заблуждение своего читателя.

К этим знаниям следует добавить еще и знание языка, на котором вы пишете. Наставник ваш ничего об этом не говорит, поскольку он всегда пренебрегал им. Итак, мало досконально изучить грамматику и писать на этом языке как пурист: большая для вас будет польза, если познаете вы метафизику и науку языка как поэт, который, познав все трудности, обретает искусство освободиться от правил, не нарушая оные, и придавать описанию большую силу благодаря новым формам: до тех пор, пока смелость фигур его речи не будет затемнять смысла излагаемого. Тот, кто пишет историю по-французски, имеет особую надобность в знании всех средств своего языка. Французский язык вносит множество образных выражений, он прекрасно отображает чув-

ство, еще лучше являет себя он в споре и особенно в диалоге, но менее, нежели всякий другой, пригоден к описанию. Это замечено было Лафонтеном в одном из его кратких предисловий⁸.

Опыт и рассуждение лишний раз подтверждают это.

Во французском языке нет ни инверсий, ни того разнообразия оборотов речи, которые свойственны латыни. Он отнюдь не допускает таких длинных периодов и не может охватить, подобно ей, все событие в одной фразе и заключить в себе все подробности, его составляющие. В нем употребляются лишь короткие фразы. Если составляется фраза для выражения одной-единственной мысли, слог становится рубленым: недостаток инверсии привносит монотонность во все эти укороченные фразы. Третье лицо наших глаголов, то лицо, которое употребляется в исторических сочинениях, в особенности глаголов определенного прошедшего времени, которое некоторые грамматикеры называли *le parfait historique*, поскольку историки больше всего употребляют его, совершенно лишено приятности и разнообразия, между тем, как второе лицо, которое употребляется в диалогах, ласкает слух. *Vous dites, vous allâtes, vous vîntes* более приятно, нежели *il dit, il alla, il vint*. Зияния встречаются чаще и почти неизбежно в третьем лице: *il parla à la reine, il conta à son maître, il alla à Arles, il abuse à son fois de la rang et de son credit*⁹. Именно сие неудобство побуждает почти всех наших историков предпочитать в своих описаниях настоящее время прошедшему, что придает им ложную горячность, которая однако не мешает читателю скучать и придает всем их рассказам однообразную монотонность.

Я уже не говорю вам о трудностях, порождаемых вспомогательными глаголами, артиклями, разнообразием местоимений *son, sa, ses* и стольких других, поскольку употребляются они бесконечно и в самых разных по характеру сочинениях. Я указываю вам лишь на то, что особенно часто встречается в исторических сочинениях.

Между тем в языке нашем есть и некая бесхитрость, которая делает его весьма пригодным для того, что составляет самое очарование светской беседы – в шутке и легкой беседе, но, по мере того, как повествование преисполняется значимостью, трудности возрастают, а это подтверждает всю неповоротливость и сухость нашего языка. Ему остается только ясность, вполне искупающая его недостатки.

Вот почему у нас почти нет историков, которых можно было бы читать, и почему наши сочинители отдали предпочтение, большей частью сами того не подозревая, диалогическому роду – драмам, эриодам, эклогам, стихотворным посланиям, беседам живых и мертвых, изложениям в виде вопросов и ответов, рассказам, где собеседники занимают место автора, романам в письмах, эпистолярным трактатам о воспитании. Вот почему ваш наставник не написал ничего, кроме бесед – беседы Фокиона, беседы некоего милорда с одним шведом о законодательстве¹⁰, беседы с Сидамоном и Теодоном о том, как писать историю.

Вашему учителю следовало бы заранее предупредить вас, что трудности французского повествования, может быть, одни из самых боль-

ших в искусстве, которому он обучает. Ему надо было научить вас тому, как преодолевать их, как бесхитрое повествование, которое заставляет спотыкаться на каждой фразе, заменяется то изворотами рассуждений, то живописными и одушевленными выражениями, являющимися сутью его стиля. Это ни в каком случае не может почитаться чрезмерным. Займитесь сами вашим языком, читайте великих наших писателей и помните о том, что не может быть хорошего произведения без хорошего стиля.

Вот те предварительные штудии, которые вам необходимы: изучение человека и природы, равно как и различных государств, являвшихся на протяжении человеческой истории, познание политических принципов, законов, религии, страстей и сердца, понимание науки чисел, общественного положения и интересов государей и народов, умение сравнивать времена и нравы, общее знание наук, искусств, земледелия, естественной истории и памятников; наконец, глубокое изучение хронологии и сочинительского искусства*.

Вы видите, что я не менее привередлив, нежели наш старейшина, и для вас также очевидно, что никогда историки не появляются прежде великих поэтов и великих философов. *Гомер, Фалес, Сократ, Софокл, Эврипид* предшествовали *Фукидиду, Полибию и Диодору Сицилийскому. Лукреций, Цицерон, Вергилий* явились до *Тита Ливия и Тацита*¹². *Мильтон, Шекспир, Поп, Ньютон, Кларк, Локк* творили прежде *Юма, Робертсона и Гиббона. Декарт, Гассенди, Фонтенель, Корнель, Расин, Буало* — прежде нашего единственного великого историка, почтенного *Вольтера*. Вот еще один важный вопрос, требующий объяснения, и то, что наставник ваш требовал от историка напряжения всех сил, заставляет вас предполагать, какое место уготовано ему среди писателей.

*Аббат *Мабли* отнюдь не любит примечаний, и в этом я согласен с ним. В общем надо стараться избегать их. Тем не менее, есть такие, которые при написании истории необходимы. Таковыми являются краткие генеалогические или хронологические сведения, могущие пролить свет на спорные права или внести ясность в малоизвестные события, равно как и некоторые пояснения, касательно цитируемых авторов или кое-какие выдержки, служащие оправдательными документами. Если сии примечания слишком многословны, следовало бы поместить их в конце тома, как это сделал *Робертсон* и сам аббат *де Мабли* в "Заметках по французской истории".

В основной части сочинения можно представить лишь то, что следует из всего изложенного. Вычисления же представляют собой великолепные примечания, поскольку подкрепляют суждения, удостоверяют истинность утверждаемого и снабжают книгу весьма любопытными и поучительными замечаниями. Я часто сожалею, что *Тит Ливий* не оставил нам никаких примечаний касательно финансов, народонаселения, военного флота, управления делами и т.д. и т.д. Дабы сделать понятной мою мысль и обнаружить перед вами пользу, которую могут принести такие примечания, я поместил в конце этой книги одно из них, где речь идет о влиянии политических событий на численность парижского населения в текущем столетии. И если это примечание и не служит к опровержению принципов аббата *де Мабли*, то оно во всяком случае имеет отношение и к тому, как писать историю, и к тому, как ее изучать¹¹.

Не думайте, *Теодон*, будто я хочу оскорбить вашего наставника: если я сужу о нем сурово, то сам он дал мне право на это, унижая с такой грубостью достоинство заслуженных людей, чьи творения снискали признательность соотечественников и чужестранцев, даже те, что прочитаны в несовершенных переводах. Это постыдный пример, коему я не собираюсь подражать, и если добрая слава, которую ваш учитель снискал в прежние времена, благодаря своим лучшим творениям, не давала бы ему определенного влияния, могущего ввести в заблуждение молодых людей, я предал бы сочинение сие забвению, в которое оно и так уже погрузилось, вопреки желанию некоторых охотников до нравоучений.

Скажу больше: не обращая внимания на мелочи, я остановился не на том, что может унижить его, а на том, что может оказаться полезным. Я рассмотрю тех древних историков, коих он столь охотно хвалит, равно как и нынешних, удостоенных им столь неприличной брани и выражениях такой низости, что человек, даже не великой чувствительности покраснел бы от стыда, если бы они вырвались у него против воли в пылу спора. Разумеется, будь *Вольтер* жив, наставник ваш не дерзнул бы опубликовать свой труд. Но я останавливаюсь, сего и так уже достаточно.

Об историках древности

О них можно сказать то же, что *Буало* сказал об *Илиаде*.

Любите искренне Гомера труд высокий,
И он вам преподаст бесценные уроки*.

Ясность их слога, их красноречие, все возрастающий интерес, рождающий горячее желание узнать историю столь прославленных народов, искусство, которое употребляли они, отыскивая черты душевного склада и те величественные картины, которые предлагают они воображению, делают чтение древних воистину захватывающим.

Пока я читал их безо всякой определенной цели, то бесконечно был к ним привязан. Когда же обратился я к ним ради приобретения знаний, они показались мне далеко не полными. Я почувствовал, что, приученные к речам ораторов, они скорее изучали приемы красноречия, нежели искусство критики, что в большей степени они были озабочены установлением последовательности событий, чем раскрытием их причин, что скорее обращались они за советом к толкователям грамматики, нежели в архивы, и, наконец, я уяснил себе, что их скорее занимало желание нравиться своим соотечественникам, чем просвещать потомков.

**Буало*. Поэтическое искусство¹³.

О греческих историках

Не странно ли, что ни один грек не написал историю Афин или Спарты, историю Коринфа, или же истории всей Греции, пока она была свободной страной? Только после порабощения ее при преемниках *Александра* некий *Филохор*, поэт и историк, написал историю своих родных Афин, и некий *Полемон*, философ, ученик *Ксенофонта*, уроженец того же города, обратился к истории Греции. Известно так же, что некто *Дир* с острова Самос писал о Македонии: сочинения этих трех историков не дошли до нас. Что касается Спарты, то как мне кажется, она так и не прельстила ни одного из писателей древности. Мы знаем о ней лишь из хвалебных отзывов других греков, особенно афинских ораторов, которые восхваляли спартанцев больше из желания пристыдить пороки афинян, нежели ради самой истины¹⁴. Нынешние историки, которые создают столь прекрасные портреты спартановских героев по этим ораторским свидетельствам, походят на людей, знакомых с историей и нравами англичан из хвалебных отзывов, сочиненных французскими философами.

Касательно Спарты мы можем только догадываться, что город сей, не имевший исторических анналов и не породивший ни единого писателя, населяли своего рода вооруженные монахи, у которых женщины были чуть ли не общим достоянием и жестокость которых обращалась не только на рабов, но также на зависимые и покоренные народы. Хотя в публичных речах спартанцев и превозносили, но, внушая страх всей Греции, они не снискали ничьей любви¹⁵.

Ваш наставник, любезный *Теодон*, который столь хвалебно отзывался о них во всех своих произведениях, я думаю, не пожелал бы жить в Лакедемонне.

Перу Геродота принадлежит общая история Греции¹⁶, а *Диодор Сицилийский* хотел написать всемирную историю, что весьма разнится одно от другого. Зато *Фукидид* ограничился только Пелопоннесской войной, а *Ксенофонт* – отступлением десяти тысяч греческих воинов¹⁷. *Полибий* написал труд, который можно почесть всеобщей историей своего времени. *Плутарх* нарисовал и сравнил героев Греции и Рима с весьма заметным умыслом прославить своих соотечественников, и это пристрастие – грех, который непростителен современному историку.

Можно читать всех их с добросовестным вниманием, но при этом не получать никаких определенных сведений об истории Греции, ее хронологии, государственных переворотах, законах, их влиянии на нравы и отношениях с чужестранными народами. Ради сего следует скорее обратиться к современным историкам, которые распутали этот хаос и, не следуя ни за одним из греческих историков, почерпнули нечто в каждом, а также обратились к мраморным доскам, которые англичанин *Эрондел* отрыл на острове Парос¹⁸, равно как и к медалям, надписям, сочинениям ораторов, географов, философов и поэтов, в особенности к *Гомеру*, коего почитали они как историка, и к галлу *Трогу Помпею* в сокращенном изложении *Юстина*.

Из всех этих историков Фукидид и Плутарх суть те, кого ваш наставник восхваляет превыше всего. Если он хочет воздать хвалу изяществу красноречия и приятности стиля, то следует присоединиться к нему: но если он идет дальше, то восторги его преувеличены. У первого есть много неприемлемого для нас. Читая недавно историю Фукидида, я подумал, — говорит ваш мэтр, — мне показалось, что я вижу в безрас- судных страстях Греции картину тех страстей, которые ныне волнуют Европу. Разумеется, страсти сии, которые подобно ветрам волнуют воздух и морскую гладь, очищая обе эти стихии силою породивших их бурь, существуют изначально и производят повсюду сходное действие.

Последняя война, установление независимости Америки и свободы морей имели, без сомнения, причины более благородные, нежели вызвавшие Пелопоннесскую войну, и которые насмешливый Аристофан изложил много лучше¹⁹, чем Фукидид, рассказавший о них стихами Афиняя²⁰, которые можно перевести следующим образом:

Афиняне из Мегары похитили
Блудницу. Гордой Мегары воители
Озлились и похитили тотчас
Двух дев, которых хитрая Аспасия
Афинам продавала столько раз.
Не потерпев такого безобразия,
Сыны Афин, чей столь воинствен дух,
Решили внять Аресову велению.
Вся Греция подверглась разорению
Из-за каких-то трех паршивых шлюх²¹.

Ваш наставник напрасно полагает, что историк никогда не должен позволять себе шутки; когда причины войны столь смехотворны, лучше посмеяться над ними, нежели обойти молчанием или переименовывать их. Когда куртизанка становится повелительницей государства²², а лживый жрец, основываясь на ложном порицании, повелевает войсками, насмешка лучше, чем ученое рассуждение, принижает их и возвращает к здравому смыслу тех, коих отвратили от онога пристрастие или суеверие.

Историк, — говорит он с тем же ригоризмом, чтобы не сказать педанством, — должен уважать нравы: пусть так, но прежде всего должен он уважать истину. Де Ту, мудрый Де Ту, президент почтенного парижского парламента, разве не подвергнул он наказанию придворных дам, в самый день Св. Варфоломея покинувших Лувр и шествовавших среди обнаженных трупов, громоздящихся под стенами дворца, чтобы найти тело барона де Пона, и узнать, чего он стоил как мужчина²³? Древние не были столь совестливы. Геродот начинает свою историю с похищения четырех женщин²⁴ и подробного описания того, как лидийский царь Кандавл показывает свою нагую жену начальнику стражи²⁵.

Плутарх, которого аббат де Мабли столь хвалит, Плутарх — философ, историк, правитель, херонейский архонт — разве не пускается он в долгие рассуждения о том, кто лучше в любви — женщины или маль-

чики? И разве не говорил он, что к истинной любви женщины не имеют никакого отношения? Так выражается его переводчик Амио, наставник королевских детей, священник, ведавший королевскими подаваниями, ибо я не хочу, чтобы меня заподозрили в искажении текста²⁶.

Разве *Плутарх* не рассказывает нам в своих сравнительных жизнеописаниях, как прекрасная *Ретана*, простая рабыня, спасла Рим, осажденный галлами, отдавшись их вождю и приведя затем целую толпу прекрасных рабынь в одеждах римских матрон, которые, как и она, предаваясь разврату с этими варварами, изображали знатных римлянок, поскольку галлы не желали снимать осаду, пока не воспользуются женами всех сенаторов? Разве рассказ сей не по нраву славному *Плутарху*, ведь он дважды приводит его в своей великой истории знаменитых мужей и прежде всего в жизнеописании *Ромула*, а затем в истории *Камилла*, прозванного *Филотисом*, который вполне подчинился не галлам, но латинянам, последние же, — говорит он, — хотели отомстить таковым образом за похищение сабиянок²⁷.

Сознайтесь же, любезный *Теодон*, если бы нынешние историки, *Вольтер*, например, рассказали столь непристойную нелепость и притом не однажды, то для него было бы непростительно даже то, если он, подобно *Плутарху* сказал бы, что факт этот сомнителен, и сознайтесь, что аббат *де Мабли*, столь восхваляющий превосходную нравственность *Плутарха*, трактовал бы такого современного историка как безнравственного и бесстыдного сочинителя. Я не настолько суров, чтобы сия смешотворная история, рассказанная *Плутархом* по рассеянности дважды, не позволяла мне видеть его достоинства, но он слишком доверчив и ничто не подвергает сомнению: он пересказывает нам все, слышанное о подвигах *Тесея* и замечает только, что *Тесей* жил за четыре или пять столетий до *Фересиды Скаросского* и *Кадма Милетского*, которые оспаривают друг у друга первенство в написании первого в Греции прозаического сочинения²⁹. Где же *Плутарх* смог почерпнуть все эти мельчайшие подробности? И что сказали бы вы о каком-нибудь французе, который написал бы таким образом историю знаменитых галльских царей *Бритомара* или *Конколитана*³⁰, столь же храбрых, как и *Тесей*, но живших в то время, когда ни один галл еще не умел писать, тщетно ожидая своего *Плутарха*?

*Некоторые ученые уверяют, что *Плутарх* автор *Сравнительных жизнеописаний* — это не тот *Плутарх*, который написал *Жизнеописание знаменитых мужей*: не спорю, сие вполне возможно²⁸. Но не менее справедливо также и то, что этот последний в своем сочинении о знаменитых мужах дважды передает приведенный нами рассказ, равно как и многие другие.

Латинские историки

Римляне больше, нежели афиняне, занимались историей своего города. Первый же историк *Фабий Пиктор* сочинил историю Рима³¹. Самый древний из дошедших до нас, *Саллюстий*, описал историю о случившемся в Риме заговоре, а *Цезарь* – собственные свои завоевания. *Тит Ливий* изложил полную историю Рима от основания до правления *Августа*, при коем он жил. *Ассиний Поллион* и *Крематиус*³² были историками гражданских войн в Риме, но сочинения их не дошли до нас. *Тациту* принадлежат римские *Анналы*, *Флору* – краткое изложение римской истории, *Светонию* – жизнеописание двенадцати первых римских императоров. *Веллей Патеркул* составил краткую историю Греции и присоединил к ней таковую же Рима, каковой всех их занимает в первую очередь.

Изю всех сочинений самое полное, самое подробное, самое прекрасное и красноречивое принадлежит вне всякого сомнения *Титу Ливию*. Оно тем более достойно восхищения, что, по-видимому, он ничего подобного не мог бы взять за образец у греков.

По неспостижимому злосчастью, именно эта, единственная и достойная история Рима, которая должна была храниться во всех библиотеках всех городов Империи, дошла до нас весьма неполной.

Как и все истории древних, она грешит против хронологии, хотя *Тит Ливий* занимался ею больше, чем любой другой автор древних времен. Не имея привычки к строгому суждению, он порой позволяет себе передавать нелепые выдумки. Я говорю не о его чудесах, и не потому, что он писал историю суеверного народа, как говорит аббат *де Мабли*, который постоянно ошибается, ибо римляне времен *Августа* были не более суеверны, чем мы: наши предки были суеверны не меньше, нежели римляне времен *Нумы*, но ведь мы не допустим, чтобы историк вполне серьезно рассказывал нам выдумки, о которых прочитал он в деяниях мучеников. Сам *Тит Ливий* отнюдь не верил в эти чудеса. Он говорит о них в начале своей истории, но лишь потому, что сам был жрецом и в таком качестве почитал это своим долгом.

О клан судейских! Он творит свои дела.

Пуассон в Прокуроре-посреднике

Его история грешит еще и упущениями, непростительными даже журналисту, которые должны были бы поразить человека, столь сведущего в наших древностях.

Когда *Ганнибал* угрожал Италии, Сенат послал своих представителей в Галлию, чтобы призвать на помощь союзников. Они предлагали галлам остановить *Ганнибала* и тем самым подвергнуть себя опасности ради спасения Рима. Неудивительно, что галлы осмелили посланцев Рима³⁴. Но ведь галлы не составляли в те времена единого народа, а *Тит Ливий* не говорит, у какого племени были послы.

Лет пятнадцать спустя после отступления *Ганнибала* какое-то племя

галлов перешло Альпы и хотело обосноваться в безлюдном месте к северу от Адриатического моря. Три представителя римских властей прибыли в Галлию и запретили галлам вступать в пределы Италии. Галлы повиновались³⁵ и обещали поступать сообразно с сенатскими постановлениями. Но с каким галльским народцем римляне вели переговоры? Что представляли собой в то время галлы – монархию, республику или конфедерацию? *Тит Ливий* ничего об этом не говорит.

Есть у него упущения и посерьезнее. Спросите, например, каким образом два консула могли управлять таким большим государством? Разве у ежегодно сменяемых магистратов хватало осведомленности и опыта, чтобы судить обо всех государственных делах? И хотя ревностью преемника часто разрушалось то, что было сделано предшественником, почему Рим все-таки имел успех во всех своих предприятиях, как если бы управлялся он самодержавными царями? Спросите его о положении финансов, количестве звонкой монеты, о населении, но он укажет вам только число граждан.

В большей степени вас просветит *Полибий*. Содержащийся в его второй книге подробный свод всех сил Римской республики и подвластных ей провинций – шедевр ясности и точности³⁶. Совпавший по времени с моментом опасности, грозившей Риму, когда Сенат повелевал доставить реестры из провинций для изучения и исчисления ресурсов и средств, сей перечень являет собой образчик великого искусства вплетать в канву общей истории важные и любопытные подробности, становящиеся, благодаря искусству сочинителя, необходимыми.

Искусство это далеко превосходит ничтожные средства утомительных речей. Последние, сколь бы возвышенны, по примеру речей *Демосфена*, они ни были, всегда искажают историческое повествование, поскольку всегда лживы, ибо автор перестает быть повествователем, разыгрывая роль театрального героя; и, не разнообразя стиля, речи эти создают утомительную пестроту: так как они всегда пространны, большинство читателей оставляет их без внимания, дабы поскорее перейти к существенному. Надо так же сохранить слова великих людей, которые рисуют нам их характер, равно как и избегать того, что отдает риторикой.

Такая риторика по существу своему столь прочна, что терпеть ее в современных сочинениях просто невозможно, хотя и могли бы употреблять ее с большей ловкостью и умением, нежели древние, весьма часто вкладывавшие ее в уста воинов, готовящихся к битве.

У нас еще есть наказания Штатам, представляющих парламентам, рассуждениях канцлеров в палатах депутатов. Из всего этого можно было бы составить немало прекрасных речей, ведь они уже произнесли и следовало бы только сократить их и обновить стиль. Набравшись бесстыдства, можно приписать наши обороты и образ мысли *Ювеналу-дез Юрзену*, *Жаку де ля Вакери*, *Мишелю де л'Опиталд*³⁷, и таковым образом вывести из терпения своего читателя.

Комментарии *Цезаря* – образец стиля, более подходящего для ме-

муаров, чем стиль *Тита Ливия*, которым можно писать только историю. Скупой на слова, *Цезарь* коротко говорит о многом. Сей завоеватель обращается с читателем как с побежденным: он не сообщает, что побудило его к действию. *Цезарь*, — говорит он, — созвал галльское собрание в Самаробриве³⁸; но по какому праву? И что оно собой представляло? Какие обсуждались предметы? Какие цари и какие выборные были там? Все это остается неизвестным. Выражение *Цезаря*, по-видимому, возвещает о том, что все народы Галлии послали туда своих вождей или своих представителей, однако же большинство находилось в открытой войне с ним. Карнаты убили царя, которого он над ними поставил, сенноны хотели то же совершить и над своим царем. *Индуциомар*, *Амбиорикс*, *Кативульк* поднимали племена против него и созывали свои собрания. Из кого же состояло собрание *Цезаря*? Он и не подозревал, что ему могли бы задать такой вопрос. Его перо спешит и рисует все в общих чертах, не сообщая ни о чем, кроме своих побед.

Веллей Патеркул писал во времена *Тиберия* и воздавал хвалу этому государю, на которого мы привыкли взирать как на чудовище. *Веллей Патеркул* был солдатом, *Тиберий* же спас Италию от великого вторжения германцев, принудив искусными маневрами вождей их *Пиннета* и *Батона* сдать в плен вместе со всем их войском, которое он окружил своими легионами. Он спас галлов и отомстил за поражение *Вара*, принудив *Арминия* к бегству³⁹. Он бывал несправедлив, жесток, предавался постыднейшему разврату: я верю этому, но в то же время он поддерживал спокойствие в государстве, мирился лишь с теми несправедливостями, которые были необходимы для его власти и власти *Сеяна*, его министра.

Патеркул погиб вместе с *Сеяном*, выданный повелителем своим на растерзание толпы⁴⁰. Он погиб прежде, чем *Тиберий*, удалившейся на Капри, стал предаваться излишествам самой гнусной похоти и совершил множество других преступлений. Я вижу у *Патеркула* желание воздать хвалу *Тиберию*, но не принимаю все то, что говорит он из трусливой лести, как и то, чему у него обыкновенно верят. Внавь я вижу чувства солдата, с его любовью к *Тиберию* и вообще к императорам. Принужденный некогда защищать государя с оружием в руках, впоследствии он почитал своим долгом делать то же и при помощи пера. Мне понятно, почему трибун смотрит на вещи совершенно иначе, нежели сенатор.

Любезный *Теодон*, наставник ваш должен был внушить вам общее правило, которое заключается в том, чтобы узнать жизнь историка прежде, чем начинать читать его, равно как и страну, в которой он живет. Вы познаете причины его привязанностей и антипатий, хвалебных отзывов и критических суждений, и в меньшей степени вы будете расположены к тому, чтобы полагаться на его добросовестность.

Например, *Светоний*, к которому наставник ваш относиться с презрительным невниманием; *Светоний*, секретарь *Адриана*, впавший в немилость и отставленный⁴¹, писал не как жрец, не как правитель, не

как военный, но как слуга, который хорошо знал только частную жизнь и для которого общественные события – нечто второстепенное. Он не рисует характеры или события, а рассказывает анекдоты. Его книга полезна, поскольку он показывает людей такими, какими они были на самом деле – тех, кого *Тацит* и *Патеркул* изображают не иначе, как облаченными в императорские одежды. Ваш наставник снова ошибается, когда утверждает, что не стали бы читать больше *Светония*, если бы время не похитило у нас часть сочинений *Тацита*.

Тацит, красноречивый, глубокомысленный моралист, доискивающий до глубин человеческого сердца, распутывает тайны его, преследует порок и заставляет бледнеть читателя. Познать все его добродетели необходимо для того, чтобы поверить во все те преступления, о коих он сообщает. Он выше всяких похвал, но все же не удовлетворяет моего любопытства. Я вполне понимаю, почему сенаторы и всадники радовались смерти *Нерона*, понимаю, почему солдаты сожалели о нем, но почему же народ был ею опечален⁴²? Разумеется, его приучили к цирковым зрелищам, но не в этом причина, которая заставляла сожалеть о жестоком правителе, кровожадном государе, об отцеубийце. Раскрыть эту причину *Тацит* не смог. Этого можно было бы ожидать от современного нам автора.

Вот что читатель вправе требовать от *Тацита*, однако же он не проливает свет на причины, которые побуждали стольких императоров к стольким жестокостям. Но если бы *Тацит* начал историю свою выпущенными словами аббата *де Мабли*, о том, что *наши предки завоевали весь мир, потому что они почитали добродетель*, он сказал бы тем самым великую глупость. Ибо со времен братоубийцы *Ромула*⁴³ и отравителя жены *Тарквиния*, велевшего бросить под колеса собственной колесницы тело отца⁴⁴, и до того дня, когда Сенат казнил сразу сто семьдесят женщин-мужеотравительниц⁴⁵, не проходило столетия, года, даже месяца, чтобы растовщичество, тщеславие, продажность женщин, педерастия и тысячи иных пороков не оскверняли бы Рим. .

Десять лет спустя после изгнания царей первый же диктатор был избран для того, чтобы отомстить чужеземцам за похищение нескольких публичных женщин⁴⁶. Через пять лет сие похищение, а также алчность и ростовщичество патрициев принудили народ покинуть Рим⁴⁷.

Всем известна история *Виргинии*, когда гнуснейшая похоть соединилась с обманом, похищением и лжесвидетельством, равно как и скромность, безукоризненная честность, искренность децемвиров, этих почитавшихся самыми здравомыслящими из людей государства, поскольку они избраны для составления законов⁴⁸; но никто не знает о возмутительной истории ростовщика *Луция Паприя*, богатого патриция и бывшего консула.

В согласовании с обыкновением тех счастливых времен, того века добрых нравов, того образцово добродетельного народа, он вознамерился обратить в рабство одного из своих должников. Сын этого должника, юный *Гай Публий* предложил себя вместо отца, как в наши дни

один молодой кальвинист вызвался заместить на галерах одного из своих родственников. *Луций Папирий* согласился на это, увел юношу и, найдя его хорошо сложенным и красивой наружности, хотел совершить над ним насилие. Юноша оказал сопротивление, но хозяин его, посчитав сие неслыханной дерзостью, приказал другим рабам сорвать с него одежду и наказать бичами, чтобы сделать его более покладистым. Юноша вырвался и, выбежав на улицу, просил народ о помощи, вместе с толпой народа, обнаженный, окровавленный, истерзанный вступил он в зал заседаний Сената. Мы – люди другие, развращенные, как называет нас аббат, но мы увидели бы, как наши магистраты вознегодовали бы, подняли крик, приказали арестовать этого насильника и наказали бы его за ростовщичество, жестокость, педерастию. Добродетельный же Сенат добродетельных римлян не наказывал за такие пустяки. *Папирию* никто ничего не сказал, но ради успокоения народа постановили, чтобы в будущем кредиторам отдавалось имущество, а не сами должники⁴⁹.

Заметьте, все это и многое другое, о чем я умолчал, и еще многое, не дошедшее до нас, происходило в столь восхваляемые века римской истории, задолго до покорения Карфагена и Коринфа, чьи богатства, привезенные в Рим, явились причиной распространения роскоши. Так есть ли хотя бы доля истины в словах аббата: *После разрушения Карфагена Республику уже не сдерживала соперничавшая с нею держава, и отнюдь не постепенно, но стремительно пороки заняли собою место добродетелей.*

И верьте после этого господам ученым*

Все эти сведения почерпнуты мною у милого его сердцу *Тита Ливия*, и в этом случае вы видите, *Теодон*, с каким вниманием и пользой читал он книги сего великого человека и любимого своего автора. Я подозреваю, что он прочел у него только речи, из коих, – говорится далее, – *узнал он то немногое о политике, что ему известно*; как видите, это немногое руководит им весьма плохо.

Я не причисляю к историкам ни *Корнелия Непота*, ни *Валерия Максима*⁵⁰. Сочинения первого – это всего лишь извлечения из жизнеописаний великих мужей, которые он сделал, вероятно, для собственной надобности. Другой скорее всего собрал наудачу сведения о множестве разного рода событий и памятные речения больше для своего собственного образования, нежели ради сочинения какой-нибудь книги. Такой сборник, если он составлен в определенной последовательности и основательно, всегда весьма занимателен: он забавляет, не надоедлив и становится наиполезнейшей книгой, поскольку содержит в себе множество сведений, которыми пренебрегли в свое время историки и на которые с жадностью набрасываются потомки.

*Вольтер в "Орлеанской девственнице" ⁵⁰.

Вы могли бы спросить меня, *Теодон*, почему в длинном перечне писателей древности наставник ваш не упомянул одного – *Аммиана Марцеллина*⁵²? Это один из прекраснейших примеров того, как надо писать историю, но отнюдь не по своей несовершенной форме, что, впрочем, характерно и для других, не по искусству разбирать и располагать сведения, ибо у него таковых вовсе не было, и писал он в те времена, когда все искусства превратились в ничто, не по своему стилю, поскольку родился он в Азии, в Антиохии, где говорили по-гречески, а, возвратившись в Рим, он писал по-латыни, но по его удивительнейшему и совершеннейшему беспристрастию. Не думаю, чтобы можно было найти тому другой пример. Жил он в век фанатизма, когда христиане и язычники ненавидели друг друга. Философы из жалости к язычникам и ненависти, которую внушало им слепое рвение их гонителей, до некоторой степени мирились с языческими богами, называя их существами аллегорическими. *Юлиан* пытался восстановить древнюю религию Империи. Все умы были воспламенены, и все изрыгали хулу. Но история *Марцеллина* написана с такой сдержанностью, что невозможно, читая ее, представить себе, христианин он или язычник; даже ученые и монахи были введены в заблуждение. *П.Питу* и иезуит *Шиффлэ*, не колеблясь, объявили его христианином⁵³.

Однако, если бы он был им, то не говорил бы, что *Афанасия* преследовали за вмешательство в дела, прямо до него не касавшиеся, и за предсказания будущего по полету птиц: по крайней мере он должен был бы указать на сие заблуждение, иначе недостойные его беспристрастия христиане почитали бы его нечестивцем и преследовали бы клеветой и гонениями.

Если во глубине сердца он не принадлежал ни к древней, ни к новой религии, то достойно удивления, что не говорил он с презрением ни об одной из них и не отдавал предпочтения достоинствам тех философов, которые окружали *Юлиана* и, как говорит он, убеждали его с презрением отринуть мрачные предсказания авгуров, склоняя его к тому, что должно приписывать основание оных причинам физическим.

Благоговение перед *Юлианом* не закрывало ему глаза на его ошибки, а любовь к родному городу не позволяла участвовать в ссоре оно-го с императором. Невозможно выказать более благоразумия, и в книге, каковая предназначена наставлять тому, как писать историю и где говорится о стольких посредственных авторах, не должно забывать историка, который лучше всех следовал первому из ее законов.

Заметьте к тому же, любезный *Теодон*, что историки оказались плохими физиками, плохими астрономами и географами, хотя в Греции в то время были и географы, и астрономы, которые могли бы просветить их. Ваш мэтр не делает им в том никакого упрека, потому, вероятно, что он о том и не догадывался.

Я не стал бы говорить вам об ошибке, которую он позволяет себе, восторгаясь рассказом *Тацита* о смерти *Гельвидия Приска*, тогда как

Тацит говорит лишь об его добродетелях и судьбе⁵⁴; если бы сия ошибка, как и другая, которую я уже поправил, не была новым доказательством невнимания вашего мэтра при чтении и оплошностях его в сочинительстве.

Об историках нынешних

Я не буду спрашивать, *Теодон*, почему ваш мэтр не говорит об авторах, скрывающихся под названием Истории Августов⁵⁵, ни о тех, которые образуют так называемую византийскую библиотеку: они годятся лишь как пример погрешностей, кои должно избегать. Вслед за ним необходимо поэтому перейти к историкам последующих веков, но почему, любезный *Теодон*, ни слова не говорит он вам об историках Италии? Почему называет он лишь столь хвалимую Историю Флоренции *Макиавелли*, принципы которого все еще приводят нас в трепет⁵⁶? Почему ничего не говорит о *Гвиччардини* и знаменитой истории Неаполя, принадлежащей перу несчастного *Джанноне*, сей жертвы, за которую уже отомстил великодушный *Вольтер*⁵⁷, и которая будет отомщена еще и другими.

Единственное, что он упоминает, это История Триентского собора *Фра-Паоло*. Она и действительно, как говорит он, являет собой образец ясности и последовательности, точности и хорошего стиля. Никогда еще духовное лицо не выказывало себя большим другом истины, совершенно не опасаясь при этом прослыть еретиком. Он отнюдь не боялся оживить свой сюжет ироническими фразами. Невозможно не улыбнуться, когда он говорит о затруднениях католических священников, в то время как *Лютер* выступал против индульгенций, и о трудах, которые они предпринимали к накоплению сокровищ из крупниц добродетелей и подвигов святых, тогда как перед ними было неисчерпаемое море благих деяний самого *Христа**

Он не шутит, когда говорит, что из всех тех, кто писал против *Лютера*, лучше всех поступил инквизитор *Огострат*, который советовал папе изблечить *Лютера* железом и огнем без дальнейших с ним пререканий**.

Сии монашеские шутки должны были оскорбить его более, чем если бы они принадлежали мирянину, но так как у него всегда две меры и два веса, чтобы судить о людях и их сочинениях, то он не выделяет ни одной зловредной черты, которыми отмечена эта история. Ваш *Сидамон*, который во имя *Фра Паоло* принимается высмеивать теологов, не

* Non vivendo li prelati in maniera che potessero dar molto de loro merite ad altri, si fece un tesoro nelta chiesa, pieno de' meriti di tutti quelli, che ne hanno abondanza per loro proprij... d'onde nacque la difficulta a che fosse bisogno di gioccirole d'e meriti d'altri, quando si haveva un pelago infinito di quelli di Christo.

** Piu appositamente di tutti scrisse contra Martin Luthero, frate Giacomo Ogostrato dominicano inquisitore il qual tralasciate queste ragioni, essortò il pontefice à convincer Martino con ferro, fuoco, et fiamme. L. I, page 6, édition de 1619 in-folio⁵⁸.

мог выдумать ничего хуже. Напротив, тогда было самое время признать, что, благодаря силе их гения и характера, люди возвышаются над своим положением и овладевают искусством преодолевать все препятствия. Мне досадно, что *Фра Паоло* был облечен в сутану, но от этого я нимало не предубежден против него.

Я охотно предаю *Страду* всей той брани, которую ваш наставник обрушивает на него. Сей иезуит не заслуживает ни защиты, ни чести подвергаться нападкам. Неудивительно, что более сведущий и более сочувствующий свободе *Гроций*, не будучи ни священником, ни монахом, с большим смыслом писал историю в Нидерландах, но хотя он превосходит своих современников, малообдуманная эрудиция ставит его бесконечно ниже великих писателей нашего века.

Если ваш мэтр, любезный *Теодон*, не назвал ни одного из тех, кто написал историю Италии, по крайней мере, упоминает великого испанского историка, которого звали *Марианна*: но, по правде сказать, это и все, что он сделал, ибо признает, что не читал его: и с присущей ему элегантностью добавляет: *Было бы безрассудным для меня пытаться говорить о нем, в то же время я осмелился бы побиться об заклад, что испанский иезуит, должно быть, сочинил весьма посредственную историю Испании. Марианна* составил ее из рук вон плохо, там больше речь идет об исповедниках, монахах, чудесах святых, привидениях, нежели о королях, народе, воинских подвигах, летописях и государственном устройстве. Но, если этот иезуит и не достоин чтения, то во всяком случае *Испания* заслужила, чтобы бросили взгляд на ее общую историю, сколь бы плохо ни была она написана.

Шотландия снискала благорасположение в его глазах, ибо он читал ее историю и воздал великую хвалу *Бьюкенену*; но разве не должен был он предупредить вас, что сего историка весьма порицали за то, что он пожертвовал истиной, и под старость сам в том раскаивался и даже хотел, что, впрочем, не было им исполнено, восстановить поправленную им истину⁵⁹? И надлежало ли ему сказать еще и о том, что *Бьюкенен* позволяет себе больше насмешек над католиками, нежели *Вольтер* против всякого религиозного ребячества? Однако аббат *де Мабли* восхищается им, одобряет его, цитирует, указывает на него в качестве образца; так и всегда у него: во всем две меры и два веса.

Посмотрим по крайней мере, насколько прекрасно то, чего он желает: *Я хотел бы, –* говорит он далее, *– чтобы Бьюкенен был также внимателен, как и древние, к тому, чтобы прививать знание своего правления и общественного права своего государства.*

Во-первых, эта похвала может касаться только *Тита Ливия*, который в самом деле входит в большие подробности гражданского устройства Республики, рассказывая о разного рода смутах и преступлениях; но ни он, ни кто-либо другой не дал полную картину своего города, и нынешние историки, желая узнать гражданское устройство Афин, Спарты и самого Рима, вынуждены наводить справки у всех авторов, во всех сводах законов и памятниках литературы.

Rudis indigestaque moles
Metamorf. Ovide⁶⁰

Во-вторых, мог ли Бьюкенен дать ясный отчет об устройстве Шотландии? Разве существовало у сих варваров, преданных феодальному началу, гражданское устройство? Король, вельможные сановники, народ, которые сражались между собой, разве имели они ясное представление о том, чего хотели? Разве унаследовали они от своих безграмотных и бесписьменных предков основополагающий закон и образ правления, не нуждающийся в исправлениях и переменах? Я всегда с недоверием отношусь к писателям, которые приписывают превосходное гражданское устройство и прекрасную политическую систему варварам, коих вожди подвигали на грабительские набеги.

Такие системы возникают лишь тогда, когда народы начинают просвещаться, и вожди, боясь быть низвергнутыми, обращаются к опыту времен прошедших, но таким образом хотят ввести в заблуждение, а не осведомить, рассуждают, чтобы сокрыть дурные намерения. Затем являются выдающиеся политические, метафизические и прочие авторы, собирают доказательства этих вождей, ищут во всех древних актах, которые противоречат друг другу и, как Библия, являют собой обширное хранилище, где содержатся тексты в пользу любых мнений. Они заимствуют оттуда все природное, не замечая противоречащего, и называют сделанные ими выборки *неопровержимыми свидетельствами изначальности французского, английского, шотландского, саксонского или германского гражданского устройства*. А если недостает им документов, относящихся к слишком отдаленным временам? Они ищут свидетельства и находят их столь же противоречивыми, как и породившие их страсти; тогда выискивают они по своему усмотрению те, которые подтверждают их взгляды, и зачастую выстраивают свое здание на основе единичного и изолированного свидетельства, порой весьма сомнительного. Подобно тому, как мы, ученые и легисты, и сам аббат *де Мабли* в своих "Заметках по истории Франции" (т. I, стр. 9, женеvское издание 1745 г.), решили, благодаря дерзости воина, который разбил вазу в одну из тех минут своеволия, когда сильное желание получить добычу может помутить рассудок, толкнуть к мятежу и заставить замолчать власть, что *Хлодвиг*, который не наказал его тотчас же, был всего лишь военачальником, но не государем франков.

И *Людовик XV*, и *Людовик XVI*, равно как и многие другие короли, молодые, влюбленные и чувствительные, из прихоти своей брали на войну своих возлюбленных; таковой была, например, мадам *де Шатроу*. Солдаты пели даже у нее под окнами.

Мадам Анру, мадам Анру!
Коль вас не выдеру — умру
и проч.

Эта вольная шалость удивила и раздосадовала короля; он хотел заставить их замолчать и сказал о том высшим своим офицерам, но ему

ответствовали: солдаты столько должны терпеть на войне, что было бы жестоко стеснять их в песнях: запретишь одну, появятся другие, воследуют наказания, а за ними недовольство, ропот и волнение, от чего произойдет помешательство всему воинскому порядку. Король понял их правоту и, не досадуя более, стал смеяться первым⁶¹.

Я не ручаюсь за этот анекдот так же, как и за случай с воином *Хлодвига*, сообщаемый монахом *Григорием Турским*⁶², но, если через двенадцать веков, автор желающий уяснить себе гражданское устройство Франции восемнадцатого века заключает из того, что раз *Людовик XV* терпел солдатскую дерзость, значит он не был монархом и государем, но только вождем и военачальником французов, то сей автор заключил бы точно так же, как и наши ученые, про которых господин *де Вольтер* говорил, что это и есть глубокомысленное рассуждение.

Надеюсь, вы не потребуете, любезный *Теодон*, чтобы я разобрал то, как судит ваш наставник, о *Сарразне*, о *Бужане*, преподобных *д'Орлеане* и *Серсо*, который, как говорит он, с присущим ему изяществом и справедливостью, *марает высокие достоинства славного Риенци ... и пускается во всю прыть в противопоставлениях и нелепостях*. Вот бесспорно прекрасный из предлагаемых им образцов того, как надо писать историю. Помимо порочных построений варварского стиля во всех его суждениях содержится немало очевидных ошибок: но вы и так знаете –

Средство посеять скуку – в том, чтоб обо всем говорить*.

Да не удивит вас, любезный *Теодон*, то, что я привожу стихи, наставник ваш сам побудил меня к тому, и я пользуюсь, насколько могу, тем, как он советует писать историю.

Перейдем к авторам более известным, к *Боссюэ*, например; вы не читали его историю, *Теодон*, и, как говорит ваш наставник, я готов биться об заклад, что вы и не будете читать ее, несмотря на великолепную хвалу, которую он воздал ей. Вместе с тем, первая часть, касающаяся собственно истории, все-таки не менее интересна, чем какое-нибудь оглавление: но я так и не нашел никого, кто бы мог прочесть эту книгу до конца, исключая двух-трех эрудитов, которые, быть может, на самом деле лишь хвастали. Две другие части – не исторические, они содержат пространные речи, посвященные историческим событиям. Я не отрицаю присущего *Боссюэ* красноречия, однако уверен, что человек, рассуждающий только о евреях, греках, римлянах, египтянах, но забывший про китайцев, японцев, индийцев, татар, равно как и про достижения искусства, человеческого разума, и те государственные формы, через которые должны были пройти люди, прежде чем соединились в великие народы, не говоря уже о картине нравов, характерных чертах, обычаях, образе жизни различных народов – сей человек не создал не то что всемирной истории, но даже и наброска таковой. Меж-

*Стихи *Вольтера* в Шестой речи о природе человека⁶³.

ду тем *Боссюэ* дал своему сочинению *всеобщее* заглавие, которое столь плохо оказалось наполнено содержанием. Я не обвиняю его ни в невежестве, ни в неспособности, но догадываюсь, читая его историю, что должности епископа и наставника дофина⁶⁴ не оставляли ему ни времени, ни необходимого беспристрастия, дабы свершить подобный труд.

Роллэн, пришедший вслед за ним, дал написанной им книге название "*Древней истории*", и с полным правом ее можно назвать таковой, поскольку он говорит обо всех тех народах, которые мы обозначаем под именем древних⁶⁵. Я отнюдь не убежден в том, что *Роллэн*, как утверждает ваш наставник, писал только для детей, и еще менее, что его следует принять за образец и наводить на детей скуку долгими рассуждениями под предлогом того, что *они неспособны мыслить*. Нетерпение юного возраста не выносит ни долгих историй, ни длинных речей, и сочинители нашего времени, которые писали для детей, поступали верно, если предлагали им только короткие рассказы и характерные движения души, кои приятны всякому возрасту и которые учат отличать справедливое от несправедливого, пользуясь их врожденным чувством для развития разума.

О *Роллэне* следовало сказать то, что он первый привил французам любовь к своей истории и научил их вкладывать в это понятие кроме сражений еще и нечто иное, что он не упускал случая поразмышлять о нравах, искусствах, науках, равно как и правах и преуспевании рода человеческого; это был превосходный учитель, воспитавший учеников, которые оказались лучше него, и в сочинении о том, как писать историю, не должны они с пренебрежением вспоминать того, кто первый научил нас хорошо писать.

После *Тита Ливия* аббат *де Верто* – тот историк, которого предпочитает аббат *де Мабли*; он неистощим на похвалы ему. Но аббат *де Верто* избрал лишь перевороты, то есть самые интересные мгновения истории и украсил свое изложение торжественными речами и живыми картинами. Его произведения похожи одновременно и на экстракты, в которых отразилось лишь то, что составляет эпоху, и на многословные рассуждения, в которых без всякой пользы растянут его сюжет. Он говорит с пафосом и не ищет истину; неизвестно, хочет ли он просветить своего читателя или просто увлечь его. Было бы желательно, если бы он обратился к критике и философии, чтобы внушить больше доверия; ведь мы стремимся обрести историка, а не оратора.

Аббат *де Мабли* слишком горячится против отца *д'Орлеане*, который в сочинении о переворотах в Англии недостаточно, по его мнению, говорит о Великой Хартии; но ведь не порицает же он аббата *де Верто*, который в истории римских переворотов еще менее занят Законами Двенадцати Таблиц⁶⁶, этой Великой Хартией римлян, этой основой всех римских законов. Всегда две меры и два веса.

Сей великий *Аристарх* не мог упустить случая и не уведомить вас о том презрении, которое питает он ко всем большим общим историям

нашего государства. Как же случилось, что он насчитал их только три и забыл название той, которая должна быть безусловно известна человеку, приписывающему себе основательное исследование наших древностей, а именно о большой истории в трех томах in-folio аббата *Ле Жандра*, каноника собора Парижской Богоматери?⁶⁷ По той ли причине, что этот аббат – один из тех, кто лучше или хуже, но разобрался в путанице с нашими Меровингами? Не потому ли, что он много и учено толковал о наших древних нравах и о высших сановниках?

Достаточно ли сказать о таком человеке, как *Мезерэ*, что он отнюдь не льстец, как *Даниэль*, но ему, как и последнему, недостает знаний, что его нравственный дух обладает большими достоинствами для занятий историей, нежели эта сторона духовного облика *Даниэля*, что его стиль не столь утомительный, но скорее суровый, что его картины обрисованы грубо и не несут в себе того колорита, который притягивает к себе читателя.

Не следует ли добавить к сему, что повсюду в его истории читатели видели человека добродетельного, друга человечества и врага притеснений? Его правдивость стоила ему пенсии: сия министерская мелочность не принудила его встать на сторону притеснителей народа. Он отомстил за себя, сочинив "*Историю незаконного налога*", которая стоила бы ему свободы, будь она напечатана⁶⁸. После его смерти сочинение это бросили в огонь. Следует к тому же заметить, чтобы отдать должное этому отцу нашей истории, что его стиль, как бы ни был он неровен, порою становился, особенно с годами, возвышенным, что недостатки этого историка скорее присущи самому веку, в котором он жил, нежели свойственные его гению, что, если бы он писал о нашем времени, то воспользовался бы своими особенными познаниями в истории нашего века и тогда написал бы великолепную историю.

Вместо же этих справедливых и точных наблюдений добавляют: *что касается аббата Велли, то, как говорят, он хотел пойти другим путем; его же продолжатели несомненно стали пользоваться иным методом, и я слышал, что публика читает их с удовольствием. Какой стиль! И какое жеманное невежество!*

Что касается меня, любезный *Теодон*, то, не пускаясь в уловки, скажу вам: едва гордый *Мезерэ* разобрался в наших анналах и показал, что можно создать целое из этих разрозненных частиц, как целый рой монахов и аббатов набросился на нашу историю, как на обширное кладбище, которое по праву принадлежит церкви. Сначала всю ее попытались захватить иезуиты.

Сей орден, в котором было множество людей достойных, великолепных учителей, великих писателей, но зараженный интригами и честолюбием, почитающий обязанностью воспитывать молодое дворянство, счел своим долгом написать историю народа, коим он руководил. *Даниэль*, который предпринял сие сочинение, не мог уже говорить правду, как и его собратья *Страда* и *Марианна*, и если бы он осмелился

на это, то не смог бы найти во Франции того покровительства, какое *Фра-Паоло* оказывали в Венеции.

Права человека и народа заменены были правами государства и словесными привилегиями, о каковых он не мог рассуждать и потому бросился в подробности войны, абсолютно для него непонятной. Поскольку он не мог трактовать об интересах человечества, то занимался выгодами своего ордена. Это заставляло его льстить королю и знати, отыскивая монархическую конституцию, хотя предки наши не имели никакого понятия ни о какой конституции.

Мезерэ потерял пенсию, *Даниэль* получил ее и впридачу еще диплом историографа Франции; но, несмотря на сии отличия, его длинная, пространная, скучная история, написанная дурным и многословным стилем, всегда была несносной для большинства читателей.

Сие великое, но неудачное предприятия породило, однако, и великое благо, которое надлежало отметить критике. Оно породило любопытство и заставило почувствовать, что одних только хроник и военных мемуаров недостаточно. Тогда бенедиктинцы решили, что им следует теперь вступить во владение полем, которое слишком рано захотели возделывать.

Они начали распахивать его, предполагая собрать в единый корпус все подлинные сочинения, каковые могли служить к составлению истории нашего народа.

Буке открыл это обширное собрание, соединив в одном томе in-folio все, что древние, будь то греки или римляне, святые или нечестивцы, написали относящегося к истории галлов⁶⁹. После смерти *Буке* его собратья *Одике* и *Клеман* продолжали это полезное дело⁷⁰.

Мартэн сочинил историю религии галлов⁷¹. Он и *Брезийак* написали в двух больших томах in-quarto первую часть истории галлов⁷², которая может почитаться образцовой в том отношении, что соединяет все ошибки, каковые должно избегать, когда пишут историю.

Риве удалось неизмеримо больше по форме и стилю в его "*Литературной истории Галлии и Франции*"⁷³. Это поистине образец для всякой истории, где не следует ничем пренебрегать. К несчастью, он умер слишком рано и труд его все еще не закончен.

Сент-Март и его продолжатели, *Одэн* и *Брис*, собрали в "*Gallia christiana*" все, что сделано во Франции для христианства, описав происхождение церквей и историю всех епископов⁷⁴.

Этот труд был начат еще в прошлом веке *Сцеволой* и *Луи де Сент-Мартами*, двумя близнецами, прославленными своей дружбой и ученостью; завершение сего труда было для *Сент-Марта* воистину семейным делом⁷⁵.

Ученый монах *Бернар де Монфокон* собрал своей могучей рукой все памятники Франции и опубликовал их в пяти томах in-folio с гравюрами, полезными не менее, нежели описания⁷⁶. *Филибьен* написал историю города Парижа⁷⁷, *Лобино* – историю Бретани⁷⁸, *Вессетт* – историю Лангедока⁷⁹, а другие монахи сего ордена занимались прочими про-

винциями. Можно сказать, что бенедиктинцы совершили литературное завоевание королевства.

Пока эти уважаемые люди были всецело поглощены работой и компилировали эти полезные памятники, стремясь к строжайшей точности, дабы избежать всяких споров, два аббата, отличавшиеся редкими достоинствами и смелостью характера, изучали подлинные хроники и древние акты, собранные бенедиктинцами и легистами, и создали каждый свою систему истории установления нашей монархии. Они оказали существенную услугу именно тем, что заставили думать, расширили представления о нашей истории и выправили бытующие среди нас мнения. Один из них – аббат *Любо*, другой – ваш наставник, любезный мой *Теодон*, сам аббат *де Мабли*.

И Бурр с Сенекою, что, не жалея сил
Чернят меня... Но Рим высоко их ценил*

ибо нужно быть справедливым даже по отношению к тем, в ком нет справедливости.

Несмотря на все это обилие исторических сочинений просвещенное общество всегда желало получить историю Франции, которую оно могло бы читать и которая дала бы ему по крайней мере самое общее представление о законах, правах, подвигах наших предков и переменах в нашем существовании. Был еще один аббат, который именно этим и занимался.

Аббат *Велли*, не будучи столь глубокомысленным, как те двое, о коих мы только что говорили, и не слишком ученый, как бенедиктинцы, почитал свой талант Божьим даром и, едва зная свет, надеялся тем не менее удовлетворить светское общество. Книгопродавцы в том отнюдь не сомневались. Из его истории сделали доходное предприятие: решили публиковать том за томом, чтобы покрыть типографские расходы и гонорар аббату. Поэтому ему следовало щадить интересы всех сословий, опасаться неудовольствия государей, министров, их подначальных, парламентов, духовенства, ростовщиков, влиятельных частных особ, модных куртизанок, ибо если случайно любовница некоего фаворита питала пристрастие к комнатным собачкам, цензор безжалостно вычеркивал из истории Франции все, что могло иметь отношение к таковым собачкам, к опасности укусов и гибельных последствий бешенства. Малейшая дерзость могла тотчас прервать сие издание, и писалось оно с надлежащей осмотрительностью, а так как история эта приносила выгоду, аббат множил том за томом сколько мог.

Но аббат умер, и издатели оказались в сильном затруднении: не одобрен был ни ученый, ни философ; они взяли сочинителя комедий, человека умного и довольно образованного, который почитал истину, заглядывал в подлинные акты и стиль его был не столь уж и плох. Но он тоже умер. Пришлось возвратиться к аббатам.

**Расин* в Британике⁸⁰.

Издание к тому времени составляло уже двадцать восемь толстых томов *in-12* и не миновало еще правления *Франциска II*⁸¹. Читать его станут те, у кого достанет терпения или сил, но светским людям быстро надоедают столь длинные сочинения. Такая история вскоре отбила бы всякую охоту к чтению.

Другой аббат, человек умный, до известной степени склонный к философии и не лишенный вкуса, составил сокращенное изложение этой истории в трех небольших томах *in-12*, где события сменяют друг друга как в волшебном фонаре. Он не удовлетворил ни невежду, ни человека просвещенного. Люди набожные упрекают его за то, что у него слишком много философии, философы – за то, что ее явно не достаточно; впрочем, к нему привыкают и даже советуют юношеству, как, например, аббат *Милло*⁸².

Однако иезуиты не уступили это поприще бенедиктинцам и аббатам. *Лонгеваль* сочинил историю галликанской церкви, продолженную *Бертье*⁸³. В ней, правда, не преминули найти еретические мысли.

Сочинение это, написанное в царствование, первые годы которого были омрачены спорами вокруг одной из булл, а последние – вокруг тайны исповеди, пришлось весьма кстати. Благодаря ему мы имеем редкую возможность узнать, с каким высокомерием мелкие епископы некоторых галльских городков, почитавшиеся святыми, обходились с римскими и христианскими императорами, своими законными суверенами и к чему привели все эти богословские споры в христианском мире.

Отец *Гриффе* добавил в текст *Даниэля* свои ученые рассуждения и восполнил пропуски в той мере, насколько один иезуит может поправить другого⁸⁴. От этого история сия сделалась более поучительной, но она не стала интереснее, принципы ее не улучшились. Иезуиты приняли одну из обширнейших римских историй. Литераторы были мало довольны сим тяжеловесным сочинением *Катру*⁸⁵. Ему предпочтут историю Китая и Парагвая не из-за их достоинств, но лишь потому, что только они, иезуиты, проникли в Пекин, а цивилизация Парагвая была собственным их творением, так что им одним пристало говорить об этих двух странах⁸⁶.

Они сделали нечто большее и лучшее – перевели на французский язык большую историю Китая, сочиненную под надзором мандаринов и исторического суда⁸⁷. Трудились они над этим переводом и в то время, когда по повелению императора *Канси* сочинение сие переложено было на татарский язык⁸⁸; и если природные переводоты или набег варваров уничтожили бы в Азии анналы этой империи, то именно во Франции китайцы вновь обрели бы их, чем были бы они обязаны труду нескольких французов.

Я отнюдь не буду занимать внимание ваше многими другими сочинениями духовных особ о нашей истории, истории соседних государств и народов древних времен: ограничусь тем лишь замечанием, что нет в целом свете духовного сословия, которое оказало бы литературе

столько услуг, сколько французское, в том числе монахи, аббаты и даже епископы.

В шестнадцатом веке протестанский клир побудил католическое духовенство заняться самообразованием. Любой кальвинистский пастор, взятый в отдельности, может быть, просвещеннее, нежели любой из наших кюре, но ни лютеранское, ни англиканское, ни кальвинистское, ни православное духовенство, равно как и духовенство любой другой католической страны, сколь бы многочисленно оно ни было, столько не написало, столько не сделало изысканий и столь не вникло во все предметы наших исследований. Я не пристрастен, когда хвалю его, и я не хочу быть более несправедливым к нему, нежели к *Вольтеру* или аббату *де Маблю*.

Некоторые из людей светских осмелились соперничать с нашим духовенством в учености и в исторических изысканиях.

Дюканж глоссарием своим учил нас читать первых наших сочинителей⁸⁹. *Балюз* с прошлого века собирал капитулярии королей⁹⁰. *Вальбо-нэ*, первый президент Гренобльского парламента издал историю *Дофине*⁹¹, а президент *Дижонского* парламента *Буиз* написал книгу об обычаях в *Бургундии*⁹². *Лорьер* предпринял собрание ордонансов, обширный труд с присовокуплением глубоко ученых рассуждений касательно интереснейших и малоизвестных периодов нашей истории⁹³. Этот труд был продолжен ученым *Секуссом* и продолжается ныне господином *де Брекинъи*, знаменитым своею ученостью, трудами и постоянством, которое позволило ему упорными трудами извлечь из библиотеки Британского Музея и архивов сокрытые в Казначействе и Лондонском Тауэре несколько тысяч актов, грамот и писем наших королей. Посланный и рекомендованный французскими министрами, он был радушно принят учеными, британскими министрами и даже самим королем. Путешествие его составило эпоху в литературе, которая равным образом делает честь королям, министрам и ученым обеих наций⁹⁴.

В то же время священник министр *Пелутье*, сын некоего французского изгнанника, родившийся в Саксонии, раскапывал наши древности еще глубже, нежели бенедиктинцы, ибо вознамерился он дать нам историю кельтов, предшествовавших галлам. Он не только собрал все, что древние говорили о них, но сравнил все их сообщения о кельтах, с тем, что немцы, шведы, датчане, поляки могли собрать о своих предках, и на основании всего этого сочинил "Историю кельтов", в которой написал о всех народах, обитавших на Севере, в Германии и в Галлии от Балтики до Пиренеев еще до тех времен, когда греки и римляне узнали эти страны, и прежде, нежели в Европе научились читать и писать⁹⁵. Вполне понятно, что от употребления таковых весьма редких и совершенно неизвестных доселе сведений история его сделалась неизбежно неопределенной и расплывчатой, но все же она бросает свет на варварские народы глубокой древности.

Некоторое время спустя один француз собрал все подобные сведе-

ния, соединив с невиданной доселе ученостию глубокие исследования китайских авторов и сведения о нравах Татарии, написал об Азии то, что *Пелутье* – о Европе: он дал нам историю гуннов⁹⁶, из коей мы узнали, что эти варвары, которые проникли в Галлию вплоть до стен Орлеана и были разбиты в равнинах Шалона, пришли от границ Китая и были изгнаны из Азии полководцами китайских императоров.

Пейсонель, сын знаменитого *Пейсонеля*, консула в Смирне, занимался тогда же историей татар, но, найдя в Константинополе удивительное сочинение господина *де Гиня*⁹⁷, он ограничился тем, что дал нам историю варваров, которые обитали в устье Дуная⁹⁸. Эти любопытные и глубокие исследования умножили желание ученых узнать сии народы, и граф *де Буа* написал древнюю историю Европы⁹⁹, то есть всех народов, которые кочевали по северу Греции и Италии и которые, сдерживаемые в течение нескольких веков, вторглись, наконец, в Грецию и уничтожили грозную Римскую империю. Это сочинение, пролившее свет на историю наших древних времен, принадлежит к тому роду, каковой не был известен древним, и мы во всем обязаны французам нынешнего века многими новыми познаниями о человечестве в лучшие времена Республики и Империи, коих не имели ни *Тит Ливий*, ни *Тацит*.

Наконец, у нас есть целый корпус исторических сочинений, чему не найдем ни единого примера ни у древних, ни у иных, ныне не существующих народов; это "Записки Академии Надписей и Изящной Словестности"¹⁰⁰. Я знаю, что в Париже смеялись над протяженностью сего собрания, которое все увеличивается, как надлежит тому быть и впредь, а также над мелочностью обсуждаемых на его страницах предметов. Но мне известно также, что чем далее от столицы, тем больше чувствуется польза этого издания, и что люди просвещенные, живущие в городах, где не весьма много ученых, не находят это собрание излишне многотомным. Напротив, они желали бы, чтобы к нему прибавлялись все новые тома.

Вы собираетесь сказать мне, любезный *Теодон*, что обширное собрание полезных изысканий, что сочинения стольких ученых людей не являют собой образцы, по которым должно писать историю: нет, они указуют только способ, с помощью которого должны знать ее и каковою является необходимым прелиминарием для добросовестного автора.

Заметьте также, что прежде чем писать историю какой-нибудь империи, надобно, чтобы ученые осветили или обсудили все вопросы права, закона, государственного устройства и чтобы два десятка противоборствующих систем излечили благие умы вообще от пристрастия к системам. Итак, нам осталось только потрудиться, ибо материалы собраны, архитекторы же не замедлят прибыть.

Рассмотрим же теперь тех, кого Европа наших дней почитает героями, а наставник ваш, не изменяя изяществу и учтивости своего стиля, называл глупцами и сумасшедшими, не видящими дальше своего носа.

Об английских историках

В начале нынешнего века господин *де Вольтер* побудил сочинителей заняться изучением английского языка и научил оба народа уважать друг друга¹⁰¹. Именно он познакомил нас с принципами *Ньютона* и красотами *Шекспира*, хотя некоторое время у нас оспаривали открытия первого из них. Зато вскоре восприняли мы все погрешности второго, и нам понадобилась смелость этого великого человека, чтобы заставить себя заимствовать все преподанные философом истины и чтобы не перенимать все недостатки великого поэта, которые несравненный господин *де Вольтер* учил нас не смешивать с восхищавшими его характерными чертами последнего.

После философов и поэтов изучали мы историков. И у англичан есть всемирная история. Это солидный труд, который имел большой успех в Европе и, несмотря на легкомыслие, за которое нас упрекают, даже во Франции, — у нас было уже два перевода сего сочинения. Наставник ваш не назвал его, хотя он немало говорил вам об истории *Пуфендорфа*.

Английская история значительно лучше изложена и не столь суха, как история этого немца. Она намного полнее, нежели история *Боссюэ*, которая лучше отвечает взглядам, предлагаемым вашим наставником, когда он говорит, что *должно вести разговор о каждом народе в отдельности*, и в то же время порицает некоего сочинителя за то, что тот именно так и поступает¹⁰². В действительности английская всемирная история — это отнюдь не произведение одного человека, а нескольких, каждый из которых, обязанный трудиться по единому плану, писал историю того народа, которую изучил лучше всего.

Рапен де Туара не был англичанином, но одним из тех храбрых воинов и просвещенных людей, которых отмена Нантского эдикта¹⁰³ вынудила помимо воли принести другим народам свою доблесть и просвещенность. Наставник ваш хвалит превыше всего его взгляды и его справедливость, но затем торопится накинуться на его изъяны, ибо вообще в сочинении своем он всегда, кажется, говорит о совершенно неизвестных ему книгах. В то же время он уже давно знал сего сочинителя. Придется нам сделать о нем некоторые замечания, коими манкировал сам аббат.

Рапен де Туара написал историю народа, который дал ему убежище, он изучал ее в самой Англии, а писал в Голландии, пользуясь там совершенной свободой. *Раймер* только что собрал и опубликовал тогда акты, относящиеся к английской истории¹⁰⁴. *Рапен* изучил их, и сочинение его явилось первым историческим сочинением, написанным на основе внимательного изучения актов и грамот. Это первое сочинение, написанное не по одним только хроникам. Я полагаю, он был первым французом, который выяснил истинную или мнимую картину строя северных варваров, разрушителей Римской империи, который заложил основы системы, развернутой аббатом *де Маблю* в наше время. В

качестве доказательства народной свободы и тесных пределов власти наших королей *Рапен* приводит случай с тем солдатом *Хлодвиг*, который разбил вазу, предназначенную для короля¹⁰⁵. Это тот же самый вывод, что и умозаключение вашего наставника, который, однако, и не упоминает о *Рапене*. В то же время книгу *Рапена* читают до сих пор, и все те, кто писал после него, многое из нее заимствовали. Он затмил собою *Андрэ дю Шена* и *Ларрея*¹⁰⁶. На английском языке еще не было ни одной истории Англии, которую могли бы сравнить с этим сочинением и, быть может, никто лучше и не написал историю иноземного народа.

Когда этот француз впервые использовал английские архивы и показал, что можно беспристрастно писать историю, которую гражданские и религиозные войны не позволяли еще трактовать, не принимая при этом чью-либо сторону, когда здравомыслящие умы чувствовали отвращение ко всем этим полемическим сочинениям, некий философ взялся за перо и написал, наконец, историю Англии столь безупречно и изящно, что там нет места ни ненависти, ни восторженности; историк этот тем главным образом донныне и отличен, что выдвинул, так сказать, на передний план народ, особо отметив перемены и успехи, коих достиг он в своем гражданском строе, чем обязан он присущему ему великому искусству со всей ясностью обрисовывать все эти перевороты.

В том, что наставник ваш говорит о *Юме*, который не знает свой народ, делает лишь общие рассуждения, знаком лишь с хрониками (ибо наставник ваш всегда угадывает и утверждает то, чего не бывало), который, присовокупляет он, по невежеству своему, из лености или по недомыслию лишь в общих чертах вчерне набросал свою историю (ибо великая живость мысли вашего наставника делает его столь же учтивым с иностранцами, как и с французами), разве поверили бы вы, любезный *Теодоц*, что все эти оскорбительные выражения относятся к тому самому *Юму*, о коем намеревался я вам говорить. Но мне порукою Англия и вся Европа, которые находят в произведении сего философа близкое сердцу беспристрастие, увлекательную манеру изложения и ясность, показывающую, что путаница других историков поддерживает невежество.

Из известных историков творивших в Англии, господин *Робертсон* — тот, которого аббат де *Мабли* ругает меньше других. Он признает, что знает его только по переводам, и признание это вкуче с молчанием, которое хранит он об историках Неаполя и Флоренции, удручает читателя: досадно, что столь ученый человек, как аббат *де Мабли* знает хорошо только латынь и при этом сурово судит англичан.

Историки, как известно, теряют при переводе с одного языка на другой меньше, нежели поэты. У нас достаточно хороших исторических переводов, но всякому, кто знает латынь, понятно, что если бы господин аббат *де Мабли* читал *Тита Ливия* только по-французски, он не усмотрел бы в нем образец для историков.

Сочинение Робертсона, которое он критикует больше всего, это его прекрасное введение в историю Карла Пятого, пользующееся наибольшим успехом в Англии и Франции. Оно являет собой огромную картину, в которой историк запечатлел европейские народы и феодальное устройство, каким было оно прежде воцарения этого императора, картину ясную, точную, столь упорядоченно выписанную, что глаз зрителя без труда распознает все предметы и удерживаемый красотой колорита и чистотой рисунка, наслаждается поражающим воображение творением живописи. Для того, чтобы начертать на столь небольшом пространстве картину столь обширную и основательную, не довольное одних познаний, надо было сжиться со всеми событиями, законами, государственным устройством, равно как и вполне овладеть всеми тайнами великого сочинительского искусства.

Вместо этого соединения учености и таланта, удивляющего и чарующего французских и английских читателей, аббат де Мабли, коему на роду написано было находить плохим всякое восхищающее других сочинение, если не сходно оно с *Титом Ливием*, увидел в величественном труде Робертсона лишь *вчерне набросанное произведение, никакого углубленного исследования; читатель сталкивается там со всем тем, что встречается в истории Франции, всеми предосуждениями и заблуждениями наших историков. Робертсон, — говорит он, — ссылается на президента де Монтескье, аббата Любо, графа де Буленвилле и меня, недостойного. Но, кажется, — добавляет он, — он не смыслит ничего в сих авторах, поскольку принимает разом их различные мнения, которые не могут быть совместны, соединившись, образуют совершенно историческую галиматью. Разве Робертсон не перенял у каждого из этих сочинителей справедливые их суждения, не принимая в целом систему ни одного из них, отчего и получилось у него выдающееся произведение? Разве феодальное устройство или, вернее сказать, феодальное безначалие не настолько запутано, что сочинитель оказывается перед лицом всех противоречий и всех противоположных мнений?*

Допускаю, что могли быть кое-какие погрешности в этом произведении: у кого их нет? Но разве не должно отметить как чрезвычайную заслугу, что удалось ему преодолеть все встретившиеся на пути трудности? Разве не должно в трактате о написании истории показать, каким образом историк создает огромные картины, охватывающие одновременно великое множество народов, чего не было у древних, ограниченных живописанием Греции или Римской империи? Разве не должны были, наконец, ради чести нашей нации, обратить внимание на то, что господин Робертсон заимствовал большинство из своих взглядов в "Опыте о нравах народов" господина де Вольтера? Не то чтобы он ограбил этого великого человека, не то чтобы он с него списал. Он сделал, как делал *Вергилий*¹⁰⁷, ибо чувствуется, что той или иной мысли, тому или иному обороту или взгляду он обязан *Вольтеру*, но нельзя сказать, что он похитил эту фразу, слово или мысль.

Далекий от того, чтобы не признавать его, нам выдающийся писатель преуведомляет о том сам: Я отнюдь не пренебрегал, – говорит он в последнем примечании к своему введению, – трудами господина *де Вольтера*. Этот необыкновенный человек, гений коего столь же дерзновенный, сколь и вселенский, упражнялся почти во всех родах литературного сочинительства и превзошел всех в большей части оных; он приятен и поучителен во всем... Он был наставником в моих трудах и указывал мне не только те сведения, на кои важно обращать особое внимание, но и следствия, каковые должно было из них вывести. Если бы к тому же он приводил подлинники, где можно было бы найти подробности, то тем самым избавил бы меня от больших изысканий, а многие из читателей, почитающие его приятным и занимательным сочинителем, увидели бы в нем так же ученого и глубокомысленного историка¹⁰⁸.

Да, любезный мой *Теодон*.

Именно так благородное сердце умеет мыслить
о великом человеке*

Выше привел я не свой перевод *Робертсона*, но воспользовался уже имеющимся, чтобы не дать вашему наставнику повод обвинить меня в том, что я искажил его мысли, и убедить в этом *Сидамона* и ему подобных. Это примечание *Робертсона* доказывает, что он читал авторов в подлиннике, и что чтение оных не заставило его думать иначе, нежели господин *де Вольтер*. Оно доказывает, кроме того, 1) что господин *де Вольтер* тоже читал их; 2) что господин *де Вольтер* делал из них лучшее употребление, поскольку указал *Робертсону* на важные обстоятельства и те следствия, кои ему следовало из них вывести; 3) что *Робертсон* почитал более достойным иметь своим наставником *Вольтера*, нежели господина аббата *де Мабли*.

Вот чего господин аббат *де Мабли* не мог ему простить и вот где скрыта причина, позволившая сказать, что это вчерне набросанное произведение не что иное, как историческая галиматья. Итак, судите сами, должно ли верить сведущему *Робертсону*, владеющему почти всеми языками, справающемуся у всех авторов, свидетельствующему всей Англии, в коей достало внимательных читателей и глубоких мыслителей, что господин *де Вольтер* – истинный ученый и проникновенный историк, наилучший наставник, коему можно довериться, или верить аббату *Мабли*, который знает только латынь, хвалит одного *Тита Ливия* и в диалогах своих с двумя особами, столь же мало просвещенными, осмеливается говорить, рассчитывая на поверхностных читателей, что *Вольтер не видит дальше своего носа*¹⁰⁹, что он *сумасшедший, а его история – пасквиль?*

**Вольтер* в своей речи против зависти¹⁰⁹.

В то время как два десятка презренных плагиаторов-французов списывали целые страницы у этого великого человека, искажали мысли его дурным слогом и печатали против него в журналах и брошюрах трусливую брань из боязни, как бы их не заподозрили в краже, Робертсон, поистине достойный того, чтобы судить о нем, отдавал справедливость патриарху французской литературы. Европа наслаждалась хвалой, возносимой самым ученым из английских историков, ученейшему и красноречивейшему историку французскому. Точно так же видели вы впоследствии ученейшего, величайшего философа, славу Нового Света, знаменитого Франклина, обнимающего славу Света Старого – Вольтера и просящего у него благословения для маленьких детей своих¹¹¹.

В этом пристрастии аббата *де Мабли* к порицанию всего, что снискало всеобщее одобрение, надобно было осудить и историю Америки того же автора, даже не прочитав ее перевод.

Он отнюдь не читал, – говорит он, – историю Америки Робертсона: но по выдержкам для него сделанным, он может судить о том, что весь порядок книги перепутан и четвертую книгу следовало поместить перед третьей; к сожалению, это ошибка, ибо только после открытия и завоевания нескольких островов читатель начинает подозревать, что перед ним обширный континент, и он хочет узнать его обитателей. Автор внимательно следил за цепью событий, равно как и за мыслями и желаниями читателя. Поистине, любезный мой Теодон, я краснею за вашего наставника. Так судят порой в двенадцатилетнем возрасте о том, чего не знают, но в годы, умудренные опытом, когда многое прочитано; увидено и подвергалось сравнению, возможно ли выносить суждения своих с такою легкостью, думать, что существует только один способ изучать предметы и сочинять книги? Разве можно требовать, чтобы все они похожи были одно на другое и являли собой, как говорится, используя хорошо известное и справедливое выражение, вид стриженных под одну гребенку?

Разве не известно ему, что английским писателям в общем недостает метода, что они и их читатели имеют вкус к рассуждениям и что если обнаруживаются таковые изъяны в этом сочинении, то их следует отнести скорее на счет нации, нежели автора, который грешит ими менее, нежели большинство его соотечественников?

Вы, любезный Теодон, были на обеде господина *де Фонсеманя*, где среди большого общества присутствовали господин аббат *де Мабли* и господин *Гиббон*. Разговор вращался почти исключительно вокруг истории. Аббат *де Мабли*, как глубокий политик, когда подали десерт, стал рассуждать об администрации и так как по характеру своему, расположению духа и привычке восхищаться *Титом Ливием*, воспринял он лишь республиканскую систему, то стал превозносить совершенства оной, будучи убежден, что английский ученый согласится с ним во всем и восхитится глубокомыслием гения, который помог французам понять все ее преимущества. Но господин *Гиббон*, просве-

ценный опытом неудобств народного правления, отнюдь не поддержал его мнения и принялся отважно защищать монархический образ правления. Аббат хотел убедить его цитатами из *Тита Ливия* и некоторыми аргументами в пользу спартанцев, почерпнутыми из *Плутарха*. Но господин *Гиббон*, одаренный великолепной памятью и державший все представлявшиеся сведения в уме своем, вскоре завладел разговором. Аббат был раздосадован, вспылил и дело дошло до грубостей. Англичанин, сохранивший природную свою невозмутимость, выказал превосходство свое и теснил аббата с тем большим успехом, что гнев все более и более возмущал сего последнего. Разговор распаялся, пока господин *де Фонсемань* не прервал его, встав из-за стола и перейдя в гостинную, где никто уже и не пытался вспоминать о нем¹¹².

Вы видите, любезный *Теодон*, сколь необходимо знать жизнь человека, прежде чем читать его произведения.

Тем не менее правы были они оба. С давних пор я наблюдал, как лучшие французские граждане и основательнейшие умы превозносили республиканское правление, тогда как в Англии таковые благоприятствовали приумножению королевской прерогативы. Ведь французы страдали от произвола власти, а в Англии — от злоупотреблений свободой, и оба эти правления достигли бы совершенства, к которому только способны установления человеческие, если бы в одном было бы смягчено министерское всевластие, а в другом — необузданная распушенность народа.

Аббату в то время не были еще известны труды господина *Гиббона*, но впоследствии господин *де Сет-Шен* дал нам перевод "Упадка Римской империи", снискавший большой успех¹¹³, однако аббат прочел его со свойственной ему легкостью и предубеждениями к автору, усиленными дурным расположением духа. Он был весьма удивлен, что не нашел у него декламаций против императоров, которые читал он у *Тацита* и *Диона Кассия*, равно как и тем, что видел повсюду только сдержанность философа, набрасывающего мудрой и дерзновенной рукой портрет — но не цезарей, а великого народа, стоящего на краю гибели. И философ этот трактует основательно, без излишней утомительности и не в ущерб ясности, об устройстве Римской империи, ее армии, флота, финансов, сообщая подробно обо всех провинциях, а также свидетельства процветания Империи при *Антонинах*, чтобы читатель почувствовал, с какой высоты славы суждено ей было низвергнуться. Равным образом просвещает он нас о судьбе магистратов, народа и рабов; и наконец, любезный *Теодон*, обо всем том, чем древние историки пренебрегали, хотя люди желали быть, если не вполне, то по меньшей мере, лучше осведомленными, ибо, говоря словами *Монтеня*, приходили в отчаяние, безуспешно копясь в неосновательных и легковесных историях тех злополучных времен.

Все это, написанное безупречно, немногословно, ясно, со всегда удачно найденными оборотами фраз, перемежается событиями политическими, и я не сомневаюсь, что они очаровали бы аббата, если бы

были вправлены в стилизованные, несколько высокопарные, торжественные речи и содержали в себе нападки на императоров. Но изложенные с простотою и беспристрастием историка, соединенными с обдуманной восприимчивостью философа, они казались аббату лишь холодными рассуждениями; впрочем, в Англии они произвели необычайное впечатление и тот же успех имели они во Франции.

Его нерасположение к автору возросло, и в избытке злобы он с привычной учтивостью задал вам странный вопрос, вам, который не читал ни перевода, ни оригинала: *существует ли что-либо смущнее некоего господина Гиббона, который в бесконечной истории римских императоров откладывает непрестанно свое бесцветное и неторопливое повествование, чтобы объяснить вам причины фактов, о коих вы только что прочли?* Что ни слово, то заблуждение. Его повествование, о котором он не может судить, не медлительно, не бесцветно: если оно не кратко, как у некоторых авторов, быстрота коих, как пишет Буало,

И торопливый слог нам говорит о том,
Что стихотворец наш не наделен умом*,

оно всегда принято, всегда тщательно отделано и исполнено чувства. Фраза его несет в себе очарование, которое я вижу только у него, а именно способность охватывать обширное пространство немногими словами и отмечать крайности, не прибегая к антитезам. Никогда не объясняет он причин какого-либо события – он говорит вам о нем и о произошедших впоследствии изменениях, о том состоянии, в коем пребывает нация. Его занимает весь род человеческий, а не двор, император или армия.

Я не говорю вам, *Теодон*, о двух последних томах in-quarto про которые наставник ваш мог и не знать, поскольку они еще не переведены¹¹⁵. Скажу вам только, что господин *Гиббон* разбирает в них с большой ясностью и, по моему мнению, с величайшей занимательностью, все перевороты, произошедшие со времени *Константина* до разрушения Западной империи; все эти перевороты, столь запутанные у других авторов, без труда излагаются в его сочинении; он – единственный, кто ясным образом их изложил.

Все, чего он ни касается – перехода готов через Дунай, взятия Афин и Рима славным *Аларихом*, водворения варваров в Галлии и Испании, появления гуннов в Европе, характера *Аттилы*, его царствования, двора и нравов, его великолепного дворца – все столь же ново, сколь и прекрасно, но наиглавнейшее заключается в том, что все истинно, что сочинитель, не впадая в витийство, ничего не преувеличивает и не измышляет никаких систем. Он нов для нас, поскольку хорошо описывает то, что другие неясно выразили. Он правдив, ибо знает природу человека, народы древности и нового времени, потому что он сравни-

*Буало. Поэтическое искусство¹¹⁴.

вает гуннов с татарами, предшествовавшие времена – с временами последующими; потому что из всех этих познаний и сравнений протекает поразительнейшая и правдивейшая картина. Что до меня, признаюсь в том, ни один сочинитель не доставлял мне столько удовольствия, никогда не возникало у меня желания перевернуть непрочитанную страницу, оставить начатую главу. Сожалел я лишь об одном – что книга приходит к концу.

Мне известен только один изъян в этом прекрасном произведении – это фраза, недостойная *Гиббона*. Фраза сия представляется жертвой читателям из числа черни его страны во время войны Англии на континенте. Таким людям, как *Гиббон*, не должно унижаться и унижать свой народ в глазах иностранцев опротивевшими мнениями о сочинениях, кои они не знали и не могли знать¹¹⁶.

После того, как вы, любезный *Теодон*, видели легкомыслие и злополучную дерзость наставника вашего с особами, язык коих он не понимает, любопытно видеть, с каким простодушием рассуждает он о тех соотечественниках, которые, вероятно, были им хорошо понятны.

*О некоторых французских философах,
кои писали историю*

Прежде всего кажется странным, что история самого жестокого из королей, какие только были во Франции, единственного, которого сравнивали с *Нероном*, а именно история *Людовика XI*, была написана двумя философами, которые лучше всего послужили человечеству. Кажется еще удивительнее то, что сочинения эти явились первыми историческими опытами, вышедшими из-под пера философов; в то же время, когда узнали о великой перемене, произошедшей при этом монархе и освободившей народ от множества мелких деспотов, то перестали удивляться.

Эта мысль отнюдь не принадлежит перу вашего наставника, любезный *Теодон* хотя и говорит он об этих двух философах и их сочинениях.

Мне досадно, – говорит он, – что президент *де Монтескье*, столь занятый *Тацитом*, к несчастью, потерял написанную им историю жизни *Людовика XI*. Что касается меня, любезный *Теодон*, то мне тем более огорчительно, что заблуждение заставило его бросить в огонь рукопись, которая должна была увидеть свет только после его смерти¹¹⁷.

Это заблуждение, а также похищение девяти новых исторических тетрадей *Дюкло*, которыми в самый день его смерти завладел один министр, под предлогом того, что *Дюкло* был историографом Франции¹¹⁸, а бумаги его могли содержать многое из того, что не могло быть опубликовано, суть великий урок для сочинителей – не следует довольствоваться единственным экземпляром рукописи.

Если *Дюкло* не был столь же глубоким мыслителем, сколь *Монтескье*, зато имел он характер еще более твердый и был противником

излишней церемонности и мелочной осмотрительности. Таким образом он написал и опубликовал свою историю *Людовика XI*¹⁹.

Наставник ваш, который утверждает, что не должно никогда шутить, этот человек, характер и разговор коего столь жалки, тем не менее также порывается отпускать шутки. Он начинает диатрибу свою против этого сочинения с того, что называет его шедевром. Ну и простофиля же я! Я был обманут, ибо, полагая, что он чистосердечно хвалит его и, ничего из сего не поняв, перечитал все два или три раза. Наконец, я догадался, что аббат хотел посмеяться и потешается над нами, хотя и недолгое время: уже со следующей фразы, снова напустив на себя поучающий тон, он заявляет, что *Дюкло* всего лишь невежда, и так как сам аббат большой любитель заключать пари, я побился бы об заклад, — говорит он, — что он не читал ни *Мезерэ*, ни *Даниэля*. Затем он ручается на той же странице, что этот историк испорчен философией, которая одержала такие успехи среди нас, удобно сочетая самое безрассудное самомнение и глубочайшее невежество, и что он неминуемо должен затеряться в толпе тех безвестных историков, которых никто не читает.

Как всегда: столь же сдержан, сколь и учтив. Ну, любезный мой *Теодон*, сейчас вы увидите, как аббат *де Мабли* осведомлен о том, как писать историю, насколько он правдив и точен в сообщенных сведениях и с каким умением выбирает доказательства.

Дюкло работал, — пишет он, — над неотделанными и разрозненными выписками аббата *Ле Грана*: следовательно, видят, что историк не знает и так далее. А ведь сам *Дюкло* в своем введении уведомляет аббата и всех читателей, что им были использованы материалы покойного господина аббата *Ле Грана*, человека трудолюбивейшего, — говорит он, — который провел тридцать лет за составлением, но не разрозненных и неотделанных материалов, а сборника актов, писем, трактатов, счетов, составленных в течение сего царствования, и на основании которых он составил скорее хронику, нежели историю. Я отнюдь не следовал его замыслу, и еще менее перенимал его взгляды. *Дюкло* затем сообщает, что именно находил излишним в исследованиях аббата *Ле Грана*, чего ему недоставало и что проверял он все важные частности с помощью людей в том сведущих, что хранилища были открыты для него по приказу графа *де Морена*, и он не довольствовался опубликованными документами и рукописями, а прибегал к помощи особ, наилучшим образом просвещенных в нашей истории, например, к господину *Бертье*, советнику парламента, которого не следует смешивать с братом его, а также к господину *де Фонсеманю* и к господину *Секусу* из Академии Изящной Словесности²⁰; правда, он не справлялся у господина *де Мабли*, с которым, думаю, как-никак он не раз обедал, и вот почему аббат уверяет нас, что *Дюкло* ничего не прочел, что он ничего не знал, что он трудился только над неотделанными и разрозненными выписками некоего аббата. Дело не в заблуждении, любезный *Теодон*, — дело в неслыханной недобросовестности.

К несчастью для критика, эта история, хорошо задуманная и исполненная, не была забыта, она есть во всех библиотеках, и легко удостовериться в справедливости моего мнения.

Аббат *де Мабли* не заботился об истине, он хотел лишь поносить бранью тех выдающихся людей, которым нация дала звание философов. Это, любезный *Теодон*, также как и звание поэта есть титул чести, который народ не жалуется по принуждению. Его не получают, но завоевывают; все его домогаются, даже те, кто бесславит его, но он доступен лишь тем, кто одарен умом достаточно обширным, чтобы объединять единым взглядом всю систему человеческих знаний, достаточно просвещенным, чтобы дать правдивый и точный отчет о своих мыслях и принципах, каковые принадлежат действительно ему самому, и обладает ими по свободному выбору, по убеждению, а не по восприятию слов других людей, равно как и характером достаточно твердым, дабы творить благо ради него самого и следовать жизненному своему поприщу, не отвлекаясь мелкими страстями и мелочными расчетами.

Вот почему столько людей превосходного положения и большой учености так и не добились сего звания. Вот почему столько писателей, кои называли свои сочинения *философскими*, так и не услышали голоса общества, подтверждающего возложенное ими на самих себя именование. У них были дерзкие мысли. В сочинениях своих они высказывали более отваги, нежели те, коих публика нарекла философами, но чувствовалось, что эти мнения отнюдь им не принадлежали, что они восприняли их, как большинство людей воспринимают мысли своих кюре, что они лишь повторяли заушенный катехизис.

Каковы же эти люди, которые представляются нашему разуму, когда слышим мы о философах: это *Вольтер*, *Монтескье*, *Дюкло*, *Гельвеций*. Это *Бюффон*. Это двое ученых – творцов Энциклопедии – господ *Дидро* и *д'Аламбер*. Это *Ж.-Ж. Руссо*, хотя он и отказывался от сего и по своеобразному складу ума хотел бороться одной рукой с ханжами, а другой – с философами; когда годы и одиночество лишили силы его гений, печальное заблуждение внушило ему, что все современники суть враги его, хотя на самом деле таковых у него почти не было.

Вот каковы люди, которых называет нация, если речь заходит о философах. Здесь отнюдь не ошибаются и отнюдь не боятся ошибиться, но это прозвание не пробуждает у слушателей никакого воспоминания ни об имени аббата *де Мабли*, ни о стольких других, которые могли по справедливости заявлять свое право на общественное уважение; они предпочли порвать с ними, они попытались восстановить слабую рукою алтарь против алтаря, они кричали еще более слабым голосом, что они более философы, нежели те, признанные публикой, насмеялись над их притязаниями, относились к ним как к мелким рифмоплетам, из коих одни переиначивали трагедии *Вольтера*, а другие кричали на улицах и перекрестках, что они сочиняли поэмы лучше его, доказывая это сравнением богатства своих пустых рифм с некоторыми слабы-

ми, но полными смысла рифмами, не поддавшимися великому поэту.

Великого имени поэта, которое, быть может, завоевать еще труднее, нежели звание философа, удостаивается лишь тот, кто способен соединить совершенство стиха со своеобразием мыслей и выражения, которое удивляет, чарует и рождает в читателе восторг. Пусть аббат *де Мабли* сколько ему угодно приводит нам стихи и превозносит свою философию перед публикой,

Не жди, что сей судья не будет слишком крут.
Он над тобой вершит свой полновластный суд*

В отчаянии от того, что не числят его среди философов, всюду ищет он предлог, дабы напасть на них, и хотя господин *Бюффон* так и не написал никакой истории какой-нибудь империи или чего-либо иного, достаточным оказалось уже одно наименование труда *Бюффона* историей²², чтобы посчитал он себя в праве напасть на сего последнего и преподать ему урок.

О, *Плиний!* – восклицает аббат, – так-то написал ты естественную историю, которая требует еще большей простоты, нежели всякая другая. И опять аббат *де Мабли* во всем неправ: *Плиний* в своей естественной истории смешал многие исторические факты с уклонениями в область искусства, что представляет собой не простую, но весьма разнородную компиляцию, написанную хотя и не ординарным, однако же часто весьма непонятным и запутанным слогом. Господин *де Бюффон*, просвещенный заблуждениями *Плиния* и долгое время обдумывавший свой предмет, знал лучше, как должно его трактовать, нежели аббат *де Мабли*, который всю свою жизнь занимался тем, что разглагольствовал о политике по *Фукидиду*, *Титу Ливию*, *Плутарху* и аббату *де Верто*.

Естественная история, любезный *Теодон*, состоит из двух частей: первая обнимает собой все устройство мироздания, перевороты, происходящие на земном шаре и в океане, равно как историю различных человеческих рас. История столь величественна, что для человека, достойного трактовать сей предмет, невозможно не заимствовать что-нибудь из поэзии. Другая часть этой истории, которая рассматривает индивидов, в частности повадки домашних животных, форму насекомых, образование гальки, – столь мелочно подробно, что сочинитель рискует сделаться тривиальным, если не обладает он искусством заимствований из поэзии.

Достоинно снисходить до мелочей умея,
Он розу и пион рождает из репея*.

Таким образом, естественная история требует стиля, вполне отличного от стиля истории политической, где интересы королей, народов,

**Буало*. Сатира на свой ум¹²¹.

**Буало*, послание своему садовнику¹²³

человека способствуют простоте и не терпят последовательности образов, которая бывает в повествовании о творениях природы.

Упрек, который можно было бы сделать господину *де Бюффону*, не в том, что он сочиняет поэзию, ему недостает разнообразия в тоне, ибо он не менее возвышенно пишет об осле и баране, нежели о прекрасной своей гипотезе, о солнце, пораженном кометой, из осколков коего образуются шесть известных планет и вновь открытая *Гершелем*²⁴. Естественно, что возвышенный тон однообразен: в этом изъян великого красноречия, в этом недостаток и *Тита Ливия*, но это и должно было снискать *Бюффону* благосклонность аббата *де Мабли*. Но приходится думать, что он *Бюффона* вовсе не читал, а узнал его случайно, когда один из друзей его восхищался неким пассажем из сего сочинения, который аббат нашел весьма неуместным. Тон, которым он об этом говорил, прозвание составителя од, которым он нарекает господина *де Бюффона*, доказывает, что сам он и не раскрывал книгу, им критикуемую. Если бы он прочел ее, то, без сомнения, согласился бы, что история человека, картина различных его нравов, обычаев, которые меняются от полюса до полюса, — одно из самых возвышенных и совершенных произведений, каковые только выходили из-под пера сочинителя; произведение, знание коего абсолютно необходимо тому, кто занимается политической историей, и кто должен знать человека прежде, нежели писать о нем. Тогда он не восклицал бы: *О, Плиний!* но: *О, Бюффон!* По справедливости достоин ты восхищения за неподражаемый твой стиль, а не упреков в некоторых заблуждениях, каковых не могли избегнуть и самые великие мужи.

Я отнюдь не ищу погрешности у вашего наставника, но нахожу его неизменно порочным в своих заключениях, всегда расточительным в осуждении, скупым на похвалы и бесстыдно скрывающим то, что отнюдь не читал он книги, кои критикует. Если порою он и прав, то не замедляет вскоре впадать в заблуждение.

Например, он прав, когда советует историкам выбирать скромные титулы своим книгам; это именно то, что сделал господин *де Вольтер*, дав своей *всеобщей истории* название *Опыта*. Он прав, когда порицает, титул истории политической и философской, прав, когда говорит, что *всякая история должна быть историей и политической, и философской*, но он ошибается и проиграл бы пари, которое сам предлагает, когда присовокупляет: *Я побился бы об заклад, что историк, нарекивший так свое сочинение, напишет плохую книгу*.

Нет, любезный *Теодон*, нет, автор сей истории написал отнюдь не плохое сочинение. Но не дано было ему увидеть, что почти все наши историки — противники философии и благоразумия, и поместил он в название своей книги слово, которое отличало ее от прочих.

После несчастья, случившегося с этим автором, следовало, любезный *Теодон*, или вообще не говорить ни о чем, или по крайней мере пролить бальзам на еще не зарубцевавшиеся раны.

Эта история, полная воодушевления, красноречия и благородной

смелости, а также ученостью, почерпнутой отнюдь не в книгах. Должно быть, автор обращался не только к сочинениям географов и ученых, но выспрашивал путешественников, купцов, морских капитанов, поселенцев-колонистов, вплоть до их несчастных негров-рабов.

Многие историки говорили с великим сомнением о многочисленных чудесах и событиях, относящихся к христианской религии. Автор "*Утверждения европейцев в обеих Индиях*" пошел еще дальше. Видя, что почти всегда христиане приходят на те отдаленные берега с крестом в одной руке и с кинжалом в другой, видя, что почитают они врагами и дикими зверьями те народы, кои поклоняются Богу другими, неизвестными им обрядами, видя их, воздвигающих костры инквизиции на Малабарском берегу, сжигающих со словами Евангелия царей Америки и кормящих собак мясом некрещеных невольников, он не смог совладать со своим негодованием, и история его явилась первой книгой, в которой решительно возвышался голос против христианской религии.

Гуманность услышали, и эта книга стала первой по той смелости, с коей выказывалась в ней веротерпимость. Автор, который по началу не назвал себя, был хорошо известен. Правители, просвещенные министры и два короля – друга человечества благоразумно закрыли глаза на это нарушение древних ордонансов, которые нация желала видеть вышедшими из употребления; они дали возможность автору пожинать плоды своих заслуг и наслаждаться славою. Наконец, после десяти лет такового попустительства автор назвал себя на титуле нового издания вместе со своим портретом, и быть может опять закрыли бы глаза на сию похвальбу, если бы не язвительные слова против самого могущественного после короля человека. К несчастью, его заподозрили в том, что он включил сии выпады только ради придворной интриги: ему отомстили, представив книгу в магистрат.

Далекое, однако, от того, чтобы покушаться на свободу автора или наложить руку на него и его могущество, позволили ему покинуть королевство. Известно было, что иноземцы примут его с радостью и встретят с почестями. Декрет против него, опись его имущества, все, что старый обычай предписывает судебной власти, оказалось лишь бесполезной церемонией. Аббат *Рейналь* потерял только свою пенсию. Молодой автор, которому она была предложена, имел великодушные отказаться от нее, и я отнюдь не сомневаюсь, что, если бы графу *де Мореп* суждено было прожить долгое время, душа его, нежная и благородная, сочла бы для себя за честь и удовольствие простить и возвратить изгнанного, дабы со спокойствием довершил он свое поприще в кругу друзей и на лоне отчизны, которой он оказывал честь своими трудами и верой в добродетели власть имущих, поелику отважился он обнаружить себя и остаться в Париже, публикуя столько сочинений, кои должны были вызвать неудовольствие последних¹²⁵.

Но почему же эта надежда не оправдалась? Ах, любезный *Теодон*, я отнюдь не был близок с ним, встречал его лишь изредка, но, зная его

достоинства, я никогда не отчаиваюсь в благодарности к нему отечества. Мы увидим вновь сего прославленного изгнанника, и наставник ваш, любезный *Теодон*, показался мне излишне суровым в своих холодных и несправедливых речах о сем почтенном человеке, впадшем в королевскую немилость и страдающем от невзгод изгнания.

С еще большей язвительной колкостью и той же несправедливостью изрыгал он желчь прямо на прах *Вольтера*, на еще дымившийся пепел, влажный от слез друзей и всего народа, скорбящего о потере; того самого народа, который, будучи по справедливости привязан к его талантам, добродетелям и твердости, с коей шестьдесят лет боролся он за права человечества, принял его по возвращении с иступлением восторга, старался увидеть его, окружал его, повсюду следовал за ним, воздвигал ему статуи, возлагал на него лавры, рукоплеская, испуская крики, проливая слезы ликования, расстроганности и восхищения. Никогда, никогда французская нация не казалась выше в глазах иноземцев, нежели в этот день восторга; признательность общества прорывалась со всех сторон и заставляла умолкнуть несправедливость и зависть. И еще не смолкали приветственные возгласы, как аббат *де Мабли*, которому надоело слышать восхваления *Вольтера*, человеку единственному в своем роде, гражданину мира, бессмертному, великому мужу, мудрецу, собирается опровергать все сии достоинства и без всякого стыда объявить, что человек, который восхищает вас, произведения коего непрестанно в ваших руках, а бюсты у всех на глазах, что это человек, который составляет предмет зависти всей Европы, всего лишь сумасшедший, не видящий дальше своего носа:

Risum teneatis amici*

Я отнюдь не хочу, чтобы *Вольтера* возвели в пророки, а суждения его – в религиозные догмы, но я чувствую, что этого человека, посвятившего всю жизнь свою разрушению заблуждений, торжеству истины, защите человечества, должны в свою очередь защитить те, кому дороги истина и человечество.

Но, аббат ваш, любезный *Теодон*, – друг ли он истины и человечества, когда говорит и повторяет против своей совести, что *Вольтер* написал всемирную историю, хотя история господина *де Вольтера* скромно озаглавлена "*Опыт общей истории*"; когда ему известно, что господин *де Вольтер* не раз указывал в своих сочинениях на ошибку тех, кто присваивает ему историю всемирную, ведь известно ему и сочинение *Вольтера* "*Учтивый ответ недобросовестному критику Всемирной истории господина де Вольтера, который отнюдь не писал всемирной истории*"²⁷?

Аббат *де Мабли*, великий наставник историков, разумеется не так

*Гораций. Поэтическое искусство¹²⁶.

плохо осведомлен, чтобы не знать разницы между всемирной и общей историями, между историей и простым опытом. Следовательно это не заблуждение, а недобросовестность.

Я хочу верить, что, читая с присущей ему легкостью, он не заметил, что господин де Вольтер, не желавший более вводить в заблуждение невнимательных своих читателей, вычеркнул название *общей истории* в двух последних прижизненных изданиях своих сочинений в Женеве и Лозанне, и ограничился более скромным титулом еще и в "*Опыте о нравах и духе народов*". Однако, любезный Теодон, мне кажется, что критик должен, по крайней мере, знать названия произведений, кои он бранит, не оставляя без поношения титульный лист.

Недобросовестность его переходит все пределы, когда говорит он, подразумевая историю, что господин де Вольтер советовал молодым людям, которые обращались к нему, *поражать скорее силой, нежели истиной?* Но ведь аббату известно так же хорошо, как и мне, что давая подобный совет, Вольтер говорил о театральных эффектах, а не о том, как писать историю. И разве то, что он умышленно выдает за принципы историка советы, кои поэт давал о сочинении драматического вымысла, разве это на всех языках мира не называется бесстыдной ложью?

Пусть он ищет, пусть предъявит, коли может, письмо, страницу, фразу, хоть единую строчку господина де Вольтера, где речь бы шла об истории, и где этот великий человек не выказал бы своего глубочайшего уважения к истине. Заранее свидетельствую, что не найдет он ни единой. Я бросаю ему вызов, и поскольку он любит пари, предлагаю ему таковое.

Это ли избыток добросовестности, когда он уверяет, будто Вольтер в своей всемирной истории осмеливается говорить, что *дети не появляются на свет росчерком пера*^{4*}: хотя на самом деле эта шутка — отнюдь не в общей истории сего великого человека, но в критическом и полемическом сочинении, где всегда позволяют себе (и даже слишком часто) шутки над тем, чье мнение оспаривают.

Вместо того, чтоб приводить вам столько примеров невнимательности, неточности, недобросовестности, поношений, неверных цитат в сочинении о том, как писать историю, ему следовало бы предупредить вас, что эту шутку или, как он педантично указывает, *непристойную шутку*, Вольтер позволил себе для того лишь, чтобы лучше дать почувствовать нелепость отца Лето, который пытался подкрепить вымысел расчетом и, не будучи ни физиком, ни механиком, не проверял взятые им сведения, не брал в соображение никаких препятствий и мнил себя способным к вычислениям лишь потому, что знал четыре правила арифметики¹²⁹.

Он должен был по крайней мере дать вам в таком случае несколько уроков исторических расчетов, если только этот великий мэтр не

* Этот пассаж имеется в статье Энциклопедии "Возраст"¹²⁸.

полагает, что в политической истории расчет бесполезен для определения численности населения, богатства городов, урожая, денег, находящихся в обращении, торговли, числа кораблей, солдат, матросов, всего, что составляет силы государства, является истинной и зачастую неведомой причиной его крушения или его успехов.

Разве из стремления к правдивости делает он весьма длинное и оскорбительное отступление касательно введения в историю *Карла XII* (где отнюдь нет введения¹³⁰, в которой автор, не занимая читателя тем, что вот-вот собирается сказать, внезапно переносит его в Швецию, в нескольких словах дает ему понятие о стране, народе, королях-предшественниках *Карла XII* и об интересах героя, историю коего он собирается начертать: разве предваряющие суждения так уж необходимы? Разве из стремления к правдивости, после того, как порицает он введение, которого не существует, ничего не говорит он вам о прекрасном введении к *"Опыту о нравах"*, где автор дает отчет, столь простой, ясный и благородный о замысле своего произведения и о духе, в котором оно написано? Разве справедливо не говорит он вам об еще более возвышенном вступлении к *"Веку Людовика XIV"*, о дивном произведении, название коего аббат *де Мабли*, по крайней мере, не осквернил своим весьма недостойным образом писания истории¹³¹?

Потрудитесь, любезный *Теодон*, прочитать и сравнить оба сии введения с введением *Тита Ливия*, которого вам так восхваляет господин аббат, и вы увидите всю его несправедливость. Предисловие *Тита Ливия* прекрасно своим красноречием, но когда вы прочтете там: *Древности простиительно освящение таящегося во мраке происхождения городов, приписывая оное Божественному Промыслу и если пристало какому-нибудь народу освящать таким образом свое происхождение и присваивать себе богов в качестве предков, то именно народу римскому дано такое право. Слава, каковую снискал он на войне, дает ему основание воспринять Марса отцом своим, почитать его как своего основателя*¹³², вы признаете, что аббат *де Мабли* осудил бы сей первый опыт у новейшего писателя и стал бы уверять его, что никакому народу не пристало присваивать себе таковое происхождение и посему назвал бы он сего историка *составителем од*, как трактовал он господина *де Бюффона*.

Разве от избытка справедливости уверяет он, будто *Вольтер* закончил свои сочинения прежде, нежели понимал, что же хотел он сказать? Но оба эти введения убедительно показывают, сколь основательно *Вольтер* обдумывал свой предмет, сравнивал различные века, составлял пространный и разумно рассчитанный план своего сочинения, который он столь же хорошо исполнял, что внимательный читатель более уже не удивляется тому, что *Робертсон* не мог найти лучшего наставника.

От избытка ли правдолюбия, передавая вырвавшиеся в справедливом негодовании у *Вольтера* слова против фанатизма, заставляет он читателя думать, что их можно найти в общей истории, чего на

самом деле нет? Вот эти слова, ибо примечания достойно, как аббат разбирает их.

Европа ныне была бы обширным кладбищем, если бы философия не потушила фанатизм и пылкость религиозного чувства. Эта фраза – несомненное преувеличение: аббат называет ее глупостью и рассуждает следующим образом: *Какое невежество не видеть, что фанатизм истощает свои силы, так сказать, благодаря тому злу, которое сосредоточено в нем самом, и что страсти, им возбуждаемые, должны после тщетных усилий ослабеть, и, наконец, исчезнуть вовсе..., что янсенизм все-таки продолжал бы разжигать под носом у господ философов и их прислужников междоусобные войны, если бы имели мы тот же характер, что и прежде.* Какой стиль! Какая низость и грубость! И, в особенности, любезный Теодон, какое незнание фактов! И сколь странное понятие о человеческом сердце обнаруживает перед нами этот аббат!

Фанатизм истощает себя, – говорит он, но со времени мученичества Св. Этьена вплоть до Севенских войн, до того дня, когда Калас испустил дух на колесе, когда Олавидес, благодетель целой провинции, был постыдно осужден инквизицией, протекло около восемнадцати веков и фанатизм отнюдь не истощил себя¹³³. *Страсти, им возбуждаемые,* – говорит он, – *должны были после тщетных усилий исчезнуть,* и это после Варфоломеевской ночи, убийства Генриха III, Генриха IV, избияния императрицей Феодорой сотен тысяч манихейцев, после крестовых походов на мусульман и альбигойцев, гекатомб перуанцев и мексиканцев, низвержения десятков королей, смерти Генриха VII, отравленного просфорой брата Бернардо, впоследствии четвертованного, после костров инквизиции, судебного убийства Карла I в Англии, убийства покойного короля и тысячи других подобных злодеяний¹³⁴.

Вот что аббат называет *тщетными усилиями*. Боже милостивый! И это называется историей! *Страсти, которые возбуждают фанатизм, должны после тщетных усилий ослабеть и исчезнуть:* Ну, когда ж исчезнут они? Ответь же, великий историк, какой срок вы назначите им?

Разве вам не известно, что фанатизм существовал прежде христианства? Что у наших праотцов друиды сжигали человеческие жертвы в статуях из ивового прута? Что римский сенат запретил эти жертвы, и дабы смирить тем фанатизм простонародья, несколько раз приказывал зарыть живыми в землю грека и гречанку, галла и галлеянку¹³⁵? Что карфагеняне, тирренцы, финикийцы свержали человеческие жертвоприношения? Что матери из жалости сжигали заживо собственных своих детей*? Что Гелон, победитель карфагенян, запретил им сию благую жестокость? Что греки, прежде чем отправиться под Троию, принесли в жертву Ифигению¹³⁷, а после взятия этого города, другую девственницу – Поликсену¹³⁸? Что Сократ выпил цикуту, потому что

* Blanditius et osculis comprimebant vagitum ne flebilis hostia immolaretur (Min.Fel.)¹³⁶.

выступал против коварных и фанатичных жрецов¹³⁹? Что *Лукреций*, (который не был христианином, но был чувствительным философом и мужественным поэтом), родившийся за сто лет до христианской веры, уже настолько был исполнен негодования от мерзости фанатизма, что воспринимал с отвращением религию и сочинил поэму ради освобождения от нее человечества?

Relligio peperit scelerosa, atque impia facta
Relligionum animum nodis exsolvere pergo¹⁴⁰.

Разве вы не знаете, что задолго до взятия Трои история древнего Египта и история еврейского народа была полна самого слепого фанатизма? Что двадцать три тысячи евреев было убито ради золотого тельца? Что народы Ханаана истреблены во имя бога Израиля¹⁴¹? Разве вы не знаете обо всем этом, а если нет, то отважитесь ли назвать это *тщетными усилиями*? Осмелитесь ли вы утверждать сии принципы и хвалиться тем, что преподали то, как писать историю?

Что же, увидим по крайней мере, любезный *Теодон*, знает ли ваш наставник сердце человеческое лучше, нежели историю, знает ли он, откуда происходит фанатизм, который, к несчастью, отнюдь *не истощает себя*, как уверяет он: столь сильна усвоенная им привычка – писать, не принимая во внимание ни одного из выдвинутых предложений.

Человеческая страсть истощается старостью, бессилием, пресыщением, но как она истощится, если речь идет о роде человеческом, который постоянно обновляется теми же чувствами и той же способностью к мышлению? Известна ли вам хоть одна страсть, которая истощила бы себя на земле? Любовь, спесь, честолюбие, лицемерие, зависть, страсть к военным походам, хотя последняя из них и *несет больше всего зла*, выражаясь словами аббата, разве все эти страсти и тысячи других уже не существуют, как в те времена, когда *Каин* убил брата своего¹⁴², когда жрецы оклеветали *Сократа*¹⁴³, когда гонения жрецов *Цереры* вынудили *Аристотеля* покинуть Афины и удалиться на Халкис¹⁴⁴, когда *Мевий* поносил *Вергилия*, а *Зоил* – *Гомера*¹⁴⁵?

Благостные законы, благая политика, благоразумное правительство пресекали порою губительные следствия, но ни зло, которое они *причиняли сами по себе*, ни наказания, налагаемые на людей, кои влекли они за собою, отнюдь не *истощили их*, так с какой же стати фанатизм истощил бы себя?

Ваш аббат, дорогой *Теодон*, отнюдь не впал бы в сие заблуждение, если бы вместо того, чтобы ограничивать свои штудии Республикой *Платона* и Утопией канцлера *Мора*, над коими он *размышлял*, – говорит он, – *до тех пор, пока они не показались ему неоспоримыми истинами*, если бы изучал он человека не по книгам, если бы расширил он тесную сферу своих мыслей, сравнив века и народы, равно как и сочинения нынешних авторов с древними.

Тогда этому великому наставнику, который полагает, что ему луч-

ше известно сердце человеческое, нежели философу-поэту, постигшему все глубины оною и столько раз живописавшему в произведениях своих сокровеннейшие тайны его, тогда был бы ему известен неисчерпаемый источник фанатизма. Он знал бы, что происходит он от того непобедимого ужаса, который сама мысль о смерти запечатлевает почти во всяком человеческом сердце и от желания продлить существование свое за пределы, означенные природой человеку.

Люди хитрые, честолюбивые, алчные, основывающие власть свою и доходы на том же страхе, говорят: подчиняйтесь нам, и мы дадим вам благополучное бессмертие. Им не верили, но хотели верить. Больные, ипохондрики, престарелые, женщины, дети, люди богатого воображения и слабохарактерные, люди боязливые и полные страсти, то есть почти все люди, закрыли на все глаза и слепо предались своему привычному поведению. Как во время великого наводнения привязывают они себя к тому, что находят, не разбирая, надежно ли оно. И они увлекали за собой весь род людской. Они строили храмы, приносили в жертву детей, сжигали на кострах мудрецов, убивали царей, подчиняясь гласу жрецов и полагая, что отверзаются врата небесные; страсть, фанатизм будут существовать, пока люди будут бояться умереть, пока они будут страшиться низвергнуться из пропасти могилы в пучину ада, пока будут они верить, что, давая золото жрецам, принося в жертву животных, искореняя еретиков, разжигая костры, будут они покупать вечное для себя блаженство.

Никогда не бывало так, чтобы в те времена, когда мудрецам удалось просветить правительство, отставленный и высмеянный фанатизм перестал оказывать злоещее свое действие: но тигр сей, посаженный на цепь, отнюдь не издох, он выжидает в тиши, когда одряхлеют короли, когда меньшинство охватит бессилие, смерть унесет философов, явится невежественный министр и тогда порвет он цепь, и напьется человеческой крови.

Да что я говорю? Он выжидает в тиши, рычит в оковах, кои философия налагает на него. Разве не были мы в Париже свидетелями, как измышлялись мерзкие фарсы иступленных фанатиков, как побуждали экзальтированных женщин к тому, чтобы укладывали себе на грудь пылающие поленья, приносили себя в жертву на острия шпаг, позволяли распинать себя на крестах, страдали, когда им просверливали руки и ноги, воображая, что свершались чудеса, поскольку гвозди, искусно направляемые, проходили, не убивая их, меж костей плюсны и пястью, где раны не смертельны? Разве не видим мы даже и ныне, в то время, когда я пишу это, то чудовище, которое заставляет женщин поверить в то, что их посетило откровение? Ибо несчастные женщины всегда первые жертвы фанатизма. Чувствительность, воображение, робость, слабость, даже сама добродетель суть орудия, коими пользуются, чтобы погубить их. Выдают за грехи малейшие их проступки, запугивают последствиями грехов, вынуждают прибегать к искуплению, и вскоре становятся они орудиями преследований. Именно

это фанатизм делал во все времена, это же делает он и поныне и если действует с меньшей дерзостью, то не потому, что истощается, но лишь от того, что ныне это – постыдная страсть, которая скрывает себя под покровом, ибо философия наблюдает за нею.

В религии фанатизм есть то же, что лицемерие в добродетели, и плутовство в политике, то есть недуг под личиною, который ведет нас к преступлению.

Без фанатизма религия была бы сладостной и благотворной. Она утешала бы человека в его трудах, научила бы безропотно покоряться злосчастию судьбы и ободряла перед лицом страха смерти и призраков, порожденных человеческим невежеством. Она показала бы ему, что вселенское начало, движитель всего сущего, создатель миров, это отец, а не изображаемый фанатизмом тиран, который вводит нас в искушение, предает целому скопищу злоторных чудищ, который находит удовольствие в слезах и крови, который желает видеть одни лишь казни, костры и пожары.

Он мне тирана дал, а я в отце нуждаюсь.
Вольтер¹⁴⁶.

После сего вы можете судить, любезный *Теодон*, ошибался ли *Вольтер*, полагая, что христианство не делало людей лучше, отнюдь не научило их прощать прегрешения, не укрощало их страсти, когда он говорил своим читателям, что христиане предавались мщению даже тогда, когда триумф их при *Константине* должен был внушить им миролюбие. *Господин де Вольтер* сделал это примечание отнюдь не из хитрости, как утверждает ваш аббат, он не мог не знать, как говорит о том ваш аббат, что процветание расширяет и умножает наши надежды, и он хотел не того, чтобы христиане, далекие от злопамятства, в одно мгновение забыли все то зло, которое заставляло их страдать, но лишь дать почувствовать читателям своим, что христиане, подобно другим людям, впадали в гнев, были мстительны и порочны, и весьма странно, что Господь позволил понапрасну умертвить собственного своего сына, странно, что дал Он новую религию, не сумев добиться от просвещенных людей откровением своим меньшей преступности, сравнительно с прочими. Конечно, это достойно было примечания.

Скажите же мне, любезный *Теодон*, кто из двоих не видит дальше своего носа: человек, который обозначил все в краткой фразе, или тот, который ничего в ней не увидел?

Поистине, любезный *Теодон*, ваш *Сидамон*, во всем согласный с вашим неучтивым аббатом, всегда некстати восхищается и обнаруживает слишком мало ума, ибо невозможно ошибаться до такой степени.

Если бы вы и этот невежда *Сидамон* читали *"Опыт о нравах"* *Вольтера*, никогда аббат не осмелился бы сказать вам, что общая история *Вольтера* всего лишь пасквиль, достойный читателей, кои восхищаются им, доверяясь нашим философам; равно как и английским, должен был присовокупить он, ибо вы сказали бы ему, что *Вольтер* отнюдь не

писал всемирной истории и что выражение самого *Мабли*, помимо грубости, таит в себе из ряда вон выходящую ложь.

Нет, любезный *Теодон*, в "*Опыте о нравах*" *Вольтера* нет никакого очернительства и доказательство тому, — что сам аббат не приводит ни одного примера. Потому-то вынужден он искать какие-нибудь остроты вне этой истории и заставлять вас верить в рассказываемые им небылицы, совсем как тот учитель, который говорит малосведущим, но доверчивым детям, чтобы самому понять собственные ошибки.

Вольтер в своей истории никогда не гонялся за шутками, хотя он и отзывался насмешливо на то, что смешно, и то, что смешно было бы трактовать иначе. Нет ни одного слова в этом "*Опыте*", которое не было бы плодом зрелого размышления и которое не заставляло бы размышлять читателя: чем более изучаешь каждую его мысль и выражение, тем более находишь их справедливыми, и то, что придает особую привлекательность его истории, это то, что она имела успех у людей мыслящих как в Англии, так и во Франции, Италии, Германии и всей Северной Европе.

В этом произведении немало умных мыслей, поскольку автор весьма умен: но вместе с тем он всегда естественен — слог его правильный, простой, ясный, изящный, легкий; нет ничего запутанного и манерного, ничего от той напыщенности, которую многие принимают за красноречие, от той неясности, каковая людьми поверхностными почитается глубокомыслием, или того лицемерия, которым педанты прикрывают свои пороки и зависть.

Все события развиваются в "*Опыте*" без всякого труда, все, что ни говорится, притягивает к себе, разум обращается к разуму. Естественное очарование его пера избавляет автора от тягостной заботы заинтересовывать читателя: нет нужды обманывать его, поскольку всегда он привлекает своим стилем. И никогда не отклоняется он от истины. До него деспотизм, общественные несогласия, дурная схоластика заставляли видеть все в ложном свете: ему надлежало исправить понятия. Поначалу, как и следовало ожидать, громогласно заявляли о том, что он выдавал чужие мысли за свои, но с тех пор многие писали ему, с каким успехом в Англии, Франции и даже Италии восприняты были его идеи; если бы плохо он видел, если бы он был лишь шутником, лишь самозванным историком, ему бы не подражали, не обирали бы его и не переводили на все языки.

Почитайте *Луфендорфа* и прибавления кои сделал к нему господин *де Грас*⁴⁷, почитайте историю общества английских литераторов⁴⁸, почитайте общую историю, мирскую и священную, *Кальме* и историю *Гардиона*⁴⁹. Почитайте любую компиляцию, даже историю *Боссюэ*. Сравните их с "*Опытом о нравах и духе народов*" *Вольтера* и посмотрите, найдете ли вы где-нибудь столько же просвещения, порядка, ясности, мудрости, любви к человечеству, как и в творении этого великого человека.

"Опыт о нравах и духе народов" навсегда останется в одном ряду с произведениями гения, ибо был задуман по новому начертанию и исполнен свежих наблюдений.

Подумайте, что "Опыт" написан в 1740 г. и что именно ему обязаны мы большинством хороших произведений, которые появились с тех пор, и именно в нем любой историк может кое-что позаимствовать; все те шершни, кои ныне жужжат против него, похитили оттуда толику меда и поднимают шум для того только, чтобы помешать легкомысленным читателям догадаться об этом. После этого верьте, если вам так хочется, утверждениям господина аббата *де Мабли*.

У *Вольтера* было слишком много вкуса, чтобы быть еще и занимательным, но во всей его истории царит та счастливая безмятежность, которая свойственна лишь человеку выдающемуся, писателю, в совершенстве владеющему избранным предметом и трактующему его с легкостью, между тем как тяжеловесность аббата *де Мабли* и подобных ему всегда обнаруживает перед нами автора, плохо владеющего своими приемами, и вызывает изнеможение от тягостности его речей, словно он едва волочит ноги, сгибаясь под тяжестью крестной ноши.

Причина подобной неприязни, ибо она всегда одна и та же, хотя в ней и не признаются, заключается, во-первых, в том, что *Вольтер* никогда и не упоминал об этих авторах, а во-вторых, в неблагозвучной для ушей аббата фразе, простодушно цитирующей ее: *История требует лишь труда, способности суждения и ума вполне заурядного*. Претендующий же на гениальность аббат смог написать лишь "Заметки по истории" и беседы с *Никоклесом*⁵⁰ или с *Сидамом* и почувствовал себя уязвленным этой фразой, как если бы она была сказана о нем: но пусть он успокоится, мы можем уверить его, что господин *де Вольтер* вовсе и не думал о нем.

Фраза эта отнюдь не означает, что гениальный человек не может написать историю, что *Тацит* обладал лишь умом, что *Юм* и *Гиббон* были без дарования, как учтиво о том говорит аббат *де Мабли*. Эта фраза имеет ввиду, что и с заурядным умом можно быть *Даниэлем* и *Верто*. Такой образ мысли, должно быть, был свойствен великому поэту, и это говорит лишь о его скромности, тем паче, что сам он собирался писать историю, которой уже занимались столько сочинителей, не обладавших даже и заурядным умом.

Но, любезный *Теодон*, если бы в общей истории и была одна или две ошибки касательно действительных событий, когда их столько во всех историях, если правда, что в пятидесяти томах прозы оказалось два или три неуместных шуточных замечания, с чем, впрочем, отнюдь я не согласен, то неужели эти еле заметные изъяны приуменьшили бы заслуги великого человека? И поэтому надо было называть его *сумасшедшим, шутом, человеком, который не видит дальше своего носа*? Наставляя в том, как сочинять историю, стоит ли давать подобные примеры стиля вежливости и правдивости?

У господина *де Вольтера* был другой способ писать историю и об

истории: не знаю, какие вызвал перемены способ самого аббата де Мабли, но, обозревая Европу, я поражен был переменами, вызванными сочинениями господина де Вольтера.

Если во Франции недавно отменили пытку, то лишь благодаря господину де Вольтеру. Если император отменяет в своих владениях смертную казнь, используя преступника на пользу общества в тяжелых работах, то это делается по совету Вольтера. Если прусский король и российская императрица установили полную веротерпимость, то это опять-таки по совету сего великого человека. Когда король упраздняет в своих доменах крепостное право, а император отменяет его по всей Империи, то именно Вольтер содействовал сему и добивался свободы для крепостных монастыря Сен-Клод. Если повсюду стремятся ограничивать число монахов, то и здесь обязаны его советам, равно как в Швеции и Дании, установивших свободу печати, примеру коих последовал и император¹⁵¹.

Переходя от этих важных предметов к предметам менее важным, я и там повсюду нахожу следствие его советов.

Почему стараются больше не хоронить в церквах и в пределах городов? Только потому, что Вольтер предупредил нас об опасности сего злоупотребления. Если король, королева и вся королевская семья стали делать прививки, то лишь благодаря Вольтеру, который первым предложил ввести во Франции сей обычай, практиковавшийся тогда лишь у англичан. Если сооружают паровые насосы, чтобы доставить воду во все дома Парижа, то это заслуга Вольтера, посветовавшего сие после возвращения своего из Лондона более пятидесяти лет назад¹⁵².

Если фасад Лувра не закрывает больше невзрачная окрестная застройка, то это по его совету, как и то, что театральные партеры не обезображиваются ныне длинными скамейками. А представляют теперь столько пьес из английского репертуара лишь потому, что стремятся подражать ему. Если ныне английские историки сделались первыми в Европе, то единственно благодаря усердному чтению его истории и принятию его советов. Если наши академики оставили прекрасные фантазии Декарта ради безусловно верных наблюдений Ньютона, то следовали в этом его суждению¹⁵³.

Вот что породили пасквили Вольтера: просветите меня, любезный Теодон, как действовали *глубокомысленные размышления* господина аббата де Мабли; были ли такие короли и такие государства, которые восприняли его *принципы законодательства*? Какой народ воздвиг ему статуи? Вы весьма меня обяжете, если просветите на сей счет. Повсюду ищу я его портрет или бюст, но встречаю только портреты и бюсты Вольтера. Я слышу лишь имя сего последнего, вижу, как следуют только его советам, и ожидаю, что будущие историки предпочтут его способ написания истории.

О, любезный Теодон! Разве аббату де Мабли, который пользовался своего рода уважением, стоило подобно литературному фигляру

выходить на площадь, чтобы завлекать толпу, выкрикивая оскорбления тем, кого общество почитало своим уважением? Приличествовало ли ему тревожить останки великих людей? Поносить старика, заслуги коего перед отечеством столь велики? Оскорблять мудрецов, уже почивших или стоящих на краю могилы? И понуждать наветами учеников свергнуть с пьедестала своих наставников?

Вас обмануло то уважение, которым он пользовался и которое могло обольстить других; и вследствие сего надо показать вам, до какой степени человек достойный может заблуждаться и стать плохим логиком, когда он силится подкрепить свои ошибки рассуждениями.

Если бы аббат *де Мабли* был лишь каким-то *Сидамоном* или подобен тем презренным газетным пасквилянтам и наемным писакам, кои, оскорбляя наших мудрецов, чтобы получить немного денег, покрыли себя позором, я не взялся бы за перо, чтобы отвечать ему, но именно аббат *де Мабли* достоин того, чтобы его опровергали.

И хотя бы все его заблуждения и несправедливости искупались превосходными принципами, новизной, верностию и острою наблюдений! Но правила, кои он предписывает, сделались общими местами еще задолго до нашего с вами, да и его рождения. Еще *Рапен де Туара* посмеялся над ними в поучительном своем предисловии, ибо и в предисловиях познаются как побуждения историков, так и весь дух их сочинений.

”Когда я набросал начертание сей истории, — говорит он, — то решил основательно просветить себя касательно правил, которые преподали нам наставники: некоторые из сих правил столь неопределенны, что можно посчитать их бесполезными; не то чтобы они не были превосходны сами по себе, но ведь они не учат решительно ничему, в особенности ничему новому, или тому, что естественно входит в ум всякого мыслящего человека, а именно: что историку нужно говорить правду, чтобы не быть пристрастным и чтобы слог был ясен, а каждая вещь стояла на своем месте, чтобы не говорил он ни пространно, ни коротко. К этим общим правилам присовокупляют разного рода наставления, которые основаны лишь на вкусе тех, кои их дают. Один советует взять в качестве образца *Тита Ливия*, другой — *Цезаря*, третий хотел бы, чтобы все историки были подобны *Тациту*¹⁵⁴.

Любезный *Теодон*, что содержится в речах наставника вашего, кроме оскорблений? Невозможно было справедливее и точнее критиковать в его сочинениях его дидактическую часть, и критика эта явилась на свет еще до его рождения. Что же касается до части полемической, то вы уже видели, что можно было на это ответить.

Вместо того, чтобы гоняться за мелкими и случайными ошибками у весьма искусных сочинителей или, вернее говоря, вместо того, чтобы приписывать им те, коих отнюдь не делали, вместо того, чтобы неверно их истолковывать и без конца ошибаться, не лучше ли было просветить вас, указав на достоинства каждого?

Почему, например, не указал он вам, что, если римляне прилагали

старание писать весьма красноречиво, живописать величественные картины и портреты, сочинять возвышенные речи, то нынешние авторы менее велеречивы и слог их проще, точнее и насыщеннее всякого рода познаниями. И, не ограничиваясь описанием войн, придворных интриг, распрей сената и народа, императора и легионов, им следовало явить нам образы царей, двор, духовенство, знать, дать понятие об учреждениях судебных, делах религии, войнах, политике, искусствах, торговле, великих мореплаваниях, о которых древние не имели ни малейшего представления, и о той новой, неизвестной Древнему миру вселенной; что они много лучше знали искусство критики; что если англичане были скрупулезны, то французы – более методичны, и в Европе им сопутствовал успех, поскольку у них было меньше преубеждений в отношении своей страны и правительства, больше беспристрастия; что никогда ни один из древних историков или философов не выступал в защиту рабов, не поднимал свой голос против обычая обращать в рабство пленных и должников; что в наше время писали против крепостного права, против рабства негров, пылко защищали права человека, со всей определенностью, логикой и постоянством, пример чему видим мы только в нынешнем веке; и что этот способ написания истории много лучше преступного безразличия историков древности ко всем тем, кто не имел звания гражданина.

Трактат вашего наставника о том, как писать историю, порочен как по суждениям своим, которые все ложны, так и по принципам, которые ошибочны, по незнанию действительных событий, открывшихся с выходом в свет этой книги, по отсутствию последовательности в рассуждениях и той критике, которая более походит на сатиру. Присовокупите сюда раздражение, обнаруживаемое перед читателями, то, что он еще более недоволен самим собой, нежели другими, и те замалчивания, которые доказывают, что он отнюдь не понимает то, о чем трактует, так что можно сравнить сочинение его с тканью, сотканной из общих мест, заблуждений и поношений.

Если и можно согласиться с вашим наставником кое в чем, так это с тем, что история есть судия и наставница. Это справедливо, это истинно – она есть и должна быть для нас тем, что и цензорство в Римской республике. Историк в некотором роде представляет собой ту власть, которую осуществляет во Франции *хранитель законов*: но этот цензор, этот хранитель обязан отдавать отчет народу и быть должен вдвое наказуем, если вместо того, чтобы исполнить долг свой, он фабрикует ложные репутации и клеветает на великих людей.

Конец

ГАБРИЭЛЬ-БОННО ДЕ МАБЛИ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРУДЫ

Век Просвещения был ознаменован появлением целого ряда выдающихся исторических трудов и историко-философских сочинений, оказавших влияние на умственную жизнь общества и давших сильнейший толчок всему последующему развитию исторической науки. Критика просветительских воззрений в области философии истории в XIX в. была в целом оправданной, однако вряд ли будет общим местом заметить, что есть все основания говорить не об антиисторизме XVIII века, но о "просвещенном историзме". Именно в эту эпоху появляется на свет философия истории; теория прогресса в уже вполне осязаемых чертах рассматривает всю историю общества как последовательное преодоление человечеством определенных ступеней развития. Рядом с традиционной политической историей делает первые шаги история культуры. Интересы уже не ограничиваются европейской цивилизацией, история народов вне ее пределов также привлекает внимание. Именно в эту эпоху находит свое обоснование мысль о влиянии среды обитания и общественной среды на образ жизни, нравы и духовный уровень человека. В исторические труды привносятся порою такие понятия, как "дух нации" (народа), причем делаются попытки рассматривать нацию как определенную историческую индивидуальность. С накоплением исторического знания в XVIII в. стали возможны первые опыты на ниве сравнительно-исторического метода.

К наиболее характерным чертам историографии эпохи Просвещения следует отнести ярко выраженный рационализм: основанием, на котором зиждилась просветительская идеология, являлась вера в Разум как меру всего сущего, как верховный авторитет.

Историки Просвещения мыслили себе человека не как представителя какого-то определенного народа, но как человека вообще, и человечество как единое целое на всем земном пространстве. И в этой связи нельзя пройти мимо известной механистичности воззрений просветителей, пользовавшихся теорией общественного договора для объяснения того, как объединялись индивидуумы в обществе. Однако с представлением о человечестве как о некоей совокупности индивидуумов у историков и политических мыслителей сочеталось убеждение, (которое ничто не могло поколебать) в том, что идеальное общественное устройство может быть осуществлено путем просвещения возможно большего числа людей. Исторический процесс, с точки зрения просветителей, заключался прежде всего в усовершенствовании челове-

ческих знаний, которые должны в конечном счете приблизить создание лучшего общественного строя.

Беспощадно критикуя феодальное общество, просветители выносили на суд Разума прежние представления, и часто их приходилось признавать неразумными. Именно с этих позиций они отказывались искать и находить в историческом прошлом свои программные идеалы, особенно в средневековье, которое они рассматривали как некий перерыв в ходе истории, вызванный всеобщим варварством и суевериями, господствовавшими на протяжении многих веков. "Темные века" рисовались просветителям историей тирании, притеснений и невежества, что поддерживалось у них несколько преувеличенными представлениями об уровне просвещенности современного им общества, питавшими их во многом иллюзорные надежды на будущее. Это, однако, не исключает, а скорее предполагает то, что просветители черпали в истории материал для своей политической и философской пропаганды, находя в ней самые серьезные аргументы в пользу борьбы против угнетения и несправедливости феодального строя, для изобличения жестокостей и суеверий. Естественно, такой подход не мог не вносить в изучение истории известной пристрастности.

Среди выдающихся историков и политических мыслителей французского XVIII в. одно из почетных мест принадлежит аббату де Мабли. В сравнении с другими великими современниками знаменитого философа-моралиста, его имя на протяжении десятилетий было почти полностью забытым. О Мабли как об историке вспоминали весьма редко. Его имя отнюдь не всегда можно было встретить в специальных трудах по французской историографии. Даже В.И. Герье, посвятивший Мабли первое крупное исследование и интересовавшийся Мабли на протяжении всей своей жизни, занимался им скорее как моралистом и социальным мыслителем, чем историком. С середины XX в. интерес к творчеству Мабли в разных странах переживает подлинный расцвет: переиздаются некоторые из его сочинений, выходят многочисленные исследования общего и частного характера. Изучение наследия Мабли продолжается, однако, в сравнении с социальными и коммунистическими воззрениями Мабли, меньше изучены его исторические взгляды и вклад Мабли как историка в общем контексте развития просветительской исторической мысли XVIII в., одним из выдающихся памятников которой являются его труды.

*

Габриэль-Бонно де Мабли происходил из семьи, принадлежавшей к "дворянству мантии"¹. Его отцу, Габриэлю Бонно, занимавшему последовательно должности сборщика податей, королевского советника и секретаря парламента Гренобля, в 1710 г. был присвоен титул виконта де Мабли, что привлекло за собой приобретение имения Мабли в Форезе в нескольких милях от Роанна (позднее к этому имению были присоединены поместья Корнийон, Коммьер и Малатаверн).

Родился Мабли 14 марта 1709 г. в Гренобле, в доме номер 12 по улице де Клерк. Мать Габриэля-Бонно происходила из богатой мещанской семьи. В обряде крещения, согласно метрическому свидетельству, принимали участие "благородный" Жан Бонно (брат новорожденного) в качестве крестного отца, крестной же матерью была Мари де Ля Кост, дочь Лорана, секретаря Гренобльского парламента². Младший из трех братьев, Этьен-Бонно, который был моложе Мабли на шесть лет, в 1720 г., когда отец семейства приобрел поместья Кондильяк и Банье, получил имя Кондильяк. Двоюродным братом Габриэля-Бонно был Д'Аламбер — дитя любви Клодины-Александрины Герэн де Тансен, приходившейся Мабли теткой, и шевалье Детуша.

22 сентября 1726 г. Габриэль-Бонно виконт де Мабли скончался в возрасте 60 лет. Предположительно в это же время решается судьба его сына, названного при рождении в честь отца. Предназначение Мабли для духовного звания было вполне естественным для той среды, в которой он был рожден и, добавим, отнюдь не только для этой среды; оно вполне сообразовывалось с усвоенными представлениями о том, какое место предпочтительнее занять тому или иному члену семьи.

Молодой Мабли поступил в иезуитский коллеж в Лионе, где в течение нескольких лет он получал классическое образование; и хотя преподавание истории, как и философии, препоручалось обычно преподавателям грамматики и литературы, а отечественной истории уделялось, как правило, меньше внимания, чем истории древних времен и античности, по-видимому обучение в коллеже было для Мабли плодотворным, ибо тогдашние программы по классическому образованию у иезуитов были весьма насыщены и складывались из основательного изучения грамматики, чтения греческих и латинских авто-

¹ Основные биографические сведения о Мабли см: *Brizard* [G.] L'Abbé. Eloge historique de l'Abbé de Mably, discours qui a partagé le Prix au jugement de l'Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, en 1787 // Mably [G.-B.] l'Abbé de. Oeuvres complètes / A Lyon: Chez J.-B. Delamollière, 1792. T. I. P. 1—122; *Barthelemy* [L.] L'Abbé. Vie privée de l'Abbé de Mably // Mably [G.-B.] l'Abbé de. Oeuvres complètes. A Paris: Chez Volland, 1790. T. XIII. P. 159—252; *Lévesque P.-Ch.* Eloge historique de l'abbé de Mably // *Berenger L.-P.* Esprit de Mably et de Condillac. [S.l.] Chez le Jay-fils, 1789. T. I. P. 1—237.

² *Maffey A.* Nota biografica // Mably G.-B.. de. Scritti politici... / A cura di Aldo Maffey. Torino. 1961. Vol. I. P. 35.

ров, толкования различных текстов³. Что же касается до практики обучения, то вряд ли она располагала к нерадению и лености, и если Мабли впоследствии, приводя в своих сочинениях латинский текст, добавлял "Насколько мне помнится . . .", это говорит скорее об его скромности, чем о подлинном сомнении и правильности приводимой цитаты.

Закончив обучение в коллеже, Мабли уезжает в Париж и с помощью кардинала де Тансэна, брата своей влиятельной тетки, поступает в семинарию Сен-Сюльпис, этот "рассадник прелатов", пребывание в котором сулило честолюбивцам немалые выгоды. Казалось бы, такое счастливое стечение обстоятельств ясно указывало единственно правильный выбор жизненного поприща, однако Мабли решил иначе; он прерывает свои занятия в семинарии и покидает ее, получив рукоположение в сан суб-дьякона. Выпущенный из Сен-Сюльпис и вольный следовать своим влечениям и вкусам, Мабли сменил тетради по теологии на "Жизнеописания знаменитых людей" Плутарха, сочинения Фукидида и труды Цицерона.

По вторникам на улице Сент-Оноре в салоне мадам де Тансэн, известной своим скандальным поведением – *la religieuse défrôquée*, как называла ее герцогиня де Ноай – Мабли встречался со многими известными людьми, в том числе с Монтескье и Гельвецием. Другьями этой блестящей светской дамы в разное время были Фонтенель, лорд Честерфилд, Пирон, Ля Мот, Д'Аржансон, Матье Приор, приятель и доверенное лицо Болинброка⁴. Дядя Мабли, которому прежде были поверены французские дела в Риме, к тому времени вступил в министерство, куда он был призван милостью всемогущего кардинала де Флери, заправлявшего делами королевства, хотя и не носившего звания первого министра. Мадам де Тансэн, которая мнила себя политиком, т.е. любила интригу и знала в ней толк, оказывала поддержку своему брату и в поисках близкого доверенного лица стремилась на первых порах приберечь для него мысли и советы просвещенных людей, которых она собирала у себя. Вскоре случай помог ей решить, что племянник может оказаться весьма полезным; он здраво и глубоко судил о государственных делах, интересах различных партий и о том, каковы возможные дальнейшие шаги того или иного из восходящих на политическом горизонте светил.

В 1740 г. убеждение мадам де Тансэн в том, что Мабли нуждается в поддержке ради государственных интересов ее брата, окрепло вполне. Именно в этом году вышло первое сочинение Мабли "Параллели между римлянами и французами". Публика встретила оба тома этого сочинения благожелательно, что ободрило молодого автора. Суровый критик, посвятивший разбору "Параллелей" в литературно-критичес-

³*Sicard Aug. L'Abbé. Les études classiques avant la Révolution. P., 1887. P. 166 – 180, 557–565.*

⁴*Levesque P.-Ch. Op. cit. P. 2.*

ком журнале немало места, нашел, что книга написана с достоинством, а в некоторых местах с большим умом и "проблесками гения"⁵; автор весьма умен, сведущ, "пишет он изрядно и есть все основания ожидать от него превосходных сочинений в историческом и может быть и в других жанрах"⁶. Критик "Меркюр де Франс" отметил: "Я не знаю, был ли когда-нибудь в Спарте и Афинах гражданин, более сведущий о своих интересах, нежели аббат де Мабли"⁷. Почтенный "Журналь де Саван" выразился о книге Мабли следующим образом: "Вряд ли можно отрицать, что это произведение человека большого ума, который изучал историю не для того только, чтобы забивать себе голову именами и датами, но чтобы приподняться, как следует философу, над причинами событий, вывести наружу характеры и страсти главных действующих лиц. . . , раскрыть истинные мотивы их поведения. . . Книга написана с достоинством; может быть, можно было бы пожелать больше порядка, связи и точности в стиле. Наконец, это всего лишь первый опыт, и остается только возлагать большие надежды на человека, который начинает так хорошо и который обнаруживает столько таланта"⁸.

Мабли впоследствии резко осудил свою первую книгу: "Когда я спокойно пересмотрел свое сочинение, — писал он в преуведомлении к "Observations sur les Romains", — я нашел, что план, который поначалу показался мне весьма рассудительным, на самом деле не был разумным. Никакого порядка, никакой связи в мыслях, бесконечные повторы, одни лишь предметы, представляемые в ложном свете; не было ни одной ошибки, в которую не вверг бы меня навязчивый параллелизм"⁹. Редко встретишь такое противоречие в суждениях публики, критики и самого автора, который даже спустя многие годы так сурово расправился с первым своим опытом. В "Параллелях" Мабли рассуждает о преимуществах различных форм правления при параллельном сравнении различных эпох двух исторических народов. Но, не склоняясь к сбалансированному "смешанному" правлению, которое учитывало бы элементы трех основных общественных сил — монархии, аристократии и народа в целом, — Мабли определенно одобрительно высказывался обо всем том, что влекло римлян к свободе, а с другой стороны — обо всем, что способствовало установлению во Франции абсолютизма. Говоря об эпохе Карла Великого, Мабли утверждает, что "аристо-монархическое" правление, установленное при нем, повлекло за собой возникновение "варварской" феодальной системы. Мабли критически пересматривает взгляд Буленвилье и дает в целом апологетическую оценку правления Капетингов.

⁵Observations sur les écrits modernes. Par M.M. Desfontaines et Granet. P.: Chez Chaubert, 1740. T. 29. P. 145—168.

⁶Ibid. P. 255.

⁷Mercur de France. Octobre 1740. P.: Cavalier, 1740. P. 2210—2217.

⁸Journal des Sçavans. Octobre 1740. Amsterdam, 1740. T. 122. P. 383—384.

⁹Mably G.-B. Observations sur les Romains. Part I. Genève, 1751. P. II—III.

По прошествии времени для Мабли оказалось очевидным, что такие параллели – слишком искусственное построение, хотя и позволяло оно, обращаясь к опыту Римской империи, вывести своего рода рекомендации к учреждению стабильной королевской власти. Произвольное членение римской истории и истории Франции с целью извлечь политический и нравственный урок не могло по зрелом размышлении удовлетворить Мабли; через некоторое время он с негодованием, обращенным к самому себе, не только отказался от своих прежних взглядов, но и исключил "Параллели" из числа своих сочинений. Сохранился анекдот о том, что находясь у графа д'Эгмонта, он наткнулся на этот свой злосчастный опыт, схватил книгу и, нимало не стесняясь присутствующих, изорвал ее в клочки¹⁰.

Но тогда, в 1740 г. "Параллели" имели большой успех, и выбор мадам де Тансэн созрел окончательно. Она сделала Мабли предложение стать секретарем при ее брате Пьере-Герэне де Тансэне, который с 1742 г. сочетал свой священнический сан с занятиями министра иностранных дел. Не обладая способностями, необходимыми на таком важном государственном посту, кардинал прекрасно сознавал это и чувствовал себя в особо стесненных обстоятельствах, когда должен был высказывать в Королевском совете мнение по тому или иному вопросу. Он добился от короля разрешения подавать свое мнение в письменном виде, и с этого момента Мабли начинает составлять министерские доклады, принимать и отправлять депеши и инструкции, т.е., по выражению П.-Ш. Левека, именно он становится настоящим государственным министром, а де Тансэн – его представителем в Королевском совете¹¹.

Одним из важных дел, которыми занимал свое время Мабли в канцелярии министерства, было систематическое и упорядоченное изложение межгосударственных трактатов, заключенных со времени Вестфальского мира и явившихся основой международных отношений в Европе в середине XVIII в. Кроме того, Мабли исполнял ряд практических функций, связанных с дипломатической деятельностью. В частности, именно он готовил проект трактата, который Франция хотела заключить с Пруссией в противовес Австрии и Англии, и вел в 1743 г. переговоры в Париже с представителями Фридриха II. К этим переговорам оказался причастен и Вольтер, который, ввиду его близкого знакомства с прусским королем, был послан в Берлин, чтобы склонить Пруссию к трактату с Францией.

Есть основания говорить о том, что именно Мабли способствовал успеху военных операций, которые предпринимал Людовик XV во главе войск в 1744 г. Общее мнение было за то, чтобы дислоцировать армии Франции на Рейне – за это высказались Королевский совет, маршал де Ноай и кардинал де Тансэн. Только Мабли утверждал, что

¹⁰Brizard G. Op. cit. P. 98.

¹¹Levesque P.-Ch. Op. cit. P. 9.

следовало бы направить все силы французских армий в Нидерланды. Это мнение имело мало веса, но Фридрих II высказал ту же идею, и мнение секретаря министерства возобладало. Достигнутый успех подтвердил правоту Мабли.

В 1746 г. аббат де Мабли составил инструкцию для французских послов, которые участвовали затем в конгрессе в Бреде, где должны были быть выработаны условия европейского мира, если бы истинные интересы держав не уступили, как то не раз бывало, подспудному течению страстей на дипломатических переговорах.

Вскоре затем Мабли оставляет службу в министерстве иностранных дел. Поводом к разрыву послужила ссора с министром де Тансэном, который к тому времени стал архиепископом Лиона. Речь шла о браке между протестантами и отношении к этому римской католической церкви. Вероятно, Мабли защищая притесняемых протестантов, не мог поступить против своей совести и "хлопнул дверью", когда архиепископ не внял совету Мабли блюсти в этом вопросе государственные интересы. Однако, если бы даже Мабли и далее следовал избранной карьере, если бы он участвовал в переговорах и политических делах Европы пытаясь неуклонно проводить принципы добродетели, то вряд ли он сохранил бы в себе девственную чистоту этих принципов, которые неизбежно изменились бы под влиянием принятой практики ведения дел. Вероятно также, что Мабли испытал досаду, но не потому, разумеется, что, покидая министерство иностранных дел, он лишился определенных жизненных благ, а потому, что оставленное им поприще доставляло ему средства быть полезным отечеству и обществу. Знания, приобретенные Мабли во время службы в министерстве, не пропали даром. В 1748 г. он публикует труд под названием "Публичное право Европы. . ." ¹². Это произведение — свод основных международных трактатов за сто лет, извлеченных Мабли из архивов министерства и весьма основательно для того времени прокомментированных автором. Таким образом, впервые было раскрыто содержание основополагающих договоров, связывавших европейские государства от Вестфальского мира (1648 г.) "до наших дней". Мабли хотел проследить возникновение распрей, раздиравших Европу, и поставить преграду на пути тех, чьи претензии были неосновательны, а предпринимаемые действия могли граничить с преступлением.

Проводя читателя по лабиринту изменений в цепи договоров, лежавших в основании европейской безопасности, обращая пристальное внимание на всю совокупность политических законов, поддерживающих гармонию межгосударственных отношений, Мабли как бы призывал тем самым государей к справедливости, умеренности, к вере в нерушимость данного слова и священные обязательства. Его глубоко

¹²Mably G.-B. de. Droit public de l'Europe, fondé sur les traités, depuis la paix de Westphalie, en 1648, jusqu'à nos jours. La Haye; Van Duren, 1748. T. 1—2. (in-12°.)

возмущало протестирование самого существа политики вплоть до сплошного беззастенчивого обмана, более достойного разбойников, чем истинных государственных мужей. Он открыто проповедовал другую доктрину, пребывая в убеждении, что благородное прямодушное и лояльное поведение – лучший способ устранить затруднения в дипломатических переговорах, чем обходные маневры, лукавство и неблагоприятные происки. Мабли доказывал, сколь губельны для государств ненависть, честолюбивые замыслы и завоевания, утверждал, что стремиться к расширению своей территории – значит спешить навстречу своей гибели, что истинное средство заставить соседей уважать себя заключается в том, чтобы установить в стране благодетельное правление, совершенствовать законы, соблюдать повсюду порядок и экономию, черпая при этом силы в доверии и любви народа таким образом, чтобы подданные чувствовали себя гражданами, а не рабами.

”Публичное право Европы” имело огромный успех, став эпохой в области международного права. Это сочинение издавалось многократно и было переведено на ряд языков. Фридрих Великий почтил его своим вниманием и одобрением. В английских университетах международное право преподавалось по ”Публичному праву”. Государственные деятели называли эту книгу учебником для политиков. Имя Мабли, которому не было еще и сорока, стало известно в Европе, его называли не только соперником Горция и Пуфендорфа, но и ученым, превзошедшим их¹³.

В 1757 г. Мабли публикует ”Principes des negociations”¹⁴ и опять за границей, в Гааге. На то были свои причины, ибо известно, что, когда Мабли обратился в высокие инстанции за разрешением опубликовать ”Droit public de l’Europe”, его спросили: ”Кто вы, господин аббат, чтобы писать об интересах Европы? Вы – посланник или министр?”¹⁵ На это Мабли мог ответить так же, как в свое время Руссо, когда его спросили, государь он или законодатель, чтобы писать о политике. Но на этот раз Мабли промолчал и, удалившись ни с чем, напечатал свою книгу в Гааге – практика, довольно распространенная в то время. Правда, чтобы не допустить ее конфискации во Франции, он должен был заручиться поддержкой д’Аржансона, своего знакомца по салону де Тансэн и коллеги по министерству, а к тому времени президента Академии надписей.

Это сочинение Мабли и по сути своей, и по названию является введением к ”Публичному праву. . .”. Мабли дает понять, что двусмысленный договор есть зародыш беспорядка и ненависти; он может обеспечить преходящий успех, но влечет за собой страх и беспокойство, разлад и враждебные намерения. Выразиться в трактате ясно и

¹³Brizard G. Op. cit. P. 15.

¹⁴Mably G.-B. de. Principes des négociations, pour servir d’introduction au Droit public de l’Europe, fondé sur les traités. La Haie, 1757.

¹⁵Brizard G. Op. cit. P. 98–100.

откровенно – значит отворотить войну. Мабли начисто исключает тайные переговоры, называя их достойными презрения полумерами, средствами врачевания, которые вскоре превращаются в свою противоположность – в яд. Чрезмерные и суровые условия предлагаемого договора могут повлечь за собой попытки нарушить его, и единственная основа, на которой держава может заключить прочный мир – умеренность, справедливость и чистосердечие, обезоруживающие ненависть и привлекающие к себе сердца.

Искусство переговоров, говорит Мабли, не есть искусство интриги. Честолюбие, алчность, зависть – все это должно быть изгнано из дипломатии. На их месте должны воцариться умеренность, великодушные и нежелание посеять семена розни, которые взошли бы в будущем. Каждый посол должен внушить себе, что он – посол мира и единения между народами¹⁶. Переговоры должны быть открытыми и без всяких ловушек и задних мыслей, так как должны быть движимы идеями народного блага и мира. Все эти вопросы – методы проведения внешней политики в сочетании с нравственным обликом дипломата – продолжали волновать Мабли и в последствии. Здесь обнаруживается еще одна грань идеально-утопического, хотя и с некоторыми рационалистическими чертами, склада ума Мабли: он ищет идеальное, т.е. то, что должно быть, по его пониманию, не только в области социальной – это вполне привычно для тех, кто обращается к творчеству Мабли – но и в сфере внешних сношений.

В 1749 г. Мабли выпускает "Заметки по истории греков"¹⁷. В послании, следующем за посвящением другу, автор говорит о том, что побудило его обратиться к этому сочинению: "Я ишу причины процветания и упадка Греции. История, изложенная с этой точки зрения, становится школой философии: по ней учатся познавать людей, в ней развивают и расширяют свой разум, используя мудрость и заблуждения прошлых веков". "Было бы великим несчастьем, – добавлял Мабли, – если бы перестали изучать греков и римлян; история сих двух народов есть великая школа нравственности и политики: в ней можно видеть, до чего могут возвыситься добродетели и таланты людей под законами мудрого правления, и даже самые их ошибки послужат вечным уроком людям. Пусть же государи при виде следствий гибельного честолюбия Спарты и Афин и разделения греков познают и возлюбят обязанности свои перед обществом! Я знаю, – продолжал Мабли, – что большая часть фактов истории этих двух народов известна всему миру и что для читателя будет утомительно, если ему станут рассказывать о них после того, как это сделали историки древности: но будет ли сей труд неприятным и бесполезным тем, кто любит мыслить и искать причины великих событий? . . . Я представ-

¹⁶Mably G.-B. de. Principes des négociations // Mably G.-B. de. Oeuvres complètes., T V. P. 195–196.

¹⁷Mably G.-B. de. Observations sur les Grecs. Geneve. MDCC XLIX.

ляю Вам, дорогой аббат, лишь слабый опыт и отнюдь не сомневаюсь, что писатели более способные, нежели я, найдут еще в истории Греции изобильную жатву новых размышлений, равным образом полезных и морали, и политике”¹⁸.

Мабли считал, что общественное устройство у греков вполне отвечало потребностям человека в свободе и равенстве, и даже полагал, что Ликург установил имущественное равенство, имея в виду достижение подлинной свободы. Пока Греция была свободной, ее воодушевляли любовь к отечеству и энтузиазм добродетели; пока она предпочитала бедность роскоши, равенство богатству, она была процветающей, счастливой и уважаемой. Все ее граждане воспитывались в героических добродетелях, а весь народ Греции составляли граждане. Но как только богатство Востока, которое навело порчу на недавно еще достойных людей, противопоставлявших ему мудрое законодательство, хлынуло в пределы Греции, а азиатская роскошь стала произрастать на полях Марафона и Платей, рядом с алчностью утвердились честолюбие, гордыня и презрение к древним добрым и простым нравам. Греки, раздраженные жаждой золота, манией честолюбия и возраставшей потребностью в роскоши, презрели законы отечества. Их страсти приняли со временем иное направление и вместо духа равенства воцарился дух притеснения и тирании. Греки победили персидские войска, но оказались сами побежденными своими же богатствами. Они не боялись опасностей и смерти, но были побеждены роскошью и наслаждениями. Падшие души и сердца открылись для всех низменных страстей и преступных деяний, и гибнущая свобода не находила более в Греции прибежища.

Это сочинение Мабли, по мысли П.-И. Левека, — ”прекрасная апология, нравственная цель которой — доказать, что и небольшие республики, по видимости слабые, но сильные добродетелью, единением, бедностью, не должны бояться и самых грозных держав; разобщенные честолюбием, развращенные богатствами, изнеженные искусствами, они не могут воспользоваться даже самыми благоприятными обстоятельствами, чтобы сохранить свою свободу”¹⁹.

Новое сочинение Мабли вызвало интерес в литературных кругах. Об этом свидетельствуют критические заметки, опубликованные в известном литературном журнале: ” . . . это сочинение, в чем-то сходное с Рассуждениями президента де Монтескье о причинах величия римлян и их упадка. Не будем подробно останавливаться на сравнении творчества гения с таковым же, автор коего исполнен здравого смысла; но новая книга достойна уважения, благодаря имеющимся в ней размышлениям и суждениям . . . ”²⁰

¹⁸Mably G.-B. *de*. Collection complète. P., An III (1794 à 1795). T. IV. P. V.

¹⁹Levesque P.-Ch. *Op. cit.* P. 30—31.

²⁰Les cinq années littéraires, ou nouvelles littéraires, etc. Années 1748, 1749, 1750, 1751 et 1752 / Par Mr Clement. A La Haye, 1754. Vol. I. P. 268—269.

Вскоре после выхода в свет "Заметок по истории греков", не покидая античные времена, Мабли обращается к истории Рима²¹. В этом был определенный риск, ибо к моменту появления новой книги Мабли впечатления от недавно опубликованного сочинения Монтескье еще отнюдь не угасли.

Новая книга Мабли не осталась незамеченной критикой и, как и следовало ожидать, была поставлена рядом с сочинением Монтескье. Критик писал, что новое произведение Мабли – "весьма глубоко продумано, полно умных рассуждений, счастливых догадок и смелых решений". Было отмечено, что "господин де Мабли не является человеком, который избегает трудностей, как то делают другие; они задевают его за живое настолько, что он даже предпочитает их и в конце концов справляется с ними"²². Возвращаясь через некоторое время к сочинению Мабли, тот же критик дал понять, что он отдает предпочтение Монтескье, но вместе с тем указывал, что на него произвели впечатления искусные аргументы автора в пользу своих суждений. Стиль, по началу показавшийся критику сухим, скучным и холодным, на самом деле отнюдь не препятствовал чтению, наоборот, весьма способствовал восприятию прочитанного²³.

В своей книге Мабли рисует перед читателем захватывающую картину истории Рима, которая, по его мысли, должна была быть еще более внушительной и поучительной, нежели история Греции. У него не было претензий на то, чтобы состязаться с Монтескье; это было бы неразумным и ненужным. Мабли выдвигает на первый план нравственную проблему, рассматривая ее как ключ ко всем другим. Его целью было рассмотрение государственного устройства, которое сделало Рим повелителем мира, и того, что явилось причиной крушения его могущества, но под нравственным углом зрения. Мабли стремится доказать фактами уже окрепшее в нем убеждение, что нравы явились первоосновой процветания государств, что государства теряют свою свободу, славу и самое счастье тогда, когда прежние добрые нравы остаются в презрении и забвении. Добродетель становится под пером Мабли той первоосновой и той первопричиной, которая хранит единство и целостность государственных устоев, будь то республик или монархий. Мабли близки и понятны любовь римлян к Республике, их любовь к равенству, добродетели, презрение к смерти и богатству, т.е. все те черты героического бескорыстия, которые украшали каждую страницу их истории, возвышали душу и наполняли ее восхищением перед законодателями, воспитавшими подобных людей и запечатлевших такие чувства в сердцах.

В своих сочинениях по истории Греции и Рима Мабли выступил как политический мыслитель, который ищет в прошлом уроки для совре-

²¹Mably G.-B. de. Observations sur les Romains. Genève, 1751.

²²Les cinq années littéraires. Vol. III. P. 62–63.

²³Ibid. P. 109–110.

менной ему политики. Не будет преувеличением сказать, что прославление демократических институтов античных времен у Мабли явилось (прямо или косвенно) осуждением европейского абсолютизма. Оба сочинения Мабли утвердили за ним славу глубокого знатока древней и в первую очередь античной истории²⁴, но подлинным триумфом Мабли – историка и политика – стала его следующая книга, в которой он, как и прежде, привлекал себе в помощь античные образы в стремлении придать больше убедительности проповедуемым идеям.

В 1763 г. в Цюрихе появилась книга, которая, по выражению Левека, "всегда будет занимать достойное место среди сочинений, оказавших честь нашему веку"²⁵. На титульном листе книги значилось: "Беседы Фокиона об отхождении морали к политике; перевод с греческого Никоклеса с примечаниями"²⁶. Эта невинная мистификация поначалу ввела в заблуждение, ибо казалось вполне правдоподобным, что рукопись действительно была извлечена из хранилища библиотеки Монте-Кассино и переведена на французский неким обретавшимся во Франции греком.

Фокион, этот суровый и добродетельный ученик Платона, выступает на страницах сочинения Мабли в то время, когда Афины, еще ослепленные блеском и славой правления Перикла, тяготящиеся своим великолепием, развращенные софистами и презревшие строгие нравы, клонятся навстречу гибели. Именно в это время Фокион, этот греческий Катон, не позволяющий вводить себя в заблуждение кажущимся процветанием и не страшась разъяренной толпы и язвительно-го смеха, заставляет услышать свой суровый голос, которым он пытается внушить афинянам опасения перед лицом угрожающих им невзгод. Он разоблачает перед ними блеск порока, необузданную любовь к зрелищам, презрение к отечеству и богам, продажное красноречие Демосфена и политику Филиппа. Мабли говорит о том, что если во всякой стране нравы являются оплотом законов, то необходимо, чтобы мораль упорядочивала нравственное поведение граждан, как политика должна вносить порядок в политическое устройство государства.

В "Беседах Фокиона" современникам под видом критики государственного строя и нравов Афин могла послышаться критика политического и социального строя феодально-абсолютской Франции²⁷. В этом сочинении сильнее, чем в ранних исторических работах Мабли, раскрываются республиканские идеалы автора, которые вскоре,

²⁴Grimm M. Correspondance littéraire, philosophique et critique... depuis 1753 jusqu'en 1790. P., 1829. T. XIV. P. 31–32; Laharpe J.-F. Lycée ou Cours de littérature ancienne et moderne. P., An III. T. XV. P. 50–51.

²⁵Levesque P.-Ch. Op. cit. P. 38.

²⁶Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique; traduits du Grec de Nicoclès avec des remarques. Zurich, 1763.

²⁷Эли-Катрин Фрерон писал о "Беседах Фокиона", что картина строя и нравов Греции, написанная Мабли, – это "зеркало, в которое Франция должна смотреться сама" (Barthelemy L. Vie privée de l'Abbé de Mably... P. 193.

однако, примут иные, более рационалистические черты. "Республиканизм" Мабли имел безусловно историко-нравственную основу и именно поэтому в "Беседах Фокиона" содержится призыв к изучению истории (в первую очередь античных республик), к раскрытию причин исторических событий, имея виду, что "прошлое есть образ или, лучше сказать, предсказание будущего". Мабли предупреждал своих читателей, что "некогда будет учиться, когда настанет время действовать"²⁸. Едва ли здесь следует усматривать намек на то, что сочинение преследует "определенные, достаточно смешные практические цели"²⁹, ибо с тех пор, как Мабли написал "О правах и обязанностях гражданина" (1758 г.), крайне радикальное сочинение, так и оставшееся до 1759 г. в рукописи, его взгляды приняли более умеренный характер.

"Беседы Фокиона" получили полное признание в кругах литературной общественности, Пока имя Мабли скрывалось под псевдонимом, критика, помещая подробные разборы новой книги, отдавала должное "красноречию", "силе" и "энергии" речей Фокиона, стилю "Бесед", который "отличает век Платона, Фукидида и Демосфена"³⁰. Ученое общество Берна присудило Мабли премию, но отнюдь не согласно тогдашнему обыкновению академий, которые отмечали только те произведения, тему которых они задали сами. Придирчивый выбор был сделан из большого числа книг, и "Беседы Фокиона" была названа самой полезной для человечества книгой.

Итак, впервые ученое общество почтило труды Мабли своим вниманием. Вполне возможно именно это событие косвенным образом затронуло его отношения с великим женецем, омрачив их досадным подозрением. Руссо познакомился с Мабли еще в 1741 г. у гран-прево Лиона Жана Бонно, сеньора де Мабли³¹. Руссо был воспитателем детей старшего брата Мабли³² и для одного из них, а именно для Франсуа-Поля-Мари он написал сочинение о программе занятий³³. (Между прочим, Руссо выступал как свидетель на крещении Жанны-Элизабет Бонно де Мабли 6 апреля 1741 г.) В начале же 1765 г. Руссо обратился к Мабли с письмом, отправленным через посредство мадам де Шенонсо, в котором писал следующее: "Вот то письмо, которое Вам приписывают и которое ходит по рукам в Женеве, благодаря Вашему имени. Сблаговолите дать мне знать, но не о том, что я должен в него поверить, а о том, что должен я о нем говорить, ибо я смогу говорить о нем, как я о нем думаю, только тогда, когда получу от Вас на это право. Если мои несчастья не повергли в забвение узы, прежде нас связывавшие, и

²⁸Mably G.-B. de. Collection complète...P. 1794-1795. Т. X. P. 231-233.

²⁹Сафронов С.С. Исторические взгляды Мабли // Французский ежегодник. 1971. М. 1973. С. 271-272.

³⁰Journal encyclopedique...1763. Bouillon, 1763. Т. II. Part Ier. P. 3-31.

³¹Maffei A. Nota biografica...P. 36.

³²Rousseau J.-J. Oeuvres complètes. P., 1817. Т. 16. P. 28-31.

³³Rousseau J.-J. Projet pour l'éducation de M. de Sainte-Marie // Ibid. Т. 12. P. 27-53.

дружбу, коей Вы меня почтили, то не нарушайте этой приязни по отношению к человеку, который ни чем не заслужил потерять ее и который будет всегда к Вам привязан”³⁴. К письму Руссо были приложены выдержки из письма от 11 января 1765 г., посланные ему анонимно из Женевы 4 февраля. В этом письме Мабли, обращаясь к знакомой ему швейцарской даме, с огорчением писал о том, что Руссо своими ”Письмами с горы”, полными ”напыщенных восклицаний” и ”дурных разглагольствований” о швейцарском правительстве, по-видимому, вольно или невольно способствовал возникновению беспорядков в Женеве. При этом Мабли считал ”преступным нарушать согласие”, дарившее в Швейцарии, и полагал, что Руссо следовало бы ”открыть глаза народу” и дать ему разобраться в своих и Руссо заблуждениях³⁵.

В своей ”Исповеди” Руссо писал о том, что Мабли не ответил ему на это письмо, более того, ”некоторое время спустя появились ”Беседы Фокиона”, представлявшие безудержную и бесстыдную компиляцию из моих сочинений. Я убедился при чтении этой книги, что автор составил себе план действий относительно меня и что отныне у меня не будет более лютого врага. По-видимому, он не простил мне. . . ”Общественного договора”, который был ему не по плечу. . .”³⁶.

В действительности же Мабли ответил Руссо, выразив ему сочувствие в постигших его несчастиях, ставивших под вопрос его пребывание в Швейцарии, но вместе с тем он высказался в том смысле, что столь резко выраженное желание усовершенствовать демократическое правление Швейцарии, которое ”вооружало граждан против магистратов”, вряд ли было благоразумным. Мабли не отрицал, что письмо было написано им и даже *post factum* выражал желание исправить некоторые выражения в этом письме. Вместе с тем, отдавая должное ”чистоте намерений” Руссо и ”прямоте его сердца”, Мабли призывал его хладнокровно оценить свое положение: ”Да, Вы оскорблены, но, пожертвуй Вы Вашем злопамятством, и восхищению Вашими талантами не будет границ; Ваша философия привлечет к себе сердца”³⁷.

Вероятно, судебные тяжбы, политические и теологические распри между сторонниками и противниками Руссо, печальная судьба его ”Писем с горы” – все это наложило отпечаток на последующее душевное состояние великого гражданина Женевы, болезненно реагировавшего на любые критические суждения по его адресу. В особенности же этому способствовал пасквиль, получивший распространение в Женеве в феврале 1765 г. и отосланный Руссо в Париж для опубликования со вступительной заметкой, в которой называлось имя автора этого

³⁴Rousseau J.-J. Correspondance complète / Ed. critique. . . par R.-A. Leigh. Oxfordshire, 1975. T. XXIII, N. 3983.

³⁵Ibid. N 3867.

³⁶Rousseau J.-J. Les Confessions // Rousseau J.-J. Oeuvres complètes. P., 1817. T. 14. P. 566–567.

³⁷Rousseau J.-J. Correspondance complète. T. XXIII. N 4014.

пасквиля – женеvского пастора. Что же касается заимствований, которые якобы сделал Мабли из сочинений Руссо, то к этому обвинению следует относиться как к бездоказательному. Другое дело, что сами "Беседы Фокиона" вскоре стали предметом беззастенчивой компиляции со стороны Мармонтеля ("Велизарий"), что было доказано еще в XVIII в.³⁸

"Беседы Фокиона" открыли для Мабли двери всех ученых обществ и академий, но он остался верен себе и продолжал довольствоваться скромной безвестностью и независимостью. Более того, он прятался от постигшей его славы, свободно предаваясь трудам вдаль от интриг, ссор и тягостного для него покровительства. Существует вполне правдоподобный анекдот о том, как внучатый племянник знаменитого кардинала – маршал Луи-Франсуа-Арман Дюплесси герцог де Ришелье – настоял было на том, чтобы Мабли выставил свою кандидатуру для избрания во Французскую Академию. Мабли отказывался, но герцог не оставлял Мабли в покое и, отметая все доводы Мабли, спросил напрямик: "Но, если я предприиму к тому все шаги, и Ваша кандидатура была бы одобрена, Вы отказались бы?" Не осмеливаясь и далее настаивать на своем, Мабли пообещал герцогу, что выставит свою кандидатуру, если он того желает. Едва покинув герцога, Мабли помчался к Кондильяку, рассказал ему обо всем и заклинал его любой ценой освободить его от данного слова. "Но, к чему сие великое сопротивление?" – спросил его брат. "Если я буду принят, – отвечал Мабли, – я был бы вынужден воздать хвалу кардиналу де Ришелье, что противно моим принципам, а если я публично не воздам хвалы его внучатому племяннику, то буду повинен в неблагодарности". Кондильяк взял на себя переговоры, и Мабли не пришлось выставлять свою кандидатуру в Академию³⁹.

В 1765 г. в Женеве, три года спустя после выхода в свет "Общественного договора" Руссо, Мабли публикует первые два тома своего весьма популярного сочинения "Заметки по истории Франции"⁴⁰. Первые четыре книги этого произведения доводили изложение до воцарения династии Валуа, последние четыре были опубликованы после смерти Мабли, в 1788 г. Уже после выхода в свет раздавались голоса о том, что книге следовало дать иное название – "История древнего правления франков и его перемен", но для Мабли такой титул выглядел бы слишком амбициозно (хотя в предисловии он указывал, что рассматривал свои "Заметки" как историю известного доселе публичного права Франции).

"Поскольку ныне можно говорить в известной степени свободно, – писал Мабли 21 сентября 1764 г. Дюпену де Шенонсо, – нужно этим воспользоваться. Я переработал сие сочинение и, не погрешив против ис-

³⁸Trois siècles de notre littérature. [S.l.,] Année 1772. P. 287.

³⁹Brizard, G. Op. cit. P. 117.

⁴⁰Observations sur l'histoire de France. Geneve, 1765. Vol. 1–2.

тины, заменил некоторые скромные обороты на выражения более резкие, как внушало мне расположение духа, когда я изучал историю страны, в которой никогда почти ничего не было сделано из того, что следовало бы сделать"⁴¹. Однако трудности с публикацией нового сочинения у Мабли все же были, и немалые. М. Гримм в своей "Переписке" рассказывает о том, что хотя в первой части "Заметок" Мабли лишь в общих чертах дает представление о средствах, благодаря которым Парламент присваивал себе определенные прерогативы, действуя в сговоре с королевской властью против Генеральных Штатов, это показалось сановникам Людовика XV слишком опасным, и только дружба аббата де Кенеля, наставника герцога де Пантьера, ходатайства господ де Брионна и д'Анвиля, а главным образом, покровительство герцога де Шуазеля отделили от Мабли угрозу административных преследований⁴².

Критически переосмыслив исторические взгляды деятеля Реформации Ф. Отмана, Мабли, обратившись к отечественной истории, должен был выразить свое отношение к близким ему по времени теориям своих предшественников, а именно к Буленвилле и Дюбо. Первый утверждал, что Галлия была завоевана франками, положившими начало дворянству и монархии. Второй доказывал, что франки не были завоевателями, а их короли получили власть из рук римских императоров, что французская нация образовалась из многих этнических групп, и дворянство не могло таким образом иметь франкское происхождение. Мабли по-новому ставил и решал проблемы, поднятые в трудах Буленвилле и Дюбо. Он принимал аристократическую теорию графа де Буленвилле, т.е. германскую республику, перенесенную в Галлию и ставшую там идеальной моделью франкского государственного устройства⁴³. Вместе с тем, соглашаясь с Дюбо, Мабли признает факт установления феодального сеньориального права и уничтожения тем самым гражданских институтов дворянской реакции. В целом отрицательно относясь к монархической теории Дюбо, Мабли вслед за Монтескье считал, что побежденные франками народы Галлии имели право оставаться под римским правом или принять право победителей.

Ссылками на древнейшие памятники истории Франции Мабли обосновывает мысль о том, что у франков существовало общее народное собрание, обладавшее законодательной властью (на деле едва ли не только совещательными функциями), и совет в лице короля и вельмож, которому была поручена исполнительная власть. Из этого Мабли делает вывод о том, что франки были "суверенно свободными" (*souverainement libres*). Завоевание Галлии франками, по мнению историка, не сопровождалось изменением их общественного строя, распрост-

⁴¹Maffei A. Nota biografica. P. 41.

⁴²Grimm M. Correspondance littéraire... P. 1812. T. III. P. 656; Bartelemi L. La vie privée de l'abbé de Mably... P. 336-337.

⁴³Ср.: Сафонов С.С. Исторические взгляды Мабли. С. 272.

ранило его на угнетенных имперским деспотизмом галло-римлян. Толкование известных ему источников (не всегда, впрочем, правильно прочитанных) приводит Мабли к убеждению, что побежденным было предоставлено право отречься от римского закона и объявить, что отныне они желают жить по закону Салическому. При этом с момента такого объявления всякий галл начинал пользоваться прерогативами свободных франков, получал место на "майских полях" и таким образом свою долю участия в осуществлении верховной власти. Однако, продолжает Мабли, значительное число покоренных галлов не воспользовалось правом стать гражданами, потому что продолжительный деспотизм заглушил в них чаяния свободы и потому что вельможи и короли стремились к захвату всей государственной власти в ущерб народу⁴⁴. Таким образом, первоначальное государственное устройство франков представляло собой демократию, умеренную аристократическим советом и властью короля. Известно, говорит Мабли, что такой образ правления считается среди политиков наиболее удачным с точки зрения просвещения нации относительно ее собственных интересов. Доказательством жизненности изначальных франкских структур для Мабли служит воцарение Пипина, когда сами "события восстановили господство закона": "Пипин пожелал получить корону в качестве дара из рук своего народа, и народ даровал ее, но только после того, как посоветовался с папой Захарием"⁴⁵. Однако роль истинного восстановителя франкского правления Мабли отводит Карлу Великому.

Мабли рисует образ императора – "философа, законодателя, патриота, великого полководца и завоевателя", – склоняющего голову перед законным государем, восстановленным им на престоле. Права народа лишь отчасти и далеко не в полной мере были восстановлены при Пипине, так что Карлу, пишет Мабли, стоило бы только не вмешиваться в ход событий, ... и нация сама собою подпала бы под иго самого произвольного правления. "Немало государей в подобных обстоятельствах считали бы своим долгом искать абсолютную власть, чтобы, воспользовавшись ею, придать силу законам". Но Карл Великий, "виды коего в равной степени обнимали и настоящее, и будущее", не хотел составить счастье своих современников за счет грядущих поколений; он научил французов "повиноваться законам, сделав их самих законодателями"⁴⁶. В возобновленные Пипином "майские поля" духовных и светских вельмож Карл, полагает Мабли, внес существенное усовершенствование. Как бы ни был унижен народ со времени установления сеньорий и наследственного дворянства, Карл, помня о непреложных правах народа, питал к нему сострадание в соединении с уважением, оказываемым государю, лишенному своих владений и старался хотя бы отчасти вернуть народу его прежние прерогативы – не только из

⁴⁴Mably G.-B. *de.Observations...* Vol. I. P. 151.

⁴⁵Ibid. P. 207.

⁴⁶Ibid. P. 221–222.

чувства справедливости, но и чтобы вызвать в нем живой интерес к общему благу государства.

До сих пор история франков представляла у Мабли иллюстрацию к политической теории Руссо, по которой законодательное и верховное народное собрание могло состоять только из совокупности населения страны при полном равноправии всех его членов. Руссо, следуя своему идеалу, не допускал мысли о законодательстве через представителей, ибо считал таковое началом гибели государства. Отчуждение законодательной власти в пользу депутатов было в его глазах новым видом рабства. Мабли, знакомый с историей античных демократий, по-видимому, лучше Руссо, и понимавший, что на пути осуществления прерогатив народа в духе "Общественного договора" лежат непреодолимые трудности, увидел в собрании франкского народа, восстановленном при Карле Великом, представительное собрание. Ввиду невозможности всем французам собираться на "майские поля", Карл установил новый порядок, по которому каждое графство избирало 12 депутатов – собрание народа. (Документ, на основании которого Мабли мог сделать такой вывод, мог иметь иное толкование и относиться к практике формирования судебных органов или организаций войска.). Помимо этого, были учреждены две палаты, для духовных чинов и дворянства, и эти три собрания должны были решать между собой все законодательные дела. Вопрос о том, на основании какого права народное собрание могло заместить собой единственного законодателя – державный народ – остается в сочинении Мабли открытым, так же как открытым остается вопрос о практике разрешения дел при возможном несогласии.

Мабли обращает внимание на образ поведения императора по отношению к собранию народа. Он подчеркивает, что Карл Великий из уважения к общественной свободе никогда не присутствовал на совещаниях палат. (Сегодня известно, что Карл не принимал прямого участия только в заседаниях, где обсуждались церковные дела). Только в тех случаях, когда его приглашали или когда он сам хотел быть посредником между палатами, Карл направлялся на заседание. В таком случае он иногда и сам предлагал то, что считал наиболее целесообразным. Все законы – были ли они "творением нации" или были приняты ею по предложению Карла – обнародовались от имени императора. Вместе с тем Мабли предупреждал читателя, что встречающиеся в капитуляциях формулы: "Мы повелеваем", "Мы приказываем", "такова наша воля" – отнюдь не следует понимать буквально, ибо Карл хотел, повелевал, приказывал "поскольку нация хотела, повелевала, приказывала и поручала ему обнародовать законы, соблюдать их и карать за их нарушение".

Такому идеальному государственному устройству, казалось, предназначено было существовать вечно, но оно не пережило своего творца потому, считал Мабли, что законодательная власть народной ассамблеи было непрочной вследствие крайнего невежества основной массы

франкского общества, что не позволяло Карлу Великому передать собранию часть исполнительной власти⁴⁷. Такое положение, продолжает Мабли, в конце концов, может позволить хранителю законов уклониться от исполнения оных и совершить над ними насилие. Со временем он приобретет такое значение, что неизбежно станет смотреть на себя как на верховного владыку. Таким образом, главный урок, который извлекает Мабли из рассмотрения истории франкского правления при Карле Великом, заключается в том, что народной ассамблее должна быть передана вся законодательная власть, причем власть исполнительная ни при каких обстоятельствах не должна быть целиком доверена королю.

Политический урок, извлекаемый Мабли из истории правления Карла Великого, приходит в некоторое противоречие⁴⁸ с тем, что историк говорит далее, продолжая свои "Заметки по истории Франции", об установлении "абсурдного и тиранического феодального правления", при котором "всякое земельное владение стало настоящей тюрьмой для ее жителей"⁴⁹, но это противоречие только на первый взгляд, поскольку ослабление королевской власти после Карла Великого не уравновешивалось усилением реальной политической силы народной ассамблеи, в том смысле, в каком мог себе это представлять Мабли. Королевская же власть, олицетворением которой у Мабли был Карл Великий, являлась венцом сословной гармонии⁵⁰, царившей при нем во Франкском государстве, что в значительной мере культивировалось официальной идеологией при Карле Великом.

Разумеется, история под пером Мабли становится в "Заметках по истории Франции" орудием пропаганды собственной модели государства, в которой суверенные права принадлежат народу, а монарх является властителем-философом, лишенным недостатков, который трудится только во благо своего народа, никогда не злоупотребляя властью, каковой обладает⁵¹. Однако, соглашаясь с этим, нельзя не признать, что внутренне Мабли никогда не считал себя в праве переступить ту грань, где прекращались бы поиски исторической истины и начиналось сознательное теоретизирование в угоду своим политическим взглядам.

В своем сочинении Мабли неоднократно возвращается к мысли о необходимости созыва Генеральных Штатов как продолжении традиции "майских полей", которые могли стать средством возвращения народу его суверенных прав. "Совершенно ясно, — писал Мабли, — что восстановление этих Штатов, но не такими, какими они были, а такими, какими они должны быть, является единственным средством, способ-

⁴⁷Ibid. P. 252.

⁴⁸См.: *Guerrier W. L'Abbé de Mably. Moraliste et politique. P., 1886. P. 133.*

⁴⁹*Mably G.-B. de. Observations sur l'histoire de France. Vol. I. P. 302.*

⁵⁰*Furet F., Ozouf M. Deux légimations historiques de la société française au XVIII^e siècle: Mably et Boulainvilliers // L'Histoire au XVIII^e siècle. Colloque 1975. Aix-en-Provence, 1980. P.447—48.*

⁵¹*Blaszke M. Mably między utopia a reforma. Wrocław, Warszawa, 1985. S. 164—165.*

ным сообщить нам добродетели. Но появится ли среди нас новый Карл Великий? – Должно желать, но нельзя надеяться”⁵². Продолжая свою мысль, Мабли говорит в заключении последнего тома ”Заметок по истории Франции”: ”Прошлое должно подготовить нас к будущему, поскольку мы видели в истории трех или четырех государей, добровольно ограничивших свою власть, чтобы укрепить ее и сделать более продолжительной; возможно, что такие случаи повторятся. Но, однако же, было бы безрассудным с беспечностью ожидать этого. Можно и должно ожидать, что наступит время, когда монархия будет переживать такой кризис, что правительству будет вынуждено прибегнуть к забытой практике Генеральных Штатов”⁵³.

На пороге Великой Французской революции эти слова Мабли оказались пророческими. Революция, как известно, началась с созыва Генеральных Штатов, однако в хаосе, захлестнувшем французскую монархию, Генеральные Штаты уже не могли служить действенным инструментом державных прав нации, который мог бы спасти монархию от крушения.

”Заметки по истории Франции” Мабли были, несомненно, выдающимся явлением во французской историографии XVIII в. Это не была история войн, королей, осад и сражений, но история государственного устройства, историей общественного права, законов, нравов, развития власти и борьбы за свободу⁵⁴. В преодолении традиционной и рационалистической схемы исторической канвы Мабли приходил к выводу об извечной борьбе народа против привилегированных сословий и монархического правления как об одном из решающих факторов истории. Именно это обстоятельство стяжало ”Заметкам по истории Франции” исключительную популярность в конце XVIII в., и именно оно способствовало пристальному интересу к творчеству Мабли в период Реставрации, на путях становления новой историографии⁵⁵.

*

Авторитет Мабли, историка и политика, уже при жизни был столь велик, что ему вполне могло быть доверено воспитание дофина – будущего Людовика XVI – и его братьев. Однако, как и в случае с избранием в Академию, Мабли употребил все старания, чтобы отказаться от этого места. Он говорил во всеуслышание, что в основе его воспитания лежал бы принцип, согласно которому короли созданы для народов, а не народы для королей⁵⁶. Мабли так и не был назначен к

⁵²*Mably G.-B. de. Collection complète. T. III. P. 302.*

⁵³*Ibid. P. 303–304.*

⁵⁴*Brizard G. Op. cit. P. 25.*

⁵⁵*Mably G.-B. Observations sur l’histoire de France / Nouv. édition revue par F.-P. Guizot. P., 1823. Vol. 1–4.*

⁵⁶*Barthelemi L. Op. cit. P. 247.*

этой должности, и Левек осуждает Мабли за это: "противник своекорыстия и друг свободы", он должен был пожертвовать собой, преподав государю уроки, "плоды коих восприняли бы, как он мог надеяться, в один прекрасный день и Франция, и вся Европа"⁵⁷. Впрочем, став королем, Людовик XVI, желая отблагодарить Ривароля за одну из его политических записок, объявил его план шедевром политики и философии, который сделал бы честь Мабли и Кондильяку.

Отказавшись от должности воспитателя дофина, Мабли все же не устоял перед соблазном преподавать уроки будущему государю, и в 1765 г. отвечает согласием на просьбу Кондильяка написать для его "Курса наук" заключительный том.

В отличие от большинства французских просветителей, Кондильяк пользовался благосклонностью властей, и когда возник вопрос о человеке, которому можно было бы доверить воспитание инфанта дона Фердинанда Пармского, выбор пал на Кондильяка. Приняв приглашение, Кондильяк, по-видимому, льстил себя надеждой, что ему удастся воспитать для Пармы просвещенного государя. Прибыв в 1758 г. в Парму, он начал готовить "Курс наук для обучения принца Пармского", но, склонный более к метафизическим философским спекуляциям и довольно безразличный к истории и политике, Кондильяк вскоре чувствует необходимость в соотруднике для написания обобщающего исторического сочинения, которое носило бы характер своего рода резюме и того, что ныне называют философией истории. В 1761 г. он обращается к Мабли, но, очевидно, что дело это было государственной важности, и не один Кондильяк решал вопрос о участии Мабли в "Курсе наук".

По просьбе генерального интенданта Пармского герцогского дома и первого министра Г.-Л. Дютийо Мабли прислал в Парму один из первых вариантов "Заметок по истории Франции", а затем и некоторые другие свои сочинения, причем в нескольких экземплярах — для министра и лиц, причастных к воспитанию инфанта⁵⁸. Вероятно, имя Мабли не было достаточно известно в Парме и поэтому речь шла о том, чтобы удостовериться, что старший брат Кондильяка годится к написанию исторического сочинения для наследника престола.

Анализ исторических томов "Курса" показывает, что Кондильяк использовал некоторые из сочинений Мабли для написания этого труда, но, вероятно, сотрудничество брата было еще более непосредственным. Скорее всего, в написании исторических томов Мабли принимал более активное участие, чем это обычно представляется на основании свидетельств современников, которым, хотя на титуле "Об изучении истории" имя Мабли не значилось, было известно, что Мабли был автором тома, завершающего "Курс наук"⁵⁹. Друг последних

⁵⁷Levesque P.-Ch. Op. cit. P. 13.

⁵⁸Bédarida H. Parme et la France. De 1738 à 1789. P., 1928. P. 255.

⁵⁹Grimm M. Correspondance littéraire... P. 1812. T. III. P. 1-3.

лет Кондильяка господин де Луань д'Отрош в одном своем ученом "рассуждении" говорил о сочинении Мабли как о "святая святых этого обширного памятника" и продолжал: "Человек, знаменитый своими "Беседами Фокиона", хотел содействовать в образовании августейшего ученика своего брата тем в высшей степени совершенным сочинением, которое заключает в себе, наряду с самыми чистыми принципами-справедливости и морали, ясную и точную картину всех современных правлений"⁶⁰

При знакомстве с сочинением Мабли первый взгляд обнаруживает, что "Об изучении истории" – это простое и логическое продолжение труда Кондильяка, но более внимательное рассмотрение "Курса наук" дает важное указание к тому, что первое впечатление не совсем верно. В конце предшествующего "Об изучении истории" тома Кондильяк обращается к инфанту: "Отныне Вам, Ваша светлость, одному руководить Вашим просвещением... Вы, может быть, вообразите себе, что завершили Вы [курс наук], но это я, а не Вы, его закончил, а Вам, Вам начинать его заново". Это указание важно и с точки зрения определения времени написания отдельных частей "Курса", и с точки зрения места, которое занимает в нем сочинение Мабли "Об изучении истории", и с точки зрения отношения Кондильяка к сочинению брата. Немаловажным будет также отметить и то, что произведение, предназначенное к просвещению дона Фердинанда в политической морали, конституционных принципах, сущности законов, методе проведения реформ, одним словом, в науке политики, текстуально и по общему духу вполне соотносится с таким произведением Мабли, как "Беседы Фокиона", а в главе V Мабли сам обращает внимание читателя на это сочинение и на "Принципы переговоров", когда говорит о необходимости соблюдать лояльность по отношению к союзнику и верность принятым на себя обязательствам.

Вероятно, что Кондильяк прошелся пером по рукописи Мабли и в ряде мест изменил его, возможно, слишком радикальные, высказывания. Мабли мог представить принцу добродетели Лакедемона и республиканского Рима с такой античной простотой и суровостью, что наставники Фердинанда могли потребовать от Кондильяка смягчить нежелательные, по их мнению, выражения.

По-видимому, Мабли представил свое сочинение в Парму в тот момент, когда четырнадцатилетний инфант, наследовавший своему отцу, должен был, согласно рекомендациям наставника, возобновить свои занятия. Разумеется, Мабли не предполагал, что его "воспитанник" так быстро займет престол, однако, изменения, приличествующие перемене обстоятельств, внесены не были, и в своем сочинении Мабли говорит не с герцогом, а с инфантом Пармским. В конце 1765 г. Дютийю послал графу Ш.-О. д'Аржанталю (советнику парижского

⁶⁰Loynes d'Autroche. Eloge de M. l'abbé de Condillac, prononcé dans la Société Royale d'agriculture d'Orléans, le 18 janvier 1781. Amsterdam [Orléans], 1781.

Парламента и другу Вольтера) для аббата де Мабли письмо дона Фердинанда и табакерку, украшенную его портретом. Инфант, писал он, "счел своим долгом отдать дань уважения человеку, имеющему немалые заслуги перед литературой и написавшему по просьбе аббата де Кондильяка книгу, дабы споспешествовать его образованию". Д'Аржанталь в январе 1766 г. сообщил Дютийо о выполнении поручения: "Он, – писал д'Аржанталь о Мабли, – вполне ощутил на себе высокое достоинство сей благосклонности. Он сказал мне, что ему стыдно получить вознаграждение, столь превосходящее собою слабый труд, к которому он имел счастье быть употребленным. Я передаю его собственные слова"⁶¹.

В сочинении "Об изучении истории", изданию которого в Парме некоторое время противился испанский двор, Мабли выступает как историк, который глубоко проник в политическую науку и движим идеей о необходимости соединения нравственных принципов с основами политики. Мабли, вольно или невольно, следует традиции Боссюэ и Фенелона, выступает как ментор своего юного Телемаха, которому он показывает обширную картину европейской государственной жизни. Это сочинение, озаглавленное, может быть, слишком скромно, на самом деле является одним из наиболее важных, какие когда-либо выходили из-под пера Мабли и по цели, которую автор ставил перед собой, и по тому, как он трактует сущность истории, и по самой манере изложения. В этом сочинении – квинтэссенция размышлений зрелого историка и моралиста, средоточие его знаний в области изучения законодательства, политики, морали и истории. Наконец, в этом произведении проявляется и иной утопизм Мабли, на который до настоящего времени не обращали внимания, хотя он вполне очевиден и занят поисками идеального государя и, не находя, за редким исключением, свой идеал в истории, направляет усилия к тому, чтобы образовать августейшего ученика в духе Просвещения и сделать частью его душевных принципов образы, навеянные историческими примерами, которые впоследствии могли быть претворены в жизнь средствами политики.

Проводя перед глазами своего ученика все государства, народы, империи, Мабли делает это не для удовлетворения любопытства, а чтобы помочь познанию того, каким причинам те или иные народы и государства были обязаны могуществом и процветанием, какие пороки явились причиной упадка. Перемены в судьбах народа (*révolutions*) происходили отнюдь не случайно – главным образом из-за крайней роскоши и неравенства, презрения к законам, злоупотребления властью, притеснений, которые логически кончались народным возмущением или заговором. Таким образом, Мабли всегда и во всем видит одни и те же причины, порождающие одни и те же следствия, что приводит его к мысли о том, что счастье и гармония в государстве

⁶¹*Bédarida H. Op. cit. P. 257.*

зависит от того, насколько воплощен в жизнь принцип, требующий установления всемогущества законов и ограничения власти, сосредоточенной в одних руках – будь то благодетельный и кроткий отец народа или последний тиран.

После того, как Мабли подвергнул, так сказать, испытанию все образы правления современных ему государств в соответствии с принципами естественного права и морали, после того, как он поместил каждый из этих образов правления на свойственное ему место в иерархии государственных и политических устройств, Мабли переводит внимание ученика на собственное его государство и приглашает предпринять необходимые реформы.

Советуя принцу Пармскому добиться полного беспристрастия законов, Мабли не призывает его к смешению всех сословий и новому разделу земли и имущества, ибо то, что мудрые законодатели могли осуществить в прежние “более счастливые времена”, наши пороки и предрассудки сделали ныне неосуществимой мечтой. Равенство, на конечное осуществление которого еще можно надеяться, заключается в том, чтобы в обществе не было ни рангов, ни титулов, ни привилегий, которые освобождали бы от обязанностей гражданина. Необходимо, добавляет Мабли, добиться того, чтобы у каждого гражданина было достойное содержание, доставляемое трудом, чтобы ни один отец семейства не был бы обречен вместе со своей семьей на голодную смерть.

Если проследить вместе с Мабли историю каждого народа, то легко согласиться с ним, что всякое государство в разные эпохи своей истории в той или иной степени приближалось к деспотизму. В истории Мабли встречается народы, которые не испытывают страданий ни в полном рабстве, ни от совершенной свободы; страсти граждан в таком случае, считает Мабли, сдерживают страсти государя. В этом смешении гордости и приниженности нации еще удается внушить себе уважение. Она еще носит в себе пружину, способную привести ее в движение, и может надеяться на успех и процветание. Но чем дальше монархия продвигается на пути к деспотизму, тем далее она от истинных интересов монарха. То, что она рассматривает как несомненное преимущество, на самом деле есть унижение. Чем больше государь распространяет свою власть над подданными, тем менее он внушает страха и уважения своим соседям: чем более он будет казаться могущественным внутри государства, тем более слабым будет казаться его народ за его пределами. Три причины, согласно Мабли, способствуют воцарению и распространению деспотизма – страх, роскошь и бедность. Все эти причины, раскрытие которых Мабли сопровождает многочисленными примерами из истории человечества, в свою очередь и в равной степени приводят к народным выступлениям против деспотизма, к борьбе народов против своих и иноземных угнетателей. Следует отметить, что, пожалуй, ни один из писателей-историков до Мабли не рассматривал борьбу народов за свободу и социальное освобождение как важнейший и решающий фактор исторического развития.

Книга Мабли, по словам аббата Бризара, должна быть учебником государей. Не думаю, — добавляет он, — чтобы истина когда-нибудь говорила с большей гордостью, тверже и энергичнее, не уклоняясь из чрезмерного политаеса и обходительности, которыми обязаны положению и рождению, от предмета и сути”. Это сочинение, “в дидактическом жанре не имеющее равных себе в мировой литературе”, среди близких Мабли людей называлось книгой, по которой наследник престола должен учиться читать. Аббат Бризар выражал надежду, что сочинение “Об изучении истории” не будет забыто, когда наступит черед воспитания и обучения “августейшего ребенка, на коем покоятся надежды великой империи” (будущий “Людювик XVII”⁶²).

“Энциклопедический журнал” писал по поводу книги Мабли: “Мы приглашаем тех, кто в различных правительствах стоит во главе всех дел, читать и размышлять особенно над второй частью сего трактата, а также над II, III и IV главами третьей части. Нигде великий Фокион не говорил с большей прямоотой, мужеством, силой и мудростью. Многие министры называли публичное право Европы учебником политиков: новое произведение аббата де Мабли должно рассматриваться как учебник государей и государственных мужей. Пусть они, ревностные к своей славе, своему счастью и счастью своих народов всегда сообразовываются с мыслями, которые они в нем найдут!”⁶³

Вслед за сочинением “Об изучении истории” Мабли публикует другое, не менее значительное для его творчества сочинение, отвлекаясь на иные сюжеты и перерабатывая написанные или опубликованные труды по вопросам законодательства, этики и морали. Это произведение — “О том, как писать историю”⁶⁴ — плод его наблюдений и размышлений над искусством писать историю, изучению которой он посвятил свою жизнь. Неудивительно, что человек столь глубокий, воспринявший естественное право как великую истину, вынашивавший и проповедовавший собственные принципы политики и морали, Мабли не был удовлетворен тем, как большинство “нынешних” историков трактовало исторические сюжеты, не задумываясь порою над самой сущностью истории. Мабли судит их сурово, порою даже, может быть, излишне круто.

Мабли строит свое произведение в привычной многим форме двух больших бесед—прогулок в аллеях парка с тремя знакомыми⁶⁵, один

⁶²Brizard. G. Op. cit. P. 43.

⁶³Journal encyclopédique ou universel... Année 1776. Bouillon, 776. T. II. Parte II. P. 222.

⁶⁴Mably G.-B. de. De la manière d'écrire l'histoire. P., 1783.

⁶⁵Станным может показаться упрек К.-Ф. Вольнея, адресованный Мабли: “Мы приходим в изумление при виде трех собеседников-греков, говорящих о войне повстанцев с англичанами; Лукиан высмеял бы подобное смешение...” (Volney C.-F. Lecons d'histoire ... P., An VIII. P. 148), ведь внимательному читателю ясно, что дело происходит во Франции, если не в самом Париже. Вспомним, что в нескольких пьесах Мольера фигурирует благородный персонаж под именем

из которых сомневается в своем призвании, а другой побуждает его к занятиям историей.

Мабли предъявляет к историку большие и новые для своего времени требования. Он требует от историка, прежде чем займется он избранным сюжетом, обратиться к так называемым "приготовительным" занятиям. Если историк не имеет правильных понятий о достоинстве человека, о естественном праве, о конструктивных принципах государственного устройства, об истинных причинах процветания или упадка, если у него нет твердых нравственных правил, помогающих оценить людей и их поступки, то, полагает Мабли, он станет хвалить то, что следует порицать, и будет порицать то, что достойно похвалы; он станет блуждать наудачу в потемках, не имея в руках фонаря и не руководствуясь направляющей идеей.

Историк должен господствовать над материалом и руководить изучаемыми им событиями вместо того, чтобы оказаться захваченным изобилием и сложностью материала. Отсюда рождается та свободная и быстрая поступь в отображении истории, которой ничто не препятствует, то прекрасное и стройное изложение, которое являет собой самое величие истории. От строго организованного ума и неизбежных коллизий исторических событий рождаются неожиданные, но логично протекающие для историка, глубокие размышления, которые как молнии освещают на мгновение всю историческую канву, заставляют приостанавливать чтение и задумываться о прочитанном. В противном случае историк, которому не достало "приготовительных" знаний и направляющих мысль размышлений, уподобляется историкам "нынешним", бесплодным и жалким "говорунам": в них нет той души, того движения, того избытка чувств, которые оживляют творения древних.

Важная сторона творчества историка, по Мабли, заключается в том, чтобы вызывать интерес у читателя – свойство, не менее необходимое историку, нежели драматургу. Если историк не умеет заставлять своих героев чувствовать, мыслить и говорить на великой исторической сцене, как на сцене театра, то читатель остается холодным и бесстрастным созерцателем разворачивающихся перед ним неодоушевленных страстей. История – великая и долгая драма, где все актеры под пером историка изображают сами себя, говорят присущим им языком и совершают поступки, реконструированные и объясняемые историком. Читатель не должен ощущать того своеобразного посредничества историка, которое позволяет ему заглядывать в глубины сердца героев, обдумывать предстоящие деяния и заставляет читателя опасаться за их судьбу и стремиться вслед за ними в надежде на успех.

Клеант, однако вряд ли кого вводило в заблуждение его "греческое" происхождение. Кстати, Клеант, участвующий в беседе наряду с Теодоном и Сидамоном, это доверенное лицо Мабли, к которому он обращается во многих своих произведениях, и поэтому в "О том, как писать историю" Клеант – старый приятель и добрый друг Мабли.

Историк заставляет своих читателей испытывать самые разнообразные чувства, и они, проникнувшись заинтересованностью в судьбе героев, порой не торопятся узнать, что же произошло далее, откладывая чтение и сожалеют только о том, что книга прочитана.

Уроки творчества на ниве истории начинающий историк должен почерпнуть в великих образцах, творениях историков античности. Обращаясь к своим собеседникам, Мабли спрашивает их, испытывали ли они волнение при чтении этих сочинений, трогают ли их повествования Плутарха или Тита Ливия; если добродетель воспламеняет начинающего историка, если несправедливость возмущает его, если Катон внушает ему уважение, а преступление – ужас и надежду на справедливое возмездие, историк в праве братья за перо ради того, чтобы изобразить душу ненасытного тирана эпохи Римской империи и средневековой Италии. Пусть эта картина заставит содрогнуться от ужаса, пусть она вызовет ненависть и презрение, и послужит уроком на будущее. Если же перед историком проходят герои и деяния, заслужившие вечную память человечества, Мабли призывает его изобразить их такими красками, которые заставляют почитать и любить добродетель. Мабли призывает показать людей во всех присущих людям качествах и свойствах, особо подчеркнув такие стороны характера, как доброта, справедливость и почитание блага. Пусть их деяния приводят читателя в восторг, возвышают его душу, придают мужества на пути добродетели в ущерб покою, счастью и самой жизни.

Если законы забыты, если нравы порочны, историк, – говорит Мабли, – будит в сердцах мысли о справедливости и добродетели. Он взвешивает на весах поступки людей и людские заблуждения. Он заставляет побледнеть преступника на троне, налагает на деспота неизгладимое клеймо, мстя тем самым за права человека, и приговор, который он выносит, будет приговором потомков и уроком для современников.

Мабли различал следующие исторические жанры: всемирная (все-ленская) история (*histoire universelle*), история общая – история отдельной страны (*histoire générale*), частная история – история небольшого периода времени, отдельного царствования, войны (*histoire particulière*) и, наконец, жанр исторической биографии. Во всех этих видах исторического "сочинительства" чрезвычайно важна подготовительная часть работы, ибо нужны многие годы, чтобы разобраться во всем хаосе событий. Время, отводимое историком на подготовительную работу, должно быть трезво рассчитанным, а план работы – тщательно продуманным, иначе на завершение труда историк "остается лишь немощная старость, воображение почти угасшее, неспособное воспламенить ум, чтобы с мастерством и энергией изобразить события и людей"⁶⁶.

Вслед за Лукианом Мабли требует от историка, чтобы истину он предпочитал дружеским отношениям, чтобы он ставил перед собою

⁶⁶*Mably G.-B. de, Collection complète. T. XII. P. 435.*

цель понравиться скорее потомкам, чем современникам, суждения которых чаще всего превратны, чтобы историк был независим, никогда не льстил и не заискивал, чтобы он не испытывал страха, не питал пустых надежд, был выше национальных, государственных и религиозных предрассудков⁶⁷.

Стиль изложения должен быть понятным всем, но удовлетворять и вкусам просвещенного читателя. Необходимо избегать преувеличений, похвал недостойным, ибо "панегирический тон унижает историю", и, как говорил то же Лукиан, ни в коем случае не следует помещать голову колосса родосского на торс карлика, т.е. следует соразмерять свой стиль с тем, что излагается. Мабли призывал к тому, чтобы историк не старался писать решительно обо всем, что ему известно о данном событии или герое, но обязательно оставлять кое-что за пределами своего сочинения. Он советует историку прятать свою эрудицию, если, по зрелом размышлении, оказывается, что в ней нет особой нужды, поскольку просвещенный читатель и так отдаст должное учености автора.

В освещаемом историком сюжете Мабли советует выделять основные вопросы, определявшие его развитие и влияние на последующие события. Эти главные вопросы, которые историк постоянно должен держать в поле зрения, дадут возможность строго следовать продуманному порядку изложения и далеко не уклоняться в сторону при освещении частных обстоятельств. При этом следует, считает Мабли, время от времени ненавязчиво помогать читателю восстанавливать прерванную нить исторических событий в силу той простой причины, что память человеческая несовершенна.

Мабли не ставил перед собою цели написать историографический труд, хотя элементы историографии у него присутствуют, и эта фрагментарность, может быть, в этом смысле до известной степени уменьшает значение его сочинения, ибо Мабли, как читатель без сомнения уже заметил, нередко не утруждает себя аргументацией, помещая в своем сочинении более чем краткие характеристики историков и их произведений. Это касается и Бьюкенена, и Боссюэ, и Робертсона, и, в особенности, Вольтера, критика которого у Мабли за малым исключением не может быть признана основательной.

Мабли, целиком поглощенный цicerоновской идеей об истории как наставнице жизни, становится непреклонен в своем критическом порыве настолько, что ему трудно удержаться от критических замечаний, какими бы мелочными они ни казались. Критический дух Мабли настолько силен, что он порою забывает сказать о положительных сторонах того или иного сочинения.

В содержательном сочинении французского писателя Ш. де Палиссо, одного из противников Дидро, энциклопедистов и Руссо, там, где речь идет о Мабли, говорится, что его произведение "О том, как пи-

⁶⁷Ibid. P. 537—538.

сать историю” содержит ”превосходные нравственные правила и взгляды, достойные философа и моралиста”, ”но, – пишет далее Палиссо, – удручает то, что там обнаруживаются некоторые частные суждения, которые, вызванные грустным и несправедливым настроением, невозможно рассматривать иначе, как одно из злосчастных проявлений старости. Этот суровый и непреклонный философ не мог простить Вольтеру шутку, выскользнувшую у него по поводу скверного сочинения господина Клемана:

Dont l'ecrit froid et lourd, déjà mis en oubli,
Ne fut jamais proné que par l'abbé Mably”⁶⁸.

Мнение Паллисо, который не только не порицал, но даже заискивал перед Вольтером, весьма характерно для ”философов” и литераторов. Современники, особенно те, кто мог причислить себя к окружению Вольтера или хотел быть причисленным к таковому, прямо связывали появление ”О том, как писать историю” с неприязненным отношением Мабли к фернейскому патриарху. Однако, настолько ли сильна анти-вольтеровская тема в этом сочинении Мабли, чтобы судить о нем, как о своего рода памфлете, написанном специально против Вольтера? Отвечая на этот вопрос, с уверенностью можно сказать, что едва ли Мабли касается Вольтера в своем сочинении в такой степени, что может возникнуть впечатление, будто оно целиком направлено против Вольтера. Мабли затрагивает тему Вольтера, может быть, чуть больше, чем остальных. Однако эти краткие характеристики-реплики без достаточно основательной аргументации и критического разбора вполне могли показаться и показались сторонникам Вольтера чуть ли не покушением на святая святых. Литературные и околосредовые круги общества ”закрывали глаза” на несомненные достоинства новой книги Мабли и старались ”видеть только оплошности”⁶⁹, всячески раздувая высказывания, неблагоприятные для Вольтера, что, естественно, отражалось в свою очередь на настроениях в литературно-философской среде французского общества.

Р. Гальяни в своей блестящей статье ”Мабли и Вольтер” приводит письмо д’Аламбера к Вольтеру от 6 марта 1772 г., в котором он сообщает, что у Вольтера появились два новых врага: один – некто Клеман, бывший почитатель Вольтера и рекомендованный им в свое время редактору ”Меркюр де Франс”, ”таскающийся ныне по парижским салонам и читающий там злую сатиру” на Вольтера, и другой враг, более опасный, действующий исподтишка, протезирующий Клеману и сопровождающий его из дома в дом, в частности, в салон маршалши де Люксембург, лично нерасположенный к Вольтеру. ”Ненависть, которую этот покровитель Клемана открыто проявляет к философам, –

⁶⁸Palissot Ch. de. Mémoires pour servir à l'histoire de notre littérature, depuis François I^{er} jusqu'à nos jours. P., 1803. T. II. P. 121–122.

⁶⁹Brizard G. Op. cit. P. 76–77.

пишет д'Аламбер – тем более странна, что никто, разумеется, не выставлял напоказ более, нежели он, и в своих речах, и в сочинениях, антирелигиозные и антидеспотические высказывания, которые ставили ему в упрек, справедливо или безосновательно, большинство из тех, на кого Клеман нападает в своей рапсодии”. Пользуясь случаем, д'Аламбер напоминает Вольтеру, что покровитель Клемана – брат Кондильяка, ”с которым тот, конечно же, не посоветовался по этому поводу”⁷⁰.

Свидетельство д'Аламбера – весьма существенная характеристика отношений двух философов, мимо которой проходить ни в коем случае нельзя, но вот бесспорно ли оно – это требует важных подтверждений. Прежде всего свидетельство д'Аламбера – единственное в своем роде; оно не находит иных, хотя бы и косвенных, подтверждений какого-либо стороннего и независимого источника. Кроме того, д'Аламбер – двоюродный брат Мабли, и, испытывая, быть может, затаенную личную неприязнь к родственникам не признавшей его матери, он мог использовать ничем не подтвержденные сведения, распространявшиеся близкими к его окружению людьми, с целью вызвать обострение отношений между столь многообразными натурами, как Вольтер и Мабли.

Не вдаваясь в частности этой истории, со всей определенностью можно говорить лишь о факте неприязненных отношений между Мабли и Вольтером. Неприязнь накапливалась постепенно. Вольтер в ореоле славы в кругу своих почитателей вряд ли стеснялся в выражениях по адресу Мабли, сыпал злыми шутками и эпиграммами, которые подхватывались любителями салонных распрей и литературных дразг, так или иначе прилагавшими усилия к тому, чтобы раскаты грома с фернейского Олимпа не остались не услышанными в затворничестве, на которое обрек себя Мабли. Вольтер, однако, не ограничивался этим, он еще и шутивно ”поручал” расходившихся ”шалунов” корреспондентам, с которыми вел переписку (д'Аламбер), а это почитатели и сторонники Вольтера могли рассматривать как своего рода руководство к действию, последовавшее из уст больного и неспособного выступать в свою защиту патриарха.

С самого начала сближение между Вольтером и Мабли не состоялось и виною тому, вероятно, был Вольтер. Известно, что в связи с ”Параллелями между римлянами и французами” Вольтер выразился следующим образом: ”Книга богата мыслью, так что можно было бы подумать, что написана она внебрачным сыном Монтескье, который также мог быть философом и хорошим гражданином”⁷¹. Такая ”рецензия” едва ли кажется слишком лестной даже в устах Вольтера, даже для начинающего автора, хотя бы впоследствии и осудившего свою книгу. Кстати, Мабли осудил свою книгу не по тем причинам, которые

⁷⁰Voltaire. Oeuvres complètes. P. 1785. T. 69. P. 121.

⁷¹Voltaire. Oeuvres. T. 54. P. 42.

могли бы понравиться Вольтеру: Мабли решительно порвал с высказанными там мыслями о роскоши и изобилии как о содейтелях прогресса. Вольтер же, напротив, в своем "Опыте о нравах..." много и неоднократно прославляет благодетельность торговли, в том числе и предметами роскоши, и искусств как элементов нравственного прогресса общества. Вполне возможно, что, и не имея в виду Мабли, Вольтер высказывался в "Опыте" следующим образом: "Нужно быть сумасшедшим, чтобы говорить о том, что искусства вредят нравам — они родились независимо от дурных поступков людей и смягчили их, в том числе и нравы тиранов". Здесь взгляды Вольтера и Мабли диаметрально противоположны: Мабли считал, что за чрезмерным развитием торговли, распространением искусств и роскоши после временного расцвета неизбежно следует упадок нравов, общества и государств. Вольтер, наоборот, связывал общественный прогресс с развитием наук, искусств, предпринимательства, торговли. Мабли со своей программой суровости нравов, обычаев, простоты и ограничения потребностей не мог согласиться с этими взглядами Вольтера, тем более что Вольтер, питавший пристрастие к избранным им великим эпохам в истории человечества — Греция, Рим, эпоха Возрождения и век Людовика XIV — и в других своих сочинениях оставался верным своим взглядам, что в глазах Мабли было равносильно, к примеру, прославлению изощренности деспотизма "короля-солнца".

Кроме того, возможно, неприязни между Вольтером и Мабли способствовало то обстоятельство, что в "Опыте о нравах...", который, судя по всему, был внимательнейшим образом прочитан Мабли, Вольтер позволил себе ряд высказываний, в частности, о Карле Великом — этом, по убеждению Мабли, основателе демократических свобод в своем государстве — как о жестоком и деспотичном правителе. Мабли же в своих "Наблюдениях по истории Франции" последовательно проводил мысль о Карле Великом как о мудром и просвещенном государе, пекущемся о благе народа и выносящем свои предначертания на основании решений народной ассамблеи⁷², в которой Мабли, да и многие его современники и кое-кто из "людей 1789 г." видели прообраз будущей Франции, управляемой Генеральными Штатами или Национальной ассамблеей.

Личная неприязнь между Мабли и Вольтером и неблагоприятные суждения о Вольтере, которые современники обнаружили в "О том, как писать историю", оказались достаточными для того, чтобы обвинить Мабли в малодушии, который дождался, пока Вольтер умер, и открыто напал на него⁷³. Однако здесь следует если не оправдать Мабли, то во всяком случае иметь в виду следующее. Преклонный возраст Мабли — ему было в то время 74 года — отчасти наложил

⁷²Galliani R. Mably et Voltaire // Dix-huitième siècle. 1971. P. 189–190.

⁷³LaHarpe J.-F. Correspondance littéraire, adressée à S.A.J. M^e le Grand Duc... An IX (1801). T. III. P. 60–62.

отпечаток на его сочинения. Как полагает Р. Гальяни, сочинения, опубликованные в 1783 и 1784 гг., посредственны и не достойны его гения⁷⁴. Лицо, которое встречало Мабли в Париже в одном из салонов, сообщает о том, что Мабли показался ему "наипедантичным человеком в мире", который заставляет снисходительных собеседников выслушивать свои напыщенные речи. Тот же современник передает парижские разговоры о том, что, воображая себя спартанцем, Мабли якобы прогуливался по парижским улицам в одеянии Ликурга⁷⁵. В последних сочинениях, вышедших из-под пера Мабли, полагает Гальяни, еще угадывается прежний Мабли, но его естественные недостатки, суровая непреклонность, поучающий тон, многословие "выходят за рамки допустимого"⁷⁶. Это подтверждают свидетельства врагов и лишь отчасти друзей Мабли. П.-Ш. Левек, разделивший с аббатом Бризаром премию Французской Академии за лучшую "Eloge" Мабли, также пишет об этом, но тут же утверждает, что "всякий, приуготовляясь писать историю, прочтет эту книгу, извлекая при этом для себя пользу. Историк станет более строгим к себе, заставит себя уважать законы, которым прежде он не считал нужным следовать, взвесит все протяжение своего поприща и соберет все свои силы, чтобы преодолеть его"⁷⁷.

Почти все литературные журналы уделили место разбору "О том, как писать историю", освещая главным образом вольтеровскую тему⁷⁸. В этом смысле самой умеренной следует признать критику "Меркюр де Франс"⁷⁹.

В 1784 г. на критику Вольтера в сочинении Мабли ответил П.-Ф. Гюден де ля Бренейери, креатура Бомарше, по просьбе которого Гюден и написал свое «Дополнение к сочинению "О том, как писать историю"»⁸⁰. Гюден был горячим почитателем таланта Вольтера, но не настолько, чтобы внять его совету отказаться от попыток следовать литературному поприщу, совету, высказанному Вольтером при свидании с Гюденом в Фернее. Трагедии, написанные Гюденом, как бы в подтверждение пожелания Вольтера, одна за другой провалились, и Гюден обратился к истории. Он, в частности, написал сочинении о процветании искусств в правление Людовика XV и долгое время писал историю Франции. Благодаря снисходительной похвале Вольтера, изреченной им в 1778 г., Гюден был избран в Академию Марселя. Побуждаемый Бомарше, Гюден выдвинул свою кандидатуру во Французскую

⁷⁴Galliani P. Op. cit. P. 190.

⁷⁵Mazzei F. Memorie della vita e delle peregrinazioni del Florentino F. Mazzei. Lugano. 1845. P. 529.

⁷⁶Galliani R. Op. cit. P. 191.

⁷⁷Levesque P. Ch. Op. cit. P. 44-45.

⁷⁸Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle. L., MDCCCLXXXIII. T. X. P. 6, 461-463.

⁷⁹Mercur de France. 4 janvier 1783. P. 1783. P. 15-26.

⁸⁰Supplement à la Manière d'écrire l'histoire. Kehl, 1784.

Академию. Поддерживая это выдвижение, Бомарше писал: "Он произвел строгий разбор последнего сочинения Мабли..., где обнаружил столь верное, столь просвещенное, как и глубокое знание людей, событий и великого искусства их описывать"⁸¹.

Следует признать, что Гюден успешно справился со своей задачей в том, что касается защиты Вольтера, что было нетрудно сделать, так как, повторяем, претензии Мабли нельзя признать основательными. Однако в критике Мабли Гюден явно забывал о том, что Мабли не собиравшись писать историографический труд и поэтому привлеченный им материал весьма ограничен. Гюден же, обнаруживая свою эрудицию, не всегда, впрочем, бесспорную, направляет основной свой критический удар мимо цели, пытаясь обвинить Мабли в том, что тот малосведущ в трудах как своих предшественников, так и современных ему историков.

К чести Мабли следует сказать, что незадолго перед своей кончиной он занялся подготовкой к опубликованию двух своих сочинений (*Des Talents. Du Beau*), изданных затем посмертно. В этих небольших произведениях Мабли возвращается к Вольтеру в более умеренном тоне, отдавая ему справедливость: в частности, высказывание Вольтера о том, как нужно поражать воображение, Мабли переводит в контекст театра; он также признает за Вольтером "воображение пылкое и блестящее". Однако Мабли остается верным себе: Вольтер лишен вкуса и, незнакомый с человеческими страстями, не умел заставить своих героев говорить присущим им языком.

Смерть помешала Мабли опубликовать последние сочинения, но, вероятно, тем самым избавила его от дальнейшего продолжения полемики. Мабли умер 23 апреля 1785 г. в Париже и был похоронен в церкви Сен-Рош. Церковные власти противились даже намерениям друзей Мабли поставить на его могиле скромный памятник, так как, оставаясь всю свою жизнь защитником веры, Мабли выступал против могущества и богатства церкви, отстаивая эти убеждения в своих произведениях. Однако, старания друзей Мабли возобладали, и на могиле Мабли было поставлено надгробие с пространной латинской эпитафией.

Посмертно Мабли был причислен к кругу членов Академии надписей и изящной словесности.

*

В примечаниях к своей "Eloge historique" аббату де Мабли аббат Бризар писал, в частности, что его книга "Droit public de l'Europe...", "написанная для государственных мужей и простых граждан", пользуется громадным успехом" во всех кабинетах Европы от Петер-

⁸¹ *Gudin de la Brenellerie P.-F. Histoire de Beaumarchais... P., 1888. P. XXII. (Notice préliminaire).*

бургского двора до Луккской республики"⁸². Но не только на ниве законодательства и международного права прославился выдающийся просветитель далеко за пределами Франции. В России он был известен своими историческими трудами и неустанной проповедью нравственного усовершенствования общества, основанной на притягательных эгалитарных принципах.

Не случайно одним из первых переводчиков сочинений Мабли на русский язык оказался А.Н. Радищев⁸³. Перевод "Размышлений о Греческой истории..."⁸⁴, выполненной Радищевым, появился в издании Н.И. Новикова в 1773 г.⁸⁵ Перевод этого сочинения Мабли был выпущен анонимно, и первым на авторство Радищева указал в свое время В.С. Сопиков⁸⁶. Имя и сочинения Мабли стали известны Радищеву еще в бытность его в Лейпциге. В 1771 г. Радищев и его товарищи, русские студенты, должны были слушать правоведческие лекции профессора Бёме. Однако, по зрелом размышлении, они отказались от этого намерения, согласившись с мнением студента Янова: "Так называемые государственные дела — не что иное, как учение о тех обстоятельствах, каковы должны сблизить европейские государства в силу заключенных друг с другом договоров. Этот предмет превосходно изложил, по мнению всего света, аббат Мабли в своей книге "Публичное право Европы". И так как изучение сего труда, который состоит всего из трех небольших глав, конечно, содержит в себе гораздо больше, чем может быть сказано об сем предмете в каких бы то ни было лекциях, требует не более трех месяцев, чтобы философски быть прочитанным, то я полагаю, что нам будет гораздо полезнее и что сбережем мы гораздо больше времени, если покинем аудиторию и будем держаться исключительно чтения названного труда..."⁸⁷. Мнение Янова, как подтверждают опубликованные документы⁸⁶, полностью разделял Радищев. Отметим, что экземпляр "Публичного права Европы" находился в личной библиотеке Радищева⁸⁷.

Разумеется, ни в "Публичном праве Европы", ни в "Размышлениях о греческой истории" демократические и иные радикальные идеи Мабли еще не нашли полного выражения, хотя общее демократическое

⁸²Brizard G. Op. cit. P. 99.

⁸³Размышления о Греческой истории, или о причинах благоденствия и несчастья Греков; сочинение г. аббата де Мабли. Переведено с французского. Изданием Общества старящегося о напечатании книг. Продается на луговой Миллионной улице, у книгопродавца К.В. Миллера. В Санктпетербурге при Императорской Академии наук. 1773. (-4°.)

⁸⁴Семенников В.Л. Собрание старящегося о переводе иностранных книг, учрежденное Екатериной II. 1768—1783 гг. Историко-литературное исследование. СПб. 1913. С. 47.

⁸⁵Сопиков В.С. Опыт российской библиографии. Ч. 4. СПб. 1816. № 9493.

⁸⁶Барсков Я.Л. А.Н. Радищев. Жизнь и личность. Материалы к изучению "Путешествия из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева. М., 1935. С. 89—90.

⁸⁷Барсков Я.Л. Книги из собрания А.Н. Радищева // Дела и дни. Кн. I. Пб. 1920. С. 399.

направление переведенной Радищевым книги несомненно. Следует согласиться с Г.А. Гуковским, автором примечаний к публикации перевода Радищева, что "в 1773 г., когда Радищев переводил Мабли, он уже мог читать и скорее всего читал" его книгу, написанную против "философов-экономистов" (физиократов), где радикальные идеи Мабли выражены вполне отчетливо⁸⁸.

Перевод "Размышлений" выполнен точно, с сохранением смысла каждого отдельного выражения. Другое дело, что переводчик переместил краткое содержание всех четырех книг "Рассуждений" в начало, перед текстом каждой соответствующей главы. Свой перевод Радищев снабдил семью примечаниями, из которых второе – наиболее выразительное по своему содержанию и направленности – "целая политическая декларация молодого радикала-просветителя"⁸⁹, где он высказывается о соотношении понятий о монархии и деспотизме и, вслед за "Общественным договором" Руссо, об общей воле, как сущности государственной деятельности народа. Передав слово *despotism* термином "самодержавство", Радищев пояснил, что "самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не токмо не можем дать собою неограниченной власти, но ниже закон, извет общия воли, не имеет другаго права наказывать преступников, опричь права собственныя сохранности... Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое дает ему закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества"⁹⁰. По мнению Семевского, "здесь в сжатом виде Радищев наметил идеи, которые он развил в своих оригинальных произведениях"⁹¹.

Сторонником учения Мабли был и Г.И. Попов, купеческий сын, служивший одно время главным надзирателем и комиссаром по таможенному ведомству, посылавший в начале 1792 г. "представления" в Сенат и Синод с предложением уничтожить в России крепостное право. Представления были посланы Поповым А.А. Безбородко и И.И. Бецкому. Во время следствия Попов сделал признание о том, что написать "представления" побудило его чтение "Опровержения Маблиева дерзкаго суждения о Петре Великом", помещенного в "Деяниях Петра Великого" И.И. Голикова⁹², где историк резко возражал против характеристики, которую Мабли давал Петру в книге "Об изучении истории". Голиков полемизировал с Мабли, выступая глав-

⁸⁸См.: Радищев А.Н. Полн. собр. соч. М., Л., 1941. Т. II. С. 410.

⁸⁹Там же. С. 411.

⁹⁰Там же. С. 411–413.

⁹¹Семевский В.И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб. 1909. С. 22. Об этом см. также: Ломан Ю.М. Радищев и Мабли // XVIII век. М., Л., 1958. Сб. 3. С. 276–308.

⁹²Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенных по годам. М., 1789. Т. 9. С. 416–464.

ным образом против предоставления "вольности" народу, необходимость которой Мабли обосновывал с позиций естественного права: "Грубому народу, ни мало еще к вольности не приуготовленному, вдруг дать вольность было бы не только безрассудно, но и весьма вредно, или лучше сказать пагубно"⁹³.

Ссылаясь на аббата де Мабли, как на высокий авторитет, и рассуждая об естественном устройстве общества, Г.И. Попов писал в своей записке: "Мы должны любить и защищать свободу, яко собственный нам от всевышнего дар"; что касается государей, то в них "мы не видим ничего больше, как людей, так как знаем, так чего от Бога учреждаются государи". Далее Попов обращался к власти имущим: "Воззрите, к сему зовет вас сам Бог, ваша должность, ваше бытие, воззрите, колико они (земледельцы". - С.И.) и сами вы обижены продажею их из рук в руки; помыслите, желаете ли вы, чтоб кто продавал вас и разлучал вас от семейств ваших, расстраивал бы ваши дома, изнурял бы вас всеми налогами, отнимал бы от вас свободу вашу, лишал бы вас вольности собственной: - нет". Предупредив помещиков о неизбежном зле, проистекающем из дальнейшего существования крепостничества, Попов обращался к "великим мужам" с настоятельным советом сотворить благо и заслужить тем бессмертие: "Украстье век наш вечною славою, соорудите себе и потомкам вашим храм благодарности, и здесь-то возвысьте таланты ваши, представьте о сем благодетельнице рода человеческого" (Екатерина II - С.И.). Г.И. Попов высказывал убеждение, что императрица ждет такого почина от помещиков и "уже готова, по видимым добродетелям ее, разрешить сие и устроить все к лучшей безопасности и славе".

Записки Г.И. Попова вызвали отрицательную реакцию в придворных кругах и у самой императрицы. За "дерзость" свою автор представления был приговорен к заключению в Спасо-Евфимиевом монастыре под крепкой стражей и с запрещением писать⁹⁴.

В начале XIX в. политические и исторические взгляды Мабли, его гуманизм и нравственная концепция развития общества нашли свое отражение в творчестве политического мыслителя, последователя Радищева В.В. Попугаева, особенно в его трактате "О благоденствии народных обществ"⁹⁵, в котором он доказывал необходимость респуб-

⁹³ Там же. С. 448. Известно, что Радищев в "Письме к другу, жительствующему в Тобольске..." заметил, что "мог бы Петр славнее быть..., утверждая вольность частную..." (Радищев А.Н. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске. По долгу звания своего. В Санктпетербурге. 1790. С. 13-14). Это дало Семевскому основание для утверждения о том, что Радищев был знаком с сочинением Мабли "Об изучении истории" (Семевский В.И. Указ. соч. С. 23-24), т.к., добавим, "Письмо" было написано Радищевым в 1782 г., за шесть лет до издания сочинения И.И. Голикова.

⁹⁴ Сивков К. Г. И. Попов - представитель передовой общественной мысли в России в конце XVIII в. // Вопросы истории. 1947. № 12. С. 80-82.

⁹⁵ Орлов В.Н. Русские просветители 1790-1800 гг. М., 1953. С. 323-380.

ликанского правления, основанного на началах всеобщего равноправия граждан⁹⁶. Интерес Попугаева к Мабли, открыто призывавшему к ликвидации абсолютизма и отразившему в своей утопической теории чаяния наиболее угнетенных слоев общества, был вызван в значительной мере тем, что в социо-нравственной философии Мабли ему импонировал решительный протест против политических привилегий господствующих сословий, как несовместимых с принципами естественного права и гражданской морали.

В Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств Мабли так же хорошо знакомы с произведениями Мабли. Здесь представлялись и обсуждались переводы "из Мабли" Д.И. Языкова "О любви к Отечеству"⁹⁷ и Н.Ф. Остолопова "Беседы Фокионова"⁹⁸.

Известны и другие факты широкого знакомства русского читателя XVIII – начала XIX вв. с произведениями Мабли.

Со взглядами Мабли был знаком М.Н. Муравьев (по-видимому, еще до своей преподавательской деятельности в конце XVIII в.), проявлявший интерес к истории и нравственной философии, который привел его к поискам пригодных для осмысления российской истории обобщений в современной ему просветительской литературе. В 1785 г. Екатерина II пригласила М.Н. Муравьева преподавать великим князьям Александру и Константину историю по разработанной им программе⁹⁹. В черновых заметках к программе занятий великих князей Муравьев указывал на "три первые тома Маблиевых Наблюдений на Французскую историю, сочинение, содержащее в себе глубокие и дальновидные объяснения истории Средних веков..."¹⁰⁰ "Дошел до 17 столетия, – писал Муравьев, – нужно будет тщательно рассмотреть Народное право Европы, сочинение, в котором Мабли исчислил и изъяснил с обыкновенным своим тщетством главнейшие мирные трактаты, заключенные до 1736 года"¹⁰¹. В опубликованных в начале XIX в. заметках "О истории и историках" Муравьев, говоря о развитии исторической мысли в XVIII в., писал в частности: "Славные историки, современники наши, предшествуемы Махиавелем, освещаемы Болингброком, Гюм, Робертсон, Гиббон, Фергюссон, Гиллис, обезоруживающий крити-

⁹⁶Русские просветители (От Радищева до декабристов). М., 1966. Т. I. С. 327–356.

⁹⁷Попугаев В.В. История Общества любителей словесности, наук и художеств // Русские просветители (От Радищева до декабристов). Т. I. С. 396.

⁹⁸Там же. С. 403. Перевод Н.Ф. Остолопова не известен. Опубликован был другой перевод "Бесед Фокиона". Что касается перевода Д.И. Языкова, то он так же неизвестен, как неизвестно и то, перевод какого сочинения Мабли был им сделан, ибо у Мабли произведения с таким названием нет.

⁹⁹Жинкин Н. М.Н. Муравьев (По поводу истекшего столетия со времени его смерти) // Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1913. СПб, 1913. Т. XVIII. Кн. 1. С. 291.

¹⁰⁰Отдел рукописей ГПБ. Ф. 499. № 21. Л. 47.

¹⁰¹Там же. Л. 47 об.

ку волшебством слога, превозносимый ими Монтескью, Мабли и сходствующий с ним одинаковостью вкусов, друг его и Жан-Жаков, Кондильяк, люди верховного достоинства, обратили философию на изучение человека в обществе. Их сочинения, как простые и величественные драмы, имеют единство намерения, одно какое-нибудь великое преобразование человеческого рода, которое представляют они в полном свете, изъятое, так сказать, из середины тумана омрачающих его приключений, недостойных уважения философа¹⁰².

Известно, что воспитатель великого князя Александра Павловича Фредерик-Сезар Лагарп, помимо занятий со своим августейшим учеником, руководел им в выборе книг, с которыми он полагал необходимым познакомиться Александра, предвидя близкую с ним разлуку. Список книг, составленный Лагарпом в 1795 г. и обнаруженный великим князем Николаем Михайловичем "в бумагах Государственного архива", содержит примечания самого Лагарпа и открывается советом прочитать том X "Курса наук" Кондильяка, в котором, как известно, было помещено сочинение Мабли "Об изучении истории". Было бы странно, если бы Лагарп не обмолвился об этом сочинении, ибо оно, будучи обращенным к наследнику престола, как нельзя лучше отвечало тем целям, которые ставил перед собой воспитатель Александра. В разделе "Древняя и греческая история" Лагарп упоминает об "Observations sur les Grecs" Мабли и о том удовольствии, которое будет сопровождать чтение этой книги. В разделе "Мораль, естественное право, политика" Лагарп приводит несколько сочинений Мабли, а именно "De la Législation", "Les Entretiens de Phocion", "Des Droits et des Devoirs du Citoyen" и "Droit public de l'Europe" – "наилучшее краткое изложение того, что написано о дипломатии", отмечает Лагарп¹⁰³.

Вероятнее всего, Александр не обошел вниманием список любезного ему учителя и прочитал, если не все, то во всяком случае некоторые из книг Мабли. К тому времени все они вышли уже несколькими изданиями (в том числе и в переводах), некоторые из которых были представлены в императорской библиотеке. Если же говорить о том, насколько сильным могло быть влияние прочитанного на молодого великого князя, а вскоре и цесаревича, то даже если чтение Мабли и оставило в его мысли и чувствах какой-то след, то неизбежное столкновение с действительностью и первые шаги на поприще государственной деятельности властной рукой медленно, но верно, стерли этот след прежней увлеченности, породив впоследствии неудовлетворенность и разочарование.

¹⁰²Муравьев М.Н. Полн. собр. соч. СПб. 1819. Т. I, С. 309; см.: Фоменко И.Ю. Исторические взгляды М.Н. Муравьева // XVIII век. Л., 1981. Сб. 13. С. 167–185.

¹⁰³Список книг, избранных для великого князя Александра Павловича Лагарпом, с его замечаниями // Русский библиофил. 1916. № 1. С. 6, 13; см.: Далин В.М. Александр I, Лагарп и Французская революция // Французский ежегодник, 1984. М., 1986. С. 141, 142.

Почитателей Мабли можно было встретить среди членов Дружеского литературного общества. Определенно это можно сказать об А.И. Тургеневе, писавшем 16 апреля 1803 г. к Жуковскому о чтении "Кондильяка, Мабли, Левека", а в письме начала мая 1803 г. уведомлявшем Жуковского: "Я, брат, читаю теперь Raynal и Мабли; первый слишком часто забирается, второй вселяет в меня твердость и спокойствие, презрение к глупым обстоятельствам и возвышает несколько душу мою над ними. По крайней мере, я хочу, чтоб он производил надо мной это действие..."¹⁰⁴

По свидетельству Г.С. Винского, дочь надворного советника Сергея Яковлевича Левашова, уфимского совестного судьи, изучала французский язык за чтением "труднейших авторов, каковы: Гельвеций, Мерсье, Руссо, Мабли"¹⁰⁵.

Н.М. Карамзин вспоминал в "Письмах русского путешественника" об авторах, "которые в густых и темных его [Люксембургского сада] аллеях обдумывали планы своих творений. Там Мабли часто гулял с Кондильяком..." и о том удовольствии, которое "во мраке Булонского леса" доставляло ему чтение "Маблиевой Истории Французского Правления"¹⁰⁶. Позднее, в октябре 1796 г. в письме к А.И. Вяземскому он с иронией, обращенной к себе, склонялся к тому, что "лучше читать Юма, Гельвеция, Мабли, нежели в томных элегиях жаловаться на холодность или непостоянство красавиц"¹⁰⁷.

Поэт И. Дмитриев в шутовом "Путешествии N.N. в Париж и Лондон, писанном за три дня до путешествия" (1803 г.) в таких стихах описывал изобилие книг в парижских магазинах:

... Какой прекрасный выбор книг!
Считайте — я скажу вам вмиг:
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий,
Гомер, Плутарх, Тацит, Виргилий,
Весь Шекспир, весь Поп и Гюм...¹⁰⁸

В черновой редакции XXII строфы VII главы "Евгения Онегина" А.С. Пушкин перечисляет "избранные томы" сельской библиотеки своего просвещенного героя:

Юм, Робертсон, Руссо, Мабли,
Бар (он) д'Ольбах, Вольтер, Гельвеций,
Лок, Фонтенель, Дидрот...¹⁰⁹

¹⁰⁴Письма Андрея Тургенева к Жуковскому / Публ. В.Э. Вацура и М.Н. Виролайнен // Жуковский и русская культура: Сб. трудов. Л., 1987. С. 424, 425—426.

¹⁰⁵Винский Г.С. Мое время. Записки. СПб., 1914. С. 139.

¹⁰⁶Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. М., 1987. С. 248, 321.

¹⁰⁷Русский архив. 1872. С. 1325.

¹⁰⁸Карамзин Н., Дмитриев И. Избранные стихотворения. Л., 1953. С. 285.

¹⁰⁹Пушкин А.С. Полн. собр. соч. 1938. Т. VI, Л. С. 438.

В библиотеке П.Я. Чаадаева, собиравшейся в Москве во второй половине 20-х годов XIX в. и ставшей впоследствии достоянием Румянцевского музея, хранился "Курс наук" Кондильяка (Paris: Verdière. 1821), в том числе и сочинение Мабли "Об изучении истории". Правда, пометы и условные значки – следы чтения П.Я. Чаадаева – обнаружены только в 1, 4 и 9 томах "Курса", зато "Наблюдения по истории Греции" (Geneve: Dufart; Paris: Volland, 1789) вызвали, по-видимому, пристальный интерес Чаадаева, ибо на многих страницах этого сочинения остались собственноручные условные значки владельца библиотеки¹¹⁰.

С произведениями Мабли были знакомы и декабристы. Н.И. Тургенев, вероятно еще до пребывания в Геттингенском университете в 1808–1811 гг., попутно с чтением Вольтера, познакомился и с Мабли¹¹¹. 27 августа 1807 г. в своем дневнике он с уверенностью приписывает Мабли суждение о возражении Анахарсиса Солону, каковые у Мабли не могли быть, ибо сочинение "Voyage du jeune Apacharsis en Grèce" аббата Ж.-Ж. Бартеlemi вышло в свет уже после смерти Мабли. Но известно, что авторы эпохи Просвещения сами нередко заимствовали те или иные суждения друг у друга, без соответствующих ссылок, и ошибка Тургенева сама по себе простительна. Знаком с сочинениями Мабли был и А.Ф. фон-дер Бриген, в имени которого была "ценная библиотека из французских, немецких и латинских книг"¹¹².

В этой связи интересными представляются сведения о продаже книг Мабли в обеих столицах России. К сожалению, сведения эти, далеко не полные, тем не менее позволяют сделать вывод о том, что с конца 60-х годов XVIII в. по первые десятилетия XIX в. интерес к Мабли оставался устойчивым.

Одна из самых почитаемых книг ученого аббата, бывшая, что называется, постоянно в ходу, "Общественное право Европы, основанное на договорах", продавалась в книжной лавке Берг-Коллегии в 1780 г. "Принципы переговоров" – книга, утвердившая известность Мабли в Европе, продавалась в 1768 г. в Москве у переплетчика Императорского университета Хр. Рюдигера и в 1789 г. – у И.-Хр. Кайзера в Петербурге. Разные издания книги Мабли "О законодательстве", в которой важное место в преобразовании общества отводилось реформе самой системы законодательства и правильному соотношению законодательной и исполнительной функций власти, продавалась в Петербурге в 1780 и 1788 гг. одна из последних книг Мабли, вызвавшая самые противоречивые отклики, – "О том, как писать историю" продавалась в Москве и Петербурге в 1788 и 1789 гг. в магазине братьев Ге и у Хр. Рюдигера.

¹¹⁰Каталог библиотеки П.Я. Чаадаева. (Частные собрания в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина). М., 1980. Вып. 1. № 198, 440.

¹¹¹Семеевский В.И. Указ. соч. С. 210; Дневник и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806–1811 года. СПб., 1911. Т. I. С. 84.

¹¹²Брайловский С. Из жизни одного декабриста // Русская Старина. 1903. № 3. С. 543; см. также: Волк С.С. Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958. С. 103–106.

Четырехтомное собрание "Oeuvres politiques de Mably" было включено в каталог книжных магазинов Берг-Коллегии и братьев Ге в 1780 и 1788 гг.¹¹³

Переводы на русский язык сочинений Мабли так же были широко представлены в столичных книжных лавках, в частности перевод А.Н. Радищева, «который... считался, подобно "Путешествию из Петербурга в Москву" книгой одиозной и запретной»¹¹⁴. Перевод постоянно продавался во многих книжных лавках, например, в 1792 г., когда Радищев был осужден, а также в 1795, 1798 гг., вплоть до 1807 г., возможно и далее. Издавались и распространялись и другие переводы книг Мабли, такие как "Разговоры Фокионовы о сходности нравоучения с политикой" (1772 г.), "Начальные основания нравоучения" (1803 г.), "О изучении истории" (1812 г.)¹¹⁵.

Относительно широкое распространение имели в России французские издания произведений Мабли. По-видимому, ввоз французских изданий Мабли не встречал препятствий; известен только один случай, когда проходившее через Цензурный комитет произведение Мабли встретило серьезные возражения и было запрещено к ввозу в Россию. Речь идет о "О правах и обязанностях гражданина" (*Des droits et des devoirs du citoyen*), произведении, которое было написано Мабли в 1758 г. Показательно, что по цензурным условиям эта книга не могла быть опубликована при жизни автора и вышла в свет только в 1789 г.¹¹⁶ во Франции, через тридцать лет после написания.

Среди "представлений" относительно "запрещения книг", при рапорте цензоров Рижской цензуры генерал-прокурору А.Б. Куракину от 29 мая 1798 г., имеется "Реестр подносимым при рапорте... книгам Рижской цензуре или непозволительными или сумнительными кажущимися". Под номерами 339 и 340 значатся оба тома парижского издания указанного сочинения Мабли, выпущенного в 1793 г. В "Реестре" были приведены следующие соображения касательно "непозволительности" этого сочинения:

"В предисловии стр. 17 издатель уверяет: что сия книга есть *un des ouvrages majeurs, qui a amené la révolution française*, что и стр. 20 оправдывает.

¹¹³См.: *Catalogue des livres françois, anglais, italiens, ... etc. qui se trouvent chez Evers, libraire du College Imperial des Mines...*, demeurant près du pont bleu. St. Petersburg, 1781. P. 53; *Catalogue de Livres François... en feuilles et reliés, qui se trouvent à Moscou chez Chretien Rudiger...* 1768. P. 3. и др.

¹¹⁴Орлов В.Н. Русские просветители 1790—1800 гг. М., 1953. С. 532.

¹¹⁵См., например: Роспись российским книгам, которые продаются в Санктпетербурге в гостином дворе... у книгопродавца Тимофея Полежаева и против зеркальной линии... у книгопродавца Герасима Зотова. А в Москве на Никольской улице, ... у купца Тимофея Полежаева. 1792. С. 70; Роспись российским книгам... в книжных лавках у купца Ивана Глазунова... в Санктпетербурге, 1795. С. 100.

¹¹⁶*Des Droits et des Devoirs du Citoyen* par M. l'Abbé de Mably. [S.l.:] A Kehl, GCS LXXXIX, а также издание Paris—Lausanne того же года.

В 1^м томе. Стр. 4 приписывает испорченному народу созыдание царских чертогов; стр. 19 представляет гражданину частному человеку право судить о изрядстве законов и по его мнению найденным неправым противуборствовать. Стр. 21: хулит королей; стр. 23. различает законы, освобождая от повинования находимым неправыми. Стр. 28. Государя по крайней мере хороши для приятных прогулок. Стр. 29–32, что законы не быв единообразны с натурою не могут обязывать гражданина и что токмо разум один предписывает нам наши должности. Стр. 33–35. О праве к революции и на стр. 39 предоставляет каждому право предлагать перемену учреждений к лучшему. Стр. 44, что правление наследственное или хотя посмертное производит тиранию и деспотизм; и на стр. 46 наследство и в Англии почитает злом и проч. и проч. яко то: 29, 96, 97, 107, 108, 119 и т.д.

Во 2^м томе: Со стр. 3 советы о устройении правлений в подрыв существующим уже; стр. 15 *regrendre ses dons c'est voler*. Стр. 16 хулит верность и привязанность к Особе Государя, к чему и стр. 19. На стр. 32 наводит сомнение на учреждения Государей. Со стр. 34 и во всех последующих подает правила к революции до стр. 100. А потом до конца предписывает средства к тому и разделение власти¹¹⁷.

Не удивительно, что к этому, самому революционному произведению Мабли, написанному в то время, когда его взгляды были последовательно эгалитарными и отличались крайним радикализмом, было привлечено пристальное внимание цензоров, и в эпоху Павла I оно было запрещено к распространению в России. Впоследствии отдельные экземпляры этого произведения все же попадали в Россию.

Правомерным представляется вопрос о существовании неопубликованных переводов Мабли. Архивные розыскания позволяют утвердительно ответить на него.

В Отделе рукописей ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина сохранилась рукопись перевода книги "О том, как писать историю" (*De la manière d'écrire l'histoire*)¹¹⁸. В "Каталоге собрания рукописей П.И. Савваитова" об этой рукописи говорится следующее: "О искусстве писать историю. Из сочинений аббата Мабли. Перевод с французского. Скорописью начала XIX века, в лист, 130 листов. Экземпляр, разрешенный к печати 16 октября 1808 года цензором С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета И.Ф. Тимковским"¹¹⁹. К описанию И.А. Бычкова можно добавить, что на титульном листе рукописи в левом верхнем углу имеется номер (№ 329), в правом верхнем углу помета – "получ. августа 25 дня 1808 года". Название рукописи "О способе (слово "способ" зачеркнуто. – С.И.) искусстве писать историю", но поверх заглавия вписано ка-

¹¹⁷ЦГИА. Ф. 1146. Оп. 1. № 163. Л. 149, 153 об. – 154.

¹¹⁸Отдел рукописей ГПБ. F IV 761. Автор выражает благодарность сотруднику Отдела рукописей Б.А. Градовой за указание на рукопись этого перевода Мабли.

¹¹⁹Бычков И.А. Каталог собрания рукописей П.И. Савваитова, ныне принадлежащих Императорской Публичной Библиотеке. СПб., 1900. Вып. 1. С. 151 (№ 124).

рандашом – “О качествах нужных для историка”. Вероятно, эта поправка в заглавии, а так же многие другие исправления и уточнения по переводу сделаны были самим Тимковским. Разрешение опубликовать этот перевод снабжено печатью Санкт-Петербургского цензурного комитета. Рукопись имеет картонный переплет, на корешке тиснение – “О способе писать историю”. На одном из листов между первой доской переплета и титульным листом чернилами проставлена фамилия (автограф) – “Макшеев”.

Поскольку данная рукопись проходила через Цензурный комитет, необходимо было обратиться к фонду этого учреждения для выяснения личности переводчика.

В “Донесении о рассмотренных Санктпетербургским Цензурным Комитетом рукописях и печатных книгах” за октябрь 1808 г. действительно значится рукопись “О способе писать историю. Из сочинения Аббата Мабли, перевод с французскаго”. В донесении указано, что рукопись поступила в комитет 25 августа, цензором ее был Тимковский, а в графе “имя издателя или сочинителя, если они известны” было проставлено “перевел Дмитрий Макшеев”. Рукопись была одобрена и выдана переводчику 27 октября 1808 г.¹²⁰

В рукописи не более пяти мест, вызвавших сомнения цензора, и касаются они религиозных вопросов; в целом перевод был одобрен, но тем не менее по неизвестным причинам не напечатан.

Остается добавить, что переводчик Дмитрий Михайлович Макшеев, вологодский дворянин (ум. 1849), издал перевод Священного писания де Саси¹²¹, перевел и переделял ради собственной надобности и удовольствия “Testament spirituel ou derniers adieux d’un père mourant à ses enfans” (Marcelle, 1779). При этом он заимствовал кое-что из сочинения аббата Флери “Traité du choix et de la methode des études” (Paris, 1784). Этот неоконченный труд Макшеев назвал “Об охранении детей от искушений мира”¹²².

Обращение к фонду Цензурного комитета помогло получить указания, что через этот комитет проходила рукопись перевода другого сочинения Мабли.

В “Деле о рассмотрении в Московском Цензурном комитете сочинений оригинальных и переводных”, в донесении от 1 июня 1805 г. имеются данные о рассмотрении рукописи “О первоначальных причинах переговоров, служащих введением к публичным правам Европы, основанным на трактатах”. Это перевод сочинения Мабли “Des principes des Négociations, pour servir d’introduction au Droit public de l’Europe, fondé

¹²⁰ЦГИА. Ф. 733. Оп. 118, № 403. Л. 537 об. – 538; Ф. 777. Оп. 1, № 37. Л. 53 об. – 54.

¹²¹Геннади Г.Н. Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях... Берлин. 1876. Т. I. С. 283.

¹²²Фортунатов Ф. Памятные записки вологжанина // Русский архив. 1867. № 12. С. 1648–1650.

sur les Traités". Рукопись заключала в себе 291 полулистовую страницу и поступила 24 мая 1805 г. Цензором ее был Г. Грешищев, а переводчиком Е. Офосимов. Рукопись получила одобрение, выдана обратно автору перевода 31 мая и должна была быть напечатана в Университетской типографии¹²³. Однако этот перевод не был издан.

В Петербургском Цензурном комитете рассматривалась так же рукопись перевода "Похвальной речи с повествованием о Г^{на} аббате де Мабли соч. Г^{на} Бризара удостоенное награждения Королевской Академии надписей и изящных наук". В рукописи было 40 страниц, поступила она в Комитет 15 ноября, "доставлена г. коллежским советником Мартыновым"¹²⁴ и возвращена по одобрении 31 декабря 1804 г.¹²⁵ Это перевод той самой Eloge аббата Бризара, которая с 1789 г., когда стали издаваться собрания сочинений Мабли, публиковалась всякий раз в первом томе сочинений аббата¹²⁶.

Помимо указанного выше перевода "Размышлений о Греческой истории" А.Н. Радищева, в России в XVIII и начале XIX вв. существовали и другие переводы Мабли.

В 1772 г. анонимно вышел в свет перевод книги Мабли "Разговоры Фокионовы о сходности нравоучений с политикою, собранные греком Никоклесом", подготовленный, как установлено Ю.М. Лотманом, П.П. Курбатовым. Перевод "Разговоров" не свободен от погрешностей тем более, что Курбатов весьма вольно обращался с оригиналом, опустив обширные авторские примечания и добавив к основному тексту свои. Перевод Курбатова важен, и не только с той точки зрения, что познакомил русского читателя с одним из лучших произведений Мабли, но и тем, что несомненно учитывался Радищевым при подготовке им своего перевода "Размышлений"¹²⁷.

В 1808 г. в типографии Московского университета, "у Любия, Гария и Попова", вышел в свет перевод Михаила Никитича Цветкова "Начальные основания нравоучения"¹²⁸. Это перевод с сочинения Мабли "Principes de Morale". Перевод точен, без изъятий и вполне адекватен оригиналу. В 1812 г. вышло второе издание этого перевода, так же анонимно, как и первое¹²⁹.

¹²³ЦГИА. Ф. 733. Оп. 118, № 420^a. Лл. 67 об. — 68. Сведений о переводчике обнаружить не удалось.

¹²⁴Вероятнее всего это И.И. Мартынов (1771—1835), директор департамента народного просвещения, видный переводчик с лат. и франц. яз. ("Мысли Ж.-Ж. Руссо, Женевского гражданина" [М., 1803] и мн. др. сочинения французских, преимущественно XVIII в., авторов. — См.: Геннади Г. Указ. соч. С. 293—295).

¹²⁵ЦГИА. Ф. 733. Оп. 118, № 403. Л. 5 об. — 6; Ф. 777. Оп. 1, № 1. Л. 226.

¹²⁶Brizard G. Op. cit. P. 5—120.

¹²⁷См. о переводе П.П. Курбатова: Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 286—289.

¹²⁸Начальные основания нравоучения. Сочинение Гна Мабли. Перевод с французского. В трех частях. М., 1803. (=4°.)

¹²⁹Начальные основания нравоучения...М.: в Типографии Пономарева, 1812. (= 4°.)

В 1812 г. в Петербурге был издан перевод сочинения Мабли "О изучении истории"¹³⁰. Не первый раз привлекало к себе внимание переводчиков это произведение. В 1803 г. один из воспитанников Московского Благородного пансиона перевел первую главу из первой части этого сочинения Мабли¹³¹.

В фонде Департамента народного просвещения сохранились сведения о прохождении рукописи "О изучении истории" через Цензурный комитет. Все три части перевода поступили 12 августа 1811 г. Цензором перевода был уже упоминавшийся Тимковский. Рукопись была одобрена и выдана переводчику 14 августа¹³². В "Донесении о рассмотренных Санктпетербургским Цензурным Комитетом рукописях и печатных книгах за ноябрь 1812 год" значится, что все три части рукописи получили одобрение и на каждую из них был выдан билет, т.е. дано разрешение печатать 18 ноября, 18 декабря 1812 г. и 19 февраля 1813 г.¹³³

Переводчиком *De l'étude de l'histoire*, как значилось на титуле издания, был Егор Гаврилович Чиляев (1790 – вторая половина 30-х годов XIX в.), прокурор Верховного Грузинского правительства, управляющий Канцелярией Тифлисского военного губернатора, чиновник по особым поручениям в Грузии, Кавказских и Закавказских областях (1821–1833 гг.). Е.Г. Чиляев перевел "О изучении истории" в 22-летнем возрасте. В службу он поступил в 1815 г.; тогда же началось его увлечение масонством – он был членом ложи знаменитого А.Ф. Лабзина, начав с ученика и кончив в 1821 г., к моменту упразднения ложи, "наблюдателем"¹³⁴.

При всех буквализмах и явном стремлении следовать оригиналу даже там, где этого не следует делать, перевод Чиляева был бы в целом неплохим, если бы не досадные пропуски (не по вине цензуры) и многочисленные "погрешности" (по перечню "погрешностей" в первой части – 41, во второй – 36, в третьей – 11). Издатель счел за нужное "просить почтенную публику извинить его в том, что в его переводе вкралось столько опечаток, ибо он, будучи болен почти во все продолжение печатания сей книги, не мог иметь надлежащего надзора". Но есть в переводе и такие "перемены", которые были сделаны не по его вине, хотя и с его согласия. В предисловии к книге Чиляев писал: "Страшась негодования просвещенных читателей за некоторые весьма малые перемены, введенные мною в сем переводе, я должен признаться, что никогда не дерзнул бы сего сделать, если бы я не был к тому побужден советом и наставлением одного из почтеннейших и просвещенней-

¹³⁰О изучении истории. Соч. Г. Мабли. Перевел с французского Егор Чиляев. СПб.: в типографии Иос. Иоаннесова, 1812. Ч. 1–3. (= 12°.)

¹³¹Утренняя Заря. Труды воспитанников Университетского Благородного пансиона. Кн. 2. М., 1803. С. 147–168.

¹³²ЦГИА. Ф. 733. Оп. 118. № 406. Л. 15 об., 129 об. – 130.

¹³³Там же. № 406. Л. 276, 287, 349.

¹³⁴Русский биографический словарь. Т. (Чаадаев-Швитков). СПб., 1905. С. 382.

ших мужей (в сноске: Г. Ст. Сов. и Кав.: Ив. Ос. Т... – не стоило большого труда выяснить, что это – Иван Осипович Тимковский, цензор и директор гимназий и училищ Петербургской губернии. – С.И.), снижавших обширными познаниями своими непреложное право на совершенное послушание неопытных сочинителей и переводчиков. Впрочем сии перемены почти неприметны, они состоят по большей части в смягчении некоторых выражений, не сообразных с духом нынешнего времени”. Эти “перемены” касаются радикальных мыслей Мабли о свободе и естественных правах народов, а также мест, где автор высказывает свое мнение о некоторых событиях из истории России.

Таким образом, по цензурным соображениям в переводе Чилева было сделано несколько купюр, одна из них занимает 17 страниц оригинального французского текста. Это как раз та самая глава, где идет речь о петровских преобразованиях, толчком к которым послужили якобы беседы Петра I и Лефорта.

Из книжных магазинов и непосредственно из-за границы книги ученого аббата попадали в русские книжные собрания и занимали свое место на полках, снабженные экслибрисами, разного рода наклейками на корешках и владельческими пометами.

В каталоге книг библиотеки Мраморного дворца в Петербурге, частью которой была, как известно, библиотека М.В. Ломоносова, имеется указание на книгу Мабли “Le droit public de l’Europe” (Amsterdam, 1741). Это двухтомное издание представлено в библиотеке только одним первым томом¹³⁵. Разумеется, “нельзя считать, однако, что все книги из собрания Орлова (владелец библиотеки Мраморного дворца. – С.И.) относятся к библиотеке Ломоносова”¹³⁶, но весьма заманчиво предположить, что эту книгу Мабли держал в руках Ломоносов, тем более что, судя по каталогу, в собрании ученого были представлены многие издания по юриспруденции, в том числе и по международному праву.

В библиотеках государственного канцлера и дипломата А.Р. Воронцова, который был дружен с А.Н. Радищевым и, возможно, предоставлял ему в пользование свои книги, имелись почти все основные произведения Мабли, причем одно из них, как позволяет судить дошедшее до нас свидетельство, было, вероятно, куплено и переслано из Парижа его корреспондентом, “приятелем молодости”. В письме от 3 марта 1783 г. этот корреспондент сообщал Воронцову: “Ничто не произвело столько шума, как сочинение аббата де Мабли о том, как писать историю. Шум этот поднялся, главным образом, из-за тех вольностей, которые он позволил себе по отношению к памяти Вольтера как историка. Быть может, в сущности он и был прав, но все же кажется, что он ошибся в выборе формы. Единомышленники прославленного покойного

¹³⁵Catalogue des livres de la bibliothèque du palais de marbre (ci-devant bibliothèque du comte d’Orloff) // Кулябко Е.С., Бешенковский Е.Б. Судьба библиотеки и архива М.В. Ломоносова. Л., 1975. С. 159.

¹³⁶Там же. С. 67.

нашли его выражения резкими, а явились они следствием великого неистовства философии к сему дряхлому и бесстрастному сочинителю¹³⁷. Эта книга в 1783 г. вышла первым изданием, была новинкой¹³⁸ и вскоре оказалась в библиотеке Воронцовых наряду с другими сочинениями Мабли в изданиях 60–80-х годов XVIII в.¹³⁹ Приобретение сочинений Мабли А.Р. Воронцовым и Воронцовыми вообще вполне соответствовало и их служебным интересам.

В библиотеке Вольтера, которая была куплена Ектериной II в 1779 г. и размещена в комнатах неподалеку от ее кабинета в Эрмитаже в начале 1780 г., также имеются экземпляры сочинений Мабли. Самое раннее издание в библиотеке Вольтера – *Parallèle des Romains et des Français...* Paris, chez Didot. 1740. Т. 1–2-4°. Здесь во множестве рассеяны мелкие пометы, отчеркивания карандашом на полях. В книге имеются загнутые углы и закладки. Сочинение это, как известно, удостоилось похвалы Вольтера и поэтому язвительную помету на титульном листе первого тома "*parallele des aigles et des moinaux*" вряд ли можно отнести к автору.

Имеется здесь и *Des principes de négociations...* [La Haie; Paris], 1757-14° В "*Observations sur l'Histoire de France*" (Geneve. Par la Compagnie des Libraires. 1765. Т. 1–2-7°) имеются пометы и закладки с надписью "N.M." (*notes marginales*), которыми секретарь Вольтера Ваньер отмечал страницы, снабженные пометами на полях.

На корешке бумажного переплета *De la Législation, ou Principes des Loix*, Amsterdam, 1776. Т. 1–2 рукою Вольтера помечено "*Mably ennuï*". Это замечание относится скорее ко времени неприязненных и даже враждебных отношений между Мабли и Вольтером¹⁴⁰.

Многие издания сочинений Мабли XVIII в., освещенные в старых российских библиотеках, носят пометы и прочие следы деятельной работы мысли¹⁴¹, что говорит о серьезном влиянии, которое оказывали произведения Мабли на развитие просвещенной идейности.

Таким образом, вышеизложенные материалы позволяют судить о том, что, несмотря на узость круга почитателей и идейных последователей Габриэля-Бонно де Мабли в России в сравнении с кругом поклонников Вольтера и Монтескье, среди которых, как это часто быва-

¹³⁷ Архив князя Воронцова. М., 1884. Кн. XXX. С. 34–35.

¹³⁸ Ср.: Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 281.

¹³⁹ Архив Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР. Ф. 36. Оп. 1. № 1011. Л. 79 об. См. также: ЛОИИ. Ф. 36. Оп. 1. № 991. Л. 67, 162; № 992. Л. 78 об.

¹⁴⁰ Библиотека Вольтера. Каталог книг. М.; Л., 1961. С. 580–581. О пометах Вольтера на книгах Мабли см.: Альбина Л.Л. Вольтер – читатель Мабли // История социалистических учений. М., 1981. С. 233–239; см. также публикацию маргиналий Вольтера (подготовленную Л.Л. Альбиной, Т.П. Вороновой и Н.А. Елагинной) в пятом томе берлинского издания "*Маргиналий*".

¹⁴¹ *Искюль С.Н.* Мабли в России // Книга в России в эпоху Просвещения. Л., 1989.

ло в подобных случаях в России, наряду с искренними сторонниками, было немало и таких, которые оказались "вольтерьянцами" по недоразумению и вполне сочетали модное вольтерьянство с грубым произволом крепостнической практики, тем не менее книги Мабли были распространены в России достаточно широко. Вместе с тем следует подчеркнуть, что истинные почитатели аббата де Мабли в России происходили, как правило, из иного круга. Социальные и соционравственные идеи Мабли могли найти отклик, по-видимому, только в весьма немногочисленной и наиболее радикально настроенной среде передовых просвещенных людей, проникнутых неприятием существующего строя и желанием его коренного переустройства.

Historia est magistra vitae... Эта мысль римского оратора и мыслителя, с горячей приверженностью воспринятая Мабли, в сущности так или иначе проявляется в большинстве его трудов. Это настолько характерно для всего образа мысли Мабли, что высказывание Цицерона смело может быть поставлено эпиграфом к любому из исторических сочинений Мабли. Выстраивает ли он параллели между римлянами и французами, пишет ли он заметки по истории Греции и Рима, приступает ли он к разработке теоретических вопросов изучения истории или ее сочинения — всегда он остается верен мысли о руководящей роли, которая присуща истории в нравственном и политическом образовании людей.

В истории, по мнению Мабли, действуют два важнейших и проникающих друг в друга ряда явлений. Один из них состоит в проявлении естественных законов, и все, что им соответствует, образует, так сказать, исторически положительный опыт. Другой ряд явлений вызван развитием страстей, которые искажают и уродуют течение истории, отдаляя его от естественного идеала. Таким образом, в задачу историка входит изучение обоих исторических рядов явлений, чтобы показать события, соответствующие естественной идеальной природе человека и общества, и обнаружить гибельную пагубность страстей¹⁴². Отсюда проистекает и то, что историк должен воочию раскрыть желательность и необходимость "политических законов", происходящих из "законов естественных", т.е. одни должны быть продолжением и усовершенствованием других. В этом принципиальном положении Мабли, историка и моралиста, обнаруживается важное и существенное звено его взглядов на историю как на инструмент, позволяющий найти и обосновать приемлемые с позиций теории естественного права общественные установления и формы государственной жизни, в стремлении к которым человечество шаг за шагом будет следовать навстречу желаемому счастью. При этом очевидно, что для Мабли человеческое счастье — это

¹⁴²Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII — первая половина XIX в.). М., 1985. С. 91—92.

предмет предельно священный, в рассмотрении которого всякая ирония не только неуместна, но совершенно исключена (полемика с Вольтером), и долг всякого истинного историка заключается в том, чтобы указать верный путь к его достижению¹⁴³.

Наряду с этим существенный вклад Мабли в развитие исторических представлений заключается в обосновании положения о непримиримости противоречий в обществе, в основе которого лежит частная собственность. Важным обстоятельством для оценки взглядов Мабли, как историка, является понимание им того, что исторические события вызываются целым рядом причин, независимых от воли людей, что эти причины придают особый импульс развитию событий, находящихся в органической связи друг с другом, причем случайности порождаются причинами, проявляющимися порой не сразу, а лишь в процессе углубленного изучения исторических событий. Признавая различные формы общественных движений решающим условием развития крупных исторических событий, Мабли, этот стойкий сторонник традиционной морали и проповедник рационалистического равенства в его государственно-правовом смысле, вплотную подходит в своих исторических сочинениях к мысли о неизбежности демократической революции. Это обстоятельство, несмотря на очевидный "республиканский монархизм" Мабли, сделало его имя одним из самых популярных в эпоху Революции, а его исторические сочинения – одними из самых почитаемых.

С.Н. Искюль

¹⁴³ *Alocco-Bianco L. L'Abbé de Mably et sa conception de l'histoire /3 L'Histoire au XVIII^e siècle... P. 227–228, 230.*

КОММЕНТАРИЙ

Включенный в настоящее издание перевод сочинения Мабли "Об изучении истории" выполнен по первому изданию этого сочинения в "Cours d'études" Э.-Б. Кондильяка (Parme. Imprimerie Royale. 1755. Т. XVI), проверен по изданию De L'étude de l'Histoire, Monsieur le Prince de Parme. Par M. l'abbé de Mably. Nouvelle édition revue et corrigée. A. Mastrecht. Chez Cavelier, Libraire; et se trouve, à Paris, chez Barroes l'aîné, Bailly, Libraire, quai des Augustins. M. DCC. LXXVIII и по Collection complète des oeuvres de l'abbé de Mably. Paris. Desbrière. An III. t. XII. Публикуемый перевод является первым полным переводом данного произведения Мабли на русский язык.

Перевод сочинения "О том, как писать историю" выполнен по изданию "De la manière d'écrire l'histoire. Par M. l'Abbé de Mably. A Paris, Rue Dauphine, à l'entrée, du côté du Pont-Neuf; Chez Alexandre Jaubet jeune, Libraire pour Artillerie et de Jénie. M. DCC. LXXXIII, проверен по Collection complète des oeuvres de l'abbé de Mably. Paris. Desbrière. An III. t. XII. Перевод данного сочинения Мабли публикуется впервые.

Перевод сочинения Поля-Филиппа Гюдена де ля Бренейери, (1738—1812), драматурга, поэта, издателя Бомарше, дается по первому анонимному изданию "Supplément à la Manière d'écrire l'histoire". Kehl. 1784.

Настоящее издание является первым комментированным изданием сочинений Мабли и полемиического произведения Гюдена де ля Бренейери. Для комментария были отобраны те сюжеты и связанные с ними деятели, которые приводятся у Мабли и Бренейери в качестве иллюстрации тех или иных собственных суждений. Сведения о всех прочих упоминаемых лицах содержатся в Указателе имен.

Переводчик приносит свою благодарность А.Л. Андрес, А.М. Косс и коллегам по руководимому ею переводческому семинару в Союзе писателей, а также Д.В. Соловьеву за просмотр отдельных частей перевода и рукописи в целом, за ценные указания, касающиеся как стиля, так и общей концепции перевода. Автор выражает признательность А.К. Гаврилову, А.А. Цехановичу и Л.Г. Климанову за важные замечания, относящиеся к просмотренным ими разделам.

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ

¹"Курс наук" Кондильяка включал в себя древнюю историю (тт. 9—14), средние века (тт. 15—18) и новую историю (тт. 19—20). Мабли предполагал, что история, изложенная Кондильяком (а может быть, и написанная при участии Мабли), уже усвоена Фердинандом Пармским и, идя навстречу просьбе своего младшего брата, он пишет для исторической части курса, которая завершала собой весь "Курс наук", сочинение о необходимости изучения истории и о пользе, которую должен извлечь из этого государь.

²Нин — мифич. основатель Ассирийского гос-ва, предание о котором распространено греч. историком Ктесием Книдским. Происхождение имени Н. весьма прозрачно связано с названием столицы Ассирии города Ниневии.

³Семирамида — ассирийская царица Шаммурагат, мать царя Ададнирари III, регентша в годы его малолетства (810—806 гг.); вела войны с Мидией. В антич-

ную традицию вошла под именем С., которой приписывались чудесные похождения и с именем которой связывались "висячие сады" в Вавилоне — одно из "семи чудес света", на самом деле сооруженные в более позднее время вавилонским царем Навуходоносором II (605—562 гг.) для своей жены — мидийской царевны.

- ⁴Дейоцес — царь Мидии Дейок (727—675 гг.), по словам Геродота, объединил мидийские племена в одно царство, построил большой город Экбатаны.
- ⁵Кир — Кир II Старший, основатель Персидского царства (558—529 гг.), подчинил Мидию, Армению, Каппадокию, Лидию, Ново-Вавилонское царство. Восстановил Иерусалим и вернул иудеев из вавилонского плена. Готовился к завоеванию Египта, но погиб во время похода в Среднюю Азию.
- ⁶Меридово озеро — одна из достопримечательностей Египта, поразившая Геродота. По его словам, это — искусственный водоем, заполненный нильской водой через канал от Нила, был построен египетским царем Меридом (который может быть отождествлен с фараоном XII династии (2000—1785 гг.) Аменемхетом III). М. о. находилось во впадине, южнее совр. оз. Биркет-Керун в Фаюмском оазисе (по мнению ряда исследователей, остатками его и является само это озеро).
- ⁷Сезострис — египетский царь, упоминаемый рядом античных авторов. По свидетельству Геродота, совершил ряд военных походов как по суше, так и по морю; из Азии перешел в Европу, где покорил скифов и фракийцев; разделил весь Египет на равные участки земли для правильного взимания налогов, осуществил строительство каналов в стране. С. обычно идентифицируют с Рамзесом II (XIX династия — 1314—1200 гг.) или с Сенусертом III (XII династия). Следует, однако, отметить, что ни один из египетских правителей не проникал в Европу.
- ⁸В V—VI вв. был широко распространен взгляд на египтян как на учителей эллинов и создателей идеальной государственной организации. Античная традиция сообщает о путешествиях в Египет Ликурга и Солона.
- ⁹Ликург — легендарный спартанский законодатель, деятельность которого обычно относят к IX—VIII вв. Сведения о Ликурге очень противоречивы, что отмечал уже Плутарх в своей биографии этого деятеля ("ни один из рассказов о законодателе Ликурге не заслуживает полного доверия"). Греческая традиция приписывает Л. создание почти всех институтов спартанского общества и государственного устройства, действительное оформление которых было результатом длительного исторического процесса.
- ¹⁰Мильтиад, Аристид, Фемистокл, Кимон — афинские политические и военные деятели VI—V вв., прославившиеся во время войн с Персией.
- ¹¹Ксеркс — персидский царь Ксеркс I (485—465 гг.).
- ¹²Филипп — Филипп II царь Македонии (359—336 гг.), подчинивший Грецию.
- ¹³По римскому преданию, основатель Рима и первый римский царь, правление которого по традиции относится к 754(753)—717(716) гг., Ромулу приписывается учреждение важнейших римских институтов: сената, курий, организация войска, разделение граждан на патрициев и плебеев.
- ¹⁴Нума — по римскому преданию Нума Помпилий был выбран сенатом после смерти Ромула вторым царем за справедливость и набожность. Ему приписывалось введение ряда религиозных обрядов и лунного календаря, разделение дней на будни и праздничные, учреждение важнейших жреческих коллегий (авгуров, весталок и др.) и ряда культов, в частности Ромула.
- ¹⁵Имеется в виду последний римский царь Тарквиний Гордый (ок. 534—509 гг.), правление которого, согласно традиции, носило деспотический характер и окончилось изгнанием. См. примеч. 178.

- ¹⁶Падение царской власти и передача власти царя двум выборным должностным лицам произошло в конце VI или начале V в. до н.э. Вопрос о том, как назывались эти должностные лица (консулы или преторы), остается дискуссионным. Консулат, как высшая магистратура, документально засвидетельствован с середины V в. до н.э.
- ¹⁷Брен (Бренн) — легендарный предводитель сенонских галлов. В 390(387) г. до н.э. победил римлян при Аллии, взял Рим, наложив на него контрибуцию. Б. приписываются слова, сказанные побежденным римлянам: "Горе побежденным".
- ¹⁸Пирр (319—273 гг.) — царь Эпира (295—273 гг.). Имеется в виду поражение римлян от Пирра в 280 г. ок. г. Гераклеи и поход его на Рим, правда, закончившийся безрезультатно.
- ¹⁹Ганнибал (248—183 гг.) — крупн. полководец древней истории, нанесший римлянам во время II Пунической войны (218—201 гг.) ряд серьезных поражений, вошедших в историю военного искусства.
- ²⁰Калигула — прозвище, данное императору Гаю Цезарю Августу Германику (37—41 гг.) солдатами (по названию солдатской обуви, которую он носил, когда, еще будучи маленьким, жил со своим отцом Германиком в военных лагерях). Нерон — Нерон Клавдий Цезарь Август Германик, император (54—68 гг.). Правление Нерона, как и Калигулы, характеризуется кровавым террором.
- ²¹Имеется в виду "Сравнительные жизнеописания" — самое известное из дошедших до нас произведений Плутарха.
- ²²Аристид (540—476 гг. до н.э.), афинский полководец и гос. деятель, соратник Фемистокла в войне с Персией (480 г.), содействовал победе в битве при Платеях (479 г.) Фабриций — очевидно, имеется в виду Гай Фабриций Люсцин, римский консул во время войны с Пирром. Фокион — афинский полит. и воен. деятель, активн. сторонник сближения с Македонией, противник Демосфена (казнен в 318 г. до н.э.). Катон — очевидно, подразумевается Марк Порций Катон Старший или Цензор (234—149 гг.), крупн. полит. деятель, яростный противник Карфагена. Перу Катона принадлежит первая римская история ("Начала" в семи книгах), написанная прозой на латинском языке, от которой дошли только фрагменты, а также ряд других сочинений, среди которых наиболее знаменито "О земледелии". Эпаминонд (ум. 362 г. до н.э.) — руководитель фиванской демократии, выдающийся полководец, нанесший два поражения Спарте, что развеяло миф о непобедимости спартанцев и привело к ликвидации гегемонии Спарты в Элладе.
- ²³Людовик XII (1498—1515), французский король. В начале своего правления отказался от "подарков", которые требовали прежние короли при вступлении на престол, опубликовал ордонысы против незаконных привилегий, против поборов и насилий со стороны военных, принял меры к уменьшению налогового бремени, заботился об улучшении судопроизводства (в 1499 г. им были собраны нотабли для выработки правил судебного производства). За благотворную для государства деятельность и великодушные король получил прозвание Отца народа.
- ²⁴Сципион — из контекста неясно, какой Сципион имеется в виду из многочисленных носителей этого имени. Наиболее известны: Корнелий Сципион Публий Африканский (ум. 183 г.) — победитель Ганнибала и Корнелий Сципион Эмилиан Публий (ум. 129 г.) — победитель в III Пунической войне, приведшей к разрушению Карфагена.
- ²⁵Лукулл — очевидно, Люций Лициний Лукулл, консул во время III войны с Митридатом Эвпатором в 74—63 гг.

- ²⁶ Неясно, какие произведения Ксенофонта (ок. 430–335 гг.) имеются здесь в виду. Перу этого ученика Сократа, солдата-наемника, плодовитого писателя принадлежит много произведений. Очевидно, речь идет о "Греческой истории" или об "Анабасисе".
- ²⁷ В работах Ксенофонта описываются деяния таких известных полководцев, как афинянин Алкивиад, спартанцы Лисандр и Агесилай, фиванец Эпаминонд, перс Кир Младший.
- ²⁸ Одним из собеседников Фокиона в "Les Entretiens de Phocion" Мабли является молодой афинянин Аристиас (друг ученика Фокиона – Никоклеса), "поначалу столь же самонадеянный и проникнутый самомнением, как еще многие наши молодые люди", затем становится приверженцем идей и принципов Фокиона (Т. I. A Paris, s.a. P. 42).
- ²⁹ Начало законодательной деятельности Солона относится к 594 г. до н.э., когда он был избран в Афинах первым архонтом. Суть проведенных им мероприятий сводится к отмене долгового рабства, к ограничению размеров землевладения, осуществлению ряда политических реформ.
- ³⁰ Филипп, герцог Пармы, Пьяченцы и Гвасталы (1748–1765 гг.), сын Филиппа V Бурбона, короля Испании.
- ³¹ Эксплуатация илотов приводила к неоднократным восстаниям. Наиболее серьезным из них была так называемая III Мессенская война, начавшаяся в 464 г. до н.э., после сильнейшего землетрясения и продолжавшаяся 10 лет, в течение которых Спартанское государство порой оказывалось на краю гибели.
- ³² Во главе Спарты стояли два царя, принадлежавшие к двум правящим династиям – Эврипontiдов и Агиадов.
- ³³ Коллегия эфоров состояла из пяти человек, ежегодно избираемых из числа всех полноправных граждан. Первоначально компетенция эфоров была незначительной и ограничена судебными функциями и функциями заместителей царя во время их отсутствия. Впоследствии в их руках была сосредоточена вся контролирующая власть как над царями, так и над членами совета (герусии) и вообще руководство всей политической жизнью государства.
- ³⁴ Лисандр – спартанский полководец, победитель Афин в Пелопоннесской войне (ум. в 395 г. до н.э.). Л. происходил из незнатного и небогатого рода (по одним сведениям был сыном спартиата и илотки). По свидетельству источников, замышлял государственный переворот, стремясь превратить наследственную царскую власть двух родов в пожизненную и выборную.
- ³⁵ См. примеч. 175.
- ³⁶ Точное время появления народного трибуната неизвестно (согласно традиции – 494 г. до н.э.). Можно говорить, что в первые десятилетия V в. до н.э. в результате движения плебеев у них возникли собственные должностные лица – плебейские или народные трибуны. По-видимому, первоначально им принадлежало право помощи плебеем против произвола патрицианских магистратов. В дальнейшем их права значительно расширились.
- ³⁷ Достаточно сказать, что после победы во II Пунической войне на Карфаген была наложена контрибуция в 10 тыс. талантов (201 г. до н.э.), а после своего поражения Антиох III должен был заплатить Риму 15 тыс. талантов (188 г. до н.э.), не говоря уже о чисто военной добыче, десятках тысяч рабов, поступивших на рынок и т.д.
- ³⁸ Период гражданских войн в Риме продолжался с 30-х годов II в. до осени 29 г. до н.э., когда Октавиан вернулся в Рим победителем.
- ³⁹ Террор постоянно сопровождал гражданские войны. Однако только Сулла внес в него известный "порядок" путем применения в 82–81 гг. так называемых проскрипций, или проскрипционных списков, куда вносились имена

лиц, объявленных вне закона и подлежащих уничтожению. Позднее система проскрипций широко использовалась участниками междоусобной войны.

⁴⁰ Явная идеализация нравственных качеств римлян, присущая историографии XVIII — начала XIX в.

⁴¹ Главные действующие лица эпохи Гражданских войн.

⁴² Камилл — очевидно, имеется в виду Марк Фурий Камилл (ум. 364 г. до н.э.), римский гос. деятель и полководец эпохи борьбы за Италию (IV в. до н.э.).

⁴³ Регул — скорее всего подразумевается консул 256 г. до н.э. Марк Атилий Регул — римский полководец во время I Пунической войны, командующий римскими войсками в Африканском походе (256—255 гг.).

⁴⁴ Скилла (Сцилла) — по Гомеру, чудовище с шестью головами на длинных шеях, с тремя рядами острых зубов в каждой пасти и с двенадцатью ногами. С. обитала в пещере у пролива между Италией и Сицилией. Против С. жило другое чудовище — Харибда. Проход между ними был чрезвычайно опасен для мореплавателей, и Одиссей с трудом миновал его, потеряв шестерых спутников. С. и Х. — поэтическое выражение двойной опасности, иносказательно "находиться между Сциллой и Харибдой" — подвергаться опасности с разных сторон.

⁴⁵ Минос — мифический царь Крита и, согласно традиции, мудрый законодатель.

⁴⁶ Как сообщают античные авторы (Аристотель, Плутарх), Ликург посещал Крит и заимствовал многое из законодательства Миноса.

⁴⁷ Мабли излагает так называемое "Ликургово законодательство" сложившееся, вероятнее всего, в VI в. до н.э., т.е. много позже предполагаемого времени жизни легендарного Ликурга. Мабли пересказывает здесь Полибия (VI, 10, 6—7).

⁴⁸ Валерий Публикола — Публий Валерий (ум. 502 г. до н.э.) известен под прозвищем "Попликола" (друг народа). Согласно традиции — один из активных участников изгнания царя Тарквиния Гордого, неоднократно выбиравшийся консулом, отличился в войне с сабинами и этрусками, законодатель. Об эпизоде, упоминаемом Мабли, сообщает Плутарх (Попликола, X).

⁴⁹ Децемвиры — экстраординарная магистратура из десяти человек, наделенная всей полнотой власти для решения чрезвычайных вопросов.

⁵⁰ *Плутарх*. Ликург, VIII, XIX.

⁵¹ Ящик Пандоры — Пандора (*греч.* — всем одаренная) — миф. женщина, по воле Зевса сотворенная Гефестом в наказание людям за поступок Прометея, похитившего для человечества с неба огонь. Гефест вылепил П. из земли и воды, дав своему творению облик, подобный богине, и человеческий голос. Афродита одарила П. красотой, Гермес — коварством, хитростью, лживостью и красноречием. Афина — прекрасными одеждами. Зевс отдал ее замуж за брата Прометея Эпиметея, которому подарил сосуд, заключавший все людские пороки, несчастья и болезни. Терзаемая любопытством П. открыла сосуд, несмотря на запрет, и выпустила на волю бедствия, от которых с тех пор страдает человечество. На дне урны осталась одна лишь Надежда. Иносказательно сосуд (ящик П.) —местилище бед, дар, чреватый несчастьями.

⁵² См. об этих сочинениях Мабли статью С.Н. Искуля в настоящем издании.

⁵³ В результате I Мессенской войны (2-я половина VIII в. до н.э.) Спартой была завоевана соседняя с Лаконикой область — Мессения, население которой было порабощено.

⁵⁴ После окончания Пелопоннесской войны (431—404 гг.) руководитель спартанской внешней политики Лисандр стал повсеместно устанавливать в побежденных городах олигархические режимы, что в итоге привело не только к его собственному поражению в борьбе за личную власть в Спарте, но и к серьезным

- внешнеполитическим провалам спартанского государства, начавшимся с восстановления демократии в Афинах.
- ⁵⁵ Ксеноласия (др. греч. — изгнание чужеземцев). Античные авторы, начиная с Ксенофонта, свидетельствуют о широко практиковавшихся в Спарте запретах на выезд за пределы государства и о систематическом выдворении из страны нежелательных чужеземцев (*Ксенофонт*. Лак. гос., XIV, 2—4; Фукидид. II, 39, 1; *Плутарх*. Ликург. XXVII).
- ⁵⁶ Киней — посол царя Пирра, фессалиец, отличавшийся необычайным ораторским искусством и дипломатической ловкостью. По словам Пирра (*Плутарх*. Пирр, XIV), он с помощью Киней приобрел больше городов, чем с помощью копья.
- ⁵⁷ Об этом сообщает Плутарх (Ликург, XXV), ссылаясь на слова грамматика III в. до н.э. спартамца Сосибия.
- ⁵⁸ Ж.-Ж. Руссо говорит об этом в гл. IX ("О гибели политического организма") своего сочинения "Об общественном договоре" (Общественный договор или принципы политического права. М., 1938. С. 76—77).
- ⁵⁹ Имеется в виду военная добыча, доставшаяся грекам, разгромившим под командованием спартанского царя Павсания персов, во главе которых стоял Мардоний, в битве при Платеях (479 г. до н.э.). Спартамцы составляли основную ударную часть эллинского войска.
- ⁶⁰ *Аристотель*. Политика, II, 8, 1. Мабли имеет в виду, что Карфаген был основан финикийцами из г. Тира (825 г. до н.э.).
- ⁶¹ Характеристика, данная Ксерксу и Клавдию, страдает односторонностью.
- ⁶² Яркую картину террористического режима рисуют в своих произведениях Светоний и Тацит. Юридическим обоснованием репрессий стало использование старого закона 103 г. до н.э. "Об оскорблении величия римского народа", перенесенного на особу императора. Осуществление этого закона породило многие злоупотребления.
- ⁶³ Ахейский союз — объединение греческих государств (в начале — нескольких городов Северного Пелопоннеса, а к началу II в. до н.э. — всего этого полуострова) возникло ок. 280 г. до н.э., прекратило свое существование в 146 г. после подавления римлянами выступления членов Союза и ряда других государств против господства Рима. Конституция А. с. характеризовалась аристократической направленностью.
- ⁶⁴ Т. Зама располагался в 5 днях пути к югу от Карфагена. Сражение произошло осенью 202 г. до н.э. и закончилось победой римлян под командованием Сципиона. Это было первое поражение Ганнибала. Мир во II Пунической войне был заключен в 201 г. Его условия были крайне тяжелы для Карфагена: он терял все свои неафриканские владения, и хотя оставался независимым государством, лишался права вести войну без разрешения римского народа. Карфагеняне должны были выдать весь военный флот (за исключением трех кораблей) и боевых слонов, содержать римское войско в Африке в течение трех месяцев и выплатить контрибуцию в 10 тыс. талантов.
- ⁶⁵ Курфюрсты (нем. Kurfürsten, князья-избиратели) — в Священной Римской империи германской нации князья, за которыми с XII в. было закреплено право избрания императора. Духовными курфюрстами были архиепископы Майнца, Кельна и Трира; светскими — владетельные князья Саксонии, Бранденбурга и Пфальца. Права к. были признаны Золотой буллой Карла IV (1356 г.). В дальнейшем курфюршествами стали также в разное время Ганновер, Бавария, Вюртемберг, Баден, Гессен-Кассель и Зальцбург. В рейхстаге 1489 г., который делился на три курии, коллегия курфюрстов образовывала первую курию. К. обладали почти полной политической самостоятельностью внутри Империи.
- ⁶⁶ Вероятно, в этом, как и в других случаях, Мабли пользовался переводом. См.:

Histoire de la Maison de Stuart, sur le trône d'Angleterre. Par M. Hume. T. 1. A Londres, 1760. P. I. 2, 10—13.

- ⁶⁷Август — Гай Октавий, внучатый племянник Цезаря, усыновленный им по завещанию. После смерти последнего принял имя Гая Юлия Цезаря Октавиана. В 27 г. до н.э. Сенат поднес ему почетное прозвище "Август" (лат. — священный, величественный). Годы жизни: 63 г. до н.э. — 14 г. н.э. После победы над Антонием (лето 30 г.) и окончательного прихода к власти Август в течение 44 лет правления почти не встречал сколько-нибудь организованной оппозиции; несколько мелких заговоров не имели серьезного общественного значения. Слова Мабли можно отнести к периоду борьбы за власть вслед за убийством Цезаря, после заключения II триумvirата (ноябрь 43 г.).
- ⁶⁸Время правления четырех преемников Августа — Тиберия, Калпигулы, Клавдия и Нерона (14—68 гг.) исследователи называют "эпохой террористического режима". Все четыре императора (в меньшей степени Клавдий) прибегали в управлении к методам открытого и систематического насилия по отношению к представителям аристократической (в меньшей степени демократической) оппозиции.
- ⁶⁹Ганза (*средне-нижнем.* Hansa, союз) — торговый союз северо-германских городов во главе с г. Любеком, существовавший в XIV—XVI вв. (до 1669 г.) и осуществлявший монопольное торговое посредничество между различными производящими районами Европы. Окончательное оформление союза, в который входило до 100 германских городов, произошло в 1367—1370 гг. во время победоносной войны Ганзы против Дании, в результате чего за Г. было закреплено право на беспрепятственный проход через Зунд и Скагеррак.
- ⁷⁰Моргартен — гора в Швейцарии (кантоны Цуг и Швиц) 15 ноября 1315 г., в странстве между М. и озером Эгери швейцарское ополчение одержало победу над рыцарским имперским войском Леопольда I Габсбургского. Тем самым швейцарцы поддержали только что (1314 г.) избранного королем (голосами четырех курфюрстов) Людвига Баварского в его борьбе с Фридрихом Австрийским, избранного тремя другими курфюрстами и тогда же коронованного. От исхода этой борьбы зависело существование Швейцарского союза, образованию которого было положено начало в это время.
- ⁷¹Аратус, Арат (271—213 гг.), руководитель Ахейского союза в течение 30 лет (с 245 г.). С его именем связан самый успешный период в истории этого объединения.
- ⁷²Т.е. в 711 г., когда, подстрекаемые междоусобиями и общим неустойчивым в Испании, мавры переправились через Гибралтар. Они нашли поддержку у коменданта вестготской крепости Сеуты графа Юлиана, который отпер им крепостные ворота из (гласит легенда) личной мести и заключил союз с мавританским полководцем Музой. Последний, по распоряжению халифа, переправил через пролив еще несколько тысяч арабов под начальством полководца Тарика и в битве с войсками Родерика одержал победу благодаря тому, что часть войск последнего перешла на сторону арабов.
- ⁷³В значительной степени это произошло благодаря браку Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского (Католика). По кончине своего брата Энрике IV Изабелла вступила на кастильский престол (1474 г.) при помощи своего супруга Фердинанда, а когда в 1479 г. последний стал королем Арагонским, обе страны — Кастилия и Арагония — оказались под одним управлением, но каждая сохранила самостоятельность в области внутренней политики. Объединению и упрочению этого союза способствовало также то, что кортесы, собравшиеся в феврале 1475 г. в Сеговии, провозгласили Изабеллу законной наследницей Кастилии и Леона, а также поражение португальского короля Афонсу V, пытавшегося восстановить свои права на Кастилию, и подавление своеволия вельмож.

- ⁷⁴Мирамолин (испорч. араб. emir al moumenim, что означает "государь верных") — халиф или иной мусульманский государь, называвшийся так в средневековых сочинениях. Этим термином пользовались и авторы XVIII в., в частности Вольтер.
- ⁷⁵Вероятно, имеется в виду Альфонсо III Великий (866—910 гг.), вслед за отцом продолжавший восстановление порядка в стране в борьбе с непокорными вассалами и значительно расширивший границы государства вдоль западного побережья страны до Коимбры.
- ⁷⁶Мухаммед ибн Абу Амира аль-Мансур (по ср.-век. европ. источникам Альмансор), хаджиб (мажордом) аль-Хакама, сына правителя Кордовского халифата Абдаррахмана III. Сосредоточивший в своих руках всю полную власть, Амир аль-Мансур стремился вернуть халифату былое могущество и совершил более пятидесяти походов против христианских государств, завоевал Самору (981 г.), разрушил Леон (983 г.), взял Симанкас (981 г.). Падение Сантьяго-де-Компостела (997 г.) заставило христианских правителей Леона, Наварры и Кастилии объединиться, но до своей кончины в 1002 г. аль-Мансур оставался грозой христиан.
- ⁷⁷Сын Мухаммеда ибн Абу Амира аль-Мансура — Абд-аль-Малик, унаследовавший от отца сан хаджиба, некоторое время продолжал воинственную политику отца, однако в 1008 г. граф Санчо Кастильский одержал решительную победу над мусульманскими войсками. С этого момента в халифате начинается период смут, приведший в конце концов (1031 г.) к его распадению на мелкие эмираты.
- ⁷⁸Мабли имеет в виду родственные и династические узы, связывавшие Парму и Испанию.
- ⁷⁹Указать источник не представляется возможным.
- ⁸⁰Речь идет о войне, которую предпринял французский король Карл VIII, преемник (1483 г.) Людовика XI. Весной 1494 г. он, собрав в Лионе более 10 тыс. швейцарцев и французских пеших воинов, полевую и осадную артиллерию, двинулся на завоевание Неаполитанского королевства, на которое имел претензии как наследник Анжуйского дома. Перейдя Альпы в августе 1494 г., Карл VIII при поддержке населения Абруцци быстро достиг цели своего предприятия, так как король Альфонс и его сын Фердинанд не смогли противопоставить натиску французов сколько-нибудь серьезные силы. Однако закрепить достигнутый успех королю не удалось: его войско было ослаблено необходимостью оставлять в занятых городах гарнизоны, болезнями, а также в результате помощи, оказанной Неаполю со стороны Испании. Вторичному завоеванию оставленной французами страны помешала внезапная смерть Карла VIII (1498 г.).
- ⁸¹Мабли имеет в виду войну Англии против своих восставших колоний в Америке (1775—1783 гг.). Симпатии Мабли были всецело на стороне американцев, выступивших против Англии, стремление которой во что бы то ни стало сохранить свое господство в Новом Свете он безусловно осуждал.
- ⁸²Неточный пересказ слов Тацита (Агрикола, 3).
- ⁸³Имеется в виду трактат Ксенофонта "Киропедия", повествующий о воспитании Кира Младшего и представляющий собой своеобразный утопический роман, в котором отразились монархические устремления Ксенофонта.
- ⁸⁴См. примеч. 22. Именно Аристиду в 476 г. была поручена организация аттико-ионического союза и вверена союзная касса как человеку высоких добродетелей и честности. Под добродетелями следует понимать характерное положение Сократовой этики, которое заключается в утверждении тождества знания и добродетели и в сведении различных добродетелей — мудрости, храбрости, умеренности и справедливости (четыре основные добродетели греческого соз-

нения) к одной основной — мудрости. Эти четыре добродетели и одну основную Мабли и имеет в виду.

- ⁸⁵Это постановление явилось красноречивым итогом противоборства между королем Фредериком III и дворянством. В ответ на неоднократно высказывавшееся королем требование о необходимости серьезных преобразований в армии, отвечавших духу времени, Государственный совет Датского королевства согласился лишь на некоторые меры в отношении конной службы дворянства и городской и сельской милиции, а также по роспуску наемных войск. Со стороны духовенства и городов это вызвало требование созыва риксдага, который и открылся в сентябре 1660 г. Под руководством зеландского епископа И. Сване и копенгагенского бургомистра Х. Вансена сословия выступили с требованиями упорядочения аренды государственных земель дворянами, передачи во владение свободных крестьян мыз на государственных землях, эксплуатировавшихся дворянами с применением барщинного труда, замены натуральных повинностей денежным налогом. Требование сословий о признании королевской власти наследственной побудило дворян к попытке сорвать риксдаг, но король принял решительные меры, и дворянство признало право наследования престола за мужским потомством короля.
- ⁸⁶Имеется в виду террор, обрушившийся на римлян после установления II триумvirата (ноябрь 43 г. до н.э.) между Октавианом, Антонием и Лепидом. Начались политические убийства, по своей обдуманности и холодной жестокости далеко превосходившие проскрипции Суллы. В проскрипционные списки вошли не только политические противники триумvirата, но и много просто богатых людей. По свидетельству Аппиана, погибло 300 сенаторов и 2000 всадников (при Сулле — 20 сенаторов и 1200 всадников). В числе погибших оказался Цицерон и его брат Квинт. Кроме того, каждый гражданин был обложен трибутом в размере 0,1 имущества, а 18 наиболее богатых городов лишились своих земель в пользу солдат-ветеранов триумvirов. См. примеч. 39 и 68.
- ⁸⁷Умозаключение самого Мабли, основанное на рассказах Свения и Тацита об эпизоде, имевшем место на заседании сената, когда Тиберий долго отказывался от власти и, наконец, уступил после долгих уговоров.
- ⁸⁸Мабли имеет в виду главных организаторов заговора и убийства Цезаря (март 44 г. до н.э.) Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина (погибли в 42 г.).
- ⁸⁹В известных источниках, в том числе в *Scriptores Historiae Augustae* (жизнеописание Марка Антонина Философа), сведений об этом обнаружить не удалось.
- ⁹⁰Тит Ливий, XXXIV, 1 сл.; закон народного трибуна Оппия 215 г. до н.э. По этому закону ни одна женщина не должна была иметь золота больше полунции, носить разноцветные платья и ездить в парном экипаже в Риме или в другом городе, населенном римскими гражданами. Закон был отменен, несмотря на все красноречие Катона (195 г. до н.э.).
- ⁹¹Мабли имеет в виду прогрессирующий упадок нравов в Риме, начавшийся со времени широких завоеваний во II до н.э. Однако, говоря о гибели империи, он подменяет причины следствиями.
- ⁹²Он произнес эти слова ("Продажный город, обреченный на скорую гибель, — если только найдет себе покупателя"), по свидетельству Саллюстия (Югуртинская война, 35, 10), уезжая в 110 г. до н.э. из Рима. Югурта, нумидийский царевич, был союзником Рима и в 133 г. участвовал в войне против Нуманции. Но после его воцарения началась война с римлянами. Вышеприведенные слова объясняются тем, что с помощью подкупов высших должностных лиц Рима Югурта смог в течение долгого времени небезуспешно сопротивляться своему противнику, безусловно во всех отношениях более сильному. Был взят в плен и казнен в Риме в 105 г.

- ⁹³ Филиппу приписывается изречение: "Нагруженный золотом осел возьмет самую неприступную крепость".
- ⁹⁴ Гражданские добродетели, выразителями которых Мабли привык видеть Аристиды и Фокиона, могли быть усвоены и стать частью общечеловеческой сущности только в условиях афинской демократии, образцового в этом смысле общества. Всякое авторитарное правление, даже в лице такого просвещенного деятеля, каким был, например, Перикл, не способствует, по мнению Мабли, воспитанию добродетелей гражданина.
- ⁹⁵ Жакерия — крестьянское антифеодальное восстание во Франции в 1358 г. Свое название получило от презрительного прозвища "Жак-простак", данного крестьянам дворянами. Ж. началось весной 1358 г. в связи с введением дополнительной барщины для восстановления разрушенных замков. В короткое время восстание охватило Иль-де-Франс, Вермандуа, Бри, Пикардию и частично Нормандию и Шампань. В течение лета 1358 г. восстание было подавлено.
- ⁹⁶ Starostwo (*лат. capitaneatus*). Польские короли раздавали на основе ленного права принадлежащие им земли. Пожалованные т.о. земли, в которых находились королевские замки или города, назывались староствами.
- ⁹⁷ Tenuta (*лат.*), dzierżawa (*польск.*): 1) аренда недвижимого имущества, взятая на известное число лет за условную годовую плату; 2) королевские имения или староства, отданные в аренду лицам, внесшим за них сумму, которая выплачивалась через несколько поколений.
- ⁹⁸ Advocata (*лат.*) — войтовство, столовые королевские имения; означало небольшой округ, меньше староства, который по закону не разрешалось присоединять к староству. Имевшие особую юрисдикцию войтовства раздавались заслуженным сановникам.
- ⁹⁹ Dietines ante comitiales (*лат.*) — польские сеймики, предсеймовые или посольские (для выбора послов на сейм).
- ¹⁰⁰ Dietines post comitiales (*лат.*) — польские реляционные сеймики, на которых докладывались решения сейма и в ряде случаев утверждались таковые (См.: Горбачевский Н. Словарь древнего языка Северо-Западного края и царства Польского. Вильна, 1874. С. 11—12, 22, 89, 92, 357—358).
- ¹⁰¹ Проведиторы (от *лат. providere* — наблюдать, иметь попечение) — чиновники, назначавшиеся к командующим войсками Венецианской республики.
- ¹⁰² Подеста (от *лат. potestas*) — высшее административное лицо, глава судебной и исполнительной власти в городах-коммунах Италии в XII — начале XVI в. П. избиралось на срок до 1 года преимущественно из жителей не данного города. Император Фридрих I Барбаросса присвоил себе право назначения п., но после битвы при Леньяно (1176 г.) право избрания вновь перешло к городам. В XIV—XV вв. п. сохраняют лишь юридические функции. В некоторых крупных городах-государствах, в том числе и в Венеции, п. назывались правители подвластных городов, назначавшиеся центральной властью.
- ¹⁰³ Терраферма — континентальные (европейские) владения Венецианской республики.
- ¹⁰⁴ Паоли, Паскуале (1725—1807), вождь корсиканских патриотов, возглавивший народное движение против владычества Генуи (1755 г.), которое удалось подавить только после того, как Генуя уступила остров Франции (1769 г.); находясь в эмиграции в Англии, П. высказывался в пользу присоединения Корсики к Франции.
- ¹⁰⁵ Т.е. до 1493 г., когда сын и преемник Фридриха III Габсбургского Максимилиан выступил на престол Священной Римской империи.
- ¹⁰⁶ Осн. конституционный акт Священной Римской империи германской нации, принятый на имперских сеймах в Нюрнберге и Меце (1356 г.) и утвержденный императором Карлом IV; утвердил порядок избрания императора, время и

место избирательного съезда, регламент процедуры избрания; утвердил ранги, обязанности и привилегии курфюрстов, определили уровень и характер меж-имперских отношений, сохранял свое значение до начала XIX в.

¹⁰⁷Т.е. до 1180 г., когда воцарился Филипп II Август из династии Капетингов, успешно проводивший политику централизации и собравший под своей властью многие французские земли.

¹⁰⁸У Мабли любые собрания сословий в Германии (la diète) называются сеймами.

¹⁰⁹Порядок совещания в рейхстаге был утвержден в 1489 г., и Максимилиан, согласившись с этими постановлениями, тотчас же после своего избрания римским императором, не мог на Вормском рейхстаге так скоро изменить своему слову и вновь должен был подтвердить свое согласие с основными его статьями.

¹¹⁰Еще в сентябре 1381 г. король Венцеслав предложил на рейхстаге во Франкфурте проект всеобщего мира, в котором в конечном счете была выражена идея федеративного устройства страны. Предложение не имело успеха потому, главным образом, что города, выразившие готовность обсудить основы будущего конституционного строя, возможного только в условиях внутреннего мира, усмотрели в этом проекте слишком много уступок князьям. В марте 1383 г. в Нюрнберге король еще раз попытался провести план всеобщего мира, стремясь привлечь города к соглашению рядом уступок. Но этот шаг оказался столь же неудачен, как и первый; кроме князей и других владетельных государей к соглашению присоединился только Базель, да и то на короткое время. Последующие усилия Венцеслава привели лишь к перемирию, подписанному в Гейдельберге (Heidelberger Stallung) в 1384 г., на основании которого устанавливался всеобщий мир до мая 1388 г.

¹¹¹Королю, а затем императору Сигизмунду не удалось преуспеть в этих начинаниях главным образом из-за сложных отношений с папским престолом и территориальных притязаний к соседям, но в значительной мере потому, что в царствование Сигизмунда радикальное религиозное движение и гуситские войны сопровождались почти полным упадком императорской власти, а не только утратой родовых владений императора, с чем можно было еще примириться. Правда, на Нюрнбергском рейхстаге 1431 г. мир все же был заключен, но всего лишь на один год, до дня Св. Мартина 1432 г.

¹¹²Преемником Сигизмунда на германском императорском троне явился его зять Альбрехт Австрийский (избрание состоялось во Франкфурте в марте 1438 г.). На первом же рейхстаге в июле 1438 г. Альбрехт II предложил собранию проект мирного законоположения для Германии. Впервые в подобного рода документе шла речь о том, что внутренний мир должен устанавливаться не на срок, а на вечные времена; при этом все распри воспрещались, а каждый спор должен был решаться судебным порядком (высшим судьей был только один император). Однако при постоянных раздорах между князьями и городами было трудно достигнуть какого-либо соглашения на постоянной основе, и вопрос, хотя и волновавший многих в рейхстаге, все же остался открытым; этому способствовало и то, что осенью 1439 г., собираясь в поход против турок, Альбрехт II умер по дороге в Вену.

¹¹³Царствование Фридриха III ознаменовалось нескончаемыми спорами в рейхстаге и распрями между имперскими членами. Целые месяцы проходили, прежде чем решался вопрос о том, кому и сколько выставлять войск на войну с турками и сколько вносить денег. Голос императора столь же мало был уважаем в империи, как и в его наследственных землях. Территориальные претензии разрешались обычно силой оружия. Сам император в 1462 г. был осажден в Венском замке, подвергавшемся обстрелу. Событие, о котором говорит Мабли, имело место в 1486 г., но отказ от враждебных действий сопровож-

дала оговорка: отдельные государства ради своей защиты должны были действовать собственными силами.

- ¹¹⁴ На рейхстаге 1495 г. в Вормсе император Максимилиан, горячо желавший мира внутри империи, главным образом для того, чтобы высвободить силы государства в борьбе против Франции, добился выработки и принятия постановления о вечном мире. Хотя это учреждение и было связано с некоторыми нарушениями права, хотя после этого и не вдруг, и не навсегда утихли раздоры, оно имело важнейшее преимущество в том, что право сильного постепенно уступало место законности и стремлению к порядку.
- ¹¹⁵ Вестфальский мир был подписан 24 октября 1648 г. после длительных переговоров в Оснабрюке и Мюнстере (Вестфалия) между участниками Тридцатилетней войны. Этот мирный трактат представляет собой два объединенных мирных договора — Оснабрюкский (между императором и его союзниками, с одной стороны, и Швецией и ее союзниками) и Мюнстерский (между императором и Францией с их союзниками). Постановления трактатов касаются территориальных изменений в результате войны, урегулирования отношений между католическими и протестантскими государствами Германии и основ политического устройства империи. Германские владетельные князья получили полную независимость от императора с формальным ее ограничением в области внешней политики.
- ¹¹⁶ Placitum (лат.) — указное решение рейхстага Священной Римской империи (Reichsgutachten).
- ¹¹⁷ Последнее обстоятельство как некий феномен не забывали отметить все авторы, писавшие о Германии. К началу XVIII в. в империи сложилась на первый взгляд парадоксальная ситуация, когда владетельные государи, формально подданные Императора, унаследовали или основали несколько престолов за пределами Германии. Так, герцог Голштинский вступил во владение Данией, граф-палатин стал королем Швеции, курфюрст Саксонский вступил на польский престол, курфюрст Ганноверский был приглашен занять трон английской королей, эрцгерцог Австрийский стал одновременно королем Венгрии и Богемии, а маркграф Бранденбургский, включив в свои владения земли, не входившие в состав империи, короновался королевской короной. Кроме, пожалуй, последнего случая все это следствия династических союзов предшествовавшего времени. Разумеется, став членами Империи, державы получили право активно влиять на ее дела, но при этом необходимо, вероятно, признать, что подобная ситуация явилась одним из факторов равновесия, поддерживавшего существование империи.
- ¹¹⁸ Речь идет о рейхстаге Священной Римской империи, заседавшем с 1663 г. в германском имперском городе Регенсбурге. Рейхстаг заседал почти без перерывов до 1806 г.
- ¹¹⁹ Если Мабли имеет в виду Шмалькальденскую войну 1546—1548 гг. между Императором Карлом V, стремившемся восстановить в Германии католицизм, покончить с сепаратизмом германских владетельных государей и Шмалькальденской лигой (союзом протестантских князей и некоторых городов во главе с ландграфом Филиппом Гессенским), то она "отверзла двери Германии" только армиям французов. Если подразумевается Тридцатилетняя война, то она, как известно, имела место в 1618—1648 гг., а не "за два столетия перед сим".
- ¹²⁰ Мабли говорит о Фердинанде VI (1713—1759), короле Испании с 1746 г. (сыне короля Филиппа I), в правление которого проводилась политика, характерная для просвещенного абсолютизма, осуществлялись меры по улучшению торговли и промышленности, оздоровлению финансов, развитию науки.
- ¹²¹ См. об этом: Цицерон. Письма DCCCLXIV. Атику от Брута. (Brut, I, 17); Плутарх.

тарх. Цицерон. XLV.). Мабли имеет в виду непримиримую вражду между Антонием и Цицероном, окончившуюся убийством последнего.

- ¹²² Едва ли это было возможно при тех обстоятельствах, когда поддержки ждать было решительно неоткуда. После варфоломеевской ночи Франция находилась в состоянии религиозного раздора. Император, незадолго до этого поддерживавший ходатайство шести курфюрстов в пользу Нидерландов (1568 г.), отказался от каких-либо представлений Филиппу II после визита в Мадрид своего брата, эрцгерцога Карла. Королева Англии, этого оплота протестантизма, усматривала постоянную опасность для себя со стороны Шотландии, но вместе с тем учитывала при известных обстоятельствах распространение французского влияния и в Нидерландах; не отказывая окончательно принцу Оранскому в помощи, Елизавета советовала герцогу Альбе через своего посла принять примирительные меры, обещая послать в Испанию посольство с посреднической миссией. Все это оставляло мало надежд на успех предложений державам со стороны представителей Нидерландов.
- ¹²³ Речь идет о попытке договориться с Филиппом II, предпринятой правительницей Нидерландов Маргаритой, сводной сестрой испанского короля. Одной из многих побудительных причин было то, что в августе 1564 г. Филипп, далекий от каких-либо послаблений в вопросах веры, потребовал от наместницы немедленно опубликовать и провести в жизнь постановления, в соответствии с которыми еретики отстранялись от всякого участия в общественных делах и предавались строгому отлучению. Постановления касались и других вопросов, в частности, нравственности духовенства и народного воспитания. Согласившись с некоторыми членами Государственного совета, Маргарита сочла необходимым ввести известные ограничения в действие этих постановлений, на что король в октябре и ноябре 1564 г. ответил категорическим отказом. Именно эти затруднения и побудили Маргариту послать в Испанию посольство.
- ¹²⁴ Мабли имеет в виду специальную миссию посланника Маргариты Пармской графа Эгмонта в Мадрид в январе 1565 г., которая закончилась ничем, так как король, внушивший послу, что склоняется к некоторому компромиссу в вопросах веры, на деле потребовал от Нидерландов неукоснительного исполнения собственных постановлений, исходя из духа и буквы решений Тридентского собора.
- ¹²⁵ Мабли связывает события, имевшие место в разные периоды Нидерландской революции. Первое — собрание голландских сословных чинов в Дордрехте в августе 1572 г. (вопреки повелению Филиппа II собраться в Гааге), на котором они единодушно поручились за трехмесячную уплату жалования набранным Вильгельмом Оранским в Германии наемным войскам и признали его королевским наместником в Голландии, Зеландии, Утрехте и Западной Фризии. Второе — избрание в 1585 г., по настоянию пенсионария Роттердама Я. Олденбарневелта, Морица Оранского штатгальтером провинций Голландии, Зеландии, Западной Фризии, который через несколько лет стал также штатгальтером Утрехта, Хелдера и Оверзэйссела (1589 г.), Гронингена и Дренте (1621 г.).
- ¹²⁶ В рамках Мюнстерского мирного конгресса, завершившего Тридцатилетнюю войну 1618—1648 гг., в Мюнстере имели место переговоры представителей Голландской республики и Испании, закончившиеся подписанием испано-голландского мирного договора 30 января 1648 г. В договоре содержалось официальное признание Испанией независимости Голландской республики.
- ¹²⁷ Вильгельм II Нассауский, штатгальтер Голландии (1647—1650 гг.), умер в 23-летнем возрасте от оспы, а неделю спустя, 14 января 1650 г., у его супруги Марии (дочери английского короля Карла I) родился сын, названный по имени отца и ставший впоследствии знаменитым Вильгельмом III Оранским.

- ¹²⁸ Имеется в виду т.н. вторая революционная война 1672—1679 гг., во время которой Нидерланды, совершенно изолированные и страдавшие от внутренних раздоров, должны были выдерживать натиск выступившей против них Франции и действовавших с нею в союзе (по договору, заключенному в июне 1670 г.) Англией и Швецией.
- ¹²⁹ Пенсионарий — одно из высших должностных лиц в Штатах провинций Нидерландов в XV—XVIII вв. В Республике Соединенных Провинций великий пенсионарий — пенсионарий провинции Голландия, избиравшийся сроком на 5 лет из наиболее видных представителей купеческого сословия. В.п. замещал штатгальтера, был представителем провинции в Генеральных Штатах, руководил внешней политикой Республики.
- ¹³⁰ См.: *Grotius H. Annales et Histoires des troubles du Pays-Bas. A Amsterdam, 1662. P. 131.*
- ¹³¹ Речь идет либо о событиях, предшествовавших войне за Испанское наследство, закончившихся заключением в Гааге в сентябре 1701 г. "Великого союза", или о начальном периоде этой войны.
- ¹³² К концу войны за австрийское наследство французы, воспользовавшись тем, что англичане в 1747—1748 гг. не смогли выставить на континенте крупные силы, быстро овладели положением, одержав ряд блестящих побед. Военные успехи французов сказались на внутривнутриполитической ситуации в Голландии, штатгальтером которой, вопреки аристократической партии, был провозглашен штатгальтер Фрисландии и Хелдера принц Вильгельм IV Оранский (1747 — 1751 гг.).
- ¹³³ См.: *Grotius H. Op. cit. P. 203.*
- ¹³⁴ См.: *Histoire d'Angleterre, contenant la Maison de Plantagenet/Par M. David Hume. Traduit de l'Anglois par Madame ВХХХ. Т. IV. A Amsterdam, 1769. P. 84—85.*
- ¹³⁵ *Ibid. P. 93—95.*
- ¹³⁶ Согласно хартии, дарованной Иоанном Безземельным Лондону (1214 г.), горожане получали право требовать привлечения к суду своих сограждан. Жители Лондона освобождались от следствия посредством поединка, введенного норманнами, и могли решать свои дела в суде, основой которого являлась присяга. Торговля лондонских купцов освобождалась от пошлин на городских заставах и от всяких налогов внутри страны. Приходы и кварталы города имели право на взаимную защиту в рамках свободных купеческих ассоциаций.
- ¹³⁷ Хартия о лесах, точнее Лесная ассиза (*Assisa... de Foresta*), принятая Генрихом II Плантагенетом (1184 г.), устанавливала, что король осуществляет "всю полноту судебной власти" над тем, кто нарушит королевские права "в отношении к его охоте и к его лесам". Хартия определяла меры по охране заповедного королевского леса, кодекс поведения тех, кто находится в лесу, и проч. Таким образом вслед за Щитовой податью (1159 г.), Кларендонской ассизой (1166 г.) и Ассизой о вооружениях (1181 г.) хартия являлась продолжением политики централизации, предпринятой Генрихом II. Великая же хартия вольностей, подписанная Иоанном Безземельным в 1215 г., напротив, защищала интересы аристократии, гарантировала свободу церковных выборов прелатам, соблюдение королем феодальных обычаев по отношению к вассалам, запрещала брать с них феодальные деньги без согласия "общего совета королевства", устанавливала для баронов суд, равный им по положению (суд пэров), фактически декларировала отмену хартии о лесах и т.д. Носившая в значительной степени консервативные черты, Великая хартия сыграла свою роль в политической борьбе, приведшей к складыванию английской сословной монархии.
- ¹³⁸ Притязания, принявшие формы открытой борьбы за английский престол между двумя линиями королевской династии Плантагенетов — Ланкастерами (в гербе — алая роза) и Йорками (белая роза). Начавшаяся победой Йорков, "вой-

- на Алой и Белой роз” (1755—1785 гг.) завершилась их поражением и воцарением Тюдоров, соединивших обе розы в своем гербе. Война явилась последним взрывом феодальной безначалия перед установлением абсолютизма в Англии.
- ¹³⁹L’Histoire d’Angleterre/Par Rapin de Thoyras. T. VI. A la Haye, 1749. P. 323—24.
- ¹⁴⁰См. примеч. 147.
- ¹⁴¹Чрезвычайный суд в Англии, учрежденный указом королевы Елизаветы I Тюдор 19 июля 1559 г. для наблюдения за соблюдением правительственных предписаний в области церковной политики.
- ¹⁴²Высшее судебное учреждение Англии XV—XVII вв. Из комитета королевского Тайного совета для борьбы с мятежными феодалами Звездная палата превратилась в судебный трибунал по политическим делам, чей контроль распространялся на всю религиозную и политическую жизнь государства.
- ¹⁴³Histoire de la Maison de Stuart.../Par M. Hume. T. I. A Londres. P. 249.
- ¹⁴⁴Мабли отсылает своего августейшего ученика ко второму тому “Истории дома Стюартов” Д. Юма, целиком посвященному событиям Английской революции и входящему в состав его основного труда “The history of England from the invasion of Julius Caesar to the revolution in 1688” (1754—1778).
- ¹⁴⁵Первый парламент в царствование Карла II Стюарта осуществлял свою деятельность в 1661—1679 гг., и хотя он и обнаруживал готовность оказать существенную поддержку королевской власти, однако не ценой своих прав и преимуществ. Уступки, которые парламент делал королю, зачастую носили формальный, символический характер и не затрагивали тех прерогатив, которые парламент считал своим неотъемлемым правом.
- ¹⁴⁶Король находил неудобным формально объявить себя католиком; в этом он следовал советам Людовика XIV, внушавшего Карлу II, что открытое принятие католичества подвергло бы опасности его власть, что восстановление католичества в Англии может быть подготовлено успешнее, если действовать скрытно до наступления благоприятных обстоятельств. Даже предсмертное отпущение грехов и причащение по католическому обряду король распорядился сохранить в тайне, удалив из своих покоев врачей и придворных. Младший же брат короля, герцог Йоркский (будущий Яков II) не скрывал своей приверженности к католицизму, что подтвердил между прочим браком с принцессой Марией Моденской (племянницей Мазарини), которую он взял в жены по рекомендации Людовика XIV. Став королем, брат Карла II последовательно проводил политику, имевшую целью упрочение католицизма в Англии.
- ¹⁴⁷Пресвитериане (от *англ.* presbyterian, произв. от *греч.* — старший) — приверженцы ортодоксальной кальвинистской церкви шотл.-англ. происхождения; политическая партия эпохи Английской революции XVII в. Основанная в 1560 г., пресвитерианская церковь была окончательно признана государственной в 1592 г. Пресвитерианские общины, руководимые пресвитерами (старейшинами), составляли консервативное крыло пуритан (*лат.* puritas — чистый), английских протестантов 2-й половины XVI — 1-й половины XVII в. II. выступали с требованием введения строгого единообразия церковного культа и церковной централизации. После Ковенанта 1643 г. пресвитерианство было введено в Англии в качестве обязательного для всех вероисповедания. После изгнания большей части п. из парламента власть в нем перешла к индепендентам (от *англ.* independent — независимый), приверженцам религ.-церк. течения, одного из направлений протестантизма. И. — левое крыло пуритан, отвергавшее всякую церковь, берущую начало от государства. Они выступали за полную автономию каждой общины верующих, считая ее в праве толковать любые догматы веры. Как политическая партия эпохи Английской революции и. представляли собой радикальное крыло парламента и стояли во главе восстания против абсолютизма.

- ¹⁴⁸ В годы правления короля Якова II религиозно-правовому государственному устройству Англии угрожал полный переворот — реставрация абсолютизма эпохи первых Стюартов. Однако революция едва ли была возможна, ибо наиболее радикальные элементы полагали, что реставрационные поползновения короля, ввиду его преклонного возраста и отсутствия до того времени наследника, вряд ли обрели бы прочную основу: престол по смерти Якова II должен был перейти к его дочери протестантке Марии и ее супругу Вильгельму Оранскому. Надежды были разрушены рождением наследника (июнь 1688 г.), крестным отцом которого был избран папа. Это обстоятельство воодушевило Вильгельма и его сторонников как за пределами Англии, так и внутри страны, и в результате "Славной революции" Яков II должен был искать спасения во Франции, а корона после некоторых колебаний со стороны парламента была вручена Вильгельму III Оранскому.
- ¹⁴⁹ Речь идет о декларации прав, предшествовавшей знаменитому Биллю о правах, принятому в октябре 1689 г. Постановление было принято не 22 января (в день открытия парламента), а на заседании 28 января. В акте перечислялись все нарушения законов, допущенные Стюартами, объявлялось, что король обязан не делать больше подобных нарушений, перечислялись неотъемлемые права английской нации и указывалось, что король в своей коронационной присяге обязывается давать обещание соблюдать эти права.
- ¹⁵⁰ Монтескье не только был горячим поклонником свободы, но и отличался глубоким пониманием ее сущности. В особенности это касается разграничения, которое он проводил между народовластием и свободой народа, а также его мысли о том, что демократия сама по себе еще не служит обеспечением свободы которой пользуются только там, где власть умеренна. В этой связи естественно пристальное внимание Монтескье к английской конституции, одну из основ которой он усматривал в разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную. На протяжении всего своего сочинения Монтескье не раз обращается к различным сторонам "английского правления", но в особенности в специально посвященной ему главе одиннадцатой книги (*Oeuvres de Montesquieu, Nouvelle Edition. T. II. Paris, 1784. P. 32—48*).
- ¹⁵¹ Число светских пэров в Англии оставалось почти неизменным в течение двух столетий; их было около пятидесяти при воцарении Генриха V и только шестьдесят при вступлении на престол Якова I. В таком незначительном по численности собрании, где корона могла рассчитывать на неизменную поддержку со стороны министров, придворных и епископов, королевское влияние в течение ста лет было преобладающим. Однако Яков I хотел создать новую аристократию в противовес лордам "старой крови", проявлявшим явные признаки оппозиции. Политическое стремление короля совпадало с нуждами казначейства. Король мог не только унижить пэров, щедро возводя новых людей в это звание, но он мог еще более унижить их, продавая его. Из сорока пяти пэров, возведенных королем в это достоинство, большинство получило его за деньги. Такой же политики придерживались и другие Стюарты (Карл I, например, роздал не менее 56 пэрств, Карл II — 48). Долгий парламента, усмотрев здесь нарушение собственных прерогатив, выступил против этой практики Стюартов.
- ¹⁵² Сын первого ганноверского курфюрста Эрнста-Августа Георг-Людвиг (1698—1727) по материнской линии приходился правнуком английскому королю Якову I, ибо его мать, курфюрстина Софья, была дочерью курфюрста Фридриха V Пфальцского и дочери Якова I, принцессы Елизаветы. После смерти королевы Анны Георг-Людвиг был призван на английский престол (1714 г.). С этого года Ганновер находился в личной унии с Великобританией.
- ¹⁵³ Под руководством шведского дворянина Густава Эриксона народное движение крестьян Далеккарлии и других областей Швеции, рабочих горных рудни-

ков и примкнувших к восстанию дворян к концу 1522 г. освободило почти всю страну от датчан, господствовавших в Швеции со времен Кальмарской унии. В июне 1523 г. риксдаг объявил датского короля Кристиана II низложенным со шведского престола, а унию с Данией расторгнутой. 6 июня 1523 г. руководитель национального движения и правитель страны Густав Эрикссон был провозглашен королем под именем Густава I Вазы. Важнейшим фактором политики нового короля внутри страны стала "королевская реформация" (1527 г.), в результате которой собственность католической церкви фактически перешла под управление короны.

¹⁵⁴ Мабли имеет, вероятно, в виду то обстоятельство, что по совершеннолетию Карла XI в 1672 г. аристократия попыталась внести в "традиционное королевское обязательство" существенные ограничения власти монарха и подтверждение дворянских привилегий. Спроотивление податных сословий и низшего дворянства на риксдаге 1672 г. положило конец этой попытке знати, и король Карл XI начал править на тех же основаниях, что и его отец.

¹⁵⁵ Мабли мог воспользоваться текстом акта избрания принцессы Ульрики-Элеоноры королевой Швеции от 4 февраля 1719 г., опубликованным в двенадцатой книге сочинения де Люмьера "Histoire de Suède sous le regne de Charles XII, où l'on voit aussi les Révolutions arrivées en defferens tems dans ce Royaume..." (Vol. VI. A Amsterdam, 1721. P. 269).

¹⁵⁶ См.: Histoire de Suède avant et depuis la fondation de la Monarchie/ Par M^{le} Baron de Pufendorff. Nouvelle édition, plus correcte que les précédentes, et continuée jusqu'à l'année 1748. T. III. A Amsterdam, 1748. P. 206—207.

¹⁵⁷ Ibid. P. 225.

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ Histoire de Gustave-Adolphe/Par M^r Mauvillon. T. IV. A Amsterdam. 1747. P. 383.

¹⁶⁰ Ibid. P. IV—V.

¹⁶¹ См.: Histoire de Suède, depuis la fondation du royaume... T. I. A Amsterdam, 1768. P. 377.

¹⁶² См.: Histoire. T. II. A Amsterdam, 1768. P. 123.

¹⁶³ Curulis — курульный, относящийся к колеснице, колесничный. К курульным магистратам относились консулы, диктаторы, децемвиры, военные трибуны с консульской властью, тримвиры, преторы, цензоры, курульные эдилы. Первые плебеи были допущены к курульным магистратурам в 445 г. до н.э. По закону народного трибуна Г. Канулея они могли быть выбраны военными трибунами с консульской властью. В 367 г. были приняты законы (Лициния и Секстия); по одному из них один из консулов должен был быть обязательно плебеем. В 366 г. было установлено ежегодное чередование патрициев и плебеев в должности курульных эдилов, в 356 г. впервые плебей был назначен диктатором, в 351 г. — цензором, в 337 г. — претором. Таким образом, борьба за допуск к курульным магистратурам продолжалась более столетия, и не один закон, а целый ряд их потребовалось принять для того, чтобы плебеи получили возможность занимать высшие магистратуры государства.

¹⁶⁴ Согласно Евангелию от Иоанна Иисус в разговоре с Пилатом сказал: "Царство мое не от мира сего: если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда" (Иоан. 18. 36).

¹⁶⁵ Речь идет о Фридрихе (1676—1751), наследном принце Гессен-Кассельском (двоюродном брате короля Карла XII), жена которого, королева Швеции Ульрика-Элеонора младшая отреклась от престола в 1720 г. в пользу мужа, который под именем Фредерика I правил Швецией в 1720—1751 гг.

¹⁶⁶ Мабли имеет в виду государственный переворот, предпринятый в середине августа 1772 г. склонным к абсолютизму королем Густавом III: при участии моло-

дых офицеров-фрондеров был поднят гарнизон столицы и арестованы члены Государственного совета. Риксдаг согласился на ликвидацию обеих партий ("шляп" и "колпаков") и введение новой конституции, согласно которой королевская власть значительно усилилась, не переходя, однако, в настоящее самодержавие. Успеху Густава III способствовали также известия о разделе Речи Посполитой ее соседями. Пропаганда сторонников сильной королевской власти после переворота позволила представить его в глазах европейского общественного мнения как антиаристократическую и антиолигархическую революцию. Мыслящее общество Европы, в том числе и сам Мабли, именно так и восприняли переворот 1772 г.

¹⁶⁷ См. примеч. 158.

¹⁶⁸ *Histoire de Suède, avant et depuis la fondation de la Monarchie...* Т. III. А Amsterdam. 1743. Р. 73.

¹⁶⁹ Политические партии Швеции. Партия "шляп" (1734 г.) объединяла интересы части дворянства и верхушки буржуазии в стремлении к проведению политики восстановления внешнеполитического и военного могущества Швеции. Партия "колпаков" с 1739 г., оставаясь по существу дворянской, нашла поддержку у части духовенства, крестьянства, мелких торговцев и ремесленников. Обе партии с переменным успехом боролись за преобладание в риксдаге, пока переворот Густава III (1772 г.) не положил конец "эре свобод" и деятельности этих партий.

¹⁷⁰ См.: *Histoire de Suède depuis la fondation du royaume...* А Amsterdam. 1747. Р. 73.

¹⁷¹ Заморская провинция Швеции — Передняя Померания вместе с островом Рюген — была занята в ходе войны между Швецией и Империей после высадки шведских войск в 1630 г. в устье Одера. Вестфальский мир закрепил за Швецией это владение.

¹⁷² Мабли подразумевает сочинение "Афинская полития", приписываемое Ксенофону. Оно дошло до нас в сборнике произведений Ксенофонта, но его авторство исключается как временем написания произведения (около 425 г., тогда как Ксенофонт родился либо в 444 г. или, что наиболее вероятно, около 430 г.), так и разницей политических взглядов и стилем. "Полития" представляет собой яркий памфлет на государственное устройство Афин.

¹⁷³ Филипп V (Филипп Анжуйский, 1683—1746), король Испании в 1700—1746 гг. (с восьмимесячным перерывом, во время которого правил его сын Луис I), внук Людовика XIV, основатель испанской ветви Бурбонов.

¹⁷⁴ Патиньо Жозеф (1667—1733), главный интендант войск в Эстремадуре (1711 г.), был призван ко двору министром Дж. Альберони, проявил свои организаторские таланты по посту министра Совета Филиппа V.

¹⁷⁵ По Титу Ливию, было два ухода плебеев на Священную гору (за р. Анио в 5 км от Рима) в 494 г. и 449 г. до н.э., что явилось своеобразной формой протеста против долговой кабалы и притеснений патрициев. Результатом плебейских выступлений стало установление должности народных (плебейских) трибунов. В литературе высказано мнение, что первое удаление просто дублирует у Т. Ливия второе.

¹⁷⁶ Мабли пересказывает Геродота (IV, 3—4).

¹⁷⁷ Имеется в виду, разумеется, Этьенн-Бонно де Кондильяк, брат Мабли, наставник Фердинанда Пармского и автор дидактического "Курса наук", в котором особое внимание уделялось развитию логики мышления августейшего ученика.

¹⁷⁸ По легенде, донесенной до нас традицией, Секст Тарквиний, старший сын царя Тарквиния Гордого, обесчестил, угрожая мечом, Лукрецию, жену своего дальнего родственника Люция Тарквиния Коллатина. Лукреция, рассказав о слу-

чившемся отцу и мужу, покончила с собой. Тогда родственники и друзья Коллатина во главе с Люцием Юнием Брутом вынесли окровавленное тело на площадь и призвали граждан к восстанию против Тарквиниев. Возмущенные римляне постановили лишить царя власти и изгнать его вместе с семьей. Тарквинию не удалось подавить движение, и он был вынужден уйти в изгнание. Вместо него народ выбрал впервые двух консулов (Коллатина и Брута), учредив республику. Произошло это, согласно традиции, в 509 г. до н.э. Как считается, в этой легенде нет почти ничего достоверного, за исключением разве факта изгнания последнего царя.

- ¹⁷⁹Спартанский царь Теопомп (ок. 770—720 гг.), учредивший, по свидетельству Плутарха, эфорат. Слова, вложенные в его уста — плод творчества самого Мабли. У Плутарха (Ликург. VII) царь в ответ на упреки жены, что он оставит детям царское могущество меньшим, нежели получил сам, ответил одной фразой: "Напротив, большим, поскольку более продолжительным" (пер. С.П. Маркиша).
- ¹⁸⁰Лефор, Франц Яковлевич (1656—1699), рус. воен. деятель, адмирал (1695 г.). Швейцарец. Служил во франц. и нидерланд. армиях. В 1675 г. приехал в Россию, поступил на воен. службу (1678 г.). Участвовал в рус.-тур. войне 1676—1681 гг., Крымских походах 1687 г. и 1689. Сблизился с Петром I в 1689 г. (1690). Ген.-майор (1690 г.). Ген.-лейтенант (1691 г.). Вместе с Ф.А. Головиным и П.Б. Возниным возглавлял Великое посольство. Оценка влияния Л. на молодого царя, каким оно предстает у Мабли, в известной мере преувеличено. Такая оценка весьма характерна для взглядов франц. просветителей, но Мабли на этом не останавливается, а устами некоего "второго Лефора" обращает свою речь к самому Петру в духе воспринятых Мабли идеалов гражданского и политического устройства государства.
- ¹⁸¹Первоначально два консула были единственными выборными магистратами, им принадлежала вся полнота власти. С 366 г. до н.э. появилась претора — судебная по преимуществу магистратура (сначала выбирался один претор, с 242 г. — два, в середине I в. до н.э. — шестнадцать). Отбыв годичный срок службы, преторы получали в управление провинции. С 443 г. стали избираться два цензора, их обязанностью было пересмотр списка сенаторов, производство переписи граждан, попечение о нравах, руководство государственным имуществом и общественными работами.
- ¹⁸²... "О! времена! О нравы!" — Мабли ошибается, выражение принадлежит Цицерону (Речь против Катилины. I, 1).
- ¹⁸³Речь идет о спартанском царе Агисе IV (245—241 гг.), стремившемся возродить древнюю Спарту. Он считал необходимым передать земли в руки государства и раздать их мелкими наделами безземельным спартиатам, провести каскацию долгов. Однако попытки реформ Агиса окончились неудачей и сам он погиб.
- ¹⁸⁴Паралии (приморские, т.е. жители Паралии — приморской части Аттики), педизики (жители равнины, равнинная часть Аттики), диакрии жители Диакрии — горной части Аттики) — названия политических группировок в Афинах в VI в. до н.э., между которыми происходила ожесточенная борьба.
- ¹⁸⁵По свидетельству Плутарха (Ликург. V), Ликург, начиная свои преобразования, "приказал тридцати знатнейшим мужам выйти ранним утром с оружием на площадь, чтобы навести страх на противников" (пер. С.П. Маркиша).
- ¹⁸⁶См. примеч. 89.
- ¹⁸⁷Мабли имеет в виду прус. короля Фридриха II Великого (1712—1786), крупнейшего полководца и гос. деятеля, выдающегося просветителя и реформатора, деятельность которого во многом способствовала тому, что во 2-й половине XVIII в. Пруссия выдвинулась в число великих держав Европы.

¹⁸⁸См.: Тацит. I, 2, 10.

¹⁸⁹См.: Histoire de la Maison de Stuart sur le trône d'Angleterre/ Par M^r Hume. Т. III. A Londres, 1788. P. 425.

¹⁹⁰См. это выражение Цицерона: Цицерон. Письмо Аттику (П. 1.8).

О ТОМ, КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ

¹ Имеется в виду война Англии против своих восставших колоний в Америке (1775—1783 гг.), в которой деятельное участие приняла Франция (1778 г.) и примкнувшая в 1779 г. к антианглийской коалиции Испания (в силу общих династических интересов, религиозных противоречий и территориальных претензий). По франко-испанскому союзному договору, версальский двор обязывался произвести высадку десанта в Великобритании или Ирландии, помочь Испании отвоевать отнятые у нее Англией владения в Европе (Гибралтар) и некоторые владения в Америке. Соединенный франко-испанский флот под командованием адмирала д'Орвилье был направлен из Бреста в Ламанш, но действия британского флота воспрепятствовали высадке десанта. Несмотря на эту неудачу военные действия на море продолжались до конца войны за независимость Соединенных Штатов.

² Битва около мыса Акциум (при выходе из Амбракийского залива) произошла 2 сентября 31 г. до н.э. между Антонием и Октавианом, который одержал победу.

³ Свободное и сокращенное изложение Ювенала (Сатира, 7, 98 сл.).

⁴ Античные сюжеты, наряду с библейскими, доминировали в европейской "исторической" живописи XVIII в. Поэтому трудно с уверенностью точно определить, каким из художников, несомненно французских, принадлежали упоминаемые Мабли картины, как и сами сюжеты последних. Одним из них возможно мог быть Жак Гамелэн (1739—1803), кисти которого принадлежит картина "Ахилл, тащущий тело Гектора", или Жан Бардэн (1732—1809), написавший полотно "Андромаха, плачущая над останками Гектора". Что же касается "Попилия", то имя художника установить не удалось. Вероятно, в картине был изображен сюжет из жизни консула (359 г. до н.э.) Лоната Попилия, отразившего вместе с Манлием тибуртинцев от стен Рима и разбившего галлов (350 г.), или событие, связанное с Попилием, консулом (132 г.), осужденным по плебсциту 123 г. на изгнание.

⁵ Свободное изложение мысли Горация (О поэтическом искусстве, 379 сл.) и Буало (Поэтическое искусство. М., 1957. С. 55—58).

⁶ Каллиопа — богиня песнопений, муза эпической поэзии; Мельпомена — муза трагедии. Смысл иронии Мабли в том, что Анакреонт и Катулл, лирические поэты, не пользовались бы славой, если бы из поэтславия начали писать эпос или трагедии.

⁷ Имеются в виду два произведения Гая Саллустия Криспа "О заговоре Катилины" и "Югуртинская война".

⁸ Magistra vitae — наставница жизни. См.: Цицерон. Об ораторе. II. 9, 36.

⁹ Страда, Фамиано (1572—1649), итал. историк. Член ордена иезуитов. Автор сочинения "De bello Belgico Decades duae" (Roma, 1632—1647), написанного по заказу Александра Фарнезе Пармского. В этом произведении С. освещает события освободительной борьбы Нидерландов 1555—1590 гг. накануне и во время революции. В книге С. ярко проявляются испанские и прокатолические симпатии автора. Сходные с приведенными Мабли суждения встречаются в разных местах сочинения Страды. См., например: De Bello Belgico Decas Prima Famiani Stradae Rom. Societie Sv. Antverplae, 1636. P. 65—66 и далее.

¹⁰ Гроций (Grotius), Гуго де Гротт (1583—1645), голл. политический мыслитель,

- философ, политич. деятель, историк. Один из основоположников теории естеств. права. М. имеет в виду его сочинение "De jure praedae commentarius" (1604—1605 гг.) — ценный источник по истории революции и Республики Соединенных Провинций. Вероятно, в данном случае немаловажным было то обстоятельство, что Гроций вдохновлялся примерами древних деяний и с почтением отзывался об авторах Греции и Рима. См. *Epistre dedicatoire* и обращение к читателю: *Grotius H. Annales et Histoires des troubles du Pays-Bas*. A Amsterdam, 1662. P. 2, 6—7.
- ¹¹Вероятнее всего, Мабли подразумевает здесь то обстоятельство, что у Локка в сочинении "Трактаты" обосновывается идея о народе как о носителе верховной власти в государстве и праве народа на восстание в случае, если правители попирают его законные интересы и права. Сходные положения встречаются и у Бьюкенена.
- ¹²Бьюкенен (Buchanan), Дж. (1506—1582), шотл. историк, церковный реформатор и полит. деятель. Выступал против Марии Стюарт ("Detectio Mariae Reginae", 1751); воспитатель ее сына Якова I. Б. принадлежит ряд сочинений по истории Шотландии — "Regum Scotticarum historia" (1582 г.), "De jure regni apud Scotos" (1579 г.), в которых проявились некоторые тираноборческие мотивы (в частности, учение о праве народа избирать и смещать своих правителей).
- ¹³См.: Как следует писать историю. 36—37, 51.
- ¹⁴По словам Диона Кассия (Римская история, 40, 63, 4), в 50 г. до н.э. Саллюстий был исключен из Сената якобы за безнравственный образ жизни (скорее всего, за то, что являлся сторонником Цезаря). В 46 г. Саллюстий, будучи назначен наместником провинции Новая Африка, грабил ее столь беззастенчиво, что ему по возвращении в Рим грозил суд, от которого его будто бы избавил Цезарь (Дион Кассий, 49, 9, 2).
- ¹⁵Мабли имеет в виду описываемые Саллюстием в "Югуртинской войне" продажность и корыстолюбие многих представителей сенаторской олигархии. См. примеч. 117.
- ¹⁶*Rapin de Thoyras. Histoire d'Angleterre*. Т. I. A la Haye, 1749. P. 54.
- ¹⁷Д'Орлеан, Пьер-Жозеф (1644—1698), франц. историк, иезуит. Автор сочинений "Histoire des révolutions d'Angleterre" (1693), "Histoire des révolutions d'Espagne" (1734).
- ¹⁸Даниэль, Габриэль (1649—1728). Мабли имеет в виду его "Историю Франции" (Histoire de France) доставившую ему офиц. титул королев. историографа. Помимо нескольких изданий этого сочинения известно также сокращенное изложение его "Истории Франции" (Abrégé de l'histoire de France. P., 1724).
- ¹⁹См.: *Voltaire. Oeuvres complètes*. Т. 17, P., 1795. P. 495.
- ²⁰См. эту цитату в "Опыте о нравах. . ." Вольтера: *Ibid*. Т. 18. P. 155.
- ²¹Близкий к тексту пересказ начала второй книги "Римской истории" Веллея Патеркула (II, 1, 1). Об упоминаемых Сципионах (Старшем и Младшем) см. прим. 28 к "Об изучении истории".
- ²²Веллей Патеркул (II, 1, 3). Вириат — лузитан по происхождению, в молодости пастух. Возглавлял широкое антиримское восстание в Испании, в течение восьми лет успешно боролся с римлянами. Был убит в 139 г. до н.э. во время мирных переговоров своими приближенными, подкупленными Римом.
- ²³Там Мабли называет город Нуманцию (в Испании), во время войны с которой (137—133 гг.) римляне потерпели ряд поражений. Город был взят победителем Карфагена в III Пунической войне Сципионом Эмилианом, получившим за эту победу прозвище "Нумантийского".
- ²⁴У Веллея Патеркула нет этого рассуждения, принадлежащего скорее всего самому Мабли.
- ²⁵... *fabula de me narratur*. . . — дословно: "Речь ведется обо мне".

- ²⁶ *Voltaire. Oeuvres completes. T. XIX. P., 1785. P. 359—360.*
- ²⁷ "Не пороки человека, но пороки века". Слова, которые Мабли вкладывает в уста Цицерона, выражают весьма распространенную в древности мысль о том, что нельзя смешивать то, что присуще человеку, с тем, что привнесится временем, в которое он живет.
- ²⁸ Религиозно-философское течение в католицизме, возникшее после выхода в свет (1640 г.) книги голландского богослова и епископа Ипрского К.-О. Янсена "Августин, или Учение Св. Августина о здравии, недуге и врачевании человеческого естества. . .". Огромное влияние Я. обнаружилось не только на родине богослова, но и во Франции, с которой он был тесно связан благодаря долгому пребыванию в этой стране. В Я., воспринявшем некоторые черты протестантизма, нашло свое выражение стремление к пересмотру догм позднего католицизма, принципов и практики иезуитов. Странники Я. настаивали на возвращении к учению Св. Августина о предопределении и первородном грехе, критикуя позднекатолические представления о свободе воли. Против этого весьма возражали иезуиты, следившие за чистотой католицизма и усматривавшие в Я. подрыв основания католического священства, признававшего себя посредником между Богом и людьми. Несмотря на трехкратное осуждение Я. в 1642, 1653 и 1656 гг., а также преследование этого учения, Я. продолжал существовать, но уже к середине XVIII в. потерял былое значение, растворившись в различных общественно-политических движениях.
- ²⁹ См.: *Лукиан. Как следует писать историю. 10—11, 38—39, 63.*
- ³⁰ Латинское высказывание под пером Мабли перефразируется и вместо Катона в ней появляется Котэн: Котэн (Cotin), Шарль (1604—1682), аббат, французский писатель, отличавшийся страстью к напыщенным и ходульным образам и служивший предметом постоянных насмешек Буало как за литературные претензии К., так и за его угодничество перед могущественными покровителями.
- ³¹ Свободное изложение мыслей Цицерона (Оратор, 11 сл.).
- ³² Там же.
- ³³ В результате политической борьбы с группировкой Фемистокла Аристид был изгнан из Афин в 483 г. до н.э. Вернулся из изгнания спустя три года в момент персидского нашествия.
- ³⁴ Фемистокл вначале изгнанный из Афин (471 г.), а затем заочно приговоренный к конфискации имущества и смертной казни, бежал в Персию и обратился с просьбой об убежище к персидскому царю. Тот принял бывшего смертельного врага радушно и дал ему в управление город Магнесию в Малой Азии. О смерти Фемистокла источники сообщают по-разному. По словам Фукидида (I, 138, 4), "он умер от болезни", хотя, как отмечает Фукидид, "некоторые, впрочем, рассказывают, что он умер добровольно от яда, признав невозможным выполнить данные царю обещания" (пер. Ф. Мищенко). О самоубийстве пишет и Плутарх (Фемистокл, XXXI).
- ³⁵ Последние годы жизни Тиберий провел в полном уединении на о. Капри. Латинское выражение, приводимое Мабли, принадлежит Вергилию: "пусть это научит вас, что нужно быть справедливым" (*Verg. Georg. II*).
- ³⁶ Гельвидий Приск (ум. ок. 75 г. н.э.), плебейский трибун, принадлежал к группе стойков, боровшихся против деспотизма императоров. Отказался признать Веспасиана императором, приветствовал его собственным его именем и продолжал так называть Веспасиана в преторских эдиктах. Император повелел изгнать Г., а затем убить. См. об этом: *Suet. Vesp. 15.*
- ³⁷ См., например, книгу VII Второй декады "Histoire de la Guerre de Flandre. De Favianus Strada", почти целиком посвященную деятельности герцога Альбы в Нидерландах. (A Paris. 1652. P. 448—559).
- ³⁸ См. подробнейшее описание снаряжения Непобедимой Армады, посланной в

- 1588 г. Филиппом II против Нидерландов и Англии: *Histoire de la Guerre de Flandre / De Famianus Strada, traduit par P. du-Ryer. Seconde Decade. A Paris, 1652. P. 753—76* и далее. Примеры чудесного вмешательства Святых рассыпаны по всей книге первой декады Страды (*Ibid.* P. 746).
- ³⁹Гомер (Илиада. XVIII, 426 сл.) рассказывает, что Гефест по просьбе матери Ахилла Фетиды выковал ему оружие.
- ⁴⁰См.: *Цезарь*. Гражданская война, III, 105. Битва при Фарсале (Южная Фессалия) произошла летом 48 г. до н.э. между Цезарем и Помпеем.
- ⁴¹В указанных трактатах Цицерон дает развернутую и всестороннюю критику господствующих суеверий, определяет свое отношение к религии.
- ⁴²См.: *Voltaire. Oeuvres completes. T. XVIII. P., 1785. P. 72.*
- ⁴³Свободный пересказ Тита Ливия (I, Предисловие).
- ⁴⁴См. Тит Ливий (I, 8).
- ⁴⁵Римская держава, начавшись с малых истоков, выросла до того, что уже страдает от собственного величия" (Тит Ливий, X, 2).
- ⁴⁶Свободное изложение Тита Ливия (II, 1).
- ⁴⁷Произведение Ливия состояло из 142 книг (до нас дошло 35), оно разделено на декады.
- ⁴⁸В конце IV в до н.э. одно из галльских племен численностью в несколько тысяч человек под предводительством Бренна появилось в центральной Этрурии, в июле 390 г. в сражении на берегах реки Аллии, маленького притока Тибра, наголову разбило римлян и устремилось на Рим. Город, по-видимому, в это время был так плохо укреплен, что защищать его было невозможно. Безоружный город был разграблен и сожжен, жители, не успевшие бежать в соседние города, были перебиты. Лишь на укрепленном Капитолии продолжалось сопротивление. После неудачной попытки штурма, началась осада Капитолия, продолжавшаяся семь месяцев и окончившаяся мирными переговорами. За огромный выкуп галлы согласились уйти из Рима. Война с галлами расцвечена в римской традиции многими легендами, среди которых — история о спасении Рима гусьями.
- ⁴⁹Последняя, восемнадцатая книга сочинения Г. Гроция, включает изложение событий, последовавших за открытием переговоров о перемирии в Антверпене (1609 г.) между зеландцами и представителями испанского короля, в том числе и изложение достигнутых соглашений (*Grotius. Op. cit. P. 670—676*).
- ⁵⁰*Recueil des lettres de Jean Racine. T. I. S. I., s.a. P. 143.*
- ⁵¹Мабли подразумевает то, что главные организаторы заговора и убийства Цезаря Брут и Кассий выступали под лозунгом уничтожения тирании Цезаря и восстановления республики. Поэтому они и считались "последними римлянами".
- ⁵²Логический вывод самого Мабли, основанный на свидетельствах источников, в частности Светония (Божественный Август, 57—60).
- ⁵³*Тацит. Анналы, VI, 7.*
- ⁵⁴По свидетельству Тацита (История, I, 4), о смерти Нерона сожалела римская чернь. По словам же Светония (Нерон, 57) "были такие, которые еще долго украшали его гробницу... цветами и выставляли то его статуи... то эдикты, в которых говорилось, что он жив и скоро вернется на страх своим врагам" (пер. М.Л. Гаспарова). Хорошую память о Нероне сохраняли греки и парфяне.
- ⁵⁵При стесненных судьбах империи судьба ничего больше дать не может, как раздор среди врагов" (*Тацит. Германия, 33*). Первой части фразы у Тацита нет.
- ⁵⁶Арминий, германский вождь, руководитель антиримского восстания, разбил в 9 г. н.э. войска наместника Германии Публия Квинтилия Вара. Вел успешную борьбу с Августом и его преемником Тиберием. По словам Тацита, "он

- сражался с переменным счастьем и пал от коварства близких людей" (Анналы. II, 88).
- ⁵⁷ [Арминий] без сомнения освободитель Германии и человек, который нападал не на римский народ в момент его зарождения, как другие цари и вожди, но на процветающую империю" (Анналы. II, 88).
- ⁵⁸ Одним из решающих этапов борьбы за римскую гегемонию в Италии были так называемые "Самнитские войны" (1—343—341 гг., 2 — 327—304 гг., 3 — 298—290 гг.), в которых помимо самнитов широко участвовали и другие племена средней и северной Италии: этруски, галлы, герники, эквы и др.
- ⁵⁹ "Вещи прежде несовместимые" (Агрикола, 3).
- ⁶⁰ "Общественная безопасность получила не только надежду и чаяние, но уверенность и силу исполнения" (Тас. II. 3).
- ⁶¹ Войска стали заниматься выгодным делом: деланием императоров, после того как была обнаружена, по словам Тацита (История, I, 4), тайна императорской власти, что главою государства можно стать не только в Риме, но и в другом месте. За короткое время после смерти Нерона (лето 68 г.) сменилось четыре императора (Гальба, Отон, Вителлий и, наконец, Веспасиан, провозглашенный императором своими войсками летом 69 г.).
- ⁶² Верто д'Обеф (Vertot d'Aubouef), Рене (1655—1735), аббат, франц. историк. Член Академии изящных искусств (1701 г.). Автор сочинений "Histoire des révolutions de Portugal" (1680 г.) и "Histoire des révolutions de Suède" (1696 г.). Мабли говорит о сочинении "Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la République Romaine", охватывающем события римской истории от основания Рима до падения Республики. Произведение де Верто получило благоприятный отзыв Академии надписей и изящной словесности. Второе издание этого сочинения было снабжено основательным предметным указателем.
- ⁶³ "Общего одобрения достигнет тот, кто соединил приятное с полезным". Выражение принадлежит Горацию (Наука поэзии, 343—344).
- ⁶⁴ Мабли имеет в виду 24-томную "Histoire Ecclesiastique", первый том которой снабжен предисловием, содержащим обстоятельные размышления автора о пользе духовной истории, о принципах отбора фактов и хронологической канве, а также о стиле (Т. I. A Paris, 1722).
- ⁶⁵ Речь идет о "Discours sur l'Histoire Ecclesiastique" (Vol. 1—2. P. 1691).
- ⁶⁶ См.: примеч. 18. Вольтер упрекал ученого-иезуита за то, что тот предпочитает обращать внимание читателя на разного рода курьезы, оставляя в стороне развитие институтов и нравы (См. например: *Voltaire. Oeuvres complètes*. Т. 19. P. 1785. P. 14, 15, 24—25. Хотя эта критика отчасти и справедлива, не следует забывать, что труды Даниэля подвергались самым беспощадным заимствованиям, причем об источнике авторы своего рода почитательное молчание. Д. выступал с опровержением "Provinciales" Паскаля, опубликовав "Entretiens de Cléandre et d'Eudoxe" (1694).
- ⁶⁷ Мезерэ (Mézeray), Франсуа Эд де (1610—1683), франц. историк. Член Академии (1649 г.), ее непререкаемый секретарь (1675 г.). Королев. историограф. Сотрудничая с академиком Ж. Бодуэном, который вынашивал идею о создании общей истории Франции, М. сам решил ее написать и опубликовать за свой счет. Первый том "Histoire de France depuis Pharamonde" вышел в 1643, второй — в 1646, третий — в 1651 г. Эта публикация открыла перед М. двери Французской Академии (1649 г.). Для своего времени "История", в которой М. много места уделил истории институтов, имела большую ценность и была использована историками для написания собственных трудов. См. также: *Abregé chronologique ou extrait de l'Histoire de France / Par le Sieur de Mezeray Historiographe de France. Divisé en trois Tomes*. A Paris, 1668.

- ⁶⁸Мабли имеет в виду "Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie, jusqu'au Règne de Louis XIV" / Par M. l'Abbé Velly. A Paris, 1775. Поль-Франсуа Велли (1709—1759), член ордена иезуитов (1726—1740), репетитор Коллежа Людовика Великого, смог довести свою "Историю Франции" только до восьмого тома (Филипп Красивый). Его труд был продолжен другими историками.
- ⁶⁹Марианна (Mariana), Хуанде (1536—1623), испанский историк. Член ордена иезуитов. Мабли имеет в виду его труд — "Всеобщая история Испании" (Histoire de rebus Hispaniae. Libri XXX. Toleti, 1592—1605), который представляет собой первый опыт критического обобщения материала исп. исторических хроник. В 1601—1609 "История Испании" увидела свет по-французски в переводе самого М. Этот перевод поставил М. в ранг первых писателей Испании. По красочности описаний и строгому изяществу продуманных отступлений в нем угадывали манеру Тита Ливия.
- ⁷⁰Имеется в виду преподобный Барр (Barre de Sainte Geneviève), Жозеф (1692—1764), франц. историк. Канцлер Парижского ун-та. Его главный труд — "Histoire générale de l'Allemagne. . ." (P., 1748). См. о нем у Вольтера в связи с обвинениями по адресу Вольтера в компилировании сочинения Барра: *Voltaire. Oeuvres complètes*. Т. 22. P., 1795. P. 30.
- ⁷¹Рапен де Туара (Rapin Thougas), Поль де (1661—1728), франц. историк. Протестант. После отмены Нантского эдикта переселился в Англию, затем в Голландию. В качестве гувернера герцога Портлендского посетил Германию, Италию, Францию. Мабли имеет в виду его "Историю Англии" (Histoire d'Angleterre. Т. I—VI. P., 1723—1725), которая, будучи продолженной Д. Дюраном и Т. Ледьюром, на протяжении двух столетий сохраняла свое значение.
- ⁷²Юм, Дэвид (1711—1776), англ. философ, экономист, историк. Осн. историческое произведение Ю., которое имеет в виду Мабли — "История Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688" (The History of England from invasion of Julius Caesar to the revolution in 1688. Vol. 1—8. London, 1754—78). Сочинение Ю. является одним из первых систематических изложений политической истории Англии, где освещаются прежде всего проблемы внешней политики, войны, дипломатия; некоторое внимание уделяется истории нравов и развитию культуры.
- ⁷³В том, что касается оценки Великой хартии вольностей, упрек Мабли красноречивому проповеднику и маститому профессору-иезуиту может быть признан справедливым. См.: *Histoire des Révolutions d'Angleterre depuis le commencement de la Monarchie / Par le Pere d'Orleans de la Compagnie de Jesus. . .* Т. I. A la Haye, 1729. P.128—129. 255—269.
- ⁷⁴Робертсон, Уильям (1721—1793), шотландский историк. Королевский историограф Шотландии (1763 г.). Наиболее важный исторический труд Р. "История правления императора Карла V" (The history of the reign of the Emperor Charles V. 1—3. L. 1769), в обширном введении к которому Р. изложил собственную концепцию истории Европы от падения Римской империи до нач. XVI в., впервые обратив пристальное внимание на истоки феод. системы и причины прогресса в ее развитии. Сочинение Р. имело большой успех в Англии и Америке, удостоилось одобрительного отзыва Вольтера. Помимо истории Шотландии (The History of Scotland during the reigns of Queen Mary and of the King James VI. Vol. 1—2. L., 1759), Р. был в числе историков, положивших начало изучению открытия и завоевания Америки (The history of America. Vol. I—V. L., 1777).
- ⁷⁵Мабли имеет в виду "Историю франков" в десяти книгах, написанную Григорием епископом Турским и заложившую основы имеющихся представлений об общей связи исторических событий VI в. в Европе.
- ⁷⁶*Voltaire Oeuvres completes*. Т. XXVIII. P., 1785. P. 72.

- ⁷⁷Против этого закона выступали народные трибуны М. Фунданий и Л. Валерий. Речь последнего приводит Ливий. И хотя аргументация Валерия, по мнению Мабли, была слаба, закон Оппия был отменен.
- ⁷⁸Гораций. Наука поэзии. 359.
- ⁷⁹Речь идет о событиях лета 133 г. до н.э., когда во время выборов народных трибунов на следующий год резко обострилась борьба между сторонниками Тиберия Семпрония Гракха, инициатора аграрной реформы, и ее противниками, во главе которых встал двоюродный брат Тиберия верховный понтифик Публий Корнелий Сципион Назика. С толпой сенаторов и массой клиентов он набросился на Тиберия. В результате столкновения он и триста его сторонников были убиты. Плутарх (Тиберий Гракх. XIX) сообщает, что "не было ни одного, кто бы умер от меча", так как в ход были пущены дубины и камни.
- ⁸⁰Речь идет о династии римских императоров, которые условно носят имя Антонинов.
- ⁸¹Коммод, последний император (180–192 гг.) из династии Антонинов, был сыном императора Марка Аврелия. Сын был полной противоположностью отца. Современникам казалось, что в его лице воскресли Калигула и Нерон. Коммод любил физические упражнения и гладиаторские бои, причем с удовольствием выступал сам на арене, изображая Геркулеса и избивая беззащитных людей и зверей. Дошло до того, что он поселился в казарме, где и был убит заговорщиками.
- ⁸²Преемником Коммода заговорщики выдвинули сенатора Публия Гельвия Пертинакса, который правил всего 87 дней и был убит недовольными его строгостью преторианцами, которые устроили затем аукцион на императорское звание. Победил богатый сенатор Марк Дидий Юлиан, предложивший большую сумму.
- ⁸³После убийства Пертинакса (март 193 г.) провинциальные войска провозгласили почти одновременно трех императоров: Децима Клодия Альбина в Британии, Гая Песценния Нигера в Сирии и Люция Септимия Севера в Иллирии и Паннонии. Этот последний имел то существенное преимущество над своими соперниками, что находился ближе к Риму. Чтобы временно обезвредить Альбина, он вступил с ним в соглашение, усыновил его, дал титул цезаря и поручил верховное командование в Британии, Галлии и Испании. Север под лозунгом мщения за Пертинакса быстро занял Рим. Преторианцы почти не оказали сопротивления, выдали убийц Пертинакса и были разоружены. Под давлением Севера сенат приговорил Дидия Юлиана, который правил всего 60 дней, к смерти. Септимий Север, получив от сената утверждение в императорском звании, отправился против Песценния Нигера, которого тем временем признали азиатские провинции и Египет. Его передовые войска переправились уже в Европу. Война на Востоке продолжалась три года. Нигер был разбит и бежал к помогавшим ему парфянам, но по дороге был убит. Между тем Альбин при сочувствии части сената провозгласил себя августом и занял Галлию. Северу пришлось вернуться с Востока, где он вел войну с Парфией. В кровопролитной битве войска Альбина потерпели поражение, а он сам погиб.
- ⁸⁴Север еще при жизни сделал соправителями своих сыновей: вначале Бассиана, а затем Гету. После смерти Септимия в 211 г. в Риме стало два законных императора. Однако братья ненавидели друг друга, и каждый имел свою партию при дворе и среди населения. В 212 г. Бассиан во время ссоры убил Гету и стал единственным правителем. Известен под именем Марк Аврелий Север Антонин (212–217 гг.) или Каракалла (прозвище, полученное им, по-видимому, от названия галльского плаща с капюшоном, моду на который он ввел в Риме).

- ⁸⁵Марк Опилий Макрин был префектом претория при императоре Каракалле. Он возглавил заговор против него, в результате которого Каракалла в апреле 217 г. был убит, а Макрин был провозглашен армией императором. В этом смысле он был наследником, хотя не мог наследовать двоим, поскольку Гета был убит братом за шесть лет до этого. Сам Макрин царствовал недолго: в мае 217 г. он был свергнут, а вскоре и убит.
- ⁸⁶Лебо, Шарль (1701–1778), французский историк. Член Академии надписей (1748 г.), профессор элоквиции в Коллеж де Франс (1752 г.). Безупречный латинист, он пересмотрел и издал поэму кардинала де Полиньяка "Анти-Луcreций" и проч. Автор сочинения "Histoire du Bas Empire" (Р., 1756–1776), которое скорее принадлежит перу ратора, чем историка.
- ⁸⁷Ту, Жан-Огюст де (1553–1617), французский государственный деятель, историк. Докладчик в Государственном совете (1586 г.). Президент судебной палаты Парижского парламента. Гл. хранитель королевской библиотеки (1593 г.). Один из редакторов Нантского эдикта (1598 г.). Автор сочинения "История моего времени" (Historiarum sui temporis. Vol. 1–5. Р., 1604–1608, франц. пер. 1734–1754), охватывающего политические события в Европе 1543–1607 гг. По богатству и разнообразию привлеченных архивных материалов (в том числе и секретных) и литературных источников сочинение де Ту — явление исключительное. Издание 1604 г. состояло из 18 книг, 1606 г. — 57, 1609 г. — 80, 1617 г. — 126.
- ⁸⁸См. примеч. 74 .
- ⁸⁹Перевод "Истории Карла Пятого" У. Робертсона (Amsterdam, 1771), включая и введение, о котором говорит Мабли, был выполнен Ж.-Б.-А. Зюаром, известным впоследствии литератором и переводчиком.
- ⁹⁰Любо, Жан-Батист (1670–1742), французский историк. Непременный секретарь Французской Академии. Автор "Критической истории установления французской монархии" (Histoire critique de l'établissement de la monarchie françois dans les Gaules. Vol. 1–3. Р., 1734), где сформулировал концепцию романистов о происхождении общественного строя древней Франции. Считал, что разделение общества на сословия не являлось результатом французского завоевания. Буленвилье, Анри де (1658–1722), граф, французский историк. Б. исторически обосновывал привилегии дворянства, связывая их происхождение с германским завоеванием Галлии. Выступал против абсолютизма, считая исторически правоммерным ограничение власти короля в пользу дворянства (Histoire de l'ancien gouvernement de la France. Т. 1–3. La Haye, Amsterdam, 1727; Etat de la France. . . Vol. 1–2. Londres, 1727).
- ⁹¹Подименем Флора до нас дошло историческое произведение, носящее заголовок "Извлечение Л. Аннея Флора из Т. Ливия в четырех книгах" (в другой рукописи — "Извлечение Юлия Флора из Т. Ливия, две книги всех войн в течение 700 лет". Таким образом, остается неизвестным, какое родовое имя (Юлий или Анней) носил историк, живший скорее всего в эпоху Адриана. Как видно из заглавия, произведение Флора не вполне самостоятельное сочинение, а лишь извлечение из истории Тита Ливия, касающееся не всех сторон жизни римского народа, а только войн в течение 700 лет. Сочинение разделено на главы, и почти каждая война составляет отдельную главу, лишь какой-нибудь переходной фразой связанной с предшествующим описанием; всего лишь несколько глав занято другими сюжетами, например "О Гракховых законах". Цель автора, как видно из его слов, состоит не в том, чтобы просто изложить историю римского народа, как делали другие историки, а в том, чтобы на основании уже известных исторических фактов возвеличить римский народ, иначе говоря, автор хочет писать не историю, а панегирик.
- ⁹²Младший современник Тита Ливия Помпей Трог известен как разносторонний

писатель. Главное его произведение "Филиппова история" в 44 книгах не дошло до нас в своем подлинном и полном виде, а известно лишь в сокращении, сделанном Юстином. Сохранились еще подробные оглавления каждой книги. Основная тема — история Македонии, начиная с Филиппа I, и государств, возникших после смерти Александра. Автор излагает историю стран и народов, входивших в соприкосновение с Македонией и государствами диадохов, вплоть до вхождения самой Македонии и этих стран в состав Римской державы. Трог не ставил задачу изложить историю Рима, а хотел ознакомить читателей с историей чужих стран и народов, хотя события римской истории и упоминаются попутно, например в связи с войнами римлян с Пирром, Ганнибалом и др. В сочинении Трга много географических, этнографических экскурсов, много отвлеченных размышлений.

⁹³Неизвестно, кто был Юстин и когда он жил; одни предполагают, что он жил во II в., другие относят его к III в. Неизвестно в точности его полное имя; только в одной рукописи он назван М. Юнианий Юстин. Судя по "Предисловию", Юстин не был уроженцем Рима. При выборе материалов из труда Трга он руководствовался лишь вкусом, брал то, что ему казалось или интересным для чтения, или полезным для подражания. Он пропускал целые отделы, в историческом отношении важные; отдельные рассказы излагал иногда подробно, иногда слишком кратко. Судя по этому, работа Юстина дает лишь бледный образ произведения Трга.

⁹⁴Несмотря на ряд поражений, нанесенных Пирром римлянам, он сам в каждом сражении нес большие потери. Так, после сражения у г. Гераклеи он заявил: "Еще одна такая победа, и мне не с кем будет вернуться в Эпир".

⁹⁵Римские полководцы во время II Пунической войны: Квинт Фабий Максим, прозванный Кунктатором ("Медлитель") за то, что применял осторожную тактику, не давая Ганнибалу генерального сражения; Марк Клавдий Марцелл (вытеснил карфагеня из Сицилии); Публий Корнелий Сципион (Старший) — победитель Ганнибала.

⁹⁶В 476 г. один из варварских вождей Одоакр низложил последнего римского императора Ромула Августула.

⁹⁷"Пусть будет припрятана сила, не выставляй свое красноречие" (Ovid. *Ars amat* 463). Та же мысль выражена у Цицерона (Orat. 54).

⁹⁸Полибий (ок. 205—128 гг.), грек из г. Мегалополя в Аркадии, принадлежал к руководителям Ахейского союза. В 167 г. в числе тысячи других заложников Полибий был отправлен в Италию, где прожил 17 лет. Там он сблизился с семьей Эмилия Павла, игравшего большую роль в жизни Рима. Это дало возможность Полибию хорошо ознакомиться с римским государственным устройством и быть в курсе тогдашней мировой политики. Основной труд Полибия — "Всеобщая история в сорока книгах". Но сохранилось полностью только первых пять; от некоторых ничего не уцелело, а от остальных дошли более или менее крупные отрывки. Главной целью Полибия было, по его же словам, ответить на вопрос: "Каким образом, когда и почему все известные части земли подпали под власть римлян?" (III, 1, 4). Этот вопрос определяет собою и хронологические рамки всего произведения: оно охватывает период с 264 до 145 г., т.е. эпоху великих римских завоеваний, начиная с I Пунической войны и кончая разрушением Карфагена и Коринфа. Цель, поставленная историком, определила всемирно-исторический характер его произведения: римские завоевания Полибий берет в связи с историей всего средиземноморского мира за данный период. В своем изложении Полибий привлекает подлинные документы (договоры, надписи, письма). Он широко пользуется другими историками, но не принимает их на веру, а подвергает критике, подчас очень суровой. Полибий, безусловно, принадлежит к наиболее выдающимся представителям античной историографии. Он

- оказал огромное влияние на античных историков. Одни продолжали его "Историю", другие ему подражали, третьи просто списывали его (например, Ливий).
- ⁹⁹Полибий никак не смог бы подражать этим писателям, поскольку жил намного раньше их.
- ¹⁰⁰Мегабз, Отан, Дарий — участники заговора против пуже-Смердиса, последний из них будущий персидский царь Дарий I.
- ¹⁰¹Дословно: "Здесь было не место", т.е. здесь это было неуместно. См.: Гораций. О поэтическом искусстве. 19.
- ¹⁰²Имеются в виду замечательные своей риторической искусственностью речи исторических лиц, которыми славится "История" Фукидида и достоверность которых служит предметом дискуссии.
- ¹⁰³Речи занимают видное место в труде Ливия. Их сохранилось более 400 в дошедших до нас книгах "Истории". Содержание речей Ливий находил, вероятно, у своих предшественников, но форму вырабатывал сам, соображаясь с обстоятельствами времени, особенностями характера и положения говорящего лица. При помощи речей Ливий характеризует действующих лиц, не стремясь, правда, к строгому реализму; все герои говорят у него языком и слогом времени Августа, т.е. временем самого Ливия.
- ¹⁰⁴Речь идет о событиях 390 г. до н.э., когда Рим был разграблен и сожжен галлами. По словам Ливия (V, 50 сл.), римляне хотели переселиться в этрусский город Вейи, с которым Риму до этого пришлось вести напряженные войны, итогом которых стало взятие города в начале 90-х годов IV в. диктатором Марком Фурием Камиллом, который теперь выступает яростным противником переселения в Вейи. Речь Камилла — яркий образец красноречия самого Ливия.
- ¹⁰⁵Битва при Каннах произошла 2 августа 216 г. на равнине около этого города. Ганнибал наголову разбил римские войска. Из 80 тыс. римлян на поле боя полегло около 70 тыс., остальные попали в плен или разбежались. Потери Ганнибала были невелики: меньше 6 тыс. О сражении при Аллии см. примеч. 48.
- ¹⁰⁶В данном случае Мабли не совсем прав. Эпоха гражданских войн привела к падению нравов, религиозному равнодушию. Этим явлениям в общественной жизни Август противопоставил целую систему мер, в частности, восстановление древних культов и жреческих коллегий, почти забытых к концу республики, и сам был их ревностным членом. Август поощрял изучение славного прошлого римского народа. В этой связи понятно, почему Ливий противопоставляет современному ему отношению к богам твердую веру древних римлян в то, что боги принимают непосредственное участие в человеческих делах, что они помогают благочестивым и хорошим, а на плохих гневаются, и хотя сами с неба не сходят и сами не карают виновных, но даруют людям ум и случай для наказания их или же настолько ослепляют нечестивых, что они сами по себе готовят гибель. Характерна в этом отношении речь Камилла, к которой обращается Мабли. Как пишет Ливий, она произвела сильное впечатление, "но больше всего те места ее, которые касались религии" (V, 55, 1).
- ¹⁰⁷Адгербал, сын нумидийского царя Миципсы, один из трех наследников царства. Погиб в междоусобной борьбе с двоюродным братом Югуртой в 112 г. до н.э. События эти описаны Саллюстием.
- ¹⁰⁸Тит Манлий Торкват, консул 165 г. до н.э. Когда его сын был обвинен перед сенатом македонскими посланцами во взяточничестве, отец попросил у сената разрешения расследовать дело и, убедившись в виновности сына, прогнал его от себя, после чего тот покончил с собой.
- ¹⁰⁹Афинские политические деятели, участники Пелопоннесской войны.
- ¹¹⁰Имеются в виду Филипп V, царь Македонии (221—179 гг.) и Антиох III Великий, царь государства Селевкидов (223—187 гг.).
- ¹¹¹Брасид, спартанский полководец во время Пелопоннесской войны, погиб в 422 г.

- до н.э. Лакедоняне славились краткостью речей (отсюда "лаконизм"), поэтому Фукидид (IV, 84, 2) и делает оговорку.
- ¹¹²Иронически почтительное прозвище Мабли. Аристарх (217—125 гг.) из Самофракии, александрийский грамматик, крупный ученый-филолог, много сделавший по собиранию, критической оценке и систематизации произведений предшествующих его эпохе авторов, в частности Гомера.
- ¹¹³Бужан, Гийом-Гиацинт (1690—1743), французский историк. Под руководством иезуитов Б. достиг исключительных успехов в овладении гуманитарными науками и красноречием; серьезно занимался дипломатической историей. Мабли имеет в виду его сочинения "Histoire des querres et des negociations qui précéderent le traité de Westphalie" (P., 1727) и "Histoire du traité de Westphalie" (1744). Об упоминаемых ниже сюжетах Б. трактует в первом томе своего обширного (6 тт.) сочинения "Histoire des Guerres et des negociations qui precederent le traité de Vestphalie, sous le Regne de Louis XIII et le Ministere du Cardinal de Richelieu et du Cardinal Mazarin . . ." Т. I. A Paris. 1751.
- ¹¹⁴На титульном листе первых двух томов сочинения Бужана указано, что они "составлены на основании записок графа д'Аво, посла христианнейшего короля при северных дворах, Германии и Голландии, полномочного представителя на переговорах в Мюнстере".
- ¹¹⁵Во введении к первому тому своего сочинения Бужан говорит, в частности, о том, что по просьбе "первого президента" де Мема он пересмотрел бумаги графа д'Аво, причем де Мем с самого начала имел в виду, что Бужан заинтересуется дипломатическими сюжетами и напишет сочинение обо всех перипетиях переговоров, в которых участвовал граф д'Аво, впавший затем в немилость и отозванный. Между тем граф Клод де Мем д'Аво (1595—1650) был опытным дипломатом своего времени (в ранге посла длительное время находился в Венеции, Лании, Польше) и пользовался репутацией человека слова. Естественно, что Жан-Антуан де Мем граф д'Аво (1661—1723), бывший прокуратором Парижского парламента, а затем и его первым президентом, выразил заинтересованность в работе Бужана предоставлением историку необходимых документов.
- ¹¹⁶См. примеч. 115 к "Об изучении истории".
- ¹¹⁷Подразумевается скандальная продажность римской администрации во время Югуртинской войны (Гай Салюстий Крисп. Война с Югуртой // Историки Рима. М., 1969. С. 86—87).
- ¹¹⁸Там же С. 132—133. Речь идет об эпизоде Югуртинской войны, описанной Саллюстием (Югуртинская война, 104 сл.) и Плутархом (Гай Марий, X; Сулла, 3). Луций Корнелий Сулла (138—78 гг.), квестор 107 г., претор 93 г., пропретор 92 г., консул 88 г., диктатор 82—79 гг. Он заложил основы той государственной системы, которую впоследствии расширил и укрепил Цезарь и которая стала называться "империей". Бокх — царь Мавритании, тесть Югурты и его союзник. Когда в конце войны шансы Югурты стали падать, Бокх решил изменить своему зятю и известил командующего римскими войсками Гая Мариа, что готов передать в его руки Югурту, если для этого к нему пошлют Суллу. Последний в это время служил в войсках Мариа квестором и уже ранее вел переговоры с Бокхом. У римлян были сильные подозрения, что Бокх ведет двойную игру, и действительно, мавританский царь никак не мог решить, выдать ли ему Югурту Сулле или Сулле Югурте. Наконец, трезвый расчет и красноречие Суллы взяли верх, и Бокх, заманив Югурту в засаду, выдал его римлянам (начало 105 г.).
- ¹¹⁹Не поддающаяся толкованию оценка творчества Энния, очевидно основанная на критической оценке стиля и образа жизни Энния, данной Горацием, взгляды которого широко используются Мабли для подтверждения своих мыслей (см.: Гораций. О поэтическом искусстве. 259—264).
- ¹²⁰Вольноотпущенники в Древнем Риме — рабы, отпущенные или выкупив-

шие на свободу с соблюдением формальностей (тога, бритье головы и проч.). В. получали имя бывшего господина и становились римскими гражданами. Часто в. были доверенными лицами своих патронов и были нередко весьма богатыми. Из числа в. вербовались обслуживавшие императорский культ севиры-августулы; сыновья последних иногда достигали высших должностей в государстве. Императорские в. составляли низший и отчасти средний персонал бюрократического аппарата Империи, пользовались нередко огромным влиянием, что и имеет в виду Мабли. Гистрионы (этруск.) — актеры, в большей степени актеры пантомимы, чем драматические; г. принадлежали к классу в., но среди них встречались также и рабы.

- ¹²¹ Histoire de Louis XI, par Montesquieu. Publié par H. Barckhausen. Bordeaux. 1898 (Extrait de la Revue philomatique de Bordeaux et du Sud-Ouest. N 12. novembre 1898). В "Библиографии французской литературы XVIII века" это сочинение помещено в разделе "Fausses attributions" (Cioranescu A. II. P. 1283).
- ¹²² Монтескье Шарль-Луи, барон де ла Бред де Секонда (1689—1755), франц. политич. мыслитель, историк. Деятель раннего франц. Просвещения. Мабли имеет в виду его трактат "Рассуждение о причинах величия и упадка римлян" (Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence), в котором основные события римской истории объясняются особенностями учреждений Римского государства и влиянием окружающей среды.
- ¹²³ Дюкло, Шарль-Лино (1704—72), франц. историк. Королев. историограф (1750 г.) Член Академии надписей (1739), Французской Академии (1742 г.). Мабли имеет в виду его сочинение "Histoire de Louis XI" (Т. I—III. A la Haye, 1745), опубликованное с посвящением графу де Морепа, министру, государственному секретарю и командору королевских орденов.
- ¹²⁴ См. примеч. 108 к "Дополнению" Гюдэна де ля Бренейери. Отметим, что Пьер-Жан-Батист Ле Гран д'Осси (1737—1800) после упразднения ордена иезуитов, членом которого он был, сотрудничал в издании ряда исторических и философских трудов, был членом Института и хранителем рукописей Национальной библиотеки, опубликовал "Recueil des fabliaux ou contes des XIII^e et XIII^e siècles, traduits ou extraits d'après les manuscrits" (1779—1781).
- ¹²⁵ Речь идет о двухтомном сочинении аббата Рене-Обера де Верто (1655—1735), иезуита, затем премонстранта и секретаря генерала этого Ордена, "Histoire des Révolutions de Suède" (1695), выдержавшем пять изданий и переведенном на европейские языки. Уже будучи членом Академии надписей и изящной словесности (1701 г.), В. пишет "Histoire des Révolutions de la République Romaine" (1719), которая является лучшей из его работ. Труды В. хотя и в какой-то мере поверхностны и носят романтический характер, принесли В. славу и авторитет.
- ¹²⁶ Ксенофонт (ок. 430—355 г.), афинянин, ученик Сократа, по своим политическим взглядам — противник демократии и поклонник спартанских порядков. В отряде греческих наемников принял участие в войне, которую вел претендент на персидский престол Кир Младший против своего брата, царя Артаксеркса II. Когда Кир был убит, его наемникам пришлось совершить полный опасностей поход из глубин персидского царства, из Месопотамии, где они в тот момент находились, к побережью Черного моря. Во время похода Ксенофонт был одним из предводителей наемников. Этому походу Ксенофонт посвятил свое произведение "Анабасис" ("Восхождение"). Свою роль при этом автор, несомненно, преувеличивает. Сами по себе события, описанные Ксенофонтом, имеют второстепенное значение: большую ценность представляет описание тех областей, по которым двигался отряд, а также быта и психологии греческих наемников. Что касается самого Ксенофонта, то, возвратившись в Грецию, он вступил в спартанское войско, за что был заочно приговорен афинским народным собранием к смерти и конфиска-

ции имущества. Позже это решение было, отменено, однако в Афины Ксенофонт не возвратился и умер в изгнании.

¹²⁷Знаменитый полководец и диктатор Гай Юлий Цезарь (101–44 гг.) был и первоклассным писателем. Сохранились два его произведения: "Записки о галльской войне" и "Записки и гражданской войне". Первые разделены на восемь книг (из которых первые семь написаны Цезарем, а восьмая составлена его офицером Авлом Гирцием). "Записки" принадлежат к историческому жанру мемуаров и отличаются всеми достоинствами и недостатками этого жанра. Их достоинством является то, что они написаны главным участником событий, следовательно, имеют характер первоисточника. Недостатки "Записок" обусловлены тем, что они писались Цезарем с определенной целью: доказать важность и трудность завоевания Галлии и оправдать свои действия в гражданской войне. Это сделано Цезарем с величайшим искусством, так что у читателей остается впечатление полной объективности автора. Однако, более пристальный анализ обнаруживает, что те факты, которые могли бы бросить на него тень, Цезарь опускает, другие освещает тенденциозно. Это заставляет постоянно корректировать рассказ Цезаря параллельными источниками.

¹²⁸Сокращенное изложение мысли Цицерона (Брут, 262).

¹²⁹Изложение Саллюстия (Югуртинская война, 3, 1).

¹³⁰Гай Марий (157–86 гг.) — плебейский трибун 119 г., претор 115 г., консул 106, 104–100, 86 гг., крупный полководец и реформатор армии. Особенно прославился двумя победами над племенами кимвров и тевтонов (102–101 гг.). Активный участник гражданской войны, где его основным противником выступал бывший квестор Мария—Сулла, прославившийся во время Союзнической войны и в войне с царем Понта Митридатом и в итоге одержавший победу в этой борьбе.

¹³¹Плутарх (сер. I в. — между 120 и 130 гг.), грек из Херонеи. Занимал видное положение в администрации при императорах Траяне и Адриане и был чрезвычайно образованным и плодовитым писателем. Каталог его сочинений насчитывал 210 наименований. Многие из них до нас дошли, но некоторые утрачены. Сочинения его разделяются на две группы: исторические и философско-литературные. Первые — носят название "Параллельные (Сравнительные) биографии". Это биографии выдающихся исторических лиц, греков и римлян, сгруппированные попарно, так что в каждой паре одна биография грека, другая — римлянина; в каждую пару выбираются такие лица, между которыми есть сходство в каком-либо отношении, после каждой пары дается маленькая статья — "Сопоставление", где и указываются их сходные черты. До нас дошло 23 пары таких биографий; в четырех из них "Сопоставлений" нет. Кроме этих 46 парных жизнеописаний есть еще четыре отдельных биографии, таким образом, всего биографий 50. Некоторые биографии не отдельные до нашего времени. Многие писатели, у которых Плутарх заимствовал сведения, не дошли до нас, так что в некоторых случаях он остается единственным источником.

¹³²Корнелий Непот (умер во время правления Августа), уроженец Галлии, был в дружбе с Катуллом и Цицероном. Был автором нескольких сочинений, до нас не дошедших. Сохранились только извлечения из одного из них ("О знаменитых людях") под заглавием "О выдающихся полководцах иноземных народов". Это произведение содержит 23 биографии неримских полководцев, начиная с греко-персидских войн и кончая эпохой преемников Александра Македонского.

¹³³Гай Светоний Транквилл (начало 70-х годов — ок. 140–150 гг.), младший современник Тацита. Плодовитый писатель, перу которого принадлежит произве-

дения на самые различные темы (биографии писателей и биографии гетер, римские магистратуры, греческие ругательства, теории Цицерона и телесные недостатки, и многое другое). Из сочинений Светония до нас дошли только "Жизнь двенадцати цезарей" в восьми книгах и "О грамматиках и риторках" (в неполном виде). От остальных сохранились только отрывки или даже одни заглавия. "Жизнь цезарей" — один из главных источников по истории Рим в I в.н.э. Однако это сочинение не есть историческое в собственном смысле, а является рядом монографий биографического характера. Светоний описывает прежде всего частную жизнь. Поэтому он касался государственной деятельности императоров, приводя лишь те подробности, которые находились в прямой и тесной связи с личностью императора, с обстоятельствами его личной жизни или указывают на те или другие стороны его характера. Наоборот, на частной жизни правителей Светоний останавливается очень охотно, тщательно сообщая различные подробности относительно их семейных и интимных отношений, повседневного образа жизни, привычек, пороков и добродетелей, литературных и других склонностей, наружности, изречений, сказанных ими или о них и т.д. Светоний стремился сделать свое сочинение занимательным для массы читателей, в его время уже в значительной степени утратившей интерес к государственным делам. Что Светоний достиг своей цели, свидетельствует уважение, которым он пользовался в древности и в средние века, многочисленность его подражателей и компиляторов. Характерно, что его "Жизнь цезарей" сохранилась в полном виде, тогда как исторические труды Тацита дошли с огромными потерями.

¹³⁴Светоний. Божественный Август. 53, 1. Перевод Мабли неточен: «Имени "господин" он всегда страшился как оскорбления и позора».

¹³⁵Живейший созидатель и творец всяческой близости и дружбы" (Suet. Aug. 48).

¹³⁶Светоний. Нерон. 19, 3.

¹³⁷Народ, толкаясь плечьями,
Жадно глотает [рассказы] о битвах и изгнанных тиранах...
(Horat. II. Carm. 13, 30—31.)

¹³⁸См.: Цицерон. Оратор, 7—10.

¹³⁹На характеристике Гиббона, данной Мабли, безусловно, сказалось отношение последнего к Вольтеру, который оказал сильное влияние на Гиббона. Между тем многотомная "История упадка и разрушения Римской империи" может быть, без сомнения, названа мировым явлением в области исторической литературы.

¹⁴⁰Искусство пусть изобразит падение (Ovid. Ars amat. 1. 7).

¹⁴¹Вторая декада (книги XI—XX), хронологические рамки: 292—219 гг. В этот период происходили такие события, как война с Пирром, борьба за завоевание Италии, I Пуническая война.

¹⁴²Фрейнштейн, Иоганн (1608—1660), немецкий филолог и историк. Историограф и библиотечарь королевы Христины. Его ученые труды были посвящены изучению и изданию сочинений латинских писателей — Флора, Курция, Тита Ливия, Тацита. Ф. впервые ввел разделение их произведений на главы, осветил лексические особенности этих писателей, занимался исправлением текстов от позднейших вкрадшихся ошибок. В посвящении королеве Христине, помещенном в начале книги, о которой говорит Мабли, Ф. пишет о том, что к написанию книги его побудило неоднократное обращение к изучению текстов Тита Ливия (Supplementorum Livianorum ad Christinam Reginam Decas Auctore J. Freinsheimio, Holmae, 1649. P. 2—3).

¹⁴³См.: Фукидид. VI, 1 сл.

- ¹⁴⁴Мабли не совсем прав. Одной из особенностей изложения у Саллюстия являются экскурсии, когда последовательность повествования прерывается и сообщаются дополнительные сведения, расширяющие тему и помогающие понять произведение в целом. Таковым является и не понравившийся Мабли большой экскурс о возникновении римской гражданской общины, где восхваляются ее древние добрые нравы (О заговоре Катилины. 5, 9—13, 5); следующий экскурс (гл. 17—19) посвящен так называемому первому заговору Катилины. Подобные отступления встречаются и в "Югуртинской войне"; так, в гл. 17—19 говорится о географии Африки и населяющих ее народах и т.д.
- ¹⁴⁵*Voltaire. Histoire de Charles XII, Roi de Suède / Nouvelle Edition revue, corrigée, augmentée... imprimée sur le Manuscrit de l'Auteur. T. I. A Amsterdam, 1739. P. 2.*
- ¹⁴⁶*Ibid. P. 3—6.*
- ¹⁴⁷Характеристику Петра Великого см. в конце кн. 1 сочинения Вольтера: *Ibid. P. 28—47.*
- ¹⁴⁸См.: Геродиан. I, 3, 1 сл. (Имеются в виду сицилийский тиран Дионисий Старший (406—367 гг.) и Александр Македонский.)
- ¹⁴⁹Там же.
- ¹⁵⁰Марк Манлий Капитолин, герой войны с галлами, спасший, по свидетельству Ливия (V, 47) Капитолий от внезапного штурма врагов. Позже возглавил движение плебеев за отмену долгов, однако потерпел неудачу, был осужден и казнен (о Марии см. примеч. 132). Во время гражданской войны, когда Марию и его сторонникам удалось одержать верх над сулланцами и захватить Рим (июнь 87 г.), в городе начался жестокий террор. Пять суток продолжались непрерывные убийства и грабежи, перекинувшиеся затем в Италию. Особенно отличался Марий со своими войсками. Лишь смерть Мария в январе 86 г. установила относительный порядок и спокойствие.
- ¹⁵¹В конце сочинения "La conspiration de Valstein" Жан-Франсуа Саразен пишет: "Меньше всего предполагал я рассказать в подробностях о военных деяниях Валленштейна. Те, кто по задуманному ими плану написали историю последней войны в Германии, старательно и со вкусом повествуют о них. Я же буду говорить только то, что окажется необходимым для моего предмета..." (Les oeuvres de M^r Sarasin. A Paris, 1694. P. 109). Это сочинение осталось незаконченным и представляется в известной мере случайным для творчества Саразена (1603—1654), секретаря принца де Конти и поэта.
- ¹⁵²Протей — подчиненное Посейдону морское божество, старец, обладавший способностью принимать любой облик.
- ¹⁵³Дю Серсо, Жан-Антуан (1670—1730), иезуит, поэт и литератор. Мабли имеет в виду его сочинение о Кола ди Риенци (1313—1354), видном итальянском политическом деятеле (*Histoire de la conjuration de Rienzi / Par le Père Du Cerseau. P., s.a. P. 113.*)
- ¹⁵⁴Сила порядка в том и краса (или я ошибаюсь). / Чтобы во и здесь сказать, что здесь сказать было нужно. / Многое, разобрав, в настоящее время отложить. (*Гораций. О поэтическом искусстве, 42—44, перевод А.А. Фета.*)
- ^{154a}Иное мнение об этом капитальном сочинении английского историка и философа см. в "Об изучении истории" и примеч. 144.
- ¹⁵⁵*Гораций. О поэтическом искусстве. 40—41.* "У того, кто выбрал посильное дело, хватит всегда выражений и будет порядок и ясность" (перевод А.А. Фета).
- ¹⁵⁶Ариадна — дочь критского царя Миноса — дала клубок нитей афинскому герою Тесею, с помощью которого он смог выбраться из Лабиринта после убийства Минотавра. В переносном смысле — путеводная нить.
- ¹⁵⁷См.: Тит Ливий. XXI сл.
- ¹⁵⁸Указанное Мабли место в сочинении Ж.-Б. Дюбо см. в "Histoire de la Ligue de Cambrai" (P., 1709. P. 128). В этом произведении, свидетельствующем: о разно-

образии интересов ученого аббата, автор впервые в историографии специально обращался к истории союза, заключенного в Камбрэ в декабре 1508 г. между папой Юлием II, императором Максимилианом I, Людовиком XII и рядом итальянских городов против Венеции с целью раздела ее владений. Лига распалась после примирения Венеции с папой и Испанией (1510 г.) ценой некоторых территориальных уступок.

¹⁵⁹Boileau-Despréaux. Lettres choisies. Т. II. Р., 1781. Р. 37.

¹⁶⁰См.: Тацит. Истории, 46; о событиях в Германии говорится в IV и V книгах.

¹⁶¹Лукиан. Как следует писать историю, 38–39, 41, 42, 61.

¹⁶²Имеется в виду венецианский ученый и политический деятель Паоло Сарпи (1552–1623), монах ордена сервитов (Фра Паоло). Точка зрения С. на суверенитет государственной власти по отношению к церкви и разоблачение им деятельности папства и иезуитов послужили причиной отлучения его от церкви, а также покушения на его жизнь. Его главное сочинение — "История Тридентского собора" (Istoria del Concilio Tridentino. L., 1619), законченное в 1615 г. и вышедшее в Лондоне без ведома автора, — исследование, основанное на привлечении многих источников, разоблачающих политические мотивы деятельности папства.

¹⁶³См. примеры таких восхвалений Александра Фарнезе в посвящении его внуку Одоардо Фарнезе, которое Страда предпослал своей книге (*Strada. Op. cit.* Р. 1–5).

¹⁶⁴Возможно, Мабли обратил внимание на такую фразу: "В то же время принц Луи де Конде, отнюдь не склонный заканчивать свои кампании прежде, нежели свершит выдающийся подвиг, полагал, что достигнутым успехом еще рано довольствоваться" (*Histoire du siège de Dunkerque // Les oeuvres de M^r Sarasin. A Paris, 1694, Р. 5*), но подобные высказывания встречаются и в других местах этого сочинения, посвященного осаде Дюнкерка, которой руководил Конде.

¹⁶⁵Мабли имеет в виду сочинение, которое вышло анонимно в Кельне в 1765 г.: "La Conjuraton du Comte Jean-Louis de Fiesque".

¹⁶⁶Мабли имеет в виду сочинение аббата Сезара-Вишара де Сен-Реалья (1639–1692) "Don Carlos, nouvelle historique" (Р., 1672), написанное в то время, когда при посредстве своего друга мэтра Антуана Варийя он усвоил привычку приукрашивать историю разного рода анекдотами, рассматривая истину как необязательное приложение к строгому следованию фактам.

¹⁶⁷Речь идет о сочинении де Сен-Реалья "Conjuraton de Pison et d'Epicharis contre Neron" (1674 г.), которое по характеру своему вполне укладывается в авторскую концепцию истории. Сюжетом книги аббата стало известное событие времен правления императора Нерона. В 65 г. в ответ на репрессии Нерона был организован большой заговор. Во главе его стоял Гай Кальпурний Пизон, молодой человек из знатной семьи, которого заговорщики намеревались провозгласить императором после убийства Нерона. Медлительность заговорщиков и плохая организация привели к тому, что заговор был раскрыт. Последовали многочисленные казни. Нерон воспользовался удобным случаем, чтобы отделаться от неприятных ему лиц. Вынуждены были покончить с собой известный поэт Анней Лукан, писатель, автор "Сатирикона" Петроний, философ и драматург, воспитатель Нерона Люций Анней Сенека.

¹⁶⁸Трудно со всей определенностью сказать, что здесь имеет в виду Мабли. Остается предположить, что ему известно было сердечное увлечение де Сен-Реалья (племянница кардинала Мазарини Горгензия Манчини), которое повлекло за собой его двухлетнее пребывание в Лондоне при "дворе" обольстительной красавицы. Но возможно, что Мабли таким образом выразил свое несогласие с некоторыми оценками де Сен-Реалья, содержащимися в его богословских трудах.

- ¹⁶⁹Лукиан. Как следует писать историю 23.
- ¹⁷⁰"Родится смешная мышь" (Гораций. О поэтическом искусстве. 139).
- ¹⁷¹См. об этом в "Опыте о нравах..." Вольтера (Oeuvres complètes... Т. XVI. P. 361).
- ¹⁷²См. "Историю Карла XII" Вольтера (Oeuvres complètes... Т. XXIII. P. 205. 217—218).
- ¹⁷³См. там же. P. 219.
- ¹⁷⁴См. там же. P. 238.
- ¹⁷⁵См. об этом в "Опыте о нравах..." Вольтера (Oeuvres complètes... Т. XVI. P. 88).
- ¹⁷⁶См. об этом там же. Т. XVIII. P. 298—304.
- ¹⁷⁷Приведенное Мабли высказывание аббата Флэри относится к разделу IV предисловия к т. I "Histoire Ecclesiastique", который называется "Qualité du stile": "После того как здание возведено, удаляют леса, подъемные машины и крепления сводов. Не то, чтобы все сие осталось совсем без употребления; ведь это уже не потребовало бы особых забот и новых расходов, но все дело в том, что они бы только мешали и безобразили великолепие сооружения". Таким образом, ученый аббат стоял на той точке зрения, что критика источников должна быть отделена от собственно истории, ибо она "безобразит" историческое повествование.
- ¹⁷⁸*Du Veau J.-B.* Op. cit. P. 101.
- ¹⁷⁹Сущность искусства — украшать (Гораций. О поэтическом искусстве. 139).
- ¹⁸⁰Веллей Патеркул. Римская история. I, 2, 2. "Кто не удивится человеку, который теми же уловками добился смерти, какими малодушные обычно добиваются жизни" (перевод А.И. Немировского).
- ¹⁸¹Там же. II, 53, 2. "Но кто сохраняет память о благодеяниях при неблагоприятных обстоятельствах? И кто думает о долге благодарности по отношению к терпящим бедствие? И бывает ли, чтобы со счастьем не менялась верность?" (перевод А.И. Немировского).
- ¹⁸²"Быть мудрым — вот начало и источник того, чтобы правильно писать" (Гораций. О поэтическом искусстве, 309).
- ¹⁸³Геродиан. I, 10, 6; II. Мабли произвольно передает слова Геродиана.
- ¹⁸⁴Тит Ливий. XLV, 9.
- ^{185—186}Тит Ливий. XXXIV, 49—52.
- ¹⁸⁷"История, как бы ни была написана, развлекает".
- ¹⁸⁸Мабли приводит строки из третьей песни дидактической поэмы Н. Буало-Депрео "Поэтическое искусство". Пер. с франц. Э.Л. Линецкой (Буало. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 76).
- ¹⁸⁹См. примеч. 120.
- ¹⁹⁰Преторианская гвардия была создана Августом. Правда, преторская когорта существовала еще при республике в качестве личной стражи полководца (претора). В конце республики число преторских когорт дошло до трех. Август довел их число до девяти, и при нем солдаты, служившие в них, стали называться "преторианцами". У Саллюстия же ничего подобного тому, что говорит Мабли, нет: оба претора были посланы из Рима в Италию собирать войска, а сенат постановил: "чтобы в Риме охрану всего города несла ночная стража под начальством младших магистратов" (О заговоре Катилины, 30, 7; перевод В.О. Горенштейна). Младшие магистраты — плебейские эдилы и ночные тресвиры; последние несли полицейскую службу, тушили пожары и приводили в исполнение смертные приговоры.
- ¹⁹¹"События эти потрясли гражданскую общину и даже изменили внешний вид Города. После необычайного веселья и распущенности, порожденных долгим спокойствием, всех неожиданно охватила печаль: люди торопились, суетились, не доверяли достаточно ни месту, ни человеку, не вели войны и не знали мира; каждый измерял опасности степенью своей боязни. В довершение всего

женщины, охваченные страхом перед войной, — от чего они отвыкли ввиду могущества государства — убивались, с мольбой воздымали руки к небу, сокрушались о своих маленьких детях, всех расспрашивали и, забыв свою заносчивость и отказавшись от развлечений, не рассчитывали ни на себя, ни на отечество» (Там же, 31; перевод В.О. Горенштейна).

- ¹⁹²Тацит. *Анналы*. I. 25. «Друз стоял, рукою требуя молчания. Как только они поворачивали глаза к толпе, то оглашали воздух дикими возгласами, но, посмотрев на цезаря (т.е. Друза), снова испытывали тревогу: раздавался глухой ропот, страшный крик, и вдруг все успокаивалось, под влиянием различных душевных движений они то сами чувствовали страх, то других заставляли бояться» (Перевод В.И. Модестова). Упомянутый в тексте Друз являлся сыном императора Тиберия (Друз Младший, Юлий Цезарь — 13 г. до н.э. — 23 г. н.э.).
- ¹⁹³Германик Юлий Цезарь (15 г. до н.э. — 19 г. н.э.) племянник и приемный сын Тиберия, предполагаемый наследник его, знаменитый полководец. Марк Випсаний Агриппа (62—12 гг.), ближайший помощник Августа, его зять и предполагаемый наследник, выдающийся полководец. Мабли в данном месте совершает явную ошибку. Саллюстий, умерший в 35 г. до н.э., просто не мог писать ни о том, ни о другом. Смерть Германика описывает Тацит (*Анналы*, 69—72). О «скорби Агриппы» Тацит ничего не писал, поскольку этот хронологический период им не затрагивался ни в одном из сочинений. Возможно, у Мабли описка, и речь идет об Агриппине, дочери Агриппы и жене Германика (Там же, 75).
- ¹⁹⁴См. сочинение аббата де Сен-Реаля об известных событиях в Риме во II в. до н.э. вокруг реформ братьев Тиберия и Гая Гракхов: *Histoire de la conjuration des Gracques / Par Saint-Réal*. A Paris, 1745.
- ¹⁹⁵Луций Корнелий Цинна, консул 87 г. до н.э. После отъезда Суллы на войну с Митридатом Цинна совместно с вождем демократической партии Марией силой захватил власть в Риме, а после смерти Марии — в 85 и 84 гг. до н.э. единовластно правил всей западной половиной Римской державы.
- ¹⁹⁶Легендарное сражение трех братьев Горациев с тремя братьями Куриациями произошло при легендарном царе Тулле Гостилии во время войны Рима с городом Альба Лонга. Исход войны должен был решить поединок братьев. Куриации погибли, остался в живых один из братьев Горациев, и победа, таким образом, досталась римлянам (Тит Ливий. I, 24—25).
- ¹⁹⁷По сути дела, битвы как таковой не было. Римская армия во главе с обоими консулами (Ветурий Кальвин и Спурий Постумий) попала в ловушку в узком лесистом Кавдинском ущелье около города Кавдия во время войны с самнитами (321 г. до н.э.). Так как пробиться не удалось, а съестные припасы кончились, то консулы были вынуждены подписать позорный мир (Тит Ливий. IX, 2—6).
- ¹⁹⁸«Смотря один на другого, во взаимном удивлении, почти пораженные, они некоторое время молчали» (Тит Ливий. XXX, 30).
- ¹⁹⁹Тит Ливий. XLII, 49. Персей — царь Македонии (179—168 гг.). В войне с римлянами потерпел сокрушительное поражение и умер в плену в Риме. Македония как царство прекратила свое существование, будучи разделенной на четыре части. В каждой из них у власти была поставлена преданная Риму аристократия.
- ²⁰⁰Тит Ливий. XLV, 7—8.
- ²⁰¹Фракция Барки — сторонники Баркидов. «Барка» (молния) — прозвище отца Ганнибала, карфагенского политического деятеля и полководца. По словам Ливия (XXIII), рассказ Магона, брата Ганнибала, о победе при Каннах был встречен всеобщей радостью, и карфагенское правительство постановило отправить Ганнибалу подкрепление.

- ²⁰² "Это распоряжение [об отправке подкрепления], как это бывает при счастье, [карфагеняне] выполняли вяло и медленно" (Тит Ливий. XXIII, 14, 1).
- ²⁰³ "Того надо всегда опасаться римским полководцам, и эти примеры считать для себя уроком, чтобы не так уж верить помощи извне, дабы вспомогательной силы было бы больше, нежели их собственной" (Тит Ливий. XXIII, 15, 1).
- ²⁰⁴ *Histoires des Guerres et des négociations qui precederent le traité de Westphalie / Par le Père Bougeant, de la Compagnie de Jesus. T. II. A Paris, 1751. P. 5—6.*
- ²⁰⁵ *Ibid. T. I. P. 239.*
- ²⁰⁶ Вывод самого Мабли, основанный на высказываниях Цицерона в его трактатах, посвященных ораторскому искусству.
- ²⁰⁷ Лукиан. Как следует писать историю. 58, 59, 61.
- ²⁰⁸ "Красноречие пусть будет соответствовать самим делам".
- ²⁰⁹ "Красноречие должно поступать в угоду услаждения слуха".
- ²¹⁰ См.: Цицерон. Брут, 60; Оратор, 30.
- ²¹¹ Цицерон. Оратор, 234—235.

П.-Ф. Гюден де ля Бренейери.
Дополнение к сочинению
"О том, как писать историю"

- ¹ Гомер. Илиада. IX, 312—313 (Пер. Н.И. Гнедича).
- ² В примечании к своему переводу этого сочинения Лукиана аббат Жан-Батист Массье писал: "Г-н аббат де Мабли несколько лет назад опубликовал трактат о том, как писать историю, каковой, мы полагаем, во многом превосходит сочинение Лукиана порядком, ясностью, глубиной взглядов, богатством и выбором примеров. Наставления у обоих, в сущности, одинаковы настолько, что невозможно найти, что их отличает. В то же время Мабли многим обязан Лукиану и нужно также согласиться, что за первым из них преимущество, ибо мог он говорить о большем числе древних и новых историков разных эпох и народов. Поскольку, дабы вполне сравнить наблюдения Мабли с таковыми же нашего сочинителя, следовало бы привести всю книгу г-на аббата целиком, том мы удовольствуемся тем, что отошлем нашего читателя к сему сочинению, дабы он мог сравнить в этом случае обоих авторов" (*Oeuvres de Lucien, traduction nouvelle / Par M. l'Abbé Massieu, T. VI. A Paris, 1787. P. 20—21.*)
- ³ Ср.: *Histoire de la Guerre de Flandre, écrite en latin par Famianus Strada, de la Companie de Iesus / Mise en François par P. Du-Rier. 1^{er} partie. 1^{er} decade. A Paris, 1664. P. 65, 89, 160.*
- ⁴ "Приключения Жиль Блаза из Сантьяны" (1715—1735 гг.) Алена Рене Лесажа; "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1719 г.) Даниэла Дефо; "Кларисса" (1747—1748 гг.) Сэмюэла Ричардсона; "Дафнис и Хлоя", пасторальный греческий роман, приписываемый Лонгу (III—IV вв. н.э.).
- ⁵ Слова дон Карлоса из 7 явления V акта пьесы Корнеля "Дон Санчо Арагонский". См.: *Корнель П. Театр. М., 1984. Т. 2 (Пер. М. Донского).*
- ⁶ Марк Порций Катон (Младший), правнук Катона Цензора (Старшего), убежденный республиканец и противник Цезаря. После разгрома Цезарем сил республиканцев в Африке в 46 г. до н.э. Катон, не желая пережить падение республики, покончил жизнь самоубийством в г. Утике, за что получил прозвание "Утического".

В 1500 г. королева Изабелла, недовольная тем, что американские колонии не приносят ожидаемых выгод, воспользовалась известием о мятежах испанских колонистов в Эспаньоле и сместила Колумба с поста вице-короля, отстранив его от управления всеми открытыми им землями. Новый наместник, арестовав К., заковал в цепи его самого и обоих его братьев. В октябре 1500 г. К. был

отправлен в Испанию. По прибытии в Старый Свет он был освобожден из цепей, и, хотя в Гренаде при дворе ему был оказан милостивый прием, наместничество К. уже больше не возвратили и его надежды на справедливость оказались тщетными.

Самблансе, Жак де Бон де (1454—1527), сюринтендант финансов при короле Франциске I. Обвиненный в злоупотреблениях, С. был повешен, а имущество его конфисковано. После смерти С. был открыт истинный виновник и также повешен.

⁷Французский король Филипп II Август торжествовал победу 27 июля 1214 г. на поле битвы у Бувина (близ Лилля) над объединенными войсками германского императора Оттона IV, графов Фландрского и Бульонского, в результате чего бывшие английские владения Нормандия, Мен и Анжу были закреплены за Францией.

Король Иоанн II Добрый был пленен в ходе сражения французского рыцарского ополчения с войском английского принца Эдуарда Уэльского при Пуатье 19 сентября 1356 г. За выкуп короля Франция должна была внести 3 млн золотых гульденов.

Анри де ля Тур д'Овернь виконт де Тюренн, маршал Франции был убит в начале сражения при Засбахе 27 июля 1675 г. пушечным ядром.

⁸См. предисловия Лафонтена к т. I и т. II "Contes et nouvelles en vers... Nouvelle Edition corrigée et augmentée" (А Amsterdam, 1649).

⁹Приведенные Гюденом примеры *Passé simple* (*parfait historique*) иллюстрируют зияния, т.е. стечения двух или нескольких слогаобразующих гласных внутри слова, а в данном случае на стыке слов.

¹⁰Имеется в виду сочинение Мабли "О законодательстве или Принципы законов", в котором изложение построено в привычной для автора форме беседы, на этот раз между англичанином и шведом, к которой присоединяется и сам автор (рус. пер.: *Мабли. Избранные произведения*. М.; Л, 1950).

¹¹Поскольку примечание, помещенное Гюденом в конце его сочинения, касается численности парижского населения на протяжении XVIII в. и прямо не связано с «Дополнением к сочинению "О том как писать историю"», это примечание в настоящей публикации опущено.

¹²Гюден допускает неточности в своем перечислении: Сократ, Софокл и Эврипид не могли предшествовать Фукидиду (они все были современниками); в одно время жили Вергилий и Ливий.

¹³Приводимые Гюденом строки из Буало входят в песнь третью "Поэтического искусства". См.: *Буало. Поэтическое искусство* / Пер. с франц. Э.Л. Линецкой. М., 1957. С. 90.

¹⁴В дошедших до нас речах афинских ораторов трудно найти "восхваления" спартанцев.

¹⁵Гюден забывает о Ксенофонте, почитателе всего спартанского.

¹⁶Перу Геродота принадлежит общая история Греции — явное противоречие сказанному выше: "ни один грек не написал... историю всей Греции".

¹⁷Ксенофонт, кроме "Анабасиса", упоминаемого здесь, написал "Греческую историю", явившуюся своеобразным продолжением труда Фукидида.

¹⁸Речь идет о Томасе Ховарде, втором графе Эрондел (1585—1646), коллекционере, знаменитом, в частности, своей огромной коллекцией греческих мраморов, которые были описаны в "Marmorae Arundeliana" (1628).

¹⁹*Аристофан. Ахарняне*, 523—529.

²⁰По меньшей мере странное утверждение Гюдена. Во-первых, Фукидид никак не мог рассказывать стихами "Афиня", поскольку тот жил шесть столетий спустя. У Афиня, действительно, есть сюжет об Аспазии, жене руководителя Афин Перикла, где приводится анекдотическое объяснение причин возникно-

вения Пелопоннесской войны. При этом Афиней ссылается на указанное выше место из комедии Аристофана. Что же касается Фукидида, то, во-вторых, ничьих стихов по поводу войны он не приводит, и, в-третьих, вопреки мнению Гюдена, Фукидид ясно и четко указывает главную причину войны: антагонизм между Афинами и Спартой, особенно обострившийся к началу 30-х годов V в. (I, 18, 2—3; II, 8, 2). Стихи, приводимые Гюденом, не принадлежат Афиней, а являются вольной переработкой строк Аристофана, на которого делает отсылку Афиней. Гюден цитирует неизвестный (неопубликованный) перевод из Афиней на франц. яз. Ср.: *Banquet des Savants, par Athénée, traduit, tant sur les textes imprimés, que sur plusieurs Manuscrits, par M. Lefebvre de Villebrune. T. V. P., 1691. P. 49.*

²¹Пер. с франц. В.Е. Васильева.

²²Аспазия, знаменитая афинская гетера, родом из Милета, славилась не только своей красотой и образованностью, но и незаурядным умом. Перикл, оставив свою жену, мать двоих его законных детей, женился на Аспазии. Судя по всему, Аспазия имела на него большое влияние. Платон передает нам слова Сократа, что красноречию его обучала Аспазия (Менексен, 235 с., 236, В.-с).

²³Де Ту пишет в связи с этим в кн. 52 своей "Histoire universelle" (Т. IV. [1567—1573] A la Haye, 1740. P. 587): "По мере того как убивали сих несчастных, тела их бросали перед замком на глазах у короля, королевы и всего двора; и дамы с еще большим бесстыдством, нежели любопытством, высыпали целой толпой поглазеть на обнаженные тела, и сие столь страшное зрелище, по-видимому, отнюдь не причиняло им каких-либо беспокойств. Напротив, заметно было, как они пристально всматривались в тело барона де Пона, отыскивая причину или какой-нибудь явный признак того самого бессилия, каковое ставили ему в упрек".

²⁴Финикийцы похитили Ио, дочь царя Аргоса, эллины — Европу, дочь царя финикийского города Тир, а затем Медею, дочь царя Колхиды; и, наконец, троянцы, похитили Елену, жену спартанского царя Менелая (Геродот, I, 1—3).

²⁵Геродот. I, 8 сл.

²⁶Плутарх был уроженцем города Херонея в Беотии (средняя Греция) и вторую половину жизни провел на родине, где занимал разные общественные и государственные должности, и в частности, был архонтом своего родного города. Приводимые Гюденом плутарховы слова см.: *Плутарх. Моралии. Рассуждения о любви, 32.*

Амио, Жак (1513—1593), епископ Оксерский. Один из творцов французского литературного языка XVI в., А. закончил свой перевод "Сравнительных жизнеописаний", который посвятил королю Генриху II, и уже после этого приступил к переводу тех сочинений Плутарха, о которых говорил Гюден. См. "Les Oeuvres morales" (P., 1565—75).

²⁷Вызывает недоумение сюжет из Плутарха в изложении Гюдена. У Плутарха героическая рабыня носит совсем другое имя: "Филотида, которую иные называют Тутулой" (Ромул, 29; в биографии Камилла, 33 — "рабыня по имени Тутула, которую иные называют Филотидой"). Далее: Риму угрожали не галлы, а латиняне. О женах сенаторов ничего не говорится. Согласно легенде, латиняне, "то ли ища повода к столкновению, то ли в самом деле желая породниться, попросили у римлян свободно рожденных девушек и женщин" (Камилл, там же, перевод С.П. Маркиша). Камилл не носил прозвища "Филотис"; Филотидой звалась героиня-рабыня. Тут Ливий об этом эпизоде римской истории не упоминает.

²⁸В настоящее время эта точка зрения никем не разделяется.

²⁹В биографии Тесея Плутарха таких сведений не содержится; речь идет о Ферекиде и Клидеме, афинских историках V в. до н.э.

- ³⁰Бритомар — вероятно, вождь кельтских сенонов в верхней Италии. В 283 г. Б. был разбит консулом Публием Корнелием Долабелла и затем в отместку за убийство римских послов был приговорен к смерти. Конколитан — вождь галлов в III в. до н.э., стоявший во главе конфедерации различных альпийских народов; разбил римскую армию при Фезуле, но затем сам был разбит, взят в плен вместе с 10 тыс. своих воинов. Умер в тюрьме.
- ³¹Квинт Фабий Пиктор (род. ок. 254 г. до н.э.), был первым историком Рима, писал на греческом языке. Хронологический период, затронутый в его сочинении — от прибытия Энея в Италию до конца II Пунической войны. События своего времени он излагал подробно, а история предшествующего времени рассказана им лишь в общих чертах. Произведение Фабия не сохранилось и известно нам по цитатам других античных авторов.
- ³²Гай Асиний Поллион (76 г. до н.э. — 5 г. н.э.). Был приверженцем Цезаря и участвовал в гражданских войнах в качестве его офицера. После смерти Цезаря он примкнул к Антонию, впоследствии отошел от политической жизни и занялся искусством и литературой. Писал трагедии, стихи, был знаменитым судебным оратором. В области историографии известен сочинением о гражданских войнах, до нас не дошедшим. Сочинение обнимало историю 17 лет (60—44 гг.). Сохранилось лишь несколько отрывков произведения в работах других авторов. Историк по имени Крематий неизвестен.
- ³³Цитата из монолога персонажа комедии Ф. Пуассона (1682—1743). См. *Oeuvres de Monsieur Poisson; ou Recueil; contenant ses pièces de Théâtre, et autres Pièces de Poesies Galantes et Comiques*. Т. I. A Paris, 1743. P. 25.
- ³⁴Тит Ливий. XXI, 20.
- ³⁵Тит Ливий. XXXIX, 54.
- ³⁶Полибий. II, 24.
- ³⁷Гюден имеет в виду Жювенеля-дез-Юрзена (1388—1473), т.н. Жана II, магистра-та, прелата и историка. Ж.-д.-Ю. известен в особенности как автор "Хроники Карла VI" (1614).
- Во втором случае, вероятно, имеется в виду Жан де Ля Ваккери (нач. XV в. — 1497 г.), магистрат, прославившийся тем, что оказал достойное сопротивление Людовику XI в попытке короля завладеть Аррасом, а затем, будучи президентом Парижского парламента, — неоднократными выступлениями против финансовой политики короля.
- Мишель де Л'Опиталь (1507—1573), магистрат, сборщик налогов и сюринтендант финансов, канцлер Франции (1560 г.); деятельно занимался восстановлением общественного порядка посредством проведения разумных реформ и веротерпимости перед и в условиях гражданской войны во Франции.
- ³⁸Цезарь. Записки о Галльской войне, V, 24.
- ³⁹Веллей Патеркул. II, 111—114; Пиннет и Батон были вождями не германских племен, а далматских и паннонских племен, поднявших восстание, которое было подавлено после трехлетней борьбы (6—9 гг.). Патеркул ничего не сообщает о бегстве Арминия. Он сообщает только о разгроме Арминием легионов Вара (II, 118, 2-119). С Арминием воевал племянник Тиберия Германик, нанеся ему ряд поражений (15 г.). Об этом рассказывает Тацит (Анналы. I, 55 сл.).
- ⁴⁰О смерти Веллея ничего неизвестно. Гибель его после раскрытия заговора Сеяна в 31 г. — не более чем предположение, основанное на том обстоятельстве, что в произведении Веллея содержится похвала по адресу Сеяна, что, конечно, могло быть инкриминировано Веллею после казни Сеяна. Что касается "растерзания" Патеркула толпой, то это вымысел Гюдена.
- ⁴¹Светоний некоторое время (приблизительно в 119—121 гг.) был одним из секретарей Адриана (секретарь, "заведующий письмами"). О причинах увольне-

- ния Светония ничего определенно неизвестно. Рассказ Элия Спартиана об этом событии слишком неясен (Жизнеописание Адриана, XI, 3).
- ⁴²См. примеч. 54 к "О том, как писать историю".
- ⁴³Согласно легенде, Ромул убил своего брата Рема при основании Рима. О разных вариантах легенды см.: Тит Ливий. I, 6—7; *Плутарх*. Ромул, 9—10).
- ⁴⁴В данном случае Гюден домысливает и допускает неточность: о том, каким образом избавился Тарквиний от своей первой жены, источники ничего не сообщают; тело отца под свою колесницу он не приказывал бросить. По словам Ливия, это Туллия, вторая жена Тарквиния, погнала лошадей колесницы через труп своего отца, царя Сервия Туллия, только что убитого ее мужем (I, 46—48).
- ⁴⁵Тит Ливий. VIII, 18.
- ⁴⁶Там же. II, 19.
- ⁴⁷Там же. II, 23—24, 27, 31, 32.
- ⁴⁸Там же. III, 44—48 (децемвир Аппий Клавдий хотел захватить плебейскую девушку Вергинию. Ее отец, не желая отдавать дочь на позор, убил ее собственной рукой).
- ⁴⁹Там же. VIII, 28; Гюден преуменьшает значение того, что отныне (326 или 313 г. до н.э.) плебеи добились уничтожения долгового рабства.
- ⁵⁰Фраза из объяснений Вольтера к четвертой песне "Орлеанской девственницы". См.: *Вольтер*. Орлеанская девственница / Пер. М. Лозинского. М., 1971. С. 250.
- ⁵¹Валерий Максим, современник императора Тиберия. От него дошло до нас сочинение исторического характера "Замечательные дела и слова" в девяти книгах. По содержанию это сборник коротких исторических рассказов на разные нравоучительные темы. Цель автора — педагогическая, поэтому историческая сторона его не интересовала. Отсюда у него исторические неточности, хронологические ошибки. Однако сочинение все-таки имеет значительную ценность, потому что многое заимствовано Валлерием из недошедших до нас сочинений, в частности, из утерянных книг Ливия и др. У него много интересных сведений о религии, обычаях, учреждениях древних римлян, неизвестных нам из других источников.
- ⁵²Аммиан Марцеллин (ок. 332 г. — конец IV—начало V в.). Его исторический труд под названием "Деяния" заключал в себе описание событий 96—378 гг. и состоял из 31 книги. Но до нас дошли только книги XIV—XXX, обнимающие историю 353—378 гг. С XV книги выступает на политическую арену Юлиан, любимая историческая личность Аммиана, и остается на первом плане в 11 книгах, занимая выдающееся место во всем сочинении. В свое повествование автор вплетает много экскурсов разного содержания: географических, физико-математических, философско-религиозных, социальных. Сочинение Аммиана имеет огромное историческое значение. В нем дается правдивое описание событий, сделанное очевидцем и участником. Аммиан старается подражать Тациту, историю которого он взялся продолжать, хотя, конечно, он не может идти в сравнение со своим образцом.
- ⁵³Питу, Пьер (1539—1596), законовед и писатель. Прокурор Парижского парламента, П. был автором многих трудов по вопросам права, истории галликанских духовных учреждений, собранных и изданных в 1609 г. под названием "Petri Pithoei opera sacra". Впервые опубликовал "Fables de Phèdre" (1596) и "Pervigilium Veneris", издавал Квинтилиана, Петрония и проч.
- Шиффле, Жан-Жак (1588—1660), врач эрцгерцогини Изабеллы, правительницы Бургундии и Нидерландов, затем короля Филиппа IV. Большинство его законоведческих и богословских сочинений было собрано и издано под названием "Opera politica et historica" (1652).
- ⁵⁴Упрек Гюдена справедлив. Тацит неоднократно говорит о Гельвидии Приске (История. II, 91; IV, 4—8, 43, 53; *Анналы*. XVI, 35; *Агрикола*, 2), но не сообщает

о его казни при Веспасиане. Без сомнения, об этом могло говориться в не-
дошедших до нас книгах. О смерти Гельвидия пишет Светоний (Веспаси-
ан, 15).

⁵⁵ Литературный памятник. Жизнеописания Августов представляют собой сбор-
ник биографий императоров, составленный разными лицами и собранный в од-
но целое. В сборнике заключается история императоров, правивших в 117—
284 гг. Авторы биографий имеют в виду прежде всего занимательность расска-
за для читателя, интересующегося мелочами личной жизни императоров, а не
политическими событиями. Тем не менее сочинение важно и интересно, так
как в нем содержатся известия, которых нигде более нет в литературе. Авторы
рисуют яркую картину быта и нравов того времени.

Далее имеется в виду "Библиотека" или "Мириабиблон", составленная
константинопольским патриархом Фотием (820—886) и содержащая извлечения
и отрывы от прочитанных сочинениях грамматиков, риторов, историков, врачей
и проч.

⁵⁶ "История Флоренции" (1520—1525, опубли. в 1532 г.) — одно из наиболее значи-
тельных произведений Макиавелли, в котором по существу освещена полити-
ческая история не только Флоренции, но и всей Италии. "Принципы" Макиа-
велли, приводящие Гюдена "в трепет", — это, разумеется, принципы, излагае-
мые Макиавелли в "Государе" (1513).

⁵⁷ Гвичардини, Франческо (1483—1540), историк, выдающийся знаток политичес-
кой истории Италии. "Storia d'Italia" Г. была написана в 1537—1540 и опублико-
вана в 1561—1564 гг. В ней впервые историк дал историю не отдельных госу-
дарств, а страны в целом.

Джанноне, Пьетро (1676—1748), неаполитанский историк. Над "Storia civile
del regno di Napoli" (1723 г.) Д. трудился около 20 лет, снискал большую извест-
ность и место юридического консультанта правительства. Д. навлек на себя
преследование со стороны духовенства за осуждение папской политики, был
отлучен от церкви, бежал в Вену, где получил пенсию от императора Карла VI.
Поселившись в Женеве, Д. опубликовал сочинение "Il Triregno, ossia dei regno
terreno, celesto e papale" (1736 г.) против папства и некоторых католических дог-
матов. Завлеченный на савойскую территорию, Д. был арестован. Умер в ту-
ринской тюрьме после долгого заточения. Гюден имеет в виду сочинение Воль-
тера "Les droits des hommes et les usurpations des Papes", где он "вступился" за
Джанноне (Voltaire. Oeuvres complètes... Т. XXVII. P., 1879. P. 197).

⁵⁸ Притом что священнослужители не ведут такую жизнь, чтобы они могли пе-
редать многие из своих добродетелей другим, в [лоне] церкви создается не-
кое сокровище, восполняемое добродетелями тех, кто владеет оными в изобилии,
сами по себе... откуда возникает трудность, состоящая в том, чтобы они
поделились добродетелями с другими, а ведь есть море необъятное добродете-
лей Христа.

** Всех рьянее ополчился на Мартина Лютера в своих писаниях брат Джакомо
Ггострато, доминиканец и инквизитор, каковой, исходя из этих доводов, при-
зывал папу римского убедить Мартина огнем, железом и костром. L.I. page 6,
издание 1619 (Перевод А.М. Косс).

⁵⁹ См.: The Life of George Buchanan, written by Himself, Two Years before His
Deast // The History of Scotland. Written in tin, by George Buchanan... L., 1690.

⁶⁰ "Грубая, беспорядочная сила" (Овидий. Метаморфозы / Пер. А. Фета. Кн. 1).

⁶¹ Упомянув об этой скандальной песенке, Гонкуры относят ее ко времени войны
во Фландрии в 1744 г., но, приводя этот факт, сообщают, что старые служилые
офицеры учили этой песенке тех, кто ее не знал. Таким образом, она могла
быть сочинена и ранее (Goncourt E. et J. Les Maitresses de Louis XV. Lettres et
documents inédits. T. I. P., 1860. P. 131). Источник Гюдена не установлен.

- ⁶² См. об этом: Григорий Турский. История франков. М., 1987. С. 48.
- ⁶³ Voltaire. Oeuvres complètes... Т. XII. Р., 1785. Р. 51.
- ⁶⁴ Боссюэ был назначен наставником дофина в 1670 г. и именно для этого бесчеловечного принца он написал лучшие свои сочинения: "Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même", "La Politique tirée de l'Écriture sainte" и др./В 1681 г. воспитание дофина было закончено, и Боссюэ получил епископство в Мо.
- ⁶⁵ Роллэн, Шарль (1661–1741), историк и педагог. После блистательного окончания университетского коллежа ("божественный ученик") Р. в 22 года стал преподавателем, затем получил кафедру Коллежа Плесси-Сорбонн; несколько раз был ректором Университета. Подвергался преследованиям за близость к яansenизму. Р. было 59 лет, когда он приступил к "Traité des études" (1726–1731), 67 – когда он стал писать "Histoire ancienne" (1730–1738) и 76 – когда он начал "Histoire romaine" (1738). Благородство и легкость слога, занимательность и связность изложения отмечали современники в "Древней истории" Р.; позднейшая историография причисляла сочинение Р. к компилятивным трудам при полном отсутствии критики источников.
- ⁶⁶ "Законы XII таблиц" – важный памятник середины V в. до н.э. Запись законов явилась крупным успехом многолетней борьбы плебеев против патрицианских магистратов. В основном "Законы" являются записью обычного права, однако законодатели были вынуждены внести туда кое-что новое, в результате чего получилась пестрая смесь законодательных норм, иногда противоречивых (гальон и штраф; родовое наследование и свобода завещания; суровое долговое право и конституционные гарантии). Кодификация имела огромное значение не только в истории сословной борьбы, но и в развитии римского права. "Законы XII таблиц" легли в основу богатого юридического творчества, которое шло на всем протяжении римской истории и оказало огромное влияние на развитие правовых представлений Европы в средние века и новое время.
- ⁶⁷ Речь идет об аббате Луи Ле Жандре (1655–1733), который был известным проповедником, секретарем архиепископа Парижского, был назначен каноником Нотр-Дам, но затем получил аббатство Клэрфонтен (Шартр) и умер в Париже. Гюден имеет в виду его "Nouvelle Histoire de France depuis le commencement de la monarchie jusqu'à la mort de Louis XIII" (Р., 1718) и, разумеется, "Moeurs et coutumes des Français dans les premiers temps de la monarchie" (1712 г.). Некоторые интересные историографические заметки аббата см. в его "Memoires" (Р., 1863).
- ⁶⁸ Мэзерэ потерял пенсию потому, что не захотел в угоду Кольберу переписывать "Abregé de l'Histoire de France", где было много собственных суждений относительно целесообразности габели, о диме и прочих налогах. В ответ на частичное, а затем и полное лишение его пенсии М. написал упоминаемое Гюденом сочинение, направленное против генеральных откупщиков. М. был столь непримириим к ним, что часто говорил: "Я храню два эяку; один – чтобы заплатить за место на Гревской площади в день казни откупщика, другой – чтобы выпить, когда он будет повешен".
- ⁶⁹ Букэ, дом Мартэн (1635–1754), бенедиктинец, библиотекарь аббатства Сен-Жермен де Пре. Отказавшись от этого места, Б. посвятил себя целиком ученым занятиям. По предписанию своей конгрегации Б. занимался проектом опубликования собрания исторических сочинений о галлах и Франции, в котором принимал участие Кольбер и которое Мабийон посчитал выше своих сил. В 1738 г. Б. издал "Rerum gallicarum et francicarum scriptores"; выпустив восемь томов и начав девятый, умер.
- ⁷⁰ Клеман, дом Франсуа (1714–1793), монах-бенедиктинец, которому конгрегация поручила продолжить "Histoire littéraire de la France". К. завершил т. XI, переписал т. XII и подготовил материалы к т. XIII. Вслед за преподобным

- Одикье, написавшим тома IX—XI, К. подготовил к "Recueil des historiens de France" тома XII и XIII. Кроме этого, К. опубликовал новое издание "Art de verifier des dates" дома Клемансе (1770 г.) и в течение 13 лет работал над третьим изданием этого сочинения (Р., 1733—84). Этот труд является одним из лучших памятников французской эрудиции XVIII в.
- ⁷¹Мартэн, дом Жак де (1684—1751), бенедиктинец-эрудит, занимался главным образом исследованиями о происхождении галлов и кельтов. Главное сочинение М. — "La Religion des Gaules" (1727).
- ⁷²Совместно с преподобным Ж. Брезийяком дом Мартэн написал "Histoire des Gaules et des conquetes des Gaules" (1752—1754).
- ⁷³Риве де Ля Гранж, Антуан (1683—1749), ученый-бенедиктинец. После разного рода занятий, в том числе и теологией, Р. должен был сосредоточиться на порученной ему конгрегацией истории знаменитых членов ордена Сен-Бенуа, но оставил этот труд ради "Histoire littéraire de la France" (1733 г.), которую писал, отвлекаясь на другие сюжеты вместе с другими авторами-братьями (Ж. Дюклу, М. Понсе и др.). С разной степенью участия Р. это сочинение, пользующееся до сего времени устойчивой репутацией, было доведено до девятого тома, который вышел в 1750 г.
- ⁷⁴Сент-Март, Дени дом де (1650—1725), ученый-бенедиктинец, в большей степени принимавший участие в текущей религиозной жизни ордена, достигнув в нем высших должностей. В 1710 г. конгрегация поручила С.-М. возобновление начатой его родственниками-предшественниками "Gallia christiana". С.-М. привлек к этой многотрудной работе тех, кого упоминает Гюден. Первый том появился в 1715 г., остальные три — в 1720—1728 г. Дени де С.-М. был последним выдающимся представителем ученой семьи С.-М.
- ⁷⁵Это издание, начатое Сцеволой II де С.-М. (1571—1650) и Луи де С.-М. (1571—1656), братьями-близнецами и сотрудниками, было выпущено в свет в 1656 г. Брат Сцеволы III де С.-М. (1618—1690), королевского историографа — Абель-Луи де С.-М. также участвовал в составлении "Gallia christiana".
- ⁷⁶Монфокон, Бернар де (1655—1741), ученый-бенедиктинец. Гюден имеет в виду его труд "Monuments de la Monarchie française (1729—1733), но перу М. принадлежит также "Palaeographia graeca" (Р., 1708), в состав которой вошли описания орудий письма, история греческого алфавита до IV в., заметки о восковых и прочих печатях на императорских хрисовулах и многое другое. Для написания этого сочинения автор изучил 11 630 рукописей из разных библиотек.
- ⁷⁷Фелибьен, дом Мишель (1666—1719), сын А. Фелибьена, архитектора и историографа. Бенедиктинец конгрегации Сен-Мор, Ф. составил "Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denis" (1706 г.) и "Histoire de la ville de Paris" (1710 г.), которую продолжал дом Лобино.
- ⁷⁸Лобино, дом Ги-Алексис (1666—1727), историк-бенедиктинец Сен-Мелэн де Ренн, по поручению конгрегации занимался изучением истории Бретани, точнее, тем, что осталось незаконченным после преподобного Ле Галлуа, выпустил "Histoire de Bretagne" (1707 г.). Книга вызвала оживленную дискуссию среди историков. Позднее Л. еще не раз обращался к истории Бретани, написав "Histoire des saints de la province de Bretagne" (1723) и др. сочинения.
- ⁷⁹Вессетт, дом Жозеф (1685—1756), историк. Будучи монахом аббатства Сен-Жермен де Пре, В. с 1715 г. вместе с тремя своими товарищами был занят составлением истории Лангедока, о чем просили бенедиктинцев штаты этой провинции. Первый том "Histoire de Languedoc" вышел в 1730 г. Второй том был написан В. почти целиком без сотрудников, как и остальные три тома.
- ⁸⁰Пер. с франц. Э.Л. Линецкой. См.: Расин Ж. Британик // Расин. Сочинения. М., 1984. Т. I. С. 322.
- ⁸¹Действительно, г. 28 "Histoire de France, depuis l'établissement de la Monarchie,

jusqu'au Règne de Louis XIV / Par M. Garnier, Historiographe du Roi..." (A Paris., 1781) заключает в себе историю Франциска II от 1559 до 1560 г.

В предыдущем абзаце речь идет о Клоде Вилларэ (1716—1766), историке, который и в самом деле одно время связался с комедиантами провинциальной группы, но затем образумился и написал несколько томов незаконченной "Истории Франции аббата де Велли, умершего в 1759 г. Сочинение было им продвинуто с VII по XVII том. Критика отмечала стиль и живое повествование, глубину мысли, но существовало мнение, что В. воспользовался в значительной степени тем, что осталось после Велли.

⁸²Милло, Клод-Франсуа-Ксавье (1726—1785), историк. Поначалу иезуит (до 1757 г.), затем великий викарий архиепископа Лиона. По рекомендации герцога де Нивернуа в 1768 г. М. занял кафедру истории в дворянском коллеже в Парме. Член Французской Академии (1777 г.). М. был автором многих сочинений, среди прочих: "Elements de l'histoire de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XV" (P. 1767—1769, 3 vol.), "Elements de l'histoire d'Angleterre" (P. 1769, 3 vol.), "Abrégé de l'histoire romaine" (P. 1772), "Elements de l'histoire ancienne" (P. 1772. 4 vol.).

⁸³Лонгеваль, Жак (1680—1735), писатель, иезуит. В течение многих лет занимался литературой и теологией, опубликовав между прочими такие сочинения, как "Traité du schisme" (Bruxelles, 1718) и восемь томов "Histoire de l'Eglise gallicane" (Paris, 1730—1749), к которым преподобные Брюмуа и Бертье добавили 10 томов продолжения. Бертье, Гийом-Франсуа (1704—1782), ученый-иезуит, редактировавший "Journal de Trévoux" (1745—1763) и непрестанно ссорившийся с Вольтером и энциклопедистами, опубликовал «Réfutation du "Contrat social"» (1789 г.) и вслед за преподобным Брюнуа продолжил (1742 г.) "Histoire de l'Eglise gallicane", написав 6 последних томов.

⁸⁴Гриффе, Анри (1698—1771), иезуит, историк. Профессор Коллежа Людовика Великого и королевский исповедник. Помимо прочих ученых трудов им была издана "Histoire de France" преподобного Даниэля (1755—1758), к которой Г. добавил "Histoire de Louis XIII" и "Journal du règne de Louis XIV", а также собственные суждения, вкрапленные в текст Даниэля.

⁸⁵Кагрю, Франсуа (1659—1737), иезуит, проповедник и литератор. Один из основателей и редакторов "Journal de Trévoux" (1701 г.). Автор исторических сочинений: "Histoire générale du Mogol" (1702 г.), "Histoire du fanatisme des religions protestantes, de l'anabaptisme, du davisme etc" (1733 г.).

⁸⁶Вероятно, имеется в виду "Histoire du Paraguay sous les jesuites et de la Royauté qu'ils y ont exercée pendant un siècle et demi..." (Т. 1—3. A Amsterdam et à Leipzig, 1780). Речь далее идет об "Histoire générale de la Chine" (P. 1777—83, 12 vol.), которую написал великолепный знаток искусства и литературы Китая, иезуит, преподобный Жозеф-Анн-Мари де Майя (Майяк) (1679—1748), сделанный императором Канси мандарином за то, в частности, что, по поручению императора, составил в 1708 г. общую карту Китая.

⁸⁷Гюден имеет в виду "Abrégé chronologique de l'histoire de la Chine depuis l'époque la plus reculée", сочинение XIII в., которое преподобный Майя перевел и включил в свою "Histoire générale de la Chine".

⁸⁸Канси (1662—1722), китайский император из маньчжурской династии Цин, правившей с 1636 по 1911 г. Об этом и других проектах императора Канси см. в "Китайских и индийских письмах" Вольтера: *Voltaire, Oeuvres complètes...* Т. XLVII. P. 248—252.

⁸⁹Дюканж (Дю Канж), Шарль (1610—1688), выдающийся эрудит, византист, лингвист. Гюден имеет в виду его колоссальный труд "Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis" (1678 г.) в трех томах, где автор не ограничивается обычной задачей лексикографов, но знакомит с политикой, бытом, правами и

- учреждениями средних веков. Словарь — результат пятидесятилетней эрудиции Д.; толкования настолько обширны, что представляют самостоятельный интерес. За введением, где речь идет о причинах порчи латыни, следует каталог почти пяти тысяч латинских авторов и затем сам словарь на 14 000 слов.
- ⁹⁰Балюз, Этьенн (1630—1718), историк. Благодаря покровительству архиепископа Тулузского Б. получил место библиотекаря у Кольбера (1667 г.) и должность профессора канонического права. Большую известность приобрел критикой документов, относящихся к церковной истории и каноническому праву. Им было издано 45 и подготовлено 115 сочинений прежних времен. Гюден имеет в виду сочинение Б. *"Capitularia regum Francorum"* в двух томах, изданное в Париже в 1677 г. Гюден мог знать его сочинение по-французски *"Histoire des capitulaires des rois français sous la première et la seconde race... La Haye, 1755."*
- ⁹¹Буршелю, Жан-Пьер Море де, маркиз де Вальбонэ (1651—1730), магистрат и историк. Советник Гренобльского парламента, президент Счетной палаты и Государственный советник. Член Академии надписей и изящных искусств (1728 г.). Среди его многочисленных трудов отметим *"Mémoires pour servir à l'Histoire du Dauphiné, sous les Dauphins de la Maison de La Tour-du-Pin"* (1711 г.), *"Histoires abrégée de la donation du Dauphiné, avec la chronologie des princes qui porté le nom de Dauphins"* (1769 г.).
- ⁹²Буие, Жан (1673—1746), магистрат, ученый, один из выдающихся эрудитов своего времени. Французская Академия изменила правила приема новых членов специально для того, чтобы принять Б. Д'Аламбер сказал о нем: "Он перетряхивает все, он обнимает все; он ищет доказательства во всех родах сочинительства и в большинстве своем он создает замечательные произведения". Советник Дижонского парламента (1692 г.) и его пожизненный президент (1703 г.). Основатель Дижонской академии и знаменитой библиотеки. О трудах Б. см.: *Guerrois des Ch. Le Président Bouhier, sa vie, ses oeuvres et sa bibliotheque. P., 1855.*
- ⁹³Лорьер, Эзеб-Жакоб (1659—1728), законовед, много занимавшийся историческими исследованиями. По поручению Людовика XIV составил коллекцию королевских ордонансов и опубликовал свой труд под названием *"Ordonances des rois de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique"*.
- ⁹⁴Секусс, Денъ-Франсуа (1691—1754), ученый-эрудит, изучал право, затем занялся историей. Член Академии надписей и изящной словесности (1722 г.). В 1728 г. С. был привлечен к продолжению издания *"Коллекции королевских ордонансов"*, начатой Лорьером. Среди прочих трудов С. следует отметить *"Table chronologique des diplômes relatifs à l'histoire de France"* (1755 г.). Брекиньи, Луи-Жорж Удар Федрикс де (1714—1794), эрудит, один из замечательных представителей французской учености. Член Академии надписей (1759 г.) и Французской Академии (1772 г.). Б. сотрудничал во многих ученых изданиях XVIII в., в том числе при составлении *"Recueil des Ordonnances des rois"* и *"Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant à l'histoire de France"*.
- ⁹⁵Пелутье, Симон (1694—1757), протестантский пастор и историк. После служения в церквях Буххольтца, Магдебурга и Берлина П. стал церковным советником и ассесором верховной консистории, затем директором французского коллежа. В 1740—1750 гг. П. написал и опубликовал *"Histoire des Celtes"*, для которой (при всех достоинствах этого сочинения) характерно некоторое преувеличение исторической роли кельтов; благодаря этому труду П. занял достойное место среди историков и был почтен Академией надписей и изящной словесности (1742 г.). В 1743 г. П. стал членом Берлинской Академии наук.
- ⁹⁶См. примеч. 97.
- ⁹⁷Гинь, Жозеф де (1721—1800), синолог. Непременный секретарь при королевской

- библиотеке (1745 г.). Член Академии надписей и изящной словесности (1754 г.). Профессор Коллеж де Франс (1757 г.). Хранитель отдела древностей в Лувре (1769 г.). Автор многих сочинений, в том числе: "Histoire général des Huns, Turcs, Mogols et autres Tartares occidentaux avant et après Jésus-Christ et jusqu'à présent".
- ⁹⁸ Пейсонель (1727—1790). Как это ни парадоксально, его имя осталось неизвестным (Biographie universelle... Т. 33. Р. 1823. Р. 557). Занимал дипломатические должности консульского ранга. Назначенный консулом в Крым (1753 г.), П. собирал материал для сочинения о черноморской торговле (Р., 1787). Консул в Смирне (1763 г.). П. обладал обширной эрудицией и был талантливым стилистом. Гюден имеет в виду его "Observation historiques et géographiques sur les peuples barbares qui ont habité les bords du Danube et du Pont-Euxin" (Р., 1765). Автор многих сочинений по актуальным вопросам тогдашней политики в Европе.
- ⁹⁹ Буа-Нансэ, Луи-Габриэль дю (1731—1787), граф. Дипломат и историк. После посольской деятельности в Дрездене и Регенсбурге Б. оставил дипломатическую карьеру (1776 г.) и занялся исключительно историей. Написал и опубликовал "Origines ou l'Ancien Gouvernement de la France, de l'Italie et de l'Allemagne" (1757 г.), "Histoire ancienne des peuples le l'Europe" (1772 г.) и др.
- ¹⁰⁰ "Записки" начали выходить с 1701 г. Затем под названием "Histoire et mémoires de l'Academie des inscriptions et belles-lettres" с 1717 по 1793 г. было выпущено 50 томов. После этого издание продолжалось под другими названиями.
- ¹⁰¹ По этому поводу в биографии Вольтера Кондорсе пишет: "Вольтеру по возвращении из Англии пришла в голову счастливая мысль познакомить французов с философией, литературой, взглядами и пристрастиями, бытующими в Англии, и он сочинил письма об англичанах (под разными названиями письма вошли в собрание сочинений Вольтера и главным образом в "Философский словарь". — С.И.). Ньютон, ни философских воззрений которого, ни системы мира, ни даже опытов со светом во Франции не знали; Локк, книгу которого во французском переводе читал только узкий круг философов; Бэкон, знаменитый во Франции лишь тем, что был канцлером; Шекспир, гений которого и грубые ошибки суть феномен истории литературы... — таковы были главные предметы, о которых трактовалось в этих письмах..." (Voltaire, Oeuvres complètes... Т. 70, Р., 1785. Р. 28—29). См. некоторые из упомянутых писем: Ibid... Т. 47. Р. 346—359), а также заметки об английской комедии и трагедии. Ibid. Р. 272—315.
- ¹⁰² Вероятно Гюден имеет в виду "An Universal History from the Earliest Account of Time to the Present" (Vol. 1—22. London, 1737—1744).
- ¹⁰³ Нантский эдикт (1598 г.), подписанный Генрихом IV, определял отношения между католиками и протестантами: при известных условиях им разрешалось исповедовать свою веру, открывать свои школы и проч. См. в связи с этим биографию Рапена де Туара, вошедшую составной частью в предисловие к его "Histoire de l'Angleterre" (Т. I. Р. CI—CIXVj).
- ¹⁰⁴ Раймер, Томас (1641—1713), английский литератор и историк, автор тщательно и скрупулезно документированных сочинений, например "The Antiquity, power and decay of Parliaments" (1684). Королевский историограф (1690 г.). Самым значительным и известным его сочинением является публикация обширного собрания документов (Rymer's Foedera, 1704—1713). Ряд документов из публикаций Раймера вошел в качестве приложений в многотомную историю Англии Рапена де Туара.
- ¹⁰⁵ См.: *Rapin de Thoyras. Histoire d'Angleterre. Т. I. Р. CXXXvj* (Введение).
- ¹⁰⁶ Дюшен (по обычаю эрудитов XVIII в. имя имело латинскую форму Chesneus), Андре (1584—1640). Автор многих ученых трудов по истории, географии и топо-

графии. Гюден имеет в виду его "Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et Irlande" (Р., 1614). Д. много занимался также генеалогией дворянских родов, житиями святых. Упомянутый Гюденом Исаак де Ларрей (1638—1710) — историк, историограф Генеральных Штатов Голландии и чтец прусской королевы Софии-Шарлотты, автор сочинения "Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Italie avec un abrégé des événements les plus remarquables arrivés dans les autres Etats" (Vol. 1—4. Rotterdam. 1697—1713).

¹⁰⁷Вероятно, Гюден имеет здесь в виду то обстоятельство, что Вергилий в "Буколиках" подражает Феокриту, а в "Энеиде" — Гомеру, оставаясь при этом самим собой.

¹⁰⁸См. примеч. XLIV к "Введению" У. Робертсона: "Histoire du Regne de l'Empereur Charles-Quint, précédée d'un Tableau des Progrès de la Société en Europe..." Т. II. A Amsterdam, 1771. P. 421.

¹⁰⁹*Voltaire. Les Epitres sur le bonheur, la liberté, et l'envie.* A Amsterdam, 1738. P. 27.

¹¹⁰Мимо этого пассажа из "О том, как писать историю" не мог пройти не только Гюден, но и все те, кто хотел бы видеть в сочинении Мабли одну лишь критику по адресу Вольтера. Так, в "Correspondance litteraire" вместе с критическими заметками об этом сочинении Мабли была помещена эпиграмма маркиза де Хименеса:

Глупец Вольтер понятно отчего
Не видел дальше носа своего:
Хваливши Кондильяка, он, однако,
Был разных мнений с братом Кондильяком.
(Пер. В.Е. Васильева)

Эпиграмма какого-то салонного шаркуна на только что опубликованную книгу на первый взгляд вполне безобидна сравнительно с прочими материалами "Переписки", руководившей вкусами весьма узкого круга. Тем не менее, будучи помещенной только в "Переписке", эпиграмма заведомо становилась известной и в литературной среде, а это могло представлять серьезную опасность, если Мабли не совсем было безразлично общественное мнение (*Correspondance litteraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal...* Т. 13. P. 1880. P. 234).

Остается добавить, что О.-Л. маркиз де Хименес (1726—1817), посредственный поэт-драматург, лестно расположил расположение фернейского "отшельника" и даже имел претензию породниться с ним. Уличенный в краже рукописи какого-то сочинения Вольтера, маркиз был отставлен от дома, но вскоре вновь вошел в милость хозяина, согласившись сочинить памфлет против Руссо ("Lettres sur la nouvelle Héloïse", 1761). Вообще же, по отзывам современников, нравы и "приемы" маркиза были настолько скандальны, что даже для своего, далеко не скромного, в нравственном отношении, времени он был одной из самых заметных фигур тогдашнего света.

¹¹¹См. этот эпизод в сочинении маркиза де Кондорсе "Vie de Voltaire" // *Oeuvres completes de Voltaire.* Т. 70. P., 1789. P. 152—153: "Американский философ представил ему своего внука, прося для него благословения. *God and Liberty*, — произнес Вольтер, — вот единственное благословение, которое подходит для внука Г-на Франклина..."

¹¹²Отзыв Гиббона о встрече с Мабли на обеде у своего друга Фонсемана см.: *Gibbon E. The Autobiographies.* L., 1896. P. 314—315. Фонсемань, Этьенн-Лореоль де (1694—1779), литератор, член Французской Академии (1722 г.) и Академии надписей (1737 г.), Ф. опубликовал несколько сочинений по истории французской монархии, выступал против Вольтера в известной полемике о подлинности

- "Политического завещания" кардинала де Ришелье, которое опубликовал в 1764 г.
- ¹¹³О переводе Леклерка де Сетшена высоко отозвался У. Робертсон в предисловии к своей "Histoire de l'Amérique" (Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée... T. I. A Amsterdam, P. XXIX).
- ¹¹⁴Строки из первой песни "Поэтического искусства" Буало. См.: Буало. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 62 (Перевод Э.Л. Линецкой).
- ¹¹⁵Остальные тома сочинения Гиббона в переводе на французский язык ко времени написания Мабли "О том, как писать историю" еще не были опубликованы. Издание, начатое в 1777, было завершено в 1795 г.
- ¹¹⁶Трудно с определенностью сказать, что здесь имеет в виду Гюден, но, по всей вероятности, речь идет о месте из глав 15 или 16 первой части, где Гиббон излагает историю утверждения христианства, трактуя некоторые события с точки зрения иронического гуманизма XVIII в. Критика этих глав была настолько серьезна, что автору пришлось написать "A vindication of some passage in the fifteenth and sixteenth chapters of the History of the Decline and Fall of the Roman Empire" (L., 1799), доказывая, что будучи историком, он не может вступать в полемику, становясь на богословскую почву.
- ¹¹⁷См. об этом сочинении примеч. 122 к "О том, как писать историю".
- ¹¹⁸Notice sur la vie de Duclos et sur ses mémoires // Mémoires secrets sur les régnes de Louis XIV et de Louis XV / Par Duclos (Nouvelle Collection des mémoires pour servir à l'histoire de France... T. X. P., 1859).
- ¹¹⁹См. примеч. 123 к "О том, как писать историю".
- ¹²⁰См. эту цитату в предисловии Дюкло к "Истории Людовика XI" (Histoire de Louis XI. Par M^r Duclos, de l'Académie Royale des Belles-Lettres. T. I. A Amsterdam, 1746).
- ¹²¹См. цитированные Гюденом строки в сатире IX: Oeuvres diverses du Sr. Boileau Despreaux, avec le traité du sublime, ou du merveilleux dans le Discours... T. I. A Amsterdam, 1711. P. 57.
- ¹²²Первые три тома своей "Естественной истории" Жорж-Луи-Леклерк де Бюффон (1707—1788) посвятил теории земли и естественной истории человека, четвертый — домашним животным (лошади, ослу и быку), одиннадцать следующих — животным, десять книг было отведено птицам и т.д. ("Histoire naturelle générale et particulière". 1749—1789). Разумеется, одному Б. не под силу было бы осуществить этот грандиозный проект; ему помогли, но многое было написано им самим. Своими красочными, неподражаемыми и увлекательными описаниями отдельных представителей животного мира Б. по праву заслужил титул "живописца природы". Обладая богатейшей эрудицией и интуицией, Б. предвосхитил в своей "Истории" целый ряд крупных научных открытий и оставил после себя сочинение, которое легко в основу последующих исследований (Кювье).
- ¹²³См.: Boileau. Op. cit. P. 145.
- ¹²⁴В первом своем сочинении "Теория земли" (1749 г.) Бюффон выдвинул гипотезу об образовании земного шара как осколка, оторванного от Солнца падением на него кометы и постепенно остывавшего до самого центра. Интуитивные догадки Б. могли быть подтверждены или опровергнуты в результате научных исследований английского астронома Уильяма Гершеля, с начала 80-х годов XVIII в. занимавшегося астрономическими наблюдениями и изучением движения Солнечной системы. Планета, открытая Гершелем, — Уран (1781 г.).
- ¹²⁵Добавим, что, несмотря на внешние проявления негодования, все свелось к соблюдению чистых формальностей потому, что генеральный адвокат Сежье предупредил Райналя, министерство сделало вид, что ничего не произошло, и аббат имел достаточно времени, чтобы позаботиться о безопасности своей собственности и личной безопасности. Он покинул свой дом в Курбеува и пере-

ехал в Спа, где был принят блестящим обществом, как принимали тогда гонимых ученых. Однако в мае 1781 г. последовало постановление парламента о сожжении "Философской истории" рукою палача, об аресте автора и конфискации имущества, но это уже не имело последствий. "Изгнание" Рейнеля превратилось в его триумф, ибо везде, куда бы ни направлялся "изгнанник", он был достойно принят, причем монархи соперничали между собой, принимая у себя прославленного сочинителя. Во Францию Р. вернулся в 1787 г. после того, как друзья добились для него разрешения поселиться вне Парижа.

¹²⁶"Удержитесь ли вы от смеха, друзья?" (или "Удержитесь от смеха, друзья!") — *Гораций*. О поэтическом искусстве. 5.

¹²⁷Указанное Гюденом сочинение Вольтера см.: *Voltaire. Oeuvres complètes...* Т. 28. Р., 1785. Р. 191—202. Критика касалась тех глав первого тома вольтеровского "Опыта", где шла речь о Магомете и магометанстве. Ответ Вольтера состоял из 16 пунктов и безусловно отменял всякую критику.

¹²⁸Ни в одном из разделов статьи "Возраст" нет упоминаемого Гюденом пассажа (*Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers...* Т. I. Р. 1751. Р. 169—171).

¹²⁹Едва ли уместная ирония по адресу выдающегося ученого, каким был Дени Перо (1583—1652), в честь которого была выбита медаль с надписью "Au prince des chronologistes" и которому обязаны трудами по хронологии, в частности "Opus de doctrina temporum" (Р., 1627. 2 vol.). Этот труд был разделен на 13 книг, 8 первых обосновывали принципы науки хронологии, четыре — объясняли пользу хронологии, как метода критики, и последняя давала примеры изложенных в первых книгах принципов. Отметим также сочинение П. "Uranologia, sive systeme variorum..." (Р., 1630).

¹³⁰"Введения" (introduction) к "Истории Карла XII" действительно нет, но зато имеется "Discours sur l'histoire de Charles XII, qui était au-devant de la première édition" (*Voltaire, Oeuvres complètes...* Т. XXIII. Р., 1785. Р. 3—9). Кроме того, вводной частью может рассматриваться описание Швеции до вшествия на престол Карла XII, которым открывается первая глава книги Вольтера.

¹³¹Речь идет о сочинении Вольтера "Siccle de Louis XIV", вышедшем свет первым изданием в 1751 г.; см.: *Oeuvres complètes...* Т. XX—XXI. Р., 1785.

¹³²См.: *Тит Ливий*. Римская история от основания города. Т. I. М., 1892 (Книга I. Предисловие). С. 2.

¹³³Этьенн, Св., дьякон, первый мученик христианства, побитый камнями фанатичной толпой в Иерусалиме между 31 и 36 гг. День этого святого отмечается 26 декабря.

Под Севенскими войнами Гюден подразумевает крестьянско-плебейское восстание 1702—1704 гг. в Лангедоке, одной из причин которого было усилившееся притеснение гугенотов со стороны администрации и духовенства после отмены Нантского эдикта. Центром движения камизаров (старофранц. диалект Лангедока — *самисо* — рубашка) были Севенны, где был одержан ряд побед над правительственными войсками.

Калас, Жан (1698—1762), тулузский купец. Ложно обвиненный в убийстве собственного сына с целью помешать последнему отречься от протестантизма, он был мученически казнен. Вольтер содействовал реабилитации К. в 1765 г.

Олавидес, Паоло-Антонио-Хозе (1725—1803), граф де Пилос. Сблизившись с Вольтером и другими философами, О. стал горячим сторонником идей Просвещения. Будучи правителем Севильи и интендантом Андалусии, О. в значительной степени способствовал процветанию края, для чего применял прогрессивные формы землепользования и хозяйствования (колония Сьерра-Морено). На основании доноса монаха-капуцина О. был арестован инквизицией (1776 г.),

объявлен еретиком и приговорен к заключению на 8 лет, но через 2 года был выпущен и поселился во Франции.

¹³⁴ Генрих III (1551–1589), король Франции, был убит монахом-доминиканцем Жаком Клеманом, полагавшим, что католик (король), вступивший в союз с еретиком (Генрих Наваррский), сам становится таковым. Раненный отравленным кинжалом, король умер на следующий день после покушения.

Генрих IV (1553–1610), король Франции, прекративший религиозную и гражданскую войну, продолжавшуюся тридцать шесть лет, введением Нантского эдикта апрель 1598 г.), был убит на следующий день после коронации своей супруги Марии Медичи фанатичным католиком Жаном Равальяком.

Феодора (ум. 867), императрица-регентша при малолетнем сыне Михаиле III. Восстановление во время правления Ф. иконопочитания (842 г.) повлекло за собой жестокое и кровавое преследование инакомыслия.

Далее имеются в виду преследования альбигойцев, сторонников еретического (по отношению к ортодоксальному христианству) вероучения в Лангедоке. Военные действия, открывшиеся походом французского рыцарства в 1209 г. против альбигойцев (назв. по г. Альби, лат. Albige), длились более 30 лет и закончились полным опустошением прежде богатой и цветущей области.

Катакомбы перуанцев — это, по-видимому, преувеличение; в Перу до завоевания Ф. Писсарро жертвоприношения совершались в виде животных и плодов, человеческие жертвоприношения были весьма редки. Иное дело Мексика; там человеческие жертвоприношения вошли в обычай с XIV в. и в последнее время существования царства ежегодно жертвами таких ритуальных убийств становилось до 20 тыс. человек, а при освящении главного мексиканского храма их было, как утверждают испанские источники, 70 тыс.

Германский император Генрих VII Люксембургский (1269–1313) умер во время похода в Италию. Он уже был болен, когда монах доминиканского монастыря Монтепульчано брат Бернардино причастил его Св. тайн. Молва передавала, что Бернардино дал ему яд в Святом причастии, но это достоверно не установлено.

Карл I Стюарт (1625–1649). 26 января 1649 г. Верховный суд осудил К. I "как тирана, изменника, убийцу и врага государства", приговорив его к смертной казни через отсечение головы.

В заключении этого перечисления Гюден имеет в виду Людовика XVI (1754–1793), который, будучи свергнутым с престола и заключенным в тюрьму, был судим Конвентом, осужден им на смерть и гильотинирован.

¹³⁵ О человеческих жертвоприношениях см.: *Цезарь*. Записки о Галльской войне. IV. 16; Тит Ливий. VII, 15; XXII, 57).

¹³⁶ ... Ласками и поцелуями зажимая им рот, чтобы не приносить жертву всю в слезах" (*Минуций Феликс*. Октавий. 30, 3 // Богословские труды. М., 1981. Сб. 22. С. 158).

¹³⁷ Ифигения, героиня ряда мифов, дочь Агамемнона и Клитемнестры. Когда греки плыли к Трое, Агамемнон прогневал Артемиду и богиня наслала ветер, задержавший корабли; царь дал обет принести Ифигению в жертву богине. Во время жертвоприношения Артемиды заменила девушку на жертвеннике ланью и унесла в Тавриду, сделав там ее своей жрицей.

¹³⁸ Поликсена, дочь троянского царя Приама. Явилась причиной гибели Ахилла, который должен был встретиться с Поликсеной в храме и был убит Парисом. После взятия Трои Поликсена была захвачена греками. Тогда явилась тень Ахилла и потребовала, чтобы девушка была принесена ему в жертву. Жертвоприношение производил сын Ахилла Неоптолем.

¹³⁹ Во времена Сократа приговоренный к смертной казни выпивал в назначенное

время чашу растертой ядовитой цикуты. Описание смерти Сократа см.: Платон. Федон; Апология Сократа.

¹⁴⁰ *Lucret. De Rerum natura. I. 929—930.*

“Ибо, во-первых, учу я великому знанию, стараюсь

Дух человека извлечь из тесных тенет суеверий...”

Лукреций. О природе вещей. М., 1958. С. 51 (Пер. Ф.А. Петровского)

¹⁴¹ В первом случае Гюден допускает неточность — не двадцать три, а около трех тысяч человек. Ср.: Исход. 32. 28.

¹⁴² Бытие. 4. 8.

¹⁴³ Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречения знаменитых философов. II. 5. 40. Ср.: Платон. Апология Сократа. 24 в.; Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 1.

¹⁴⁴ После смерти Александра в Афинах победила антимакедонская партия. Стронника Македонии Аристотеля обвинили в неуважении к богам и в других проступках. Привлек его к суду верховный жрец Элевсинских мистерий Деметры. Аристотель был вынужден бежать в г. Халкиду (на о. Эвбея).

¹⁴⁵ Мевий, второстепенный и почти неизвестный поэт, современник Вергилия, который в III эклоге подвергнул насмешкам Мевия. Зоил (IV в. до н.э.), учитель риторики, суровый критик Гомера, за что даже получил прозвище “гомеромастикс” (“бич Гомера”).

¹⁴⁶ Неточная цитата из III акта трагедии Вольтера “Смерть Цезаря”. Ср.: *Voltaire. Oeuvres complètes...* Т. II. Р., 1785. Р. 345.

¹⁴⁷ Грас, Тома-Франсуа де (1713—1798), историк. Оставил военную службу и полностью посвятил себя научным занятиям. Секретарь Академии надписей, затем королевский цензор. Г. был автором ряда трудов, в том числе “*Tableaux historiques et chronologiques de l’histoire ancienne et du moyen âge*” (1789 г.). Г. подготовил новое издание “*Introduction à l’histoire générale de l’univers*” Пуфендорфа (Р., 1753—1759), сделал к нему дополнения и примечания, главным образом извлеченные из “*Записок Академии надписей и изящной словесности*”.

¹⁴⁸ См. примеч. 102.

¹⁴⁹ Гюден имеет в виду сочинение французского эрудита дома Огюстэна Кальме (1672—1757) “*Histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine*” (1728 г.) — один из шедевров французской учености и один из многих трудов знаменитого историка-бenedиктинца.

Гардион (точнее Ардьон), Жак (1686—1766), историк-эрудит, заведовавший кабинетом короля, воспитатель дочерей Людовика XV. Член Академии надписей и изящной словесности (1711 г.) и Французской Академии (1730 г.).

¹⁵⁰ Гюден имеет в виду произведения Мабли “*Observation sur les Grecs*” (Genève, 1749), “*Observations sur les Romains*” (Genève, 1765). См. примеч. 28 к “Об изучении истории” Мабли.

¹⁵¹ О попытке см. главу 24 сочинения Вольтера “*Prix de la justice et de l’humanité*” (Oeuvres complètes. Т. XXIX. Р. 339—341). Касательно веротерпимости Гюден безусловно прав в отношении Фридриха Великого, считавшего, что “каждый спасается на свой манер”, и проводившего политику широкой веротерпимости (здесь, правда, нельзя целиком относить это на счет Вольтера, учитывая традиции веротерпимости в Пруссии). В случае же с российской императрицей Гюден, вероятно, основывается на словах самой Екатерины, писавшей Вольтеру, например, в письме от 17(28) ноября 1765 г., что “веротерпимость у нас установлена государственным законом и, следовательно, всякое гонение запрещается”. Если не знать, что первые шаги к установлению полной веротерпимости в России были предприняты в кратковременное царствование императора Петра III и по его личной инициативе, то этот пассаж из письма императрицы мог

явиться лишним подтверждением уже известного либерализма ее политических принципов и государственной политики. Однако здесь, вероятно, следует усматривать все же больше определенное желание понравиться Вольтеру, которому, несомненно, льстило внимание со стороны Императрицы.

О крепостных, в том числе и монастыря Сен-Клод см.: *Requete au Roi pour des serfs de Saint-Glaude // Voltaire. Oeuvres complètes...* Т. XXIX. P. 500–504; см. также: *Extrait d'un memoire pour l'entière abolition de la servitude en France // Ibid.* P. 505–511.

- ¹⁵²Совету Вольтера касательно прививок последовала и императрица Екатерина II. См.: Екатерина — Вольтеру, 6(17) декабря 1768 // *Ibid.* Т. LXVII. P. 30. По поводу паровых машин см. сочинение Вольтера "Des embellissemens de Paris". 1749 // *Ibid.* Т. XXIX. P. 163–174.
- ¹⁵³В числе прочего см.: "Elemens de philosophie de Newton, devisés en trois parties" и другое сочинение Вольтера "Defense de Newtonianisme" (*Ibid.* P. 25–233, 238–256).
- ¹⁵⁴Цитата приведена не полностью. Слова от двоеточия до точки у Рапена выделены курсивом (*Rapin de Thoyras. Histoire d'Angleterre par M^r de Rapin Thoyras. T. I. A La Haye, 1724. P. II*).

БИБЛИОГРАФИЯ

I

- Askenazy S.* Studia Historyczno — v — krytyczne. Krakow, 1897.
- Barthélemy L. de.* Vie privée de M. l'Abbé de Mably. P., 1790.
- Bérenger M.* Esprit de Mably et de Condillac. Relativement à la Morale et à la Politique. P., 1789.
- Bérenger M.* L'esprit de Mably. P., 1789. Vol. 1—2.
- Blaczke H.* Mably. Miedze Utopia a reforma. Warczawa, 1985.
- Coste B.* Etude de la pensée de Mably, philosophie chimérique et politique réaliste. University of Massachusetts. 1972. (Неопубликованная диссертация.)
- Coste B.* Mably. Pour une utopie du bon sens. P., 1976.
- Friedemann P.R.* Das Problem der Einheit im politischen Denken Mablys. Ein Beitrag zur Genese des Konstitutionismus. Diss. phil. Heidelberg, 1967.
- Galliani R.* L'abbé de Mably et l'histoire du 18e siècle. Thèse Univ. Lettres. Bordeaux, 1965. (Неопубликованная диссертация.)
- Gélineaud L.* Les doctrines sociales et politiques de Mably. Thèse. Rochefort, 1909.
- Guerrier W.* L'abbé de Mably. Moraliste et politique. Etude sur la doctrine morale du jacobinisme puritain et sur le développement de l'esprit républicain au XVIII^e siècle. P., 1886.
- Hasegawa T.* La nature et l'histoire dans la pensée politique de Mably. Thèse, Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Poitiers. 1969. (Неопубликованная диссертация.)
- Lehmann L.* Mably et Rousseau. Eine Studie über die Grenzen der Emanzipation im Ancien Régime. Frankfurt; Bern, 1975.
- Levacher F.G.* De l'homme en société. Complément à la législation de Mably. Parme: Imprimerie Nationale, An XII [1803]. Vol. 1—2.
- Lévesque P.-Ch.* Éloge Historique de l'abbé de Mably. P., 1787.
- Maffey A.* Il Pensiero Politico del Mably. ("Publicazioni dell' Instituto di Scienze Politiche dell' Università di Torino". Vol. XIX). Turino, 1968.
- Margedant U.* Sozial- und Staatslehre des Abbé de Mably. Ein Beitrag zur politischen Philosophie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert. Diss. Phil. Frankfurt/Main, 1968.
- Mellis P.* La principe de la séparation des pouvoirs d'après l'abbé Mably. Toulouse, 1907.
- Mettrier H.* L'impot et la milice dans J.J. Rousseau et Mably. P., 1901.
- Müller G.* Die Gesellschafts- und Staatslehren des Abbé Mably und ihr Einfluß auf das Werk der Konstituant // Historische Studien. Heft 214. B., 1932 (см. об этой работе: Brunschwig H. Compte-rendu // Annales historique de la Révolution Française. 1933. P. 265—268).
- Rochery P.* Mably, ses théories sociales et politiques. P., 1849.
- Schleich T.* Aufklärung und Revolution. Die Wirkungsgeschichte Gabriel Bonnot de Mablys in Frankreich (1740—1914). Stuttgart, 1981.
- Serve P.* Teyssendier de la: Mably et les physiocrates. Thèse. Poitiers, 1911.
- Stiffoni G.* Utopia e raggione in Gabriel Bonnot de Mably. Lecce, 1975.
- Thamer H.-U.* Revolution und Reaktion in der französischen Sozialkritik des 18. Jahrhunderts. Linguet, Mably, Babeuf. Frankfurt/Main, 1973.
- Whitfield E.* Gabriel Bonnot de Mably. L., 1930.

II

Allix E. La philosophie politique et sociale de Mably // *Revue des Etudes Historiques*. 1899. P. 1—18, 120—131.

Alocco-Bianco L. L'Abbé de Mably et sa conception de l'histoire // *L'histoire au XVIII^e siècle. Colloque. Aix-en-Provence, 1975.* P. 223—232.

Apih E. Due conservatori francesi critici della storiografia illuminata // *Nuova Rivista Storica*. Maggio-augusto 1953. P.373—378.

Asholt W. "L'Effet Mably" et le problème de l'égalité dans le roman dialogué "Des Droits et des devoirs du citoyen" // *Studies on Voltaire*. Vol. CCXVI. P. 191—193.

Aulard A.-F. John Adams, Mably et la Révolution d'Amérique // *La Révolution Française*. 1917. P. 555—562.

Bahner W. Der historisch-gesellschaftliche Standort der Ideen Mablys // *Literaturgeschichte als geschichtlicher Auftrag*. Hrsg. von W. Bahner. B., 1961. P. 7—34.

Bahner W. Formen, Ideen, Prozesse in den Literaturen der romanischen Völker. Bd. 2: Positionen und Themen der Aufklärung. B., 1977.

Baker K.M. A Script for a French Revolution: The Political Consciousness of the abbé Mably // *Eighteenth-Century Studies*. N 1. 1980.

Baudiffier S. La notion d'évidence: Le Mercier de la Rivière, Diderot, Mably // *Studies on Voltaire. Actes du 6e Congrès international des Lumières. Bruxelles, 1983.* P. 278—280.

Brizard G. Eloge historique de l'abbé de Mably. Discours qui a partagé le prix au jugement de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres en 1787 // *Mably G.-B. de. Oeuvres complètes. Lyon, 1792.* T. I. P. 1—122.

Cambino R. Il garantissimo del Mably come prima costituzione teorica dello stato parlamentare // *Sapienza* (14). 1961. P. 503—508.

Carcassonne E. Les rapports de l'idéal abstrait et de l'histoire: Les Observations de l'abbé de Mably // *Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIII^e siècle. P., 1926.*

Champeval J.B. Lettres inédites de Maistre, Baluze et de Mably *Bulletin de la Société des Lettres, Sciences Arts de la Corrèze* (1901). P. 440—467.

Chévalier J. Notices historiques sur la famille Bonnot et la succession de Condillac // *Bulletin de la Société d'Archéologie et de Statistique de Drome*. (39). 1905. P. 253—265.

Comanducci P. La criminalistica di un illuminista moderato // *Materiali per una storia della cultura giuridica* (5). 1975. P. 455—469.

Comanducci P. Mably nelle recenti storiografia giuspolitica // *Il pensiero politico. Rivista di storia delle idee politico e sociale* (Firenze). 1975. A. 8. N 2. P. 219—230.

Composto R. La teoria sociale dell'abate Mably // *Belfagor*. 1955. N 10. P 468—476.

Croce B. Luigo Serro e il Mably // *Aneddoti di varia letteratura*. Bari. 1954. T. III.

Dal Pra M. La teoria storiografica di Mably // *Rivista di storia della Filosofia*. 1946.

Denis H. Mably et la position du problème social au XVIII^e siècle // *Histoire des systèmes économiques et socialistes*. P., 1940.

Driver Ch. Morelly et Mably // *The Social and Political Ideas of some Great French Thinkers of the Age of Reason*. N.-Y., 1930. P. 217—251.

Franck A. Mémoires sur le communisme jugé par l'histoire // *Comptes rendus des séances et travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques*. 2^e série. P., 1848. T. IV.

Franck A. Notice sur la vie et le système politique et sociale de Mably // *Séances et travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Compte-rendu*. 2^e série. P., 1848. T. XIV.

Friedemann P. Die Konzeption der Repräsentation bei Mably // *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*. Bd. 56. 1970. P. 415—441.

Friedemann P. Introduction à Mably, sur la théorie du pouvoir politique. Les classiques du peuple. Editions sociales. P., 1975.

Friedemann P. Introduction à la réimpression des Oeuvres Complètes de Mably. Aalen, 1977. T. I. P. VII—XXVII.

Friedemann P. Neues zur Biographie Mablys: Seine "materiellen" Verhältnisse // Francia. Bd. I. 1972. München, 1973.

Furet F., Ozouf M. Deux légitimations historiques de la société française au XVIII^e siècle. Mably et Boulainvilliers // Annales Economies—Sociétés—Civilisations. T. 34. (1979). N 3. P. 438—450.

Galliani R. Mably et la censure // Annales historique de la Révolution Française. 1974. N 46. P. 401—411.

Galliani R. Mably et Voltaire // XVIII^e siècle. 1971. N 3. P. 181—194.

Galliani R. Quelques aspects de la fortune de Mably au XX^e siècle // Studies on Voltaire and the eighteenth century. 1972. N 87. P. 549—565.

Galliani R. Quelques lettres inédites de Mably // Studies on Voltaire and the eighteenth century. 1972. N 98. P. 183—205.

Galliani R. L'abbé Mably et la révolution: un témoignage // Annales historiques de la Révolution Française. 1973. N 45. P. 134—137.

Galliani R. L'abbé Mably, le luxe, le commerce, les manufactures et les ouvriers // Revue d'histoire économique et sociale. 1975. N 53. P. 144—155.

Galliani R. Mably et la communauté des biens // Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée. 1976. N 163. P. 437—460.

Garin E. Di Mably e delle traduzioni italiane // Giornale critico della filosofia italiana. 1954. T. XXXIII.

Gauthier F. De Mably à Robespierre. Un programme économique 1775—1793 (résumé) // Studies on Voltaire. 1983. Vol. CCXVI. P. 200—201.

Gauthier F. Mably et les Etats—Unis // Annales historiques compiégnoises. 1983. Septembre. P. 9—15.

Gauthier F. De Mably à Robespierre. Un programme économique égalitaire 1775—1793 // Annales historiques de la Révolution Française. 1985. N 259. P. 265—289.

Grosclaude P. Rousseau à Lyon. P., 1933. (Compte-rendu: Annales de la Société J.J. Rousseau, T. XXII. P. 273).

Grosperin B. Publications récentes sur Mably // Cahiers d'histoire. 1975. Vol. XX. N 1. P. 91—93.

Guerci L. Pensiero politico e storiografia nel settecento francese: Mably et Condorcet // Rivista storica italiana. 1970. N 82. P. 926—950.

Halévi R. L'idée et l'événement. Sur les origines intellectuelles de la Révolution française // Le débat. 1986. N 38.

Harpaz E. Mably et la postérité // Revue des Sciences Humaines. 1954. T. XXIII. P. 25—40.

Harpaz E. Mably et ses contemporains // Revue des Sciences Humaines. 1955. T. LIXX. P. 331—366.

Harpaz E. Le "Social" de Mably // Revue d'histoire Economique et Social. 1956. T. XXXIV. P. 411—425.

Lecercle J.-L. Du bonheur d'être esclave // Mélanges offerts à R. Pintard / Travaux de linguistique et de littérature. 1975. T. 13. N 2. P. 327—332.

Lecercle J.-L. Introduction et les notes // Mably. Les droits et les devoirs du citoyen. P., 1972.

Lecercle J.-L. Mably et la théorie de la diplomatie // Studies on Voltaire and the eighteenth century. 1972. Vol. LXXXVIII. P. 899—913.

Lecercle J.-L. Utopie et réalisme politique chez Mably // Studies on Voltaire and the eighteenth century. 1963. Vol. XXVI. P. 1049—1070.

- Litwin J.* Sprzecznosci, wewnatrz obozu anty-feudalnego // *Mysl Filozoficzna*. 1955. N 15. S. 79–103.
- Maffey A.* Sulla storiografia del Mably // *Rivista Storica*. 1958. N 42. P. 148–157.
- Maffey A.* Recenti scritti sull'abate Mably // *Rivista internazionale di Filosofia del Diritto*. 1958. T. XXXV. P. 741–750.
- Maffey A.* Intorno agli inediti del Mably. 1: L'esperanza delle cose moderne // *Studi Francesi*. 1959. T. IX. P. 379–389; 2: La lezione dei fatti antichi // *Ibid.* T. X. P. 11–25.
- Maffey A.* D'Alembert, Helvétius, d'Holbach, Mably et Raynal // *Il Mulino*. 1960.
- Maffey A.* Il Mably e la critica contemporanea // *Studi Francesi*. 1962. T. XVIII. P. 441–516.
- Marongiu A.* Mably e gli "stati generali" francesi // *Storia e politica*. 1967. N 6. P. 563–604.
- Michoud M.L.* Les théories Sociales et Politiques de Mably // *Bulletin de l'Académie Delphinale*. Grenoble, 1901. T. I.
- Morillot M.P.* Réponse au discours de M.L. Michoud // *Bulletin de l'Académie Delphinale*. Grenoble, 1902.
- Mornet D.* Les origines intellectuelles de la Révolution Française 1715–1787. P., 1954.
- Negrini B. de.* Mably et le prince de Parme: du bon usage de l'histoire en pédagogie // *Corpus*. 1989. N 10. P. 111–132.
- Notes historiques sur la famille Bonnot et sur la succession Condillac // *Bulletin de la Société d'Archéologie et de Statistique de la Drome*. 1905. T. XXXIX. P. 253–265.
- Pecquer C.* Mably // *La Revue Indépendante*. 1847. Novembre–décembre. P. 152–173, 213–255, 407–423.
- [Un] Précurseur grenoblois de la pensée révolutionnaire: l'abbé Gabriel Bonnot de Mably. Exposition du 9 avril au 7 mai. Grenoble, 1986.
- Procacci G.* L'abate Mably nell'illuminismo // *Rivista storica italiana*. 1951. P. 216–244.
- Rainville M.* Mably et la question des Etats Cénéraux // *Revue de l'Université de Moncton (Canada)*. 1978. N. XI. P. 79–90.
- Reibstein E.* Die Völkerrechtskasuistik des Abbé de Mably // *Zeitschrift für ausländisches Recht*. Bd. XVIII. 1957–1958. P. 230–260.
- Roelens M.* Mably et Marly ou les jardin de la politique // *Modèles et moyens de la réflexion politique du 18ème siècle / Actes du Colloque organisé par l'Université de Lille, 16–19 octobre 1973. Publications de l'Université de Lille*. Vol. III. 1979. P. 354.
- Sabatier C.* Eloge de l'abbé de Mably // *Affiche du Dauphiné*. 13 mars 1785. P. 6–8.
- Safronow S.* Les idées politiques et sociales de Mably // *Recherches soviétiques (Histoire des idées)*. N 4. P., 1956. P. 47–87.
- Sareil J.* Sept lettres inédites de l'abbé de Mably au duc de la Rochefoucauld d'Enville // *XVIII^e siècle*. 1971. Vol. 3. P. 61–72.
- Schleich T.* Die Verbreitung und Rezeption der Aufklärung in der französischen Gesellschaft am Beispiel Mably // *Sozialgeschichte der Aufklärung in Frankreich / Hrg. von H.U. Gumbrecht, R. Reichart und T. Schleich. Teil II. München; Wien, 1981*. S. 147–170.
- Schleich T.* Die Metamorphosen eines politischen Philosophen. Konturen der Wirkungsgeschichte Mablys in Frankreich // *Archiv für Kulturgeschichte*. Köln; Graz, 1980–1981. S. 233–261.
- Schleich T.* Der zweitbeste Staat. Zur Sicht der Antike bei Gabriel Bonnot de Mably // *Der Staat*. 1980. Vol. 19. S. 557–582.
- Schleich T.* Die Resonanz Gabriel Bonnot de Mablys außerhalb von Frankreich // *Francia*. P., 1980. N 8. P. 213–244.

Sée H. La doctrine politique et sociale de Mably // *Annales historiques de la Révolution Française*. 1924. T. I. P. 135–148.

Sée H. Rousseau und Mably // Peter Richard Rohden: Menschen, die Geschichte macht. Viertausend Jahre Weltgeschichte in Zeit- und Lebensbildern. 2. Auflage. Wien, 1933. Bd. 2. S. 257–262.

Stark W. Mably the pessimist. America ideal and reality. The United States of 1776 // *Contemporary European Philosophy*. L., 1947. P. 36–57.

Stiffoni G. Introductione // Mably. Opere scelte. Padova, 1962. P. 7–47.

Stiffoni G. Storia e politica nel pensiero di Mably // *Nuova Rivista Storica*. 1965. N 49. P. 275–312.

Stiffoni G. Da "royaliste" a "démocrate". Gli anni da formazione del pensiero politico di Gabriel Bonnot de Mably // *Annali della Facoltà di Lingue e Letterature straniere di Ca'Foscari*. 1970. Vol. IX. P. 93–137.

Stiffoni G. La politica nel pensiero die Mably // *Storia e politica*. 1972. N II. P. 180–223.

Stiffoni G. La critica al concetto di proprietà nella polemica antifisiocratica dell'abate Mably // *Rivista internazionale de sociologia*. 1972. N 30.

Thamer H.-U. Revolution und Reaktion in der französischen Sozialkritik des 18. Jahrhunderts: Linguet, Mably, Babeuf. Frankfurt/Main, 1973.

Villeneuve-Guibert G. Le portefeuille de Madame Dupin, Dame de Chenonceaux. P., 1884.

Vissière J. "De la démocratie en Amérique" selon Mably. L'esprit républicain. Colloque d'Orléan, 4 et 5 septembre 1970. 1972. XIII. P. 153–162. (Actes et Colloques, 10).

Мабли был посвящен первый международный "круглый стол" в мае 1987 г. (Гурский университет, Бохум, Германия) в рамках франко-германской научной программы (при участии Института истории Французской революции, Французского Общества по изучению XVIII века и Европейского Философского университета). Среди прозвучавших на этом "круглом столе" докладов отметим:

J.-L. Lecercle. Approches et interprétations de Mably. Esquisse d'un état présent de la question.

P. Friedemann. Voies nouvelles de la recherche biographique sur Mably.

J.-L. Malvache. 33 lettres de Mably à Felienberg.

F.P. Faye. "L'effect Mably" et les droits de l'Homme — Analyse narrationnelle et poétique de l'histoire.

F. Gauthier. De la critique de l'économique à la critique du politique: deux libéralismes de droit naturel.

J.-L. Malvache. La carte politique de l'Europe selon Mably.

U. Im Hof. Das Zeitalter der Aufklärung in Bern.

F. Mazzanti Pepe. Notes sur la réception de Mably en Italie jusqu'à la fin du XVIIIème siècle.

M. Tomaszewski. Mably et les revolutions de Pologne.

H.E. Bödeker. "Republik" bei Mably.

U. Dierse. La vertu la politique: la notion de patriotisme chez Mably et quelques autres écrivains du XVIIIème siècle.

G. Gersman. Mably und die Französische Revolution.

T. Schleich. Ein Hüter der wahren Revolution. Mablys Vereinnahmung durch die konservative Publizistik (1760–1785).

Принятое на "круглом столе" решение об организации специального коллоквиума, посвященного Мабли, было осуществлено в июне 1991 г., когда в Шаго де Визий близ Гренобля ученые из нескольких европейских стран встретились на

коллоквиуме, темой которого явилась "политика как нравственная наука". Организаторами коллоквиума выступили Рурский университет (Бохум), Университет социальных наук (Гренобль), Институт истории Французской революции (Париж), Европейский университет, Итальянское общество по изучению XVIII века, Французское общество по изучению XVIII века и Музей Французской революции (Визий). Отметим важнейшие из докладов:

A. Maffey. Mably prima della Rivoluzione.

B. de Negroni. Les vices et les vertus des gouvernements.

G. Stiffoni. La fortuna di Gabriel Bonnot de Mably in Spagna tra Illuminismo e rivoluzione borghese.

J.-P. Faye. Poétique de l'histoire et Droit naturel.

G.A. Roggerone. L'Abbé de Mably représentant de la théologie éclairée.

F. Gauthier. "La doctrine de Phocion" et le développement du droit des gens en révolution.

H.E. Bødeker. Mably et la république.

M. Blaszké. Projets de réformes pour la Pologne de deux adversaires: Mably et Le Mercier de la Rivière.

J. Domenech. Mably moraliste des Lumières.

J. Lecuru. Deux consultants au chevet de la Pologne: Mably et Rousseau.

R. Tumminelli. Radicalismo e nostalgia nel "modello spartano" di Mably.

T. Scleich. Mably et Ruhière.

O. Dann. Mably et l'égalité.

A. Delaporte. Histoire et politique dans le contexte des catégories traditionnelles.

P. Friedemann. La raison de l'Etat: intérêts et passions.

J. Guilhaumou. La science de la politique chez Mably.

III

Завершает нашу библиографию перечень трудов, которые в разное время были опубликованы по-русски. Многие из них отмечены особым, пожалуй, гипертрофированным интересом к эгалитарным воззрениям Мабли, в неприменном желании увидеть в просвещенном аббате заведомого предшественника социализма. Не лишним поэтому будет сожаление о том, что блестящая книга В.И. Герье, опубликованная по-французски, так и не увидела свет на русском языке ни до 1917 года, ни после него.

Аллатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII — первая половина XIX в.). М., 1985.

Волгин В.П. Предшественники современного социализма. Ч. I. М., 1928.

Волгин В.П. История социалистических идей. Ч. I. М.; Л., 1928.

Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1958.

Волгин В.П. Социальное учение Мабли // Мабли Г. Избранные произведения / Пер. с франц. и комм. Ф.Б. Шуваевой. М.; Л., 1950. С. 5—31.

Волгин В.П. Социальные и политические идеи во Франции перед революцией (1748—1789 гг.). М.; Л., 1940.

Герье В.И. Учение о нравственности и социальная утопия Мабли // Русская мысль. 1885. Кн. I—II.

Герье В.И. Политические идеи аббата Мабли // Вестник Европы. 1887. № I. С. 124—158.

Герье В.И. Французский этик и социалист XVIII века // Русская мысль. 1883. Кн. XI. С. 193—234.

Гуковский Г.А. Примечания к переводу А.Н. Радищева "Размышлений о гре-

ческой истории» Мабли // Радищев А.Н. Полн. собр. соч. Т. II. М.; Л., 1941. С. 228–328.

Деборин А.М. Социально-политические учения нового и новейшего времени. Т. I. М., 1958.

Искюль С.Н. Мабли в России // Книга в России в эпоху Просвещения / Сб. научных трудов. Л., 1988. С. 34–53.

Ковалевский М. Происхождение современной демократии. Т. I. Ч. IV. (Политические доктрины). М., 1899.

Лейст О.Э. Политическая идеология утопических социалистов во Франции в XVIII в. М., 1972.

Лотман Ю.М. Радищев и Мабли // XVIII век. М.; Л., 1958. Сб. 3. С. 276–308.

Сафронов С.С. Исторические взгляды Мабли // Французский ежегодник. 1971. М., 1973.

Сафронов С.С. Политические и социальные идеи Мабли // Из истории социально-политических идей. М., 1955.

Чичерин В.И. История политических учений. М., 1871. Т. III.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Август Гай Октавий (63 до н.э. — 14 н.э.), римский император (27 до н.э. — 14 н.э.) 21, 50, 61, 135, 153, 164, 171, 172, 187, 199, 200, 248, 254
- Августул см. Ромул Августул
- Аво, Клод де Мем д' (1595—1650), граф, дипломат 190, 198
- Агис IV, спартанский царь (245—441) 131
- Агрикола см. Юлий Агрикола
- Агриппа, см. Вилсаний Агриппа
- Адгербал, царь Нумидии (118—112 до н.э.) 187
- Адриан Публий Элий (76—138), римский император 250
- Аларих I (ок. 370—410), король вестготов (с 395) 271
- Александр Македонский (Великий) (356—323 до н.э.), полководец и государственный деятель 7, 44, 52, 55, 101, 133, 134, 206, 220, 225, 230, 245
- Алкивиад (ок. 450—404 до н.э.), афинский политический деятель и полководец 187, 207
- Альба, Альварес де Толедо, Фернандо, герцог (1507—1582), испанский политический деятель и военачальник 164
- Альбин см. Клодий Альбин
- Альбрехт I Австрийский (ок. 1255—1308), император Священной Римской империи (1298—1308) 74
- Альманзор (Мухаммед ибн Абу Амир аль-Мансур) 53
- Альфонс IV Великий, король Астурии, Леона и Галисии (с 866) 52
- Амбиорикс (I в. до н.э.), галльский вождь 250
- Амио, Жак (1513—1593), епископ, переводчик "Сравнительных жизнеописаний" Плутарха 247
- Аммиан Марцеллин (ок. 330 — ок. 400), римский историк, автор "Res gestae", задуманных как продолжение "Анналов" Тацита 253
- Анакреонт (ок. 570 — 478 до н.э.), древнегреческий поэт-лирик 153
- Анна Стюарт (1665—1714), королева Великобритании (с 1702) 99
- Антиох III Великий (242—187 до н.э.), царь государства Селевкидов 187
- Антоний Марк (ок. 83 — 30 до н.э.), римский полководец, триумvir (с 43) 21, 61, 82
- Антонин Пий (86—161), римский император 180
- Антонины, римская императорская династия (96—192)
- Арат (271—213 до н.э.), вождь Ахейского союза 51
- Аристарх (217—145 до н.э.), александрийский грамматик, ученый-филолог 188, 239, 240, 258
- Аристид (540—476 до н.э.), афинский полководец и государственный деятель 7, 10, 28, 58, 65, 163, 207
- Аристотель (384—322 до н.э.), древнегреческий философ 37, 282
- Аристофан (ок. 445 — ок. 385 до н.э.), древнегреческий комедиограф 246
- Арминий (IX в. до н.э.), германский вождь, руководитель антиримского восстания 172, 250
- Аспазия (р. ок. 470 до н.э.), жена Перикла 246
- Аттила (ум. 453), предводитель гуннов (434—453) 271
- Ассиний Поллион см. Гай Ассиний Поллион
- Афиней (III в. до н.э.), греческий грамматик и софист, автор сочинения "Дейнософисты" в 12-ти кн. 246

- Балюз, Этьенн (1630—1718), французский историк, библиотекарь Кольбера 262
- Батон, вождь паннонских племен, восстание которых (6—9 гг.) было подавлено римлянами 250
- Бернардо (1-я половина XIV в.), монах-доминиканец 281
- Бертье, советник Парижского парламента 273
- Бертье, Гийом-Франсуа (1704—1787), ученый-иезуит, автор "Истории галликанской церкви" 262
- Бокх, царь Мавритании, тесть Югурты, выдавший его римлянам (105 до н.э.) 192, 193, 198
- Боссюз, Жан-Бенинь (1627—1704), французский историк, епископ, автор "Рассуждения о всеобщей истории" (1681) 183, 184, 257, 258, 285
- Браге, граф де, участник государственного переворота в Швеции (1772) 109
- Брасид (ум. 422 до н.э.), спартанский полководец 188
- Брезийак Ж. (2-я половина XVIII в.), монах-бenedиктинец, историк 260
- Брекиньи, Луи-Жорж-Удар-Федрикс де (1714—1794), французский эрудит, сотрудник ряда крупных научных изданий 263
- Брен (Брени), легендарный предводитель сенонских галлов (IV в. до н.э.) 8
- Брис, французский эрудит, участник издания "Христианской Галлии" 260
- Бригомар, вождь кельтских сенонов, разбит римлянами в 283 г. 247
- Брут Марк Юний (85—42 до н.э.), римский политический деятель 62, 82, 162, 170
- Буа (Буа-Нансэ), Луи-Габриэль дю (1731—1787), граф, дипломат, историк, автор сочинений по древней истории Франции 264
- Буало-Депрео, Никола (1636—1711), французский поэт, теоретик классицизма 152, 216, 243, 244, 271, 275
- Бужан, Гийом-Гиацинт (1690—1743), французский историк, автор сочинений по военной и дипломатической истории эпохи Вестфальского мира 189—193, 198, 232, 257
- Буиз, Жан (1673—1746), президент Дижонского парламента, эрудит 263
- Буке, дом Мартен (1635—1754), монах-бenedиктинец, публикатор сочинений по истории Галлии и Франции 260
- Буленвилье, Анри, граф де (1658—1722), французский историк, автор "Истории древнего правления Франции (1727) 182, 267
- Бур Секст Афраний (ум. 63) римский политический деятель 261
- Бьюкенен, Джордж (1506—1582), шотландский историк 154, 176, 232, 255, 256
- Бюффон, Жорж-Луи-Леклерк (1707—1788), французский естествоиспытатель, автор "Естественной истории" 274, 276, 280
- Вакери (Ваккери), Жак де ля (начало XV в. — 1497), президент Парижского парламента 249
- Валерий Катулл Гай (ок. 87 — ок. 54 до н.э.), римский поэт 153
- Валерий Максим (I в.), римский писатель 209, 252
- Валерий Публикола, Публий Валерий (ум. 502 до н.э.), консул, законодатель, участник изгнания Тарквиния 28, 122
- Валленштейн, Альбрехт-Венцель (1583—1634), полководец, имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне 190, 209
- Вальбонэ, Буршелю Жан-Пьер Море, маркиз де (1651—1730), историк, автор сочинений по истории Лофине 263
- Вар см. Квинтилий Вар
- Вариллас (Варийя), Антуан, наставник аббата де Сен-Реаля 223
- Веллей Патеркул, Гай (I в.), римский историк, автор "Римской истории" 160, 223, 224, 248, 250, 251
- Велли, Поль-Франсуа (1709—1759), французский историк, иезуит, автор "Истории Франции" 174, 259, 261
- Венцеслав (Венцель) IV (1361—1419), король Богемии (1363—1419), импе-

- ратор Священной Римской империи из династии Люксембургов (с 1378) 74
- Вергилий Марон Публий (70—19), древнеримский поэт 165, 169, 243, 267, 282
- Верто, Рене-Обер де (1655—1735), аббат, иезуит, историк, автор "Истории перемен правления в Швеции" и др. 173, 195, 196, 205, 227, 228, 258, 275, 286
- Весетт, дом Жозеф (1685—1756), историк, автор "Истории Лангедока" 260
- Веспасиан Тит Флавий (9—79), римский император (69—79), основатель династии Флавиев 199
- Вильгельм I Завоеватель (1027/28—1087), английский король (с 1066), герцог Нормандии (1035) 46, 90, 91, 162
- Вильгельм I Оранский (1533—1584), нидерландский политический деятель эпохи буржуазной революции, штатгальтер 82, 84, 169
- Вильгельм II Нассауский, штатгальтер Нидерландов (1647—1650) 85
- Вильгельм III Оранский (1650—1702), штатгальтер Нидерландов (с 1674), король Англии (с 1688), до 1794 правил совместно с женой 86, 88, 98, 99, 140
- Випсаний Агриппа Марк (ок. 63—12 до н.э.), римский полководец I в. до н.э., дипломат 228
- Виргиния 251
- Вириат (II в. до н.э.), вождь антиримского восстания в Испании 160
- Витт, Ян де (1625—1672), голландский государственный деятель, правитель Соединенных Провинций (Нидерландов) в 1650—1672 86
- Вольтер (Франсуа-Мари Аруз, 1694—1778), французский писатель, философ 160—162, 165, 177, 181, 205, 220, 221, 224, 243, 247, 254, 255, 257, 263, 265, 267, 268, 274, 276, 278—280, 284—287
- Гай Ассиний Поллион (76 до н.э. — 5 н.э.), приверженец Цезаря, участник его войн, писатель, оратор 248
- Ганнибал Барка (247 или 246—183 до н.э.), карфагенский полководец и государственный деятель 8, 166, 169, 172, 183, 186, 197, 203, 213, 230, 231, 248
- Гардион (Ардьон), Жак (1686—1766), французский историк-эрудит, заведовавший кабинетом Людовика XV 285
- Гвиччардини, Франческо (1483—1540), итальянский историк и политический деятель, автор "Истории Италии" 223, 254
- Гелон Сиракузский (ок. 540 — 478 до н.э.), тиран Гелы и Сиракуз 281
- Гельвеций, Клод-Адриан (1715—1771), французский философ-просветитель 274
- Гельвидий Приск (ум. ок. 75 н.э.), плебейский трибун 164, 253
- Генрих III (1207—1272), английский король (с 1216) из династии Плантагенетов 90
- Генрих III (1551—1589), французский король (с 1574) из династии Валуа 281
- Генрих IV (1553—1610), французский король (с 1589, фактически с 1594), первый из династии Бурбонов 281
- Генрих VII (ок. 1275—1313), король (с 1308), император Священной Римской империи (с 1312), первый из династии Люксембургов 281
- Генрих VIII (1491—1547), английский король (с 1509) из династии Тюдоров 48, 92, 139, 176
- Георг II (1683—1760), английский король (1727) и курфюрст Ганноверский 88—87, 119
- Германик (15 до н.э. — 19 н.э.), римский полководец, племянник императора Тиберия 228
- Геродиан (ок. 170 — ок. 240), римский историк, автор "Восьми книг истории от смерти Марка" 180, 194, 206, 225
- Геродот (между 490 и 480 — ум. между 430 и 424 до н.э.), древнегреческий историк, автор "Истории" 184, 233, 245, 246
- Гершель, Уильям (1738—1822), английский астроном 276

- Гета, сын императора Севера, убитый своим братом Бассианом (212) 180
- Гиббон, Эдуард (1737—1794), английский историк-просветитель, автор "Истории упадка и разрушения Римской империи" 203, 231, 243, 269—272, 286
- Гинь, Жозеф де (1721—1800), французский синолог, автор сочинений по истории гуннов 264
- Гомер, легендарный древнегреческий поэт 165, 169, 178, 243—245, 282
- Горации — патрицианский род в Древнем Риме. По преданию три брата-близнеца решили спор о преобладании Рима над Альба-Лонгой победой в поединке с тремя братьями-близнецами Куриациями 229, 278
- Гораций см. Квинт Гораций Флакк
- Грах Тиберий (162—133 или 132 до н.э.), политический деятель Древнего Рима 179
- Грахи — братья Тиберий и Гай (153—121 до н.э.), политические деятели Древнего Рима из рода Семпрониев 228
- Гранвелль (Гранвэла), Антуан Перрено де (1517—1586), испанский государственный деятель, кардинал, дипломат, ближайший советник Маргариты Пармской 162
- Грас, Тома-Франсуа де (1713—1798), историк, издатель сочинений Пуфендорфа 285
- Григорий Турский, Георгий Флоренций (ок. 540 — ок. 594), историк, автор "Истории франков" 177, 257
- Гриффе, Анри (1698—1771), иезуит, историк, издатель "Истории Франции" Даниэля 262
- Гроций, Гуго де Гротт (1583—1645), голландский политический мыслитель, политический деятель, историк 154, 169, 170, 217, 232, 255
- Гуго Капет (ок. 940—996), французский король (с 987), основатель династии Капетингов 90
- Густав I Ваза (1496—1560), король Швеции (с 1523) 100, 117, 118, 196, 205
- Густав II Адольф (1594—1632), король Швеции (с 1611), полководец 190, 205
- Д'Аламбер, Жан-Лерон (1717—1783), французский философ-просветитель 274, 292
- Даниэль, Габриэль (1649—1728), французский историк, автор "Истории Франции" 157, 174, 195, 241, 259, 260, 262, 273, 286
- Дарий III (Кодоман), персидский царь из династии Ахеменидов (336—330 до н.э.) 31, 184
- Дейоцес (Дейок), царь Мидии (727—675) 7
- Декарт, Рене (1596—1650), французский философ, математик, физик 287
- Дейосфен (ок. 384—322 до н.э.), древнегреческий оратор, политический деятель 178, 249
- Деций, Гай Мессий Квин Траян (ок. 200—251), римский император (249—251) 207
- Джанноне, Пьетро (1676—1748), неаполитанский историк, автор "Гражданской истории Неаполитанского королевства" 254
- Джустиниани Бернардо (1408—1489), венецианский дипломат при дворах Людовика XI и римских пап, историк 223
- Лидро, Дени (1713—1784), французский просветитель, философ и историк 274
- Диодор Сицилийский (ок. 90—21 до н.э.), древнегреческий историк, автор "Исторической библиотеки" 245
- Дион Кассий (между 155 и 164 — после 229), древнегреческий историк, автор "Римской истории" 270
- Дир, древнегреческий историк 245
- Домициан Тит Флавий (51—96), римский император (с 81) 206
- Дон Карлос (1545—1568), испанский принц, сын Филиппа II и Марии Португальской 221
- Д'Орлеан, Пьер-Жозеф (1644—1698), французский историк, автор "Истории перемен правления в Англии" 154, 157, 175, 176, 257, 258
- Любо, Жан-Батист (1670—1742), французский историк, автор "Критической истории установления французской монархии в Галлии" 182, 214, 223, 261, 267

- Дюканж, Шарль (1610—1688), французский историк и филолог 263
- Дюкло, Шарль-Пио (1704—1772), французский историк, автор "Истории Людовика XI" 195, 272—274
- Елизавета I Тюдор (1533—1603), английская королева (с 1558) 48, 92—94
- Жювенель-дез-Юрзен, Жан (1388—1473), французский историк, прелат, автор "Хроники Карла VI" 249
- Зоил (IV в. до н.э.), древнегреческий философ и ритор 282
- Индуциомар (I в. до н.э.), галльский вождь 250
- Иоани Безземельный (1167—1216), английский король (с 1199) из династии Плантагенетов 90, 91, 241
- Калас, Жан (1698—1762), тулузский купец, ложно обвиненный в убийстве сына 281
- Калигула Гай Цезарь Август Германик (12—41), римский император (с 37) из династии Юлиев-Клавдиев 9, 41
- Кальвин, Жан (1509—1564), деятель Реформации и богослов 48, 161, 164
- Кальме, Огюстен (1672—1757), французский эрудит, автор трудов по истории Лотарингии 285
- Камилл Марк Фурий (ок. 447—367 до н.э.), римский военачальник и политический деятель 21, 28, 186, 207, 228, 247
- Кандавл, лидийский царь 246
- Канси (личное имя — Сюань Е, 1654—1722), император (с 1662) манчжурской династии Цин 262
- Карл Великий (742—814), франкский король (с 768), император (с 800) 46, 136, 137, 148, 166
- Карл I (1600—1649), английский король (с 1625) из династии Стюартов 94, 116, 140, 281
- Карл II (1630—1685), английский король (с 1660) из династии Стюартов 95
- Карл IV (1316—1378), император Священной Римской империи и германский король (с 1347) из династии Люксембургов 73
- Карл V (1500—1558), император Священной Римской империи (1519—1556) 49, 53, 55, 75, 76, 139, 162, 182, 191, 194, 267
- Карл VI Безумный (1368—1422), французский король (с 1380) из династии Валуа 207
- Карл VIII (1470—1498), французский король (с 1483) из династии Валуа 53
- Карл XI (1655—1697), шведский король (с 1660) 101, 111
- Карл XII (1682—1718), шведский король (с 1697) и полководец 101, 109, 124, 141, 205, 222, 280
- Кассий Лонгин Гай (ум. 42 до н.э.), древнеримский военачальник и политический деятель 62, 170
- Кативульк (I в. до н.э.), галльский вождь 250
- Катилина см. Сергей Катилина Луций
- Катон Старший (Цензор) Марк Порций (234—149 до н.э.), римский политический деятель, историк 10, 65, 130, 133, 178, 184, 187, 208, 238
- Катру, Франсуа (1659—1737), иезуит-проповедник, литератор, автор сочинений о религиозном фанатизме 262
- Катулл см. Валерий Катулл
- Квинт Гораций Флакк (65—8 до н.э.), римский поэт 152, 178, 213, 221
- Квинт Курций см. Курций Квинт
- Квинтилиан (ок. 35 — ок. 96), римский оратор и теоретик ораторского искусства 172
- Квинтилий Вар, Публий (ок. 53 до н.э. — 9 н.э.), римский военачальник, родственник императора Августа 250
- Кимон (ок. 507—449 до н.э.), афинский полководец и политический деятель 7
- Киней (ок. III в. до н.э.), посол царя Пирра 33
- Кир II Старший (558—529 до н.э.), основатель Персидского царства 7, 37, 44, 52, 54, 55, 133, 143, 229
- Клавдий (10 до н.э. — 54 н.э.), рим-

- ский император (41—54) из династии Юлиев-Клавдиев 38, 153, 170, 227
- Клавдий Марцелл Марк (ок. 270—208 до н.э.), римский полководец 170, 183
- Клеман, дом Франсуа (1714—1793), бенедиктинец, автор и издатель "Литературной истории Франции" 260
- Клодий Альбин Децим (193—196), римский император, соперник Септимия Севера 180
- Клодем (Клидем, Кадм Милетский) (V в. до н.э.), афинский историк 247
- Кодр, по преданию, последний царь Аттики, пожертвовавший собой ради спасения родины (XII—XI вв. до н.э.) 223
- Кола де Риенцо, Никола ди Лоренцо Габрини (1313—1354), итальянский политический деятель 209, 210, 225, 257
- Колумб, Христофор (1451—1506), мореплаватель, первооткрыватель Америки 215, 216, 222, 238
- Коммод Луций Элий Аврелий (161—192), римский император (с 180) 180, 206
- Конде, Луи II де (Великий) (1621—1688), французский полководец 220
- Конколитан, вождь галльского племени (III в. до н.э.) 247
- Константин Флавий Валерий, Константин Великий (ок. 285—337), римский император (306—337) 159, 180, 271, 284
- Конфуций (551—479 до н.э.), древнекитайский мыслитель и государственный деятель 222
- Корнелий Непот (конец II в. до н.э. — после 32 до н.э.), римский историк и поэт 199, 252
- Корнелий Сулла Луций (138—78 до н.э.), римский военный и политический деятель 21, 111, 170, 192, 193, 198, 211
- Корнелий Цинна Луций (ум. 84 до н.э.), римский политический и военный деятель 228
- Корнель, Пьер (1604—1682), французский писатель 237, 243
- Котэн, Шарль (1604—1682), французский писатель 162
- Крематий, древнеримский историк 248
- Кромвель, Оливер (1599—1658), английский политический деятель, лорд-протектор Англии 94, 95, 98
- Ксенофонт (ок. 430—355/354 до н.э.), древнегреческий полководец и писатель 11, 55, 113, 158, 184, 197, 198, 229, 245
- Ксеркс I (485—465), персидский царь 7, 31, 38, 179
- Куриации, три брата из Альбы-Лонги, вступившие во время борьбы их города с Римом в союз с тремя братьями Горациями 229
- Курций Руф Квинт (I в.), древнеримский историк и ритор, автор "Истории Александра Великого" 224
- Ларрей, Исаак де (1638—1710), голландский историк, автор "Истории Англии и Шотландии" 266
- Лафонтен, Жан де (1621—1695), французский поэт 233, 242
- Лебо, Шарль (1701—1778), французский историк, автор "Истории Византии" 181
- Лев X (Джованни Медичи) (1475—1521), римский папа (с 1513) 159
- Ле Гран, Пьер-Жан-Батист Д'Осии (1737—1800), иезуит, историк-эрудит 195, 273
- Ле Жандр, Луи (1655—1733), аббат, историк, автор "Новой истории Франции" 241, 259
- Лепид, Марк Эмилий Младший (ок. 89—13/12 до н.э.), римский политический деятель, триумvir (43) 61
- Лефорт, Франц Яковлевич (1656—1699), русский военный деятель, адмирал (1695), приближенный Петра I 123—125, 129, 148
- Ливий Тит (59 до н.э. — 17 н.э.), древнеримский историк, автор "Римской истории" 65, 152, 153, 157, 158, 160, 165—169, 173, 175, 176, 178, 184—187, 195, 201—204, 207, 209, 213, 215, 221, 224—227, 229—233, 237, 238, 243, 248—252, 255, 258, 264, 266—270, 275, 280, 288
- Ликург (IX—VIII вв. до н.э.), легендарный спартанский законодатель

- 7, 13, 16, 19, 25, 30, 33, 34, 36, 64, 130, 132, 135, 143, 144, 156
- Лисандр (ум. 395 до н.э.), спартанский полководец и государственный деятель 16, 65
- Лобино, дом Ги-Алексис (1666—1727), монах-бенедиктинец, историк, автор "Истории Бретани" 260
- Локк, Джон (1632—1704), английский философ, автор трудов по философии, теологии, политической теории 154, 243
- Лонгеваль, Жак (1680—1735), иезуит, литератор, один из авторов "Истории галльской церкви" 262
- Лорьер, Эзеб-Жакоб (1659—1728), законед, опубликовавший материалы своей коллекции королевских ордонансов 263
- Лукиан (120/125 — после 180), ритор и писатель, автор сочинения "О том, как писать историю" 156, 162, 219, 221, 233, 236
- Лукреций Кар Тит (между 99 и 95 — 55 до н.э.), древнеримский поэт и философ, автор поэмы "О природе вещей" 243, 282
- Лукреция (ум. 509 до н.э.) 117, 222
- Лукулл Люций Лициний (ок. 117 — ок. 56 до н.э.), римский полководец 11, 12
- Луций Папирий, ростовщик, богатый римский патриций 251, 252
- Луций Элий Сеян, сын Сея Страбона, усыновленный родом Элиев, временщик императора Тиберия (казн. 31 н.э.) 250
- Людовик IX Святой (1214—1270), король Франции (с 1226) из династии Капетингов 194
- Людовик XI (1423—1483), король Франции (с 1461) из династии Валуа 55, 194, 195, 272, 273
- Людовик XII (1462—1516), французский король (с 1498) из династии Валуа-Орлеанов 11
- Людовик XIII (1601—1643), король Франции (с 1610) из династии Бурбонов 211
- Людовик XIV (1638—1715), король Франции (с 1643) из династии Бурбонов 53, 162, 280
- Людовик XV (1710—1774), король Франции (с 1715) из династии Ю Бурбонов 256, 257
- Людовик XVI (1754—1793), король Франции (с 1774 по 1792) из династии Бурбонов 256
- Лютер, Мартин (1483—1546), основоположник и идеолог германского протестантизма, деятель Реформации 48, 92, 118, 161, 164, 254
- Мазарини, Джулио (1602—1661), кардинал, французский государственный деятель 211
- Макиавелли, Никколо ди Бернардо (1469—1527), итальянский политический мыслитель и историк, автор ряда сочинений, в том числе "Государь", "Рассуждение по поводу первой декады Тита Ливия", "История Флоренции" 254
- Макрин Марк Опилий, римский император (217) 180
- Максимилиан I (1459—1519), император Священной Римской империи (с 1493) 73, 223
- Манлий Торкват Тит, римский консул (65 до н.э.) 187
- Манлий Капитолин Луций, римский диктатор (363 до н.э.) 207
- Мардоний (ум. 479), персидский военачальник в эпоху греко-персидских войн 36
- Мариана, Хуан де (1536—1623), испанский историк, автор "Истории Испании" 175, 255, 259
- Марий Гай (ок. 157—86 до н.э.), римский полководец и политический деятель 21, 170, 187, 198, 207, 209, 211, 228
- Мария Тюдор (1516—1558), английская королева (с 1553) 48, 92
- Марк Аврелий (121—180), римский император (с 161) 62, 133, 134, 206
- Мартэн, дом Жак де (1684—1751), монах-бенедиктинец, эрудит 260
- Марцелл см. Клавдий Марцелл
- Мевий, поэт, современник Вергилия и Горация 282
- Мегабиз, персидский военачальник, сатрап, в 480 — один из руководителей персидского флота 184
- Медичи, итальянский род неаристократического происхождения, пра-

- вивший Флоренцией в 1434—1737 194
- Мезерэ, Франсуа-Эд де (1610—1683), французский историк, автор "Истории Франции" 172, 195, 259, 260, 273
- Мем, Жан-Антуан, граф д'Аво (1661—1723), прокурор, затем президент Парижского парламента 190
- Меровинги — королевская династия во Франкском государстве с 457 по 751 г. 46, 259
- Милло, Клод-Франсуа-Ксавье (1726—1785), французский историк, автор сочинений по французской и английской истории 262
- Мильтиад Младший (ок. 550—489 до н.э.), афинский государственный деятель и полководец 7
- Минос, легендарный царь Кносса, которому по традиции приписывают введение в Греции законодательства 25
- Монтень, Мишель де (1533—1592), французский философ-скептик, автор "Опытов" 270
- Монтескье, Шарль-Луи, барон де ля Бред, граф де Секонда (1689—1755), французский политический мыслитель, писатель, историк 182, 194, 267, 272, 274
- Монтесума, правитель ацтеков (1390—ок. 1469), подчинил ацтекам другие индейские племена 217
- Монтесума (1466—1520), правитель ацтеков (с 1503), захвачен Кортесом в плен 217
- Монфоко, Бернар де (1655—1741), французский историк-эрудит, греческий палеограф 260
- Мор, Томас (1478—1535), английский гуманист, государственный деятель 155, 282
- Морепа, Жан Фредерик Фелиппо, граф де (1701—1791), французский государственный деятель, первый министр (1774) 273, 277
- Мориц Оранский (граф Нассауский) (1567—1625), государственный деятель, полководец республики Соединенных Провинций 84, 85, 169
- Нерва Марк Кокцей (30 или 35—98), римский император (с 96) 172
- Нерон Клавдий Цезарь Август Германник (37—68), римский император (с 54) 9, 41, 49, 153, 170—172, 180, 200, 201, 206, 221, 227, 251, 272
- Нигер см. Песчений Нигер Гай Юст Август
- Никий (ок. 470—413 до н.э.), афинский политический деятель 187
- Нума Помпилий, римский царь 8, 160, 248
- Ньютон, Исаак (1643—1727), английский математик, механик, астроном и физик, создатель классической механики 265, 287
- Овидий Публий Овидий Назон (43 до н.э.—18 н.э.), римский поэт эпохи принципата Августа 203
- Огострато, Джакомо (начало XVI в.), доминиканский монах, инквизитор 254
- Одике (2-я половина XVIII в.), монах-бенедиктинец, историк, автор-издатель сочинений по истории Франции 260
- Одэн, французский эрудит, сотрудник издания собрания "Христианская Галлия" 260
- Октавиан см. Август Гай Октавий
- Олавидес, Паоло-Антонио-Хозе (1725—1803), граф де Пилос, правитель Севильи и интендант Андалузии 281
- Опиталь, Мишель де Л' (1507—1573), магистрат и сюринтендант финансов, канцлер Франции 249
- Оппий, римский народный трибун (215 до н.э.) 65, 133, 184
- Павел Эмилий см. Эмилий Павел
- Паоли, Паскуале (1725—1807), вождь корсиканских патриотов 73
- Папирий Камбон Гай (ум. 119 до н.э.), римский политический деятель, оратор 228
- Патиньо, Хозе (1667—1733), испанский государственный деятель, министр Совета короля 114
- Пейсонель (1727—1790), французский дипломат, автор сочинений о варварской истории народов Дуная 264
- Пелутье, Симон (1694—1757), протестантский священник, историк, автор "Истории кельтов" 263, 264

- Перикл (ок. 490—429 до н.э.), древнегреческий политический деятель, вождь афинской демократии 65, 207
- Персей (ок. 213—166 до н.э.), последний царь Македонии (179—166) 230
- Песцений Нигер Гай Юст Август, римский император (193—194) 180
- Пето, Дени (1583—1652), французский ученый, автор трудов по хронологии 279
- Петр I Великий (1672—1725), русский царь (с 1689), первый российский император (с 1721) 123, 124, 127, 129, 134, 148, 205
- Петрарка, Франческо (1304—1374), итальянский гуманист, поэт 209
- Пизон Гай Кальпурний, глава заговора против Нерона (65) 221
- Пиннет, вождь далматских племен 250
- Пирр (319—273 до н.э.), царь Эпира (с 295), полководец 8, 33, 169, 172, 183, 204
- Питу, Пьер (1539—1596), французский гуманист и историк, прославился исследованиями в области церковной истории и как издатель античных памятников 253
- Платон (428 или 427—348 или 347 до н.э.), древнегреческий философ 30, 155, 282
- Плиний Младший, Гай Цецилий (61 или 62 — ок. 114), римский писатель и государственный деятель 224, 275, 276
- Плутарх (ок. 45—127), древнегреческий писатель и философ, автор "Сравнительных жизнеописаний" 10, 152, 153, 163, 194, 198, 199, 232, 233, 237, 245—247, 270, 275
- Полемон I (ок. 65—9 или 8 до н.э.), царь понтийский и боспорский 245
- Полибий (ок. 200 — ок. 120 до н.э.), древнегреческий историк, автор "Истории" 184, 238, 243, 245, 249
- Помпей Гней (106—48), римский военный и политический деятель 21, 211, 224
- Пон, де, французский барон, убитый во время Варфоломеевской ночи 246
- Попилий, один из римских консулов II или III в. до н.э. 151
- Пуассон, Франсуа (1682—1743), французский драматург 248
- Публий Корнелий Сципион Назика (ум. 132 до н.э.), консул (138), противник Тиберия Гракха 179
- Пуфендорф, Самуэль (1632—1694), барон фон, германский правовед и историк 182, 265, 285
- Раймер, Томас (1641—1713), английский литератор и историк, публикатор документов 265
- Рапэн де Туара, Поль де (1661—1728), историк; автор "Истории Англии" 92, 157, 175, 265, 266, 288
- Расин, Жан (1639—1699), французский поэт и драматург 170, 216, 243, 261
- Регул Марк Атилиий (ум. ок. 248 до н.э.), римский полководец и политический деятель 21, 208
- Рейналь, Гийом (1713—1796), французский историк и философ, деятель Просвещения, автор "Философской и политической истории о заведениях и коммерции европейцев в Обеих Индиях" 277
- Рец, Жан-Франсуа-Поль де Гонди (1613—1679), французский политический деятель, писатель, автор мемуаров 220
- Риве де Ля Гранж, Антуан (1683—1749), ученый-бенедиктинец, историк, автор "Литературной истории Франции" 260
- Риенци см. Кола де Риенцо
- Ришелье, Арман-Жан дю Плесси (1585—1642), французский государственный деятель, кардинал (1622), Первый министр (1624). Автор политического завещания 212
- Робертсон, Уильям (1721—1793), шотландский историк, автор "Истории царствования императора Карла Пятого" и др. сочинений 176, 181, 215, 217, 243, 266—269, 280
- Родриго (Родерик) (VIII в.), вестготский король в Испании 52
- Роллэн, Шарль (1661—1741), французский историк, автор сочинений по древней и римской истории 231, 258
- Ромул, основатель города Рима и первый римский царь (754/753—717/716) 8, 167, 168, 247, 251

- Ромул Августул, последний император Западной Римской империи (475—476) 183
- Саллюстий, Гай Крисп (86 — ок. 35 до н.э.), римский историк, автор сочинений о заговоре Катилины, Югуртинской войне и др. 152, 153, 157, 158, 160, 184, 187, 192—194, 198, 202, 204, 207, 208, 211, 221, 224, 226—228, 232, 237, 238, 248
- Самблансэ, Жак ле Бон де (1454—1527), сюринтендант финансов при Франциске I 238
- Сарпи, Паоло (1552—1623), венецианский ученый и политический деятель, автор "Истории Тридентского собора" 218, 219, 232, 254, 255, 260
- Сарразэн, Жан-Франсуа (1603—1654), французский поэт, историк 209, 220, 257
- Светоний Транквилл Гай (ок. 70—послед. 122), римский историк и писатель, автор сочинения "Жизнь двенадцати Цезарей" 199—201, 248, 250, 251
- Север см. Септимий Север
- Сезострис, египетский царь, о котором повествуют античные авторы 7, 37, 44
- Секусс, Дени-Франсуа (1691—1754), французский ученый-эрудит, сотрудник издания "Коллекции королевских ордонансов" 263, 273
- Семирамида см. Шаммурама
- Сенека Луций Анней (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.), римский философ, писатель, политический и государственный деятель 209, 261
- Сен-Март, дом Дени де (1650—1725), бенедиктинец, автор сочинения "Христианская Галлия" 260
- Сен-Март, Луи де (1571—1656), монах-бенедиктинец, историк, автор "Христианской Галлии" 260
- Сен-Март, Сцевола де (1571—1650), монах-бенедиктинец, автор "Христианской Галлии" 260
- Сен-Реаль, Сезар-Вишар де (1639—1692), аббат, историк, автор сочинений о Дон Карлосе и заговоре Пизона 221, 228
- Септимий Север Луций (146—211), римский император (с 193) 180
- Сергий Катилина Луций (ок. 108—62 до н.э.), римский политический деятель 153, 197, 198, 204, 207, 208
- Серсо, Жан-Антуан Дю (1670—1730), французский поэт, литератор, историк 209, 210, 225, 257
- Сет-Шен, Леклерк, французский переводчик 270
- Сеян см. Луций Элий Сеян
- Сигизмунд I (1361—1437), император Священной Римской империи (с 1410) 74
- Сократ (ок. 470—399 до н.э.), древнегреческий философ 58, 197, 243, 281, 282
- Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н.э.), афинский архонт (594), законодатель 13, 16, 131
- Страда, Фамиано (1572—1649), итальянский историк, автор сочинения "О Бельгийской войне" 154, 157, 164, 165, 220, 236, 255, 259
- Стюарты, королевская династия в Шотландии (1371—1714) и в Англии (1603—1649, 1660—1714) 48, 140, 175
- Сулла см. Корнелий Сулла
- Сципионы
Корнелий Сципион Азиатский Луций (конец III — начало II в. до н.э.), римский политический деятель, полководец;
Корнелий Сципион Африканский Старший Публий (ок. 235 — ок. 183 до н.э.), полководец и политический деятель;
Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший Публий (ок. 185—129 до н.э.), полководец и политический деятель 11, 12, 28, 160, 170, 183, 186, 207, 220, 230, 231
- Сципион Назика см. Публий Корнелий Сципион Назика
- Тарквинии, семейство, главой которого был Луций Т. Гордый, последний царь Древнего Рима 19
- Тарквиний Гордый Луций (ок. 534/533—510/509 до н.э.), последний римский царь 8, 168, 203, 227, 251
- Тарквиний Младший 117
- Тацит, Публий Корнелий (ок. 56 — ок. 117), римский историк, автор "Анналов", "Истории" и др. сочинений

- ний 55, 135, 152, 153, 158, 160, 163, 164, 170—172, 188, 189, 194, 202, 208, 217, 220, 226—228, 232, 233, 238, 243, 248, 250, 253, 254, 264, 270, 272
- Теопомп (ок. 770—720 до н.э.), спартанский царь, учредитель эфората 122, 148
- Тибериус Клавдий, Нерон (42 до н.э. — 37 н.э.), римский император (14—37), 49, 62, 153, 163, 170, 171, 180, 199, 208, 250
- Траян Марк Ульпий (53—117), римский император (98—117) из династии Антонинов 134, 172, 180
- Трог Помпей (I в. до н.э. — I в. н.э.), римский историк, автор сочинения "История Филиппа" 183, 245
- Ту, Жан-Огюст Де (1553—1617), французский государственный деятель, историк, автор "Истории моего времени" 181, 246
- Тюрени, Анри де Ля Тур д'Овернь, виконт де (1611—1675), французский полководец, маршал Франции (1660) 241
- Ульрика-Элеонора Младшая (1688—1741), королева Швеции (1719—1720) 101, 109
- Фабий Максим Кунктатор Квинт (ум. 203 до н.э.), полководец и государственный деятель Древнего Рима 170, 183, 208, 228
- Фабий Пиктор Квинт (ок. 254 до н.э. — ?), древнеримский историк, основатель старшей анналистики, автор "Анналов" 248
- Фабриций, Гай Фабриций Люцин, римский консул в эпоху борьбы с Пирром 10, 207
- Фарнезе Александр (1545—1592), полководец и государственный деятель Испании, наместник короля в Нидерландах, герцог Пармы и Пьяченцы (1586—1592) 220
- Федр (ок. 15 до н.э. — ок. 70 н.э.), римский баснописец 233
- Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 до н.э.), афинский политический деятель и полководец периода греко-персидских войн 7, 28, 163
- Феодора (начало VI в. — 528), византийская императрица (с 527), жена императора Юстиниана I 281
- Фердинанд II Католик (1452—1516), король Арагона (1479), Сицилии (1468), Кастилии (1479), неаполитанский король (с 1504) 52
- Фердинанд I Пармский (1751—1825), король Обеих Сицилий (1816—1825), с 1759 под именем Фердинанда IV — король Неаполитанский и под именем Ф. III — король Сицилийский 6, 148
- Ферекид (Фересид Скаросский) (V в. до н.э.), афинский историк 247
- Фидий (нач. V в. до н.э. — ок. 432/431 до н.э.), древнегреческий скульптор периода высокой классики 234
- Фиеско, Джан-Луиджи Ф. Младший (1522—1547), глава генуэзского аристократического рода, возглавлял заговор против дожа Андреа Дориа 220
- Филахор, древнегреческий историк Афин 245
- Филибьен, дом Мишель (1666—1719), бенедиктинец, автор истории аббатства Сен-Дени 260
- Филипп II (ок. 382—336 до н.э.), царь Македонии (359—336) 7, 44, 54, 55, 65, 133, 160, 187
- Филипп II Август (1165—1223), король Франции (с 1180) из династии Капетингов 73, 241
- Филипп IV Красивый (1268—1314), король Франции (с 1285) из династии Капетингов 194
- Филипп II (1527—1598), король Испании (с 1556) из династии Габсбургов 48, 82, 116, 154, 162, 164
- Филопомен (253—183 до н.э.), древнегреческий политический деятель и полководец, "последний эллин", противостоявший Риму 225
- Флери, Андре-Эркуль де (1653—1743), французский церковный и государственный деятель 173, 222
- Флор Луций (или Юлий) Анней (II в.), римский историк 182, 223, 224, 229, 248
- Фокион (397—317 до н.э.), афинский политический деятель, полководец 12, 65, 174, 242

- Фонсемань, Этьенн-Лореоль Де (1694—1779), французский литератор, историк 269, 270, 273
- Фрайнхемий, (Фрейнхемийус) Иоганн (1608—1660), немецкий филолог и историк 204, 232
- Франклин, Бенджамин (1706—1790), американский просветитель, государственный деятель 269
- Франциск I (1494—1547), французский король (с 1515) из династии Валуа 161
- Фра-Паоло см. Сарпи, Паоло
- Фридрих II Великий (1712—1786), прусский король (с 1740) из династии Гогенцоллернов 295—297
- Фридрих-Генрих Оранский (1584—1647), государственный и военный деятель республики Соединенных Провинций 85
- Фридрих III Штауфен (1194—1250), германский король (с 1212), император Священной Римской империи (с 1197) 74
- Фукидид (ок. 460—400 до н.э.), древнегреческий историк, автор "Истории" 152, 153, 158, 160, 179, 184, 185, 187, 188, 192, 194, 202, 204, 232, 233, 243, 245, 246, 275
- Хард де, участник заговора и государственного переворота в Швеции (1772) 109
- Хлодвиг I (465 или 466—511), король салических франков (с 481) 168, 174, 256, 257, 266
- Хлотарь II (584—629), король Нейстрии в 584—613, с 613 — всего Франкского королевства 65
- Хорн, барон де, участник заговора и государственного переворота в Швеции (1772) 109
- Цезарь см. Юлий Цезарь
- Цинна см. Корнелий Цинна
- Цицерон Марк Тулий (106—43 до н.э.), древнеримский политический деятель, оратор, писатель 30, 53, 82, 146, 154, 161—163, 165, 178, 187, 197, 201, 209, 233, 243
- Шаммурама, ассирийская царица, вошедшая в античную литературу под именем Семирамиды (впервые у Ктесия, конец V — начало IV в. до н.э.) 7
- Шатору, Мари-Анн де Майи, герцогиня де (ум. 1744), фаворитка Людовика XV 256
- Шекспир, Уильям (1564—1616), английский поэт и драматург 265
- Шен (Дюшен), Андре дю (1584—1640), французский эрудит, автор многих сочинений, в том числе "Истории Англии" 266
- Шиффле, Жан-Жак (1588—1660), французский правовед и богослов 253
- Эдуард VI Тюдор (1537—1553), английский король (с 1547) 48, 92
- Эмилий Павел Македонский Луций (ум. 160 до н.э.), римский государственный деятель и полководец 230
- Эней, один из защитников Трои, легендарный родоначальник Рима 165, 169, 204
- Эпаминонд (ок. 418—362 до н.э.), древнегреческий полководец и политический деятель 10
- Эпикур (341—270 до н.э.), древнегреческий философ 33, 165
- Эрондел, Томас-Ховард (1585—1646), граф, английский коллекционер 245
- св. Этьенн (ум. между 31 и 36 н.э.), мученик христианства 281
- Ювенал, Децим Юний (ок. 60 — ок. 140), римский поэт-сатирик 151
- Югурта (160—104 до н.э.), царь Нумидии, военачальник и дипломат 65, 192, 197, 209
- Юлиан (V—VI вв.), граф, комендант вестготской крепости 52, 222
- Юлиан Отступник (Флавий Клавдий Юлиан, 331—363), римский император (с 361) 253
- Юлий Агрикола Гней (I в. н.э.), римский полководец, тесть Тацита 172

Юлий Цезарь Гай (102 или 100—44 до н.э.), римский государственный деятель, полководец, писатель, автор "Записок о Галльской войне" 110, 165, 170, 187, 197—201, 210, 211, 220, 229, 248—250

Юм, Дэвид (1711—1776), английский философ и историк, автор "Истории Англии" 48, 94, 140, 175, 213, 243, 266, 286

Юстин (II—III вв. н.э.), римский историк 183, 245

Яков I Стюарт (1566—1625), английский король (с 1603) 93, 98, 232

Яков II Стюарт (1633—1701), английский король (с 1685) 95, 140

СОДЕРЖАНИЕ

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
Глава I. Введение. История должна быть школой политики и нравственности	6
Глава II. Об основополагающих принципах, коих следует придерживаться при изучении истории. Истина первая. О необходимости законов и правителей	14
Глава III. Истина вторая. Справедливость или несправедливость законов есть первопричина всех благ и всех зол в обществе	17
Глава IV. Истина третья. Гражданин должен повиноваться правителям, а правители — законам	23
Глава V. Истина четвертая. Следует остерегаться страстей чуждых народов	29
Глава VI. Истина пятая. Государства не должны ставить своей целью иное благо, нежели то, к коему они призваны природой.	35
Глава VII. Приложение ранее высказанных мыслей к основным событиям, о коих повествуется в древней истории	39
Глава VIII. Приложение вышеуказанных истин к некоторым важным предметам истории нынешних европейских народов	45
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	57
Глава I. Предмет сей второй части. Общие рассуждения о некоторых государствах Европы, где государь обладает всей полнотою власти	57
Глава II. О правлении Швейцарских кантонов, Польши, Венеции и Генуи	63
Глава III. О правлении Германской империи	73
Глава IV. О правлении Соединенных Провинций	82
Глава V. Об английском правлении	90
Глава VI. О шведском правлении	100
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	113
Глава I. Об общих причинах, кои удерживают правления в их пороках и препятствуют преобразованиям	113
Глава II. Размышления об особых причинах, кои препятствуют европейским державам совершать благие перемены правления своего и законов	120
Глава III. Общества более или менее способны к преобразованию. Каким образом следует достигать сего	129
Глава IV. О том, как государь должен приступать к преобразованию правления и законов	136
Глава V. Заключение	143

О ТОМ, КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ

Беседа первая. О различных видах истории. О студиях, коими следует приуготовлять себя к изложению оной. Об истории общей и всемирной	150
Беседа вторая. Об исторических сочинениях, касающихся отдельных стран и эпох, каким должен быть предмет оных. Общие наблюдения или правила относительно всех родов исторических сочинений	188

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ К СОЧИНЕНИЮ "О ТОМ, КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ" (П.-Ф. ГЮДЕН ДЕ ЛЯ БРЕНЕЙЕРИ)	236
ГАБРИЭЛЬ-БОННО ДЕ МАБЛИ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРУДЫ (С.Н. ИСКЮЛЬ)	
КОММЕНТАРИЙ	339
БИБЛИОГРАФИЯ	393
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	400

Научное издание

“ПАМЯТНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ”

Габриэль-Бонно де Мабли
ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
О ТОМ, КАК ПИСАТЬ ИСТОРИЮ

Утверждено к печати
Редколлегией серии
“Памятники исторической мысли”

Руководитель фирмы “Наука – История”
И.Н. Кузнецов
Художник *Е.И. Кузмян*
Художественный редактор *Н.Н. Михайлова*
Технический редактор *Г.П. Каренина*
Корректор *Л.А. Агеева*

Набор выполнен в издательстве
на наборно-печатающих автоматах
ИБ № 49937

Подписано к печати 09.03.93
Формат 60×90 1/16. Гарнитура Пресс-Роман
Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,0+0,1 вкл.
Усл. кр.-отг. 27,1. Уч.-изд. л. 31,5
Тираж 5000 экз. Тип. зак. 3320

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485,
Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени
1-я типография издательства "Наука"
199034, Санкт-Петербург В-34, 9-я линия, 12

ГАБРИЭЛЬ-БОННО ДЕ МАБЛИ



ОБ ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИИ

О ТОМ, КАК ПИСАТЬ
ИСТОРИЮ

Г. Б. ДЕ МАБЛИ · ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ

